

10

ВАЛЕНТИН БАТАЕВ

10

ВАЛЕНТИН БАТАЕВ



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Собрание сочинений в десяти томах



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Собрание сочинений

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ГОРОХ В СТЕНКУ

Юмористические рассказы,
фельетоны

ПОЧТИ ДНЕВНИК

СТИХОТВОРЕНИЯ

СПЯЩИЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1986

P2
K 29

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

K $\frac{4702010200-103}{028 (01)-86}$ **подписное**

© **Состав, оформление.**
Издательство «Художественная литература»,
1986 г.

ГОРОХ В СТЕНКУ

Юмористические рассказы,
фельетоны

СТРАШНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

I

Поэт Саша ерошил волосы и с остервенением курил папиросу за папиросой. Его фантазия была чудовищна. Кроме того, ему страшно хотелось жрать. А это можно было сделать, только закончив работу и получив деньги. Представление о прохладном пиве и о виртуозно нарезанной вобле приводило его в состояние спазм. Обыкновенная пивная, торчавшая под боком, казалась ему раем и возбуждала его изобретательность.

Кадр ложился за кадром, бумага обугливалась под бешеным карандашом. В порядке кадров Елена скрывалась от Пейча, Пейч стрелял из револьвера, автомобиль на рискованных поворотах швыряло задними колесами за край дороги, и таинственный незнакомец судорожно цеплялся за перерезанные тросы.

Одним словом, это было нечто удивительное...

На этом месте больше ни слова о поэте.

Конечно, опытный и хитрый писатель, воспитанный в добрых традициях экономного русского романа, вообще постарался бы избежать описания поэта Саши. Но я, ничтожнейший из ангелов, не мог отказаться от удовольствия хоть краем пера зацепить этого голодного богемца с Мясницкой улицы, этого бесшабашного халтурщика, который... Однако довольно!

Нужно же мне было с чего-нибудь начать этот рассказ, основная тема которого, смею вас уверить, будет все-таки чисто авиационная.

Читатель, пожалуйста, забудьте о Саше и сосредоточьте свое внимание на дальнейшем, имеющем прямое отношение к рассказу.

Матапаль был толст, лыс и богат.

Своей толщиной он был обязан доброй, выдержанной буржуазной наследственностью. Его отец с большим трудом протискивался в широкую дубовую дверь собственной банкирской конторы, а его дед был, по словам очевидцев, в полтора раза толще отца. Своей лысиной Матапаль был обязан исключительно себе самому. Его абсолютная по форме и объему лысина, вылощенная и блестящая, как слоновая кость, была предметом его самых нежных забот и гордости. Кроме того, она доказывала легкомысленный нрав Матапаля и его умение пожить в свое удовольствие.

Своим богатством Матапаль был в равной мере обязан и своему отцу, и самому себе. Он был великолепным экземпляром очень приличного и уважаемого международного коммерческого мошенника. Его барыши неизменно строились на самом рискованном фундаменте, а успех его предприятий зависел от длинной цепи запутаннейших коммерческих комбинаций темноватого свойства.

Его работа была не чем иным, как постоянным завязыванием и развязыванием узлов, созданием и ликвидацией конфликтов, лавированием в непостижимой путанице часов, минут и секунд.

Ни один самый опытный железнодорожный диспетчер не сумел бы, я полагаю, так быстро и так точно составить расписание поездов без риска устроить крушение, как Матапаль, для которого было вполне достаточно пяти минут, чтобы смонтировать тончайший финансовый план, исключая возможность неприятных столкновений интересов.

В настоящий момент Матапаль орудовал в Москве.

Неделю тому назад он удачно ликвидировал чрезвычайно опасный узел в Берлине, а теперь ему надо было укрепиться на Ильинке.

Предприятие сулило громадные барыши, но оно требовало небывалого риска и осторожности. Матапаль поставил на карту все.

Он не сомневался в успехе. Дело складывалось блестяще.

Нужно было еще сделать два-три тонких хода — и дело сделано.

Стрелки часов на Берлинском почтамте поднялись и сомкнулись ножницами на той самой высокой точке светящегося циферблата, выше которой не может подняться ни одна пара часовых стрелок в мире.

Надо было торопиться. Каждая минута была на счету.

Чтобы не потерять драгоценный пепел, доверенный Григория Матапаля в Берлине аккуратно уложил вонючую сигару в специальное углубление прилавка.

Он сунул телеграмму в окошко.

Бородатая тиролька четырнадцать раз ткнула карандашом слева направо в экстренную депешу и такое же число раз ткнула справа налево. Убедившись таким образом, что вместе с адресом экстренных слов было именно четырнадцать, она любезно пролаяла цену.

Доверенный Матапаль заплатил, спрятал сдачу и квитанцию в бумажник и легкомысленно хлопнул себя по котелку.

Он честно сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить катастрофу.

К сожалению, он сам узнал слишком поздно о гнусных планах Винчестера.

Заседание назначено на десять часов следующего дня, и лисица Винчестер, пользуясь отсутствием Матапаля, несомненно сумеет склонить на свою сторону акционеров. Тогда Матапаль разорен.

До заседания оставалось двадцать два часа.

От Москвы до Берлина не менее тысячи пятисот километров. Матапаль не может успеть.

Экстренная телеграмма — да. Это единственное, что мог сделать доверенный Матапаля, честный и исполнительный немец.

И он это сделал.

Затем он поднял двумя пальцами сигару, ласково кивнул бородатой тирольке и, заложив руки в карманы полосатых штанов, отправился пешком на Гартенштрассе, в один нейтральный дом, где любой господин его возраста и темперамента мог очень дешево и очень весело провести остаток ночи.

Итак, доверенный Матапаля веселился, телеграмма летела, но сам Матапаль еще ничего не подозревал.

В течение целого дня Матапаль обделывал свои дела. Подобно художнику, кончающему картину, он наносил последние удары кистью.

Он стремительно колесил по Москве. Его безупречную соломенную шляпу с муаровой лентой и серый шевитовый пиджак самого модного покроя можно было встретить везде.

Матапаль мерцал за стеклами телефонных будок, он изгибался над пюпитрами банкирских контор, с ловкостью фокусника он вывинчивал золотое перо из очень дорогой автоматической ручки и с треском выдирали листки из блокнота.

Матапаль высчитывал на левом манжете разницу курсов, в то время как на правом были записаны номера телефонов, домов и комнат. Он переводил рубли в доллары, доллары во франки, и наоборот. Он посылал экстренные телеграммы, ломился в окошко спешной почты, обжигался кофе в Эрмитаже и совал в карман «Экономическую жизнь».

Матапаль крутил пуговицу на жилете нужного человека, топал замшевыми кремовыми туфлями на ненужного маклера, кидался в лифт, открывал дверцы автомобиля и отражался вверх ногами в расчищенном в лоск паркете иностранной миссии.

В девятом часу вечера рабочий день Матапалья блестяще окончился.

Он простоял минуту в холодном дыму и треске душа, вытерся махровым полотенцем, стал сизым и переоделся.

Теперь он мог развлечься.

Матапаль вышел на Театральную площадь. Небо было еще светлым и зеленым. Часы на трамвайных остановках светились восходящими лунами. Зеленые лошади над латинским портиком Большого академического театра монументально презирали трамваи и моторы.

Последний аэроплан возвращался на Ходынку, грохоча над Кремлем, и мальчишки, задрав головы, с криками лупили по Волхонке за моторной птицей.

Но взрослые уже давно перестали обращать внимание на самолеты.

Чудо стало бытом.

Матапаль посмотрел вверх.

Его коммерческий мозг никак не мог согласовать разницу курса с легкой, прочной машиной, стремительно пе-

редвигавшейся в воздухе и наполнявшей кварталы города грохотом и металлическим пением. Он ненавидел ее.

— Гражданин, пожертвуйте на Воздушный флот!
Матапаль остановился.

Перед ним стояла стриженная девица в очках, с красной лентой через плечо. Матапаль опустил в кружку небольшой кредитный билет. Девица вынула из корзиночки медную ласточку и приколола к лацкану фланелевого пиджака Матапаля.

— Гражданин, с этой минуты вы друг Воздушного флота. Поздравляю вас!

— Позвольте! — закричал Матапаль.

Но девица с красной перевязью уже скрылась.

Матапаль косо посмотрел на птичку, которая аккуратно сидела у него на груди.

— Черт возьми, — пробормотал Матапаль и отправился на Кузнецкий мост.

Там в этот час было возбуждающее оживление. Красавицы самых разнообразных стилей, наружностей, возрастов и возможностей смугло отражались в золотистых стенках галантных магазинов.

Матапаль был весьма склонен к легкомысленным авантюрам невинного свойства.

Он остановился на углу Петровки и, озарив спичкой свои толстые щеки и поля соломенной шляпы, закурил сигару.

Закуривая, он бегло прицелился в высокое белое эспри. Дама улыбнулась краем вишневого ротика. Она безошибочно оценила этого полного, элегантного и, конечно, вполне кредитоспособного иностранца.

Матапаль приложил руку к шляпе.

После короткой перестрелки глаз и шагов она была разбита наголову. Матапаль сказал «сударыня» и взял ее под руку.

В двенадцать часов ночи лифт поднимал Матапаля и его даму на крышу дома Нирензее.

Матапаль морщился. Он положительно боялся высоты. Гораздо лучше было бы поужинать в Эрмитаже. Там было низко и котлеты были, конечно, лучше.

Но дама была другого мнения. Дамы вообще всегда склонны к высотам и пристрастны к звездам.

— Матапаль, вы трус! Вы боитесь высоты. Какой же вы после этого друг Воздушного флота?

Матапаль рассердился.

Он вырвал из лацкана медную птичку и бросил ее под

ноги. В это время лифт остановился. Мальчик в красной курточке открыл дверь.

— Пожертвуйте на Воздушный флот!

Матапаль остановился.

Стриженная девица посадила на его грудь медную птичку и сказала штампованным голосом:

— Гражданин, с этой минуты вы — друг Воздушного флота. Поздравляю вас!

Матапаль сунул в кружку кредитку.

Девица исчезла.

— Это — рок, — пробормотал Матапаль и вдруг почувствовал совершенно необъяснимое волнение и тошноту.

Они сели за столик. Ветер гулял по изумительным скатертям, и звезды переливались в небе и в стаканах. Играл оркестр.

Внизу шумела ночная Москва.

Там ползли светящиеся жуки автомобилей и последних вагонов трамвая. Из ярких окон пивных и ресторанов неслась музыка, смешиваясь с гулом толпы и треском пролетов.

Светящиеся рекламы были выбиты на крышах электрическими гвоздями.

Экраны светились голубым фосфором, показывая курс банкнотов, прејскуранты вин, виды Нижнего Новгорода и последние конструкции аэропланов.

Матапаль взглянул вниз и увидел ослепительную надпись: «Жертвуйте на Воздушный флот».

У него закружилась голова, и необъяснимое предчувствие приближающегося несчастья засосало под ложечкой.

— Заморозьте бутылку Абрау-Дюрсо, — сказал Матапаль лакею.

Медная птичка аккуратно и зловеще сидела на его груди.

V

Извините!

Здесь я опять принужден возвратиться к поэту Сапхе. Это необходимо. Два слова.

Я должен только заметить, что он сидел в пивной с друзьями и пил пиво. Кроме пива, он пил также похожий на чернила портер. На столе стояло очень много бутылок. Хирургически нарезанная вобла исправно возбуждала жажду. Дочерна выпеченные яйца служили великолепным фоном для красных скорлупок раков, а хор пел:

В каком-то непонят-анам сне
Он овладел, без-умец, ма-но-ою!

Саша кричал:

— Сказал, что получу? И получил. Написал и получил.
И никаких гвоздей. Такого наворотил, такого наворотил!
Еще парочку пива! Одно слово — монтаж. А-ва-и-тюра!
Пейте, сукины дети!

Он пьянствовал третий день.

А телеграмма доверенного грустно пела в проводах
международного телеграфа о всех подлостях Винчестера.

VI

На улице уже было четверть четвертого утра. Светало.
В номере было еще три с четвертью ночи.

Матапаль с треском распечатал телеграмму.

Он испустил тихий вопль и опустился в кресло.

Этот вопль был похож на вопль рыболова, когда вы-
дернутая из воды большая рыба вдруг переворачивается
на солнце никелевым ключом, описывает сабельную дугу
и с веселым плеском падает с крючка в воду.

Матапаль прочел телеграмму еще четыре раза.

Он почувствовал, что колени у него слабеют, а лысина
покрывается жемчужной испариной.

— Черт возьми! Я должен быть там!

Увы, это было невозможно: полторы тысячи километ-
ров в восемнадцать с половиной часов.

— Нет, это невысказано. Значит, я — банкрот.

У него дрогнули коленки.

— Нет, нет, и еще шестьдесят раз нет!

Он застучал кулаками по столу. Стучал долго. Затем
из стука вывел формулу:

— Никогда! Проклятый Винчестер! Осел доверенный!
Дурак я!

Полторы тысячи и восемнадцать, — невозможно!

Матапаль опустил голову и увидел на лацкане пиджа-
ка медную птичку. Она сидела очень аккуратно и настой-
чиво.

Матапаль вспомнил:

«С этой минуты — вы друг Воздушного флота, по-
здравию вас, гражданин!»

Матапаль бросился к телефону:

— Справочная! Черт возьми, справочная!

Он похолодел.

Лететь? Сейчас? Так высоко и так долго?

Он опустил трубку.

Разорваться? Потерять все? Может быть, сесть в тюрьму?

Он схватил трубку.

— Барышня, черт вас раздери сверху донизу, справочную!.. Алло! Справочная!

Через две минуты он уже знал все.

Аппарат летит сегодня с Ходынки в восемь часов утра. Мест нет. Но если гражданин имеет экстренную необходимость и приличную сумму фунтов стерлингов, то, может быть, кто-нибудь из пассажиров согласится уступить свое место.

Матапаль вспомнил моторную птицу, поворачивающуюся на страшной высоте над Театральной площадью, вспомнил грохоты, жужжанье и крен. Он затем вспомнил фотографию в иллюстрированном журнале: холмик, в который воткнуто два скрещенных пропеллера, и очень много венков и лент с трогательными надписями.

Нет, нет! Ни за что, пусть лучше тюрьма!

После этого Матапаль начал колебаться и колебался долго. Вся его душевная постройка представляла не что иное, как очень хорошо известную конструкцию детской игрушки «мужик и медведь». Потянешь за одну палочку — мужик лупит топором по пню, потянешь за другую — медведь. «Лететь» и «разорваться» исправно вперемежку стучали по лысой голове Матапаля ровно три часа и пятнадцать минут.

В конце концов Матапаль наглядно представил себе кучу фунтов, долларов, червонцев и франков, представил себе голубую чековую книжку, представил себе серебряное ведро, из которого торчит смоляная голова «редерер», и понял, что лучше смерть, чем разорение. Тем более что разорение наверное, а смерть — это еще большой вопрос.

Он решился.

Башмаки, щетки, флаконы полетели в плоскую крокодилью пасть отличного английского чемодана.

Электрический звон наполнил коридоры гостиницы «Савой», серебряной цепочкой скользнул по лестнице и упал на голову сонного портье.

Все пришло в движение.

Матапаль требовал счет и требовал автомобиль.

Он кидался червонцами, забывал о сдаче, лихорадочно совал в карман спички и «Экономическую жизнь». Нако-

нец написал, за отсутствием бумаги, на портрете какой-то очень красивой дамы срочную, вне всякой очереди, телеграмму своему доверенному в Берлин и велел отправить ее ровно в девять часов утра, если он не возвратится в отель.

«Савой» гремел.

Мотор подавился шариками и закашлялся у стеклянных дверей.

VII

Летчик приложил ладони к глазам и посмотрел на солнце.

Солнце было ослепительным и косым.

Часовой с винтовкой стоял в воротах аэродрома. На кончике штыка сияла острая звездочка.

Летчик скинул рубаху и облился из синего кувшина страшно холодной водой, которая брызнула радужными искрами.

Он вытерся насухо полотенцем с синей каймой и сделал гимнастику Мюллера. У него было худощавое, мускулистое тело и очень загорелое лицо с белым пятном на лбу. Он был весел и силен. Сегодняшний полет должен был дать ему вдвое больше долларов, чем обычно. Сегодняшний перелет должен быть особенным. Это даже, черт возьми, интересно!

Летчик уперся руками в траву, выставил колени острым углом, напрягся и сделал вверх ногами стойку, изогнувшись хорошо натянутым луком.

Механик пробовал мотор.

VIII

Матапаль оторвал дверцу автомобиля.

Желтый английский чемодан, ударяясь углами и переворачиваясь, как коробка папирос, неуклюже полетел за спину Матапалья.

Переулок рванулся.

Часы против «Метрополя», где стояла унылая толпа за билетами железной дороги, показали тридцать пять минут восьмого.

Зеленые лошади Большого театра шарахнулись на крышу Мюра, «Рабочая газета» отпрыгнула назад, ломая пальмы в садике Театральной площади, колонны Дома Союзов рухнули на какую-то старушку с узелком, пивные

мгновенно переменялись вывесками с рыбными магазинами, первый Дом Советов посторонился боком, и Тверская длинной струной вытянулась, гудя под колесами мотора. Матапаль крепко ухватился за поля своей несравненной соломенной шляпы.

Часы на Садово-Триумфальной мигнули тридцать девять минут восьмого.

Зеленые лошади взбесились на Триумфальной арке и помчались галопом вниз по Тверской.

Петербургское шоссе тревожно просигнализировало «Яром», но Матапаль только зажмурился, и мотор, подпрыгнув на повороте, врезался в деревянные ворота «Добролета».

Какие-то часы показали без четверти восемь.

Матапаль ворвался в контору, потрясая чековой книжкой.

Молодой человек грустно улыбнулся:

— К сожалению... Все места заняты.

Матапаль ударил шляпой по стене.

— Сто фунтов отступного. Чек на предъявителя. Я — Матапаль.

Молодой человек развел руками.

Он хотел объяснить Матапалю, что это никак невозможно.

— Двести фунтов! — заревел Матапаль.

Тогда из угла поднялся очень тощий человек с подведенными глазами, в довольно странном костюме. Он сказал:

— Давайте чек, и я вам уступлю свое место.

Матапаль написал грозную цифру и отодрал листик. Было без четырех минут восемь.

Молодой человек успел сказать:

— Шестиместный. Прямое сообщение без спуска.

И еще что-то.

Матапаль бежал с чемоданом по зеленой траве к аэроплану, который сидел возле сарая, как птенец, только что вылупившийся из этого деревянного и полотняного яйца.

На вышке круглились какие-то черные шарики и блестели приборы. Там трепался веселый вымпел.

К аэроплану спешили другие пассажиры.

— Четыре балла! — закричал кто-то, и сейчас же грянул мотор.

Матапаль схватился руками за поручни.

Ловкий оператор крутил свой треногий аппарат, производя съемку отлета.

Сердце Матапалья в последний раз кануло в пропасть и уже не поднималось оттуда в течение семи часов.

Мотор страшно загрел. Тросы запели струнами.

Какой-то человек в шлеме пробежал по крылу и скрылся в люке на крыше.

Матапаль бросил чемодан в сетку и уселся в соломенное кресло. Вслед за ним в кабину влез американец с трубочкой и в громадных роговых очках. Он строго посмотрел на бледного Матапалья и сказал:

— Мосье, прошу вас быть спокойным и не мешать мне.

Затем он сел рядом с Матапалем в кресло.

Кто-то снаружи закричал:

— Пускаю!

Американец сказал:

— Пускайте!

В кабину влетела дама в густой вуали. Она испуганно оглянулась по сторонам и уселась в угол, закрыв лицо руками. Сейчас же вслед за дамой в дверь вдвинулся очень подозрительного типа человек с подмазанными глазами и со следами многих пороков на испитом бледном лице. Он уселся против дамы. Затем влез механик. Одно место оказалось пустым.

— Контакт!

— Есть контакт!

Мотор положительно разрывался.

Матапаль посмотрел в окно. Человек подошел к черной доске, написал на ней мелом непонятную букву и цифру. Затем он опустил ракету.

Кабину качнуло. Домики и люди поползли назад. Аэроплан начал подпрыгивать.

— Остановите! Я хочу сойти! — закричал Матапаль в ужасе.

Но сердитый американец строго взял его за локоть и сказал:

— Мосье! Это невозможно. Сидите. Вы мне испортите все дело.

— Но я не хочу лететь!

— Поздно!

IX

Матапаль почувствовал, что аэроплан перестал подпрыгивать. Казалось, он стоит на месте. Матапаль посмотрел в окно. Они летели. Маленькие домики, крошеч-

ные люди и кустики игрушечным планом смешались внизу. Отдаленная Москва лежала слева сзади грудой кубиков, наполовину розовых, наполовину голубых. Несколько ослепительных золотых куполов сверкало среди них. Матапаль узнал пожарную каску Христа Спасителя. У него закружилась голова и потемнело в глазах. Когда он очнулся, в кабине было все по-прежнему. Американец сидел, как гранитное изваяние.

Дама в густой вуали тревожно крутила головой.

Подозрительный тип с порочным лицом в упор смотрел на даму. Его подмазанные глаза сверкали. Скулы упруго двигались. Под его ужасным взглядом дама все тревожнее и тревожнее поворачивала голову. Грудь у нее волновалась. По всем данным, пассажиры не были знакомы между собой. Но Матапаль вдруг почувствовал, что между американцем и порочным типом существует какая-то странная связь. Несомненно, назревало нечто ужасное.

Американец вынул изо рта трубку, выколотил о каблук пепел и тихо свистнул. Подозрительный тип вскочил.

— Елена, это ты! — закричал он и сдернул с дамы вуаль.

Бледная как полотно дама с подведенными глазами посмотрела на него с ужасом и презрением.

— Позвольте! — воскликнул Матапаль. — Вы не смеете так обращаться с незнакомой женщиной!

— Ни с места! — прохрипел американец, опуская свою железную руку в лимонной перчатке на жирное плечо Матапаля.

Матапаль прирос к соломенному креслу.

— Вы мне испортите все дело. Сидите, черт возьми! Это его любовница. Она бежит от него. Пейч, сделайте свое дело!

— Елена! — прохрипел Пейч.

Глаза Елены сверкнули.

— Да, это я, негодяй!

Пейч расхохотался.

— Теперь ты в моих руках! Я знаю, что мне надо с тобой делать. Молись!

Пейч одной рукой схватил даму за руку, а другой с треском опустил раму окна. Ветер ворвался в кабину и сорвал шляпу с головы Матапаля.

— Что он хочет делать?

Американец схватил Матапаля за горло.

— Этот осел испортит нам все. Сидите смирно, или я выброшу вас в окно! Ни с места!

Пейч схватил даму поперек туловища и начал впикивать в раскрытое окно.

— Левее, левее! — закричал американец.

Дама отбивалась, но Пейч был сильнее. Еще секунда, и Елена со страшной высоты полетит вниз головой на землю.

— Ка-ра-ул! — завопил Матапаль. — Пилот! Остановите аппарат! Здесь совершается убийство!

Тогда американец вытащил из кармана очень большой автоматический пистолет и ткнул его в живот Матапалья.

— Попробуйте открыть свою пепельницу еще раз!

Вдруг Пейч опустил Елену и отшатнулся от окна. Он простонал:

— Я погиб! «Черная рука» преследует нас по пятам.

Елена посмотрела в окно, и крик восторга вырвался из ее груди.

— Я спасена!

Матапаль краешком глаза, боясь пошевелиться, посмотрел в окно. В воздухе следом за ним, но гораздо выше летел жуткий аэроплан. Он был весь белый, и только на каждом крыле чернел отпечаток гигантской черной руки.

— Он не должен настичнуть нас! — воскликнул Пейч и вылез из окна за крыло.

Елена упала без чувств.

— Очень хорошо, — сказал американец, пряча в карман пистолет. — Господин Матапаль, не хотите ли глоток виски? Это помогает.

Он протянул Матапалю бутылку.

— Б-благодарю в-вас, — пробормотал Матапаль.

Х

Между тем события разворачивались.

«Черная рука» приближался. Это был гоночный моноплан.

Уже ясно было видно пилота и пассажира. Пассажир, приподнявшись у сиденья, размахивал руками и стрелял из револьвера. Звука не было слышно, но тугие клубки белого дыма выскакивали из револьвера. Позади него грозно стояло нечто похожее на пулемет, возле которого вошел еще один человек.

Кабину мотнуло. Матапаль упал с кресла.

Аэроплан сделал резкий поворот и круто взял вверх.

Началась погоня.

Матапаль проклинал себя, и свою жадность, и негодяя Винчестера, и дурака доверенного. О, если бы он мог предвидеть хоть тысячную часть того, что делалось, он бы никогда не сел в эту проклятую кабину!

Аэроплан швыряло справа налево и наоборот. Его подымало вверх и опускало стремительно вниз. Он скользил на крыло, крутился штопором и почти становился на хвост. «Черная рука», как ястреб, висел над ним, и из револьвера пассажира вылетали клубочки резкого дыма.

Погоня продолжалась долго.

Несколько раз Матапаль кидался на колени перед флегматичным механиком в кожаной куртке, который не торопясь пил ром, и протягивал ему чеки самых разнообразных ценностей. Он умолял его полезть к пилоту и заставить его сдать «черной руке». Но механик криво улыбался в рыжий ус и не двигался с места.

Матапаль трясло и швыряло от стенки к стенке, переворачивая его внутренности. Матапаль рыдал. Он был в ужасе. Он проклинал тот час, когда ступил ногою на подножку трапа. Но увы! Все было бесполезно. Смерть приближалась.

Наконец «черная рука» настиг аэроплан. Минуту он шел вровень с ним. Тогда пассажир сделал невероятное, головокружное движение и прыгнул на крыло аэроплана, прямо на Пейча, который отстреливался из пистолета.

Аэроплан закачался. Матапаль стал молиться на всех языках, которые он знал.

Аэроплан качался и кренился.

Очевидно, на крыле происходила борьба не на жизнь, а на смерть. Елена и американец, затаив дыхание, прилипли к окну.

Аэроплан мотнуло в последний раз, и он выровнялся.

— Ах! Пейч!

Матапаль увидел, как черное тело человека полетело, раскинув, как тряпка, руки и ноги, вниз.

Американец восторженно захлопал в ладоши.

— Ол райт! Это нечто исключительное. Браво, Пейч, браво, Елена! Стаканчик виски, господин Матапаль!

Тогда в окно влез новый человек — это был бандит в плумаске и в черном трико. Он устало опустил в соломённое кресло и залпом выпил стакан.

Американец посмотрел на часы.

— В нашем распоряжении еще сорок минут. Механик, передайте Пейчу эту бутылку и эти сандвичи.

Механик захватил продукты, открыл люк и просунул их куда-то наружу, в ветер и грохот мотора.

— Друзья мои, я думаю, можно было бы соорудить еще неплохой грабеж в воздухе, а, как вы думаете? Отлично, Джонс, начинайте!

Черная маска подошла к Матапалю и взяла его за горло. Елена стала быстро его обыскивать. Матапаль, присев на корточки и выпучив глаза, со шляпой на затылке, готов был скончаться от разрыва сердца. Его аккуратно обокрали и связали по рукам и по ногам.

— Умоляю вас... не выбрасывайте меня из окна... Я очень не люблю... когда меня сбрасывают с аэроплана. Американец расхохотался.

— Терпение, дружище!

XI

Через полчаса американец развязал Матапалья, вернул ему бумажник, предложил стакан виски и закурил трубку.

Аэроплан снижался. Деревья, быстро увеличиваясь, понеслись под колесами, и Матапаль увидел поле, усеянное людьми и автомобилями.

— Перелет кончен. Мы прилетели.

Аэроплан ударился колесами о землю и, прыгая, пробежал еще десятка три саженей.

Толпа окружила его. Американец и Елена выскочили из кабины, и через минуту они уже взлетали над толпой. Их качали. Матапаль взял чемодан и вылез на свежий воздух. В полицию. Как можно скорее. Но почему эта толпа так восторженно кричит? Вдруг он остолбенел. Веселый Пейч спускался откуда-то сверху, цепляясь за тросы и снимая кепи.

— Вы живы?

— А почему мне было быть мертвым?

Матапаль положил чемодан на траву и разинул рот.

Толпа подхватила Пейча и долго качала.

Наконец господин в цилиндре влез на крышу автомобиля. В руке у него был роскошный букет цветов. Наступила тишина. Он сказал:

— Господа! Я счастлив, что мне выпала честь приветствовать наших дорогих товарищей Пейча, Джо, Елену и господина Гуга, кото...

Матапаль не выдержал:

— Как? Приветствовать бандитов! Их надо немедленно же отправить в полицию!

В толпе поднялся ропот:

— Уберите этого сумасшедшего. Тише! Внимание! Говорите дальше!

Господин в цилиндре продолжал:

— Да, господа! Сегодня замечательный день. Наша фирма может гордиться. Сегодня наша фирма совершила безумно трудную и опасную съемку исключительной трюковой картины «Черная рука, или Драма в облаках» по сценарию известного русского поэта Саши.

— Да здравствует русский поэт Саша! — крикнули в толпе.

— Господа! Съемка производилась с двух аэропланов на высоте трех тысяч метров. Мистер Джо прыгнул на этой высоте с одного аппарата на другой, что и было зафиксировано двумя аппаратами, установленными на самолетах. Кроме того, съемка производилась в кабине «фоккера», где блестяще провела свою роль наша любимица Елена!

— Да здравствует Елена!

— Господин Пейч был выше всяких похвал. Он бегал по крыльям и великолепно имитировал падение с аэроплана, подменив себя тряпичной куклой.

— Да здравствует Пейч!

— Кроме того, еще случайный пассажир, господин Матапаль, который присутствует среди нас, благодаря своей счастливой комедийной внешности внес большое оживление в съемку и позволил тут же, на месте, сымпровизировать экспромтом водевиль «Ограбление толстяка Билли в воздухе».

— Да здравствует Матапаль!

Матапаль покачнулся.

XII

Когда он пришел в себя, возле него стоял уполномоченный, который говорил:

— Господин Матапаль! Мотор ждет вас. В вашем распоряжении еще четыре часа. Как хорошо, что вы прилетели: теперь Винчестер будет раздавлен. Вам нехорошо?

Матапаль сделался сразу строгим и деловитым:

— Мы поедем обедать. Кстати, какой сегодня курс доллара?..

КРАСИВЫЕ ШТАНЫ

Их было двое — прозаик и поэт. Имена не важны, но они ели.

А в соседнем номере этой громадной, запущенной, похожей на взломанный комод гостиницы, полной пыли, зноя, кавалерийского звона и пехотного топота, на полосатом тюфяке сидел голый приват-доцент Цирлих и читал Апулея в подлиннике. Он окончил университет по романскому отделению, умел читать, писать и разговаривать на многих языках, служил по дипломатической части, но ему очень хотелось кушать.

Бязевая рубашка с тесемками и мешочные штаны с клеймом автобазы висели на гвоздике. Кроме этих штанов и этой рубахи, у филолога Цирлиха ничего не было, и он берег их, как барышня бальный туалет.

У соседей ели. Он отлично представлял себе, как они ели и что они ели. Фантазия, обычно не свойственная филологу, на этот раз рисовала незабываемые фламандские натюрморты. Не менее четырех фунтов отличного черного хлеба и крупная соль. Очень возможно — самовар. Во всяком случае, звук упавшей кружки был непередаваем.

Цирлих взялся обеими руками за кривую, как тыква, голову и прислушался. Они жевали.

Цирлих проглотил слюну. Это было невыносимо. Затем он обшарил пыльными глазами совершенно пустой номер. Бездна формальность. Пустота есть пустота. Ничего съестного не было. Тогда он торопливо облизнулся и на дыпочках подкрался к замочной скважине.

Они сидели за письменным столом и в две ложки ели салат из помидоров, огурцов и лука. Миска была очень большая. Рядом с миской лежал мокрый кирпич хлеба. Над самоваром висели пар и комариное пение. Солнце жарило по полотняной шторе, где выгорела тень оконного переплета.

«Жрут», — горестно подумал приват-доцент.

Минуту он колебался, а затем проворно надел штаны. Он знал, что надо делать. Надо вежливо постучать в дверь и сказать: «К вам можно?» И затем: «Вот что, ребяташки, нет ли у вас перышка, — у меня сломалось...»

Вежливо постучать!

Вчера, позавчера, в прошлую среду, в прошлую пятницу и в субботу он вежливо стучал к соседям. Нет, это недопустимо.

Цирлих горестно снял штаны и повесил их на гвоздик.

Голод тоже должен иметь пределы! Но голод пределов не имел. Они ели. Филолог схватился за голову и быстро надел штаны.

Он вежливо постучал.

За дверью началась паника и через две минуты стихла.

— Войдите!

Приват-доцент покашлял, устроил светскую улыбку и вошел. Они сидели за письменным столом, но на столе, заваленном громадными листами газет, ничего не было. Не было даже самовара.

«Скотины! — подумал филолог.— Успели все поправить. Хоть шаром покати. Неужели самовар поставили в умывальник?»

Он пожевал губами, завязал на горле тесемки рубахи красивым бантиком.

— Здравствуйте, друзья!

— Здравствуйте, профессор!

— Вот что, ребяташки...

Цирлих раздул щеки и подул на собственный нос.

— Вот что, дорогие мои товарищи... Видите ли, братья писатели, какого рода дело... Гм...

Он посмотрел еще раз на стол и вдруг заметил край хлеба, вылезшего из газет. И Цирлих уже не мог отвести от него глаз, как птичка не может отвести глаз от изумрудных глаз удава.

— В чем дело, Цирлих?

Угол черной буханки совершенно ясно выделялся на телеграммах РОСТА.

— Мне очень хочется кушать,— тихо сказал Цирлих.

Он спохватился. Он тряхнул своей крепкой головой и весело крикнул:

— Я, знаете ли, очень люблю хлеб и очень люблю помидоры и огурцы! Я хочу чаю!

Прозаик побледнел. Какая неосторожность!

— Вот могу вам предложить кусочек хлеба... Паек получил. На артиллерийских курсах. А насчет помидоров, знаете ли...

Нет, нет, салата он не мог заметить. Салат был слишком замаскирован.

Поэт грустно улыбнулся.

— Кушайте, Цирлих, хлеб, а вот помидоров, ей-богу, нет. Сами сидим ничего не евши третьи сутки... то есть вторые.

Цирлих поспешно отодрал кусок хлеба и плотно забил его в рот.

— Садитесь, Цирлих!

Цирлих сел. Глаза у него были бессмысленны, щеки надуты, а губы жевали.

— Как вы поживаете, Цирлих?

Цирлих трудно глотнул кадыком, покрутил головой и развел руками.

— Плохо?

Цирлих кивнул и подавился.

— Паек на службе дают?

Цирлих вытер рукавом вспотевший нос.

— В чрезвычай-но ограниченном количестве,— с трудом произнес он, глядя на хлеб.— Да, друзья мои, в очень ограниченном количестве. Я получаю в месяц одну четвертую часть дипломатического пайка, что составляет... гм... если не ошибаюсь... Разрешите, я у вас отщипну еще небольшой кусочек хлебца?

— Отщипните, Цирлих,— стиснув зубы, сказал прозаик,— отщипните, отчего ж...

— Спасибо, ребятушки...

— Пьесы агитационные надо писать, Цирлих, вот что,— сумрачно сказал поэт, открывая шкаф.

В совершенно пустом, гулком, громадном шкафу висели новые синие, очень красивые штаны.

— Вот видите?

— Вижу. Брюки.

— То-то, брюки. Синие. Красивые. Новые. Штаны-с, можно сказать.

— Приобрели?

— Приобрел. Сегодня. Да-с. Я и говорю: пьесы надо писать, Цирлих.

Цирлих поднял брови:

— Покупают?

— Ого-го, еще как покупают! Только пишите!

Цирлих заволновался:

— А вы знаете, это идея! Агитационные?

— Агитационные.

— Серьезно?

— Чего уж серьезнее. Штаны видели?

— Это идея, ребятушки! Только я, как бы вам сказать, недостаточно опытен в драматической форме. Конечно, можно кое-что восстановить в памяти. Я думаю, это мольеровский театр, занявший в истории французской...

— Не надо истории, Цирлих! К черту Мольера!

— Ребятунки, ей-богу, это идея! — воскликнул очень

радостно Цирлих.— Только вы, братцы, мне должны помочь немножко!

— Ладно, поможем.

— А о чем же писать?

— О голоде. Только попроще. В два счета.

Цирлих возбужденно доел хлеб, полюбовался красивыми штанами, подул себе в нос и пошел писать пьесу.

Прозаик и поэт всю ночь слышали в соседнем номере шелест бумаги, скрип пера, тяжелое сопение и шлепанье босых пяток. Цирлих писал. На рассвете он вежливо постучал в дверь. Его впустили. Он возбужденно взмахнул ручкой, с которой слетела клякса на штаны.

— Извините за беспокойство, постановка должна быть несложной?

— Несложной. Как можно проще.

— Хлеба нету, ребятушки?

— Нету.

Цирлих потоптался и ушел. Цирлих писал все утро, весь день и весь вечер. От голода шумело в ушах, а в глазах возились магнитные иголки. Они ели огурцы и круглый лук. Ночью Цирлих громко постучал в дверь.

— Войдите.

Он вошел. У него в руке развевались исписанные листки. Он взволнованно сел на подоконник, взял со стола кусок хлеба, сунул в рот и, жуя, сказал:

— Написал я, ребятушки, пьесу. Хочу ее вам прочитать.

— Длинная?

— Короткая. Один акт.

— Читайте, Цирлих!

И Цирлих прочел свою пьесу. Пьеса была такая. Голодная степь, вдалеке железнодорожное полотно, посредине степи лежит брошенный младенец пяти месяцев, над младенцем летает ворона, вокруг младенца бегают волк, псица, суслик; кроме того, ползает умная змея. Вышеупомянутые животные ведут диалог в духе Метерлинка на тему о голоде, о брошенном младенце и несознательности общества. Волк хочет съесть младенца. Змея укоряет волка в жестокости, суслик плачет. Ворона предсказывает близкое избавление. Псица начинает кормить младенца собственной грудью. Тогда приходит поезд. Паровоз сверкает огненными глазами. Из длинного санитарного состава выходит сестра милосердия. Она не опоздала! Младенец спасен. Волк бежит. Змея торжествует. На са-

нитарном составе написано: «Все, как один, на помощь голодающему населению Поволжья».

Цирлих прочитал пьесу, положил листки на стол и посмотрел воспаленными глазами на слушателей.

— Ну, ребяташки, что вы на это скажете?

Поэт спрятал глаза.

— Как вам сказать, Цирлих... Пьеса как пьеса, хорошая пьеса, задумана интересно, но...

Цирлих похолодел.

— Да, Цирлих, задумана она интересно, но уж очень постановка сложная.

— Вы думаете? — спросил Цирлих, дую в нос.

— Да, я так думаю. Помилуйте, — у вас там фигурирует целый санитарный поезд!

Цирлих умоляюще развязал у горла тесемочки.

— Так ведь он бутафорский. Так сказать, картонный. Нарисованный ведь!

— Ну, скажем, поезд — еще туда-сюда, но младенец, младенец... Разве можно выводить в пьесе трехмесячного младенца, Цирлих?

Цирлих закинул голову.

— Он пятимесячный, и потом он у меня не говорит. Роль, так сказать, без слов. Можно даже этакую куклу смастерить, бутафорскую.

— Гм! Разве что бутафорскую! Ну а волка и псицу зачем вы вывели? Кстати, почему псица? Что это такое — псица?

— Псица — это женский род от слова «пес». Славянизм.

— Ага. Ну разве что славянизм. Но кто же вам согласится играть псицу, вы об этом подумали?

— Подумал. Он загримируется. Станет на четвереньки и будет ходить. Это я как раз обдумал хорошо.

— Ну ладно, это еще туда-сюда, но ворона, ворона! Ворону-то как играть? Ведь летает она у вас, Цирлих?

Цирлих долго молчал, а потом глухо сказал:

— А у Ростана в «Шантеклере» как же? Куры участвуют. А у меня ворона. Разница ведь невелика?

— Невелика. Допустим. Это еще туда-сюда. Ну, там ворона, суслик — это не важно в конце концов. Но змея! Цирлих, вы вдумайтесь в это: змея! Понимаете: на сцене змея! Это невозможно. Змея убивает всю вещь. Змею Главполитпросвет не купит.

Цирлих покрылся зернистым потом. Он глухо прошептал:

— Да. Змею я не учел.

Наступило тягостное молчание.

— Что ж делать, ребяташки?

— Выбросьте змею, замените ее кем-нибудь другим.

— Нет! Это невозможно. Без змеи пропадет вся композиция. Змёя — резонер.

Цирлих уныло поник.

— Может быть,— сказал он, почесывая переносицу и тупо оглядывая пыльными глазами потолок,— может быть... как-нибудь... из пожарного шланга сделать змею?.. И чтоб за нее... говорил суфлер... А, ребятаки?

— Нет, Цирлих! Змея не пройдет.

Поэт посмотрел на стол. На столе ничего съестного не было. Стол был завален газетами.

— Вы бы, Цирлих, другое что-нибудь написали.

— Придется написать. Спокойной ночи, ребяташки...
Пойду попробую.

— Попробуйте, попробуйте. До свидания.

Цирлих пришел к себе, снял рубаху и штаны, сел на полосатый тюфяк и взялся за голову. Его мучило. Сил не было. Они ели. Цирлих подкрался к замочной скважине. На столе стояла миска с салатом. Был хлеб и круглый лук. Цирлих сел к столу, вдавил карандаш в переносицу так, что на переносице осталась лиловая точка, и долго сидел. Потом он начал писать новую пьесу. Он писал всю ночь. Зеленые колеса летали перед его глазами. Руки опускались. Есть хотелось до такой степени, что тошнило. Со двора пахло жареным. Он писал ночь, утро и полдня. В полдень он лег на полосатый тюфяк и представил себе большой кусок хлеба с маслом, кружку молока и яичницу. Базар был недалеко, на базаре продавали борщ и жареную колбасу. Там были плетеные калачи и молоко. Продать было нечего. Цирлих взялся за голову, вздохнул и, косо отражаясь в зеркале всем своим белым и дряблым телом, подобрался к шкафу соседей. Он слышал стук своих ногтей по полу, и сердце у него щелкало, как ремингтон. Он открыл шкаф. Красивые штаны висели среди этого громадного гардероба, как повешенный в очень пустом и большом зале. Цирлих не подумал о том, что красть грех и что он приват-доцент, о том, что он умеет читать, писать и говорить на многих языках. Цирлих подумал о том, сколько дадут за штаны, о том, что если его поймут, то побьют.

Продавать краденые штаны было очень стыдно, но зато после Цирлих два часа ходил по базару и ел. Он ел

хлеб и круглый лук, ел борщ со сметаной и собачью колбасу, пил молоко и курил папиросы.

Наевшись до тяжести, Цирлих осторожно пробрался в свой номер и зашил в полосатый тюфяк три фунта хлеба, сотню папирос, много луку и огурцов. Он снял рубашку с тесемками и штаны с клеймом автобазы и повесил их на гвоздик. Он поджал под себя ноги и принялся за Апулея.

Вечером пришли они и ели. Ели, вероятно, круглый лук и хлеб, но это было не важно. Тогда Цирлих не торопясь надел штаны, сделал очень измученное лицо и постучался.

За дверью поднялась паника, и через две минуты его спустили.

На столе не было ничего съестного, и стол был завален газетами.

— Вот что, ребятушки... я очень хочу есть, дайте мне кусочек хлебца.

— Увы, Цирлих! — вздохнул прозаик.

— На нет и суда нет, — грустно подтвердил Цирлих.

— Пьесу надо писать, батенька! Пьесу! — мрачно заметил поэт и подошел к шкафу. — Вот, не угодно ли взглянуть — брючки. Штаны. Красота!

С этими словами он открыл шкаф.

Цирлих печально завязывал на горле тесемочки и смотрел вниз и в сторону.

1922

ИВАН СТЕПАНЧ

Ежевечерне в толпе, штурмующей ворота, можно было видеть неизвестного человека, прижатого спиной к желтому плакату, изображавшему роскошных атлетов в перчатках, похожих на головы мопсов.

Четыре гигантских экрана обслуживали северный, южный, восточный и западный секторы города. Через каждые пять минут они сообщали имена победителей и результаты фантастических пари.

Восемнадцать аэропланов летало над бронированным куполом цирка, сбрасывая на цилиндры опоздавших группы летучек с правилами бокса и списками фаворитов.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, ежевечерне заполняли громадную кубатуру Спортинг-Паласа.

Неизвестный явно выделялся в громадной толпе совершенно одинаковых рогланов и джимперсов. На нем было рыжее пальто.

Билеты на матчи стоили баснословных денег. Самые дешевые — десять долларов, самые дорогие...

Откуда этот человек взялся, чем занимается и где ночует — было неизвестно. Может быть, об этом знал полисмен 794-го участка, совершающий ночной обход в туманном районе доков Реджинальд-Симпля, или хозяин подозрительного бара, где неизвестный иногда пил сода-виски, внимательно изучая русско-английский словарь.

Однако поглощенные боксом рогланы и джимперсы батальонами ломились в ворота, не обращая на него ни малейшего внимания.

Он выжидал.

Молодой любознательный негр, повернувшись, чтобы взглянуть на экран, где появился новый бюллетень, толкнул плечом не менее молодого американца, вынимавшего из перчатки билет. Цилиндр качнулся на голове мистера, а билет упал. Негр растерянно оскалил свои коровьи зубы. Мистер взорвался. Неизвестный быстро нагнулся, схватил билет и ринулся в ворота, подальше от дерущихся. Начинался суд Линча.

Бронированные стены цирка еще содрогались от бешеного топота красных башмаков, стука палок, свистков, аплодисментов и криков. Джаз-банд играл негритянский туш. Победитель раскланивался и снимал перчатки. Победенного растирали мохнатым полотенцем. На арену летели апельсины и сигары. Директор торжествовал.

Вдруг произошло замешательство. Головы двух тысяч американцев и стольких же американок, не считая детей и негров, повернулись в одну сторону. Сверху, из-под самого купола, по рогланам и джимперсам, по цилиндрам и лысынам энергично катился неизвестный, наскоро извиняясь за беспокойство и лихорадочно перелистывая словарь.

Через минуту он уже стоял на арене, возле судейского столика. Наступила тишина. Тогда неизвестный иронически улыбнулся, бросил презрительный взгляд на дюжину гологоловых чемпионов, высунувшихся из-под портьер, справился со словарем и, выставив вперед ногу в свиной краге, очень старательно сказал:

— Меня зовут Иван Степанч, и я обязуюсь победить по очереди всех многоуважаемых чемпионов, состояющихся здесь.

Жюри с энтузиазмом удалилось в директорский кабинет. Публика неистовствовала. Чемпионы были подавлены. Иван Степанч загадочно улыбнулся.

Затем на арену выступил роскошный директор (фрак, цилиндр, сигара):

— От лица чемпионата принимаю вызов многоуважаемого, но, к сожалению, неизвестного борца Иван Степанча. Прошу его сообщить свои условия.

Иван Степанч перелистал словарь и тщательно сообщил:

— Две недели тренировки, сто тысяч призов, один фунт ростбифа и полпинты пива, один завтрак, обед и ужин ежедневно и сигары.

Условия были приняты. Джаз-банд играл негритянский туш.

— Ставлю один против ста, что этот негодяй раздавит всех этих бездельников, как клопов! — воскликнул нитроглицериновый король, потрясая чековой книжкой.

Немедленно четыре гигантских плаката сообщили четырем секторам города о появлении на горизонте таинственного незнакомца Иван Степанча, обладающего ошеломительным секретом бокса и обещавшего победить всех чемпионов. Вес столько-то, объем столько-то, бицепсы столько-то. Первый матч тогда-то.

Роскошный кабинет директора цирка, заклеенный мужественной конструкцией афиш. Директор — откинувшись в кресле. Иван Степанч — выставив ногу в свиной краге. Директор — предвкушая небывалые барыши. Иван Степанч — добросовестно листая словарь. Остальное пространство завалено горами репортеров. Чековая книжка директора, как голубь, вылетает из бокового кармана, охотно теряя перья. Вспыхивает магний. Щелкают затворы репортерских кодаков.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, спешно заключали пари, общая цифра которых доходила до 8000, на сумму не менее 16 000 000 долларов.

Иван Степанч занял лучший номер в фешенебельном отеле на Гардинг-стрит.

Спортивные журналы подняли тираж втрое. Автомобили с трудом продвигались среди гор летучек с портретом Иван Степанча, тысячами тонн сбрасываемых с аэро-

планов. На бирже начиналась паника. Иван Степанч с апетитом завтракал.

Двадцать четыре американки, среди которых было пять высококвалифицированных старух, восемь девочек, десять вдов и остальные — дочери миллиардеров, ломились в номер Иван Степанча...

Иван Степанч сидел в номере, рассеянно обедал и в промежутках играл на гитаре.

Между тем подавленные чемпионы, предчувствуя близкое посрамление, не зевали. Они решили во что бы то ни стало узнать секрет. Двенадцать человек, стол, шесть бутылок коньяку, негодяй хозяин и недорогой наемный убийца явились великолепным материалом для уголовных построений. На эстраде танцевали фокстрот.

Директор цирка подозревал. Роняя пепел на лацкан фрака, он схватил трубку настольного телефона.

Вежливый Гарри Пиль, гениальный сыщик Скотленд-ярда, иронически повесил трубку и не торопясь приклеил себе рыжую бороду.

Иван Степанч грустно ужинал. В дверь ломились американки, заключая между собой пари и лихорадочно подкупая хитрых лакеев.

Недорогой наемный убийца решительно надвинул кепи на порочные глаза. Чемпионы потирали руки. Время состязания грозно приближалось.

Ежедневно Иван Степанч приезжал на автомобиле в Спортинг-Палас на тренировку. Он быстро выходил из лимузина, отбиваясь от двадцати четырех американок, обстреливавших его бананами, туберозами и чековыми книжками.

Дабы ни один нескромный глаз не мог проникнуть в мировую тайну Иван Степанча, ко времени его приезда тренерский зал освобождался от недовольных чемпионов.

Иван Степанч вышел в зал, и директор, затянувшись гаваной, бдительно развалился в кресле против захлопнувшейся двери.

— А теперь надо действовать. Кажется, он уже там, — пробормотал наемный убийца, заgrimированный водосточной трубой.

Он висел вдоль наружной стены тренерского зала, на высоте десяти футов от уровня моря. Небольшой карманный лом и цепкие пальцы сделали свое дело. Негодяй осторожно вынул один из кирпичей и заглянул в тренерский зал. Иван Степанч стоял перед контрольным мячом и задумчиво перелистывал словарь.

Убийца затаил дыхание. Сейчас он узнает азиатскую тайну Иван Степанча...

А в это время Гарри Пиль с ловкостью молодой змеи полез по ребру соседнего небоскреба.

Ничего не подозревавший Иван Степанч перелистывал словарь, изредка поднимая глаза к потолку и старательно выговаривая:

— Будьте добры, мистер, дайте мне один билет на очень скорый поезд в Сан-Франциско.

— Тысяча чертей, хороший прием! — буркнул негодяй с легкой завистью. — Этот парень мне начинает нравиться...

Но он не окончил фразы. Тяжелая рука Гарри Пила легла на его плечо.

— Ни с места, негодяй! Именем закона вы арестованы!

Приближались полисмены.

Не зная того, что он был на волосок от смерти, Иван Степанч особенно ласково улыбнулся директору и сел в автомобиль.

— Пожалуйста, на вокзал, — сказал он шоферу.

Мотор помчался. Но следом за ним помчались два других мотора. Один, легковой, — с Гарри Пилем, другой, грузовой, — с двадцатью четырьмя американками.

Они настигли Иван Степанча у самого вокзала.

Гарри Пиль ловко прыгнул из своей машины прямо в машину Иван Степанча и спешно надел на бедного шофера наручники, затем, повернув к расстроенному чемпиону добродушное лицо, гениальный сыщик приподнял котелок.

— Мистер, негодяи хотели вас похитить как раз накануне состязания. Вас везли на вокзал. Но, к счастью, я подоспел как раз вовремя.

Двадцать четыре американки торжествовали.

— Да здравствует Иван Степанч! — кричала восторженная толпа.

Иван Степанч перелистал словарь и старательно сказал, раскланиваясь:

— Напрасно вы беспокоитесь, я не боюсь негодяев.

В день состязания директор потирал руки. Иван Степанч грустно натягивал на свои тощие, но очень волосатые ноги красивое трико.

Десятки сыщиков во главе с Гарри Пилем шныряли в коридорах цирка, охраняя Иван Степанча от злостных покушений.

Чемпионы волновались в ожидании страшного жребия.

Спортинг-Палас содрогался, как лейденская банка. Джаз-банд играл туш. Двадцать четыре американки рыдали от нетерпения.

Наконец на арене появился директор:

— Мистеры, состязание начинается. Сейчас будет брошен жребий.

Двенадцать чемпионов всех цветов интернациональной радуги выступили в зыбкую полосу ослепительных прожекторов. Вслед за ними вышел тощий Иван Степанч. Цирк задрожал от аплодисментов. Иван Степанч слабо раскланивался.

Двенадцать жребиев было брошено в цилиндр директора, и двенадцать чемпионов, обливаясь холодным потом, опустили в него двенадцать мускулистых рук.

Жребий достался чемпиону среднего веса, голландцу ван Гутену. Голландец побледнел, спешно начал письмо в Амстердам, своей престарелой матушке.

Иван Степанч, загадочно улыбаясь, положил на ковер словарь.

Ван Гутен передал письмо директору цирка, в последний раз пожал одиннадцать рук товарищей-чемпионов и вышел в круг, надевая перчатки.

Раздался свисток. «Будь что будет», — подумал несчастный голландец, не смея отвести своих честных глаз от ядовитых глаз Ивана Степанча.

С отчаянием обреченного кинулся к неумолимому Иван Степанчу и дал ему в морду.

Кожаная голова мопса закрыла на секунду всю узкую голову Иван Степанча.

Вентиляторы жужжали в мертвой тишине, как аэропланы, разбрасывая сильные электрические искры.

Иван Степанч пошатнулся и упал. Судьи схватились за часы, считая секунды.

Голландец вдавил голову в богатырские плечи и ждал гибели. Он не сомневался, что ближайшие три секунды принесут ему гибель.

По правилам бокса, борец, пролежавший более десяти секунд, считается побежденным.

Прошла одна секунда, две и три.

Вентиляторы жужжали. Иван Степанч лежал.

Четыре, пять, шесть, семь.

Иван Степанч лежал.

Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать.

Гробовое молчание.

Прошло еще две минуты, после чего на арену вышли четверо очень красивых лакеев в простых фраках, взяли Иван Степанча за руки и за ноги и унесли.

Публика неистовствовала.

— Что это значит, негодяй? — заревел директор.

Иван Степанч с трудом раздвинул левым глазом вздутую, разноцветную щеку, перелистал словарь и старательно выплюнул на ковер четыре передних зуба.

Толпа громила Спортинг-Палас.

1923

КЕДРОВЫЕ ИГОЛКИ

Сонькин шумно ворвался в кабинет директора треста. Директор в это время говорил по двум телефонам, писал доклад, пил чай с бубликами и считал на счетах. Лицо у него было измучено. Он удивленно посмотрел на незнакомого Сонькина.

— Я — Сонькин. Здравствуйте. Вы можете заработать.

— Да? — спросил обалдевший директор, плохо сообщая, что ему говорят.

— Пишите аванс на пять тысяч золотом, и через пару дней они уже будут у вас на складах.

— Кто — они?

— Кедровые иголки. Сто пятьдесят тысяч пудов.

— К-кедровые и-иголки? Вы с ума сошли?

Сонькин снисходительно улыбнулся:

— Именно кедровые, именно иголки, и именно это вы, скорей, сошли с ума.

— Милый, но для чего же нам кедровые иголки, если наш трест занимается исключительно рыбой? И вообще, не мешайте мне работать! Я занят... Да, да! Я слушаю. Алло! Кто говорит?.. Червонцы? Ничего подобного — товарные рубли! И воблу, естественно! Алло!!

Сонькин уютно развалился в кресле, разглядывая бронзовую собаку на директорском столе.

Директор покончил с телефоном и принялся за доклад. Сонькин улыбнулся краем левого глаза и дружески посоветовал:

— Все-таки вам надо купить кедровые иголки.

— Вы еще здесь?! — воскликнул директор. — Товарищ, вы мне мешаете работать! Вы видели на дверях надпись: «Без доклада не входить»? Попрошу вас выйти.

Сонькин опечалился.

— А где у вас написано, чтоб без доклада выходить?

— Курьер, выведите его! Он мне действует на нервы.

— Курьер, не надо! Я сам. Товарищ директор, до свиданья! Я уже ушел. Так не забудьте: вам надо купить кедровые иголки!

Директор зарычал.

Сонькин интимно подмигнул курьеру и выскользнул из кабинета.

В кабинет вошел секретарь.

Он учтиво изогнулся.

— Семен Николаевич, исключительный случай! Сто пятьдесят тысяч пудов кедровых иголок, баснословно дешево! Верных тридцать процентов! Пять тысяч рублей авансом и...

Директор вытаращил глаза:

— Что? Опять кедровые иголки? И вы тоже? Милый, но для чего же нам вышеупомянутые иголки, если мы трест «Ракрыба»?

Секретарь пожал плечами:

— Выгодно-с!

— Но объясните, почему?

— Потому-с!

Директор схватился за голову:

— Отстаньте от меня! Мне не нужны кедровые иголки. Поняли? Ступайте!

Секретарь грустно улыбнулся.

— Слушаюсь! А все-таки вам нужно купить кедровые иголки.

Директор повалился головой в бумаги.

На цыпочках вошел курьер. Он осторожно поставил стакан чаю на бумаги и застенчиво пробормотал:

— Товарищ директор! Вам надо купить кедровые иго...

— Вон! — зарычал директор.

Позвонил телефон. Директор сорвал трубку.

Из телефонной трубки послышался тоненький голос:

— Вам надо купить кедровые и...

Директор разбил стулом телефон и бросился домой.

— Маня! Они меня замучили. Обед готов?

Жена сняла с головы шляпку, которую она только что примеряла, нежно посмотрела на директора треста и тихо сказала, опустив ресницы:

— Милый, ты должен купить кедровые иголки!
Директор упал без чувств.
Сонькин работал.

— Ну, как мы себя чувствуем? — спросил врач, ощупывая директорский пульс.

— Ничего, спасибо, — бледно улыбаясь, сказал директор. — Кедровых иголок, надеюсь, можно не покупать? Доктор поднял кверху указательный палец:

— Именно вам надо купить кедровые иголки!

Директор тихо заплакал.

— Господи, на что же мне сто пятьдесят тысяч пудов этих проклятых иголок? Хоть бы граммофонные они были, а то кедровые!

В гостиной попугай кричал через короткие промежутки:

— Вам надо купить кедровые иголки!

Директор спал плохо и видел во сне пожарную лестницу, которая говорила:

— Вам надо купить кедровые иголки. Понятно?

На следующее утро осунувшийся и похудевший директор входил в переднюю треста. Швейцар весело снял с него пальто.

— Ну что, товарищ директор, изволили купить кедровые иголочки?

Директор бросился в кабинет и прохрипел:

— Хорошо! Черт с вами! Позвать этого, как его, который иголки... Манькина... Я покупаю эти самые...

— Так я уже здесь, — нежно сказал Сонькин, вылезая из ящика письменного стола. — Вот ассигновочка на пять тысяч рублей золотом. Подпишите. И через пару дней они будут у вас на складе. Мерси! Бегу расплачиваться с агентами. До свидания! Моя фамилия Сонькин, не забудьте.

Сонькин стремительно исчез, потрясая ассигновкой.

Директор глухо рыдал.

Продолжение — в судебном отделе любой московской газеты.

Мне стоило больших трудов вытащить Ивана Ивановича из дому. Он упирался руками и ногами, презрительно морщился и фыркал.

Наконец-то мы очутились на территории выставки. Тогда я взял гражданина Витиева за рукав и сказал:

— Ну-с! Протрите хорошенько свое меньшевистское пенсне, пригладьте патлы, чтобы они на глаза не лезли, и любуйтесь. Видите? Это все сделала ненавистная вам Советская власть в итоге невероятно тяжелых пяти лет революции. А вы еще, помните, говорили: «Погубили Россию большевики! Демагоги! Предатели!» Ведь говорили?

— Говорил,— мрачно сознался гражданин Витиев.

— То-то! А теперь и любуйтесь. Видите — вон киргизская юрта, вон показательная новая, советская деревня... Опять же образцовый скот, инвентарь и сельскохозяйственные машины. Может быть, желаете видеть иностранный отдел? Пожалуйста! Рукой подать... Надеюсь, теперь-то вы не станете отрицать, что глубоко ошибались насчет большевиков?

— Заблуждался,— глухо сказал Витиев.

— Вот и отлично! Теперь погуляйте, посмотрите, почитесь, так сказать, а мне надо в одно местечко сбегать, я сейчас вернусь. Прощайте!

Через десять минут я увидел, что возле какого-то недостроенного павильона собралась громадная толпа.

— В чем дело?

— Да как же, гражданин! Экспонат. Живого меньшевика показывают.

Я с трудом пробрался через толпу и очутился возле недостроенного павильона. Иван Иванович робко стоял на каком-то пустом ящике и, качая бородкой, неуверенно лепетал:

— Товарищи... погубили Россию... это самое... большевики... демагоги. Хозяйство разрушено... Рабочие голодают...

В толпе раздался дружный хохот.

Рабочий в синей блузе весело подмигнул:

— Ишь ты! Живой меньшевик! И где только такой экспонат достали?

Какой-то мальчишка деловито заметил:

— Ён игрушечный. На пружинку заводится.

— Да ну?

— Вот тебе и ну!

— Ребята, не мешайте слушать, пуцай говорит. А ну, ты, волосатый, заводи пластинку про Учредительное собрание!

Иван Иванович растерянно заморгал глазами и, робко кашлянув, сказал:

— Да здравствует это самое... Учредительное собрание.

Толпа залилась дружным хохотом.

— Ай да экспонат!

— Ископаемый, можно сказать. Теперь такого днем с огнем не сыщешь. А ведь в свое время на каждом переулке торчал, и ничего — никто не удивлялся! Переменилась Советская Россия за пять лет! Ох, переменилась!

Обратно мы ехали на извозчике. Я нежно поддерживал потрясенный экспонат за талию. Иван Иванович наклонился к моему плечу и говорил плачущим голосом:

— Не понимаю, для чего эти самые выставки устраивают?.. Только хороших людей обижают. Погубили Россию большевики... Демагоги... Да здравствует Учре...

Я устало махнул рукой.

На территории выставки весело гремела музыка.

1923

УПРЯМЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Четыре часа я водил мистера Смита по выставке.

Я показал ему хлопок, жель, железо, дерево, кожу, сало...

Американец молчал как истукан.

— Мистер Смит, — сказал я задушевно, — товарищ Смит... Ну хоть теперь, когда мы уже все осмотрели, скажите искренне и чистосердечно свое мнение о нашей выставке.

Американец поправил роговые очки.

— Замечательная выставка! Спорить не буду. Но это все показное. Это все — пышная витрина магазина, в котором ничего нет. Я уверен, что девяносто девять процен-

тов посетителей вашей хваленой выставки под пиджаками не имеют даже рубах.

— О! — воскликнул я.

— Хотите пари?

— Хочу.

— Тысяча фунтов против одного!

— Есть. Эй, молодой человек! Будьте любезны. На одну минутку. Десять фунтов хотите заработать? Хотите? Отлично! Снимите пиджак. Да не стесняйтесь, чудак вы, снимайте. Здесь дам поблизости нет.

Американец ехидно улыбался.

Молодой человек застенчиво снял пиджак.

— Прошу убедиться — великолепная егерская рубаха.

— Это единичный случай, — тупо сказал американец.

— Ах, единичный случай! Хорошо. Папаша! Дядя! Как вас там? Будьте любезны, снимите пиджак. Да не стесняйтесь, папуля. Червонец заработаете. Прошу убедиться. Рубаха. Не стану, конечно, уверять, что она батистовая, но что из хорошего домашнего полотна, так это факт. Спасибо, папуля, за мной червонец.

— Это не факт.

— Великолепно! Возьмем третьего. Эй, снимите пиджак! Не стесняйтесь! Здесь все свои люди. Вот чудак! Червонец заработаете!

Молодой человек испуганно покраснел и пытался улизнуть. Американец злорадно улыбнулся:

— Э, нет, подождите, снимайте пиджак!

Я схватил молодого человека за шиворот и стащил с него пиджак.

О, ужас! На молодом человеке не было рубахи.

— Ага! — закричал американец. — Я же был уверен. Я говорил!

Разъяренный молодой человек закрылся пиджаком и смущенно пробормотал:

— Это ошен некарашо — так поступайт с заграничным гостем. Я буду жаловатца нах дейтче миссия...

Американец был убит. Он выложил, по крайней мере, полфунта фунтов и исчез.

Я расплатился с потерпевшими и, весело насвистывая, пошел жертвовать на Воздушный флот.

СМЕРТЬ АНТАНТЫ

Антанта доживает последние дни.

Из газет

Антанта сидела на подушках в глубокой, но очень удобной фамильной калоше и умирала.

Возле нее шептались доктора:

— Острое малокровие и воспаление Рурской области.

— Положение серьезное.

— Позвольте, коллега! Совершенно наоборот. Сильная форма конференции с легкой примесью разжижения финансов.

— Гм!

— Что касается меня, то я думаю, что у пациентки английская болезнь.

— Не может этого быть! Английская болезнь — детская болезнь. А пациентка — особа пожилая.

— Вот-вот! Значит, впала уже в детство.

— По-моему, у больной французская болезнь.

— А также испанка.

— Скорее, турчанка...

— Во всяком случае, сильные приступы социализма налицо.

— Вы хотели сказать — на лице?

— И на лице. Тоже. Садины порядочные.

— Коллеги, обратите внимание: болезненное сужение... проливов и вывих Моссула.

— Ерунда! Мы имеем дело с чисто психическим заболеванием.

— Вы думаете?

— Уверен. У больной опасная мания.

— Именно?

— Мания величия.

— Ну, это не так опасно. Я думаю, что у нее есть другая мания, более серьезная.

— Какая?

— Гер-мания.

— Что вы говорите?

— Ну да. Больная все время бредит углем.

— Это плохой симптом.

Бедные и богатые родственники, разбившись на группы, тихо совещались по углам.

— Наследство?

— Гро-мад-ное.

- Что вы говорите?
— Одних... долгов сколько!..
— А кто же... будет платить, если старуха протянет ноги?
— Как вы выражаетесь! Стыдитесь!
— А черт с ней! Чего стесняться! Никто не слышит. Вы лучше скажите, кто будет платить долги?
— Естественно кто: родственники.
— Да? Вы думаете? Ну, я пошел, мне пора. Я и так на десять минут опоздал. Бегу, бегу!
— До свидания. Впрочем, я тоже... опоздал. Бегу.
Родственники бросились бежать, как крысы с тонущего корабля.
— Тише! У больной падает...
— Пульс?
— Нет, франк.
— Дайте зеркало. Что, никого нет? Все сбежали? Ну и родственнички!
— Ну что ж! Вечная ей, как говорится, память! Спи с миром, дорогая собак... То есть, что это я говорю?.. Тетя.

А с улицы доносилось пение «Интернационала». Это синеглазые кредиторы грозно надвигались в дверь, сжимая в руках неоплаченные счета.

Счета за войну, за рурский уголь, за врангелевскую авантюру, за расстрелянных коммунистов и еще за многое другое.

Лица у них были беспощадны.

1923

МОЙ ДРУГ НИАГАРОВ

1. Ниагаров и рабочий кредит

Мой приятель, небезызвестный Ниагаров, осмотрел меня с ног до головы уничтожающим взглядом и сказал:

— Брюки длиннее, чем полагается, на пол-аршина, чего нельзя сказать о рукавах, которые короче на три четверти. Хи-хи! И потом — что это за набрюшник?.. Ах, не набрюшник, говоришь? А что же это такое?.. Ах, жилет! Виноват, ви-но-ват! Спорить не буду. Конечно, может быть, это у вас называется жилет, только не так я себе представляю эту часть туалета. Что, специально в Копо-

топ ездил заказывать костюмчик? Сознайся, плутишка!
В Конотоп?

Я застенчиво опустил глаза.

— В Мосшвею. Ездил. Специально. Заказывать. На Петровку.

— На Петровку? Ми-лый, да на Петровке я тебе оденусь, как молодой принц!

— Ну, брат, на рабочий кредит не очень оденешься.

— А что такое?

— А то. Приказчики не уважают. «Забирай, говорит, что дают. Много вас тут, разных-всяких, с талончиками шляется». Я не успел и глазом моргнуть... Раз-два... На все деньги, и вот видишь...

Ниагаров уничтожающе сверкнул глазами:

— Деревня! Шляпа! Одевайся, идем.

Через полчаса мы с Ниагаровым входили в магазин Мосшвеи на Петровке. Ниагаров засунул руки в карманы и, крутя папиросу в небрежно стиснутых зубах, подошел к приказчику.

— Будьте любезны. Костюм. Самый лучший. И шлягу. Самую лучшую. Полдюжины рубах. Самых лучших. Живо.

— В рабочий кредит? — подозрительно осведомился осторожный приказчик.

Ниагаров сдвинул брови:

— Бол-ван! Не видишь, с кем разговариваешь!

— Виноват, вашсясь... Простите... не признал... Васька, стульчик господину! Митька, сними с господина галоши! Колька, принеси господину стакан воды. Разрешите-с снять-с мерочку-с...

Ниагаров вертелся перед зеркалом и, презрительно искривив губы, цедил:

— Черт знает что! Под мышками жмет. Воротник лезет на затылок. Брюки коротки. Не годится. Другой!

— Сей минут, вашсясь... Пожалте ножку. Так. Согните ручку. Так. Красота. Как вылитый.

— Матерьял дрянь! Не годится. Другой...

Через два часа, одетый с ног до головы, как молодой принц, Ниагаров небрежно подошел к кассе.

— Получите. Талон. Моя фамилия Ниагаров. Мне еще тут остается кредиту на два червонца. Отметьте. Мальчик, отвори дверь. До свидания!

С неподражаемой грацией поскрипывая новыми башмаками, Ниагаров прошел мимо обалделого приказчика и вышел на улицу. Вот тебе и рабочий кредит!

— Видал-миндал? Де-рев-ня! А теперь разрешите вас чувствовать обедом в «Праге». Тут у меня еще два червонца от кредита осталось.

— Жаль ведь...

— Младенец! При известном умении кредитом можно воспользоваться с большой помпой. Учись, юноша! Извозчик, в «Прагу»!

2. Лекция Ниагарова

Громадная аудитория Политехнического музея была переполнена учащейся молодежью и профессорами. Деловитые рабфаковцы нетерпеливо ерзали на скамьях. Свердловки нервно теребили клеенчатые тетрадки. Строгие очки профессоров, френчи инженеров и буденовки генштабистов говорили о важности и серьезности предстоящей лекции.

Я мечтательно облокотился на барьер и думал: «О, милая, отзывчивая советская молодежь, которая так трогательно тянется к солнцу знания, преодолевая на своем пути житейские невзгоды, холод и даже голод! О, седые, умудренные наукой ученые, которые, подобно своим ученикам, пришли сюда для того, чтобы обогатиться новыми положительными знаниями из области прикладной техники! О, серьезные генштабисты, еще так недавно переносившие все опасности гражданской войны, которые урвали из своего скромного бюджета львиную долю для того, чтобы купить билет на эту исключительную лекцию! Они все пришли сюда для того, чтобы услышать (как об этом гласили тезисы на афише) о потрясающих завоеваниях человеческого гения в области междупланетных сообщений. И ни одного режущего пятна. Ни одного толстого нэпмановского лица. Ни одного кричащего туале...»

Я загнулся и окаменел. Изяцно раздвигая толпу и рассыпая направо и налево «пардон, пардон», с красивым желтым портфелем под мышкой, прямо на меня шел Ниагаров. Его галстук был непередаваемо роскошен, и остроносые малиновые туфли стоили не менее восьми червонцев. Он снисходительно улыбался и благоухал.

— Ниагаров! — воскликнул я в изумлении. — Как ты сюда попал? По имеющимся у меня достоверным сведениям, здесь не предвидится ни хореографических эскизов Голейзовского, ни игривого кабаре с участием Хенкина, ни даже маленькой семейной партии в баккара. Тебя, оче-

видно, ввели в заблуждение. Или, может быть, ты, плутишка, бросил шумный и рассеянный образ жизни и начал на старости лет интересоваться проблемами междупланетного сообщения... хи-хи...

— Мой друг,— строго остановил меня Ниагаров,— проблема междупланетного сообщения интересовала меня с детства.

— Но...

Ниагаров кисло поморщился и сказал с ударением:

— Проблема междупланетного сообщения ин-те-ре-со-ва-ла меня с детства, и сегодня я наконец решил выступить с публичной лекцией по этому интересному вопросу.

— Что?! Ты?! Читать?! О междупланетном сообщении?! Лекцию?! А ты себе температуру мерил?

— На нас смотрят,— прошипел Ниагаров.— Пойдем. Ты меня провалишь...

— Сиди здесь, дурак,— сказал Ниагаров, кинув меня на диван, когда мы пришли в артистическую.— Сиди и молчи.

К Ниагарову подошел молодой человек. Ниагаров отвел его в сторону.

— Сколько?

— Пятьдесят червонцев. Ни одного билета.

— Гм! Извозчик стоит?

— Стоит.

— Мгм... Ну, в таком случае, Бузя, давайте третий звонок.

Я кинулся к Ниагарову:

— Ниагаров, ты этого не сделаешь!

— Вот еще глупости. Посиди здесь, я сейчас приду.

С этими словами Ниагаров открыл дверь и, величественно улыбаясь, вышел на эстраду. Раздались аплодисменты. Я приоткрыл дверь.

— Милостивые государи, милостивые государыни, товарищи, я бы сказал, граждане,— начал Ниагаров баритоном, небрежно играя автоматической ручкой.— Как вы, вероятно, догадались, предметом нашего сегодняшнего собеседования будет проблема междупланетного сообщения.

Профессор поправил очки. Свердловки начали записывать, рабфаковцы одобрительно улыбнулись.

— В сущности, господа, что такое междупланетное сообщение? Как и показывает самое название, междупланетное сообщение есть, я бы сказал, воздушное сообщение между различными планетами, кометами и звездами. То есть безвоздушное. В чем же, господа, разница между воз-

душным сообщением и сообщением безвоздушным? Воздушное сообщение — это такое сообщение, когда сообщаются непосредственно через воздух. Безвоздушное сообщение — это такое сообщение, когда сообщаются без всякого воздуха. Приведем пример. Аэроплан. Что такое аэроплан? И чем он отличается, скажем, от автомобиля? И здесь и там мотор. И здесь и там бензин. И здесь и там колеса. На первый взгляд как будто никакой разницы и нет. Но, господа!.. Виноват, вы, кажется, что-то сказали?.. Вот здесь, в шестом ряду... Ничего? Простите, пожалуйста! Итак, пойдём дальше. Значит, автомобиль... Виноват? Вы хотите, чтобы я перешёл непосредственно к проблеме междупланетных сообщений? Пожалуйста! Как вам известно, господа, поверхность земного шара покрыта толстым слоем воздуха, что не может не повлиять на движение нашей планеты в плоскости своей эклиптики...

— Эклиптики,— поправили **Ниагарова** из четвертого ряда.

— Простите, эклептики. Совершенно верно. Ошибся, так сказать, этажом ошибся. Знаете, есть такой анекдот, что пьяный муж пришел домой и видит, что его жена целуется с каким-то неизвестным молодым человеком...

Ниагаров сделал паузу и общительно подмигнул первым рядам.

Публика зашумела.

— Позвольте,— слышались голоса,— мы сюда пришли, чтобы слушать о междупланетном сообщении, а не о пьяном молодом человеке!

— Да в том-то и дело,— весело воскликнул **Ниагаров**,— что молодой человек был трезвый, а муж был пьян как сапожник!

— Довольно! Довольно! — слышались голоса.— Деньги назад!

— Господа! — выкрикнул **Ниагаров**.— Если вы не понимаете шуток, то я буду говорить о междупланетном сообщении. Междупланетное сообщение...

На эстраду вышел человек в очках и сердито стукнул графином по столу. Я закрыл глаза.

— Довольно! Вы мне баки автомобилями не забивайте. Что вы порете чужь про междупланетное сообщение между кометами? Да вы знаете, что такое комета?

— Что это, экзамен?

— Я вас спрашиваю по-человечески: вы знаете, что такое комета?

— А вы знаете? — цинично спросил Ниагаров, играя автоматической ручкой.

Публика с ревом ринулась на эстраду, ломая скамьи.

— Бузя! Тушите свет! — крикнул Ниагаров, пролетая мимо меня как вихрь. — Грузите кассу на извозчика!..

— Можно подумать, что проблема междупланетных сообщений более опасна, чем проблема японского землетрясения или проблема аборта, — сказал мне на следующий день Ниагаров, меняя компресс. — Ерунда! Лишь бы касир был свой парень и извозчик не подвел. Послезавтра у меня лекция о проблеме омоложения.

— Безумец! И ты будешь читать? — ужаснулся я.

— Если хватит морды, — весело улыбнулся Ниагаров, — как говорится в одном старом еврейском анекдоте.

3. Знаток

Роскошный и шумный Ниагаров схватил меня за руку и воскликнул:

— Как! Ты еще не на выставке! Жалкий провинциал! Пойдем. Я буду твоим гидом. Я, брат, специалист в этой области. Я, брат, можно сказать, всю эту самую выставку собственными руками выстроил. Подойди к любому мальчишке-папироснику и спроси: «Мальчик-папиросник, кто выстроил Всероссийскую сельскохозяйственную выставку?» — и мальчик-папиросник тебе скажет: «Ее выстроил Ниагаров». Ну?

— Хорошо, поедем! — сказал я.

Ниагаров засиял:

— Вот умница! Сейчас мы это устроим в два счета, это тут, рядом. Эй, извозчик! На Сельскохозяйственную выставку, — полтинник.

— Что вы, вашсиясь! Два рублика! Конец-то какой — не иначе как десять верст.

Ниагаров смутился:

— Ну уж и десять! Я-то отлично знаю, где эта самая выставка помещается. Верст семь, не больше. Полтора, одним словом.

Мы поехали.

— Вот, смотри и удивляйся! — нравоучительно сказал Ниагаров, когда мы после долгих поисков главного входа попали на территорию выставки. — Удивляйся и учись.

Это тебе, брат, не твоя Балта. Выставка, брат! Все-россий-ска-я! Одна только ее площадь занимает девяносто пять квадратных верст. Специально для нее Крымский мост выстроен. Я строил. Ну, дружище, пойдём. Вот, видишь павильон?

— Вижу,— застенчиво сознался я.

— Так знай же, о юноша, что этот павильон не что иное, как точная копия Байдарских ворот. Только моря не хватает. Не успели. Я строил.

— А почему он такой маленький?

— Младенец! А что ж, по-твоему, Байдарские ворота больше? Уж будьте уверены! Три недели строил, до последнего сантиметра все вымерял.

— А почему он деревянный? И почему возле него хвост стоит? И потом...

— Эх, провинция-матушка! Это туристы очереди дожидаются. Точная копия. Хочешь, подыдемся?

Мы подошли.

Один из туристов колотил кулаками в дверь Байдарских ворот и орал:

— Гражданин! Вы уже три часа уборную занимаете! Нельзя же так! Ведь люди дожидаются!

— Пойдем отсюда,— развязно сказал Ниагаров.— Это не так интересно. Сейчас ты упадешь в обморок от изумления. Я покажу тебе... гм... Я покажу тебе настоящую швейцарскую корову...

— Не может быть!

— Молчи, несчастный! Здесь все может быть. Гляди! Чудесный экземпляр! Ты только посмотри. Какой хвост, какая чудесная шоколадная шерсть, а глаза-то, глаза! Прямо как у лошади, умные.

— Ниагаров,— укоризненно сказал я,— как тебе не стыдно! Во-первых, швейцарские экспонаты на выставку не принимаются по случаю бойкота, а во-вторых, это не корова, а лошадь. И не экспонат, а она запряжена в телегу.

Но Ниагаров не унывал.

— Вздор! Это не важно! Пойдем! Ты сейчас упадешь в обморок. Живых бухарцев видел? Нет? Эх, глушь, глушь! Гляди! Видишь, какие полосатые, просто прелесть! Брови у них, по обычаю ислама, насурьмлены, а ноги выкрашены. Можешь потрогать руками, если хочешь. Это можно.

Один из бухарцев оглянулся и оказался хорошенькой женщиной.

— Нахал! Вы не смеете приставать к порядочной женщине!

— Смотри-ка! — воскликнул Ниагаров. — Английская территориальная пехота! Видишь, дуся, какая у них красивая форма?

Английский пехотинец подошел к Ниагарову и сказал:

— Гражданин, если будете приставать к женщинам, отправлю в район.

— Ладно, — сказал опечаленный Ниагаров. — В таком случае сейчас я вам покажу нечто исключительное. Голову потеряете. Пивная-с. Настоящая пивная «Новая Бавария».

На тот этот раз он оказался прав. Пивная была «Новая Бавария». И через час я потерял голову.

4. Птичка божия

Ниагаров ворвался в кабинет редактора:

— Здравствуйте, товарищ редактор! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Работаете?

— Работаю.

— Работайте, работайте! Кто не работает, тот не ест, как говорится. Правильно. И вообще — мир хижинам, война дворцам! Принес тебе стишки. Лирика. Незаменимо для октябрьского номера. Пятьдесят за строчку — деньги на бочку. А, как тебе это нравится? Видал-миндал? Это, брат, тебе не фунт изюму. Слушай:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.
В долгу почь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет...

И так далее! А? Каково? Сознайся, плутишка, что ты не ожидал такой прыти от старика Ниагарова. Я, брат, профессионал! Буржуазный поэт! Ха-ха! Гони монету...

Редактор покрутил отяжелевшей головой:

— Это нам, товарищ, не подходит.

— Почему же оно вам не подходит? — обидчиво заинтересовался Ниагаров.

— Потому что несовременное.

— Несовременное? А красное солнце, которое взойдет, — это тебе что? Прямой намек на социальную революцию! Определенно!

— Не подходит. Потому — у вас «птичка божия» и «гласу бога»... Принесите что-нибудь пролетарское. И без бога. Тогда пойдет.

Ровно через год Ниагаров стоял против редактора:
— Пей мою кровь. Без бога. Пролетарское. Слушай:

Птичка наша уж не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.
В долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет...

Обрати внимание: *«Солнце красное взойдет!»*

Птичка гласу Маркса внемлет,
Встрепенется и поет...

— Не пойдет. Нет идеологии. Нет современности. И потом — что это за птичка, которая не знает ни забот, ни труда? В концлагере место такой птичке, а не на страницах советской печати. О Колчаке что-нибудь лучше написали бы!

Ниагаров увял.

— Жалко. А если я с идеологией, и с современностью, и с Колчаком напишу?

— Тогда пойдет. До свидания! Закрывайте за собой дверь!

Через год Ниагаров возбужденно сказал:

— Вот. С идеологией. Современное, и про Колчака есть.

Птичка наша уже знает
И заботы и труды,
Хлопотливо выкидает
Колчака она в пруды...
В долгу ночь на ветке дремлет...
Солнце красное взойдет!
Птичка нас...

— Не пойдет, — перебил редактор. — Несовременно. Ниагаров сардонически захохотал.

— А Колчак — это тебе не современное?

— В прошлом году было современно, а теперь несовременно. Теперь надо про польскую войну писать. Не пойдет.

Год спустя Ниагаров посмотрел в упор на редактора и процедил сквозь зубы:

Птичка польская не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо пе...

— Не пойдет!

— Позвольте. Там дальше...

— Знаю, знаю! И «солнце» не пойдет, и «красное» не пойдет, и «взойдет» тоже не пойдет. Ничего не пойдет. Несовершенно.

— А Польша?

— Устарело. О нэпе теперь писать надо. Закрывайте за собой дверь!

— Здравствуйте!

Птичка божия не знает ни заботы, ни труда,
Нэп для птички не сгиба...

— Не пойдет.

— Почему?

— Потому что нет идеологии.

— А солнце красное, которое взойдет,— это вам не идеология?

— Использовано. Кроме того, у вас там сказано, что птичка востепенится и поет. А что она поет — неизвестно. Может быть, что-нибудь контрреволюционное? До свидания. Закрывайте за со...

За дверью послышался печальный голос Ниагарова:

— Обратите внимание:

Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внемлет,
Востепенится и поет:
«Это есть наш пос-лед-ний
И ре-ши-тель-ный бой...»

5. Ниагаров-журналист

В первом этаже редактор сказал Ниагарову:

— Товарищ Ниагаров! Вы не человек, а вихрь. В двух словах — гоните сочный, выпуклый, яркий и незабываемый очерк из жизни моряков. Наша газета «Лево на борт» щедро заплатит вам. Можете? Когда будет готово?

— Через десять...

— Ну, это долго.

— Через пять.

— Ниагаров, пять дней — это слишком долго!

— Чудак, вы говорите — дней, а я говорю — минут. Хе-хе! Где у вас тут ближайшая машинистка? Вот эта блондинка? Благодарю вас. Мадемуазель, вы свободны? Заняты? Ерунда! Ведомости подождут. Пишите...

Через пять минут Ниагаров загнал редактора в правый угол.

— Ну-с! Прошу убедиться. Слушай: «Митька стоял на вахте. Вахта была в общем паршивенькая, однако, выкрашенная свежей масляной краской, она производила приятное впечатление. Мертвая зыбь свистела в снастях среднего компаса. Большой красивый румб блистал на солнце медными частями. Митька, этот старый морской волк, поковырял бушпритом в зубах и весело крикнул: «Кубрик!» Это звонкое и колоритное морское восклицание как нельзя больше соответствовало переживаемому моменту. Дело в том, что жалованья не платили третий месяц, а райкомвод спал. Ау, райкомвод, проснись! Не мешало бы райкомводу завязать себе на память несколько морских узлов в час!» Все.

Редактор лежал без чувств.

Ниагаров сунул ему рукопись в карман.

— Вот чудак! Не выдержал выпуклости старого пирата Ниагарова. Плачешь, старик? В море захотелось? Ну, плачь, плачь. За деньгами приду позже. У меня еще вагон дел.

Во втором этаже Ниагаров сказал редактору:

— Что у вас тут? Газета «Рабочий химик»? Ладно. Я знаю, что тебе надо. Тебе надо, чтобы было ярко, выпукло, сочно и из быта химиков. Через пять минут. Где у вас тут машинистки? Что? Ведомости пишут?.. Пишите, мадам!.. Вот, готово. Ну-с, старина, слушай: «Старый химический волк Митя закурил коротенькую реторту и, подбросив в камин немного нитроглицерину, сказал: «Так что, ребята, дело — азот». — «Известно, форменные спирохеты, — подтвердили ребята, вытирая честные, изъеденные суперфосфатом руки об спецодежду, которую завком обещал выдать еще в августе, а теперь декабрь... и тянут. — Не мешало бы кое-кому и всыпать нафталину». Ну как тебе это нравится? Что, даже слезы на глаза навернулись?

То-то! Ниагаров, брат, знает, как и что. Ну, приди в себя, за деньгами загляну позже. У меня еще уйма работы, побегу к железнодорожникам.

— Где у вас тут машинистка? Здравствуйте, барышня... Готово? Мерси... Ну, слушай: «Старый железнодорожный волк открыл семафор и вошел в тендер, где ютилась его честная, несмотря на ее многочисленность, семья. Посреди комнатки, оклеенной портретами вождей железнодорожного пролетариата, весело потрескивая, горела букса. «Умаялся я, Октябрина», — сказал Митрий жене. «И то, Май Петрович, и как не умяться! Чай, до сих пор спецодежды не выдали?» — «Не выдали, Октябрина, ох, не выдали. А я, глядь, свои буфера сносил совсем». Где-то далеко за водокачкой грустно гудел шлагбаум. По шпалам шел местный П-42».

Вдалеке в голову Ниагарова били склянки. Этажей было пять, а Ниагаров летел с самого верхнего. А вы говорите — профессиональная печать!

6. Ниагаров-производственник

Небезызвестный Ниагаров, потомственный и почетный спец, помощник директора мебельной фабрики «Даешь стулья», сделал эффектную паузу и продолжал бархатным баритоном:

— Итак, милостивые государи, милостивые государыни, граждане и, я бы сказал, товарищи! Обрисовав в ярких красках основные задачи нашего сегодняшнего производственного совещания, я хотел бы остановиться на вопросах, непосредственно связанных с самим производством стульев, столов, гарнитуров и прочих предметов, являющихся основным и перманентным элементом нашей, так сказать, альма матер.

— Вот так здорово завинтил! — раздался робкий возглас из задних рядов.

Ниагаров строго постучал автоматической ручкой по столу и продолжал:

— Именно-с, альма матер... И нечего хихикать! Каждый образованный человек должен знать, что это значит. А если вы, товарищ из седьмого ряда, мало интеллигент-

ны и интеллектуально консервативны, можете покинуть аудиторию. Да-с! Итак, господа, поменьше слов, побольше дела. Перед нами стоит сложная и ответственная задача — удешевить свое производство и вытеснить с рынка частную мебель, но, прежде чем подойти к вопросу вплотную, мы должны бросить ретроспективный взгляд на все этапы, пройденные мебельным производством за последние две-сти — триста лет. Гм... В своем поступательном движении эволюция мебельного производства эпохи Ренессанса была тесно связана с живописными школами того времени. Это может показаться парадоксальным, но си нон э вэро, э бэн травато, как говорили великие знатоки мебели, древние римляне...

Среди рабочих начался шум. Раздались голоса:

— Да ты нам баки не забивай древними римлянами!

— Ближе к делу!

— Ты лучше скажи, как лучше стулья делать — на шульках или на гвоздях?

Ниагаров обиделся.

— Господа, попрошу не шуметь! Разрешите мне, как незаменимому спецу, осветить мебельный вопрос в широком масштабе, в аспекте мировой истории, при ярком свете беспощадного анализа фактов, которые по своей эквивалентно...

— Довольно!

— Заткни фонтан!

— Что ты нам тычешь в глаза аспектом да эквивалентом? Ты нам лучше про мебель говори. Как ее подешевле да получше сделать?

Ниагаров слегка побледнел.

— Вы хотите, чтобы я говорил непосредственно про мебель? Хорошо. Я буду говорить про мебель. Возьмем, например, господа, стул. Из чего состоит стул? Стул состоит из четырех ног, спинки и сиденья... Гм... да... Гм... На первый взгляд — просто. Но, господа, то есть товарищи... Возьмем простой стул и бросим на него ретроспективный взгляд в ракурсе конкретизированного и перманентно го производства...

Аудитория, ломая на своем пути скамьи, с воем ринулась на Ниагарова. Ниагаров ловко увернулся от летящей в него галоши и юркнул в боковую дверь.

— Беда с этими спецами! — со вздохом говорили рабочие. — Ты ему про стулья, а он тебе про ретроспективный!

На другой день Ниагаров уже выступал на другом производственном совещании.

Полузакрыв глаза и изящно помахивая автоматической ручкой, он вдохновенно говорил о производстве автомобиля под углом перманентно изменяющейся ситуации исторических событий, с точки зрения ретроспективного анализа мирового империализма.

7. Похождения Ниагарова в деревне

Небезызвестный Ниагаров выкинут из пятнадцати учреждений: из пяти за взятки, из пяти за пьянство, из пяти по сокращению. Вот Ниагаров, а вот его орудия увеселения: граммофон, гитара и кошка.

— А между прочим, жрать хочется. Ба, идея! Поеду в деревню. Там, говорят, шефов любят. А ну-ка, где мои большие очки и мой красивый портфель?

— Однозвучно гремит колокольчик. Гай-да тройка! Ямщик, погоняй лошадей! Знай, кого везешь: Ниагарова везешь! Ка-к-каналья!

— Кто едет?

— Ниагаров едет. Из центра. Не иначе как шеф.

— Ты председатель сельсовета? Каналья! Почему без колокольного звона меня встречаешь? Не потерплю! Веди меня в красный угол. Пирогі чтоб! И прочее чтоб!

— Я, братец ты мой, с самим Ваней Калининым на дружеской ноге!

— Какой же он Ваня, ежели его Михаил Ивановичем звать!

— Деревенщина. Для кого Михаил Иванович, а для кого и просто Ваня. Ведь мы с ним друзья детства. Учились вместе. В кадетском корпусе.

— А ты, баба, не пищи! Я с тобой по-хорошему... Шефскую работу среди женщин, можно сказать, веду не покладая рук, а ты упираешься. Нехорошо, баба! Нельзя от смычки уклоняться, баба!

— А это-та что? Кооператив? Очень приятно. Отнеси, братец, этот мешочек муки в мою бричку. Да сахарку прихвати. Так сказать, от подшефной волости дорогому шефу на добрую память. Хи-хи!

— Плохая у вас изба-читальня, ребята! Самоучителя танцев нету. Смотреть противно. Тьфу!

— А это что? Касса взаимопомощи? А ну-ка, проверим, как она у вас работает. Дай-ка мне, братец кассир, до среды червячка два-три. Мерси. Старайся, кассир! Я тебя не забуду, кассир! Прощай, кассир!

— Прокатный пункт. Всякие там молотилки для удобрения. Ерунда! И-и... Су-пер-фос-фат.

— Ты мне лучше, председатель, покажи самогонный завод. Желаю искоренять пьянство!

— Очень хороший завод. Вот это я понимаю. Ведер пять в день, чай, добываете?.. Больше? Ого!! Молодец! Старайся. Я тебя не забуду. Ик!

— Черт возьми, крепкий спиртыга! Ик! Где это я? Здравствуй, свинья. Дай я тебя поцелую, детка. Люблю. Ик! Жив... жив... жив... жи-вотно-водство. Я тебя не забуду, свинья. Спокойной ночи, свинка!

— Кто едет?

— Настоящий шеф едет. А тот оказался липой!

— Предъявите, гражданин, ваши документы. Посмотрим, какой вы есть шеф.

— П... п... пожалуйста! Удостоверение о досрочном освобождении из тюрьмы, квитанция за электричество, повестка от народного следова...

8. Ниагаров-радиолюбитель

Ниагаров деловито ворвался в мою комнату и отрывисто бросил:

— Работает хорошо?

— Ч-чего... работает?

— Радио, говорю, хорошо работает?

— Совсем не работает,— застенчиво сознался я.

— А что такое? — встревожился Ниагаров.— Антенны пошаливают? Или, может, землю плохую для заземления покупали?

Мне было совестно обманывать этого чистосердечного добряка.

— У меня вообще... нет радио... — глухо прошептал я. Ниагаров схватился за голову:

— Как?.. У вас?.. Вообще?.. Нет?.. Радио?.. Да вы с ума сошли! Да в таком случае я должен вам немедленно его устроить... Не-мед-лен-но.

— Зачем же... немедленно? — бледно улыбнулся я.

— Никаких возражений, именно немедленно! Никаких отказов! Ни-ни! Тем более что это так просто... Домашними средствами. Без особых затрат и дорогостоящих приспособлений. В два счета. Раз-раз — и готово. Клянусь, что через каких-нибудь полчаса вы будете, не сходя с места, наслаждаться большим академическим балетом. Впрочем, к делу. Не такой человек Ниагаров, чтобы зря языком болтать. Где у вас тут ближайший чердак?

У меня потемнело в глазах.

— Это что?

— Т-трубка телефонная.

— Телефонная? Это хорошо. А вот мы ее сейчас. Чик-чик — и готово. Была телефонная трубка — и нету, так сказать, телефонной трубки! Да вы не волнуйтесь! Чудак человек, нельзя же, чтоб радио — и было вдруг без трубки. А это что?

— З-з-звонок электрический.

— Оч-чень хорошо! Отличная антенна! Где ножницы? Спокойно! Чик-чик. Готово. Мерси! А это что такое?

— Ф-ф-фторточка.

— Гениально! А вот мы ее сейчас. Чик-чик. Дзынь — и ваших нет... Чудак человек — опять плачет. Чего, спрашивается? Ведь нужно же куда-нибудь заземление всунуть?.. Холодно? Ерунда! Говорят, на днях опять потеплеет. А это что у вас такое из бокового кармана торчит?

— Ч-ч-ч-часы-ы...

— Замечательно! А ну-ка, давайте их сюда. Да не бойтесь, ничего ужасного не будет. Чик-чик — и готово. Я только маленькую пружинку из них вытащил, а остальное можете носить себе на здоровье. Чудак человек, не может же быть радио без детектора. А это что?

— Г-г-г-граммофон. Только, товарищ, он очень... дорогой...

— Дорогой? Тем лучше... Виноват, одну минутку. Где у вас молоток? Мерси. Чик-чик — и гото...

Через два часа я стоял на обломках своего семейного

очага и, грозно потрясая над головой остатками дорогой пишущей машины, кричал Ниагарову:

— Негодяй! Ты ввел меня в заблуждение обманчивыми перспективами дешевого радио. Ты разорил меня и мою семью. Впереди мрак и нищета... Но я готов простить тебя, подлый Ниагаров, если услышу по твоему паршивому радио хоть один самый малюсенький звук. Хоть одно самое микроскопическое слово. Ну? Где же твоя радиопередача? Говори, гадина!

Ниагаров обидчиво заморгал глазами:

— Честное слово... вы меня прямо удивляете! Вы же понимаете, что я сделал все от меня зависящее. Как же можно что-нибудь услышать, если заземление плохое! Я же не виноват, что земля у вас под домом ни к черту...

Ниагаров не окончил своих гнусных оправданий. Я искалечил его.

9. Романтические скакуны гражданина Ниагарова

— Алла верды! — закричал роскошный и шумный Ниагаров, с грохотом врываясь в мой номер. — Селям алейкум!..

Я лежал на кровати, меланхолично ловя за задние ноги больших и урюмых владикавказских клопов.

На Ниагарове была новенькая черкеска с патронами на груди, большой серебряный кинжал, пара добрых кремневых пистолетов с насечками, карабин в косматом чехле и бутылка-термос.

— Что с тобой случилось, Ниагаров? — вяло заинтересовался я. — Можно подумать, что тебя сократили с места службы и, лишившись своего честного пятнадцатого разряда, в припадке вполне понятного острого отчаяния, ты решил открыть небольшой кавказский ресторанчик с подачей напареули и шашлыка на вертеле?

— Ишак и баран! — сердито сказал Ниагаров. — В тебе нет никакой романтики... По Военно-Грузинской дороге ездил?

— Не ездил, — сознался я.

— Безумец! Он!! Не ездил!! По! Военно!! Грузинской!! Дороге?!?! В таком случае немедленно одевайся и едем. В седле держаться умеешь? Не умеешь? Тем лучше. Я тебя быстро научу. Главное — держись все время на шенкелях, хорошенько подтяни подпругу. Если будешь падать в

Дарьяльское ущелье, не хватая коня за уши — карабахские жеребцы этого терпеть не могут.

— Я не хочу ехать по Военно-Грузинской дороге, — бледно запротестовал я.

— Ни-ни! — твердо сказал Ниагаров. — Никаких возражений! Иначе ты меня кровно оскорбишь, и я буду вынужден тебя немножко зарезать вот этим найшаурским клинком, доставшимся мне по наследству от самого Шамиля. Ну? По рукам? Едем?

— По рукам, — вздохнул я. — Едем.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Ниагаров. — Сейчас я закажу у швейцара карабахских скакунов, и не пройдет какого-нибудь часа, как мы уже будем мчаться на головокружительной высоте, обгоняя встречных орлов и пугая горных газелей.

Я с дрожью вздохнул.

— Алла верды, — сказал Ниагаров швейцару, — селям алейкюм... Слушай, кацо! Тыфлыс знаешь? Военно-Грузинская дорога знаешь? Так вот, я и мой кунак — ми желаем проехать по Военно-Грузинской дороге на Тыфлыс...

— Понимаю, — сказал швейцар.

— Два карабахских скакуна имеешь?

— Чего-с?

— Скакунов, говорю, карабахских имеешь? — внушительно отчеканил Ниагаров. — Потому я и мой кацо, который кунак, мы оба-два желаем на Тыфлыс верхом ехать.

— Помилте-с... Верховых-с лошадок-с не держим-с! А которые граждане интересуются по Военно-Грузинской дороге проехать, обнаковенно на автобусах ездют. Прикажете два билетика-с?

— Эх, вы! Мещане! — бодро сказал Ниагаров. — Никакой в вас романтики нету! Ну да уж все равно. Раз нет карабахских скакунов, валяй два билета на автобус. Только чтоб задние места были...

— Ну, дружище, теперь держись! Смотри и удивляйся! — сказал Ниагаров, когда стосильный новенький открытый автобус марки «фиат», наполненный экскурсантами, по удобному шоссе въехал в небольшие горы. — Сейчас ты увидишь Кавказ во всей его величественной красе, полной пленительной романтики и дикой прелести. Сейчас ты увидишь потрясающее Дарьяльское ущелье, где дикий Терек с воем и грохотом, играя, несет по своему кипящему руслу валуны и обломки скал... Ты увидишь сейчас разва-

липы замка на вершине недоступной скалы, где, по преданиям, жила легендарная царица Тамара... Ты увидишь бешеные водопады, ты прочтешь на утрюмых скалах, повисших над пропастью, неизвестно кем выбитые цитаты из знаменитой пэмы легендарного грузинского поэта Шота Руставели. Ты увидишь бродячего певца, пробирающегося по легендарной неприступной горной тропе, который сжимает в смуглых руках потрясающую зурну, с тем чтобы в непосредственной близости к дикому небу воспеть дикую красоту знаменитых девушек Кайшаурской долины... Ты увидишь дикого орла, который, с недоступной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне... Ты, наконец, будешь свидетелем дикого нападения легендарных чеченцев, которые с высоты неприступных скал ринутся вниз, на наш потрясающий караван, кото...

Многие из экскурсантов рыдали.

— Товарищи,— торжественно провозгласил Ниагаров.— Внимание! Сейчас мы въезжаем в упомянутое мною Дарьяльское ущелье. Как видите, слева легендарный непроходимый Терек, а справа, на неприступной скале, знаменитый замок потрясающей царицы Тамары. Прошу снять головные уборы!

Я с жадностью прижал к глазам бинокль и навел его на стены знаменитого и неприступного замка Тамары.

— Ну, дружище, что ты на это скажешь, жалкий филистер и пошлый отрицатель романтики?

— Потрясающее зрелище,— сознался я, содрогаясь и ликуя.

Но в это время машина остановилась, и шофер, закатав штаны, деловито перешел Терек, направляясь к замку Тамары.

— Эй! Кацо! — закричал Ниагаров, бледнея.— Алла верды! Остановись, безумец! Что ты хочешь делать?

— Папирос купить,— флегматично ответил шофер, сплевывая через легендарный Терек.— Тут, в замке Тамары, единственный приличный кооператив, а во всех остальных замках Тамары пока что частники засели, так что, пожалуй, до самой Кайшаурской долины доброкачественной продукции нигде и не достанешь...

— Ну-с,— деловито заметил Ниагаров после напряженного получасового молчания,— ну-с, дружище... Сейчас мы будем проезжать мимо легендарных скал, повисших над

пропастью, где выбиты знаменитые цитаты из непревзойденного творения феноменального поэта Шота Руставели. Ба! Вот и цитаты! Хватай бинокль и читай, пользуйся слушаем. Не правда ли, незабываемые строфы? Это как раз из первой части легендарной поэмы «Носящий барсову шкуру». Читай же, читай!..

Я приложил к глазам бинокль, не без труда отыскал среди грязных камней легендарную цитату и прочел ее вслух:

**СПЕШИ, ТОВАРИЩ, В СБЕРКАССУ —
ПОЛУЧИШЬ УДОВОЛЬСТВИЙ МАССУ!**

Немного повыше было написано красной краской:

ВСЕ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Два часа ехали молча. Вдруг Ниагаров очнулся.

— Н-нуте-с! — с деланной бодростью воскликнул он. — Нуте-с... Теперь, мой скептический друг, держись. Из-за этого страшного поворота на беззащитных путешественников всегда нападают легендарные разбойники, чеченцы-джигиты, которые...

И действительно, из-за поворота вдруг выскочило несколько туземцев. С громкими криками они бросились к машине.

— Граждане! Приготовьте оружие! — фальцетом закричал Ниагаров, дико вращая торжествующими глазами и пытаясь извлечь из ножен кинжал. — Предлагаю биться до последней капли крови. Алла верды!

— Чего кричишь? — сухо заметил шофер, замедляя машину. — Режут тебя, что ли? Не видишь — люди газетку московскую просят. Матчем между Капабланкой и АLEXИНЫМ очень интересуются. Спрячь ножик...

— Товарищи! — через два с половиной часа встрепенулся Ниагаров. — Смотрите и умиляйтесь! Видите в отдалении черную точку? Это не что иное, как фигура легендарного бродячего певца, местного трубадура, который, пробираясь по неприступной горной тропинке, в непосредственной близости к дикому небу, играет на своей старинной зурне, воспевая в мелодичных стихах дикую красоту популярных красавиц легендарной Кайшаурской долины... Внимание, сейчас мы поравняемся с ним. Шофер, будьте любезны, остановите машину, для того чтобы мы

все могли услышать упоительную мелодию и непревзойденные слова, которые...

Машина остановилась. На дороге стоял молодой туземец. В руках он действительно держал туземный музыкальный инструмент и действительно, перебирая струны вышеупомянутого инструмента, пел нечто туземное и элегическое...

— Ага! Что я говорил! — с торжеством воскликнул Ниагаров. — А ты еще, скептик несчастный, не верил в существование высокой романтики!

В эту минуту молодой туземец с силой ударил по струнам инструмента и запел резвым голосом:

Это очень некрасиво —
Нет у нас кооператива.
Кооператива нет,—
Куда смотрит сельсовет?

Разве это не позор,
Что доселе среди гор
Частный прячется хозяйчик,
Бедняков грызет, как зайчик?

— Местный селькор, — пояснил шофер.

— Псевдоним «Красный Шакал», — любезно добавил молодой туземец, с новой силой ударяя по струнам.

— Товарищи! Граждане! Внимание! — хрипло крикнул Ниагаров. — Смотрите, орел летит! Я же вам говорил, а вы не верили! Смотрите, смотрите! Живой, настоящий орел, с отдаленной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне...

Над шоссе с шумом пронесся аэроплан.

Через два часа Ниагаров очнулся от обморока и, поднявшись со дна автобуса, обвел окрестности мутными глазами. Вдруг лицо его оживилось.

— Товарищи! Внимание! — пискнул он. — Шедевр романтической красоты! Слияние Арагвы с Курою. Средневековый легендарный монастырь. Мцыри. Лермонтов... Дикая красота... Мрачный пейзаж... Обратите внимание...

Из-за внезапного поворота в темноте вдруг блеснуло море электрического света. Необыкновенно полновесные, плавные, широкие и солидные воды шумели в шлюзах но-

вой; мощной электростанции. Было светло как днем. И над плотиной возвышалась фигура Ленина.

— ЗАГЭС,— коротко сказал шофер.

По приезде в Тифлис я выгрузил из автобуса безжизненное тело Ниагарова и на извозчике отвез его в местное отделение Исторического музея, где он в состоянии полного оцепенения находится, вероятно, и посейчас, являясь редким экземпляром вымирающей породы русских романтиков.

1923—1927

ФАНТОМЫ

I

...Итак, все было как полагается...

Ночь... Революция... Метель... Москва.

Вероятно, я прошел тридцать верст и обошел сто улиц. Я подымался и опускался. Я натыкался на греческие портики и скользил по обледенелым помоям проходных дворов. Я видел белый снег на черной голове Пушкина, который держал за спиной полубелую шляпу и смертельно скучал. В каком-то узком, высоком и темном переулке стоял дом, созданный для того, чтобы в нем родился Золя: каменноугольный, плоский и по-европейски старомодный. Напротив стоял другой дом, уходивший верхушкой во мрак. На нем было написано «крыша». Но почему крыша и чем она замечательна, я не успел обдумать, так как передо мною появился человечек. Он возник из воздуха, из небольшого снежного вихря, не иначе. Гробовая зелень газового фонаря упала на его остренькую мордочку с мышинными глазками. Человек был одет крайне легкомысленно. Бабья стеганая кацавейка поверх солдатской шинели, носившей на себе отпечаток сотни пехотных дивизий и распространявшей дезинфекционный запах доброго санитарного эшелона. Ноги карлика были обкручены замогильными обмотками. Громадные солдатские башмаки, разъехавшиеся по всем швам носорожьими панцирями, еле защищали грязные ноготки детских пальчиков. Человечек испустил страшный вопль:

— О-у-э!

Тогда я еще не знал, что это — клич фантомов.

Теперь, через полтора года, когда я пишу эти строки, мне слишком хорошо известно значение этого ночного жуткого вопля. Сейчас второй час ночи. Слева от моего стола, свернувшись калачиком, спит жена. Под розовую щеку она положила ковшиком обе руки и, уткнув круглый, детский нос в подушку, обиженно сопит и сладко жует губами. Стол мой вплотную придвинут к двери. Дверь закрыта на крючок. За дверью — «они». Они говорят монотонно, тягуче, длительно, неинтересно, плоско. Но говорят, говорят, говорят... И вдруг за окном раздается стук. Моментально они подымают невообразимый шум. Мебель трещит и падает. Валяются какие-то стекла. Пружины матраса бьют, как провинциальные стенные часы.

Раздается вопль: «О-у-э!..» Слышится сухое шелканье языка: «Эге!» И только что прибывший фантом, неуклюже зацепившись за подоконник, грузно валится в комнату. Гуп! Мой письменный стол содрогается. Жена испуганно вскрикивает во сне «ах!», открывает широкие синие глаза и минуту смотрит на меня в упор, ничего не понимая. Потом засыпает.

Десять минут за дверью они, захлебываясь, веселятся. Они палят вопросами и ответами, грузно хохочут, визжат, задыхаются, танцуют, суетятся, просят папироску, ищут спичек, декламируют, завывая, Андрея Белого. Кричат «тише, господа» и «просим». Проходит десять минут — и снова они впадают в деловитое уныние, и говорят, говорят, говорят... Вот, например, под самой дверью кто-то бубнит таким деловым, небрежным, даже усталым голосом: «Видите ли, на днях я беру в аренду дом, так что вы не беспокойтесь. Сто двадцать четыре комнаты. Никакого ремонта. Освещение электрическое, отопление паровое, окна на юг. Представьте, до сих пор никем не занят! В центре города. Я сам удивляюсь. Дайте папироску. Плохая? Это ничего, благодарю вас...»

Впрочем, я, кажется, отклонился в сторону.

Итак, человек, возникший из воздуха, испустил вопль: «О-у-э!» Он склонил голову в эскимосской шапке набок, подобрался ко мне, сложил ручки на груди крылышками эльфа и заговорил бабьим голосом:

— Ба! Кого я вижу? И вы здесь, в Москве? Приветствую вас, приветствую!

Я присмотрелся и, черт возьми, узнал его. Конечно, это тот же самый молодчик, который в свое время, на юге, предсказывал антихриста дрянным пятистопным ямбом и

таскал за собой какую-то рыжую лошадь, уверяя, что это святая женщина Софья Ивановна.

— Милый Валя! Это — провидение! Да. Я знал, что встречу вас. Знал-с. Да. Я должен вам показать Москву. Гм! Немедленно. Это моя священная обязанность. Час ночи? Это ничего. Самое подходящее время. Пойдемте.

У меня не было ни малейшего основания отказаться.

Он вцепился в мой рукав и поволок через сугробы.

Всю дорогу он говорил. Он называл улицы и показывал дома, в которых обитали «совершенно изумительные люди». Он забегал вперед, путаясь под ногами, вертелся мелким бесом, расточал ласки и улыбки. Через каждые две фразы он восклицал в припадке конспиративного энтузиазма:

— Валя! Вы должны с ней познакомиться! Она святая женщина. Великая блудница!

— Лошадь-то?

Он укоризненно хихикал.

— Ай-яй-яй! Нехорошо! Святая женщина. Магдалина. Великая блудница, кристальный человек — Вера Трофимовна. Мученица.

Затем он, подмигивая, шептал мне в бок:

— Скупа, скупа-с. Врать не буду. Как черт скупа, но при случае может бутылку спирту поставить. Совершенно изумительная женщина! Святая. Мужа в милицию определила. Красть заставила. Выгнали-с. А святая. Вы должны с ней познакомиться. Идемте-с. Не сопротивляйтесь. Грешно. А насчет ночлега не беспокойтесь. Будет. Святая женщина.

Мы пересекли какую-то часть ни с чем не соразмерного и затейливого города и наконец вышли на Чистые пруды. Здесь было меньше свету и больше снегу. Выпала пороша. В полупрозрачных белых облаках прорезывалась зеленоватая ущербная луна. Черная вязь деревьев смутно и дико рисовалась на ее туманном пятне. Голосили невесть какие петухи.

Это была Москва! Да, это была Москва, это были Чистые пруды, и в Кривом переулке над воротами дома мутным фосфором горела цифра.

Карлик засуетился еще пуще:

— Сюда-с, сюда-с! Держитесь за мой хлястик.

Он втащил меня в туннель подворотни и втолкнул в черную дыру. Я трахнулся головой о притолоку. В полной тьме (как за пазухой) он заставил меня опускаться и по-

дыматься по каким-то ступенькам. Наконец послышался стук в дверь.

— Э-о-у! Эгэ? Войдите! (Из недр.)

Он потянул скобку. Дверь была не заперта. Темнота скрипнула и расколосась. Прямо в нос ударило крепким сивушным запахом. Следом за карликом, конфузясь от света, через гремящую железным хламом прихожую я вошел в комнату.

Великая блудница, кристальный человек, изумительная женщина Вера Трофимовна валялась посреди комнаты на громадном пружинном матрасе, завернувшись по голые толстые плечи в стеганое одеяло, пахнущее халвой и крысами. Над ней в пыльной, пышной, ужасающей люстре тупо горела одна дрянная электрическая лампочка слабого накала. Дюжина крыс метнулась из-под наших ног и дробным галопом брызнула в черные углы, полные антикварной дряни и окурков. Перед ложем великой блудницы стоял обеденный стол. Посреди стола лежала горка сахарного песку. Рядом чулок и стоптанный башмак с левой ноги. Несколько ложек, грозных размеров бюстгалтер, полтора фунта хлеба, стеклянный кубок, скелет селедки, «Дали» Брюсова, картофельная шелуха, краска для губ, пудреница, машинка для снятия сапог.

Увидев нас, великая блудница еще раз сказала «эгэ» и щелкнула языком. Затем она заговорила, и больше уже никогда в жизни я не видел ее молчаливой. Это было стихийное бедствие. Катастрофа. Универсальные брошюры по всем вопросам литературы, техники, философии, этики, социологии и животноводства сыпались из этой мрачной дамы, как из взломанного шкафа полковой библиотеки. Она уничтожала меня цитатами, зловеще хохотала, высывала из-под одеяла толстую голую купеческую ногу, вращала облупленными яйцами глаз, чесалась под мышками, забивала в рот куски хлеба и жрала столовой ложкой сахарный песок.

Моему карлику не терпелось. Ему тоже страсть как хотелось поговорить. Он поправлял круглые стальные очки, потирал ручки-крылышки, мыкался по углам, совал в рот корки и приговаривал:

— Очень хорошо-с. Вот именно-с. Святая женщина. Великая блудница. Что я хотел бишь сказать? Да... Новая мемория...

Громадная, неуклюжая, обляпанная кашей кирпичная печь занимала четверть комнаты. Она стояла боком. Она угнетала своей сапожной трубой. Она была воплощенным

надругательством над идеей домашнего очага. Все печи, виденные мною в период 1919—1921 годов, бледнели перед этим детищем военного коммунизма.

Обо мне забыли. Я уныло снял шапку и, как извозчик, пришедший на квартиру получать деньги с пьяного седока, нелепо путался в лисьей шубе с чужого плеча, которая в Харькове казалась мне весьма столичной. Мебель красного дерева, стеклянные горки, копии Маковского, румяные тройки и синие ямщики на лаковых ларьках, бронзовые шандалы, японские ширмы, золоченые стулья, портьеры, сапоги, статуэтки, старинные монеты, сушеные грибы и невымытые тарелки — вся эта московская бутафория, все было покрыто черной паутиной и хлопьями густой пыли. За окнами угадывалась свежая синева ночи.

Она все говорила и говорила. Карлик не вытерпел. Он выждал удобную паузу и резвой рысью ринулся по аффризмам великой блудницы. Они заливались в два голоса.

Насколько великая блудница в своих тирадах была бескорыстна, настолько карлик был расчетлив и корыстен. Она была просто глупа. Глупа восхитительной глупостью шестипудовой эмансипированной купеческой дочки, окончившей Высшие женские курсы и ударившейся в антропософию. Он был глуп далеко не просто. Он был глуп талантливо. Он говорил невероятную чепуху об иезуитах, об антихристе, о патриархе Тихоне, о мистике Соловьеве и о прочем в этом же духе, не забывая, однако, время от времени вздохнув, прошептать:

— Я взалкал, Вера Трофимовна! Взалкал. Хорошо бы поесть чего-нибудь. Да. О чем бишь я? Да...

Она была скупа, эта несчастная Рекамье N-го переулка. Но он был еще более настойчив. Она подбросила в печку дров и поставила на огонь громадную кастрюлю какого-то варева.

Этого карлику показалось мало. Он подмигнул мне украдкой и пошел сыпать таким отборным горошком, что блудница не выдержала. Она выпросталась из своего тряпья и зашлепала босиком в соседнюю комнату, откуда несколько раз уже выходил безмолвный, дубовый солдат с дымящимися ведрами. (Я ничему не удивлялся.) Она выскочила из таинственной комнаты, прижимая к пудовым грудям бутылку спирта, вакхически повела бедрами и, жадно закусив толстые губы, хрипло воскликнула: «Эгэ?» Ей было смертельно жалко своего добра, но у меня был настолько провинциальный вид, что не убить меня на месте широтой своей строгановской натуры было выше ее сил.

Да, доложу я вам, это был спирт. Самогонный, правда, но какой выделки! Давненько я не пробовал такого спирта. За первой бутылкой явилась вторая. Мы пили спирт из стеклянного кубка. Мы сыпали в него сахар, мы доливали его кофе, мы безумствовали. Тупая желтая лампочка размножалась под потолком со сказочной быстротой. Дубовый солдат проплывал взад и вперед, размахивая дымящимся ведром. Карлик снял шинель и в одной кацавейке вытпывал русскую. Она разметала свои русые подрубленные волосы. Груды ее болтались. Она палила в меня порнографическими декадентскими стишками, восклицая:

— А? У вас на юге так писать умеют?

Это меня взорвало.

— У нас? На юге? Так? Писать? Ха-ха-ха!

Я не владел собой.

— А Нарбута Владимира «Александру Павловну» читали, сударыня? Нет?

Я вытащил из сапога книжку.

Карлик хлопал по бедрам рукавицами. Я ее раздавил. Его очки сверкнули и погасли. В стихах, которые я прочел, точек было больше, чем слов. И, клянусь, я эти точки яростно заполнил.

Ну и спирт же был, черт его подери! Часы у соседей прозвонили пять, а потом что-то много — не то четырнадцать, не то семнадцать. Дубовый солдат дымился, как миска щей, из которой торчат тараканы и усичи. Карлик лежал в углу и простирал вверх руку. Я потребовал подушку и три квадратных аршина чего-нибудь подходящего. Меня ткнули в темную комнату и уложили на неудобном. Ветер засвистал в ушах, и меня понесло вниз головой к чертовой матери в обратную перспективу.

Вчера тоже дул пронзительный ветер. День был яркий и ледяной. Ветер брил мои щеки. Он подметал булыжные мостовые незнакомых мне улиц, глодал голые, обледенелые с подветренной стороны деревья, раздувал до невероятного блеска полярное стеклянное солнце, низко и косо висевшее в васильковом мартовском небе.

Шесть трактиров встретили меня у вокзала почетным караулом. Четыре из них были «Орел», остальные — «Тула». Улица называлась Садовая. Это был Курский вокзал. Это была Москва. Я был раздавлен.

Роскошный извозчик, вероятно родной сын того самого лихача в островерхой лисьей шапке, который в свое время

возил князя Нехлюдова, коварный раскосый татарин типа Золотой Орды, потребовал с меня половину всех моих провинциальных сбережений. Я не осмелился возразить. Он был слишком столичен, а я слишком ничтожен. Он назвал меня «вашсиясь» и повез.

Я не скрою от вас ничего.

В тот миг я мечтал раскусить Москву, как орех. Я мечтал изучить ее сущность, исследовать, осмотреть, понять, проанализировать.

Я мечтал увидеть наркомов и Кремль, пройтись по Тверской, снять шапку перед мелкими куполами арбатских часовен (о, Бунин, Бунин!), потрогать колесо Царь-пушки.

На каждой улице, по моим расчетам, должен был гулять кто-нибудь из великих — Шалапин в шубе или Маяковский в полосатой фуражке и шарфе.

Я знал, что в Москве есть кафе союза поэтов и еще кафе «Стойло Пегаса», битком набитые неоклассиками и имажинистами.

Исследовать Москву!

Не так-то легко это было сделать.

Немедленно же я попал в коварный заговор.

Улицы и переулки, дома и бульвары, церкви и автомобили, трамваи и тресты — они все стоворились против меня. Извозчик был с ними. Я ничего не понимал.

Несуразный город поворачивался ко мне углами и трещинами переулков. Дома шарахались и разбегались во все стороны. Трамваи проносились мимо, пугая мое нищее впечатление литерами и искрами. Все без исключения в автомобилях были наркомы. Пешеходы сплошь состояли из знаменитых. За десять минут, пока мы ехали по некоей монументальной улице, я насчитал не менее ста шестидесяти Шалапиных и такое же количество Маяковских.

Часы на трамвайных остановках явно были в заговоре. Они путали время и приводили меня в замешательство. В начале улицы стрелки показывали четверть четвертого. В конце — без четверти четыре. А когда меня провозили через площадь, заваленную трамваями, на гигантском циферблате было десять минут пятого.

Я проехал через весь город, но не заметил ни Кремля, ни Щукинской галереи, ни Каменного моста, откуда Чехов так любил слушать пасхальный звон. Я даже не видел «Яра», того самого «Яра», где герои русских романов прожигали с цыганами отцовские деньги.

Зато я увидел зеленых лошадей.

Я запомнил их на всю жизнь. Они сделались моей путеводной звездой, моим ориентировочным пунктом, самым любимым моим местом в Москве. Их была четверка. Они летели над латинским портиком какого-то официального здания, вытянув ноги и классические шеи. Впоследствии я узнал, что это здание — Большой академический театр, а лошади эти — квадрига, как мне потом объяснили.

Человек, к которому я вошел в комнату, с ужасом посмотрел на мою дорожную корзинку и на сапоги. Он побледнел. Это был известный писатель.

Он был мужественным человеком.

Он поборол свой ужас и, бледно улыбнувшись, воскликнул глухим шепотом, — невероятно, но факт, он воскликнул именно шепотом:

— Ах, как я рад! Давно?

Мы расцеловались.

— Давно. Пятьсот улиц и тысячи переулков тому назад. Из Харькова. Я видел зеленых лошадей и множество часов, которые были заодно с извозчиком. Щукинской галереи я не видал. Дайте мне чаю. Я умираю от Москвы.

Он указал мне угол: сорок штук дорожных корзинок, столько же подушек и столько же чайников.

Я поставил свою наверх.

Мне дали чаю.

В соседней комнате пицал писательский младенец. Писательская жена кончиками пальцев сжимала виски. Сорок одна корзинка занимала треть комнаты. Копна корректур лежала на письменном столе, ожидая необходимой выправки. За окном, к вечеру, начиналась метель.

Я спрятал свои некрасивые сапоги под стул и жизнерадостно развлекал хозяев украинскими новеллами. В то же время я лихорадочно прикидывал, где бы мне расположиться на ночь. За печкой было бы, конечно, самое приятное, но на худой случай я бы не отказался и в сенях. Три стакана чаю, пора и честь знать. Однако хозяин тягостно молчал. Тогда я развязно встал и потянулся:

— Эх-эх-хе! Пора бы и на боковую.

Хозяин побледнел.

— Да, — сказал он, — уже того... десятый час. А вы что же, квартиру-то имеете?

Конечно, это была пустая формальность. Он знал, что у приезжих в Москву комнаты быть не может. Это знал и я. Но в лице хозяина я усмотрел нечто заставившее содрогнуться мое очерствевшее за пять лет сердце. Нет, действительно, у меня не хватило сил зарезать его, этого лихого

хлебосола. Да, я украл в 1921 году в одном знакомом доме простыню, что отрицать бесполезно, но на убийство, честное слово, я был еще неспособен. Я небрежно зевнул.

— Квартиру? Да, имею.

Он обалдел.

Это была настоящая победа. Первая московская победа, она же, впрочем, и поражение.

Он весело встрепенулся:

— Так что же вы, голубчик? Еще стаканчик? Или хотите бай-бай? Ну, доброй вам ночи. Не буду задерживать, дуся, поезжайте, отдохните с дороги. Завтра — обедать. Где же вы устроились?

— Устроился? В районе этого самого...

— Вот и чудесно! Рад за вас. Прекрасный район.

Я попросил у него разрешения оставить свою корзинку до завтра. Он с восторгом разрешил. Он умолял ее оставить. Он жалел, что это не велосипед в сосновом ящике.

Мы нежно простились.

Выпуская меня, писатель тревожно выглянул из сеней во мрак. Ночь и вьюга охватили меня в недрах этого собачьего переулка, что в районе Трубной площади. Впрочем, впоследствии оказалось, что площадка Собачья, а переулок Трубниковский, а вся эта музыка в совокупности помещалась в районе Арбата. Но в ту жуткую, вьюжную ночь мне ничего не было известно. Снег валил резко и обильно. Одинокий (эпитет каков, эпитет каков!), одинокий газовый фонарь задыхался в его дифтеритных налетах. Черный ветер дул в ресницы и жег уши.

Куда идти? Черт его знает...

Единственная московская улица, известная мне из русской литературы, была Тверская. Та самая, по которой «возок несется чрез ухабы», но где находились вышеупомянутые ухабы — было покрыто мраком. И ни одного прохожего.

Мороз крепчал.

Увы, я не могу выразиться менее банально, ибо это был действительно добрый, выдержанный мороз и он действительно крепчал, черт его подери.

Идти можно было налево или направо. Я выбрал из двух зол меньшее и пошел направо. В десяти шагах я наткнулся на прохожего. Это был великолепный экземпляр замерзающего младенца. Драповое пальто, барашковый воротник, борода, пенсне и руки в карманах. Я обрадовался:

— Скажите, как пройти на Тверскую?

Он с трудом разодрал обледеневшие усы и жалобно ответил:

— Я приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя? Это где-то здесь, поблизости, я уверен, но я забыл улицу и номер.

— Пятый дом налево. Торопитесь. Злоумышленники похищают вашу корзинку и чайник.

Он дико вскрикнул и кинулся во мрак.

Я закурил и, весело насвистывая «Интернационал», пошел дальше. Я шлялся по метели битых два часа, но никто не мог указать мне, как попасть на таинственную улицу. Не менее десятка прохожих застенчиво говорили:

— Я тоже приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя?

Положительно Москва была населена провинциальными гостями моего столичного друга.

Улица сменялась улицей. Москвичи отсутствовали. Толпы «нездешних» двигались в этой великолепной ночной путанице светящихся циферблатов, косого снега, пылающих вензелей кино и загадочных слов «Моссельпром», выбитых электрическими гвоздями в черном небе.

Остальное вам известно.

III

Я проснулся. Я вернулся из обратной перспективы неизвестно в котором часу утра и неизвестно где. Забыл.

Я лежал на сундуке. Вся комната была заставлена примусами, бидонами, змеевиками, бутылками. Это была очаровательная химическая лаборатория, небольшое предприятие на полтора ведра в день. Четыре примуса дружно гудели четырьмя синими розами, полными пчел. Окно было заставлено шкафом и завешено тряпками. Лампочка слабого накала горела сбоку мертво и угнетенно. Великая блудница деловито ползала меж синих роз с иголкой и, вся в пламени, звенела пожарными касками примусов. Стекланые стрекозы меркли над бидонами. Подо мною, в сундуке, слышалось сладкое сахарное брожение и посасывание. Там, в кадушках, под подушками шипела сахарная брага. Дубовый солдат возился с ведрами.

«Они» встали чуть свет.

Когда еще на улицах было пусто и розово, в утренний час белых столбов дыма и липовых толстых лопат дворников, румяная бабенка Дуняша и ее сын Андрейка звене-

ли в прихожей бутылками и шушукались с великой блудницей. Они положили в мешок товар, погрузили его на салязки-ледянки и двинули (от ворот поворот) по крепкому снежку, хрустящему, как огурец. Великая блудница засушила деньги куда-то под юбку, в панталоны.

Затем мальчик в башлыке, молочник, налил у печки молоко в голубую саксонскую вазу. Великая блудница хитро говорила:

— За деньгами завтра придешь. Нету. Завтра об эту самую пору, утречком. Нету денег, видишь? Ну да, об эту пору самую. За мною две кружки.

Мальчик потоптался, высморкался в передней и, громыхнув листовой жостью, ушел.

Вдруг над самым моим ухом зазвенел телефон. Вера Трофимовна вихрем, подобрав юбки и мелькая голыми ногами, ринулась через аппараты, через пламя и змевики к моему сундуку. Надо мною висел телефон. Она схватила трубку и всунула ее в растрепанные патлы возле уха. Ее глаза были круглы и толстые губы закушены. Она навалилась на меня локтем и, нервно почесывая затылок, сказала:

— Эгэ? Алло! Да, да...

Затем она завопила в трубку:

— Иван Платоныч, это невозможно! Это черт знает что! Это вас не касается... Что? Извините меня, пожалуйста, но этот номер не пройдет... — И пошла, и пошла. Она истерически хохотала и ругалась басом. Она вся наливалась кровью и багровела. Ее крутые глаза круглели и пушились.

Она повесила трубку и стала носиться по комнате, на ходу одеваясь, подмазывая губы и ресницы, прихлебывая из саксонской вазы молоко, суя щипцы в горящий примус и в рот — хлебный мякиш. При этом она говорила, говорила и говорила. Она была взбешена. Она выболтала мне все. Звонил экс-муж, Иван Платоныч. Негодяй. Мошенник, но с большими связями в милиции. Взятчик. Композитор-скрябинист. Они разводились. Он жил на стороне. Они делили обстановку и вещи. Она дала ему какие-то брильянты, лишь бы он убрался из квартиры. Он съехал. Теперь он шантажирует. Скотина. Кроме того (глаза круглы и голос — конспиративный хрип)... он влюблен. В нее. Он ее домогается. Он будет стрелять. Это ужасный человек. Демонический. Швейная машинка ее, а не его. Она это так не оставит. Он дьявольски ревнив. Он подглядывает за ней в окна. Каждые полчаса он звонит. Он умоляет,

грозит, хохочет. У него связи. Его знают все, он злой генерал. Он «засыплет» самогон. Он такой! Он все может. Ах, он сейчас придет!

— Ты его сейчас увидишь, Ивана Платоныча. (Это мне. На «ты».)

А карлик лежал на диванчике и, задрав ноги, ждал, когда дадут «подшамать», перелистывая с голодным отращиванием «Миги» Брюсова.

Я умывался в ванной. Крысы пищали за трубами. Полотенца не было. Утирался портьерой.

Иван Платоныч пришел, несмотря на восемнадцать градусов холода, в черном испанском плаще и сомбреро. Его лицо и длинный голубой нос в совокупности были похожи на тот нарисованный указательный палец, под которым обычно пишется: «Мужская уборная — первая дверь налево». Он держал во рту длиннейшую английскую трубку, пустую, впрочем. Он был высок и тощ, как антенна. С первого взгляда было ясно, что его пожирают высокие страсти и низкие инстинкты. Он криво и загадочно улыбался. Он сел за стол, щедро расставил ноги и процедил сквозь зубы:

— Ну-с, Вера Трофимовна... Как мы вырешим вопрос относительно швейной машинки и бронзовой девочки? А? Ну что, ваша фабрика работает?

Великая блудница заметалась, прыгая по золоченым стульям и саксонским вазам. Она кричала, топала ногами, швыряла небьющимися предметами и закусывала губу. Было видно по всему, что она дьявольски боится своего демонического «экса», у которого связи.

Он ледяным тоном требовал мебель. Она иступленно кричала о брильянтах. Он язвительно спрашивал о ее любовниках. Она швырялась стоптанным башмаком с левой ноги. Он грозился съездить к Бондарчуку. Она вопила: «Вы этого не сделаете!» Он цедил: «Отдайте швейную машинку». Тогда начались счеты. Оба они понижали голос и шипели друг против друга, как две змеи. И вдруг из этого шипа взвивалось ракетой: «Ах! Если на то пошло, то кто крал дрова? Кто достал ордер на красный шкаф? Кто?..» — и дальше свистящим шепотком о браслетах.

Очевидно, в свое время «было дело под Полтавой».

Она рванула ящик стола и бросила ему в лицо браслет. Он повертел его, посмотрел пробу.

— Мерси,— сказал он.— За вещами я пришлю завтра, но, может быть, ты одумаешься?..

Она стояла перед ним — руки в боки — в позе разгневанной царицы.

— Композитор! Негодяй! Оставьте меня в покое. Уведите свои вещи к черту!

Он закутался в плащ и исчез, хрипя пустой трубкой.

Потом она металась по комнатам, надевая лиловую шубу и рыжую папаху. Она кричала:

— Я этого не оставлю! Я поеду к Бондарчуку! Я ему подложу свинью!

Бондарчук был участковый надзиратель и жил рядом.

Как только она вылетела, карлик полез искать «шамовки». Он набивал рот холодной кашей и сахарным песком. Он блистал стальными очками и сокрушенно крутил мышиную своей головой.

— Ахти, какие неприятности! И вот всегда так. Взалкал я от всего этого... Да, о чем бишь я? Да: кристальные люди. Оба. Он — совершенно изумительный композитор. Маг. Вы не знаете его Прелюдии смерти? Напрасно. Не от мира сего человек. Она тоже изумительная. Блудница. Грешница. Скупа-с. Скупа-с. Но...

И, закатив глаза, он рассыпался мелким горошком.

«Черта теперь меня отсюда выселят!» — весело подумал я и пошел к писателю за вещами.

В этот твердый, белый день я увидел Москву опять. Зеленые лошади летели над портеком, вытянув классические ноги и шеи. Хрипели автомобили. Трамваи сыпали искрами. Летел снег. Папиросники продавали «Иру» и «Яву». Зеленая черепица Китай-города и круглые Никольские ворота двигались панорамой через синие стекла пенсне, над лавочкой оптика. Кремль стоял грудой золотых яблонь и шахматных фигур. Василий Блаженный распустил свой павлиний хвост. Мосты на Москве-реке были в толстом снегу. Свистели полозья. Фыркали лошади. Стежками громадами вставали тресты. В частнокоммерческих магазинах висели бревна осетров, которые сочлились желтым жиром. Восковые поросята лежали за стеклами Охотного ряда. Перед «Рабочей газетой» зеваки читали «Крокодил».

Да, это была Москва. Это был нэп.

Снег мелко стриг множество заводных людей. Которые были с портфелями, которые без портфелей.

Я втащил свою корзинку в комнату, отодвинул примусы в угол, застелил сундук простыней и сказал:

— Довольно бродячей жизни. Здесь я буду жить долго. Черта вы меня выселите отсюда!

Я тяжело вздохнул:

— Так-то, брат Саша! Засосала коммунистов мелкобуржуазная мещанская стихия. Канарейки. Пеленки. Суп с лапшой, голубцы и клюквенный кисель, одним словом... Такие-то дела.

— Не скажи. Я знаю многих, которые... Одним словом, пойдем. Я тебе покажу удивительного человека — Пробкина, коммуниста, вернее кандидата, его недавно в кандидаты перевели. А за что? За то, что в условиях нэпа, в самый, так сказать, разгар мелкобуржуазной стихии, умудрился сохранить всю свою коммунистическую чистоту. Можешь себе представить — он живет по принципам девятнадцатого года, кристальная душа, а его в кандидаты на испытание, как нерабочий элемент... Одним словом, идем...

Нам открыл дверь швейцар.

— Что, товарищ Пробкин, секретарь коммуны имени Октябрьской революции, дома?

— Так точно-с. У себя в библиотеке-читальне-с. Как прикажете доложить?

— Доложи, братец, что экскурсия пришла. Обозреть коммуны.

— Слушаю-с.

Я удивленно открыл рот, но Саша уцепил меня за локоть.

— Молчи, дурак, удивляться будешь потом,— прошептал он.

Мы поднялись по мраморной лестнице в бельэтаж. На массивной дубовой двери была прибита ослепительная медная табличка: «Николай Николаевич Пробкин. Директор треста «Красноватый шик». Немного пониже была табличка: «Образцовая коммуна имени Октябрьской революции» и «Без доклада не входить».

Дверь растворилась, и перед нами предстал удивительный Пробкин. На нем была грубая, засаленная блуза, из-под раскрытого ворота которой выглядывало хорошее белое и полосатый галстук бабочкой.

— Гляди,— сказал Саша,— это и есть замечательный Пробкин.

Пробкин скромно опустил глаза.

— Ну уж, и замечательный! Я что, я ничего. Живу себе помаленьку... Коммунально, коллективно, так сказать, на основе точного учета и кооперации. Ничего личного. Все общественное. Очень просто. Прошу убедиться. Например, общественное питание. Пожалуйста, госп...

На дверях столовой красовалась надпись: «Общественная столовая». Массивный дубовый стол, покрытый крахмальной скатертью, был со вкусом сервирован на четыре персоны. На стенах висели деревянные зайцы и фрукты, перемежаясь с лозунгами: «Общественное питание — залог коммунизма» и «Не трудящийся да не ест» и т. д. В углу на мраморном столике стоял блестящий самовар с надписями: «Кипятильник» и «Не пейте сырой воды».

Пробкин самодовольно снял пенсне и повел нас дальше.

— Пожалуйста. Клуб имени Октябрьской революции. Прошу убедиться. Пианино. Видите надпись: «Музыкальная секция». Затем небольшая марксистская библиотечка. Станюкович, Метерлинк, Мамин-Сибиряк, Надсон и все такое. Исключительно издания Маркса. Попугай в клетке. Аквариум с золотыми рыбками — зоологическая секция. На столе журналы... хе-хе! Все как полагается. Здесь члены коммуны могут проводить свое время в приятном и полезном отдыхе...

— Эт-то удивительно! — воскликнул экспансивный Саша.

Пробкин скромно улыбнулся.

— Пожалуйста дальше. Детский дом и ясли. Видите — детишки. Так сказать, цветы жизни. Это старший — Коля, а это маленький — Ванюша. Коля, шаркни дяде ножкой. Все в папашу. Вот думаю переименовать старшего в Крокодила, а младшего в Секретаря. Дети получают прекрасный уход, чистое белье и отличную пищу. Детским домом заведует моя жена. Симочка, поди-ка сюда! Тут экскурсанты пришли... Она же и кормилица... хе-хе! По совместительству, так сказать. Ну, да ничего не поделаешь. Коммуна, знаете ли, маленькая, штат не особенно увеличишь.

Мы пошли дальше.

— Вот, пожалуйста! Обращаю ваше внимание: коммунальная кухня. А вот и секретарь ячейки нарпита. Здравствуй, Степан!

Монументальный повар в белом фартуке и колпаке степенно поклонился товарищу Пробкину.

— А что у нас, братец, сегодня на второе?

— Осетрина Макдональд и котлеты а-ля Коминтерн.

— Дальше, господа, ледник, кладовая, погреб, продо-

вольственный склад и т. д. Это не так интересно. Затем еще есть местная ячейка женотдела. Опять же моя жена в ней орудует. Потом общая спальня для административного персонала. Ванная и так далее.

— А ты не верил,— шепнул мне Саша.

— А теперь, товарищи экскурсанты, не желаете ли закусить чем бог послал? Даша, поставьте два лишних коллективных прибора.

Пробкин торжественно подвел нас к закусочному столу.

— Рекомендую перед обедом. По рюмочке. У нас, знаете ли, вообще этого не полагается, но для дорогих гостей...

После сытного коммунального обеда, прощаясь с секретарем коммуны имени Октябрьской революции, я спросил:

— Скажите, товарищ, а много у вас в коммуне членов?

— О, сущие пустяки! Я, жена и двое детей, не считая швейцара и ячейки нарпита.

— Гм! А ячейки РКИ у вас, товарищ, нету?

— Хи-хи! Помилуйте! Для чего нам эта ячейка? У нас, знаете ли, главным образом детишки...

— Ага! Ну, в таком случае, конечно.

— Милости просим в следующий раз. Чем бог послал...

— Спасибо, спасибо! Товарищ Пробкин, мы очарованы вашим учреждением. Даю вам слово, что по возвращении домой я непременно сделаю подробный доклад о посещении вашей удивительной коммуны.

— Вы мне льстите,— застенчиво сказал Пробкин.— Где же вы будете делать доклад?

— В Центральной Контрольной Комиссии,— общительно подмигнул Саша.

Через неделю великолепный Пробкин предстал перед председателем Контрольной Комиссии.

— Садитесь,— учтиво сказал Пробкину человек в потертой гимнастерке, подымая утомленное лицо от бумаг.

И товарищ Пробкин сел.

На два года.

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

(Разумеется, с куличом)

Иван Иванович набожно перекрестился, не торопясь надел очки и откашлялся.

— Дорогие дети! Сегодня по случаю первого дня светлого Христова воскресения я хочу вам доставить приятное и полезное удовольствие. Сидите тихо и слушайте внимательно, я вам прочту замечательный пасхальный рассказ маститого писателя Идеалова, напечатанный в свое время в журнале «Нива».

— «Красная нива»? — деловито заинтересовался семилетний Саша.

— Не «Красная нива», а просто «Нива», — правоучительно сказал дедушка. — Был в наше время такой светлый, идейный журнал.

— Не помню, — сказал Саша.

— Конечно, не помнишь. Ты еще тогда пешком под стол ходил. Маркс издавал.

— Маркс? — оживилась пятилетняя Соня. — Карл Маркс, который составил «Капитал»?

— Да, который составил капитал. Только он не Карл, а просто Маркс.

— Э, ты что-то путаешь, старик! — воскликнул Саша. — То у тебя «просто «Нива», то у тебя «просто Маркс». Ерунда какая-то.

Иван Иванович тяжело вздохнул и прошептал:

— Извольте-ка при таком воспитании доставить им приятное удовольствие. Элементарных вещей не понимают.

— Ну ладно, — сказал он. — Все равно. Не стану спорить. Конечно, теперешние дети ни в грош не ставят своих дедов...

— Ну что ты, дедушка, — вежливо сказал Саша, — мы тебя очень ценим, как незаменимого спеца. И вообще... Одним словом, читай, а то мы опоздаем.

— Итак, — начал Иван Иванович, — рассказ Анатолия Идеалова «Красное яичко».

— Может быть, «просто яичко»? — весело спросила Соня, подмигивая Саше.

— Нет, яичко на этот раз красное, — угрюмо сказал Иван Иванович. — Итак, я начинаю:

«На землю спустилась тихая пасхальная ночь. На черном бархате весеннего неба теплились мириады бесчисленных звезд, сплетаясь в причудливые хороводы».

Саша лукаво толкнул Сою локтем и подмигнул на деда. Иван Иванович строго кашлянул.

— «...сплетаясь в причудливые хороводы,— повысил он голос и продолжал: — Плавный пасхальный благовест плыл над городом. Тысячи колоколов звонили над городом в эту темную пасхальную ночь. О чем они звонили? Они звонили...»

— Позволь, позволь,— скептически прервал его Саша,— позволь... Я не совсем понимаю... почему, собственно, звонили эти колокола? На пожар, что ли?

— Дедушка, а что такое мириады? — спросила Соня.— Это больше миллиарда? Или меньше?

Иван Иванович густо покраснел.

— Александр, я прошу тебя не перебивать. Соня, не вертись. Отстаньте с глупыми вопросами, я продолжаю. Одним словом... «В доме московского купца второй гильдии Сысой Пафнутыча Лабазова посередине столовой был накрыт пасхальный стол. Сысой Пафнутыч выпил рюмку английской горькой и опытными глазами осмотрел роскошную сервировку. Его внимание привлек облитый глазурью кулич».

— Куллидж?! — хором воскликнули дети.— Не может этого быть. Ты, наверно, ошибся. Кто угодно, только не Куллидж. Он никогда не бывал в России вообще, а у русских купцов в частности.

— Александр, ты, кажется, просто издеваешься над своим старым, седым дедушкой! Да у нас, если хочешь знать, каждый год раньше был кулич. Да не один, а штук пять.

— Ха-ха-ха! — залилась Соня.— Пять Куллиджей! Дедушка, а ты знаешь, кто такой Куллидж?

— Скверная девчонка, ты или глупа, или издеваешься надо мной. Кулич — это такой сдобный хлеб, понимаешь?

— Ну, знаете ли,— с достоинством развел руками Саша,— в таком случае нам с тобой больше не о чем говорить, потому что каждый, даже малосознательный, пионер, отлично знает, что Куллидж — это не сдобный хлеб, а душитель рабочего класса, американский президент. Пойдем, Соня, а то мы опоздаем на заседание, а мне это, как председателю пионерской ячейки «Лига времени», не совсем удобно. До свидания, дедушка, ты нам как-нибудь дочитаешь этот хороший пасхальный рассказ в другой раз. А насчет Куллиджа ты меня просто рассмешил. Газеты надо читать, старик.

Иван Иванович грустно закрыл «Ниву» и вздохнул:

— Нет. Мы с ними говорим на разных языках. Они даже не знают, что такое кулич. И это называется воспитание!

Звониди колокола.

1924

БОРОДАТЫЙ МАЛЮТКА

Год тому назад, приступая к изданию еженедельного иллюстрированного журнала, редактор был бодр, жизнерадостен и наивен, как начинающая стенографистка.

Редактора обуревали благие порывы, и он смотрел на мир широко раскрытыми, детскими голубыми глазами.

Помнится мне, этот нежный молодой человек, щедро оделив всех сотрудников авансами, задушевно сказал:

— Да, друзья мои! Перед нами стоит большая и трудная задача. Нам с вами предстоит создать еженедельный иллюстрированный советский журнал для массового чтения. Ничего не поделаешь. По нэпу жить — по нэпу и выть, хе-хе!..

Сотрудники одобрительно закивали головами.

— Но, дорогие мои товарищи, прошу обратить особенное внимание, что журнал у нас должен быть все-таки советский... красный, если так можно выразиться. А поэтому — ни-ни! Вы меня понимаете? Никаких двухголовых телят! Никаких сенсационных близнецов! Новый, советский, красный быт — вот что должно служить для нас неиссякающим материалом. А то что же это? Принесут портрет собаки, которая курит папиросы и читает вечернюю газету, и потом печатают вышеупомянутую собаку в четырехстах тысячах экземпляров. К черту собаку, которая читает газету!

— К черту! Собаку! Которая! Читает! Газету!! — хором подхватили сотрудники, отправляясь в пивную.

Это было год тому назад.

Раздался телефонный звонок. Редактор схватил трубку и через минуту покрылся очень красивыми розовыми пятнами.

— Слушайте! — закричал он. — Слушайте все! Появился младенец! С бородой! И с усами! Это же нечто феериче-

ское! Фотограф! Его нет? Послать за фотографом автомобиль!

Через четверть часа в редакцию вошел фотограф.

— Поезжайте! — задыхаясь, сказал редактор. — Поезжайте поскорее! Поезжайте снимать малютку, у которого есть борода и усы. Сенсация! Сенсация! Клянусь бородой малютки, что мы подыдем тираж вдвое. Главное только, чтобы наши конкуренты не успели перехватить у нас бородатого малютку.

— Не беспокойтесь, — сказал фотограф. — Мы выходим в среду, а они — в субботу. Малютка будет наш. Мы первые покажем миру бакенбарды малютки.

Но те, которые выходили в субботу, были тоже не лыком шиты.

Впрочем, об этом мы узнаем своевременно.

На следующий день редактор пришел в редакцию раньше всех.

— Фотограф есть? — спросил он секретаря.

— Не приходил.

Редактор нетерпеливо закурил и, чтобы скрасить время ожидания, позвонил к тем, которые выходили в субботу:

— Алло! Вы ничего не знаете?

— А что такое? — наивно удивился редактор тех.

— Младенец-то с бородой, а?

— Нет, а что такое?

— И с усами. Младенец.

— Ну да. Так в чем же дело?

— Портретик будете печатать?

— Будем. Отчего же.

— В субботу, значит?

— Разумеется, в субботу. Нам не к спеху.

— А мы — в среду... хи-хи!

— В час добрый!

Редактор повесил трубку.

— Ишь ты! «Мы, говорит, не торопимся». А сам небось лопается от зависти. Шутка ли! Младенец с бородой! Раз в тысячу лет бывает!

Вошел фотограф.

— Ну что? Как? Показывайте!

Фотограф пожал плечами:

— Да ничего особенного. Во-первых, ему не два года,

а пять. А во-вторых, у него никакой бороды нет. И усов тоже. И бакенбардов нету тоже. Пожалуйста!

Фотограф протянул редактору карточку.

— Гм... Странно... Мальчик как мальчик. Ничего особенного. Жалко. Очень жалко.

— Я же говорил,— сказал фотограф,— некуда было и торопиться. И мальчику только беспокойство. Все время его снимают. Как раз передо мной его снимал фотограф этих самых, которые выходят в субботу. Такой нахальный блондин. Верите ли, целый час его снимал. Никого в комнату не впускал.

Редактор хмуро посмотрел на карточку малютки.

— Тут что-то не так,— сказал он мрачно.— Мне Подражанский лично звонил по телефону, и я не мог ошибиться. Говорят, большая черная борода. И усы... тоже черные... большие... Опять же бакенбарды... Не понимаю.

Редактор тревожно взялся за телефонную трубку.

— Алло! Так, значит, вы говорите, что помещаете в субботу портрет феноменального малютки?

— Помещаем.

— Какой с бородой и с усами?

— Да... И с бакенбардами... Помещаем. А что такое?

— Гм... И у вас есть карточка? С усами и с бородой?

— Как же! И с бакенбардами. Есть.

Редактор похолодел.

— А почему же,— пролепетал он,— у меня... мальчик без усов... и без бороды... и без бакенбардов?

— А это потому, что наш фотограф лучше вашего.

— Что вы этим хотите сказать?.. Алло! Алло!! Черт возьми! Повесил трубку. Негодяй!!

Редактор забежал по кабинету и остановился перед фотографом.

— Берите автомобиль. Поезжайте. Выясните. Но если окажется, что они ему приклеили бороду, то я составлю протокол и пригвозжу их к позорному столбу, то есть пригвоздью... Поезжайте!

Редактор метался по кабинету, как тигр. Через час приехал фотограф.

— Ну? Что?

Фотограф, пошатываясь, подошел к стулу и грузно сел. Он был бледен, как свежий труп.

— Выяснили?

— В-выяснил,— махнул рукой фотограф и зарыдал.

— Да говорите же! Не тяните! Фу! Приклеили бороду?

— Хуже!..

— Ну что же? Что?

— Они сначала... сфотографировали бородатого младенца... а потом... побрили его!..

Редактор потерял сознание. Очнувшись, он пролепетал:

— Наш... советский... красный малютка с бородой... И побрили! Я этого не вынесу. Боже! За что я так мучительно несчастлив?!

1924

СОРВАЛОСЬ!

На другой день после перевыборов в жилищное товарищество старый управляющий домом, бывший помощник присяжного поверенного фон Ребенков спешно вывалял бархатную толстовку в саже, нацепил на грудь портрет Луначарского, взял напрокат у рабфаковца Искры порванные башмаки и, лихорадочно напевая «Интернационал», направился к новоизбранному председателю, рабочему Петрову, разговаривать.

Петров сидел на табурете перед подоконником и починял штаны.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — воскликнул бывший помощник присяжного поверенного, резво вбегая в комнату. — Кто не трудится, тот не ест, и вообще, мир хижинам — война дворцам! Здравствуйте, товарищ председатель! Давайте, товарищ председатель, знакомиться. Я, товарищ председатель, старый управляющий домом, товарищ Ребенков. Я, товарищ, вот уже два года собираюсь с вами как-нибудь познакомиться, да, знаете, все дела... У нас... хе-хе... знаете, в пролетарском государстве без этих самых дел никак нельзя. То, знаете, оргсобрание, то конференция, то Доброхим, то беспризорный флот, то воздушные дети, то есть что это я говорю?.. Хи-хи... Наоборот-с. Воздушный флот и беспризорные дети... Одним словом, вот.

Петров вколол иголку в обои и сказал:

— Хорошо, что вы пришли, а то я как раз собирался к вам. Тут требуется в спешном порядке провести переселение пролетарского элемента в лучшее помещение. Да и жилую площадь не мешает пересмотреть. А то поступают от рабочих жалобы, что нэпманы заели.

Фон Ребенков засуетился.

— Совершенно верно-с... совершенно верно-с... Именно нэпманы и именно заели... Я это самое вам и хотел ска-

зять. Мы, рабочие, должны твердо взять в свои руки перераспределение жилой площади.

— А вы разве, товарищ, рабочий? — заинтересовался Петров.

— Почти,— застенчиво сознался фон Ребенков,— почти. Стопроцентный пролетарий умственного труда... С малых лет.

— Ну вот и отлично. Значит, вы мне и поможете в этом деле. Тут у меня имеется три заявления от товарищей о вселении их в лучшие помещения. Вот они.

Бывший помощник присяжного поверенного насторожил уши.

— Во-первых,— сказал Петров,— заявление товарища Антипова, истопника. Живет в невероятных условиях. Полутемная каморка в подвале, рядом с отоплением. Грязь, копоть, одна стена сырая, а семья у него восемь душ. Шутка! Затем рабфаковец Искра. Живет где-то под крышей, в чулане. Дверь не закрывается, окон нет, в потолке дыры. Какие уж тут занятия! Затем — дворник. Семья — четырнадцать душ, живут в дровяном сарае. Ужас! Надо их как-нибудь облегчить.

Фон Ребенков одобрительно закивал головой.

— Вот именно-с! Я сам об этом думал. Опять же, со своей стороны, должен обратить ваше внимание на бедственное положение и других пролетариев из нашего дома. Так, например, товарищ вдова народного героя японской кампании Эполетова-Гаолянского живет в ужасных условиях. Две комнатенки в бельэтаже, ремонта не было вот уже два года, одна дверь скрипит. Ужас!.. Гостей негде принять. Затем льготный безработный Банкнотис. Комната у него, правду сказать, ничего себе, но на четвертом этаже! Ужас! Верите ли, на биржу труда ходить не может. Проклятая лестница заедает. У него одышка, и, кроме того, грек. Прошу обратить внимание. Можно сказать, национальное меньшинство. Надо ему пойти навстречу. Я уже не говорю о себе. Живу черт знает в каких условиях. Верите ли, негде рояль поставить, портнихе негде повернуться, когда мерки с жены снимает.

— Так, так,— сказал Петров.— Надо облегчить их условия быта...

— Вот именно,— оживился Ребенков.— Облегчить условия быта. Я, например, предлагаю так: в первую голову мы займемся, конечно, истопником, рабфаковцем и дворником. На что, собственно говоря, жалуется истопник? Истопник жалуется на грязь и жару от отопления?

Великолепно! Теперь мы зададим себе вопрос: на что жалуется рабфаковец Искра? Рабфаковец Искра, наоборот, жалуется на холод и дыры в потолке. Так в чем же дело? Ясно — истопника Антипова надо переселить в более прохладное помещение, занятое рабфаковцем Искрой, рабфаковца Искру — в более теплое помещение, занятое истопником Антиповым. Не правда ли? Гениальное решение вопроса, товарищ председатель.

Петров угрюмо молчал.

— А что касается дворника, то, честное слово, ему и в сарае неплохо. И к сорному ящику близко, и двор на виду. Верно?

Петров молчал.

— Молчание — знак согласия! — весело крикнул Ребенков. — Итак, одна часть нашей задачи выполнена. Теперь нам остается облегчить условия быта мадам Эполетовой-Гаолянской, льготного безработного Банкнотиса и мое. Это будет потруднее. Но я думаю, что кое-кого можно будет уплотнить, кое-кого выселить, и в конце концов для вышеупомянутых пролетариев очистится достаточное количество жилой площади.

И фон Ребенков стал развивать блестящий план.

Товарищ Петров, наморщив лоб, рассеянно слушал болтовню бывшего помощника присяжного поверенного. Его мучили, очевидно, какие-то соображения на этот счет.

На следующее утро веселый фон Ребенков, потирая руки, подошел к доске, где вывешиваются объявления, и вдруг побледнел и зашатался.

На доске красовалось следующее объявление нового правления жилтоварищества:

«1. Истопник Антипов переселяется в комнаты, занимаемые вдовой бывшего генерала Эполетова. Гражданка Эполетова переселяется в помещение истопника.

2. Рабфаковец Искра переселяется в помещение спекулянта Банкнотиса, а Банкнотис — в помещение рабфаковца.

3. Дворник переселяется в помещение гражданина Ребенкова, а последний — в сарай дворника.

4. Гражданин Ребенков освобождается от обязанностей управдома.

Председатель жилтоварищества *Петров*».

ВЫДЕРЖАЛ

Всю неделю, до самой чистки, кассир Диабетов ходил с полузакрытыми глазами и зубрил по бумажке:

— Кто великий учитель? Маркс. Что является высшим органом? СТО. Что такое социал-патриотизм? Служение буржуазии в маске социализма. Что характеризует капитализм? Бешеная эксплуатация на основе частной собственности. Как развивается плановое хозяйство? На основе электрификации. Где участвовали разные страны? На Первом конгрессе Второго Интернационала в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, в городе Париже. Какой бывает капитал? Постоянный и переменный. Какова будет форма организации в будущем коммунистическом строе? Неизвестно. Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт. Кто, несмотря на кажущееся благополучие?.. Польша. Кто социал-предатели? Шейдеман и Носке. Кто Абрамович? Социал-идиот...

Усердный Диабетов лихорадочно сжимал в руках спасительную бумажку. Он бормотал:

— Только бы не перепутать... Только бы не перепутать!.. Кто депутат? Пенлеве... Кто ренегат? Каутский... Кто кандидат? Лафолетт.

Когда Диабетова пригласили в комнату, где заседала комиссия, перед его глазами плавал розовый туман и в ушах стоял колокольный звон. Диабетов преодолел жуткий страх, подошел к столу и зажмурился.

— Как ваша фамилия, товарищ? — спросил председатель комиссии.

— Маркс, — твердо ответил кассир.

— Сколько вам лет?

— Сто.

— Род занятий?

— Служение буржуазии в маске социализма.

Председатель комиссии, который до сих пор пропускал ответы Диабетова мимо ушей, высоко поднял левую бровь.

— Гм... Довольно откровенное заявление... Ваше отношение к службе, гражданин?

— Бешеная эксплуатация на основе частной собственности.

— Вот как!.. О-ч-ч-чень приятно... Как же вы втерлись в советское учреждение?

— На основе электрификации.

Члены комиссии странно переглянулись.

— А когда вы, товарищ, в последний раз себе температуру мерили? — осторожно осведомился секретарь.

— На Первом конгрессе Второго Интернационала, в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, в городе Париже, — твердо отчеканил главный кассир.

— У вас, товарищ, — мягко сказал председатель, — какой-то лихорадочный блеск глаз...

— Постоянный и переменный, — любезно пояснил Диабетов. Щеки его от волнения и торжества тряслись, как у мопса. Левая нога выбивала дробь. Зубы лязгали, а пальцы судорожно сжимали в кармане заветную бумажку.

— Очень хорошо... Прекрасно! Прекрасно!.. Но вы, главное, не волнуйтесь! Может быть, вы устали, товарищ? Присядьте, — придавая голосу как можно больше задушевной теплоты, сказал председатель, который начал кое-что соображать. И вдруг быстро и в упор спросил: — А какое сегодня число?

— Неизвестно, — гаркнул Диабетов, обливаясь крупным потом и чувствуя, что наносит врагам последний удар.

Члены комиссии тревожно зашептались. Секретарь на цыпочках вышел из комнаты.

— Очень хорошо, товарищ! — воскликнул председатель в фальшивом восторге. — Вот и прекрасно! Вот и отлично! Вы, главное, не волнуйтесь! Поедете в Крым... в Ялту, можно сказать... Там, знаете, солнышко... А главное — не расстраивайтесь! До свидания, товарищ!

Диабетов потоптался на месте и слегка охрипшим голосом сказал:

— Я и дальше знаю... Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт... Кто, несмотря на кажущееся благополучие...

— Главное — не волнуйтесь, — сказал председатель, осторожно сползая со стула, — мы вам верим на слово... До свидания, товарищ!..

Сияющий Диабетов раскланялся и, остановившись у двери, широко улыбнулся.

— Кто социал-предатель? Шейдеман и Носке... А кто Абрамович? — И, сделав эффектную паузу, отчеканил, интимно подмигивая комиссии: — Социал-идиот!

Встревоженные сотрудники окружили Диабетова:

— Ну как?.. Что?..

— Всех покрыв! Восемь вопросов как одна копейка! Остальные шесть сказал сам. Верите ли, председатель даже попятился. Отпуск предлагал. В Крым. Как одна копейка...

ЗАГАДОЧНЫЙ САША

Изредка отрываясь от книг, товарищи говорили:

— Ты чего, Сашка, груши околачиваешь? Зубри, дурак! А то как пить дать на экзамене провалишься.

Саша Бузыкин презрительно морщил малообещающий но тем не менее веснушчатый нос и цинично переспрашивал:

— Ась? Это я-то?

— Вот именно. Ты-то.

— Про-ва-люсь?

— Провалишься.

— Почему же это, собственно?

— Да потому, что не учишься. Без знаний в вуз не попадешь.

Саша Бузыкин сплевывал на пол и загадочно говорил:

— Кто не попадет, а кто и попадет.

— Почему это ты так уверен?

— А что же мне сомневаться? Мне это ясно как апельсин!

— Брось дурака валять! Ты же аб-со-лют-но ничего не знаешь.

Но загадочный Саша так и резал:

— Там, на экзамене, разберут, кто знает, а кто не знает. Кого принять, а кого и не принять. Будьте уверочки!

— Да ведь ты будешь молчать как пень.

— Ничего-с! Авось кое-что скажу-с... Может, и найдется словечко. А мне, между прочим, на экзамены наплевать. Прошли те времена, когда нэпманские сыночки... Эх, да что зря трепаться! Сами увидите.

До самых экзаменов загадочный Бузыкин ходил, задравши свой веснушчатый отросток, и с нескрываемым сожалением посматривал на товарищей, которые сидели, уткнувши вихрастые головы в алгебру.

Наконец настал день бузыкинского триумфа.

— Бузыкин Александр, пожалуйста сюда!

Саша презрительно скривил губы и вразвалку подошел к экзаменаторскому столу.

Все затаили дыхание.

Профессор почесал карандашом переносицу и задал обычный вопрос:

— Вы член партии?

Глаза Саши Бузыкина блеснули невероятным торжеством.

— Член РЛКСМ с тысяча девятьсот двадцать второго года,— отчеканил он, кидая вокруг уничтожающие взгляды.— Пролетарского происхождения. Отец — путиловский рабочий, а мать — крестьянка Рязанской губернии.

Профессор широко и приветливо улыбнулся.

— Вот и отлично! Значит, стопроцентный пролетарий! Побольше бы нам таких в вуз!

Саша Бузыкин с достоинством посмотрел вокруг и спросил:

— Можно идти?

— То есть как это идти? — заинтересовался профессор, потирая руки.— Наоборот, сейчас мы будем вас экзаменовать.

Загадочный Саша побледнел.

— Так я же... Это самое... С тысяча девятьсот двадцать второго года... Пролетарий... Я не какой-нибудь нэпманский сынок... У меня...

— Это очень похвально, но тем не менее не найдете ли вы возможным сказать нам, сколько будет А плюс Б в квадрате? Гм... Этого вы не знаете! А чему равна сумма квадратов двух катетов? Этого вы тоже не знаете!.. Но, может быть, вы что-нибудь знаете о равенстве треугольников?.. Ничего не знаете? Можете идти, Бузыкин...

И пошел Бузыкин, палимый солнцем, в общежитие, и лег там Бузыкин животом на койку, и горько заплакал Бузыкин.

А на другой день он уже бешено зубрил геометрию.

1924

ЛУННАЯ СОНАТА

*(С успехом разыгрывается
на столбцах американских газет)*

Полет ракеты на Луну откладывается на неопределенное время.

Хроника

15 января 1925 г.

Вчера в большой аудитории Нью-йоркского общества оглушительных изобретений действительный член Общества, известный профессор мистер Вор, сделал сенса-

ционный доклад об изобретенной им ракете, которую он намерен пустить с Земли на Луну. Ракета эта будет иметь форму яйца на палке, в верхней части которого будет находиться 12 тысяч тонн динамита. При падении ракеты на поверхность Луны должен произойти настолько сильный взрыв, что его можно будет ясно наблюдать в телескопы с Земли.

Энтузиазм аудитории не поддавался описанию. Спешно производится подписка на скорейшее осуществление генерального плана. Несколько виднейших финансовых королей заинтересовались изобретением.

30 января

В дополнение к нашей заметке от 15 января по поводу изобретения уважаемого профессора Вора мы можем сообщить, что на осуществление гениального проекта уже собрано 8 миллионов долларов.

31 января

Во вчерашний номер нашей газеты вкралась досадная опечатка. На изобретение профессора Вора собрано не 8 миллионов, как сообщалось, а 18. Редакцией командирован специальный сотрудник, которому поручено информировать Общество о ходе работ гениального профессора.

10 февраля

На вопрос сотрудника нашей газеты, что он думает о международном положении, гениальный изобретатель междупланетного яйца заявил:

— Я склонен думать, что международное положение в настоящий момент весьма удовлетворительное.

Касаясь вопроса о своих ближайших работах в области гениального изобретения, маститый ученый заметно ожил и даже порозовел.

— О! — сказал профессор. — Уже кое-что сделано. Мною куплена в окрестностях Лос-Анджелеса прелестная вилла, где я и буду производить свои работы. Кроме того, мною приобретены паровая яхта и пара превосходных арабских лошадей.

На наш вопрос, для чего профессору понадобились яхта и лошади, он шаловливо погрозил пальцем и деликатно заметил, что он, к сожалению, не может коснуться этих вопросов, так как они являются одним из секретов его изобретения.

25 февраля

Министр иностранных дел мистер Юз выступил с новыми сенсационными разоблачениями Коминтерна. На руках у Юза имеются документы, с полной очевидностью доказывающие, что известный изобретатель нашумевшего яйца профессор Вор является агентом Коминтерна, а вся его ловкая махинация с полетом на Луну есть не что иное, как попытка взорвать Белый дом в Вашингтоне и провозгласить в Америке Советскую власть. На документах имеются подписи Карла Маркса, Бакунина и Демьяна Бедного. Юз требует расследования и отставки прокурора Догерти, как виновного в попустительстве.

28 февраля

Прокурор Догерти, отвечая на выпады Юза, заявил в сенате следующее:

— У министра Юза до сих пор сюртук пахнет керосином (*смех в центре*), и пусть он не пытается отвести глаза общественного мнения, устремленные на ту панаму, в которой он играет далеко не последнюю роль. Что же касается того, что будто бы в верхней части популярного яйца находится динамит, то мы хорошо знаем, что это не динамит, а нефтяные акции, на которых так здорово спекулировал Юз. (*Одобрение левой.*)

15 марта

Юз опубликовал новые документы, из которых ясно, как дважды два, что профессор Вор — переодетый Ю. Стеклов, популярный редактор «Известий ЦИК СССР».

25 марта

Профессор Вор вчера женился на королеве экрана Настурции Джимперс. Спрошенный по этому поводу маститый автор яйца ответил:

— Любви все возрасты покорны.

Кроме того, великий профессор, по слухам, перевел во французские банки 10 миллионов долларов. О целях этого перевода профессор выразился весьма туманно, однако подчеркнул, что ракета-яйцо строится и 4 июля непременно полетит на Луну. Приток пожертвований продолжается.

1 мая

В связи с предполагаемым 4 июля опытом полета ракеты на Луну президент запретил празднование Первого мая как не соответствующее серьезности момента.

10 июня

Срок полета ракеты-яйца окончательно установлен. Ракета полетит 4 июля в 12 часов ночи и пробудет в пути четыре дня, так что 8 июля человечество будет иметь возможность наблюдать в телескопы на поверхности Луны сильный взрыв.

20 июня

Состоялась манифестация влюбленных, которые требовали отмены зверского покушения на Луну. К влюбленным присоединились собаки, выразившие в резкой форме опасения, что, в случае если Луна будет уничтожена сильным взрывом, им не на что будет выть. Одновременно с этим состоялась внушительная демонстрация воров, требовавших, со своей стороны, скорейшего уничтожения Луны по чисто профессиональным соображениям.

1 июля

К месту отправки ракеты выехали представители учебного мира.

В беседе с нашим сотрудником профессор Вор заявил, что к полету все готово, за исключением кое-каких мелочей.

3 июля

В ночь со 2 на 3 июля профессор Вор вылетел со своей молодой женой в неизвестном направлении. Перед отъездом маститый профессор успел сообщить нашему сотруднику, что полет откладывается на неопределенное время.

Итак, налицо *полет и взрыв*. Полет Вора и взрыв общественного негодования.

1925

ПОЕДИНОК

В природе существуют люди, страдающие отсутствием воображения. Люди, фантазия которых никак не простирается свыше ста рублей наличными и глубже шубы с выдровым воротником.

Если страдает отсутствием фантазии, например, трамвайный кондуктор или писатель утопических романов — это еще полбеды.

Прямого ущерба от этого государству не будет.

Но горе, если фантазия отсутствует у финансового инспектора!

Горе! Горе! Горе!

Наведя кое-какие справки о заработках гражданина Лиллипутера, финансовый инспектор сладострастно потер руки и сказал секретарю:

— Пишите этому гаду сто рублей. В трехдневный срок. Чтоб. Он у меня потанцует...

Однако гад Лиллипутер не имел никаких хореографических склонностей и от танцев решительно отказался.

— Что значит сто рублей? Пускай описывают обстановку. Больше пяти червонцев она все равно не поднимет. А за сто рублей я себе куплю такую новую, что фининспектор лопнет.

— Хор-рошо-о-с! Так и запишем-с,— мрачно сказал фининспектор.— Я ему покажу, как за сто рублей новую обстановку покупать. Секретарь, пишите гаду Лиллипутеру дополнительных двести рублей. В трехдневный срок. Чтоб. Он у меня потанцует!

— Что значит потанцует? Что значит двести рублей? — решил практичный Лиллипутер.— Пусть описывают. За двести рублей я себе такую новую обстановку заведу, что перед ней старая поблекнет!

— Что? Лиллипутер купил новую обстановку за двести рублей? Ну, знаете... Не нахожу слов... Секретарь, пишите гаду пятьсот рублей, и чтоб в трехднев...

— Пятьсот рублей? Ха! Пусть описывают. За пятьсот рублей куплю роскошную новую. Рококо. Триста рублей чистой прибыли!

— Секретарь, пишите ему тысячу, и чтоб в трех...

— Ха-ха! Пусть описывают. Тысяча рублей чистой прибыли. Можно дачку отремонтировать.

— Пиш-ш-шите-е тысяча пятьсот! Чтоб в тре-х-х...

— Ха-ха-ха!..

Финансовый инспектор вошел в роскошную гостиную Лиллипутера и, тяжело опустившись в шелковое кресло Луи XIV, глухо прошептал:

— Сколько? Раз и навсегда?

— Обкладывайте в три тысячи,— скромно сказал Лиллипутер, вынимая золотой портсигар и предлагая фининспектору египетскую папиросу.

— Окончательно? — подозрительно покосился фининспектор.— Без жульничества?

— Чтоб я себе новой мебели не видел! — воскликнул Лиллипутер.

— Сдаюсь,— прохрипел фининспектор.— Три тыся-
чп... И чтоб в трехдневный срок... До свидания.

Лиллипутер печально улыбнулся вслед уходящему фининспектору и прошептал:

— Три тысячи налога. А если тридцать три? Ха! А если у меня восемьдесят тысяч годового дохода?

Бедный, застенчивый, доверчивый, лишенный воображения фининспектор, увы, не учел этого!

Его скромная фантазия не простиралась свыше трех тысяч, и он самоотверженно пал в жестоком, но неравном бою с гражданином Лиллипутером.

Неравном потому, что у Лиллипутера, по-видимому, была кой-какая фантазия, а у фининспектора, увы, ее не было.

1925

СПЛОШНОЕ ХУЛИГАНСТВО

Старик Собакин вытер скатертью багровую шею с чирьями и, злобно покосившись на солнечное небо, игравшее за окном всеми цветами, имевшимися в его распоряжении, пробормотал:

— Сукины дети! Распустился народ! Охамел! Никаких нравственных понятий не имеет! Сплошное хулиганство пошло. Одно слово, Советская власть. Да-с!

Собакин был в комнате один и обращался преимущественно к мутному, пятнистому самовару, который с отвращением отражал седую, стриженную бобриком голову, толстый нос, лиловые уши, худые щеки и маленькие

злобные глазки, глубоко и прочно засевшие под узким морщинистым лбом.

— Тыфу на вас всех! — продолжал Собакин, допивая шестой стакан чаю. — Плюю! Чтоб вы сдохли!..

За стеной, у соседей-рабфаковцев, слышался монотонный голос:

— «Финансовой политикой называются способы, которыми пользуется государство при извлечении и распределении средств... Налоги подразделяются на денежные и натуральные... Денежные налоги можно разбить на три гру...»

Собакин постучал щеткой в стену и проскрипел:

— Пап-пра-шу прекратить шум! Вы мне мешаете работать. Хулиганы!..

— У нас послезавтра зачеты. Извините. «...разбить на три группы: прямые, косвенные и пошлины. Прямыми называются такие, кото...»

— Ну разве не хулиганы? — горестно прошептал Собакин. — Что с них взять? Хулиганы и есть хулиганы! Одно слово, комсомол. У самих, можно сказать, башмаки каши просят, а туда же, в образованные лезут. Налоги, видите ли, подразделяются на три категории, — ну не сукины дети после этого? Хамы! Слышать не могу!

Старик Собакин с треском открыл окно и высунулся на улицу. По улице шел отряд пионеров. Карапуз в красном галстуке чрезвычайно серьезно и деловито барабанил на большом барабане...

— Прошу убедиться, — желчно подмигнул Собакин фонарному столбу. — Прошу убедиться! Барабанят! Как вам это нравится? Работать порядочным людям не дают. Тишину общественную нарушают. Хулиганы, прости господи! Тыфу! — Собакин с храпом потянул носом и жирно плюнул вниз.

— А вы, гражданин, там поосторожнее, прямо на портфель харкнули.

— А вы с портфелем под окнами не шляйтесь, — сухо отрезал Собакин.

— То есть как это не «шляйтесь»? На то улица и существует, чтоб по ней на службу ходить.

— На службу-с? — ядовито прищурился Собакин. — Знаем мы ваши советские службы-млужбы. Небось сидите там да только и делаете, что взятки хапаете. А порядочному человеку даже из своей собственной жилплощади в окошко плюнуть нельзя без того, чтобы не нарваться на хамство! Хулиган!

— Вы там поосторожнее! Без оскорблений! Я, как представитель советского учреждения...

— Плевать мне на вас и на ваше советское учреждение...

— Милиционер!..

— Вот именно! Очень вам благодарен. Пушай милиция разберет, кто из нас хулиган.

Подписав протокол и дав подписку о невыезде, Собакин вернулся домой.

— Ни-чего! Пушай протокол, ну-ка-а! Старика Собакина протоколом не запугаешь. Старик Собакин все ваше хулиганство на чистую воду выведет. Старик Собакин на хулиганство плюет-с!

Собакин горько задумался.

«Охамели люди! Распустились! Куда ни посмотри — сплошное хулиганство. Скажем, к примеру, радио. Где же это такое видано в просвещенном государстве, чтобы, извините за выражение, на крыше антенны устраивать? Подумайте, пожалуйста! Накрутят, накрутят проволоки, а потом, извольте ли видеть, у себя из трубки всякие крамольные речи слушают. Ну не хулиганы?»

Собакин надел серую кепку с пуговицей и деятельно полез на чердак.

— Я вам покажу антенны! — бормотал он, ползя на четвереньках по крыше. — А ну, где мой перочинный нож? Раз — и готово. Никаких антенн чтоб. Где ж это видано, чтоб на трубу проволоку наматывать? Нешто труба для этого существует? Хулиганство! Порядочной птице сесть негде.

Наскоро срезав восемь антенн, Собакин с полным сознанием исполненного долга спустился во двор и задумчиво сел на лавочку...

— Тьфу на вас всех, — прробормотал он привычно, — чтоб вы сдохли!

Внезапно тусклые глаза Собакина остановились на стенной газете, прибитой на доске возле ворот.

— Скажите пожалуйста, — процедил Собакин сквозь зубы, — стенную газету выдумали! Сволочи! Чтоб каждый сукин сын порядочных людей обижать мог. Ну разве же не хулиганы? Сплошное хулиганство! Стены портят. Тьфу!

Собакин пошел к мусорной яме, выбрал самую большую дохлую крысу и бережно опустил ее в деревянный ящик с надписью:

«Просьба опускать в этот ящик материалы для стенной газеты».

— Будьте любезны, получите материалчик! Для вашей хулиганской газеты самое подходящее дело. Хи-хи!

После этого Собакин, не торопясь, вернулся в квартиру и заперся в клозете.

Сидел он в клозете часа четыре, читая Жития святых.

— Гражданин Собакин,— слышались за дверью умоляющие голоса,— вы же не один в квартире! Нельзя же по три часа занимать уборную! Пустите!

— Ладно,— бормотал Собакин,— подождете. Не горим, чай!..

— Мы будем жаловаться в жилищное товарищество. Пустите! Это невежливо, наконец...

— Пап-пра-шу не стучать! Чего-с? Невежливо? А ломиться в уборную к занятому человеку — это вежливо? Плюю я на вас и на ваше жилищное товарищество! Хулиганы!..

1925

СЛУЧАЙ С БАБУШКИНОЙ

Только очутившись в жестком вагоне курортного «ускоренного», заведующая методической секцией клубного подотдела товарищ Бабушкина вздохнула полной грудью.

— Ну-с, теперь можно и от работы отдохнуть,— общительно сообщила она соседям, укладывая на верхнюю полку свой тощий баульчик, обшитый парусиной.— В моем полном распоряжении целых две недели. Теперь на целых две недели я, так сказать, вольный казак. Что хочу, то и делаю. Могу «Эрфуртскую программу» перечитать, а могу и план клубной работы на второе полугодие детально проработать. А впрочем, могу и второй том «Капитала» в памяти освежить. Все могу...

Сама удивляясь своей неограниченной свободе и феерическим горизонтам, распахнувшимся перед ней, товарищ Бабушкина сняла с седой головы черную шляпку, поправила на добродушном носу пенсне и аккуратно присела на лавку.

— Хо-хо! — раздалось с верхней полки.— Ай да тетка, в масло села! Па-а-те-ха!

— В какое масло? — смертельно побледнела Бабушкина.

— Обыкновенно в какое. В сливочное,— любезно пояснил голос с верхней полки. И вслед за тем из мрака появилось лицо обладателя вышеупомянутого голоса. Скучающее, веснушчатое, скуластое лицо молодого, но вполне законченного хулигана.

— Что вы говорите?! — ужаснулась Бабушкина, вскакивая как ужаленная с лавки.

— Гы,— снисходительно сказал хулиган, сплевывая,— я пошутил!

— Разве так можно шутить, товарищ? — пробормотала Бабушкина.— Ведь юбка. Почти новая. Шевичотоя. Единственная. А вы вдруг — масло! Что вы!

— Ладно,— тоскливо сплюнул хулиган и вдруг, стремительно вывалившись в окно, оглушительно, с грохотом и свистом, чихнул: — Апч-ххи-и-и-и-их!

Проходившая мимо вагона нянька с легким воплем спархнула в сторону, сбивая с ног нагруженного чемоданами носильщика.

— Ах, пардон, не заметил! — с восхищением воскликнул хулиган.— Будьте здоровы, дамочка. Эй, ребеночка обронили! Пате-ха-а!

Он обвел вспыхнувшими глазами публику и, чувствуя себя душой общества и неизменным весельчаком, прибавил, подмигивая:

— Гы-гы!

Через минуту его глаза погасли, и хулиган впал в мрачную меланхолию. Он высунул в проход большие пыльные башмаки и развлекался тем, что сбивал с проходивших по коридору шляпы. Но это занятие не доставляло ему никакого эстетического наслаждения.

Раздался второй звонок. Мимо окон пробежало несколько взволнованных пассажиров, отыскивающих свой вагон.

— Псс, гражданин! — деловито крикнул хулиган в окно.— На минуточку!

Толстяк с двумя чемоданами недоуменно остановился у окна.

Хулиган конспиративно поманил его пальцем.

— В чем дело? — пробормотал толстяк, бледнея.— Честное слово...

Хулиган засуетился, соскочил с полки и побежал по вагону, не без огонька имитируя зловещее совещание, и возвратился к окну.

— На минуточку, на минуточку! — грозно поманил он пальцем.

— Ей-богу... Честное слово... — залепетал толстяк.

Раздался третий звонок.

Хулиган сощурил глаза и, подозрительно всматриваясь в похолодевшего толстяка, приговаривал:

— Пожалте-ка, пожалте-ка, гражданин...

— Так я же... на поезд... опоздаю... — плачущим голосом сказал толстяк. — Ей-же-бо...

Паровоз свистнул.

— Извините, гражданин, — широко и радушно улыбнулся хулиган, — пардон, обознался. Хи-хи!

С воплями и ругательствами толстяк кинулся за тронувшимся поездом, а хулиган, свесившись из окна, уже кричал какой-то стремительно мчавшейся по перрону даме:

— Мадам, сумочку обронили! Мадам, билет выпал!.. Ах, пардон, ошибся! Сыпьте дальше!

Мимо окон бежали поля, столбы и станции. Хулиган развлекался. Он приклеил на двери уборной билетик с надписью: «По случаю ремонта уборная закрыта» — и корчился у себя на полке от приступа здорового и жизнерадостного веселья, смотря, как унылые пассажиры тоскливо мыкались в коридоре возле уборной.

Белые облака неслись мимо окон в голубом небе, и, глядя на них сквозь пенсне, товарищ Бабушкина грустно думала:

«На каком низком уровне развития, однако, стоит наша беспартийная советская молодежь! А почему? А потому, что культработа поставлена плохо. Клубный подотдел хромает. Отсюда и хулиганство! Эх, вот я сейчас, так сказать, еду в отпуск на две недели. Вольный казак. Хочу — «Эрфуртскую программу» читаю, хочу — второй том «Капитала» прорабатываю... А нет того чтобы пропагандой среди беспартийной молодежи заняться. А почему бы, например, не вовлечь в строительство этого лодыря? В самом деле — вот возьму и вовлеку! Только это дело деликатное и тонкое. Сначала надо проработать план. Установить, так сказать, степень развития, затем заронить в молодую душу семена любознательности. Гм... Затем можно в кратких чертах обрисовать историю классовый борьбы. Ну, там коснуться Маркса... И отпуск использую, и хорошее дело сделаю...»

Сказано — сделано.

Двое суток добросовестная Бабушкина по строго проработанной программе вовлекала несознательного молодого человека в культурно-просветительную работу. Чтобы за-

служить полное доверие, она угощала его на станциях чаем, покупала ему папирсы и осторожно бросала семена сознания в его черствую и загрубевшую душу.

Несознательный молодой человек туповато слушал воодушевленную Бабушкину, а в промежутках игриво развлекался: невинно плевал ей на ботинки, по ночам грозным басом требовал от имени ГПУ у перепуганных пассажиров предъявлять свидетельства об оспопрививании, а днем лениво мазал лавки чем попало. Но в общем и целом культурная работа шла успешно. И когда на третьи сутки впереди блеснуло яркой синевой в высшей степени курортное море, Бабушкина нашла, что почва проработана достаточно хорошо.

— Смотрю я на вас,— сказала она нашему молодому человеку,— и думаю: такой, в сущности, хороший молодой человек. Даже, я бы сказала, замечательный молодой человек! И погибает от собственной несознательности. А почему такое? А потому, что оторван от здоровой культурной почвы. От комсомола оторван.

И, вложивши в свой голос как можно больше материнской мягкости и убедительности, самоотверженная Бабушкина сказала:

— В комсомол вам надо записаться. Вот что.

— Уже. Был. В комсомоле,— глухо прошептал молодой человек.— Выкинули, мамаша...

И, заметив, что поезд подходит к перрону, закрычал в окно диким голосом:

— Эй, гражданин, бумажник потерял! Товарищи, пожар в поезде! Горим! Выпрыгивай! Гы! Гы!

1925

ШАХМАТНАЯ МАЛЯРИЯ

Ах, обыватели, обыватели! Ну, скажите честно, по совести, положите руку на сердце: что вам шахматы? что вы шахматам?

И тем не менее обывательский нос считает своим священным долгом с громким сопением сунуться в блестящую, классическую, мудрую клетчатую доску.

— Как вам нравится?

— Ну?

— Ильин-Женевский!

— Ну?

— Капабланку!!

— Ну?

— Черт вас возьми! Как нравится, я спрашиваю, Ильин-Женевский, который разбил Капабланку?

— Лавочка.

— Позвольте... Но ведь я же сам... Газеты... И вообще...

— Я вам говорю, лавочка. Вы понимаете, и тут замешано...

— Ну?

Шепотом:

— По-лит-бю-ро.

— Ой!

— Вот вам и «ой». Только между нами, конечно. Женевскому предписали в порядке партийной дисциплины. Вы же понимаете, что бедняге ничего не оставалось делать.

— Да что вы говорите?

— Сам читал путевку, полученную Женевским из МК. Черным по белому: «Тов. Женевский настоящим командирится на международный шахматный турнир. В ударном порядке тов. Женевскому предписывается в порядке партийной дисциплины обыграть империалистического чемпиона мира, кубанского белогвардейца гр. Капабланку. Об исполнении сообщить».

— Вот эт-та трю-ук! Спасибо, что сказали! Бегу, бегу!

— Последняя новость. Знаете, почему Торре проиграл Боголюбову?

— Знаю. Получил телеграмму из Мексики.

— А что в телеграмме было написано?

— Было написано: «Ковбои напали на наше ранчо, угнали весь скот, сожгли маис, твое присутствие необходимо». Сами понимаете, после такой телеграммы...

— Ерунда! Там было сказано: «Мама сердится, возвращайся в Мексику. Саша». Сами понимаете, после такой теле...

— Что? Телеграмма из Мексики? Вздор! Телеграмма была от фашистов с Кубы: «Выиграешь — застрелим». Сами понима...

— Позвольте, при чем здесь Куба? Ведь играл-то он не с Капабланкой, а с Боголюбовым!

— Разве? А я, знаете ли, как-то сразу не обратил внимания.

— Бедняжка Капабланка!
— А что такое, душечка?
— Да как же! Войдите в его положение. Привезли, несчастного, в чужой город. Ни одной знакомой женщины. Холодно. Пальто нету. Языка не знает. В шахматы играет неважно... Ужас!

Перед доской:

- Что он делает? Что он только делает?
— Что? Что?
— Вы не видите? Он же подставил лошадь под туру!
А Маршалл ноль внимания! Псс! Маэстро! Пустите меня к маэстро! На пару слов. Товарищ Маршалл, одну минуточку. Пссс! Обратите внимание на противниковскую лошадь, которая стоит слева от угла,— берите ее турой, пока не поздно. Мой вам совет.
— Граждане, не шумите.
— То есть как это не шуметь, если на глазах у всех пропадает такой случай с чужой лошадью!
— Да ведь конь-то черный?
— Черный.
— И тура-то ведь черная?
— Ну, ч-черная...
— Так что же, вы хотите, чтобы маэстро съел чужую лошадь чужой же турой?
— Разве они чужие? Первый раз вижу! Извиняюсь.
— Как он пошел?
— Е2 — Е4.
— Ну, знаете, после такого хода Зубареву остается одно: пойти на «Д. Е.»!
— Смотрите — живой Ласкер пьет пиво с живым Ретти.
— Еще, чего доброго, допьются до белых слонов.
— Скажите, товарищ, какой был дебют?
— Как вам сказать. Ни то ни се. Так себе дебют.
— Знаете, Капабланка женат на дочери Форда, которая ему в свое время поставила условием, что будет его женой только в том случае, если он станет чемпионом мира. И он стал.
— Ну?

— Надеюсь, теперь вы понимаете, почему он проигрывает?

— Не понимаю.

— Чудак! Приданое-то он успел перевести на свое имя и теперь хочет от нее отвязаться. Кажется, довольно ясно.

— Слышали анекдот? Шпильман... ха-ха-ха... встречается в вагоне третьего класса с Тартаковером и гово...

— Слышал, слышал, хи-хи...

Вам, на три четверти наполняющим классические залы шахматного турнира, обыватели, посвящаю эти теплые строки.

Вам, чтоб вы сдохли!

1925

МРАЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Председатель правления побегал рысью по кабинету и снова тяжело опустился в кресло.

— Так что же, товарищи, делать? Как быть? Быть-то как?

Члены тяжело молчали.

Председатель прочно взял себя за волосы и зашептал:

— Боже... боже... Как быть? Быть-то как? В понедельник кассир «Химвилки» спер двенадцать тысяч наличными и бежал. Во вторник главбух «Красного мела» постарался... восемь тысяч... подложный ордер... Бежал... Третьего дня — «Иголки-булавки». Артельщик... Десять тысяч спер... Бежал... Позавчера и вчера целый день крали в соседнем кооперативе — двадцать одну тысячу сперли. Заведующий и председатель бежали... О, боже! На нашей улице, кроме нас, один только «Дело табак» и остался нерастраченный. Так сказать... положение угро...

В этот момент в кабинет ворвался курьер Никита.

— Так что,— сказал он одним духом,— который кассир из треста «Дело табак» только что пятнадцать тысяч на извозчике упер на вокзал!

Повисло тягостное молчание.

— Я так и предчувствовал,— глухо зашептал председатель, покрываясь смертельной бледностью,— так и предчувствовал... Ну-с, товарищи... Теперь, значит, мы... на очереди... Больше некому... Мы одни не этого самого...

Председатель снова забежал по кабинету, тревожно поглядывая на часы.

— Что же делать? Боже, что же делать? Никита, позови бухгалтера и кассира. Только, ради бога, поскорее. А то знаешь, Никита... это самое... Ну, голубчик, беги!

Через пять минут в кабинет с достоинством вошли бухгалтер и кассир.

— Милые вы мои! Дорогие друзья! — воскликнул радостно председатель правления. — Как это мило с вашей стороны, что зашли! Что же вы не садитесь? Никита, стулья!.. Впрочем, что это я! Никита, кресла! Чайку? Кофейку? Иван Иванович, вам сколько кусочков сахара? Павел Васильевич, а лимончику чего же не берете? Лимончик, знаете ли, согласно последним научным данным, весьма и весьма способствует, это самое... внутренней секреции... как говорится, в той стране, где зреют апельсины. Хе-хе-с...

Председатель вплотную придвинулся к бухгалтеру и кассиру, сердечно взял их за руки и, задумчиво заглянув им в глаза, вкрадчиво сказал:

— А ведь «Дело табак» тово... Пятнадцать тысяч... На извозчике... Кассир... Увез, знаете...

Бухгалтер и кассир молчали.

— Увез, знаете ли... — тоскливо сказал председатель. — Прямо, знаете ли, сел на извозчика и — тово... Одни мы теперь на всей улице, так сказать, и остались...

Бухгалтер и кассир молчали.

— Дорогие мои друзья Иван Иванович и Павел Васильевич! — воскликнул председатель с полными слез глазами. — Голубчики вы мои! На вас вся наша надежда! На вас, так сказать, с любовью и упованием смотрит все правление... Не надо, милые! Ей-богу, не надо! Стоит ли мараться? Какая у нас наличность! Ерунда! Какие-нибудь одиннадцать тысяч!

— Двенадцать с половиной, — хрипло сказал кассир.

— Ну вот видите! — оживился председатель. — Двенадцать с половиной... Я еще понимаю, если бы там было тысяч тридцать — сорок! А то двенадцать! Ей-богу, милые, не стоит. Ну, прошу вас! Не как начальник подчиненных... боже меня сохрани! А как человек человека прошу! Не делайте этого. Не надо. Ну, даете слово?

Кассир и бухгалтер молчали, косо глядя в землю.

Председатель тоскливо махнул рукой:

— Ну, идите!

— Товарищи, вы заметили, какие глаза у кассира?

— Н-да... Странноватые глаза. У бухгалтера тоже... как-то подозрительно бегают... Ох!

— Ну что же делать? Делать-то что? Степан Адольфович, будьте любезны, спуститесь вниз, в кассу, и поглядите там за ними. Будто бы нечаянно зашли, а на самом деле того... присматривайте. Ну, с богом. Никита! Беги вниз, гони в шею, к чертовой матери, всех извозчиков от подъезда!

— Товарищи, а вы заметили, какие глаза у Степана Адольфовича?

— К... к... какие? — побледнел председатель.

— А такие... странноватые... И у Никиты тоже... как-то подозрительно бежали...

— Боже, боже! — застонал председатель. — Голубчик, Влас Егорович, на вас, как на каменную гору... Сбегайте в кассу. Поглядите за Степаном Адольфовичем. И за Никитой. И чтоб извозчиков к чертовой матери. Бегите, золотко!

— Глаза видели у Власа Егоровича?

— Видел. Странноватые...

— Гм... Николай Николаевич... Сбегайте, милый, посмотрите. И чтоб извозчиков всех к черту...

— Боже! Что же делать? Делать-то что?

— Придумал! — закричал секретарь. — Ей-богу, придумал! Спасены! Скорее! Торопитесь. Всю наличность кассы наменять на медь. Чтоб по три копейки все двенадцать тысяч были. Десять больших мешков! Пусть-ка попробуют сопрут! Пудов сорок! Ха-ха!

— Душечка, дайте я вас поцелую! Ура! Ура! Ура! Пошлите курьеров во все лавки, учреждения, банки. Вывесьте спешно плакат: «За каждые десять рублей медными деньгами немедленно выдаем одиннадцать рублей серебром и кредитками». Черт с ними, потеряем десять процентов, зато от растраты гарантированы. Да поскорее бегите, дорогой! Авось до закрытия кассы успеем.

Через три часа в будке кассира стояло пять больших туго завязанных мешков с медью. Председатель любовно похлопал по ним ладонью, ласково улыбнулся кассиру, дружественно обнял бухгалтера и глубоко вздохнул, надевая внизу галоши.

— Фу! Гора с плеч!

На следующее утро, придя на службу, председатель правления прежде всего наткнулся на бледное, убитое лицо секретаря.

— Что? Что случилось?! — воскликнул председатель в сильном волнении.

— Увезли... — глухо сказал секретарь.

— Кого увезли?

— Двенадцать с половиной тысяч увезли. Как одну копейку. Всю ночь таскали...

— Прямо потеха! — подтвердил Никита. — На двух ломовиках. Уж таскали они эти мешки по лестнице, таскали! Аж взопрели, сердешные. В семь часов утра кончили. Оно конечно, ежели...

— Куда же они их повезли? — завизжал председатель.

— Известно куда. Иван Иванович свою долю повезли в казино, а Павел Васильевич уж, натурально, на вокзал... Оно конечно, ежели...

— Подите к черту! Подите к черту! Подите к черту! — захрипел председатель и упал без чувств.

1925

ДО И ПО

ДО

— Вам что? В двух словах! Короче!

— Я, видите ли, представитель кооперативного объединения...

— Короче!

— ...кооперативного объединения «Трудовая копейка», которое ставит своей це...

— Ну и что же? В двух словах!

— ...своей целью проводить в рабочие массы дешевую и доброкачественную мануфактуру, получая ее непосредственно из трестов, так сказать, из первых рук!..

Представитель кооперативного объединения одним залпом выложил перед директором треста вышеизложенный абзац, вспотел и умолк.

— Ну и что же? — спросил председатель треста, ковыряя в зубах спичкой. — В двух словах. Короче.

— Так вот, значит, будучи проводником в массы дешевой мануфактуры, наше кооперативное объединение обращается к вам с просьбой о содействии, которое...

— Н-ну и что же? — ледяным тоном сказал директор треста. — Только, товарищ, покороче. В двух словах.

Представитель собрался с духом и цинично заявил:

— Отпустите мануфактуры.

— Товарищ, — поморщился директор, — если вы пришли к занятому человеку, то не отнимайте у него времени праздными, не имеющими к делу отношения разговорами.

— Поз-звольте!.. Как же не имеющими отношения? Даже как-то странно... Вы, так сказать, производитель, а мы, так сказать, потребитель. И мы просим у вас...

— Кор-роче!! — заревел директор треста.

— Дайте мануфактуры, — заносчиво прошептал потребитель. — Ведь как-никак, а кооперация является до некоторой степени дверью к социализму, как сказал...

— Короче! Никаких дверей! Никаких коопераций! Вот у меня где сидит ваша кооперация! — директор треста злобно похлопал себя по малиновому затылку и выпучил глаза. — Вот где! Вот-с где-с! Полная передняя набита вашими кооператорами. И все хотят мануфактуры. И все лезут со своими массаами. К черту! Нет у меня дешевой мануфактуры. До свидания. Закрывайте за собой дверь! Следующий! Вам что? В двух словах! Короче!

— ...Ах, виноват, это вы, Павел Степанович? А я и не заметил. Садитесь, дорогой. Поверите ли, буквально в глазах плавают эти кооператоры. До такой степени намозолили зрачки, что порядочного человека не сразу признаешь, хе-хе... Ну-с! Мануфактурки?

— Ее самой.

— Это можно, только насчет цены уже... хе-хе... сами понимаете... Накладные расходы... Самоокупаемость... Безубыточный бюджет... Массы, как говорится, массаами, а прибыль на бочку!

по

— Вам что, товарищ?

— Я, видите ли, директор государственного треста...

— Да?

— ...треста, который, сами понимаете, ставит своей целью проведение в массы дешевой, доброкачественной, практичной и элегантно мапуфа...

— Ну?

— ...ктуры, которая...

— Короче!

— ...мануфактуры, которая является основой массового потребления и предметом первой необходимости для пролетариата... хи-хи-с!

— Ну и что же?

— Так вот, значит... мы предлагаем вашему кооперативному объединению партию...

— Уже. Закупили.

— Уже? Гм... Какая неприятность! А может быть, вы все-таки еще немножко... закупите?.. А?

— Нет, извините. На целый год закупили.

— А вы бы еще. На полгода. А?

— Нет.

— Ну а на месяц, а? Дешево. Доброкачественно. Красиво. Незаменимо для масс. А? Ну что вам стоит!

— Не требуется.

Директор треста встал на колени и зарыдал.

— Не погубите. Сами понимаете... Как честный человек... Того и гляди, ревизия... А у нас... Ни одного метра кооперативам не продано... Все, понимаете, продано этим акулам, частным торговцам, чтоб они сдохли... Не погубите, вашисясь... Купите мануфактуры... Жена... дети...

— Милый,— устало улыбнулся представитель кооперативного объединения,— ну что же я могу поделывать? Посудите сами: полная приемная вашего брата трестовиков дожидается. Не вы одни. Не могу купить мануфактуры. До свидания. Закрывайте дверь. Следующий! Вам что? Короче!

— Неужели не узнали-с? Это ж я, Павел Степанович. Представитель, так сказать, свободной торговли. Хи-хи... Мануфактурки бы...

— К черту! Пошел вон! У меня передняя ломится от частников. Акулы! Гады! Вон!

Директор треста упал головой в бумаги и зарыдал.

— Господи... Ты всемогущий... Ты все можешь... Ну что тебе стоит сделать, чтоб у меня какой-нибудь самый паршивенький кооперативчик купил мануфактуры?.. Не сегодня-завтра ревизия и... и... и... жена... детишки... Боже! За что я такой несчастный?! За что?

ИСКУССТВО ОПРОВЕРЖЕНИЙ

(Нечто вроде самоучителя танцев)

КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Ни тебе на казенном автомобиле покататься, ни тебе родственников на службу устроить, ни тебе благодарность с подрядчика получить... Уж насколько невинное развлечение — работницу в темном уголке облапить, и то в суд тягают. Одним словом, неинтересная пошла жизнь. Скучная жизнь, паршивая.

А кто виноват? Рабкор виноват.

Вполне разделяя вышеупомянутое справедливое негодование некоторой части своих многоуважаемых читателей и, как говорится, идя навстречу, наша редакция, не щадя затрат, решила дать краткое, но исчерпывающее руководство, как писать опровержения на заметки нехороших рабкоров.

№ 1. Простейший вид (Опровержение а натюрель)

Милостивый государь тов. редактор! Позвольте на столбцах Вашей уважаемой газеты сделать следующее опровержение по поводу заметки «Куда смотрит РКК» неизвестного, но многоуважаемого рабкора т. Гайка. Все написанное в означенной заметке от начала до конца ложь. Я не буду голословным (как это позволяют себе некоторые) и, имея в руках ряд неопровержимых фактов, которые говорят сами за себя, постараюсь раз и навсегда прекратить дикую травлю и свистопляску, которую поднимают некоторые безответственные лица вокруг моего честного советского имени. Автор заметки обвиняет меня в том, что я якобы, пользуясь своим высоким служебным положением, устроил на службу двух своих теток и племянника по 15-му разряду, а также пользуюсь для личных надобностей служебным автомобилем и прочее. Все это с начала до конца ложь, хотя бы уже по одному тому, что никакого высокого служебного положения я не занимаю, а наоборот, являюсь помощником (sic!) директора треста, так что эта часть обвинения отпадает.

Конечно, никаких теток по 15-му разряду я на службу не устраивал, хотя бы уже по одному тому, что они не тетки, а, наоборот, одна из них свояченица, а другая сноха. Так что и эта часть обвинения целиком отпадает.

Что же касается какого-то якобы племянника, то полагаю, что неизвестный автор многоуважаемой заметки не хуже меня знает, что это не племянник, а бедная девушка, сирота, из хорошей семьи, и не устроить ее с моей стороны было бы нравственным преступлением. Так что и эта часть целиком отпадает. Что же касается 15-го разряда, то всем известно, что это не так: сноха получает по 14-му разряду, а свояченица и бедная девушка — по 16-му разряду (sic!), так что как сноха, так и бедная девушка отпадают. Остальные пункты обвинения пастолько вздорны, что не заслуживают внимания. Надеюсь, что после настоящего сего опровержения дикая травля и свистопляска сами собой отпадут. Автора вышеупомянутой заметки не привлекаю к судебной ответственности, потому что считаю это ниже своего достоинства.

С ком. приветом (с коммерческим приветом) пом. дир. мебельного треста «Красноватый шик» *Я. М. Гусь*.

№ 2. Опровержение авансом

Тов. редактор! По дошедшим до меня сведениям, редактор тов. Николаев в присутствии многих рабочих двусмысленно улыбался по моему адресу. Поэтому спешу предупредить, что работницу Дуню я отнюдь не обнимал и никаких двусмысленных предложений до нее не делал, а что касается будто бы вышиб зуб столяру Анисиму, то это просто брехня. А сам Николаев между тем на моих глазах выпил вчера бутылку пива, после чего в присутствии всех распевал революционные песни. Так что в случае чего вы ему не верьте.

Старший мастер *Степан Горчица*.

№ 3. Опровержение-буфф

— Ты, сукин сын, писал обо мне заметку?

— Я.

— Так получай...

Трах, трах, трах... (три раза ударить палкой корреспондента по голове). После этого вас посадят не меньше чем на три месяца, и все убедятся в вашей невинности.

Хорошенько усвойте себе эти три основных способа опровержений и можете считать себя обеспеченным. Не надо благодарностей. Не надо оваций. Я такой. Я добрый.

1926

ЭКЗЕМПЛЯР

— А вот в том шкафу, — сказал заведующий музеем, — находится единственный во всем СССР, редчайший в своем роде экземпляр обывателя эпохи тысяча девятьсот пятого года.

— Восковая фигура или чучело? — деловито заинтересовался один из экскурсантов.

— Нет, дорогой товарищ, — с гордостью заметил заведующий, — нет. Это не восковая фигура и не чучело, а совершенно настоящий, подлинный, не тронутый молью и временем превосходный экземпляр обывателя эпохи тысяча девятьсот пятого года.

— Как же так? — хором спросили экскурсанты.

— А так. Единственный в мире случай летаргического сна. Чудо в духе Уэллса. Как впал человек в обморочное состояние двадцать лет тому назад, так до сих пор и не выпал из него.

— Не может этого быть!

— Вот вам и не может! Дело было так. Этого обывателя в тысяча девятьсот пятом году по ошибке задержали вместе с какими-то демонстрантами и отправили в участок. «Ты кто такой есть?» — спросил его дежурный околоточный. «Я-с, ваше благородие, чиновник двенадцатого класса, и ничего такого-с». — «Ой, врешь! А почему у тебя в глазах вроде как бы освободительное движение? Молчать! К какой партии принадлежишь?» Да как стукнет кулаком. Тут обыватель и впал в глубочайший обморок, который впоследствии перешел в летаргический сон. В свое время об этом даже в газетах заграничных писали. Лучшие врачи ничего не могли поделать. А один видный профессор так прямо и заявил: «Теперь субъект выйдет из своего летаргического сна не раньше, чем лет через двадцать». Вот ведь какая штука, дорогие товарищи!

— И что ж он, действительно хорошо сохранился? Ах, как интересно и поучительно посмотреть!

— А вот вы его сейчас увидите. Такой, понимаете, забавный экземпляр! Слов нет. Зонтик, галоши, серебряные часы — все честь честью. Замечательный образчик обывателя. Пальчики оближете. Прошу убедиться.

С этими словами заведующий открыл шкаф — и вдруг в ужасе отскочил назад.

Шкаф был пуст.

— Исчез! — воскликнул с тоской заведующий.

— Сперли, наверное, — выразили предположение курсанты. — Досадный факт.

— Не может быть, чтобы сперли! Кресты с могил действительно прут. Бывает. А до покойничков еще не доходило.

— Но что же? Что? Не ушел же он сам?

— Позвольте, товарищи! Ведь как раз прошло двадцать лет. Может быть, он проснулся и того...

— И очень даже просто.

— В таком случае, — завопил заведующий, — его надо спешно отыскать! А то он еще, чего доброго, под автобус попадет. Я же за него несу ответственность. Как это швейцар недоглядел? Извините, товарищи! Бегу, бегу!

Очнувшись от летаргического сна, обыватель прежде всего потрогал ноги — не пропали ли галоши, затем пощупал зонтик, высморкался, осторожно вышел из шкафа и беспрепятственно очутился на улице.

— Домой! Как можно скорее домой! — пробормотал он. — Боже, что подумает жена! Что скажет столоначальник! Ночевать в участке — какой стыд! Извозчик. Третья Мещанская!

— Два рублика.

— Да ты что, братец, белены объелся! Четвертак!

— Сам белены объелся! Тоже ездук нашелся!

— Скотина! Он еще грубит! А в участок хочешь?

— Ты меня еще городовым постращай!

— Ах ты, к-каналья! Над властями издеваешься? Устой подрываешь? погоди, голубчик, вот я сейчас запишу твой номер! Го-ро-до-вой!!

— Ишь ты! — с уважением воскликнул извозчик. — И где это только люди насобачились добывать в воскресенье горькую? Ума не приложу! И, между прочим, не менее двух бутылок, ежели на ногах держится, а кричит: «Городовой!»

Обыватель тщательно записал номер дерзкого извозчика и пошел пешком.

— Товарищ, скажите, как тут пройти на Дмитровку? — спросил у обывателя встречный юноша.

— Что-с? — завизжал обыватель. — За кого вы меня принимаете? Вы, кажется, думаете, что я из освободителей? Не товарищ я!

— Ну, гражданин. Извиняюсь!

— Не гражданин я.

— А кто же вы такой?

— Я — чиновник двенадцатого класса и кавалер ордена святыя Анны третьей степени. А ежели меня по ошибке задержали вместе с революционерами, то это, молодой человек, еще ничего не доказывает...

Юноша пристально всмотрелся в глаза обывателя и опасливо отошел в сторону.

— Вот ведь какая неприятность! — пробормотал обыватель. — Уже на улицах стали называть товарищем! Дойдет еще до столоначальника, чего доброго. Как пить дать выгонят со службы! Надо что-нибудь предпринять такое...

Обыватель поглубже засунул руки в карманы и запел «Боже, царя храни».

— Эй, газетчик! Дай-ка мне, милый, два номерочка «Русского знамени».

— Чего-с?

— «Знамени», говорю, «Русского» дай мне два номерочка. Или даже лучше — три.

— Нету такой газеты.

— Нету? Ну, дай «Новое время».

— Нету такой газеты.

— А что же есть?

— «Рабочая газета», «Правда», «Красная звезда».

— Ах ты, нахальный мальчишка! Устой подрываешь? Нелегальщиной торгуешь? А вот я тебя, негодяя, в участок сведу!

— Не имеете права! Я налог плачу.

— Ла-а-адно! Я тебе покажу налог!

Обыватель тщательно записал приметы и номер крамольного газетчика и, нудно скрипя галошами, пошел дальше.

Над фасадом большого дома обыватель прочел надпись: «Московский Комитет Всесоюзной Коммунистической партии».

— Так-с! Приятно. На глазах у всех, так сказать, под-

рывают устои. Так и запишем. И улочку запишем. И померок запишем. Все запишем.

Обыватель внес необходимую запись в памятную книжку и пошел дальше.

— Товарищ, разрешите прикурить? — остановил обывателя толстый гражданин в бобровой шубе.

У обывателя екнуло сердце и подкосились ноги.

— Хи-хи... Не извольте сомневаться. Никак нет. Никакого причастия к нелегальным подпольным организациям, революционным кружкам и политическим группировкам не имею-с и не являюсь, так сказать, «товарищем», а ежели ночевал в участке, то, поверьте, ваш... превосхо...дительство... роковое недоразумение... несчастное стечение обстоятельств... Ва...ва...ва...

Гражданин в шубе в ужасе шархнулся в сторону.

Исколесив всю Москву и уже окончательно отчаявшись в успехе поисков, заведующий музеем поздно вечером наконец, к великой своей радости, нашел исчезнувший экземпляр обывателя.

Экземпляр стоял посередине Театральной площади на коленях и, рыдая, говорил:

— Как честный человек... Роковое недоразумение... Чиновник двенадцатого класса и никакого причастия не имею... А ежели ночевал в участке, то, видит бог, по ошибке... Боже, царя храни!.. А что касается извозчика номер сорок девять тысяч двадцать один и газетчика номер двенадцать (блондин, четырнадцать лет, глаза голубые, особых примет не имеется), то могу подтвердить, что они есть замешанные в движении, особенно газетчик, который продает подпольную нелегальщину... Опять же могу указать адрес Московского Комитета Коммунистической партии... А ежели ночевал в участке, то...

Многие прохожие останавливались и давали ему копейку.

Две недели бился заведующий музеем, растолковывая обывателю сущность событий и перемен, случившихся за последние двадцать лет.

В начале третьей недели обыватель уразумел.

В конце третьей недели обыватель поступил в трест.

А в начале четвертой как-то вскользь, во время обеденного перерыва, сказал сослуживцам:

— Тысяча девятьсот пятый год? Как же, как же! Помню. Даже, можно сказать, лично участвовал в борьбе с самодержавием. Сидел, знаете, даже. За участие в демонстрации... Были дела! Ну да о чем толковать! Мы старые общественники-революционеры. И вообще, вихри враждебные веют над нами...

Говорят, что один раз он не без успеха выступал даже на вечере воспоминаний о 1905 годе.

Но это недостоверно.

Все же остальное — факт.

1926

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПАСХА

Председатель месткома Кукуев подвел гостей к роскошно накрытому пасхальному столу и радушно воскликнул:

— Прошу вас, друзья! Милости просим. Чем бог послал. Христос, так сказать, воскрес!

— Воистину воскрес, — плотоядно ответили гости, потирая руки, и стали приближаться к столу.

— Усаживайтесь, граждане, усаживайтесь, — суетился Кукуев, — прошу покорно! Пал Васильевич, что ж это вы, батенька? Наливайте, Захар Захарыч, зубровочки. Софья Наумовна, запеканочки, а? Господа, усиленно рекомендую вам свяченого куличика... домашнего изготовления. А ты что ж, Митя, сидишь и ничего не ешь, как жених? Кушай, Митя! Поправляйся. Опять же, может быть, кто-нибудь хочет свяченых яичек? Вот зелененькое, а вот и красненькое. Сами в церковь носили с Марь Ванной... Христос воскр...

В этот миг в передней раздался звонок, и через минуту в столовую вбежала взволнованная дочурка:

— Тятя! Вас там какой-то спрашивает.

— Кто б это мог быть? — изумился Кукуев. — Кажись, все свои в сборе. Гм... Извините, граждане, я сейчас.

С этими словами Кукуев вошел в переднюю и закачался. Перед зеркалом снимал пальто сам товарищ Меринцов.

— А я, брат, к тебе, — весело сказал он. — С Первым маем тебя! Отличная, браток, погода! Солнце, птички, солидарность! Возвращаюсь, понимаешь, с демонстрации и

дай, думаю, зайду проведать старика Кукуева. Уж не болен ли? Чем напоишь?

«Я б тебя с удовольствием уксусной эссенцией наполни», — мрачно про себя подумал Кукуев, а вслух радостно воскликнул:

— Напою, как же! Очень приятно! С Первым, как говорится, маем! Воистину! С Первым маем, с первым счастьем! Хм...

— Ну, браток, показывай свою берлогу.

— У меня, знаешь ли, того... не прибрано...

— Ерунда! Предрассудки! Веди, брат.

С этими словами Мериносов распахнул дверь в столовую и остолбенел.

— Гм! — сказал он, грозно нахмурившись. — Это что ж у тебя, браток, происходит тут? Никак, пасхальный стол? Религиозные предрассудки? Гости мелкобуржуазные? Ай-ай-ай! Не ожидал я этого от тебя, хоть ты и беспартийный!

— Да что вы, товарищ! Помилуйте! — бледно засуетился Кукуев. — Какой же это, извините, пасхальный стол? Какие ж это мелкобуржуазные гости? Вы меня просто удивляете такими словами...

— А что ж это?

— Это-с? Так себе. Маленький первомайский... гм... митинг... Кружок, так сказать.

— Кружок?

— Вот именно... Кружок... Кружок в некотором роде, по изучению качества продукции. Хе-хе!.. А вот это, товарищ Мериносов, все экскурсанты...

Кукуев хлопнул себя по ляжкам и радостно воскликнул:

— Вот именно! Первомайский кружок! По изучению качества продукции!

Мериносов подозрительно подошел к пасхальному столу и мрачно спросил:

— А почему тут куличи расставлены?

— Помилуйте, товарищ Мериносов! Какие же это куличи? Не куличи это, а образцы кондитерской продукции Моссельпрома. На предмет исследования...

— Ну разве что на предмет исследования. А почему на этой продукции «Х. В.» написано? — подозрительно заинтересовался Мериносов.

— «Х. В.»... Это так... сокращенное название: Х — хозяйственное, В — возрождение, а вместе — хозяйственное возрождение.

— Гм!.. Ну разве что хозяйственное возрождение. А почему на этом самом «хозяйственном возрождении» стоит сахарный барашек? В каких это смыслах?

— Барашек?.. Какой барашек? Разве это барашек? Вот история! А я, знаете ли, впопыхах как-то не заметил. Впрочем, это не барашек, а модель туркестанской тонкорунной овцы...

Мериносов сел.

— Прошу вас! Не угодно ли кусочек ветчинки?

— А почему ветчинки? Что это за кружок, в котором экскурсантов угощают ветчинкой?

— Помилуйте! Зачем же обязательно «угощают»? Не угощают, а дают на экспертизу. Определить качество. Не желаете ли, например, определить качество этой паюсной икорки? Астраханская продукция. Экспортный товар. Но предварительно усиленно рекомендуем для анализа пробирочку зубровки.

— Пожалуй,— хмуро сказал Мериносов,— от пробирочки не откажусь.

— Вот и прекрасно. И я с вами за компанию исследую колбочку рябиновой. Ваше здоровье! За «хозяйственное возрождение»!

— Воистину возрождение!

— Госп... товарищи! Что ж вы перестали, это самое, анализировать? Ну как вы находите, товарищ Мериносов, качество зубровки?

— Невредное качество. Только, кажись, градусов маловато в продукции. И как будто бы наблюдается известный процент сивушных масел.

— А вы возьмите для анализа пробу солененьких грибков! Всякое сивушное масло отобьет. Может быть, кусочек сельскохозяйственного поросеночка исследуете?

— Нет, уж вы мне лучше дайте исследовать вон той консервированной рыбки.

— А мне, пожалуйста, подвипьте образец продукции Госспирта! Налейте-ка реторточку. Ваш... здоровье...

— Граждане! Что же вы... Анализируйте поросенка с хреном! По мензурке Винторга...

— В... ви-но-ва-ат! А что это у вас тут, на блюде? Небось крашенные яйца? Опиум? Предрассудок?

— Помилте-с! Разве яйца предрассудок?

— А п...почему опи р...разноцветные... красненькие, синенькие, ж-желтенькие... ик... з-зелененькие?

— Это-с образцы красок продукции Анилинтреста,

— Ага! В таком случае дайте мне вон тот, лиловенький образчик. Мерси! И рябиновой не мешало бы еще исследовать пробирочку. А то мне все кажется, что пр-родукция у нее к-какая-то ст-странноватая! Ваш... здоровье... Ви-пова-ат! А п-почему травка тут стоит? В виде горки... Пред-рассудки?

— Показательная травка, товарищ Мериносов! Кле-вер.

— Желая исследовать п-показательную т-травку!

— Помилте! Кто же клевер анализирует? Это вам не колбаса! Вот телятины кусочек проанализируйте. Рекомендую. Замечательное качество!

— Пр-родукции?

— Продукции.

— Ну-ну, так анализем по этому поводу еще по колбочке очищенной!

— Смотри, Вася, ты уж и так наанализался порядоч-по!..

— Ер-рунда! Христос в-воскр... Воистину возрождение! С Первым м... м... м...

Поздно вечером выходя от Кукуева, Мериносов долго держался в передней за вешалку и говорил:

— Я т-тебя, Кукуев, сразу р-раску-сил. Небось это самое... А па самом деле — то с-самое! Я, браток, тебя на-сквозь виж-жу. У т-тебя все качество пр-родукции на уме... Кабинет завел экс-пер-им-мо-ментальный! Выслужиться хоч-чешь? Старайся, браток! Нам спец-цы нужны... Ик!

Где-то гудели первомайские колокола...

1926

САМОУБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ

Со стороны Гражданина это было свинство во всех от-пошениях.

Тем не менее он решился па это, тем более что само-убийство уголовным кодексом не наказуемо.

Одним словом, некий Гражданин, разочаровавшись в советской действительности, решил повернуться лицом к могиле.

Печально, но факт.

Спешно получив выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск, Гражданин лихорадочно написал предсмертное заявление в местком, купил большой и красивый гвоздь, кусок туалетного мыла, три метра веревки, пришел домой, подставил стул к стене и влез на него.

Кр-р-рак!

— Черт возьми! Ну и сиденьице! Не может выдержать веса молодого интеллигентного самоубийцы. А еще называется борьба за качество! А еще называется Древлтрест! Тьфу!

Но не такой был человек Гражданин, чтобы склоняться под ударами фатума, который есть не что иное, как теория вероятностей, не более!

Кое-как он влез на подоконник, приложил гвоздь к стене и ударил по гвоздю пресс-папье.

Кр-р-рак!

— Ну, знаете ли, и гвоздик! Вдребезгу. Борьба-с за качество? Мерси. Не на чем порядочному человеку повеситься, прости господи. Придется непосредственно привязать веревку к люстре. Она, матушка, старорежимная! Не выдаст!

Гражданин привязал к люстре веревку, сделал элегантную петлю и принялся ее намыливать.

— Ну и мыльце, доложу я вам! Во-первых, не мылится, а во-вторых, пахнет не ландышем, а, извините за выражение, козлом. Даже вешаться противно.

Скрывая отвращение, Гражданин сунул голову в петлю и спрыгнул в неизвестное.

Кр-р-р-ак!

— А, будь она трижды проклята! Порвалась, проклятая. А еще веревкой смеет называться. На самом интересном месте. Прошу убедиться... Качество-с... Глаза б мои не видели...

— К черту! Попробуем чего-нибудь попроще! Ба! Столовый нож! Паду ли я, как говорится, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она...

Кр-р-рак!

И стрела действительно пролетела мимо: рука — в одну сторону, лезвие — в другую.

Гражданин дико захохотал.

— Будьте уверены! Ха-ха-ха! Качество! Ну как после этого не кончать с собой!

— Умирать так умирать! К черту нож, этот пережиток гнилого средневекового романтизма! Опытные самоубийцы утверждают, что для самоубийства могут очень и очень пригодиться спички. Натолчешь в стакан штук пятьдесят головок, выпьешь — и амба. Здорово удумано. Как это я раньше не догадался?

Повеселевший Гражданин распечатал свеженькую коробку спичек и стал жизнерадостно обламывать головки.

— Раз, два, три... десять... двадцать... Гм... В коробке всего двадцать восемь спичек, между тем как полагается шестьдесят.

Гражданин глухо зарыдал.

— Граждане, родимые! Что же это, братцы?! Я еще понимаю — качество, но где же это видано, чтобы честный советский гражданин так страдал из-за количества?

— К черту спички! Ударюсь хорошенько головой об стенку — и дело с концом. Добьемся мы, как говорится, свою собственной головой!

Гражданин зажмурился, разбежался и —

Кррак!!!

Термолитовая стена свеженького коттеджика с треском проломилась, и Гражданин вылетел на улицу.

— Ну-ну! Мерси! Да здравствует качество, которое количество! Ур-р-ра! Ха-ха-ха!

С ума он, впрочем, не сошел, и в больницу его не отправили.

Гражданин посмотрел на склянку и сказал со вздохом облегчения:

— Вот. Наконец. Это как раз то, что мне нужно. Уксусная эссенция. Уж она, матушка, не подведет. В смерти моей прошу никого не винить.

Гражданин с жадностью припал воспаленными губами к склянке и осушил ее до дна.

— Гм... Приятная штука. Вроде виноградного вина, только мягче. Еще разве дернуть баночку?

Гражданин выпил еще баночку, крикнул и покрутил перед собой пальцами.

— Колбаски бы... И икорки бы... А я еще, дурак, на самоубийство покушался! Жизнь так прекрасна! Вот это качество! Марья, сбегай-ка, голубушка, принеси парочку уксусной эссенции да колбаски захвати. Дьявольский аппетит разгулялся.

— Ну-с, а теперь, закусив, можно помечтать и о радостях жизн... Тьфу, что это у меня такое в животе делается? Ох, и в глазах темно! Колбаса, ох, колбаса! Погиб я, товарищи, в борьбе с качеством! А жизнь так прекра...

С этими словами Гражданин лег животом вверх и умер. Что, впрочем, и входило в его первоначальные планы.

1926

О ДОЛГОМ ЯЩИКЕ

Кто о чем, а я о ящике. И не о каком-нибудь, а именно о долгом.

Чем же, собственно, отличается долгий ящик от просто ящика? Попробую осветить этот вопрос.

Обыкновенный, честный, советский просто ящик состоит из четырех стенок, дна и крышки.

Долгий ящик — наоборот. Хотя стенки у него изредка и имеются, но зато и крышка у него абсолютно отсутствует. Поэтому про долгий ящик принято говорить тихо, скрипя зубами и сжимая кулаки:

— У-у-у, проклятый! Чтоб тебе ни дна, ни крышки!

Ни на какую крупную роль, имеющую общественно-политическое значение, просто ящик не претендует и довольствуется незаметной, скромной, повседневной работой.

Что же касается долгого ящика, то — шалишь!

Долгий ящик другого сорта. Долгий ящик любит власть, славу, кипучую деятельность. Любит быть заваленным делами, проектами, сметами, изобретениями, жалобами.

Так и говорят потом со слезами на глазах:

— Ну, братцы, попало мое изобретение в долгий ящик!

Пищи пропало!

Или весело:

— А жалоба-то, которую подал на меня негодяй Афанасьев, что я ему дал по морде, того... в долгий ящик... тью-тью... хе-хе...

Одним словом, у долгого ящика есть и враги и друзья. Смотря по обстоятельствам.

А уж ежели где какая волокита, бюрократизм, разгильдяйство или головотяпство, то будьте уверены, что долгий ящик тут первый человек.

И если бы управление какой-нибудь железной дороги пожелало бы соорудить в назидание какой-нибудь этакий

шикарный памятник волоките и бюрократизму, то я предложил бы такой проект.

Письменный стол, покрытый сукном... тем самым сукном, про которое говорят: «А ты, Ваня, зря себе голову не ломай. Клади под сукно — и баста».

...На столе — справки, отношения, резолюции, входящие, исходящие... За столом два сонных чиновника, ковыряющих в носках (фигуры, натурально, должны быть отлиты из крепкой меди). А у них на плечах возвышается, как некое завершение, красивый долгий ящик, снабженный стишками товарища Зубило.

Впрочем, не настаиваю. Итак, товарищи, о долгом ящике.

На днях в лавке ТПО на станции Подсолнечная Октябрьской обнаружен в высшей степени редкий экземпляр долгого ящика.

С первого взгляда никто бы и не заподозрил, что это именно долгий ящик.

Наоборот, такой симпатичный просто ящик. Четыре стены, дно и крышка. В крышке аккуратная щель для корреспонденции. А на стенке написано даже, чтоб не заподозрили, что это долгий ящик: «Ящик для жалоб и заявлений».

И что же вы думаете?

Этот тихий на вид ящичек при ближайшем рассмотрении оказался закоренелым, злостным долгим ящиком.

«Совершенно случайно 9 января, — пишет нам рабкор, — при ревизии лавки на ящик было обращено внимание, и из него извлекли заявление, опущенное туда... тридцатого декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года, то есть триста семьдесят пять дней тому назад».

Понимаете, какая скотина! Висел себе на стене целый год и в ус не дул.

Если бы не счастливая случайность, так бы до сих пор, пегодай, и молчал, что в нем лежит заявление.

Так бы и пролежало, может быть, в подлом ящике, бедное заявление лет сорок — пятьдесят!

И, может быть, году этак в 1966-м какой-нибудь глубокий и дряхлый старик, член лавочно-наблюдательной комиссии, патолкнулся бы по старческой слепоте на этот ящик и заинтересовался им.

А интересно взглянуть: что находится в этом ящике?

И посыпались бы из вскрытого ящика на дряхлого члена лавочно-наблюдательной комиссии жалобы:

«Почему нету керосина?», «Даешь дешевый ситец!», «Приказчики кроют матом» и т. д.

И набросился бы расвирепевший старик на заведующего лавкой:

— Почему керосина не держите?

— Керосина? — удивился бы заведующий. — Это какого керосина? Которым лет тридцать тому назад самоды освещали свои жилища?

— При чем тут самоды! Керосин подавайте!

— Керосин, товарищ, теперь у нас музейная редкость. Поезжайте в Москву. Там в Политехническом музее десять — пятнадцать граммов оставлено для обозрения... А нам керосин для чего? У нас, слава богу, от электрического освещения и отопления некуда деваться.

— А ситец почему дорогой?

— Да вы что, папаша, издеваетесь надо мной, что ли, при исполнении служебных обязанностей? Никакого ситцу и в помине нету. Зимой — сукно. Летом — шелк. Большой выбор и недорого.

— А зачем приказчики, того... кроют покупателей?

— Чем кроют?

— Известно чем. Матом.

— Не держим таких сортов.

— Как же не держите, если покупатели жалуются?

Вот видите жалобы...

И взял тогда заведующий лавкой жалобы и воскликнул:

— Ба-тень-ка! Да ведь это не жалобы, а, можно сказать, исторические редкости. Поезжайте в Москву, большие деньги дадут, как за рукописи тысяча девятьсот двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого и двадцать седьмого годов. Начало двадцатого века. Эпоха-с! А вы говорите — керосин.

— Позвольте, да у нас сейчас какой год?

— Тысяча девятьсот шестьдесят шестой.

— Скажите пожалуйста, как быстро время летит! Когда я прилег давеча вздремнуть после обеда, был тысяча девятьсот двадцать шестой год, а проснулся — оказался уже тысяча девятьсот шестьдесят шестой. Спасибо, что сказали. Проклятый долгий ящик! Пойду отдохну. Вскрапну часок.

Вот, дорогие товарищи, до чего может довести долгий ящик!

Это только один экземпляр.

А сколько их, этих долгих ящиков, висит по линии железных дорог?

Сколько их скрывается в письменных столах администраторов?

Сколько их в учпрофсожах, месткомах, линейных конторах, и т. д., и т. д.? Уму непостижимо!

Ищите их, товарищи! Выводите их, негодяев, на свежую воду! Уничтожайте их! Превращайте их в честные, деловые, скромные, советские просто ящики!

1926

СКАЗОЧКА ПРО АДМИНИСТРАТИВНУЮ РЕПКУ

Вероятно, всем известна сказочка насчет репки.

На всякий случай можно напомнить.

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Решил дедка в спешном порядке реализовать вышеупомянутую репку. Тянет-потянет — вытянуть не может. Позвал дед бабку.

Бабка — за дедку, дедка — за репку, тянут-потянут — вытянуть не могут. Печально, но факт.

Позвала бабка внучку.

Внучка — за бабку, бабка — за дедку, дедка — за репку... Тянут-потянут...

И так далее... пока не вытащили репку.

Нечто подобное частенько происходит на наших железных дорогах.

Только немножко наоборот.

И картина получается такого рода:

Посадили в управление железной дороги административную репку.

Приехала репка, вросла в полосу отчуждения, покрутила носом и сказала:

— Не нравится мне тут у вас чивой-то.

— А что же вам, товарищ Репка, собственно, не нравится?

— Ничего не нравится. Начальник службы путей не нравится. Начальник службы тяги не нравится. Началь-

ник движения не правится. И начальник службы сборов тоже не правится. Одним словом, решительно никто не правится. Всех — воп!

Сказавши это, грозная репка взялась за административный персонал дороги. Тянет-потянет...

Всех вытащила в два счета.

— А теперь, — говорит репка, — буду новым персоналом обростать. Тут со мной, кстати, все и приехали.

Появился возле репки новый П.

Новый П — за нового Д.

Новый Д — за нового Т.

Новый Т — за нового М.

Новый М — за нового Б.

Новый Б — за нового С.

Новый С — за нового К.

Новый ДП — за нового ТП, ТП — за МП, МП — за СП.

И так далее, и так далее.

За новым Т — новая бабка; за повой бабкой — новая внучка-машинистка; за повой внучкой-машинисткой — повая жучка, за повой жучкой — новая мышка...

Тянет-потянет репка — смотришь, всех своих как ближних, так и дальних родственников, друзей, знакомых и вытащила на свет божий...

Всем службишку устроила!

Покрутила носом и сказала:

— Вот теперь мне можно и за работу взяться!

Но тут взяли административную репку, вытащили ее с дороги и пересадили на другую дорогу.

И потянулся на новое место за репкой пышный хвост: П — за Д, Д — за Т, Т — за М, М — за Б...

За Т — бабка, за бабкой — внучка-машинистка, за внучкой-машинисткой — жучка, за жучкой — мышка... Целый эшелон друзей и знакомых поехал за вытянутой репкой.

Одним словом, не осталось на старом месте ни бэ ни мэ.

А репка приехала на новое место, выросла в полосу отчуждения, покрутила носом и сказала:

— Не правится мне тут. Всех — воп!

И так далее, до бесконечности...

Смотри с начала.

Нельзя ли как-нибудь, товарищи, усмирить товарища Репку?

КОНОТОПСКАЯ НАРПЫТКА

«В период с 13 по 20 февраля с. г., будучи делегатом 1-го участка окружного съезда профсоюзов Конотопщины, я вместе с многочисленным съездом паходился «на столе» в нарпите», — так пишет нам рабкор.

«Что несытно нас кормили, это еще не беда, а вот что неопратно и что чаю не давали — плохо! Делегаты доплачивали в чайных из кармана».

«В нарпите на видном месте буфета имеется книга для записи «замеченных недостатков». В книге пишут о тараканах в борще и о человеческом зубе, обпаруженном в каше».

Интересен по этому поводу ответ администрации нарпита. На запись о зубе вместо серьезного объяснения или опровержения пишут так:

«Никакого зуба быть не могло, и писавший, вероятно, потерял не зуб, а одну из клепок головы. При проверке служащих нарпита зубы у всех оказались налицо».

Вот как ответил нарпит!..

Гм!.. Действительно, странно...

Ежели зубы у нарпитовских служащих оказались налицо, тогда чей же это зуб затесался в кашу?

Загадочно!

Впрочем, весьма возможно, что в каше оказался тот самый зуб, который имеет местное население против администрации нарпита.

Вам это, товарищи нарпитовцы, в голову не приходило?

Или, может быть, «при проверке администрации нарпита голов не оказалось налицо»?

Всякое бывает!

У Чехова есть хороший рассказ. Называется «Жалобная книга».

В этом рассказе приводится такая запись из «жалобной книги»:

«В рассуждении чего бы поесть, я не нашел постной пицци».

И внизу резолюция:

«Лопай, что дают».

Как видите, резолюция вполне в духе конотопского нарпита!

Однако же и весельчаки, черт подери, сидят в управлении вышеупомянутого нарпита!

Так и режут! Так и режут!

Даже обидно как-то, что зря эти весельчаки погибают где-то в глухой провинции! Их бы, голубчиков, в центр, в Москву, в газету бы фельетонистами!

Разрешите же мне, дорогая администрация конотопского нарпита, предложить вашему вниманию несколько веселых и практических резолюций для вашей книги «замеченных недостатков».

Незаменимо в хозяйстве!

Верный способ сделаться душой общества и снискать всеобщую любовь и уважение... с примесью легкой судебной ответственности.

№ 1. Жалоба:

«Сегодня в супе мною обнаружены грязная веревочка и кусочек кирпича. Прошу принять меры.

Возмущенный».

Резолюция:

«А ты что ж хочешь, чтоб тебе за двугривенный в супе плавали золотая цепочка и драгоценный камень? Хи-хи! Слопаешь и веревочку. Ничего!

Администрация нарпита».

№ 2. Жалоба:

«Прошу обратить внимание на то, что служащие, подавая пищу, кладут в нее пальцы рук, что является весьма негигиенично и даже противно».

Резолюция:

«Скажи спасибо, что кладут пальцы рук, а не пальцы ног! Впрочем, если не нравится, можешь не обедать. Тоже нашелся аристократ!

Администрация».

№ 3. Жалоба:

«Между подачей первого и второго проходит более часа времени. Эту ненормальность надо устранить».

Резолюция:

«И дурак! У нас в театре тут одна пьеска шла, так там между первым и вторым действиями проходит два года, и то никто не жалуется, а ты лезешь с претензиями! А чем мы хуже театра? Отчепись!

Администрация».

Пользуйтесь, товарищи, на здоровье! Накладывайте резолюции! Благо при проверке голов администрации нарпита клепки не все оказались налицо.

1926

БЕРЕМЕННЫЙ МУЖЧИНА

На дорожной конференции Северной делегатка Кулаева, выступив в прениях по докладу дорздравотдела, указала на случай в вологодском приемном покое, где вследствие перегруженности работой врач в больничном листе поставил рабочему диагноз — «беременна».

На линии врачам приходится обслуживать в сутки до 150 человек.

Из одной стенограммы

- Следующий! Что у вас такое?
- У меня, товарищ доктор, нога болит.
- Нога? Давайте ее сюда. Покажите. Тэк-с. Сейчас я ее смажу йодом. Готово. Можете идти.
- Товарищ доктор! У меня болит правая нога, а вы намазали левую.
- Ерунда! Следующий!
- Зубы...
- Сейчас! Открывайте рот. Которые? Где мои щипцы? Раз-раз — и никаких зубов!
- Ой, батюшки! Да не то! Зубы, говорю, у моего Ваньки начинают резаться, так я...
- У Ваньки? Зубы? Давайте сюда Ваньку. Где мои щипцы? Которые зубы? Ну-ка, посмотрим. Очень странно: никаких зубов нету.
- Так они ж еще режутся.
- Режутся? А почему режутся? Как режутся?
- Режутся и режутся...

— Безобразие! Обратитесь в милицию, если режут-ся,— она расследует. А мне некогда. Следующий! Что у вас, гражданин?

— Не гражданин я, товарищ доктор, а гражданка.

— Все равно. На что жалуетесь?

— На тошноту жалуюсь. Опять же все время на солененькое тянет. Живот будто потяжелел.

— Живот, говорите? Примите касторки — всякий живот как рукой снимет, гражданин.

— Не гражданин я, а гражданка.

— Все равно. Дуйте касторку. Следующий. Что у вас, гражданка?

— Живот у меня... только я не гражданка, а гражданин.

— Это не важно. Который живот? Покажите! Где болит?

— Вот тут.

— Гм... Явная беременность... Через две недели придется вам, матушка, рожать.

— Так... я ж... не матушка... я мужчина...

— Ерунда! Не задерживайте. Все вы мужчины... Следующий!

— Товарищ доктор! Я извиняюсь, но все-таки это мне довольно-таки странно. Может, не беременность?

— Вот вам и странно. Сказал, что беременность,— значит, беременность. Нечего, нечего, матушка. Умела замуж выходить, умей и рожать.

— Так я ж... извините... холостой...

— Тем более. Надо было своевременно в загсе зарегистрироваться. А теперь пойдет волынка насчет алиментов. Следующий!

— Товарищ доктор! Как же это так: мужчина — и вдруг рожать! Нету таких пролетарских законов, чтоб трудящемуся мужчине средних лет полагалось рожать дитё! Не могу я с этим фактом помириться!

— Не задерживайте. Следующий!

— Что же мне теперь делать, несчастному? Чем же мне придется кормить моего малютку?

— Грудью кормить будете, известно чем. Следующий!

— Какая же у меня, извините, грудь? Так себе, одна видимость. Из нее не то что молока, даже чаю не выдоишь.

— Ладно, выдоишь. Некогда мне с вами возиться! Следующий!

— Так я же...

— Следующий! Нету у меня времени с вами, гражданка, возиться! Сто пятьдесят человек больных в приемной дожидаются. Не задерживайте! Приходите через две недельки рожать. До свидания. Следующий!

Шутки шутками, товарищ, но при такой нагрузке врачей нетрудно и до того докатиться, что весь мужской персонал на транспорте начнет рожать.

Тогда, чего доброго, всякое железнодорожное сообщение в республике прекратится.

Уж лучше бы какой-нибудь соответствующий мужчина раз навсегда родил мероприятие по разгрузке линейных врачей от непосильной работы...

Тогда бы всякую мужскую беременность как рукой сняло.

1926

ДОЧЬ МИРОНОВА

Двадцать седьмого июня сего года на станции Сосыка Северо-Кавказской железной дороги в багажное отделение вошла неизвестная молодая женщина...

Начало шикарное. Интригующее.

Грациозно приблизившись к весовщику Рекову, прелестная незнакомка положила на стойку багаж и чарующим голосом сказала:

— Весовщик, примите багаж до Новороссийска.

— Еще рано, — грубо ответил весовщик Реков. — Потрудитесь, гражданка, обождать.

— Обождать? — шаловливо переспросила незнакомка.

— Обождать, — угрюмо подтвердил весовщик.

Тогда обаятельная незнакомка грациозно погрозила весовщику пальчиком и, смеясь, заметила:

— Вы нехороший человек, весовщик! Вы мне не нравитесь, весовщик. Я буду иметь о вас, весовщик, продолжительный разговор со своим папой. А мой папа, грубый весовщик, не кто иной, как УЦД Северо-Кавказской товарищ Миронов.

Весовщик Реков покрылся смертельной бледностью.

— В-ваш... дитство... не погубите! Жена, маленькие детки... Тяжелое детство и безрадостная юность... Сей ми-

нут... Пожалте ваши корзиночки-с... заставьте вечно бога молить...

— То-то! — сказала грудным контральто незнакомка и, благосклонно улыбнувшись весовщику Рекову, проследовала в кабинет ДСП.

— Здравствуйте, голубчик. Дайте мне, голубчик, листок чистой белой бумаги без линеек — мне надо написать заявление.

— Тут, гражданка, не писчебумажный магазин, — элегантно сострил ДСП, — чтобы снабжать пассажиров бумагой.

— Я не пассажирка, — вздув губки, сказала незнакомка, — я дочь Миронова, а вы невоспитанный молодой человек. Фи! Я буду иметь с папой продолжительный разговор.

ДСП покрылся смертельной бледностью, но быстро взял себя в руки и, на скорую руку извиняясь, пролепетал:

— Хи-с, хи-с!.. Помилос-с... Сию-с минутку-с... не извольте беспокоиться-с... не признал сразу-с...

— Ничего, ничего! — ласково сказала дочь Миронова. — Я не злопамятна. Старайтесь.

ДСП лихорадочно выдрал из первой попавшейся книги листок бумаги, стал на одно колено и галантно протянул дочери Миронова.

После этого дочь Миронова шумно удалилась в кабинет ДС, вскоре вышла оттуда с «самим» ДС и воздушной походкой направилась в упомянутое выше багажное отделение.

— Вот что, братец, — сказал грозный ДС весовщику. — Вот что, братец!.. Ты того! Знай, с кем дело имеешь! С дочерью самого Миронова дело имеешь. Так чтоб у меня ее обе корзины были приняты в два счета.

— Не погубите! — бледно прошептал весовщик.

— Орудуй!

— Слушаюсь.

— Вот что, кассир, — сказал ДС, — тут вот товарищ дочь товарища Миронова хотят съездить в Новороссийск... Так ты тово... Два билетика не в очередь... Понимэ?

Кассир покрылся смертельной бледностью и спеш-

но выдал два билета, хотя в поезде № 18 мест и не было.

Дальнейшие события описаны летописцем станции Сосыка приблизительно так.

По окончании этой операции дочь Миронова вышла на перрон в сопровождении ДС, у которого через руку было изящно переброшено воздушное ее пальто. Здесь их встретила жена ДС, и последняя была представлена дочери Миронова. Милостиво поговорив с женой ДС, дочь Миронова, по слухам, соблаговолила даже протянуть упомянутой жене два пальца, после чего все изысканное общество в сопровождении местного светского льва, телеграфиста Свиридова, прогуливалось по перрону в ожидании поезда.

Ради столь приятной встречи было распито две бутылки легкого виноградного вина. К сожалению, летописец не упоминает, какой марки было вино.

В это время на перрон вбежал расстроенный весовщик Реков и со слезами негодования в голосе заявил, что багажный раздатчик не принимает багажа дочери Миронова.

ДС побежал сам к багажному вагону и стал приказывать взять багаж, но багажный раздатчик остался неумолимым и багаж без замков не принял, нахально при этом заявив:

— Хотя бы этот багаж был самого Рудзутака.

В результате поезд № 18 был передержан на 20 минут.

После чего, при восторженных криках провожавших, дочь Миронова благополучно отбыла со станции Сосыка, посылая ошарашенной администрации воздушные поцелуи, нежные улыбки и прочие знаки внимания.

На сем история дочери Миронова и кончается, причем летописец станции Сосыка в конце своей летописи меланхолично добавляет:

«Местный агент ГПУ сел вместе с дочерью Миронова в поезд № 18 и по дороге узнал, что она вовсе не дочь Миронова, а назвалась Мироновой лишь потому, что ей нужно было ехать с этим поездом, а мест не было, и не знала, как быть, вот поэтому и назвалась дочерью Миронова, зная, что линейное начальство еще до сих пор не отвыкло лакейничать перед управленским начальством и их присными...»

Прибавлять к этому едва ли что-нибудь следует. Дело

яснее ясного: не изжито еще на наших дорогах, к сожалению, лизоблюдство, лакейство, подхалимство!

И случай с «дочерью Миронова» — наглядный сему пример. О чем и сообщаем по линии.

1926

ГРАНИТ НАУКИ

И наступил жуткий день экзаменов...

Впрочем, не экзаменов (экзамены — это понятие старорежимное), а выпускных испытаний Минской профшколы путей сообщения.

За столом восседала грозная комиссия: начальник школы, заведующий учебной частью, преподаватели предметов и представители профсоюзной и комсомольской организаций.

— Ну-с, приступим,— сказал председатель комиссии и плотоядно улыбнулся.— Только, ребята, предупреждаю: не мямлить, не ковырять в носу, голову держать бодро, на вопросы отвечать быстро — сто слов в минуту, не меньше! Раз-раз — и готово! Чтоб без никакой волокиты. Быстрота и натиск! А не то срежу. Правильно?

— Правильно,— бледно улыбнулись учащиеся.

— То-то же! Итак, пожалуйста сюда, товарищ Икс.

— Подойдите-ка, молодой человек, поближе! Да что это вы так передвигаете ногами, точно они у вас весят по шести пудов каждая? Веселее! Раз-два — и готово. Я такой человек — я люблю, чтоб учащиеся выглядели орлами! Ну-с! Перечислите-ка нам, унылый молодой человек, виды блок-аппаратов. Только живо!

— Станционные блок-аппараты, товарищ председатель, подразделяются, так сказать, на следующие виды. Во-первых...

— Короче!

— Во-первых, двухчковые, во-вторых...

— Кор-роче! А не то срежу.

— В-во-в... во-вто-рых, четыре...

— Кор-р-роче!..

— Четырехоч...ч...чковые... В-третьих...

— Да что у вас, черт возьми, язык отсох? Говорить разучились? Срежу, ей-богу, срежу! Короче!

- В-третьих, так сказать, восьмиочковые...
- Нет! Нет! Восьмиочковых аппаратов не бывает. Садитесь на место!
- Тов...варищи! Честное слово, бывают.
- Не бывают! Садитесь.
- Бывают! Клянусь честью! Можете кого угодно спросить.
- Как? Что? Что вы этим хотите сказать? Вы этим хотите, может быть, сказать, милый молодой человек, что я лгу-с?
- Н-никак нет... Но...
- Никаких «но»! Садитесь! Ставлю вам литер В. Неудовлетворительно!
- Но...
- Молчать! Ступайте на место. Следующий!

- Ну-те-с! Подойдите. Голову выше. Грудь вперед. Живот убрать. Отвечать быстро, четко, ясно. Расскажите нам, что вы знаете про диалектику Гоголя.
- Гоголя? Гм... Видите ли, насколько я вас понимаю...
- Короче!
- Насколько я вас понимаю, вы хотите сказать — диалектику Гегеля?
- Что-с?
- Гегеля-с?
- Как-с? Вы мне, кажется, возражаете, нахальный молодой человек?
- Но ведь Гоголь...
- Молчать! Расскажите про диалектику Гоголя — и дело с концом!
- Нету у Гоголя никакой диалектики.
- Нету-с?
- Нету. У Гоголя есть «Мертвые души», «Тарас Бульба»...
- Сами вы бульба! Садитесь. Ставлю вам литер В. Поучитесь!
- Но...
- Никаких «но»! Следующий!
- Перечислите местные комиссариаты. Быстро! Раздва. Голову выше. Улыбайтесь. Ну!
- К числу местных комиссариатов отно...
- Короче!
- ...сятся...
- Кор-р-роче!..

- Наркомюст...
- Ничего подобного! Садитесь.
- Позвольте, но ведь...
- Никаких «но»! Провалились... Литер В!
- Н...
- Кончено! Следующий!

- Есть.
- Подождите!
- Слушаюсь.
- Молодец!
- Рад стараться!
- Знаете?
- Ого! В два счета. Раз-раз — готово.
- Вот это я понимаю. Не ученик, а орел.
- Служим нар-роду!
- Правильно. Скажите нам, бодрый и симпатичный юноша, кто такой Маркс?
- Издатель «Нивы».
- Кто такой Бебель?
- Философ.
- Молодец. Что такое Третий Интернационал?
- Излюбленный гимн пролетариата.
- Bravo! Какие бывают паровозы?
- Всекие: маневровые, пассажирские, санитарные, сельскохозяйственные, автоматические, электрические, сапитарные, поломанные, музыкально-вокальные, красивые, некрасивые, колесные, воздушные...

— Довольно! Молодец! Садитесь. Литер А. Выдержал. Берите все с него пример. Взгляд бодрый, грудь вперед, ответы быстрые, точные... Раз-раз — и готово! Старайтесь, старайтесь, симпатичный юноша! Следующий!!

1926

АУ, ПАПАША!

Будучи сознательным советским младенцем мужского пола и грудного возраста, настоящим прошу тебя, дяденька «Смехач», обуздать моего беспримерно гнусного папашу, гражданина Александра Григорьевича Сизова, и прогудеть по всему Советскому Союзу про его недостойную,

чтобы не сказать крепче, линию поведения как в отношении меня лично, так и в отношении моей незащитной мамы.

И нельзя не воскликнуть: «За что боролись?»

Поясню примером: в отношении деторождения упомянутый мой гнусный папаша оказался мастером высокой квалификации, что целиком и полностью подтверждается печальным фактом моего рождения на свет, чего нельзя сказать об алиментах. Родить-то он меня, развратный гражданин, родил, а, как говорится, об «платить алименты не может быть и речи». Почему такое?

Фактически же дело обстоит так. С апреля месяца 1925 года на упомянутого моего гнусного папашу имеется исполнительный лист — взыскивать с него на мое содержание 10 рублей в месяц.

Конечно, денежки не ахти какие! Все же 10 дубов на земле, извините, не валяются, и, принимая во внимание вздорожание молока, манной каши и пеленок, нужно констатировать тот факт, что вышеизложенные 10 рублей являются для меня единственным доходом и средством к существованию. Опять же соска. Разве ж можно допустить, чтобы в Советском государстве пролетарский малютка оказался без спецсоски! И куда смотрит охрана материнства и младенчества? Ау, откликнись!

А все через этого моего вышеупомянутого жулика папашу, который хвостиком прикрылся и платить по исполнительному листу упорно не желает!

Два раза носила меня мамаша в губсуд судиться с вредным папашей. Ни черта! Наконец дело было вновь пересмотрено и постановлено — взыскивать с папашы мовету. Хорошо. Пока дело тянулось, задолженность нарастала. А между прочим, жрать хотца. Опять же соска!

И что же тогда делает мой негодяй папаша? Мой негодяй папаша начинает понемногу менять линию поведения, для того чтобы отделаться как можно дешевле. А именно: его место в Мелтресте с окладом в 80 рублей занимает его отец, то есть, извините, мой дорогой, симпатичный старик дедушка, а он, гнусный папаша, к моменту окончательного решения суда, в том же Мелтресте уже получает только 32 рубля. Как вам понравится такая шельма?

Просто сказать, от людей совестно, что у меня папаша такой жулик!

Когда же исполнительный лист поступил по месту службы и было сделано удержание, мой дорогой папаша-

жулик уже оказался, представьте себе, безработным! Веселенькая история!

А жрать, между прочим, хотца. Опять же соска! Хорошо.

Что же делает папаша дальше? Дальше папаша женится и берет на свое иждивение, кроме жены, еще тещу и замужнюю сестру с двумя детьми. Обеспечив себя таким составом семьи, эта старая лисица выкидывает такую штуку — в один прекрасный день в полном составе переезжает на Украину, чем сильно осложняет дело с получением монеты. А жрать все же хотца. Ладно.

Что же дальше делает мой аферист папаша? Дальше мой аферист папаша поступает артельщиком плательщиков в Харьков, в управление Донецких (площадь Уэрбаха, дом № 7), и решительно прикрывается хвостиком, чего не могу сказать, дорогой дяденька «Смехач», про себя.

Верите ли, дяденька, через этого моего жилу папашу из цветущего, образцового малютки превратился я, извините, в скелет желтоватого оттенка, а бедная моя мамаша, швея, по целым дням бегает от судисполнителя в контору за всякими справками, а из конторы в милицию — узнавать адрес моего дорогого и горячо любимого папаша, гражданина Александра Григорьевича Сизова, чтоб он, кстати, подох!

А дорогой мой папаша сидит у себя в Харькове, прикрывшись хвостиком, и публично произносит по моему адресу всякие выражения вроде: «И когда же этот пацан подохнет!»

Это я-то пацан! Это я-то когда сдохну! Ну и папаша пошли, извините за выражение! Да за такие слова я имею полное право потянуть его в нарсуд, только пачкаться не стоит. Конечно, с моей стороны было крайне несознательно уродиться от подобного уголовного папаша. Но разве ж я знал, что это такая гадина. Знал бы — ни в жисть не родился.

А кушать, между прочим, хотца. И соску.

С тем, дорогой дяденька «Смехач», до свидания. Пропечатай, пожалуйста, а уж я, когда подрасту, клянусь подписаться на тебя со всеми приложениями.

Соскор «Пацан».

Писал под диктовку малютки В. Катаев.

ТУСКЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

У дверей редакции газеты «Гудок» остановился неизвестный гражданин тусклой наружности и, обнюхав извилистым носом редакционный воздух, принялся терпеливо ждать. Ждал он долго — часов пять-шесть.

Люди приходили в редакцию и уходили. Рабкоры приносили заметки, рассерженные «опровергатели» стучали кулаками по редакционным столам, почтальоны несли со всех концов СССР почту. Курьеры летели в типографию со срочным материалом...

А неизвестный гражданин тусклой наружности терпеливо ждал, с недоумением уставясь оловянными глазами в дверь.

— Вам, собственно, что нужно, товарищ? — спросил я, заинтересовавшись таинственным посетителем.

— В «Гудок» нужно. Одно дельце есть.

— Так что же вы не входите?

— Без доклада? — презрительно прищурился тусклый посетитель.

— У нас в «Гудке» никаких докладов не требуется. Имеете дело — прямо открывайте дверь и валите! Милости просим!

— А я думал: может, ветром сдуло.

— Чего?

— Ветром, говорю, может, сдуло. Табличку то есть сдуло.

— Какую табличку?

— Известно какую: «Без доклада не входить».

— Нет, товарищ, у нас это не в моде. Нет у нас никаких табличек. Входите уже безо всякого доклада.

Тусклая личность сердито пожевала своими иссиня бритыми губами и прошамкала:

— Непорядки это... чтоб без доклада... Ну да уж ладно! Войду и так.

— Прошу вас.

Я взял посетителя под руку и ввел в редакционную комнату.

— Ну-с, дорогой товарищ, теперь расскажите, в чем дело?

— А вы секретарь здесь, что ли?

— Нет, не секретарь. Фельетонист я.

— Так это же непорядки... сначала к секретарю надо.

— Не надо к секретарю.

— Не надо? — горько ухмыльнулся посетитель. — Вот оно что? Ага! Так и запишем-с... А я думал: может, ветром сдуло.

— Что?

— Ветром, говорю, может, сдуло табличку: «Обращайтесь к секретарю».

— Нет, у нас этого не водится. Безо всякого секретаря. Можете прямо приступить к делу. Ну-с?

— А как же с анкетой?

— С какой анкетой?

— А с такой — заполнить, значит, чтоб.

— Нет у нас никаких анкет. Не надо ничего заполнять. Садитесь просто на стул и говорите!

— А рукопожатия отменяются? — с дрожью в голосе спросил тусклый посетитель.

— Отменяются, отменяются! — успокоил я его.

— То-то! — слегка просиял он.

— Ну-с! Я вас слушаю.

— А я думал — через недельки две-три зайти.

— Зачем же это?

— А для порядку. А то что ж это, в самом деле: пришел — и в тот же день дело сделал. Непорядки это, знаете.

— У нас это не принято — тянуть волюнку. Говорите валяйте.

— А может быть, вы все-таки заняты? Заседанием каким-нибудь или же комиссией, а?

— Нет, не занят. Я весь к вашим услугам!

— Странно, очень странно.

— Ничего странного тут нет. Вы мне надоели. Говорите же, что вам надо.

— А может быть, лучше прошение написать? С гербовыми, значит, марками... пропустить, значит, через входящие и исходящие... Честь по чести, а?

— Тьфу, дьявол! Надоели вы мне, откровенно говоря. Не надо никаких прошений. К черту входящие! К собакам исходящие! Говорите прямо по-человечески, что нужно.

— Непорядки это...

— То-ва-рищ! Пожалуйста, не тяните! Говорите, в чем дело. А то я занят — к «бюрократическому» номеру «Гуд-ка» фельетон строчу. Видите?

— К «бюрократическому»? — встрепенулся тусклый посетитель. — Так вот я к вам именно по этому дельцу и пришел.

С этими словами он вытащил из кармана какую-то бумажку и, конспиративно оглянувшись по сторонам, сунул мне в руку.

— От Ивана Ивановича... Лично... В собственные руки.

Я с недоумением развернул записку и прочел: «Дорогой Митрофан! Ты меня, наверное, забыл, а мы с тобой в 1917 году вместе в трамвае ехали в Одессе. Окажи дружескую услугу! Податель сего... как его... фамилию забыл... мой старый верный друг детства, а также муж сестры тети Сони (впрочем, ты ее, наверное, не знаешь). Так вот, рекомендую его тебе как высококвалифицированного бюрократа. Надеюсь, что в память нашей старой дружбы ты устроишь его как-нибудь на страницах бюрократического номера «Гудка». Портретик там или что. С своей стороны при первом удобном случае окажу тебе услугу за услугу. Заранее благодарен. Кланяйся Зубиле! Твой *Вася*».

— Никакого Васи я не знаю! — мягко сказал я. — И никакой рекомендации не надо!

— Не надо? — ахнул тусклый посетитель. — Как же это так, чтоб без записочки? Без записочки у нас ничего не делается. Без записочки — это непорядки. Хе-с, хе-с... Может, этого, Васиной рекомендации недостаточно, в таком случае я могу от Пети принести.

— От какого Пети?

— Как же-с, как же-с... Разве вы не знаете Пети? Петя — это двоюродный брат Васи по женской линии... Тоже с вами в трамвае как-то однажды ехал — до сих пор вспоминает.

— Не помню Пети! Не надо Пети! Давайте лучше без всяких рекомендаций! Ну-с, в чем дело?

Тусклый посетитель страдальчески вздохнул:

— А может быть... все-таки... через секретаря? Или же проще...

— Тьфу!! Говорите так!

— Хорошо-с! — покорно склонил голову посетитель. — Не хотите — не надо! В чужой, как говорится, монастырь со своим уставом не суйся. У меня к вам, товарищ Горчица, такого рода дельце. У вас тут, я слышал, «бюрократический» номерок готовится... Так нельзя ли мне... как-нибудь того... по знакомству с Васей, Петей и тетей Соной... на первой страничке напечататься? Ась?

— А вы, товарищ, кто такой, собственно, будете?

— Я-с... бюрократ-с! Чистой воды, стопроцентный, старый, выдержанный советский бюрократ-с!

— А! Это интересно! Нам нужен хороший, опрятный, образцово-показательный бюрократ с солидным стажем.

— Лучше меня не найдете-с! Я бюрократ, знаете, еще довоенной выработки. С семнадцатого года в советских учреждениях волюнку волюню. Так напечатаете на первой страничке-с?

— А что вы, например, делали такого сверхбюрократического?

— Я-с? А очень даже многое-с... И Вася может подтвердить. Бумажки, например, по два месяца в столе держу иногда. И не какие-нибудь, а важные. Без доклада никого не пускаю к себе-с. На курьера кричу-с... Хе-хе!..

— И это все?

— Н... нет-с... А то вот еще такой случай был. Как-то остался я замещать своего прямого начальника — так, верите ли, два месяца сам себе отношения писал и сам себе на эти отношения отвечал... Ась? Об этом даже на днях товарищ Орджоникидзе в докладе упомянул-с...

— Для первой страницы маловато. На первой странице у нас место занято Макдональдом, Гендерсоном, Томасом и К^о. Ваша волокита по сравнению с ихней волокитой — детские игрушки. От вашей волокиты пострадало десятка два посетителя да пудов сорок писчей бумаги... А там, дорогой товарищ, весь рабочий класс Англии пострадал! Вот это работка-с!

— Значит, на первую страницу не возьмете?

— Не возьмем.

— А Васина записочка-с?

— Не поможет.

— Может быть, все-таки...

— Нет-нет! И не просите! Макдональда вам по части волокиты, я вижу, не покрыть. Кишка тонка. Вы что? Пережиток, мразь, извините, ничтожный бюрократический щенок. А Макдональд — это действительно волокитчик в мировом масштабе. Первейший из всех бюрократов Второго Интернационала.

— Значит, не напечатаете?

— На первой странице — нет. Сбегайте на четвертую страничку, — может быть, там, петитом...

— Может, на первую?.. Тетя Соня кланялась... А?

— Нет-нет! Идите на четвертую! До свидания, товарищ бюрократ.

Тусклый посетитель сторбился и поплелся на третью страницу.

Выходя из редакции, я увидел тусклого посетителя. Он стоял, окруженный друзьями, и, вытирая оловянные глаза большим несвежим носовым платком с синей каймой, говорил, всхлипывая:

— Не принял, подлюга, на первую страницу. Пришлось на третью забираться. Не повезло. Конечно! У этого самого паршивого Митрофана Горчицы свой кандидат, оказывается, свой кандидат на первую страницу был — Макдональд. За него, говорят, специально Кук из Лондона приезжал хлопотать. А у меня записочка от Васи. Нешто Васе с Куком тягаться! «Вы, говорит, мелочь, а Макдональд, говорит, в международном масштабе!.. Кишка, говорит, тонка!» А пустите вы меня на международную арену — я вам покажу, как надо волынить! Дайте мне инициативу, я бы им показал, что такое настоящий бюрократизм! Не дают только, сволочи, ходу! Бюрократы паршивые!

1926

СПУТНИКИ МОЛОДОСТИ

Фельетонист газеты зажег на своем хорошо оборудованном письменном столе сильную, яркую полуваттную лампу под зеленым колпаком, придвинул к себе стопку тщательно нарезанной белой бумаги, отхлебнул глоток крепкого до черноты, душистого чая и, закурив толстую папиросу Уктабактреста, мечтательно выпустил в потолок синеватый клуб дыма.

В калорифере паро-водяного отопления постукивали молоточки. От него исходило упоительное тепло. За окном кружился легкий снег. Вечерело...

Фельетонист обмакнул перо в чернила и решительно написал: «Фельетон». Потом зачеркнул и написал: «Маленький фельетон». Немного подумав, зачеркнул «Маленький фельетон» и вывел красивыми буквами: «Октябрьский фельетон».

Фельетонист полюбовался на свой почерк, нарисовал сбоку человека с длинным носом, надел на него цилиндр, устроил на глазу монокль, а внизу написал: «Чемберлен». Затем приделал Чемберлену длинную черную бороду, перечеркнул лист, смял его и бросил в корзину.

— Тьфу, дьявол! Четвертый вечер сижу и ничего не могу высидеть! Хоть плачь!

Фельетонист встал из-за стола, сердито лег на диван и закрыл глаза.

— Не желаю — и баста! Нету темы. Не машина я, в самом деле, чтоб за четыре дня фельетоны октябрьские писать!

— Постыдились бы так говорить, товарищ! — произнес вдруг над ухом фельетониста чей-то густой, железный бас. — Просто срам, молодой человек! Фу!

Фельетонист вздрогнул и открыл глаза. Возле дивана стояла небольшая железная печка на маленьких ножках и укоризненно качала своей коленчатой прожженной трубой, похожей на шею жирафа.

— Что вам, собственно, угодно, гражданка? — строго спросил фельетонист. — И с вашей стороны это даже довольно не деликатно — врываться без спроса в кабинет к незнакомому, занятому человеку. Попрошу вас удалиться, я не имею чести быть с вами знакомым!

— Хо-хо! Это мне нравится! Не узнаете вы меня, что ли?

— Н-н-не припоминаю что-то, извините. Кто вы такая?

— Не припоминаете? — обиделась печка. — Очень мило с вашей стороны! Этого я от вас никак не ожидала! Я — «буржуйка».

— Буржуйка? Тем нахальнее ваше поведение. Между мной и буржуйкой не может быть ничего общего.

— Именно «буржуйка». Или «румынка». Как вам будет угодно. Не узнаете?

— Позвольте... «Румынка»... «Буржуйка»... Позвольте... Как будто бы... немножко ваша труба... мне знакома... — пролепетал фельетонист, всматриваясь в печку. — Где мы с вами встречались?

— Хо-хо! Эт-то мне нравится! Везде мы с вами встречались, дорогой товарищ. В частности, я у вас в комнате жила подряд три года — тысяча девятьсот девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый. Вы еще меня тогда полным собранием сочинений Боборыкина топили. «Хорошо, шельма, писал, говорили, два месяца я на нем воду кипячу, а все конца-краю ему не видать». Ну, припоминаете теперь?

— Голубушка! — воскликнул фельетонист в сильнейшем волнении. — Мам-мочка! Теперь узнаю! Узнаю! Ради бога! Какими судьбами? Садитесь, пожалуйста! Чайку, может быть, стаканчик выпьете? Кофейку? А я, признаться, думал, что вас давным-давно в Москве не существует.

— Вообще не существует. Но в частности, в полночь накануне Октябрьской годовщины... Иногда... В качестве,

извините, праздничного призрака... специально для беллетристов... А насчет чаю не беспокойтесь, сыта по горло! Мерси!

— О, как мило с вашей стороны, что вы пришли! А то, знаете, буквально не знаю, что писать. Все в голове какие-то, представляете себе, жареные меньшевики с яблочками копошатся. То есть гуси... Обалдеть можно.

Печка укоризненно покачала головой:

— Ай-яй-яй! Нехорошо забывать спутников молодости. Нехорошо! Небошь если бы не я, вы бы десять раз подошли и до девятой годовщины не дотянули. Ух какое было тяжелое время! Помните?

— Еще бы! Тяжелое, да! Но вместе с тем чудесное, незабываемое, героическое, молодое время! Вот, гражданка печка, смотрю я на вас — и передо мною всплывают одна за другой картины этого времени... Свистит буйный ветер революции. Холодно. Голодно. Коченеют руки. И вместе с тем как работалось! Замечательно работалось! Вызывает редактор. Так и так, говорит, красные части отходят от Царицына. Надо предотвратить панику. Бодрый фельетон. Через двадцать минут чтоб был на столе. Есть! И действительно... Еле в отороженных руках держишь карандаш... Бумага рвется... И тем не менее ровно через двадцать минут у редактора на столе фельетон. Да не какой-нибудь, а огненный, страстный, ударный! Как динамитный патрон! Эх, было время!

— То-то же! А вы говорите — писать не хочется! Постыдились бы! Разленились вы, батенька, вот что! Отъелись. Обуржуились малость, извините меня, старуху, за откровенность. Говорите, что писать не о чем? Ерунда! Вспомните двадцатый год!

— Верно, правильно! — раздался тоненький голосок, и фельетонист с удивлением увидел у себя на плече довольно странную бутылочку из-под горчицы, с трубкой, воткнутой в пробку. — Что, может быть, вы и меня не узнаете?

— Н-не совсем... извините, уважаемая бутылочка... Что-то не припомню...

— Не припоминаете? Я так и знал! И никакая я вам не бутылочка! Я — светильник-с. Обыкновенный бензиновый светильник образца двадцатого года. При моем свете вы писали тогда свои огневые фельетоны. Надеюсь, вспомнили?

При этих словах электрическая лампа погасла, а светильник торжественно вспыхнул четырьмя яркими язычками пламени. Тени заметались по комнате.

— Узнаете теперь?

— Узнаю, узнаю. Как же! Милый вы мой, дорогой светильник!.. Садитесь!

На глаза у фельетониста навернулись слезы.

— А меня не узнаете?

— А меня?

— А меня?

Фельетонист вскочил с дивана и увидел, что комната наполнена множеством странных, но до боли знакомых вещей. Березовое полено молчаливо, но приветливо стояло у письменного стола, скептически поглядывая на начатый фельетон. Бязевые красноармейские кальсоны с клеймом сидели на стуле, небрежно закинув нога на ногу. По паркету бегали деревянные сандалии, отбивая чечетку. Мерзлый картофель громыхал в солдатском котелке. Медная зажигалка щелкала и стреляла длинным багрово-огненным языком. Серная спичка вспыхнула синей точкой, зашипела, затрещала, наполняя воздух удушливой вонью...

— Ты забыл нас, фельетонист?! — кричала восьмушка табаку, похожего на сухой конский навоз. — Это просто свинство! Это черная неблагодарность! Ты курил меня, когда писал свои пламенные агитки!

— Правильно, — поддержало березовое полено. — Он украл меня у своего соседа и при теплоте моего пламени сочинял героические стихи о взятии Перекопа.

— Он носил меня, — сказали иронически кальсоны, — когда ездил по фабрикам, выступал на устных газетах.

— И нас он носил тоже. Без нас он бы замерз! — закричали обмотки, разворачиваясь, как змеи, и извиваясь.

— А теперь он забыл о нас! Ренегат!

— Просто свинья! — возмущенно заметил фунт мяса из академического пайка. — Он иногда ел меня и товарища ячневую кашу. Если бы не мы, он бы сдох с голода.

— А я, по-вашему, что? Собака? — вспылил ломтик черного, мокрого, липкого, как замазка, колючего хлеба. — А я разве не поддерживал его в самые трудные минуты! Разве не я питал его фельетонный жар!

— Он из меня пил кипяток! — зарычала коробка с рваными краями. — Без меня бы он погиб! А теперь он смотрит на меня, как баран на новые ворота, и не узнает. Теперь он, видите ли, пьет чай с сахаром из граненого стакана в серебряном подстаканнике! Буржуй!

— Правильно! — вопили вещи.

— Фельетонист! Вспомни о нас! Вспомни и напиши фельетон... Нет, не фельетон, а поэму, чудесную, незабы-

ваемую, героическую поэму о нас, которые грели тебя, и кормили, и помогали тебе жить...

— Милые вы мои! — воскликнул фельетонист, еле сдерживая волнение, теплым клубком подступившее к горлу. — Помню вас. Помню, люблю, никогда не забуду больше! И вас помню, дорогое березовое полено! Я действительно украл вас у Сашки Ветрова, из комнаты номер одиннадцать. Но что же делать? Я коченел от холода. Надеюсь, вы не сердитесь на меня? И вас помню, о бязевые кальсоны! Вас было очень трудно стирать в холодной воде, но носились вы прекрасно. И вас, пайковое мясо. В вас, правда, было полфунта костей, но никогда ничего вкуснее я не ел на свете! И вас, дорогой дешевый табак... И вас, зажигалка, и вас, кружка, и вас, бандерольная бумага, на которой я писал героические агитки и из которой я крутил сигарки. И вас, светильник, и вас... картошка. Всех, словом! Всех вас, моих дорогих, горячо любимых, незабвенных спутников героической молодости...

Вдруг в дверь постучали. Раздался голос:

— Товарищ фельетонист! Тут у вас пришли какие-то, говорят, что меньшевики, эсеры, Декикин, Керенский, Милюков, барон Врангель и многие другие поздравлять с Октябрьской годовщиной. Просят в октябрьский фельетон. На чай просят.

— Гоните их к черту! Ничего я о них писать не буду. Надоело! Так им и скажите. Да смотрите, чтоб они из передней шубу не утащили! Скажите, что я занят. У меня в гостях спутники молодости. И о них я буду писать свой праздничный фельетон!

За окном уже горели фонари. Вдоль фасада большого дома тянули красные полотна.

1926

НЕОТРАЗИМАЯ ТЕЛЕГРАФИСТКА, ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МИСТЕРА КЛИМОВА

(Сильная кинопрограмма в пяти частях)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. На экране появляется красивый железнодорожный пейзаж.

Надпись: «Станция Шарья Северной железной дороги».

2. На экране — красивый мужчина сидит за письмен-

ным столом и, поднявши к потолку деликатные глаза, нежно мечтает.

Надпись: «Зам. председателя учкпрофсожа Климов».

По небу плывут кудрявые тучки.

3. *Надпись:* «Еще в прошлом году Климов, будучи в месткоме № 2...»

4. Климов сидит, обнявшись с неотразимой телеграфисткой Монаховой, над прудом.

Надпись: «—Котик, достань мне казенную квартирку!

— Увы, Пупсик, это никак невозможно!

— Почему?

— Потому, что я не состою в жилкомиссии».

5. Крупным планом. Прекрасное лицо неотразимой телеграфистки. По щеке ползет большая и довольно-таки увесистая слеза...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

6. *Надпись:* «Прошел год...»

Неотразимая Монахова сидит над аппаратом Бодо и тихо грустит. Вбегает мистер Климов и начинает резвиться.

Надпись: «—Почему ты резвишься, Пупсик?

— Ура! Ура! В данный момент я замечаю председателя учкпрофсожа. Лови этот самый момент. Комнатка тебе обеспечена».

Мистер Климов вприпрыжку убегает. Неотразимая телеграфистка хлопает в ладоши и начинает лихорадочно пудриться.

7. Председатель жилищной комиссии Честоковский стоит на задних лапках. Крупным планом: виляющий хвост. Мистер Климов гладит Честоковского по мохнатой спине.

Надпись: «—Послушай, песик!

— Всегда готов служить начальству!

— В данном случае объявляю заседание жилкомиссии открытым. На повестке — вопрос о предоставлении неотразимой Монаховой комнаты. Возражений нет?»

8. Честоковский продолжает стоять на задних лапках и ласково вилять пушистым хвостом. Крупным планом: торжествующее лицо мистера Климова.

Надпись: «Принято единогласно».

9. Мистер Климов становится на одно колено и галан-

терейно передает неотразимой телеграфистке ордер на комнату и ключ. Крупным планом: целуются. Диафрагма. Экран темнеет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

10. Честоковский посылает протокол «заседания» на подпись ШЧ-6, ДН-6, ТЧ-11. Они категорически отказываются подписать.

Надпись: «—Мы не желаем подписывать незаконный протокол. Мы не присутствовали на заседании. Кроме того, есть лица, более нуждающиеся в квартире, чем неотразимая телеграфистка. Одним словом, пошел вон!»

11. Честоковский бежит, поджав задние ноги и свесив язык. Крупным планом: перед Честоковским встает большой вопрос.

Надпись: «—А как же я теперь буду посылать протокол в доржилкомиссию???»

12. Неотразимая телеграфистка игриво въезжает в комнату.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

13. Бурная ночь. Луна как сумасшедшая ныряет в чернильных тучах. Ветер гнет деревья. Мистер Климов и мистер Честоковский, закутанные в плащи, пробираются в канцелярию, где хранится книга протоколов.

Надпись: «Но бандиты не дремлют».

14. Крупным планом: открытая книга протоколов. Рука мистера Климова заклеивает протокол от 24 января 1927 года и пишет заднее число, то есть 21 января, где вызывают уже других представителей, совершенно не вызывавшихся в первый раз.

Надпись: «Дело сделано... Шито-крыто».

15. Крупным планом: неотразимая телеграфистка и мистер Климов целуются. У их ног сидит, поджав под себя пушистый хвост, Честоковский и умильно облизывается.

Надпись: «Друзья ликуют».

16. Вагон, где ютятся семьи рабочих с маленькими ребятами. Теснота. Нищета.

Надпись: «А они получили вместо квартиры — фигу».

17. Летит московский поезд.

Надпись: «Но...»

18. Крупным планом: из вагона выгружают «Гудок».

19. Мистер Климов раскрывает номер «Гудка» и медленно зеленеет.

Крупным планом надпись:

«Маленький фельетон Митрофана Горчицы: «Неотразимая телеграфистка, или Преступление мистера Климова»».

Конец

1927

В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ

(Из заграничных впечатлений 1927 года)

1. Zrewidowano

Симпатичный незнакомец в широком пальто горохового оттенка лениво поковырялся в моем непривлекательном чемоданчике и элегантно махнул рукой. Рукой, плотно заключенной в серую замшевую перчатку, явно западноевропейского происхождения.

Некто в кепи с галуном тут же наклеил на крышке чемоданчика розовый билетик с загадочной надписью: «Zrewidowano».

— Гм!.. Zrewidowano так Zrewidowano. Ничего не имею против.

— Можно идти, товари... то есть, виноват, господин.

Гороховое пальто молча наклонило голову, но весь вид его приблизительно говорил следующее:

«По-русски отлично понимаю, но говорить на этом варварском языке не желаю. Забирайте свое барахло и можете идти в Европу. Не возражаю. Скатертью дорожка».

— Мерси,— сказал я на чистейшем польском языке, взял чемодан и бодро вступил на территорию Западной Европы.

Строго говоря, вышеупомянутая территория была не столько западноевропейская, сколько восточнопольская, но это не существенно.

От крахмального воротничка джентльмена, любезно

обменявшего через окошечко мне два червонца на огромное количество таинственных золотых, до щеголеватого военного попугайской раскраски здесь все настойчиво намекало на свое западноевропейское происхождение.

В последний раз через стеклянную дверь я посмотрел назад, где возле круглой стойки незнакомец в гороховом пальто отбирал у пассажиров паюсную икру, папиросы, юмористические журналы и прочие орудия большевистской пропаганды, и с головой погрузился в западноевропейские ощущения.

Станция Столбцы. Белый, во вкусе новонемецкой готики, вокзал. Белый лепной орел, смахивающий на гуся. На подоконниках в зеленых ящиках — пестрые цветочки. Чистота и скучноватый порядок. Белые облака, российские сосны. В яркой траве — традиционный осколок стекла, белой звездой отражающий раннее, но не вполне западноевропейское солнце.

Пресмыкающийся и шепелявящий от пресмыкания молодой носильщик в кепи, роняя по дороге веснушки, потащил мой чемоданчик к поезду. Поезд короткий. Вагоны — длинные. И под длинными зеркальными стеклами слипінткарів — соблазнительные таблицы:

«Столбцы — Берлин».

«Столбцы — Остенде».

«Столбцы — Париж».

К сведению не искушенного в западноевропейских делах россиянина: слипінткар — спальня вагон, комфортабельный продукт разлагающейся Европы. Но уж если разлагаться, так уж разлагаться по всем правилам, черт возьми!

И вот проводник слипінткара, почтенный человек в галунах, отметил синим карандашом на карте отведенное для меня купе.

— Проще, пане!

Тонкая пыль, пронизанная зеркальным утренним светом, стояла в бархатном купе. Я опустил тяжелую раму. Со стуком она упала. Особо запахло железнодорожной масляной краской, завертелась пыль, и я прочел привинченную к оконной раме эмалевую табличку: «Не выхилияч шем».

Что обозначает — неизвестно. По всей вероятности, нечто вроде «просят не высываться». Но тем не менее приятно, что так заботятся об иностранцах, хотя бы и русских.

Ничего не поделаешь, Европа!

До отхода поезда оставалось минуты две. Я выбрался на перрон и пошел вдоль поезда, — из окон вагонов на меня глядели западноевропейские портреты.

Это был великолепный осмотр первой комнаты, даже, собственно, вестибюля того музея, который мне надлежало объезжать в течение месяца.

Вот окно. Не окно, а семейная группа. Стриженная девица в темных роговых очках, в пестром вязаном джемпере, с томиком самого популярного в Европе романа «Мадонна спальных вагонов» (507 тысяч экземпляров). Дочь, мамаша в черных патриархально-католических митенках, со зловредным носом, покрытым слоем этакой ультрамариновой пудры с легким апельсинным оттенком, папаша в соломенной шляпе, сухонький, с выкрашенными усами, в крахмальном воротничке, корректный, как покойник из хорошего дома. Конечно, темные замшевые перчатки (вообще все порядочные люди — в перчатках). По всей вероятности, добродетельная помещицья семейка, едущая проживать без особого труда добытые средства куда-нибудь в Карлсбад или (чем черт не шутит!) в Ниццу.

Я прохожу мимо, мамаша опускает замшевые, как у попугая, веки и неодобрительно скользит глазами по моим, весьма неевропейским, туфлям. Потому — ежели бедный, то сиди дома и не рыпайся по заграницам, не суйся в «миттёльевропейшен экспресс».

Дальше в окне хорошенькая горничная в наколке чистит щеткой круглую шляпную коробку своей барыни и не без некоторого презрения делает глазки носильщику.

Дальше в раме окна красуется томного вида молодой человек (в коричневых замшевых перчатках, натурально). Облокотясь коверкотовым плечом о раму, он читает французскую газету. Бархатные его усики длинные и модны, как у Адольфа Менжу, одна бровь скептически приподнята, и вялые губы абсолютно неподвижно приоткрыли мертвый, перламутрово-золотой зуб.

Далее — католический священник, коммивояжер (надо полагать, какой-нибудь автомобильной фирмы), два молодых розовых немца, — словом, все как полагается.

И над всем этим, то есть среди всего этого, величественно и грузно опершись слоновыми локтями о брионную раму, возвышается... нет, не возвышается... ширится... нет, не ширится... непомерно присутствует, царит, доминирует, подавляет и ужасает чудовищной комплекцией монументально-буддийского стиля польский генерал. Его лицо — жирная Европа. Оно окружено (я бы даже рискнул ска-

зять — обрамлено) как бы некими колониями, седую растительностью немолодого льва. Оно давит на тройную шею, шея давит на воротник (с галунами, разумеется!), воротник давит на гороподобную грудь. Грудь распирает окно. Окно трещит. Окно давит на вселенную. Трещит европейское равновесие.

Нет, это не генерал. Это — фельдмаршал, генералиссимус. Кутузов десятой степени, диктатор.

Дежурный по станции выходит на перрон и машет рукой (в бежевой замшевой перчатке). Поезд трогается, фельдмаршал плывет. Бегу в вагон.

Ветер треплет на столике перед окном красные розы, которые я везу из Москвы. Они, эти розы, летят поверх польского пейзажа, поверх тех самых сосен, полей, дорог, полосатых шлагбаумов, на которых, быть может, сейчас почил свинцовый глаз генералиссимуса.

Входит льстец в галунах и приглашает в вагон-ресторан завтракать. Кстати, во имя экономии времени и места убедительно прошу в дальнейшем иметь в виду, что все поляки или в галунах, или в замшевых перчатках, сообщать об этом больше не буду; разбирайтесь сами — когда галуны, когда перчатки.

По коридору, подпрыгивая и хватаясь за стены, идут в салон-вагон пассажиры. В шесть часов вечера — Варшава.

А пока — любопытно позавтракать в ресторане транс-европейского экспресса.

2. Столбцы — Варшава

В вагоне-ресторане роскошного «Матропа» под ослепительным потолком крутится широкопалый пропеллер вентилятора.

Вагон-ресторан блестит лакированным красным деревом, хорошо отшлифованным стеклом и яркой решетчатой медью отдушников-жалюзи.

По стенам и потолку — рекламы. Элегантные, хорошо отпечатанные, лаковые, среднеевропейские рекламы.

Конечно, «Пейте мюнхенское пиво Левенбрей» (а я-то в простоте душевной полагал, что пиво Левенбрей водится исключительно в Охотном ряду. Угол Тверской, за столиком под елочкой!).

Конечно, «Курите папиросы «Хедив», «Требуите несравненный оранжад такой-то фабрики», «Принимайте

незаменимое в дороге слабительное», «Останавливайтесь в потрясающем отеле «Националь» — радио, ванна, автомобиль, лифт» и т. д. и т. д.

И, конечно, конечно, лаково-синее поле, по которому вполне корректно отпечатана лаково-розовая мамаша с лаково-розовым малюткой на руках. У мамыши в руках фаянсовая миска, у пухлого малютки ложка. И вся эта идиллическая среднеевропейская группа снабжена лаково-желтым лозунгом: «Нестле — сокровище мамаш».

Опять же давно забытая, но столь памятная с довоенного времени хоботообразная бутылка зубного эликсира «Одоль»: каких-нибудь десять — двенадцать капель на стакан теплой воды — и сам Дуглас Фербенкс может спрятаться в будку вместе со всеми своими ослепительными зубами.

Под длинными, светлыми, еще не успевшими запылиться окнами, на грубо топорщащихся, выкрахмаленных скатертях покачиваются поставленные торчком карточки меню.

Со всего поезда, танцую на ходу и в такт танца стаскивая с бледных рук перчатки, потянулись гуськом накрахмаленные пассажиры.

Посмотрим, посмотрим, как за первым завтраком разлагается Европа! Очень интересно.

Однако Европа разлагалась весьма средне.

Чашка кофе с молоком. Толстая фаянсовая, очень тяжелая (чтобы не падала со стола) железнодорожная чашка. Крошечная варшавская булочка. Масло, приготовленное в виде тоненьких стружек. Две меленькие баночки: одна — с апельсинным мармеладом, другая — с малиновым.

Попробовал. Ни дать ни взять губная помада.

Так что насчет разложения слабовато.

Однако лакей в черной люстриновой куртке с золотыми пуговицами и с золотыми же таинственными литерами на воротнике принес в опытных пальцах бутылку виши и бутылку ядовито-оранжевого оранжада.

В этом, несомненно, уж что-то есть от разложения.

Потому — сейчас невинная вода виши и оранжад, а через полчаса все начнут хлестать коктейли, ликеры, шампанское, требовать устриц, лангуст, танцевать чарльстон, хором петь негритянские песни.

Ох, не доверяю я этой самой Европе! Впрочем, оказалось, что, кроме довольно скверного варшавского пива,

в буфете никаких орудий буржуазного разложения не имеется.

Правда, метрдотель пытался соблазнить меня гаванскими сигарами и египетскими папиросами. Но гаванские сигары оказались явно польского происхождения и удручающим образом пахли козлом. А египетские сигареты страшно было взять в руки — так пронзительно и отчаянно вопило с коробки отнюдь не египетское слово «Краков».

Пришлось удовольствоваться честной советской контрабандной папиросой «Госбанк».

Тем временем поезд продолжал безостановочно ползти на запад.

За окном шел сосновый лес. Мы приближались к Барановичам. И тут — каждая пядь земли еще помнила о мировой войне.

Кое-где (или это мне только так казалось?) мелькали глухо поросшие травой воронки «чемоданов», пулеметные гнезда, блиндажи.

Вот-вот, казалось, я увижу коновязь и артиллерийских лошадей, зарядные ящики, кухни, солдат с котелками, костры, колючую проволоку...

Однако ничего этого не было. Вместо батальных пейзажей из леса выскакивали этакие левитановские пейзажи, соломенные крыши халуп, речонки с бревенчатыми мостиками.

В одном месте я увидел беговые дрожки, на которых лениво сидел некто с кукурузными усиками, в холщовом пыльнике с капюшоном.

Ба, помещик! Живой, настоящий польский пан помещик! А лестно все-таки, как хотите, увидеть эксплуататора «а натюрель». Хотя бы из окна вагона, сквозь красные московские розы.

Постояли немного в Барановичах.

Тут ребятишки натащили к поезду земляники в замечательных, украшенных разноцветными бумажками корзиночках.

Низко кланялись и шепелявили по-польски, хватая худыми ручонками тонкие «грóши».

Вдоль поезда гуляли местные барановичские красавицы в наимоднейших венских остроносых молочно-серых туфлях. За ними с достоинством увивались молодые люди в наимоднейших парижско-барановичского фасона пиджаках, в вишневых штиблетах, с какими-то польскими значками на лацканах.

Тоже шепелявили, показывая стеками на надписи нашего поезда. А надписи были заманчивые: «Столбцы — Варшава — Берлин».

Состав, скрипнув, тронулся. Серый, с внутренней желтизной дым окутал Барановичи.

До Белостока метался по поезду, заходил к знакомым в купе. Болтал с вице-президентом нашего текстильного синдиката в Америке товарищем И.

Познакомился с двумя японскими писателями, едущими из Москвы куда-то не то в Берлин, не то в Париж.

Японские писатели вежливо обнажали редкие, замечательной белизны и крепости зубы, топорщили синечерные, конского волоса усы, приседали, на ломаном французском языке хвалили советское искусство, расспрашивали, записывали что-то в записные изящные книжечки.

Наш вице-президент показывал фотографии знаменитого наводнения в Нью-Орлеане, рассказывал о нью-йоркских парикмахерских, пил, сняв по-американски пиджак, виши и оранжад... В тесном купе уже стояла дорожная пыль...

В Белостоке по идеально чистому перрону прошли европейцы с кожаными, яичной желтизны чемоданами. У нас в России они могли бы сойти за стопроцентных миллионеров. Но шалишь, меня на мякине не проведешь! Желтые кожаные чемоданы в Европе не в моде.

В моде — черные, лаковые, сверхъестественной крепости, плоские сундуки с желтыми деревянными скрепами.

У японцев были такие сундуки. Они, эти сундуки, должны быть сплошь обклеены разноцветными марками первоклассных отелей. Должны быть слегка потерты.

Джентльмены же, прошедшие по перрону, были, несомненно, банальнейшие белостокские коммивояжеры, едущие по делам в Варшаву... во втором классе.

Поезд трогается.

Плывет платформа. Плывут люди на платформе. Плывет красная шапка дежурного по станции. Плывут ящики с геранью.

Демократия одета по-европейски. Вернее, «под Европу». Соломенные канотье. На мешаночках яркие платки, преимущественно красные. В шесть — Варшава.

3. Берлин веселится

...Не знаю, как кому, а среднему немецкому буржуа Берлин, несомненно, кажется самым веселым, самым элегантным городом в мире.

Помилуйте, все как в лучших домах! Кинематографы? Сделайте ваше одолжение. Сколько угодно. Самого первого сорта. С умопомрачительной позолотой, с потрясающей мягкости креслами, с пышными канделябрами, с люстрами, с бархатным занавесом, который фешенебельно открывает и закрывает серебристый экран в начале и в конце каждой части, с мальчишкой-боем в длинных штанах с коричневыми лампасами и массой больших металлических пуговиц на короткой курточке и в фуражке с позументами, с тропическими растениями, с зеркальными паркетными вестибюлей, с мраморными лестницами, коврами, голыми нимфами, перилами, интерьерами, кафельными клозетами и специальными отделениями для собачек.

Фокстрот, чарльстон?.. Будьте любезны. Высшего качества. Экстра. Люкс. Вне конкуренции. В любом количестве с десяти вечера до двух ночи — в любом кафе и нахтлокале на Фридрихштрассе, Курфюрстендам, Потсдамер-плац, Уланденштрассе и прочая и прочая. Джазбанд. Хоровой оркестр (крик моды!). Атракционы. Кокотки. Шикарные помещения с умопомрачительной позолотой, с креслами потрясающей мягкости, с кафельными клозетами, с отделениями для собак...

Впрочем, кажется, я уже только что упоминал про собачек. Тут уместно оговориться: собачка — необходимая принадлежность берлинского буржуишки. Без собачки берлинский буржуишка — никуда ни ногой. Особенно — веселиться. Потому что какое же веселье, если бедняжка мопсик не имеет собственного, совершенно отдельного помещения? Одна грусть!

Летние сады, общедоступные удовольствия, здоровые развлечения на чистом воздухе.

Ого! Как в лучших домах!

Один Луна-парк чего стоит! Парк, можно сказать, самого наипервейшего сорта. Море смеха. Каскады веселья, не говоря уже об оркестрах, балаганах, лотереях, индийских факирах и пищащей колбасе — не менее двадцати ослепительных, но недорогих ресторанов. Ресторанов, оборудованных со всей роскошью и вкусом, на который способна послевоенная социал-демократическая Европа...

...С креслами потрясающей мягкости. С довольно го-

лыми девками в шляпах со страусовыми перьями. С коктейлями. С сигарами, с джаз-бандом. С коврами. С мраморными лестницами. С кафельными клозе...

Впрочем, о кафельных клозетах я уже тоже говорил. Одним словом, Берлин веселится.

В один прекрасный берлинский субботний вечер мы решили на собственной шкуре испытать все прелести вышеупомянутого веселья.

Так сказать, решили испить до дна загадочный и темный для наших грубых советских понятий кубок буржуазного разложения¹.

Тем более что наш немецкий друг сказал:

— Вы, большевики, не умеете веселиться. Пойдемте, и я покажу вам, как легко и мило проводит свой еженедельный отдых честный берлинский буржуа. Море удовольствий... Шампанское смеха... Фокстрот... Чарльстон... Джаз-банд...

— Кафельные клозеты и отделения для собачек,— деловито подсказал я.

— Откуда вы знаете? — удивился немец.

— Да уж знаю,— загадочно ответил я.— Мы, большевики, народ наблюдательный. Впрочем, если разлагаться, так уж разлагаться на все сто процентов! Валяйте везите нас разлагаться.

И мы поехали разлагаться.

Вот краткое, но исчерпывающее описание нашего разложения.

От восьми до десяти — кино на одной из лучших берлинских улиц.

Умопомрачительная позолота. Мальчик-бой, усыпанный пуговицами, как клопами, мраморные нимфы. Кафельные клозеты, отделения для собачек... Смотри выше.

Сеанс короткометражных комедий. Море смеха, океан веселья!

Мы уселись в креслах сверхъестественной мягкости и, осторожно расстегнув пуговицы жилетов, приготовились рыдать от смеха.

Бархатный занавес раздвинулся, смуглый, жемчужно-золотой свет пышных люстр и бра погас, и на поблескивающем голубоватым алюминием экране началось веселье.

¹ Шикарно сказано! Вот это, называется, загнул! (Примеч. автора.)

Сначала какой-то трехлетний негодяй в продолжение трех частей бил тарелки и выливал ночные горшки на головы своих престарелых родителей (в зале одобрительный смех).

Затем в продолжение двух частей по фешенебельному экрану ездил на кривом велосипеде меланхоличный дядя со следами развратной жизни на интеллигентном средне-европейском лице. Он въезжал в посудные магазины, руша на своем пути горы тарелок, он падал с высокого моста на палубу увеселительного парохода, игриво выбивая глаза и зубы у забавных пассажиров. Он попадал под поезд — поезд рушился. Он давил старух и детей (в зале мощные раскаты жизнерадостного смеха).

Когда же после велосипедиста на экране снова появился трехлетний ублюдок и начал в новом варианте крушить ночные горшки, публика повалилась на спинки сверхъестественной мягкости кресел, не в силах более сдерживать гомерический смех.

— Подождите! То ли еще впереди! — весело подмигнул нам немец, вытирая душистым платком мокрые от слез глаза, когда мы выбирались из веселого кинематографа на улицу, сияющую зеркальными огнями ультрамариновых, голубых, малиновых и лунного света реклам, выбитых электрическими бегущими буквами вкривь и вкось по черностеклянному небу.

И мы поехали веселиться дальше.

От десяти до часу ночи — Луна-парк (описание смотри выше: рестораны, девки в страусовых перьях, сигары, ликеры, отделения для собачек, кафельные кло... и так далее).

Съели по вафле с розовым кремом. Выпили по кружке неважного пива. Купили по штуке пищащей колбасы. Уныло попищали. Веселящиеся берлинцы помирали со смеху. Послушали оркестр. Сентиментальный вальс. Посмеялись. Пошли в павильон, съели по сосиске. Улыбались. Потом все две-три тысячи берлинцев с хохотом повалили куда-то. Оказалось, фейерверк. Видели, как по небу ползут ракеты. Очень смеялись. Потом грохотали бураки и римские свечи. Потом из разноцветных бенгальских огней, золотого дождя и римских свечей в небе вспыхнула гигантская движущаяся картина: два мальчика качаются на доске и... мочатся друг на друга. Берлинцы грохотали, визжали, захлебывались в смехе.

— То ли еще будет! — подмигнул нам наш берлинец и, утирая с носа слезы гомерического смеха, повез нас в ночной кабачок.— Сейчас вы увидите настоящее, ни с чем не сравнимое веселье.

Поехали.

От часу до двух сидели в фешенебельном зале (описание смотрите выше: канделябры, джаз-банд, ликеры, кафельный кло...). Дикая музыка драла барабанные перепонки. Посередине зала истуканоподобные мужчины и дамы самоотверженно терлись друг о друга, изредка прерывая это полезное, но утомительное занятие легким подрыгиванием ног. Немец объяснил, что это танец чарльстон. Пили коктейль. Коктейль — это смесь из дешевых и вредных для здоровья напитков. Не понравилось. Цена тоже не понравилась. Много смеялись. Потом на середину зала вышел эксцентрик с наружностью Штреземана и под элегическую музыку разбил о собственную голову десятка два подержанных тарелок. Затем его нос загорелся электрической лампочкой, и он уполз на четвереньках за кулисы, с тонким юмором виляя худой и длинной задницей, украшенной страусовым пером.

Публика неистовствовала.

Наш немец даже икнул несколько раз. Жизнерадостно и довольно громко.

— То ли еще будет впереди! — прохрипел он и предложил ехать в другое место, где можно дьявольски повеселиться.

— Мерси,— сказал я.— Данке шен, мы уже веселились.

И мы поехали домой, так сказать, не солоно разложившись. Это, собственно, и был самый веселый момент нашего берлинского веселья.

Учитесь, ребята, развлекайтесь у Европы, учитесь! А что касается меня, то будя! Попили нашей кровушки! Автомобиль весело волок нас по зеркальному асфальту Аллеи побед в гостиницу.

Берлин веселился.

4. Три встречи с Муссолини

Что касается меня, то я остался в восторге от синьора Бенито Муссолини. Роскошный мужчина.

Небезызвестный Дуглас Фербенкс во время своего по-

следнего путешествия в Европу в числе прочих стран посетил также и Италию.

Маститый король экрана приехал в городишко Рапалло, занял неплохой номер в местной гостинице и, плотно закусив с дороги макаронами, категорически заявил представителям печати, что не уедет из Италии до тех пор, пока не повидается с легендарным Муссолини. Ибо в настоящее время быть в Италии и не видеть синьора Муссолини «а натюрель» — все равно что лет этак двадцать назад быть в Риме и не потрогать руками римского папу.

Создалось чрезвычайно цекотливое положение, усугубленное тем фактором, что Муссолини от встречи с Дугласом Фербенксом решительно отказался.

Рапальские старожилы утверждают, что упрямый Дуг, услышав об этом решении не менее упрямого Бенито, спешно перевез всю свою семью из Америки в Италию, хладнокровно приобрел в окрестностях Санта-Мargarита небольшую дачку и поклялся до тех пор возделывать маслины, разводить свиней и купаться в Средиземном море, пока Муссолини не сменит гнев на милость и не пожелает дать ему аудиенцию.

Две недели с лишним длился этот страшный поединок на выдержку. Наконец нервы синьора Муссолини не вынесли. Перспектива вечного пребывания мистера Дугласа Фербенкса на цветущей территории Итальянского королевства оказалась слишком тяжелой. Муссолини дрогнул.

Мне неизвестны подробности исторической встречи двух столь знаменитых актеров — синьора Муссолини и мистера Фербенкса.

Одно только знаю наверное: встреча эта действительно состоялась, после чего мистер Фербенкс, вполне удовлетворенный, лихорадочно распродав свиней и маслины, благополучно отбыл в Америку, где и занялся изготовлением своего очередного сверхбоевика «Черный пират».

Лично мне повезло больше, чем Дугласу Фербенксу.

С синьором Муссолини мне удалось повидаться три раза, причем первая встреча состоялась на второй же день моего прибытия в благословенное королевство. И главное — без особенного труда с моей стороны. То есть некоторые необходимые формальности, конечно, пришлось выполнить, но, во всяком случае, прибегать к мрачным угрозам — на вечные времена поселиться в Италии — не явилось необходимым.

Первая моя встреча с Муссолини произошла летом этого года в Генуе на очередных ежегодных маневрах итальянского флота.

Серое глянцевое море раскачивалось, как на качелях, то высоко взлетая над бортом миноносца, то проваливаясь куда-то к черту вниз. Струился вымпел. Трепался на свежем ветру матросский воротник.

Вся движущаяся и выведенная из равновесия панорама морского горизонта была задавлена угольным дымом эскадр. Бурые утюги линейных судов бросали на поверхность стальной воды обморочную тень мрачного своего движения.

От берега отделилась моторная лодка.

В бинокль были хорошо видны все ее подробности: задравшийся острый нос, матрос, застывший на нем как статуя с рукой под козырек, и несколько человек на корме у флагаштока, от которого вился пышный флаг. Среди нескольких этих людей, одетых в форму итальянских морских офицеров, был Муссолини. Все взоры обратились к моторной лодке. Однако качка и быстрота движения не дали мне возможности ориентироваться в группе и сразу отыскать диктатора.

Моторная лодка вышла из поля зрения. Но в следующую минуту, обогнув корабль, опять появилась, на этот раз уже очень близко.

— Эввива иль дуче!¹ — слабо воскликнул позади меня кто-то, но сейчас же осекся.

Моторная лодка приставала к трапу. Музыка грянула марш.

Я видел несколько людей, среди которых был и Муссолини, которые, быстро хватаясь за поручни, взбежали по трапу вверх.

— Который, который же Муссолини? — лихорадочным шепотом спросил я соседа.

— Мадонна! Он не видит вождя! Смотрите же, смотрите — он в морской форме. Вот его плечо... А теперь, видите, это часть его руки... А вот мелькнул его затылок... Смотрите, смотрите — он здоровается с матросами...

Через головы и плечи напиравших людей я увидел вытянутую в струнку длинную, в полкилометра длиной, шеренгу матросов. Вдоль нее, окруженный свитой, шел по палубе вождь. На секунду передо мной мелькнули согнутая в колене и слегка приподнятая на ходу нога его

¹ Да здравствует вождь! (ит.)

и замшевая перчатка у козырька флотского кепи, расши- того галунами.

В следующий миг мое внимание привлек дирижабль, плавно паривший над крейсером. Вождя закрыла свита. И, скрытый свитой, он шел прямо на меня, загадочный и невидимый, как рок.

Вдруг свита расступилась, и я в потрясающей близости от себя увидел широкую, закрывшую собою полгоризонта, спину. Муссолини здоровался с офицерами, которые стояли лицом ко мне, и по движению и мимике их лиц я как бы в туманном зеркале угадывал отражение лица стоящего ко мне спиною человека.

Мое любопытство дошло до крайнего предела. Каков же он с лица, этот самый загадочный Бенито, этот ку- мир неаполитанских лавочников, выславший на острова 80 000 революционной итальянской интеллигенции и пролетариата?

В Италии, кажется, нет ни одной стены, где бы черной краской по грубому трафарету не было изображено лицо вождя. Я привык к нему. Воображение помогло мне об- лечь условные линии и пятна портрета в плоть и кровь. И о внешнем виде Муссолини у меня сложилось такое представление: очень высокий рост, длинный лысый череп, демонически мрачные глаза, неумолимо сжатый рот, чер- ный скюртук и скрещенные на груди худые, костлявые руки.

Непринужденная помесь провизора с гипнотизером. Само собою — жгучий брюнет.

И вдруг Муссолини круто и несколько суетливо по- вернулся. Он был так близок, что его непомерное лицо сразу покрыло три четверти военно-морского пейзажа.

О, как я ошибся!

Невысокого роста, плотный шатен с наружностью по- датного инспектора. Козырек кепи скрывает верхнюю треть лица. Нижняя губа толще верхней. Вид преувели- ченно строгий. Жесты, жестикуляция хозяина небольшой миланской колбасной, уличающего приказчика в неболь- шом воровстве.

Но поворот головы так неожидан и декоративен, что публика начинает кричать:

— Эввива иль дуче! Эввива иль дуче!

Эффект необычаен.

И уже в продолжение всех маневров фигура Муссолини всегда в центре, но повернута спиной к зрителям: посмот- рели, мол, и будет, нечего на диктатора зря пялиться,—

а то может, пожалуй, в случае чего, и под арест ахнуть суток на пятнадцать за излишнее любопытство.

И во всем — пафос хозяйственности, деловитости, строгости, неумолимости, гения и работоспособности.

Линейные корабли один за другим, кильватерной колонной, шли мимо вождя. Вождь был подчеркнута холоден. Ни одной улыбки. Музыка играла марш. Продавали мороженое.

Следующие две встречи мои с Муссолини произошли в скором времени после первой. Одна — в Венеции, другая — в Риме. В Венеции были кавалерийские маневры (невероятно, но факт, даю честное слово!). Муссолини появился не вдруг. Сначала в отдалении. Кусок ноги, обутой в лаковый сапог. Потом аксельбанты. Немного галифе. Колесико шпору. Спина. Свита заслоняла его от моих нескромных глаз. Моментами казалось, что так и не удастся увидеть вождя в игривой драгунской форме.

И вдруг эффектный поворот, все вокруг расступаются, и великолепный иль дуче опять заслоняет своим мясистым лицом добрых три четверти венецианских небес.

— Эввива иль дуче! Эввива иль дуче!

Но иль дуче, не обращая ни малейшего внимания на восторженные вопли мальчишек, производит строгий смотр конницы, распекает какого-то эскадронного командира, круто поворачивается в разные стороны, принимает рапорты... И все это с полярной холодностью. Ни одной улыбки. Наоборот, мрачность Бонапарта. И вдруг... заметьте себе: я опять «и вдруг»...

И вдруг резко подходит к оседланной лошади, берет ее за подбородок и... обязательно улыбается. Лошадь очарована. Публика очарована. Мальчишки перестают продавать мороженое. А иль дуче вдруг... опять вдруг (без вдруг синьор Муссолини ничего не делает)... вдруг пробует подпругу, изящно вкладывает острый носок лакового сапога в стремя и — бац! — берет на глазах у обалделых драгун пять барьеров подряд.

— Эввива иль дуче! Эввива иль дуче!

В Риме Муссолини на моих глазах принимал турецкого посла. Он был строг, но справедлив. На нем была элегантная визитка с круглыми фалдами (из бокового кармана кончик белого платка, словно уголок визитной карточки), котелок, поля которого закрывали верхнюю треть лица знаменитого человека, светлые гетры. Приняв

посла, Муссолини с ловкостью трансформатора с большим провинциальным стажем спешно переоделся в шитый золотом мундир премьер-министра, насунул на лоб треуголку с пышным плюмажем и поехал с королем в открытом экипаже закладывать какой-то памятник (разумеется, закладывать не в том смысле, что, мол, в ломбард закладывать, а совсем наоборот, хотя в качестве министра финансов великий человек, говорят, не чужд и небольших ломбардных операций). Затем в шикарной форме министра авиации Муссолини летал на аэроплане над Римом. Его железный профиль твердо рисовался в окне закрытой кабины самолета и в моменты виражей, казалось, парил над вертящимися улицами Рима и над косо несущимся вниз собором Петра и Павла, похожим вместе со всеми своими фонтанами, фонарями и парапетами на белый письменный прибор на роскошном столе, скажем, Габриеля д'Аннунцио.

Этим, собственно, и исчерпывается мое знакомство с синьором Муссолини.

Считаю нелишним прибавить, что Муссолини, собственно, я видел не в жизни, а на экранах в разных городах гостеприимной Италии.

1927.

ИГНАТИЙ ПУДЕЛЯКИН

На прошлой неделе мой друг художник Игнатий Пуделякин наконец возвратился из кругосветного путешествия, которое он совершил «с целью познакомиться с бытом и культурой Западной Европы и Северной Америки, а также сделать серию эскизов и набросков флоры, фауны и архитектуры упомянутых выше стран и вообще», как было собственной Пуделякина рукою написано в соответствующей анкете.

Надо признаться, что в обширной истории мировых кругосветных путешествий — научное турне Пуделякина занимает далеко не последнее место. Поэтому я считаю своим нравственным долгом поведать всему цивилизованному человечеству историю о том, как путешествовал мой друг художник Игнатий Пуделякин вокруг света.

Еще задолго до отъезда Пуделякина вокруг света я сказал Пуделякину:

— Ты бы себе, Пуделякин, туфли новые купил. Гляди, Пуделякин, у тебя пальцы из обуви наружу выглядывают. Что подумают о тебе, Пуделякин, Западная Европа и Северная Америка? От людей за тебя, Пуделякин, совестно!

Однако у Пуделякина, по-видимому, была своя точка зрения на общественное мнение Западной Европы и Северной Америки. Не такой был человек Игнатий Пуделякин, чтобы унывать. Наоборот, Игнатий Пуделякин загадочно усмехнулся и зашипел:

— Ни хрена! Туфли — это пустяк. Главное — визы. А пальцы пускай, если хотят, выглядывают, это их частное дело. Вот приеду в Европу — в Европе, между прочим, обувь дешевая. Замечательные штиблеты — восемь рублей на наши деньги. Факт!

На вокзале я нежно обнял Пуделякина.

— Смотри же, не забывай, пиши. На твою долю выпало редкое счастье — объехать вокруг света. Не упускай случая.

— Уж не упущу,— задумчиво предупредил Пуделякин.— Будьте уверены.

Я прослезился.

— Ну, всего тебе, Пуделякин, доброго! Я с нетерпением буду ожидать от тебя открыток. Пиши обо всем, не упускай ни одной подробности. Опиши сиреневые огни Парижа, когда весенние сумерки ласково окутывают мощный скелет Эйфелевой башни, опиши жемчужные струи Рейна, опиши величественные очертания римского Колизея и геометрическую мощь Бруклинского моста в Нью-Йорке. Не забудь, Пуделякин, также загадочного сфинкса и трансатлантического парохода, на борту которого тебе, Пуделякин, предстоит пересечь Атлантический океан.

— Уж не забуду,— бесшабашно пообещал Пуделякин, нетерпеливо двигая большим пальцем правой ноги, выглядывающим из совершенно дырявой туфли.— Мне бы только до Европы дорваться, а там — ого-го!

— Смотри же, Пуделякин! Я твердо рассчитываю, Пуделякин, на тебя. Я надеюсь, Пуделякин, что от твоего зоркого глаза не укроется ничто: ни желтые воды Тибра, когда, колеблемые смуглым ветром долин, они струятся широким потоком, который...

— Уж не укроется, будьте уверены,— сказал Пуделякин и уехал в Западную Европу и Северную Америку.

Пуделякин сдержал свое обещание. Через неделю я получил от Пуделякина первую открытку.

«Дорогой Саша! Ура! ура! ура! Наконец-то я в Западной Европе, которая так необходима для расширения моего умственного кругозора. Вчера приехал в Варшаву. Первым делом, прямо с вокзала, отправился покупать штиблеты. Дешевизна феноменальная. Пара прекрасных штиблет на наши деньги стоит (можешь себе представить!) всего десять рублей. Нечто совершенно фантастическое! У нас таких и за сорок не найдешь. Впрочем, штиблеты не купил. Говорят, в Вене штиблеты вдвое дешевле и втрое лучше. Ужасно рад, что наконец-то в Западной Европе! Целую тебя нежно. В Варшаве дожди. Завтра выезжаю в Вену.

Твой *Пуделякин*».

«Здорово, Сашка! Пишу тебе из Вены. Действительно феноменально. Ботиночки что надо. Красота: девять целковых на наши деньги. Хотя, говорят, в Берлине еще дешевле и лучше. Так что пока не купил. В 9.40 выезжаю в Берлин. Лучше подождать сутки, но зато купить действительно вещь, не правда ли? А хорошо в Западной Европе, черт ее подери, только удобств маловато: на улицах, например, осколки всякие валяются, и я здорово порезал себе на левой ноге пятку. Впрочем, Вена — городок что надо! Ну, пока.

Твой *Пуделякин*».

«Саша! Штиблеты — семь целковых на наши деньги! Феерия! Хотя, говорят, в Гамбурге вполонину дешевле. Думаю смотаться в Гамбург, зверинец кстати посмотрю. Семь целковых, а? Это тебе не ГУМ. Ну, пока.

Твой *Пуделякин*».

«Понимаешь, какая неприятность: приехал в Гамбург в субботу вечером, магазины закрыты. Все воскресенье как дурак проторчал в номере, никуда не выходил. В ресторан почему-то не пустили. Едва дождался понедельника. Штиблеты действительно феноменально дешевые. На наши деньги что-то рублей шесть. Невероятно, но факт! Один

русский сказал, что в Бельгии обувь можно приобрести буквально задаром. Подожду до Льежа. Не горит. Пока.

Пуделякин».

«Пишу из Парижа. Штиблеты — четыре рубля на наши деньги. В Марселе еще дешевле. Сижу по случаю дождя дома. Вечером выезжаю в Марсель. Пока.

Пуделякин».

«Чуть было не купил штиблеты в Марселе. Вечером выезжаю в Неаполь. Там, говорят, феноменально дешевая обувь. А еще все кричат, что Италия земледельческая страна. Мостовые в Марселе плохие — все ноги побил к чертовой матери. Пока.

Пуделякин».

«Неаполь. Обувь не стоит выплываю Индию феноменально.

Пуделякин».

«Бомбей. Похабные мостовые штиблеты бесценок Америка дешевле понедельник Сан-Франциско.

Пуделякин».

«Чикаго. Штиблеты гроши умоляю телеграфом 300 Мельбурн феноменально разоренный.

Пуделякин».

Я послал Пуделякину триста. После того прошло четыре месяца. О Пуделякине не было ни слуху ни духу. В начале пятого я получил от Пуделякина открытку из Одессы. Вот она:

«Дорогой Саша! Чуть было не купил в Константинополе обувь. Феноменально дешево! Что-то полтора рубля на наши деньги. Однако, спасибо, встретил одного человека. Узнав, что я русский и иду покупать обувь, он всплеснул руками и воскликнул: «Милый! Вы с ума сошли! Россия — это же классическая страна кожи! В Тверской губернии есть уезд, где все население занимается исключительно выработкой хорошей и дешевой обуви!»

Думаю смотаться в Кимры. Кстати, это недалеко от Москвы. В Константинополе собак не так уж и много.

Ноги, представь себе, привыкли. Пожалуйста, продай мой синий костюм за шестьдесят рублей и вышли деньги телеграфом. В пятницу выезжаю в Кимры. Целую тебя нежно.

Пуделякин».

На днях я видел большую красивую афишу, где сообщалось, что известный Игнатий Пуделякин прочтет лекцию о Западной Европе и Северной Америке. Тезисы были заманчивы.

Но я не пошел на лекцию Пуделякина...

...Где-то ты теперь читаешь, Пуделякин? Ау, Пуделякин!..

1927

ЕМЕЛЬЯН ЧЕРНОЗЕМНЫЙ

Хлопотливый день Емельяна Черноземного начался, как говорится, с первыми лучами восходящего солнца. Что-то около десяти часов утра. Именно в это время Емельян Черноземный эластично выполз из-под голубого стеганого одеяла на свет божий и начал действовать.

Прежде всего он принял холодный душ. После душа минут десять занимался гимнастическими упражнениями по системе Мюллера. Потом не без аппетита выпил стакан какао, съел французскую булку с маслом, с наслаждением закурил толстую папиросу «Герцеговина-флор» и, наконец, свежий и бодрый, присел к изящному письменному столу и до двенадцати часов резво сочинял стихи.

Покончив со стихами, Емельян Черноземный деловито вытащил из-под никелированной кровати с пружинным матрасом злое шпанье и мрачную толстовку, попрыскал их немного чернилами и брезгливо стал одеваться.

Одевшись, Емельян Черноземный долго, сосредоточенно терся головой о стенку, пока его прическа не приобрела соответствующий вид. Затем сунул в карманы бутылку водки, три метра веревки, кусок душистого мыла, большой гвоздь и, хорошенько измазав руки в печной саже, отправился по делам.

Первый его визит был к профессору Доадамову.

— Здорово, товарищ Доадамов! — сказал Емельян Черноземный бесшабашным голосом, входя в кабинет профессора.

— Здравствуйте, товарищ... Чем могу?..— пробормотал Доадамов, близоруко топчась возле Черноземного.

— Не признали, что ли?.. Эх, ты, а еще ученый человек называешься, очки носишь! Черноземный я. Емельян. Крестьянин, значит. Безлошадный. Тятка мой, поди, еще во время империалистической бойни без вести пропал. А я, значит, нонеча у тебя наукам разным обучаюсь. Во как!..

— Студент?

— Оно действительно, ежели по-ученому говорить, то в полном виде студент. От сохи, значит.

— Ага! Садитесь, товарищ! Чем могу?

— Спасибо! Мы и постоять можем. Чай, не лаптем щи хлебаем. Мы люди темные, вы люди ученые. Много благодарны.

Профессор Доадамов слегка поморщился:

— Ну что вы, право, такое говорите, товарищ? Садитесь, прошу вас, без церемоний и расскажите, в чем дело...

Емельян Черноземный нерешительно переступил с ноги на ногу и вытер нос рукавом.

— Зачетишко бы мне, товарищ профессор! Потому — трудно нашему брату безлошадному без зачетов приходится.

Емельян Черноземный вытащил из-за пазухи зачетную книжку и протянул профессору:

— Вот туточка пиши. Осередь ефтой вот клетушечки.

— Помилуйте, товарищ,— удивился профессор Доадамов,— как же это я так вдруг возьму да и поставлю вам зачет? Приходите в среду в общем порядке, тогда...

— Приходил уж. Чего там! Погнали вы меня. «В другой раз, сказали, приходи...»

— Тем более.

— Напиши, барин, зачет,— тускло заметил Черноземный.

— Не могу, товарищ!

— Не можешь? — печально переспросил Емельян Черноземный.

— Не могу,— подтвердил профессор Доадамов.

— Тады во, гляди, барин, чего я чичас над собой изделаю. Пуцай, пропадай аржаная моя головушка! И-и-эх-х!

С этими словами Емельян Черноземный не торопясь влез на стул и забил в стену профессорским микроскопом большой гвоздь.

— Что вы хотите сделать?! — воскликнул профессор, содрогаясь.

— Уж изделаю,— зловеще сказал Емельян Чернозем-

ный, привязывая к гвоздю петлю и быстро ее намыливая. — Не жить мне, товарищ барин, без зачета! Оно конешно, может, которым городским ты и поставишь зачет. Может, у которых городских полные книжки зачетов. Нешто за городскими угоняешься? Деревенские мы. Темные. От сохи, значит. И-и-х! Конешно... Может, я три дня не емши? Может, мне некуда головушку свою приклонить, может, я под мостами ночую да на березовой коре бином Ньютона щепочкой выковыриваю? Эх, сглодал меня, парня, город! Не увижу родного месяца! Распахну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься!

Емельян Черноземный опытным жестом накиннул на шею веревку и, рыдая, продолжал:

— Был я буйный, веселый парень... Золотая была голова... А теперь пропадаю, барин, потому — засосала Москва. И-и-эх-х!.. Пропадает, барин, самородок!..

— Вы не сделаете этого! — воскликнул профессор, обливаясь холодным потом.

— Изделаю, — тихо сказал Черноземный, осторожно раскачивая ногами стул.

— Давайте зачетную книжку! — прохрипел профессор Доадамов.

Следующий визит Емельяна Черноземного был в редакцию толстого журнала «Красный кирпич».

Раздвинув богатырским плечом кучу бледно-зеленых молодых людей, Емельян Черноземный бодро вошел в кабинет редактора и остановился перед столом.

— Чем могу? — спросил бритый редактор.

— Демьяна Бедного знаешь? — коротко спросил Емельян.

— Знаю, — нерешительно сознался редактор, высовывая голову из вороха непринятых рукописей.

— Максима Горького знаешь?

— Знаю.

— Емельяна Черноземного?

— Зн... То есть н-не знаю...

— Не знаешь? Так сейчас узнаешь!

Емельян Черноземный высморкался в толстовку и быстро вынул из-за пазухи рукопись.

— Коли не знаешь, тады слухай:

Эх, сглодал меня, парня, город,
Не увижу родного месяца,
Распахну я пошире ворот,
Чтоб способнее было повеситься!

— Приходите через две недели,— сказал редактор устало.— Впрочем, стихи, вероятно, не подойдут...

Емельян Черноземный поставил перед собой бутылку водки и тяжело вздохнул.

— Не подойдут? Тады буду пить, покедова не подохну. И-эх! Оно конечно, может, которые городские парни всегда свои стихи печатают. Нешто за городскими угонешься? А мы что?! Мы ничего! Мы люди темные, необразованные. От сохи, значит, от бороны. Был я буйный, веселый парень... Золотая моя голова... А теперь пропадаю, барин, потому — засосала Москва... Под мостами, может, ночую... На бересте, может, гвоздиком рифмы царапаю... И-эх-х!

С этими словами Емельян Черноземный быстро забил в стенку редакторским пресс-бюваром гвоздь, привязал веревку и сунул свою голову в петлю.

— Остановитесь! — закричал редактор.

— Руп за строчку,— тускло возразил Емельян Черноземный.— И чичас чтоб!

— Берите! — прохрипел редактор.— Принимаю. Контора открыта до двух. Не опоздайте...

Следующий визит Емельяна Черноземного был к Верочке Зямкиной.

— Здорово, девка! — сказал Емельян Черноземный, входя в комнату.— Придешь ко мне, что ли ча, ночью на сеновал, Сретенка, Малый Желтокозловский переулок, дом восемь, квартира четырнадцать, звонить четыре раза, спросить товарища Мишу Тарабукина (а Емельян Черноземный — ефто мой литературный ксюндоминт)? Али не придешь?

— Вот еще! Какие слова говорите, товарищ! — вспыхнула Верочка Зямкина, роня физику Краевича на пол.— Мне даже очень странно слышать это, тем более что сегодня вечером мы условились с Васей Волосатовым идти на «Человека из ресторана», так что всякий посторонний сеновал решительно отпадает...

— Так не придешь?

— Не собираюсь...

— Не собираешься? Тады так! Оно конечно. Может, у меня папенька в империалистическую бойню без вести пропал, может, я три дня не жрамши, может, я грызу гранит и под мостами ночую, может, я гвоздиком на березовой коре твое имечко-отчество выковыриваю по ночам, по

ночам! Может, конечно, с которыми городскими ты по всяким киятрам желаешь шляться, а который от сохи, с тем не желаешь. И-и-эх-х! Эх, сглодал меня, парня, город, не увижу родного месяца, распахну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься!..

С этими словами Емельян Черноземный вбил в стенку Краевичем гвоздь и хлопотливо сунул голову в петлю.

— Приду! — хрипло закричала Верочка Зямкина, бросаясь к Емельяну Черноземному.

— То-то! Не позже девяти чтоб! Прощай, девка!..

Обделав еще кое-какие делишки, Емельян Черноземный вернулся домой, плотно пообедал, принял ванну с сосновым экстрактом, надел полосатые брюки, желтые полуботинки, синий элегантный пиджак, повязал небрежно бабочкой веснущатый галстук, смазал фиксагуром голову и, развалившись в соломенном кресле, закурил ароматную папиросу.

В двери раздался стук.

— Войдите! — небрежно бросил Емельян Черноземный, сбрасывая мизинцем пепел в изящную пепельницу.

Дверь растворилась, и в комнату вошел Вася Волосатов.

— Чем могу?.. — бледно поинтересовался Емельян Черноземный.

— А ну-ка, показывай свой сеновал, сволочь! — ласково сказал Вася Волосатов.

— Я вас не вполне понимаю, товарищ, — мягко прошептал Емельян.

— Зато я тебя, сук-кин сын, очень хорошо понимаю. Показывай сеновал! Показывай мост, под которым ты ночуешь, гадина! Показывай своего папаньку, который пропал без вести во время империалистической бойни! Показывай, наконец, черт тебя раздери, бересту, на которой ты, смотря по обстоятельствам, царапаешь то стишки, то бином Ньютона, то имя и фамилию любимой женщины! Все показывай, чертов кот!

Емельян Черноземный быстро заморгал глазами и неуверенно пробормотал:

— И... и-эх-х!.. Сглодал меня, парня, город... Не увижу родного месяца!.. Того-этого... распахну я пошире ворот, чтобы это самое... способнее было повеситься!..

С этими словами Емельян Черноземный привычным движением вбил в стенку гвоздь, сунул голову в петлю и нерешительно посмотрел на мрачного Васю.

— Вешайся! — сказал Вася сухо.

— И повесюсь, очень даже просто, — криво улыбаясь, пролепетал Емельян Черноземный. — Только за подстрекательство к самоубийству по головке тебя не тово... имей в виду... А я повесюсь...

— Валяй!

— Вот только напоследок напьюсь водки и повесюсь... Как бог свят...

— Валяй пей водку. Хоть две бутылки! Чтоб ты сдох!!

— Очень мне неприятно слышать такие вещи от близкого приятеля, — обидчиво заметил Емельян. — Вместо того чтобы пожалеть темного, безлошадного человека...

— Пей водку, стер-р-рва! — прорычал Вася Волосатов.

Емельян Черноземный дрожащими руками поднес ко рту горлышко бутылки, и щеки его покрылись бледной зеленью отвращения.

— Пей, свинья!

— Н-не могу... Душу воротит! — прошептал Емельян. — Запаха ее, подлой, не выношу! — И опустил перед Васей Волосатовым на колени.

— Будешь?! — захохотал Вася, багровея.

— Не буду больше, — обливаясь слезами, проговорил Емельян Черноземный. — Чтоб мне не сойти с этого места, не буду...

— Чего не будешь?

— Ничего не буду... Врать не буду... Вешаться не буду... Упадочником не буду... Чужих девочек на сеновал звать не буду. Про папаньку пули отливать не буду... И про мост... тоже... не буду!..

— То-то же, сволочь! Имей в виду. И чтоб больше ни-ни!..

— Ни-ни! — подтвердил Емельян Черноземный и глухо зарыдал.

Слезы его ручьем текли по «сеновалу».

ВНУТРЕННЯЯ СЕКРЕЦИЯ

(Стенограмма речи, произнесенной тов. Миусовым на открытии красного уголка жилищного товарищества)

Председатель. Слово имеет товарищ Миусов.

Миусов (*откидывая с мраморного лба каштановые волосы*). Товарищи! Предыдущие ораторы в своих речах касались главным образом культуры материальной. А мне бы хотелось поговорить о культуре, так сказать, духовной. О той, так сказать, бытовой атмосфере, в которой приходится жить всем нам вместе, дорогие товарищи. Вот, например, все кричат — новый быт, новый быт, — а где этот самый новый быт, позвольте спросить?..

На земном шаре происходят удивительнейшие вещи, героические события, чудеса науки и техники, исторические процессы, обострение классовой борьбы.

Люди открывают Северные полюса, перелетают через Атлантические океаны, изобретают говорящие кинематографы, Днепрострой возводит, реактивные двигатели пускают, — эх, о чем говорить! — до Луны, одним словом, добиваются, а в нашем жилтовариществе в это время полное мещанское загнивание, закисание, копание в грязном соседском, извините, белье. А нет того чтобы собраться, как подобает сознательным гражданам первой в мире социалистической республики, в красном уголке своего жилищного товарищества, — ну, скажем, хоть раз в неделю, — и проработать коллективно какой-нибудь этакий актуальный вопрос, — например, о внутренней секретиции или о витаминах В.

Голос с места. Правильно! Раз в неделю не мешало бы.

Миусов. Вот видите. Я очень рад, что мое предложение поддерживает наиболее сознательная часть нашего актива. А то что же это такое, товарищи, в самом деле? Едва только соберемся во дворе два-три человека, как сейчас же и начинаются сплетни. «А вы слышали?..» И ничего, кроме сплетен, никакой духовной жизни. Прямо совестно. Например, приведу такой факт. Конечно, факт мелкий, но весьма показательный. Возвращаюсь я, знаете, вчера со службы. Подымаюсь по лестнице. А впереди меня поднимаются двое членов нашего жилищного товарищества. И, разумеется, сплетничают между собой. Не буду говорить кто. Дело не в лицах... Впрочем, их кажется, здесь нету. Если хотите, даже могу сообщить. Я человек прямой. Невзирая на лицо, так сказать. Правду-матку...

Словом, поднимаются гражданин Кабасю из девятого номера и вместе с ним гражданин Николаев, и они сплетничают. Только не тот, конечно, Николаев, который из сорок четвертого, а Николаев из номера восьмого, Борис Федорович, от которого Софья Павловна из номера четвертого на прошлой неделе аборт делала.

Сукин (с места). Она с ним уже два года не живет!

Миусов. У вас неверная информация. Живет! Можете справиться у Глафиры Абрамовны. Как же не живет, если он ей в ноябре из Батума полдюжины шелковых чулок привез?

Сукин (с места). Чулки привез, а не живет!

Миусов. Живет!

Сукин (с места). А вы что, присутствовали при этом?..

Миусов. Оставьте при себе ваши неуместные остроты. Мы не в цирке. Я совершенно определенно заявляю, что она живет, и берусь это доказать фактами.

Сукин кричит с места неразборчиво.

Председатель. Прошу не прерывать оратора возгласами с мест.

Голос. Пусть докажет фактами...

Шум.

Миусов. И докажу! Во-первых, если хотите знать, это у нее второй аборт от Николаева за последнее полугодие. Но это не важно. Во-вторых, по сути дела, если уж на то пошло, моя жена собственными глазами видела, как прачка Софьи Павловны вместе с ее комбинезоном стирала фильдеперсовые, извините, кальсоны Бориса Федоровича.

Сукин (с места). А ваша жена откуда знает кальсоны Бориса Федоровича?..

Смех, шум, возгласы.

Председатель. Товарищи... това...

Шум.

Миусов. Прошу... дурака... (Неразборчиво.)

Сукин (с места). От такого слышу!..

Смех.

Миусов. Если хотите знать...

Сукин (с места). Не живет два года... (Неразборчиво.) Борис Федорович живет с миусовской Дунькой, и об этом может не знать только круглый...

Шум, смех.

Миусов. А я сам слышал через стенку и, если хотите знать, видел в замочную скважину, как Борис Федорович...

Шум.

Мне не дают говорить... Я принужден...

Председатель. Тов...

Шум, возгласы.

Голос с места. Пусть расскажет, что он видел!

Миусов. Он... (*неразборчиво*), поскольку заслонял... шкаф... я не мог...

Шум.

Сукин (*с места*). А я тоже собственными глазами...

Шум, крики.

Миусов. Вы хам и сплетник!.. Я кончил!..

Председатель. Товарищи! Ввиду позднего времени прения прекращаются. Итак, ставлю на голосование предложение товарища Миусова еженедельно собираться в уголке для проработки наиболее актуальных вопросов.

Голос с места. Чего там еженедельно? Четыре раза в неделю.

Председатель. Поступило предложение собираться четыре раза в неделю. Кто «за»? Подавляющее большинство. Заседание закрыто.

1927

ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО

План у детишек был трогателен и прост: в день получки идти стройной колонной к заводским воротам и там, со знаменами и антиалкогольными лозунгами, дожидаться отцов, с тем чтобы организованно убедить их не пропивать очередной получки.

Детишек было четверо: Гаврик, Филька, Шурка и совсем крошечная Соня.

Самый старший из них — пионер Гаврик — был главной заводиловкой вышеупомянутого антиалкогольного треста.

Он и программу демонстрации вырабатывал. Он и

средства на приобретение лозунгов и знамен выискивал. Средств, впрочем, было не особенно много.

Два рубля сорок копеек, и были они добыты путем напряженнейших финансовых комбинаций, имевших частью банковский, частью торговый и частью несколько уголовный характер.

А именно: один рубль сорок копеек пионер Гаврик снял со своего текущего счета в местном отделении сберегательной кассы. Там у него имелся небольшой капиталец в один рубль пятьдесят копеек, честно сколоченный путем ежедневных отчислений от сверхприбыли с продажи вечерней газеты.

Гривенник был оставлен в кладовых сберкассы исключительно для того, чтобы не закрывать текущего счета и не подрывать репутацию.

Семьдесят восемь копеек удалось выручить от продажи головастиков вместе с банкой и спиртовой лампочкой для обогрева воды. Цена неслыханно низкая.

Даже жалко было за такие деньги отдавать. Но ничего не поделаешь. Гражданский долг на первом месте. Хотя, конечно, такую другую спиртовую лампочку скоро не купишь.

Впрочем, не в головастиках счастье. Двадцать копеек, внесенные Филькой и Шуркой, надо сказать честно, были царской чеканки, но в суматохе сошли. А две копейки, принесенные Соней, носили еще более уголовный характер. Они были грубо украдены с комода.

Немедленно были приобретены необходимейшие материалы для успешного проведения предстоящей антиалкогольной демонстрации: несколько метров прекраснейшей материи, клей, гвозди, краска и прочее.

Весь вечер накануне демонстрации просидели дети у Гаврика в чулане, изготавливая знамена и лозунги.

— Чего зря керосин палишь! Ты, пионер! — крикнула было Гаврикова мамаша, стуча в дверь чулана ручкой кастрюли.

— Не лайся. Керосин наш. Организация покупала! — басом ответил Гаврик, и посрамленная мамаша смолкла.

Затем к двери чулана мрачно подошел только что протрезвившийся Гавриков папаша.

Он ничего не кричал и в дверь не стучал, а только глотал свинцовую слюну и, прислушиваясь, мутно бормотал:

— Ишь черти, шебуршат там чегой-то и шебуршат, а чего шебуршат — неизвестно, и покою рабочему человеку не дают, цветы жизни, чтобы они подошли, те цветы. И во-

обще, дом спалят... Организация-кооперация!.. Тьфу!.. Выпить не мешало бы...

— Я тебе выпью! Я из тебя всю кровь выпью! — подозрительно тихим голосом отозвалась из соседней комнаты мамаша.— Копейки в доме не осталось. Все пропил уж... Кобель паршивый!

Дети разошлись поздно.

Гаврик тщательно развесил приготовленные знамена и лозунги, чтоб высохли, и вскоре заснул, сжигаемый во сне нетерпением — скорее бы настал завтрашний день. Ужасно хотелось демонстрировать.

— Организация-кооперация... — хмуро пробормотал папаша, на цыпочках пробираясь к чулану.

Его мучило любопытство. Он вошел в чулан, напарил впотьмах лампочку и зажег ее. При нищем свете он увидел красивое полотнище с надписью:

ПЕРВУЮ РЮМКУ ХВАТАЕШЬ ТЫ,
ВТОРАЯ ТЕБЯ ХВАТАЕТ.

— Гм,— криво усмехнулся отец.— Ишь ведь чего ребятеночки удумали... Первую, дескать, ты, вторая, дескать, тебя... А третью, дескать, опять ты... А четвертая, дескать, опять тебя... А пятую опять ты... А шестая опять тебя!.. И так всю жизнь!..

Горькая слеза поползла по его тоскливым скулам.

— Между прочим, одну бы рюмочку бы действительно бы не мешало бы... Для опохмеленья... Мало-мало... Чего бы сообразить на половинку?.. Гм...

На другой день Филька, Шурка и совсем крошечная Соня с нетерпением топтали снег возле Гаврикова крыльца. Уже самое время было начинать демонстрацию, а Гаврик все не выходил. Наконец он появился. Лицо его было страшным. Оно казалось перевернутым.

— А где же лозунги? — с тревогой спросила маленькая Соня, которой всю ночь снились трубы и знамена.

— Папенька... вчерась... пропил... — прерывающимся голосом сказал Гаврик.

— Значит, что жа? — глухо спросил Филька.— Демонстрация, что ли, переносится?

— Отменяется... — сказал Гаврик.

Судорога тронула его горло. И почти беззвучным шепотом он прибавил:

— И валенки мои... тоже пропил!..

И тут Филька, Шурка и Соня заметили, что Гаврик бос.

— Не так, главное, валенок жалко, как, понимаешь ты... головастиков... — выговорил он и вдруг затрясся.

1927

ТОЛСТОВЕЦ

Когда приятели Пети Мяукина бодро спрашивали его: «Ну как дела, Петя? Скоро в Красную Армию служить пойдешь?» — Петя Мяукин рассеянно подмигивал глазом и загадочно отвечал:

- Которые пойдут, а которые, может, и не пойдут...
- Это в каком смысле?
- А в таком. В обыкновенном.
- Ну, все-таки, ты объясни: в каком таком?
- Известно, в каком! В религиозно-нравственном.
- Что-то ты, Петя Мяукин, путаешь.
- Которые путают, а которые, может, и не путают.
- Да ты объясни, чудак!
- Чего ж там объяснять? Дело простое. Мне отпущение, и аз воздам...
- Чего-чего?
- Того-того. Аз, говорю, воздам.
- Ну?
- Вот вам и ну! Воздам и воздам. И вообще, духовоборы...
- Чего духовоборы?
- А того самого... которые молокане...
- Странный ты какой-то сделался, Петя. Вроде мало-хольный. Может, болит что-нибудь?
- Болит, братцы.
- А что именно болит?
- Душа болит.

Приятели сокрушенно крутили головой и на цыпочках отходили от загадочного Мяукина.

За месяц до призыва Петя Мяукин бросил пить и даже перестал гонять голубей.

По целым дням он пропадал неизвестно где. Несколько раз знакомые видели Петю в вегетарианской столовой и в Румянцевской библиотеке.

За это время Петя похудел, побледнел, стал нежным и гибким, как березка, и только глаза его светились не-

обыкновенным внутренним светом — вроде как бы фантастическим пламенем.

На призыв тихий Петя явился минута в минуту. Под мышкой он держал объемистый сверток.

Комиссия быстро рассмотрела стройного, красивого Петю.

— Молодец! — бодро воскликнул председатель, ласково хлопнув его по плечу. — Годен! В кавалерию!

— Я извиняюсь, — скромно опустил глаза Петя, — совесть не позволяет.

— Чего не позволяет? — удивился председатель.

— Служить не позволяет, — вежливо объяснил Петя.

— Это в каком смысле не позволяет?

— А в таком смысле не позволяет, что убеждения мои такие.

— Какие такие?

— Религиозные, — тихо, но твердо выговорил Петя, и глаза его вспыхнули неугасимым пламенем веры.

— Да вы, товарищ, собственно, кто такой? — заинтересовался председатель.

— Я-с, извините, толстовец. Мне, так сказать, отщепение, и аз, так сказать, воздам. А что касается служить на вашей службе, так меня совесть не пускает. Я очень извиняюсь, но служить хоть и очень хочется, а не могу.

— Скажите пожалуйста, такой молодой, а уже толстовец! — огорчился председатель. — А доказательства у вас есть?

— Как же, как же, — засуетился Петя, быстро развертывая пакет. — По завету великого старца-с... — скромно прибавил Петя, вздыхая, — мне отщепение, и аз воздам. А если вы, товарищ председатель, все-таки сомневаетесь насчет моих убеждений, то, ради бога, бога ради... проэк-заменуйте по теории.

Петя засуетился, вынул пачку книг и разложил их перед комиссией.

— Всего, можно сказать, Толстого до последней запытой произошел. Как хотите, так и спрашивайте. Хотите — с начала, хотите — с середины, а хотите — с конца. Туды и обратно назубок знаю. Например, из «Князя Серебряного» могу с любого места наизусть произнести. Или, скажем, роман «Хождение по мукам». Опять же «Хромой барин». А что касается драмы в четырех действиях «Заговор императрицы», то, верите ли, еще в двадцать четвертом году мы с папашей-толстовцем и мамашей-толстовкой раз шесть ходили в летний театр смотреть...

Петя обвел комиссию круглыми, честными голубыми глазами.

— Можно идти? — деловито спросил он и быстро надел штаны на пухлые ноги, покрытые персиковой шерстью.

— Годен! В кавалерию! — закричал председатель, корчась от приступа неудержимого хохота. Многие члены комиссии, извиваясь и взвизгивая, ползли под стол.

Вечером Петя печально сидел за ужином и говорил родителям:

— А между прочим, кто же его знал, что этих самых Толстых в СССР как собак нерезанных! Один, например, Лев Николаевич, старикан с бородой, главный ихний вегетарианец, другой — Алексей Константинович, который «Князя Серебряного» выдумал, а третий тоже Алексей, но, понимаешь ты, уже не Константинович, а, наоборот, Николаевич... Тьфу! И все, главное, графы, сукины дети, буржуи, чтобы они сдохли! Попили нашей кровушки... Я из-за них, сволочей, может, восемь фунтов в весе потерял!..

— Кушай, Петечка, поправляйся, — ласково говорила мамаша, подкладывая загадочному Пете на тарелку большие телячьи котлеты, и светлые вегетарианские слезы текли по ее трехпудовому лицу, мягкому и коричневому, как вымя.

1927

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

(Опыт рецензии)

С легкой руки литбюрократов, окопавшихся в уютненьких траншеях советских издательств, почему-то (?) вошло в практику, без зазрения совести и не жалея государственных средств, издавать кого попало, что попало, как попало, куда попало и кому попало.

Достаточно только указать на дикую вакханалию и свистопляску, которая, к сожалению, до сих пор продолжается с изданием так называемых «полных (!) собраний (хе-хе!) сочинений (хи-хи!)» наших доморощенных и пресловутых гениев.

Вслед за Пильняком, Леоновым, Ивановым, Верой Инбер, Гумилевским и другими безусловно крупными мастерами слова к вкусному пирогу советской популярности

потянулись цепкие пальцы развязных молодых людей, уже не имеющих абсолютно никакой художественной ценности и социальной значимости.

Мутный вал чтива, потакающего обывательским вкусам, готов с головой захлестнуть молодую советскую общественность.

Издаются буквально все кому не лень.

Вот, например, перед нами «полное (ха-ха!) собрание (хе-хе!) сочинений (хи-хи!)» некоего Антона Чехова...

(Кстати: какой это Чехов? Не родственник ли он пресловутого Михаила Чехова, бывшего актера МХАТ II, который ныне «подвизается» в Берлине?)

Впрочем, отбросим всякие подозрения и постараемся вскрыть социальную сущность и выявить писательскую физиономию вышеупомянутого Антона Чехова (!), столь ретиво изданного одним из наших центральных издательств.

Возьмем хотя бы рассказ «В бане», которым открывается том первый. Сам этот факт уже говорит за то, что рассказ «В бане» является, так сказать, общественно-политическим и литературно-художественным кредо писателя. Посмотрим, в чем же заключается это «кредо».

« — Эй, ты, фигура! — крикнул толстый, белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди.— Поддай пару!»

И далее:

«Толстый господин погладил себя по багровым бедрам...»

И т. д.

Несколькими абзацами ниже:

«Гам сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле».

И еще:

«Никодим Егорыч был гол, как всякий голый человек...»

Довольно!!

Совершенно ясно, что ни о каком писательском лице, ни о какой социальной значимости не может быть и речи в произведении, где с откровенностью, стоящей на грани цинизма и порнографии, на протяжении шести-семи страниц убористого шрифта смакуются мотивы голого человеческого тела.

А вот, например, рассказ «Неудача»:

«Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали... За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, *объяснение в любви*, объяснялись их дочь Наташенька и *учитель уездного училища Шуркин*».

И т. д. (Курсив везде наш.— С. С.)

Дальше, товарищи, ехать некуда!

Учитель уездного училища, объясняющийся в любви некой Наташеньке,— это же шедевр мещанской пошлости и беззубого, обывательского злопыхательства!

Кто этот объясняющийся в любви учитель? Частный случай, анекдот или же монументально обобщенный тип?

Если это частный случай, то позвольте вас спросить, кому нужны такие частные случаи и для чего автору понадобилось притаскивать за волосы на страницы советской печати эту явно надуманную, лишенную плоти и крови фигуру выродившегося интеллигента, который занимается пошлейшим копанием в себе в стиле Достоевского?

Если это монументальное обобщение, то тут мы вправе со всей определенностью заявить зарвавшемуся автору:

— Руки прочь от советского учительства! Не вам, гражданин Чехов, показывать нам его!

И потом, что это за Наташенька? Откуда вы выкопали эту девушку, проводящую все свое время в бесцельном флирте? Не бывает у нас таких девушек, гражданин Чехов!

Кстати, одна характерная деталь: в конце рассказа отец и мать Наташеньки благословляют ее и уездного учителя (!) вместо образа портретом *писателя Лажечникова* (?).

Очевидно, гражданин Чехов дальше середины XIX века в своих литературных ассоциациях не пошел. Стыдно, очень стыдно, господин Чехов, не знать, что самый популярный писатель у нас не Лажечников, а Gladkov! И не мракобесом Лажечниковым, а Gladkovым должны были благословлять молодых людей родители, если уж па то пошло!

Но вот что самое характерное: у гражданина Чехова совершенно нет романов. Да это и понятно! Трудно себе представить, как бы рецензируемому автору, при полном отсутствии чувств исторической перспективы, при куцем, беспредметном, а-ля Зоценко, юморке, при совершенно определенном уклончике в «голую» порнографию, удалось создать большое полотно, в полном объеме отображающее

нашу действительность, со всеми ее сложнейшими конфликтами, коллизиями, ситуациями, взаимоотношениями, сдвигами и перегибами.

Что касается проблемы живого человека, то она, разумеется, даже и не почевала в «полном (хи-хи!) собрании (хе-хе!) сочинений (ха-ха!)» гражданина Чехова.

В заключение необходимо заметить следующее. У Чехова имеется несколько пьес. Говорят, что некоторые из них собирается (!) поставить (?) МХАТ I (?!). Нам неизвестно, насколько справедливы эти слухи, но, во всяком случае, в театральном кругу поговаривают об этом совершенно определенно.

Будет чрезвычайно прискорбно, если такой серьезный и нужный пролетариату театр, как МХАТ I, после «Бронепоезда» и после «Хлеба», поставит на своей сцене эти пошловатые и в конечном итоге малохудожественные, с позволения сказать, «пьесы», специально рассчитанные на гнилой вкус нэпманского жителя.

А в общем *никчемное* собрание *никчемных* «сочинений» чужого нам писателя.

Старик Собакин

Кавычки, скобки и все знаки препинания — всюду мои. Вообще все мое.— С. С.

1927

ЖЕРТВА СПОРТА

Было прелестное осеннее утро, и на территории Парка культуры и отдыха спешно догорали георгины и лихорадочно облетали березы. Яркое, но в достаточной мере печальное солнце холодно освещало пейзаж.

В пустынной аллее сидела на скамеечке девушка, для описания которой в моем распоряжении не имеется достаточно ярких красок. Она ела большую грушу, и мутная капля сока блистала на самом кончике ее небольшого подбородка. Рядом с ней на скамье лежал последний номер иллюстрированного журнала, небрежно развернутый на восьмой странице.

Костя Поступаев опытным взглядом закоренелого ловеласа окинул девушку и, плавно описав вокруг нее четыре мертвых петли, вдруг с треском очутился рядом.

— Вот номер — я чуть не помер! — воскликнул он не-

принужденно, выбрасывая ноги вперед, и многозначительно подмигнул девушке.

Она не пошевелилась.

— Я извиняюсь, который час? — деловито спросил он и придвинулся к девушке.

Она молчала.

— Может быть, вы глухонемая? Что?

Девушка молчала.

— Ага! Я извиняюсь: она глухонемая! — юмористически сказал Костя Поступаев в пространство и закинул руку на спинку скамьи, вдоль девушкиных плеч.

— Почему вы сидите в таком одиночестве?

Пауза.

— Нет, кроме шуток, как вас зовут?

Молчание.

— Гм... Разрешите в вашем присутствии закурить?

Молчание.

— Молчание — знак согласия, не правда ли?

Девушка не шевелилась.

— Мы где-то с вами встречались. Что? Вы, кажется, молчите? Вот номер — я чуть не помер! Нет, кроме шуток, — почему вы такая грустная? Давайте я вас расшевелю.

С этими словами Костя Поступаев как бы по рассеянности опустил руку и обнял девушку за талию. Лицо ее слегка порозовело, брови сдвинулись, и губы плотно сжались.

— Фи, какая вы такая... — блудливо пролепетал Костя и положил свободную руку на ее колено.

— Какая такая? — тихо произнесла девушка, подымая на опытного, красивого Костю большие, ясные, синие глаза.

— А такая, — суетливо сказал Костя, и вдруг взгляд его упал на восьмую страницу иллюстрированного журнала. Там во весь лист была напечатана фотография девушки, а под ней Костя прочел надпись: «Нина Подлесная, взявшая первенство на последних всесоюзных состязаниях по боксу».

Костя похолодел.

— Какая же я такая? — еще тише повторила девушка. — Ну? Ну именно?

— Именно — очень тренированная. А я вас, товарищ Подлесная, сразу признал. Только, значит, виду не показал. А то бы разве я... хи-хи... подсел?..

— Да что вы говорите?

— Определенный факт. Вот номер — я чуть не помер.

Ну, пока.

— Куда же вы? Пойдите. Не уходите. Сядьте поближе.

— Гы-гы!..

— Какой вы странный! Сядьте же. Ну дайте мне руку.

Вы мне начинаете нравиться.

— Гы-гы!..

— Я извиняюсь, вы не знаете, который час?

— Гы!

— Может быть, вы глухонемой?

Костя Поступаев молчал.

— Ага! Я извиняюсь: он глухонемой! — печально сказала Ниночка Подлесная в пространство и закинула руку на спинку скамьи, вдоль Костиных плеч.

Костя страдальчески съежился, зажмурил глаза и вдавил голову в плечи.

— Почему вы сидите в таком одиночестве? Нет, кроме шуток, — как вас зовут? Гм... Разрешите в вашем присутствии есть грушу? Молчание — знак согласия, не так ли? Мы где-то с вами встречались... Что? Вы, кажется, молчите? Нет, кроме шуток, почему вы такой грустный? Давайте я вас расшевелю...

— Ой! Только, ради бога, не надо меня расшевеливать. Тетенька, я больше не буду. Никогда. Клянусь ва...

С этими словами опытный Костя сорвался с места и ударился в бегство.

— Пойдите! Я хочу вам что-то сказать! Погодите! — слабо крикнула ему вслед девушка.

Но Костя был уже далеко.

Девушка тяжело упала головой на спинку скамьи и зарыдала.

— И так... вот... всегда, — бормотала она сквозь слезы, стуча кулачком по скамье, — всегда! всегда! всегда! Ох, за что я такая несчастная!..

И холодное осеннее солнце видело в тот день, как девушка рвала на мелкие кусочки последний номер непрочитанного иллюстрированного журнала и сладострастно запихивала его в урну, где еще дымился окурок, брошенный красивым Костей.

Наскоро насвинив в Аркосе и разорвав дипломатические отношения с СССР, Чемберлен сунул отмычки под подушку, деловито сел на извозчика и поехал устраивать очередной антисоветский фронт.

— Вези ты меня, брат извозчик, сначала во Францию, к господину Бриану. Где живет господин Бриан — знаешь?

— Помилуйте, вашсиясь. В прошлом году возил. Как же-с!

— Ну так вот. У Бриана я задержусь минут на пятнадцать — двадцать, не больше, устрою кое-какие антисоветские делишки, а потом поедем, братец ты мой, к господину Штреземану в Германию. Где живет господин Штреземан, знаешь?

— Помилте! В прошлом году возил.

— Гм! Так вот! У Штреземана я посижу самое большее пять минут, обделаю там один маленький дипломатический разрывчик с СССР, и после этого, дорогой ты мой извозчик, поедем мы с тобой...

— К господину Муссолини, в Италию-с...

— Верно, извозчик. Откуда ты знаешь?

— Помилте! В прошлом году возил. Вы, вашсиясь, об эту пору аккурат каждый год ездите антисоветский фронт налаживать. Хе-хе! Пора, кажись, знать. Хи-хи!

— А ты бы поменьше языком молол, извозчик, — сухо заметил Чемберлен, — не твоего это ума дело. Да. У Муссолини посижу максимум две минутки, организую небольшой взрывчик советского посольства, а оттуда повезешь ты меня, извозчик, прямым сообщением в Румынию. Военное снаряжение там надо забросить в одно местечко возле границы.

— В Польшу заезжать не будете?

— Пожалуй, заеду на обратном пути. Ну-с...

— Н-н-но, милая! И-ех! С горки на горку, барин даст на водку!.. Пошевеливайся...

Чемберлен бодро вошел в кабинет к Бриану.

— Ба! — воскликнул Бриан. — Сколько лет! Сколько зим! Какими судьбами! Очень, очень рад вас видеть! Сердечно тронут. Чаю? Кофе? Какао? Садитесь, садитесь.

— Мерси. Я на одну минуточку. Внизу ждет извозчик. У меня к вам небольшое дельце.

— Бога ради! Ради бога!
— Антисоветский фронт. Как вы на этот счет?
— Ну, как вам сказать. Оно конечно... Может быть, все-таки чаю стаканчик выпьете? А? Отличный китайский чай! Усиленно рекомендую.

— Мерси.

— Мерси «да» или мерси «нет»?

— Мерси нет.

— Чашечку, а?

— И не просите. Китайский чай действует на сердце.

Опять же — внизу извозчик.

— А вы отпустите извозчика. Посидим, поболтаем. Так редко, знаете, приходится поговорить с интеллигентным человеком. Кстати, вы слышали последнюю политическую новость — Авереску проворовался.

— Что вы говорите! А я как раз собрался сегодня к нему заехать. Гм... И много, простите за нескромный вопрос, спер?

— Строго говоря, он еще не кончил красть: мебель и пианино из министерства не вывезены. Но по предварительным подсчетам...

— Печально, печально... Ну-с, впрочем, не будем отклоняться. А то у меня внизу извозчик, знаете ли... Так как же насчет фронтика?

— Какого фронтика?

— Да единого же антисоветского? А? Как вы на сей предмет?

— Единого... Антисоветского? Гм... Что же... Цель не вредная... Да! Чуть не забыл! Как вам нравится Лендберг?

— А что такое?

— Как что такое! Да вы, батенька, газет, что ли, не читаете? Через Атлантический океан, на аэроплане, шельма, перелетел — и ни в одном глазу! Вот эт-та трюу-ук! Так вы, значит, от чаю решительно отказываетесь?

— Решительно. У меня извозчик внизу стоит.

— А вы плюньте в извозчика. Постоит и перестанет. Не в извозчике счастье. Посидим, поболтаем, чайку попьем. Чаю хотите?

— Мер-рси...

— Мерси «да» или мерси «нет»? То есть, пардон, я совсем забыл, что вы не пьете чаю. Между прочим, нашему общему другу Штреземану врачи тоже категорически запретили крепкий чай. Не знаю, как он теперь, бедняга, выкручивается, прямо анекдот.

— А что такое?

— Да как же! Посудите сами. Сегодня у него обедает Чичерин. А Чичерин после обеда ужасно любит чайку попить. Интересно зна...

— Пойдите! Что вы говорите! Я как раз от вас соби-
рался ехать к Штреземану. А там, оказывается, Чичерин.
Гм... Ужасная неприятность. Н-да, история! Придется в
другой раз заехать. Ничего не попишешь. Между нами
говоря, не нравится мне почему-то Чичерин. Несимпатич-
ный человек. Куда ни сунешься — всюду Чичерин. Ну,
так как же?

— Это насчет чего?

— Это насчет антисоветского фронта!

— Что ж, валяйте!

— Присоединяетесь?

— К чему присоединяться?

— Да к фронту же!

— К какому?

— Ах ты, господи, да к антисоветскому же! Ну?

— Да как же я вдруг так возьму и присоединюсь? Не-
удобно это как-то. Впрочем, вы поезжайте к Штреземану.
Если Штреземан присоединится, тогда, пожалуй, и я при-
соединюсь, если, конечно, ничего такого не случится.

— Да как же я поеду к Штреземану, если у него Чи-
черин сидит, чудак вы человек? Ведь неудобно же полу-
чится?

— Неудобно.

— Вот видите. Сами понимаете, что неудобно, а сове-
туете. Ну, присоединяйтесь, присоединяйтесь, а то меня
извозчик внизу дожидается. Поди, истомился, сердешный...
Ну, так как же?

— Да, и как же?

— Присоединяйтесь.

— Не знаю, право, что вам и сказать. Да вы приса-
живайтесь. Чайку поьем, побеседуем. Чайку налить?

— Присоединяйтесь «да» или присоединяйтесь «нет»?
Одно из двух. Меня внизу извозчик ждет. Мне еще к Мус-
солини заехать надо. И его хочется присоединить.

— Не советую сегодня к Муссолини ехать. Муссоли-
ни переживает лирическую грусть.

— А что с ним такое?

— А то. У человека лира падает, а вы его присоеди-
нить начнете. Неудобно.

— Какая неприятность! Вот уж действительно, не ве-
зет так не везет! Ну?

— Что «ну»?

— Присоединяйтесь!

— Право, я не могу. Мерси, но не могу. Не от меня зависит. Рабочие наши, знаете, не очень обожают анти-советский фронт. Может быть, вы к рабочим съездите, уговорите их, а?

— Значит, не присоединяетесь?

— Не присоединяюсь.

— Гм... Ну, тогда до свидания. Честь имею кланяться, гран мерси.

— Куда же вы? Посидите, поболтаем. Чайку попьем. По-хорошему. Чайку хотите? Что ж вы на меня ногами топаете? Вот чудак человек. Уж и стаканчика чаю ему нельзя предложить... Посто... Ушел!

— Эх, барин, нехорошо это с вашей стороны! Десять минут велели ждать, а сами три часа проманежили. Уж это свинство.

— Ну, ты! Не очень! Погоняй!

— Куда прикажете? К господину Муссолини или к господину Штреземану?

— Вези меня, болван, назад, домой!

— А в Польшу не заедете?

— Вези домой, сук-кин сын, и не раздражай меня дурацкими вопросами! Хам! И что это за каторжная жизнь, прости господи! На дворе лето, солнце жарит, хорошие люди все в отпуск собираются карасей удить, один я, как собака, с высунутым языком ездию по Европе и ездию, и конца этому не предвидится!..

Ну, подождите, подлые большевики, доберусь я до вас когда-нибудь!

1927

«НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ»

Душевное состояние обывателя, впервые отправляющегося за границу, обычно трудно поддается описанию.

Он мало ест, мало спит, надоедает знакомым телефонными звонками.

— Алло! Это вы, Николай Николаевич?.. Здравствуйте. Это я... Что? Вы уже легли спать?.. Неужели четверть третьего? А я, знаете, думал, что часоф девять. Хе-хе... Извините, маленькая справочка. Не можете ли вы мне

сказать: допустим, у меня есть заграничный паспорт и немецкая виза,— как быть с Польшей? Пропустит?.. Вы думаете? Спасибо... А если не захочет?.. Да, я понимаю, но все-таки суверенное государство... Не может быть?.. Спасибо. Но все-таки — вдруг я прихожу, а мне в польском консульстве и говорят... Гм... Алло... Алло!.. Повесил трубку... Невежа!..

С утра он нанимает такси и начинает лихорадочно ездить по городу с таким видом, точно у него в квартире лопнула водопроводная сеть. Первым делом он кидается в Административный отдел Московского Совета — АОМС, где ему на сегодня обещан ответ.

Сжимая в потном кулаке квитанцию, спотыкаясь, бежит он к воротам. Ворота закрыты. За великолепной оградой виден пустой обширный аомсовский двор, цветники, клумбы, деревья...

На тумбочке у ворот сидит милиционер и читает «Рабочую газету».

— Я извиняюсь... товарищ,— начинает наш герой неправдоподобно взвинченным голосом и сует в усы милиционера повестку.— В чем дело? Тут ясно сказано — сегодня, а между прочим, ворота заперты. Это что же такое? Издевательство над гражданами? А может быть, у меня в Берлине тетя умирает? Безобразие!

Милиционер равнодушно зевает, складывает «Рабочую газету» и вынимает из кармана большие серебряные часы.

— Еще рано, гражданин. Всего половина восьмого. А прием начинается в девять. Погодите малость.

— Я извиняюсь,— бормочет проситель.— Неужели половина восьмого? А я был уверен, что четверть десятого...

Он некоторое время трет себе виски и топчется возле милиционера. Наконец, потоптавшись, с легкой надеждой в голосе спрашивает:

— Может, в очередь надо записаться?

— Чего там в очередь,— лениво усмехаясь, говорит милиционер.— Всего четыре человека вместе с вами. Вон они ждут. У них спросите...

Наш путешественник выпускает слабый вопль тревоги и спешно кидается к трем одиноким фигурам, сидящим на парапете решетки и меланхолично болтающим ногами.

— Граждане!.. Я извиняюсь... Кто последний?.. Здравствуйте. Еду, понимаете, в Западную Европу... Так вот, пожалуйста, я четвертый... Запомните... Сплошное безобразие: всюду очереди и очереди... В Западной Европе

этого, наверное, нет... Итак, имейте в виду — я четвертый. Пока!

После этого он плюхается на горячее сиденье такси и громко кричит, чтобы его как можно скорее везли в немецкое посольство, оттуда в итальянское, потом во французское, польское, австрийское...

Пролетая ураганом по улицам, он то и дело высывается из машины и, размахивая шляпой, кричит встречным знакомым:

— Привет! Уезжаю в Западную Европу... Что? Пишите прямо в Германию, прямо до востребования. Целую. Пока.

По его интенсивно-розовому лицу струится горячий пот.

Но вот наконец паспорт своевременно получен, визы поставлены, деньги в банке обменены на валюту. Кажется бы, все в порядке, можно успокоиться. Однако вот тут-то именно и начинается главная горячка.

— Алло! Это вы, Василий Иванович?.. Я вас разбудил?.. Извиняюсь. Дело в том, что послезавтра я еду в Западную Европу. Ха-ха-ха! Слушайте, вы не знаете, говорят, за границей наша простая паюсная икра стоит двести рублей фунт. Это правда?.. Что?.. Триста? Не может этого быть. Вы шу... Алло... Вы слушаете? Алло! Станция, нас прервали... Повесил трубку? Хам!

— Алло! Павел Павлович? Это вы?.. Здравствуйте. Я вас, кажется, разбудил?.. Извиняюсь. Поздравьте меня: я уезжаю в Западную Европу. Слушайте, вы не знаете, сколько в Западной Европе стоит наша паюсная икра?.. Дорого? Это хорошо. Мерси. А папиросы? Говорят, наши русские папиросы считаются самыми шикарными. Как вы думаете, стоит захватить тысячи полторы «мозаики»... Что?.. Вы сами дурак... Алло! Повесил трубку...

На рассвете его вдруг будит жена.

— Петя, говорят, надо взять шоколадные конфеты. В Берлине наши конфеты полтора рубля фунт. И изюм... факт...

Петя вскакивает и на полях газеты начинает спешно производить сложнейшие вычисления: фунты множит на килограммы, делит на конфеты, вычитает икру, извлекает корни из папирос. Руки у него дрожат.

Но самое мучительное — это одеться в дорогу. Надевать обычный костюм не имеет ни малейшего смысла, раз за границей можно купить за гроши новый. Опять же башмаки. Абсолютно невыгодно трепать скороходовские

туфли, если послезавтра в Берлине можно купить замечательные новые за десять рублей. А куда девать старые? Не бросать же их, на радость жадным иностранцам! Опять же шляпа и кальсоны...

— Ничего не надо. Все там купим.

Таков дозунг отъезда.

Если бы не врожденная стыдливость, такой, с позволения сказать, турист, вне всякого сомнения, готов был бы ехать в Западную Европу в чем мать родила.

Но, увы, это невозможно. Как-то совестно перед Западной Европой.

Но тем не менее на вокзал он приезжает с женой в совершенно диком виде. На нем старый картуз сынишки, брезентовые штаны системы военного коммунизма, толстовка на голое тело и престарелые парусиновые туфли, из которых стыдливо выглядывают большие пальцы.

На ней клетчатый ватерпруф, абсолютно вышедшая из употребления сумочка, дикого вида шарф и ночные туфли, выкрашенные чернилами. В дрожащих руках пятифунтовая банка икры. Знакомые в ужасе.

— Ничего, там все купим.

Поезд трогается. Своды Александровского вокзала наполняются звоном, грохотом и тихим шипением провожающих:

— Поехал-таки, свинья. Вот уж действительно — дуракам счастье. Много он там поймет со своей жирной гусыней, во всех этих европах!

— Н-да-с... толстокожее животное!

— Животное-то животное, а между прочим, в данный момент сидит себе возле открытого окошка и любуется панорамой. А послезавтра будет ездить в автомобиле по Берлину и покупать пронзительные галстуки. А нам с вами на паршивый автобус — и домой.

— Ах, и не говорите...

А тем временем наш «турист» действительно сидит у открытого окошка, но отнюдь не любуется панорамой, а нудно и мучительно препирается с супругой по поводу предположенных заграничных покупок.

— Ты, матушка, прямая дура! — шипит он, искоса поглядывая на соседней. — Кто же это, интересно знать, покупает шелк в Германии! Италия — классическая страна шелка. Там чулки и купишь.

— Это, значит, я через всю Западную Европу ехать в дражных мюровских чулках буду? Ни за что!

— Ничего с тобой не сделается, голубушка. А что ка-

сается Западной Европы, то она и не такие чулочки видела. Будь спокойна. А вот что касается моих туфель, то, натуральное дело, как только в Берлине с поезда сойдем, в первую голову покупаю башмаки на резиновой подошве. Германия — это классическая страна кожи... и галстуков...

— О, как я жалею, что вышла замуж за этого грубого идиота! — всхлипывает она.

Поезд мчится. В окне движется упоительная средне-русская панорама. Рыбий жир сочится из подпрыгивающих на верхней сетке коробок с икрой и желтыми слезами каплет на разгоряченные головы путешественников.

Проходит короткая ночь, полная тяжелых вздохов и змеиного шипа.

Утром — граница.

Отбирают паспорта.

Короткий таможенный осмотр.

Короткий потому, что, собственно говоря, осматривать нечего.

Вокруг таможенного прилавка жмутся граждане, одетые во что бог послал, безо всяких почти вещей.

Там, мол, все купим.

Поезд переходит границу. В вагон входят польские военные чины. Они вежливо отбирают паспорта. Но сосны за окном все те же «среднерусские».

Поезд медленно подходит к новенькой белой станции в новом немецком стиле. Это Столбцы.

Белый одноглавый орел, похожий на гуся, украшает мезонин станции. Тут опять таможенный осмотр.

Не считая того, что у путешественников ласково отбирают паюсную икру, все обходится как нельзя благополучно.

Наш расстроенный герой, волоча за рукав подавленную супругу, выходит на перрон и в изумлении открывает рот.

Несколько блистательных поездов стоят на путях.

С суеверным ужасом он читает по складам французские и немецкие таблички на вагонах.

«Столбцы — Берлин».

«Столбцы — Париж».

«Столбцы — Остенде».

Но это еще не все. Это все-таки еще не Европа. И лишь на рассвете следующего дня, проехав «среднерусскую» Польшу и одессоподобную Варшаву, на немецкой границе наш путешественник бывает окончательно подавлен.

Пользуясь небольшой остановкой, он выходит из вагона погулять по аккуратной платформе под гигантским

немецким деревом и вдруг, неожиданно побледнев как смерть, возвращается, шатаясь, в вагон.

— Капочка,— говорит он серым голосом.— Капочка... начинается... Там, на станции...

— Что, что такое?

— Там, на станции... продаются... бананы...

Он безжизненно садится на диван и закрывает руками лицо.

Паровоз свистит, и деликатный дым скрывает от наших глаз подробности дальнейшего путешествия счастливых супругов...

Мне кажется, что, путешествуя по Европе, я кое-где мельком видел этого «туриста».

Помнится, он топтался в Берлине, на перекрестке двух непомерных улиц, отрезанный от своей супруги, оставшейся на противоположном углу, четырьмя рядами движущихся машин.

В Риме на вокзале он долго требовал «обязательно плацкарту», вызывая у окружающих веселое недоумение по поводу загадочной «русской плацкарты».

В Венгрии он менял доллары на лиры в отделении сомнительной банкирской конторы и потом, озираясь по сторонам, прятал в особый внутренний карман штанов остальные доллары.

В Неаполе он ломился в магазин за фетровой шляпой фабрики «Барсалино».

В Вене метался на плохом таксомоторе из одного универсального магазина в другой...

По приезде домой такой гражданин переживает нечто вроде медового месяца.

Преимущественно он разговаривает по телефону:

— Алло! Это вы, Николай Николаевич?.. Здравствуйте. Это я... Не узнаете? Хо-хо! Только что из-за границы приехал... Вы уже легли спать? Это не важно. Ну, батенька, и посмотрелись же мы с Капочкой чудес!

Вы знаете, эта Западная Европа черт-те что! Нечто феноменальное... Колоссаль! Можете себе представить — в Берлине, например, башмаки на наши деньги восемь целковых, замечательные... А между прочим, пиво — дрянь! Факт... Вообще же — красота! В Риме, например, мы с Капочкой купили подмышники, и что же вы ду... гм... что такое?.. Ах, эти гнусные советские телефоны... Станция, алло! Что такое?! Разъединили. Повесил трубку? Хам!...

Молодой человек написал пьесу.

Писал он ее жадно, запоем, по ночам. Он закуривал папиросу от папиросы и едва успевал высыпать окурки из пепельницы в корзину для бумаг.

Две недели пьеса лежала у заведующего литературной частью театра на рыжем подоконнике. Была осень. Окно подтекало. Пьеса молодого человека слегка отсырела.

В комнате завлита лежало еще полтораста других пьес. К рукописям были пришпилены регистрационные карточки. Ежедневно заведующий литературной частью заполнял десяток из них приблизительно в таком духе:

«Название — «Разными путями». Число действий — пять. Автор — Николай Петрович Безенчугский. Народных сцен — нет. Число главных действующих лиц — мужских — восемь, женских — три». И т. д.

«Заключение — отклонить».

Однажды, в начале третьей недели, заведующий литературной частью потянул к себе пьесу молодого человека. Он прочитал первые шесть страниц и улыбнулся. Брови его весело сошлись над переносицей. Он сказал про себя «гм» и пересел на диван, чтобы было удобнее читать.

На другой день молодой человек услышал из телефонной трубки очень вежливый и очень осторожный голос заведующего литературной частью:

— Ах, вы автор пьесы «Заря»? Очень приятно. Видите ли, гм, лично мне ваша пьеса понравилась. Но у нас в театре еще несколько инстанций. Так, может быть, вы как-нибудь ознакомили бы, так сказать, наши инстанции с вашей драмой... Что? Комедия? Нет, по-моему, все-таки ваша вещь, скорее, лирическая драма, хотя, разумеется, вы, как автор...

Но молодой человек уже плохо слушает. Он — автор, и его приглашают читать пьесу. О! Такие вещи случаются не каждый день и даже не каждый год. И не со всяким.

— Так, значит, разрешите фиксировать день и час? У нас сегодня среда. Так. Тогда, значит, разрешите вас просить в воскресенье ровно в два часа,— как раз у нас утренник, так что... Вы в нашем театре бывали?

— О!

— В таком случае прошу вас пожаловать прямо в контору. Это внизу... Совершенно верно, там, где администратор. И попросите вызвать меня... Да. Или Семена Ва-

сильевича... Да. Это один из наших актеров. Он очень благоволит к молодым драматургам... Да. Вы просто назовите себя. Значит, в воскресенье в два. Пока, всего доброго.

В назначенный день и час автор переступает порог театра. В первый раз в жизни он входит в знакомый с детства и уважаемый дом не как простой смертный, купивший в кассе билет, а как посвященный — со двора, через контору.

В конторе узкий коридорчик, вешалка, где висят шубы «своих». Тут же, на стене, стеклянная витрина с выставленными в ней письмами, присланными актерам и «своим» на адрес театра. Автор называет себя и просит доложить о своем приходе заведующему литературной частью. Служитель не проявляет никакого интереса к личности автора. Он не предлагает ему раздеться. Уходит доложить. Автор стоит в узком коридорчике, перед зеркалом, в шубе, без шапки, в галошах и топчется на месте, мешая одевающимся и раздевающимся «своим». Внутренний боковой карман авторского пиджака раздут. Из него выпирает переплетенная в изящную малиновую тетрадь пьеса.

На одну минуту перед автором раскрывается дверь, ведущая в кабинет администратора. Там горит зеленая лампа. В кабинет быстро вбегает служитель в пенсне и просит валерьяновых капель. Безукоризненный толстенький гражданин с полными ангельски-голубыми глазами отпирает аптечку и выдает капли. Это в зрительном зале с кем-то сделалось дурно. За столиком сидит дежурный милиционер.

То и дело раздаются телефонные звонки, и ангельский негромкий голос говорит:

— На сегодня все билеты проданы. Ничего не могу для вас сделать.

— Здравствуйте, Дмитрий Владимирович... Кончается второй акт... Да. До свидания.

— Алло! Я слушаю вас... Александра Николаевича нет в театре.

— Нет. На сегодня все продано. Ничего сделать для вас не могу.

Шурша простым шелковым платьем стального цвета, проходит надменная чернобровая, седеющая дама. Все расступаются. Она милостиво улыбается. На йодистых от табака пальцах блестят кольца. Веет миндальной горечью

хороших духов. Это «сама Н», знаменитая народная артистка республики, украшение театра.

Автор в чистилище, он еще, конечно, не «свой», но уже и не «чужой». Он в трепете. «Потусторонняя» театральная жизнь уже готова показать ему если не все, то, по крайней мере, часть своих тайн.

— Здравствуйте, дорогой автор! Что же вы не раздеваетесь... Простите — ваше имя и отчество?

Это заведующий литературной частью. Он потирает руки.

— Николай Николаевич.

— Очень хорошо. Мы вас ждем, Николай Николаевич. Лука Иванович, голубчик, помогите Николаю Николаевичу раздеться. Пожалуйте, пожалуйте. Ну-с, так.

Служитель Лука Иванович преображается. Он подсказывает к автору. Он ловко подхватывает авторову шубу и вешает ее на вешалку, среди прочих шуб «своих». Заведующий литературной частью бережно берет онемевшего автора за локоть и ведет. Они идут по пустынному фойе, под ногами толстый ковер. За плотно запертыми дверьми стоит напряженная тишина зрительного зала. Среди этой тишины изредка слышатся громкие голоса актеров. Почти крики.

— Где читка? — спрашивает высокий, очень красивый мужчина, эластично обгоняя заведующего литературной частью.

— В управлении, — отвечает завлит.

Автор даже не подозревает, что в театре уже все знают о новой пьесе. Все заинтересованы в ней. Пьеса — это драгоценное сырье, необходимое «для производства» как воздух. Еще не зная ее, режиссеры хотят ее ставить, актеры — в ней играть, кассирши — продавать на нее билеты, художники — делать декорации. Автор в центре общих интересов.

Ну вот управление. Оно на втором этаже, рядом с верхним фойе. Сколько раз автор еще тогда, когда он был «просто зрителем», проходил мимо этой стеклянной двери с надписью «дирекция», и сколько раз он печально думал о том, что никогда в жизни, вероятно, ему не удастся переступить ее порога.

В дирекции — за плотной портьерой — несколько конторских столов, телефон, машинистка стучит на ундервуде (переписывает небось роли). На стенах — живопись: эскизы декораций, афиши последней премьеры. С какой завистью и ревностью смотрит автор на эти вещественные

свидетельства чужой славы. Неужели же скоро тут будет висеть новая афиша с его именем, четко отпечатанным в правом углу, против известной всему миру квадратной марки театра?

Новая дверь. Плотная портьера.

— Пожалуйте, Николай Николаевич, сюда.

Мягкая, глухая комната. За окнами — крыши, дождь. Горит лампа. Длинный овальный стол, покрытый толстым серым сукном. Тишина. В стаканах красный чай. Из мягких кресел при появлении автора поднимаются немолодые корректные, интеллигентные люди в черных костюмах, в накрахмаленных сорочках.

— Позвольте вам представить автора.

Автор обходит вставших людей и, шаркая ногами, как гимназист, пожимает руки. Непривычный, острый крахмальный воротничок впивается автору в щеки. Автор готов провалиться сквозь землю. Перед ним — портретная галерея знаменитых, народных, заслуженных, популярных. Он узнает их всех вместе и каждого в отдельности. Они, эти люди, знакомы ему с детства по бесконечному количеству фотографий, открыток, групп... Какой ужас, если пьеса окажется мерзкой! Как стыдно будет перед этими вежливыми людьми!

— Ну-с, приступили.

Задыхаясь от волнения, автор раскрывает тетрадь и придавленным голосом, идущим из противоестественно сжатого горла, голосом, который кажется ему отвратительным, начинает читать действующих лиц.

Один из народных поправляет на курносом носу пенсне и вынимает золотые часы.

— Четверть третьего, — говорит он громко и с музыкальным звоном захлопывает крышку.

Автор читает. Стоит мертвая тишина. Великие сидят как истуканы. Ни одно чувство не выражается на их монументальных лицах. Автор кончил. За окнами смерклось.

Народный вынимает часы.

— Без двадцати пять, — говорит он бесстрастно.

— Многовато, — многозначительно замечает толстый заслуженный с лысой головой.

— Сократим, — вздыхает популярный комик.

Наступает страшная тишина. Автор сидит, и все сидят. Автор знает, что ему надо уйти. Но это выше его

сил. Он должен узнать мнение ареопага. Ареопаг абсолютно и бесстрастно безмолвствует. Минута. Две. Три. Дальше — невозможно.

— Ну-с,— говорит заведующий литературной частью. Автор встает. Все встают.

— Ну-с, Николай Николаевич, спасибо за доставленное удовольствие. Разрешите вам позвонить завтра, часиков в одиннадцать утра.

— Спасибо за доставленное удовольствие,— говорят маститые по очереди, бесстрастно пожимая руку автора.— Спасибо за доставленное удовольствие. Спасибо за доставленное удовольствие.

Автор не спит ночь. Утром — звонок. Завлит назначает новую читку, более расширенному кругу актеров, почти всей труппе. Значит, пьеса «старикам» поправилась. Еще одно испытание. Это уже не так страшно.

На сей раз читка днем, в будний день, в верхнем фойе. И снова театр показывает на мгновение автору несколько своих тайн. Оказывается, в будни днем фойе загораживаются особыми щитами, превращаются в залы и там происходит репетиция. Оттуда доносятся звуки рояля, голоса, пение. Между тем как на дверях, ведущих в зрительный зал, висят большие плакаты: «Репетиция началась, входить нельзя».

Театр живет своей сумрачной, будничной жизнью. В буфете, где во время вечерних спектаклей ярко горят матовые кубические фонари модерн, сверкают скатерти, морс воспламеняет жажду и бутерброды с чайной колбасой кажутся вдвое аппетитнее домашних,— там теперь столы обнажены, на стойке кипит вокзальный самовар, в сумерках зимнего дня курят актеры, отдыхающие между двумя «своими» сценами, пьют чай актрисы постарше и едят пирожные актрисы помоложе. Откуда-то сверху долетают звуки хора — урок пения.

Вообще выясняется, что в театре, кроме фойе и зрительного зала, еще есть масса всяких комнат, углов, закулков, залов. Есть макетная, костюмерная, репертуарная комната, режиссерское управление, бутафорская и еще великое множество иных прочих. Но автору их не показывают. Может быть, впоследствии, когда его пьесу примут, когда он станет вполне «своим».

Молодежь принимает пьесу лучше, чем старики. Более несдержанно. Иногда чтение прерывает дружный смех. Иногда вдруг раздается мечтательное восклицание режиссера, подпирающего курчавую голову кулаком:

— Ах, как тут можно здорово сделать на черном бархате! Черт-те что!

Черный бархат! Что это такое? Ничего не понятно! Опять тайна.

Но и после этой читки автору еще не дают немедленного ответа. Лишь на другой день утром его будит телефонный звонок.

— Это Николай Николаевич?.. С вами говорит Гавриил Осипович. Режиссер театра. Ваша пьеса принята к постановке и поручена мне. Надо с вами повидаться.

Ура, слава в кармане! Но радоваться рано. Именно тут-то и начинается настоящее хождение автора по мукам.

Мука номер первый — встреча с режиссером.

Режиссером оказывается тот самый курчавый энтузиаст, который давеча воскликнул насчет черного бархата. Его огненные глаза устремлены вдаль. Он ерошит шевелюру и ходит по комнате взад и вперед перед автором.

— Я влюблен в вашу пьесу, Николай Николаевич! Честное слово, просто влюблен, да и только. Это — поэма. Симфония, богатейший материал для постановки. Вы не думаете? О, не скромничайте! Мы из вашей пьесы конфетку сделаем. У вас там сколько картин? Четырнадцать, кажется? Так будет — семь! Но вы не беспокойтесь. Пятая картина у нас пойдет первой, вторую, третью, четвертую картины мы выбрасываем, десятую соединяем с четырнадцатой...

— Позвольте, но у меня так задумано, что в первой картине...

— Это ничего, что задумано. Это даже очень хорошо, что задумано. Но, знаете ли, законы сцены...

Автор с ужасом видит, как режиссерский карандаш со свистом гуляет по тексту, вырывая лучшие (по мнению автора) сцены. Он пытается протестовать, но напрасно. Режиссер с жаром говорит ему о законах театра, о принципах сценического времени. Совершенно ясно, что если спектакль начинается в половине восьмого, то кончиться он обязан никак не позже половины двенадцатого, то есть должен продолжаться вместе с антрактом четыре часа. Что же делать, если пьесу неопытный автор написал на два часа длиннее положенной нормы? Не может спектакль продолжаться до половины второго! Публика будет бо-

яться опоздать на трамвай и обязательно убежит, не дожидаясь конца.

Автор сражен режиссерскими доводами.

— Скажите,— робко замечает он,— вот вы давеча говорили насчет черного бархата... Что это такое?

— Черный бархат-то?

Режиссер загорается внутренним огнем и, раскаленный, начинает сиять, как звезда.

— Черный бархат — это замечательный декоративный прием. По всему, знаете, рундгоризонту протягивают черный бархат. От этого сцена делается беспредельно глубокой. И я как раз имею в виду во второй картине опустить с колосников лампочки, взять их на реостаты, и вы сами понимаете, можно достигнуть совершенно изумительного эффекта ночного города.

— Да, но у меня во второй картине нет города.

— Это ничего. Он будет. Мы его создадим! Можете быть на этот счет совершенно спокойны. Я прямо-таки влюблен в вашу пьесу... Так что с этой стороны все в порядке...

После этого режиссер на три дня уезжает на дачу писать постановочный план.

Мука номер второй: распределение ролей. Режиссер звонит по телефону:

— Ну, дорогой Николай Николаевич, поздравляю вас: вчера мы распределили роли. Значит, таким образом: Ахтырцева будет играть заслуженный артист Ермаков, его жену — заслуженная артистка Тетина, затем им...

— Позвольте. Извините, я вас перебыю. Но ведь Ермаков маленький, толстенький добряк, а у меня Ахтырцев сухой, высокий, надменный старик с романтической окраской, этаким Дон-Кихот, который...

— Простите, Николай Николаевич, я влюблен в вашу пьесу вообще и в образ Ахтырцева в частности. Так что с этой стороны все как будто в порядке. Так-с. А что касается того, что Ахтырцев Дон-Кихот, то я думаю — он, скорее, Санчо Панса. Вы меня понимаете? И, между нами говоря, Ермаков замечательный комик...

— Но у меня роль Ахтырцева глубоко трагическая.

— Ну да, ну да, вот именно. Она глубоко трагическая по существу, а следовательно, в театре она должна звучать почти комедийно. Я влюблен в ваш талант, но вы еще не знаете законов сцены... Ну-с, так. Значит, дальше: роль их дочери Машеньки будет играть одна из наших

замечательнейших актрис — вы, наверное, о ней слышали — Сергейчикова.

— О да, я слышал о Сергейчиковой. Это очень хорошая актриса. Но дело в том, что у меня в пьесе нет дочери Ахтырцева Машеньки, а есть сын Ахтырцева Николай.

— Ну да, ну да. Вот именно. Поэтому мы и придумали такой трюк — вместо молодого человека обаятельная молоденькая девушка. Я ведь окончательно влюблен в вашу пьесу вообще, а в образ Машеньки в частности.

— Да, но Машеньки нет...

— Это ничего. Она будет. Мы ее создадим... Ну а что касается остальных, то состав первоклассный. Ну, пока.

Автор начинает мало есть и плохо спать. Под утро ему обычно снятся «реостаты», «черный бархат» и прочие малопонятные, но тревожно манящие вещи.

Мука номер третий: разговор с художником.

— Здравствуйте, Николай Николаевич. Позвольте с вами познакомиться. Альфред Павлинов. Художник вашего спектакля. Я только что подписал договор с дирекцией. Я прямо-таки влюблен в вашу пьесу. Это — поэма. Даже, скорее, не поэма, а такой, понимаете, трагифарс. Его именно и нужно оформить в таком монументально-синтетическом стиле. Вы мой макет к «Царю Эдипу» видели?.. Так вот, будет нечто вроде, но только, конечно, более насыщено. Особенно меня интересует трехмерное разрешение железнодорожного пейзажа. Дерево и свет, и больше ничего, может быть — прожектора. Вам улыбается такая перспектива?

— Перспектива улыбается. Мерси. Но только у меня, извините, в пьесе нет железнодорожного пейзажа.

— Нет? Разве? А мне показалось, что в восьмой картине есть. Но это не важно. Я уже вам сказал, что буквально влюблен в ваш шедевр. Так что железнодорожный пейзаж будет. В крайнем случае вы припишете там несколько подходящих слов. Ну, пока. Через месяца два позову вас посмотреть макет...

— Как? Через два месяца? Так не скоро?.. Алло! Алло! Повесил трубку... Ужасно...

Мука номер четвертый: ожидание начала репетиций.

Мука номер пятый: ожидание разрешения главреперткома. Мука номер шестой: звонки знакомых. Это даже не мука, а просто пытка, египетская казнь.

— Здравствуйте, Николай Николаевич. Это говорит Вася. Ну как?

— Что как?

— Скоро будем вас вызывать?

— Не знаю.

— Вы же контрамарочку смотрите не забудьте. Только чтоб не дальше пятого ряда, а то Сонечка плохо слышит.

— Хорошо, не забуду.

— Так заметано?

— Заметано!

— Гы-гы! Теперь вы знамениты, с вами страшно на улице раскланиваться — еще, чего доброго, не ответите.

— Отвечу.

— Ну, всего.

— Всего.

— До премьеры. Пока. Кстати, говорят, что для писателя проза — это честная жена, а театр — богатая любовница. Хи-хи! Ну, пока.

— Пока.

— Да, кстати! Мне один знакомый, иваново-вознесенский актер, говорил, что в этом сезоне ваша пьеса не пойдет.

— Нет, пойдет.

— Пойдет? А мне говорили, что не пойдет. Гы-гы! Переделок много. Ну, пока.

— Пока.

И так по тридцать звонков в день. Кошмар!

Наконец разрешение главреперткома получено.

Начинаются муки репетиций. Репетируют мучительно долго. Идя на первую репетицию, автор воображает, что репетировать будут сразу же на сцене. Однако до сцены еще да-а-леко. В одном из самых захудалых закоулков театра стоит стол, за столом сидят актеры с тетрадками в руках и читают под руководством режиссера пьесу. Ничего интересного. Похоже на изучение иностранных языков по системе Берлица. Так проходит месяц и два, пока репетиции не переносят в другое помещение — в фойе, где актеры уже начинают ходить и более или менее «играть».

Между тем где-то в недрах театра художник «клеит макет». В один прекрасный день автора вызывают в театр посмотреть работу художника. Спотыкаясь, автор поднимается и опускается по каким-то узеньким лестничкам, кружит в лабиринте коридорчиков и переходов, о существовании которых в театре до сих пор и не подозревал. На-

конец его вводят в комнату, похожую на столярную мастерскую. На ящике сидит режиссер и мечтательно смотрит в угол. В углу стоит художник и, жестикулируя, говорит:

— Уверяю вас, что второй антракт совершенно свободно можно сократить до пятнадцати минут. Трудная монтировка? Ничего подобного. Иван Иванович берется всю перемену механизировать.

— Да, но куда вы денете дом? Он же не поместится. Там кирпичная стена мешает.

— При чем здесь стена, если мы убираем дом под колосники? Пожалуйста, взгляните.

Режиссер, ероша волосы, бросается к художнику, и оба они долго и сосредоточенно смотрят на макет. Это очаровательная игрушка, прекрасно сделанная, подробная модель сцены с вращающимся кругом, колосниками, кулисами и всем прочим размером аршина полтора в длину, ширину и высоту. Автор заглядывает через плечо режиссера и художника. Он восхищен. На маленькой сцене устроены маленькие декорации. Горят крошечные электрические лампочки. Глиняные человечки расставлены на вращающемся диске пола.

У окна макетной два помощника художника в синих халатах строгоют, пилят, клеят, красят и вырезают из картона детали макетных декораций.

— Я прямо влюблен в вашу пьесу,— застенчиво говорит один из них автору.— Постановка будет что надо. Есть где развернуться. А третий акт пойдет определенно на аплодисменты. Во всю высоту сцены будут стоять семнадцать зеркал. Красота.

— Но у меня в пьесе нет зеркал.

— Это ничего. У нас будут. Определенно на аплодисменты.

А где-то рядом стучат швейные машины. Это шьют костюмы по специальным эскизам. Иногда дверь в швейную мастерскую открывается, и тогда видны горы цветистых тканей, обрезки холста и фигуры мастериц, которые, сжимая в губах пучки булавок, ползают у ног пришедшей на примерку актрисы.

Проходит еще несколько месяцев. Время премьеры грозно приближается. Уже автор в театре — «свой» человек. Уже все знают его имя-отчество, и он знает имя-отчество всех. Его беспрепятственно пускают всюду. Он мыкается по фойе, по лестницам, по закоулкам.

Репетиции перенесены на сцену. Это значит, что пре-

мьера на носу. Автор входит по наклонному полу в темный зрительный зал. Он садится рядом с режиссером за столик, на котором горит маленькая электрическая лампочка в оранжевой юбочке. Это его почетное право. Начинается очередная сцена. Актеры еще не одеты и не загримированы. Еще нет декораций. Вместо декораций специальные условные «выгородки».

Перед режиссером лист чистой бумаги, на котором он быстро записывает все свои замечания:

«Ермаков — слишком медленно. Соснова — ничего не слышно. Никольский закрывает спиной Машеньку. Убрать стол. Чересчур рано музыка. Надо после слов: «вы мне снились» — паузу».

Или что-нибудь в этом роде.

Автор уже привык к актерам. Ему уже ничуть не странно, что Ахтырцев не Дон-Кихот, а Санчо Панса и что у него не сын Николай, а дочь Машенька. Его образы отступили перед натисками актерского мастерства, более убедительного, чем его собственная фантазия.

Помощник режиссера мечется по театру со специальной книгой репетиций, куда записывает все, что постановочная часть должна приготовить для спектакля. Все — до самой последней мелочи.

Тем временем во дворе слышится шум мотора. Там — декорационные мастерские. Электрическая пила режет дерево. Летят стружки. Строятся декорации. Из папье-маше делается бутафория. Художники красят громадными кистями уже выстроенные детали — шкафы, дома, деревья, вагоны.

В люках сцены орудуют электротехник и осветитель. Там — сложнейшие распределительные щиты, реостаты, рубильники. Заведующий сценой сидит возле металлического прибора, похожего на кассовый аппарат «Националь», и передвигает рычажки, множество которых торчат из прибора.

Нажмет один — загораются синие лампочки. Нажмет другой — красные. Третий — свет гаснет. Четвертый — вспыхивает справа вверху. Пятый — слева внизу. Вся осветительная аппаратура у него в руках.

Капельмейстер рассаживает свой оркестр под полом сцены. Гремят попитры. Заведующий шумами и звуками носится с какими-то колоколами, баллонами сгущенного газа, свистками, трещотками, при помощи которых будет производить звук идущего дождя, шипящего паровоза, цоканья конских копыт, гром трамваев, свист ветра...

Парикмахер в белом халате красит и расчесывает на болванках парики.

Вся громадная машина театрального производства приведена в движение. Теперь премьера неотвратима.

Готовые декорации, поднятые на невидимых, бесшумных лебедках, скользят в воздухе через сцену. Пробуют свет прожектора. Актеры выходят в гримах и костюмах к рампе. Режиссер командует:

— Подрезать слегка бороду. Больше румянца. Немного седины в виски. Мягче подбородок.

Рабочие втаскивают мебель.

Автор опять перестает узнавать своих персонажей. Они страшно новы и мучительны в своей новизне.

Администратор посылает в типографию афишу.

Наконец — премьера.

Автор сидит в шестом ряду. Он страстно сжимает локоть режиссера. Публика приятно волнуется. Премьера! Свет медленно гаснет. Загорается рампа. Все кончено. Идет занавес.

1929

«МЫ ВЫШЛИ В САД...»

— Вот, прошу убедиться.

Жена ахнула и всплеснула руками.

— Она?

— Она самая.

— Не может быть...

— Факт.

Жена даже слегка побледнела от счастья и неожиданности.

— И пластинки?

— И пластинки. Двадцать штук. Факт.

С этими словами товарищ Рязанцев осторожно развернул газету, и глазам восхищенной жены предстала совершенно новенькая, ослепительная, долгожданная виктрола производства завода «Граммофон» № 12536.

— Двести семьдесят рубликов. Как одна копейка. Три месяца собирал.

После обеда пришли друзья и соседи.

Товарищ Рязанцев произнес краткое вступительное слово:

— Значит, такое дело. Приобрел, братцы, виктролу. Вот это — виктрола. Прошу руками не лапать. Интересное изобретение. Играет. И, само собой, пластинки. Как говорится, культурно-бытовое обслуживание трудящихся и прочее. Предлагаю приступить к наслаждению музыкой. Никто не возражает?

— Чего же возражать!

— Валяй! Валяй!

— Что завести?

— Заведи какой-нибудь романс,— нежно попросила жена.

— Можно и романс, ничего не имею. Вот, например, интересный романс «Мы вышли в сад...».

— Валяй «Мы вышли в сад...»,— сказали завистливо гости.

Товарищ Рязанцев поставил пластинку и бережно передвинул рычажок. Пластинка завертелась, чарующие звуки рояля наполнили комнату.

Друзья и соседи затаили дыхание.

И вдруг из этих мелодичных и звонких звуков возник прелестный, мягкий, бархатный баритон, который неторопливо начал глубоко волнующее повествование:

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

Тут в середине виктролы что-то зашипело и выстрелило. Пластинка остановилась.

— Ах ты черт, на самом интересном месте! — воскликнули гости.

— Ничего,— сказал товарищ Рязанцев,— сейчас я все это устрою.

Он быстро разобрал виктролу и сунул в нее нос.

— Пружина лопнула,— огорченно вздохнул он.

— Перекрутил,— с досадой сказала жена.— Медведь!

— Ничего,— сконфуженно забормотал Рязанцев,— мы ее сейчас... это самое... склепаем... Приходите завтра. Завтра дослушаете.

— Ну,— сказал на другой день Рязанцев,— склепал. Теперь уже не лопнет.

— Осторожно заводи! — простонала жена.

— Не беспокойся. Не сломаю. Ну-с, дорогие товарищи, прошу соблюдать тишину и поменьше курить. Пускаю.

Снова чарующие звуки вступления наполнили комнату и снова мягкий, бархатный баритон начал волнующую повесть:

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

— Крррак,— выстрелило в середине виктролы, и пластинка остановилась.

— А, будь ты трижды неладна!

Расстроенный Рязанцев, стараясь не смотреть на жену, быстро разобрал машину и огорченно покрутил головой:

— Пружина лопнула.

— Называется, склепал! — насмешливо заметил один из гостей.

— Да нет, где я склепал, там держится. Будьте уверены. В новом месте лопнула. Придется снова клепать. Приходите завтра.

— Интересно все-таки узнать, что «уже»?

— Чего «уже»?

— Вечерняя, я говорю, прохлада уже... Интересно все-таки узнать, что там дальше произошло с вечерней прохладой. Ну, «Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...». А что «уже» — неизвестно. Даже как-то обидно.

— Завтра приходи. Завтра я ее склепаю, тогда уже обязательно выясним, что «уже». Спокойной ночи.

На другой день бархатный баритон вкрадчиво начал:

Мы вышли в сад...

Гости затаили дыхание.

...Вечерняя прохлада... Уже...

Кр-р-р-ак!

— А, чтоб ты сдохла! Опять лопнула. На новом месте.

— Товарищи! Это неблагородно. Позвал людей в гости, а что «уже» — никто не знает. Мы желаем узнать, что «уже».

— Не смотрели б на тебя мои глаза! — с отвращением сказала жена. — Вышла замуж черт знает за кого! Чем всякие виктролы покупать, перед людьми позориться, лучше бы купить на эти деньги масла, что ли. А то: «Мы вышли в сад, вечерняя прохлада... Уже...» А что «уже» — неизвестно. Хоть в глаза людям не смотри.

И она заплакала.

Через три дня бархатный баритон опять вкрадчиво начал:

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

Кр-р-р-р-р-ак!

— Так-к-к-к я и знал! — простонал Рязанцев, хватаясь за голову.

Гости злорадно захихикали.

— Изверг! — закричала жена истерическим голосом. — Сил моих больше нету. Ухожу от тебя, окаянного, к папе и маме! Не могу жить с постылым!

И она стала нервно укладываться.

Товарищ Рязанцев поник головой.

Поздней ночью он писал треугольнику производственного кооператива «Граммoфон» горькое послание.

Писал он, между прочим, следующее:

«...А также посылаю 15 рублей задатка и прошу вас убедительно, дорогие товарищи, пошлите мне хорошую пружину, чтобы я хоть проиграл все 20 пластинок, чтобы жена мне шею не пилила, чтобы товарищи не смеялись и чтобы оправдать 270 рублей. Сделайте милость, пошлите то, что я прошу. Кроме вас, где я могу ее достать? Ведь жалко же напрасно деньги гробить...»

И крупные слезы капали из его покрасневших глаз на лист серой бумаги.

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

Кр-р-ак!

Эй, вы, дорогой товарищ треугольник производственного кооператива «Граммoфон»! Черт вас побери!

Не мучьте человека!

Что «прохлада»? Что «уже»?

Этот вопрос с «прохладой» наконец должен быть выяснен в ту или другую сторону. Надо же наконец дать четкий, исчерпывающий ответ:

— Что «уже»?

1929

«НА ГОЛОМ МЕСТЕ...»

«Полтора года назад тут еще было абсолютно голое место...»

Именно такими словами начинаются почти все очерки о Магнитогорске. Когда я уезжал из Магнитогорска, мои магнитогорские друзья сухо предупредили меня на вокзале:

— Имей в виду. Напишешь: «Полтора года назад тут еще было абсолютно голое место» — и твоя карьера как писателя и человека безвозвратно погибла.

— Ладно. Не погибну,— сказал я друзьям, и поезд тронулся.

Кстати, о магнитогорском вокзале.

Полтора года назад на месте магнитогорского вокзала было еще абсолютно голое ме...

Извиняюсь!..

Голого места не было. И полтора года назад не было. Вообще ничего не было.

Магнитогорский вокзал при всем моем глубоком уважении к советскому транспорту не может быть отнесен к чудесам строительной техники.

Нельзя сказать, чтобы он мог успешно конкурировать по красоте и величестию с лучшими мировыми вокзалами. Больше того. Даже скромный кунцевский вокзал в сравнении с магнитогорским может показаться шедевром вокзальной архитектуры.

Магнитогорский вокзал представляет собой три вышедших из употребления железнодорожных вагона, уютно разукрашенных соответствующими надписями.

Но не в этом ли его прелесть?

Он как бы является скромным символом общего строительного движения. Вокзал, дескать, и тот на колесах.

Между прочим, про магнитогорский вокзал комсомольцы сложили такую частушку:

В наших транспортных вопросах
Есть один большой вопрос.
Наш вокзальчик — на колесах,
Только транспорт... без колес.

Полтора года назад...

Виноват!

Не полтора года назад, а двенадцать часов назад! Таковы магнитогорские темпы.

Картинка.

Раннее утро Первого мая. Просыпаюсь в номере гостиницы (полтора года назад на месте гостиницы было абсолютно го... Ох, извиняюсь!..). Мой товарищ по номеру, магнитогорский старожил, стоит перед широким итальянским окном и пожимает плечами. Чем удивлен мой товарищ? В окно виден широкий строительный пейзаж. Экскаваторы. Тепляки. Фундаменты. Подъемные краны.

— Н-ни ч-черта не понимаю... Гм... Хоть зарежь...

— Да в чем дело?

— Как это в чем дело? Видите?
— Пейзаж вижу.
— Пейзаж.... Гм... А посреди пейзажа?
— А посреди пейзажа — большая труба.
— Большая труба?
— Ну да. Большая труба. А что?
— А ничего. Поздравляю вас! Мы оба сошли с ума и галлюцинируем. Здесь не может быть трубы. Вчера здесь ее не было.

— И тем не менее труба. Большая железная труба. Вышипой в два порядочных дома.

— Позвольте... Ведь сегодня Первое мая. Понимаю, понимаю! Это — первомайские штучки. Макет трубы. Не иначе. Уф! Гора с плеч!

Но каково же наше удивление, когда оказывается, что труба не первомайский макет, а действительная, всамделишная, настоящая труба.

Ее поставили в ударном штурмовом порядке в течение *одной ночи*.

— Испортили пейзаж, черти, — печально бормочет мой товарищ. — Вчера я его снимал, а сегодня снимок устарел. Никак за темпами не утонишься!

Однако эпизод с трубой — мелочь.

История с озером куда грандиознее.

В двух словах. Была крошечная речка. Курица вброд проходила. А для доменных печей необходимо воды примерно вдвое больше, чем для всей Москвы. Где же взять? В ударном порядке в 73 дня перегородили речку километровой плотиной и сделали «озеро площадью в 15 квадратных километров».

Пришли кулаки из соседней станицы, посмотрели — где речка? Нет речки!

— Караул! Большевики последнюю речку у людей украли! Ограбили!

— А озеро вас не устраивает? — спросили комсомольцы и дружно запели:

Нету речки — и отлично!
Вот где наши козыри,
Не в ручье единоличном,
А в коллективном озере.

Теперь насчет магнитогорской кооперации.

Еще полтора года назад на месте магнитогорской кооперации было абсолютно голое мес...

Ах, черт! Виноват. Ну, действительно было голое место. Собственно, и сейчас гол...

Опять!.. Я извиняюсь. Место не было голое. И сейчас не голое... Наоборот, магнитогорская кооперация работает мощными толчками, так сказать, периодами.

Был, например, недавно так называемый апельсиновый период. Магнитогорск задыхался от обилия апельсинов. Магнитогорск был превращен в Сорренто. А кооперация все крыла и крыла апельсинами, пока местное население не взмолилось:

— Довольно!

И апельсиновый шквал утих так же внезапно, как и начался.

Но зато начались так называемые икорные заносы. Паюсную икру ели все. Даже местные тихие, маленькие, похожие на мышей лошадки с отвращением отворачивались от соблазнительного деликатеса.

Население снова взмолилось:

— Довольно икры!

И икра схлынула. Но зато начался буран кофе-мокко. И так далее.

Сейчас в Магнитогорске 85 000 человек.

А полтора года назад здесь было голое место.

Да, да! Опять! Именно голое место.

Было голое место, а теперь — город.

Пусть я погибну как писатель и человек, но факт.

На голом месте большевики строят мировой гигант.

И построят. Будьте уверены!

1931

ПАРИЖ — ВЕНА — БЕРЛИН

(Из заграничных впечатлений 1931 года)

I

Съездил на несколько дней в Вену. Впечатление — ужасающее.

Трудно себе представить, что сделали Версальский мир и кризис с этим классическим городом шика и веселья.

Город — тень. Город — труп. Город — абстракция.

Обескровленный, раздавленный, измученный Берлин по сравнению с Веной — Вавилон.

Германия умирает. Австрия умерла давно. Умерла, высохла, выветрилась.

Жизнь в Вене продолжается как бы по инерции. Полагается ходить трамваям. Ходят. Полагается ездить автомобилям. Ездят. Полагается, чтобы были магазины. Есть магазины. Больше того. Всякому уважающему себя европейскому городу полагается иметь правила уличного движения. И Вене тоже. Имеет правила уличного движения. Даже весьма оригинальные правила, вроде как в Лондоне: движение по левой стороне.

Но кому все это нужно — совершенно непонятно.

Трамваи ходят хоть и по левой стороне, но почти пустые. Автомобилей — кот наплакал. Старомодные, громахающие довоенные машины, похожие на тюремные кареты. Само собой — пустые. Магазины тоже пустые.

На некоторых улицах за вами бегут толпы приказчиков и буквально за полы тащат в свои магазины. Раздирают на части. Грызутся из-за вас, как стая голодных собак из-за кости.

Днем народу не много. После десяти вечера — абсолютная пустота. Мистическая пустота. Даже страшно делается.

Одеты люди в Вене ужасно. Не верится, что это почти в центре Европы.

Ботинки нечищенные, латанные-перелатанные.

Пальто в большинстве случаев — травянисто-зеленые, военного сукна и альпийского покроя. Как видно, еще с войны остались на складах, теперь пустили в массы по дешевке. Надо же людям что-нибудь носить.

Шляпы! Элегантные фетровые венские шляпы — вылинявшие, выгоревшие, с рыжими лентами, повисшими краями.

Видно, что люди донашивают последнее, а что дальше — неизвестно. Мрак.

И главное — никакого выхода.

Я спросил одного венца, бывшего лейтенанта, филолога, культурнейшего человека:

— На что же вы надеетесь?

Он низко опустил круглую, коротко остриженную, преждевременно поседевшую голову. Его спина стала еще

горбате. Воротник дешевенького серенького люстринового пиджачка полез ему на затылок.

Он посмотрел на меня прозрачными, как бы пустыми голубоватыми глазами с красными жилками.

— На что мы надеемся?..

Подумал. Обреченно улыбнулся.

— Знаете, наше положение можно охарактеризовать одной фразой: надежда на чудо. Да. Надежда на чудо. Нас может спасти только чудо.

С точки зрения буржуа, пожалуй, он и прав.

Надежда на чудо.

Лучше не придумашь. А действительно — па что еще могут падеяться буржуа в том тупике, в той мышеловке, куда загнал Европу смертельно раненный, взбесившийся капитализм?

Гулял по окраинам Вены.

Большинство фабрик и заводов закрыто. Стекла выбиты. Трубы не дымятся. На пустырях буйно растет бурьян. Оборванные мальчишки играют тряпичным мячом в футбол.

А погода, как нарочно, ангельская. Яснейшая, фарфоровейшая голубизна. Холодное, блестящее солнце. Бурьян в мельхиоровой испарине заморозка.

Рабочая пивнушка.

Заходим перекусить. Выбирать долго не приходится. Меню скромное: пара сосисок и крошечный хлебец.

Пусто.

В углу несколько безработных играют в карты. Хозяин в чистом нищенском переднике стоит за почти пустым прилавком.

И во всю стену лубочное панно-фреска следующего содержания: громадный обильный стол; на столе — горы закусок; закуски дымятся; за столом сидят две группы: справа — бравые австрияки в тирольских зеленых фетровых шляпах — с фазаными перьями (признак фашиста); слева — бравые австрияки в кожаных фартуках с мускулистыми руками, по всем признакам идеальные рабочие, социал-демократы.

И вокруг этой идиллической группы вьется лента, испещренная готическими буквами стихотворного лозунга:

Пей вволю,
Будешь толстый,
Только не говори
О политике.

Мне так понравился этот перл социал-демократического агитпропа, что я его с удовольствием вписал в свою записную книжку.

Какое блестящее сочинение: на фоне мертвого, ограбленного, растоптанного рабочего предместья милые, игривые стишки: «Только не говори о политике».

Если австрийской буржуазии остается лишь надеяться на чудо, то я думаю, что австрийский рабочий класс изберет себе более практическую тактику.

Он перестанет надеяться на чудо и, вопреки сладеньким соглашательским лозунгам, заговорит о политике.

И, надо полагать, этот разговор будет довольно-таки крупным: с классу на класс.

Видел коммунальные рабочие дома. Так сказать, местное жилстроительство.

Дома хорошие. Красивые. В новом стиле. Их довольно много. В окошках вазончики, кактусики. Разбиты садики. Цветники. Мраморные доски с датами постройки.

Венская социал-демократия очень гордится этими рабочими домами. Охотно их показывает туристам:

— Видите, как мы заботимся о своих рабочих!

К сожалению, только умалчивают, что в этих «рабочих» домах уютненько устроились исключительно социалистические лидеры, профбюрократы, чиновники, а подлинными рабочими даже и не пахнет.

Подлинные рабочие живут по-прежнему в грязных, сырых нищенских углах, отданные на съедение домовладельцам.

А тем временем роскошное жилстроительство пышно продолжается. На рабочие денежки возникают новые «рабочие», вполне комфортабельные дома.

Надо полагать, когда последний венский профбюрократ будет вселен в последний дом вместе со своей женой, детишками, патефоном, канарейкой и полным собранием сочинений Каутского — вышеупомянутое жилищное кооперативное строительство будет благополучно закончено. И настанет «социальный рай».

Был интересный разговор с одним крупным венским издателем.

Разумеется, жаловался на кризис. Надеялся на чудо. Все как полагается. Принесли жидкий чай с сухариками.

Расспрашивал об издательском деле в СССР. Проявил солидное знакомство с нашими издательствами. Прекрасно знает, что такое Госиздат и какое отношение имеет к нему ГИХЛ и так далее.

Выражал завистливое восхищение по поводу того, что в СССР книга является предметом самого широкого потребления и даже в некотором роде дефицитным товаром.

Расспрашивал насчет тиражей. Я назвал ему несколько весьма скромных цифр. Эти скромные, с нашей точки зрения, цифры произвели на него оглушительное впечатление.

— Послушайте,— сказал он.— Вы знаете, мы ничего не имели бы против того, чтобы войти в ваше Государственное издательство на правах автономной единицы.

— Но разница политических убеждений...— корректно намекнул я.

Издатель печально улыбнулся.

— Да, конечно... Политические убеждения... Но зато какие тиражи!..

Разумеется, разговор был шутлив. Но нет такой шутки, в которой не было бы капельки истины.

Специально пошел в прославленную венскую оперетту посмотреть модную и сильно нашумевшую вещичку «В «Белой лошадке».

Насилу высидел.

Нет, право, это не для нас. Слишком тяжеловесно, пресно, безыдейно, глупо. Мы отвыкли от этого.

Впрочем, понравилась одна шутка:

— Скажите, сколько времени, по-вашему, идет человеческая просьба с земли до бога и обратно?.. А я знаю. Семнадцать лет.

— Почему?

— Потому что в четырнадцатом году все немцы просили бога: «Боже, покарай Англию!» И ровно через семнадцать лет он ее покарал.

Это было как раз в момент падения английского фунта.

Зал разразился печальным хохотом. В доме повешенного — о веревке.

Пять лет назад ехал из Берлина в Милан на Мюнхен. Пересекали самую индустриальную часть Германии. Зрелище потрясло.

Громаднейшие корпуса. Бесчисленные клетки освещенных окон. Багровые дымы. Пирамиды угля. Из рельсопрокатных хлестало ракетами.

Ехали в этом пейзаже часами.

Сейчас совершил пробег Берлин — Париж. Через Бельгию. Шутка сказать — Бельгия! Классическая страна тяжелой промышленности. С детства слышал о Бельгии. В слове «Бельгия» лязгала сталь.

Прилип к окну. Боюсь чего-нибудь пропустить.

И вот она, Бельгия...

Никакого впечатления. Ну, корпуса. Ну, домны. Ну, уголь. Нормальный, не слишком ошеломительный горнозавод, синий пейзаж.

Странно!

В чем дело? Мир изменился? Нет. Изменились мы. Изменился СССР.

За эти пять лет на моих глазах возникли Днепрострой, Сталинградский тракторный, Ростовский сельмаш, Магнитогорск... Привык к их масштабам. Считал их совершенно естественными — других и не видел.

Чем же может меня теперь поразить Бельгия?

Смотрю на бельгийский индустриальный пейзаж с таким же чувством, как игрок в шахматы, привыкший к большой доске и большим фигурам, смотрит на расставленную партию маленьких дорожных шахмат.

Маленькие клеточки. Маленькие слоники. Крошечные пешки. Тесно, незнакомо, мелко...

Это вам не Магнитогорск...

Живу в Париже. Присматриваюсь.

Говорили, что здесь кризис не чувствуется. Неверно! Ложь!

Париж держится тверже Берлина. Это так. Но признаки кризиса налицо. То там, то здесь появляются его зловещие пятна.

Кризис всюду начинается одинаково. С двух противоположных концов. Во-первых, катастрофически растет безработица. Во-вторых, сокращается потребление предметов роскоши.

Оба эти первичных признака неопровержимы.

Безработица. Она растет с каждым днем. Еще год тому назад считалось, что во Франции нет совершенно безработных. Во всяком случае, эта версия поддерживалась правительством. Это был один из наиболее эффектных козырей.

Теперь ни для кого не тайна, что безработных во Франции, во всяком случае, уже больше миллиона. Цифра для Франции небывалая. И эта цифра неуклонно растет.

В связи с безработицей — нищенство, грабежи, убийства, самоубийства, бытовые трагедии.

О них ежедневно кричит парижская пресса, падкая до всяких криминальных сенсаций. Однако бульварные листки уже начинают понимать, что это один из многих признаков безработицы, а следовательно, и надвигающегося кризиса.

С другой стороны, сокращение потребления предметов роскоши.

Я встречался со многими очень известными французскими художниками. Во Франции художники, конечно, работают на определенного классового потребителя. Главным образом — крупного буржуа, капиталиста, фабриканта, банкира.

Художники воют. Картины перестали покупать. Зарботки упали.

Я видел на бульваре Монпарнас в субботу вечером и в воскресенье утром специальные уличные выставки картин.

Прямо под открытым небом расставлены холщовые стелы. На них развешаны картины. Авторы картин тут же бегают, потирая озябшие руки, и ждут покупателя.

Картины идут буквально за бесценок. На наши деньги очень приличное полотно можно купить за 5—10 рублей с рамой.

Осенний салон пустует. В прошлом году в нем было выставлено 10 000 картин. В этом году — 4000. И все-таки пустота.

Многие пассажи на Ман-Зелидье прогорели. Небывалый факт. Это, конечно, очень показательно.

Французская радикальная интеллигенция, как всегда, во всем винит существующее правительство. Я слышал, как один левый журналист, презрительно поджав губы и резко жестикулируя, кричал в кафе:

— Лаваль! Ха! Этот дурак надел белый галстук и думает, что этим он может смягчить мировой кризис...

Это чисто парижский стиль. Быть в оппозиции к данному правительству. Дальше этого французский радикализм не простирался.

Как будто бы тут дело в Лавале или в Бриане!

Не все ли равно, кто из буржуазных лидеров у власти.

А насчет более «радикального» анализа мирового кризиса — это у них слабо.

К Союзу интерес огромный.

Меня принимало у себя Общество друзей новой России. Народу собралось множество. Известные писатели, инженеры, актеры — словом, леворадикальная интеллигенция. Задавали вопросы. В большинстве случаев дружественные, но были и «ехидные». Я привык к этим вопросам... Всюду одно и то же. Вопросы приблизительно такие:

— Это правда, что в Советском Союзе вознаграждение за труд не для всех одинаково?

— Правда.

— Как же это так, если у вас социализм?

Приходится разъяснять принцип борьбы с уравниловкой, обезличкой и т. д. Азбучные истины. Разъяснения принимают с удовлетворением.

— Вам не кажется, мосье Катаев, что при социализме будет задавлена индивидуальность человека?

Едва успеваю открыть рот, как в разговор вмешивается один из писателей. Он с жаром обрушивается на спрашивающего:

— Наоборот! Я думаю, что социализм даст небывалый расцвет каждой индивидуальности! Не правда ли, мосье Катаев?

— Да, — говорю я, — при том условии, конечно, если развитие индивидуальности не будет направлено к порабощению индивидуальности других членов общества. Индивидуальность будет развиваться, так сказать, вверх, а не вширь, не затирая и не уничтожая другие, быть может более слабые, индивидуальности. Во всяком случае, это не будет анархический, грабительский рост одних за счет других. Будет коллективный рост индивидуумов.

— А скажите, может ли рабочий в СССР иметь автомобиль?

— А почему бы нет?

— Каким образом?

— Очень просто. Надо приобрести автомобильное обя-

зательство и ждать очереди. Таким образом, возможность получить собственный автомобиль будет для любого рабочего связана с вопросом общего автомобильного строительства в Союзе.

Общее одобрение. Положительно, кое-кто из французской интеллигенции начинает разбираться в элементарных вопросах политграмоты.

— Простите, мосье Катаев...

Это дама с лорнетом. Она фиксирует меня несколько ироническими взглядами.

— Простите, мосье Катаев, скажите мне следующее: может ли в России любой писатель напечатать все, что он хочет, или у вас такой свободы нет?

Общество с любопытством смотрит на меня.

— Да! — говорю я твердо. — У нас в Союзе каждый писатель может напечатать любую книгу. Но только при одном условии...

— При каком?

— Если он найдет... издателя...

Дамочка злорадно хихикает.

— Как и в демократической Франции, мадам, — галантно добавляю я.

Дамочка замолкает.

Радикальные французы смеются.

Можно приложиться плечом к высокому парашету у Тюильри, как к каменному ложу винтовки, и прицелиться в Булонский лес.

Ствол винтовки — длиннейшая линейка Елисейских полей. На одном ее конце прицельная рама Триумфальной арки на площади Звезды, на другом — мушка обелиска на площади Согласия.

Дистанция прицела — несколько идеальнейших километров.

В Париже застал знаменитую колониальную выставку. По случаю упомянутой выставки Париж иллюминирован.

Триумфальная арка и обелиск очень ярко и бело обвешаны прожекторами. На черном фоне парижской ночи эти оба архитектурные объекта горят и светятся, точно сделанные из льда. Освещена прожекторами также и белая классическая колоннада известной церкви Мадлен.

В общем, здания, освещенные прожекторами, придают площади Согласия вид рентгеновского снимка ладони.

Безобразно вспыхивают и гаснут желтые кудрявые письма Ситроена на невидимой в темноте колонне Эйфелевой башни.

III

Поехал на колониальную выставку. Был дождливый, пасмурный день. Выставка доживала последние недели.

Каково первое впечатление?

Покушение на монументальность. Много папье-маше. Изрядная доза безвкусицы. Собственно, это даже чересчур мягко. Классическая безвкусица. Пальмы, колонны, фонтаны модерн, лавочки с галантерейной завалью, пыльный гравий дорожек, вафли, лимонад, вермут.

Традиционная мура любой подобной выставки. Отовсюду несутся барабанные звуки колониальных оркестров — негритянских, индусских, марокканских...

Шум адский. Болит голова. А барабаны гремят и гремят.

Одним словом, как некогда сказал тонкий знаток экзотики Бальмонт:

И... жрецы ударили в тамтам.

Действительно, жрецы ударили в тамтам. И ударили крайне неудачно.

Какова цель выставки? Цель выставки была грубо агитационная: показать, как, дескать, хорошо живет диким и некультурным колониальным народам под мудрым и гуманным владычеством просвещенных империалистов.

И показали. Только получилось как раз наоборот.

Среди навороченной безо всякой меры экзотики, среди слонов, индусских храмов, кокосовых орехов, восточных ковров, медной африканской посуды, рахат-лукума и почесских кальянов — грубо, недвусмысленно и цинично выглядывает клыкастая рожа империалиста-колонизатора.

С первых же шагов на главной аллее — два павильона. Один — католический, другой — протестантский.

Католические и протестантские попы выстроили рядом свои конкурирующие миссионерские лавочки. И заывают доверчивых людей:

«Пожалте! Только у нас! Посмотрите, как мы трогательно заботимся о вовлечении в лоно Христово заблудших чернокожих овец наших колоний. Как им хорошо,

этим бедным чернокожим овцам, на вышеупомянутом лоне».

Стоит только бегло осмотреть павильон, чтобы стали совершенно ясны истинный характер и истинное содержание миссионерской деятельности в колониях.

Чего стоили только агитационные восковые раскрашенные группы — картины «вовлечения в лono»!

Вот, например, такая группа. Молодой, румяный, красивый миссионер стоит перед упавшим на колени «дикарем». У «дикаря» испуганное, покорное лицо. «Дикарь» пресмыкается у новеньких парижских сандалий святого отца. А святой отец одной рукой занес над курчавой головой туземца здоровенный, увесистый крест, а другой сует ему в нос какую-то бумагу и перо, — дескать, подпишись, сукин сын! Вступай в лono. А не хочешь — так имей в виду, получишь крестом по затылку.

Буквально так.

Даже благонамеренным посетителям становится неловко, и они поспешно отворачиваются.

У стен — витрины с различными лубочными Библиями, картинками, крестиками, четками, святыми чашами и прочими безвкусными бездарными предметами культа.

И рядом — витрины с кустарными изделиями «дикарей».

Нарочно рядом. Чтобы, дескать, подчеркнуть, как у нас, у христиан-колонизаторов, культурно и мило, какое у нас настоящее искусство и какая чепуха у «диких наших братьев».

А получается совсем обратный эффект. Все кустарные вещи «дикарей» — необычайно изящны, остры по форме, самобытны и интересны. Деревянная скульптура, рисунки, вышивки, костюмы — подлинное, большое национальное искусство, рядом с которым весь поповский католический и протестантский лубочный хлам выглядит по меньшей мере курьезно и глупо.

Если кто и дикари, то, во всяком случае, не те, кого «вовлекают в лono». Совершенно ясно.

Все остальное в том же духе.

Особенно понравился цинизмом португальский павильон.

В середине — карты колоний, диаграммы, цифры, образцы сырья, колониальные продукты, а снаружи — невероятно, но факт, — а снаружи, под большим навесом, огромная пушка. Каков цинизм?!

Дальше некуда. Приехали.

Прямо ставь португальский павильон на колеса и вози по свету, показывай рабочим лицо империализма без маски.

К этому надо добавить, что мудрые устроители «для фольклора» пустили на территорию выставки громадное количество всяческих колониальных солдат. Так что вся выставка имеет вид военного лагеря.

И жрецы ударили в тамтам.

Действительно, ударили. Н-да-с! Вот тебе и «вовлечение в лоно»!

Еще одно сильное впечатление.

Я собирался уезжать, и мне захотелось купить что-нибудь на память. Почему-то я остановился на носовых платках. Дюжина элегантных носовых платков — это будет скромно и мило. Я обратился к своему старому приятелю, известному парижскому художнику, выходцу из России, с просьбой быть моим гидом.

— Саша,— сказал я,— вы человек с безупречным вкусом, знаете хорошо Париж, поведите меня в лучший магазин и помогите мне выбрать дюжину выдающихся носовых платков.

— Хорошо. Сколько франков можете вы ассигновать на эту покупку?

— Тысячу франков,— сказал я запальчиво.— Но имейте в виду, что за свои денежки я хочу получить действительно что-нибудь выдающееся.

— Хорошо,— сказал он серьезно,— я поведу вас в очень приличный магазин, и мы выберем.

— Я не хочу в «очень приличный», я хочу в самый лучший.

— В «самый лучший» мы не пойдем,— холодно сказал он.

— Почему?

— Потому.

— Но все-таки?

— Потому, что с вас вполне хватит и «очень приличного».

— А я настаиваю на самом лучшем.

— Тогда вы пойдете без меня.

— Почему?

— Потому.

— Саша, вы меня огорчаете. Я хочу привезти в Москву самые лучшие носовые платки Франции.

— Вы слишком тщеславны.

— Да. Я тщеславен. Но я так хочу.

Он понял, что спорить со мной трудно. Он добродушно улыбнулся и сказал:

— Хорошо. В таком случае компромисс: сначала мы пойдем в «очень приличный» магазин, а уж потом, если вам почему-либо там не понравится, я вас поведу в «самый лучший». Хорошо?

Он был не менее упрям, чем я, и я принял компромисс.

«Очень приличный» магазин представлял собой громадный, многоэтажный дом на шикарном бульваре Капуцинов и выходил на три улицы. Мне сразу же бросилась в глаза громадная пустая витрина, посередине которой как бы висел в воздухе, сиял один-единственный носовой платочек, необыкновенно красивый, именно такой, какой я представлял себе, думая о лучших носовых платках Франции. На нем висела цена — восемь франков. Недорого!

Мы поднялись в лифте в отдел носовых платков. Это была громадная комната, вернее сказать — кабинет, с письменными столами, кожаными креслами, пепельницами модерна на высоких никелированных ножках и т. п. Здесь было все, кроме полок с товарами. Мы уселись в комфортабельные кресла. К нам подошла молодая особа именно того типа, который я себе представлял, думая о красивейшей девушке Франции.

— Что желают мосье?

— Мосье желает носовых платков, — сказал художник, показывая на меня.

— Каких носовых платков желает мосье? — обратилась лучшая девушка Франции ко мне.

Я объяснил, что мосье желает что-нибудь вроде того, что он видел внизу, на витрине, за восемь франков.

Девушка сделала легкое движение рукой — движение волшебницы, — и на зеленое сукно широкого письменного стола упало три очаровательных носовых платка, среди которых я сразу узнал платочек с витрины. Знакомый платочек был по-прежнему прекрасен, но два других платочка понравились мне больше. Они, правда, и стоили дороже: один — двадцать франков, а другой — двадцать пять. Причем платочек за двадцать пять франков понравился мне почему-то гораздо больше, чем за двадцать.

«Хорошо, — подумал я, — черт с ним. Кутить так кутить! Куплю себе дюжину платков по двадцать пять».

— Заверните мне дюжину этих,— сказал я молодой фее.— Но надеюсь, что они самые лучшие в вашем магазине?

— О нет, мосье. У нас есть еще по сорок пять, по пятьдесят и по шестьдесят.

Это меня несколько огорчило. Но так как я хотел иметь лучшие платки Франции, то я сказал:

— В таком случае этих не надо. Покажите мне те.

Она взмахнула рукой — и на стол, как бабочки, сели три новых платка один другого прекраснее, причем самым прекрасным оказался почему-то платок именно за шестьдесят ффранков.

«Ладно,— подумал я,— возьму полдюжины шестидесятифранковых, но, по крайней мере, буду иметь самые выдающиеся платочки Парижа».

— Заверните полдюжины этих, и надеюсь, мадемуазель, что эти самые лучшие и самые дорогие платки вашего магазина?

— О нет, мосье. У нас есть еще платки по сто, двести пятьдесят и по четыреста ффранков.

Она взмахнула рукой — и на столе выросли, как орхидеи, три платка такой красоты, что у меня потемнело в глазах.

Я беспомощно посмотрел на моего друга, но он сидел, вытянув ноги, и равнодушно рассматривал ногти.

— Хорошо! — сказал я хрипло. — Заверните мне два платочка по четыреста, и кончим это дело. Надеюсь, что, наконец, это самые лучшие платки вашего магазина?

— О нет, мосье. У нас еще имеются платки в тысячу ффранков.

— Выписывайте... Впрочем, подождите одну минуточку, мадемуазель. Но вы можете мне гарантировать, что это ваш самый лучший платочек?

— О нет, мосье. У нас есть еще платки в две тысячи ффранков.

— В две тысячи! Но что же это за платки?

— Ручная работа, мосье. Уникальный рисунок.

Что оставалось мне делать? Не мог же я попросить завернуть половину платка.

— Кто же покупает у вас платки по две тысячи ффранков за штуку?! — почти закричал я.

— Богатые американцы, мосье,— скромно опустив ресницы, сказала девушка.— Из нашего магазина богатые американские невесты выписывают себе комплекты свадебного белья.

— Комплекты? — простонал я.— Но сколько же может стоять такой комплект?

— О мосье, не слишком дорого: триста, четыреста, пятьсот тысяч ффранков.

— Полмиллиона ффранков?!

— Да, мосье,— вздохнула девушка.— Причем это даже не слишком большой пакет. Примерно такой вышины и такой ширины.— И она показала своими волшебными ручками феи приблизительный размер полумиллионного пакета: с метр длины и с полметра ширины.

— Хорошо,— сказал я сквозь зубы.— Тогда к черту! Дайте мне дюжину платков по восемь ффранков штука. И поскорей выйдем на свежий воздух!

Мы некоторое время молчали. Наконец мой друг искося посмотрел на меня и ангельским голосом спросил:

— Может быть, теперь пойдем в «самый лучший»?

— К дьяволу! — закричал я.— К дьяволу!

— Ну, то-то,— миролюбиво заметил художник.

В этот день мне многое стало ясно. А теперь уже ясно абсолютно все. Американцы начали с платочков, а кончают более солидными закупками...

Они не прочь бы купить целиком и всю Францию. Если им, конечно, позволят и не скажут в один прекрасный день то, что я сказал своему другу художнику:

— К дьяволу! К дьяволу!

1932

ДВА ГУСАРА

I

1825 год

Пушкин — Вяземскому

П. А. Вяземскому (14 и 15 августа. Из Михайловского в Ревель...)

Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто же виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го года на славяно-росском. И нет над тобою как бы некоего Шипкова, или Сергея Глинки, или иной няни Василисы, чтоб на тебя прикрикнуть: извольте-де браниться в рифмах, извольте жало-

ваться в стихах. Благодарю очень за «Водопад». Давай мутить его сейчас же.

...с гневом
Сердитый влаги властелин.

Вла вла — звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии *властительница небесного огня?* Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. Перемени как-нибудь, валяй его с каких-нибудь *стремнин, вершин* и тому подобное.

2-я строфа — прелесть! — Дождь брызжет от (такой-то) сшибки.

Твоих *междоусобных* волн.

Междоусобный значит *mutuel*, но не включает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл.

5-я и 6-я строфы прелестны.

Но ты, питомец тайной бури.

Не питомец, скорее, родитель — и то не хорошо — не соперник ли? *тайной*, о гремящем водопаде говоря, не годится — о буре физической также. *Игралище глухой войны* — не совсем точно. *Ты не зеркало* и проч. Не яснее ли и не живее ли: *Ты не приемлешь их лазури...* etc. (Впрочем, это придирка.) Точность требовала бы *не отражаешь*. Но твое повторение *ты* тут нужно.

Под грозным знаменем etc. *Хранишь* etc., но вся строфа сбивчива. Зародыш непогоды в водопаде: темно. Вечно бьющий *огонь*, тройная метафора. Не вычеркнуть ли всю строфу?

Ворвавшись — чудно хорошо. Как *среди пустыни* etc. Не должно тут двойным сравнением развлекать внимания — да и сравнение не точно. *Вихорь и пустыню* уничтожь-ка — посмотри, что выйдет из того:

Как ты, внезапно разгорится.

Вот видишь ли? Ты сказал о водопаде *огненном* метафорически, то есть *блистающий, как огонь*, а здесь уж перепосишь в жару страсти сей самый водопадный пламень (выражаюсь как нельзя хуже, но ты понимаешь меня).

Итак, не лучше ли:

Как ты, *пустынно* разразится,—

etc. а? или что другое — но *разгорится* слишком натя-

нуто. Напиши же мне: в чем ты со мною согласишься. Твои письма гораздо нужнее для моего ума, чем операция для моего аневризма. Они точно оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини, как похотливое кокетство итальянки. Пиши мне, во Пскове это для меня будет благоденствие. Я созвал *нежданных* гостей, прелесть — не лучше ли еще *незваных*. Нет, cela serait de l'esprit.

При сем деловая бумага, ради бога, употреби ее в дело...

Пушкин.

II

1934 год

Сашка — Петьке

Дорогой Петька! Пишу тебе, увы, из Михайловского, так как все более или менее приличные дома отдыха уже, гады, расхватили. В Узком — ни одной койки, в Малеевке — ни одной, в Абрамцеве — ни одной.

О Сочи и Гаграх я уже и не говорю. Сам понимаешь! Чуть было не попал в Поленово, — обещали отдельную комнатку! — буквально рвал зубами, рыл носом землю, колбасился, как тигр, и все-таки какой-то сукин сын из горкома увел комнату на глазах у всех прямо-таки из-под носа. Так что приходится торчать в Михайловском.

Вот гады! Не могу успокоиться!

Но, впрочем, тут не так уж плохо: имею совершенно отдельную комнату, шамовка довольно-таки приличная, можно по благу иметь за обедом два раза сладкое. Компания тоже ни хрена себе, подходящая. Ребята свои. Ты их знаешь. Васька-беллетрист из горкома, Володька-малоформист из месткома и Жорка-очеркист из группкома. Конечно, бильярд, волейбол, вечером немножко шнапса и все прочее. Одним словом, творческая атмосфера вполне подходящая.

Кстати, о творческой атмосфере. У меня к тебе небольшое литературное дельце. У нас тут распространился страшный слух, что отменяется сухой паек. Неужели правда? Ради бога, сообщи спешно, что и как, а то ребята сильно беспокоятся. Лично я не верю. Какое же это искусство без сухого пайка?! Абсурд!! Наверное, обывательская трепотня!

Кроме того, очень прошу тебя, если будешь в центре, не поленись зайти в издательство, к Оськину, в бухгалтерию, и позондируй там почву насчет монеты. Они, понимаешь ты, мне должны по договору, под роман, две с половиной косых. Полторы я уже отнял, осталась одна. Но дело в том, что рукопись у меня еще не готова (сам понимаешь!). А дублионы нужны до зарезу. Так вот ты этому самому Оськину там что-нибудь вкрути. Вполне полагаюсь на твою богатую фантазию: скажи, болен, или там в творческой командировке, или там что-нибудь в этом роде.

Как тебе понравился последний роман Адрюшкина? Главное, с кем?! С Катькой!! Вот уж номерок!

Последний анекдот знаешь? Идут отец и сын мимо памятника Пушкину. И сын спрашивает: «Папоцка, это Пуцкин?»

По-моему, гениально! Впрочем, до тебя уже, наверное, дошло.

Что ты скажешь насчет последнего письма в редакцию Женьки Манькина? Не правда ли, прелесть? Вот сволочь Женька, как здорово насобачился писать письма в редакцию!

Каков язык! Какова композиция! Каковы ритмические ходы! Какова лексика! Прямо Вольтер, не шутя. Аж зависть берет. Нет, надо и мне что-нибудь такое брякнуть! Только ума не приложу, что бы такое бабахнуть, не посоветуешь ли?

Ну, дружище, будь здоров.

Не забудь же про сухой паек и про Оськина!

Крепко жмаю руку! Пока! Бувай!

Твой Сашка.

1934

ЗАПИСКИ ТОЛСТЯКА

Ноябрь

Поздравляю вас, товарищи: сегодня выяснилось, что я просто-напросто толстяк. Водевильный персонаж. Посмешище мальчишек. Объект тонких замечаний на задней площадке трамвая и в вестибюле метро. Мне уже давно намекали. Я не обращал внимания. Но сегодня...

О, сегодня произошло ужасное! Инвалид на бульваре равнодушно покопался в каких-то гирих и равнодушно

протянул мне талончик с официальной цифрой моего веса. На кусочке серой бумаги очень разборчивыми каракулями было выведено: «84 кила 400 грамм».

— Виноват,— стараясь придать своему голосу как можно больше небрежности, сказал я.— Это сколько же выходит в переводе на пуды?

— В переводе на пуды?

Инвалид погрузился в вычисления. Результаты оказались ужасны.

— Вы имеете пять пудов одиннадцать фунтов.

Товарищи! Я имею пять пудов одиннадцать фунтов!

Вдумайтесь в это. Я, тот самый нежный я, пад колыбелькой которого мама пела грустную песню о сереньком козлике, имевшем постоянное место жительства у некой бабушки, очень любившей вышеназванного козлика... Я, тот самый милый и ласковый я, который каких-нибудь тридцать — тридцать пять лет назад весил, от силы, два пуда... Я, который...

Эх, да что там говорить!

Пять пудов одиннадцать фунтов! Это же борец среднего веса. Иван Заикин. Ван Риль. Градополов. Шатаясь от горя, я отправился домой.

Навстречу мне шла шумная ватага школьников. Они вежливо пропустили меня, и одна крошечная гражданка с красным галстуком на шейке долго смотрела мне вслед широко открытыми, круглыми, совершенно шоколадными глазами.

— Ух, какой толстый дядька! — услышал я за собой детский голосок, полный завистливого уважения.

Я закрыл лицо руками.

Вечером того же дня, склонившись на плечо своего единственного друга, я горько жаловался на свою судьбу.

— Ты только вдумайся в это,— говорил я.— Даже если считать, что худо-бедно одиннадцать фунтов уйдет на пальто, костюм и башмаки, то все-таки останется пять пудов чистого веса! Ах, Юра, прошло золотое детство, прошло то время, когда я, тот самый нежный я, лежал в колыбельке...

Мой друг терпеливо выслушал про колыбельку, про маму, про козлика и про бабушку. Затем он сказал:

— Дорогой мой! Должен огорчить тебя: не только прошло детство, но также прошло и отрочество. Больше того — прошла молодость и зрелость. Не будем закрывать глаза. Скажем прямо: ты просто немолодой, отвратитель-

но толстый мужчина, склонный к нудной сентиментальности.

— Но что же, что же мне делать?! — воскликнул я, ломая руки.

— Ходи побольше пешком. Поменьше кушай.

— «Ходи пешком! Поменьше кушай!» Легко сказать, когда Советская власть делает все, чтобы окончательно погубить меня! Она строит метро, она выпускает легкие автомобили, она наполняет города троллейбусами, автобусами и трамваями. Она открывает все новые и новые гастрономические магазины, рестораны, столовые, кафе. Хочешь не хочешь, а приходится ездить и жрать в то время, когда мне абсолютно необходимо ходить пешком и голодать.

— Займись спортом.

— Каким?

— Да каким хочешь. На коньках бегаешь?

— Не бегаю.

— Начни бегать.

— И похудею?

— Ого!

— Хорошо, я буду бегать на коньках. А что для этого надо сделать?

— Да ничего. Просто купи себе коньки, теплую фуфайку, перчатки, шарф, шерстяные носки, подожди, когда откроются катки, и валяй! Движение, свежий воздух, здоровое утомление... Не пройдет и двух месяцев, как ты сбросишь пуда полтора.

— Полтора пуда!! Ты меня воскрешаешь! Спасибо, Юрочка, бегу.

— Куда?

— Покупать.

Декабрь

Худеть так худеть!

Сегодня нанял на целый день такси. Ездил по магазинам. Уж если начинать бегать на коньках, то необходимо запастись всем необходимым. Чтоб не как-нибудь, тят-ляп, а чтоб все как у настоящих людей. Пускай пажоны катаются кое-как, а мне надо кататься как следует. Не ради удовольствия. А ради пользы. Это надо понимать. Я человек организованный.

Купил себе:

1) пару коньков обыкновенных английских, специально для пачинающих;

2) пару «гагенов», специально для более или менее умеющих кататься;

3) пару «норвежек», специально беговых;

4) пару чудесных специально фигурных, на которых при известной сноровке, говорят, можно писать на льду собственную фамилию и танцевать новые западные танцы;

5) дюжину шерстяных носков;

6) три фуфайки: одну серую, другую белую и третью такую очень миленькую, серовато-беловатую с красивым полуоткрытым-полузакрытым воротником;

7) два кашне, тоже очень красивые и теплые. (Научились у нас, черти, делать замечательные вещи, а еще все кричат: «Заграница! Заграница!»)

Устал ездить адски. Денька два хорошенько отдохну, а уж потом и начну чесать!

Январь

Сегодня в первый раз отправился на каток. Вдруг по дороге — бац! — вспомнил, что забыл купить перчатки. Экая дырявая голова! Хорош был бы я на катке без перчаток! И смех и грех. Велел шоферу поворачивать обратно. Завтра же поеду за перчатками.

Февраль

Перчаточки что надо. Три пары. Отдохну денька два — и как начну чесать!

Март

Ездил на каток «Динамо». Встретил по дороге Васю. Он мне сказал, что на «Динамо» катаются только пижоны. А если кто не пижон, а с серьезными намерениями, то надо в ЦДКА. Поехал в ЦДКА, а там, оказывается, нет буфета. То есть буфет есть, но главным образом морс и бутерброды, а чего-нибудь действительно существенного и не ищи. Хорошо, что велел шоферу дожидаться. Шофер посоветовал ехать в Парк культуры. Там, говорит, буфет хорош. Поехали. Буфет действительно ничего себе, но зато лед скользкий, ну его к черту! Еще морду разобьешь... Нет, пусть дураки катаются. Шофер советует заняться лыжами. Говорит, что можно похудеть пуда на два-три. А мне только этого и надо. Перехожу на лыжи. Решено.

Апрель

Действительно, лыжи куда легче. И гораздо дешевле. Можно в Сокольники и в Парк культуры. И туда и туда — на метро.

Целый день покупал лыжные принадлежности. Купил:

- 1) лыжи;
- 2) две специальные палки, на всякий случай;
- 3) две фуфайки, специальные;
- 4) три пары носков, спец.;
- 5) кашне, спец.;
- 6) две пары специальных перчаток;
- 7) дюжину специальных носков из очень толстой шерсти;
- 8) три спец. комбинезона: а) серый, б) белый, в) волосатый.

На днях начинаю ходить на лыжах.

Май

Снег растаял, черт его разбери! Так и не пришлось. Советуют заняться теннисом. Займусь.

Июнь

Ездил за ракетками, мячами, белыми брюками, туфлями и так далее. Устал ездить, как собака.

Июль

В теннис на «Динамо», говорят, играют только пижоны. А надо ездить на водную станцию заниматься гребным спортом. Говорят, шутя и играя можно сбросить пуда четыре — четыре с половиной. Хорошо бы! Покупаю лодку.

Август

Футбол! Только футбол!

Сентябрь

Только легкая атлетика!!

Октябрь

Исключительно прыжки с парашютом!!

Ноябрь

Я гибну. Ни одни брюки не сходятся. Надя вышла замуж за Юру. Просит прощения, но говорит, что это выше ее сил. Говорит, когда похудею, может быть, вернется.

Господи! Почему все худые, один я — толстый?
Говорят, надо в Кисловодск. А где я возьму денег?

Декабрь

Ездил в метро в редакцию «Вечерки» давать объявление:

«Продаются по случаю: лыжи, лодка, брюки, фуфайки, ракетки, мячи, планеры, парашюты, пьексы, носки, шарфы, перчатки, галстуки, трусы, бутсы, футбольные мячи, велосипеды, мотоциклеты и вообще все для спорта в любом количестве, спортивным организациям и аэроклубам скидка».

Январь

Вот я и в Кисловодске. Ездил в замок Тамары. Дивные шашлыки! Между прочим, взвешивался на лечебных весах.

Знаете, сколько?

Эх, не будем лучше об этом говорить!..

Жизнь кончена.

1935

ПАРАДОКС

Молодой, но уже отчасти известный драматург принес директору пьесу. Директор взял манускрипт в руку и строго спросил:

— Вы в каких отношениях с Ромуальдом Федоровичем?

— В хороших.

— Прекрасно. Сколько?

— Чего сколько?

— Женских ролей сколько?

— Восемь.

— Маловато. Нам, в сущности, нужно штук одиннадцать. Ну, да как-нибудь. Все-таки лучше, чем две. Действий?

— Что действий?

— Действий сколько?

— Пять.

— Сделаем три. Чтоб кончалось в половине одиннадцатого. Музыки много?

— Вы меня не совсем поняли. Это драма.

— Ничего, мы сделаем весело. И с музыкой. Ромуальд Федорович как раз был у нас позавчера и спрашивал, почему это мы не ставим веселых пьес. Так что это вы не беспокойтесь. Студенты есть?

— Где?

— Ох, милый, какой же вы тугодум! Я спрашиваю: студенты у вас в комедии есть?

— Есть. Один. Не совсем студент, но вроде. Как раз собирается держать экзамен в строительный техникум.

— Это не важно. Комсомолец?

— Комсомолец.

— Хорошо. А девушки?

— Что девушки?

— Девушки — комсомолки?

— Одна комсомолка, а другая беспартийная.

— Так. Одна положительная и одна отрицательная.

Ничего. Из метро никого нет?

— Нет.

— Жаль. И почему бы вам не сделать положительную девушку метростроевкой?

— К сожалению, нельзя. Она у меня уже вузовка.

— Простите за нескромный вопрос: какого вуза?

— Медичка. На доктора учится.

— Ага. Можно считать — почти член союза Всемедикосантруд?

— Пожалуй.

— Ну, это ничего себе, сносно. Военных нет?

— Есть один. Артиллерист.

— Академик?

— Нет. Строевой.

— А его нельзя сделать академиком?

— В сущности, конечно, можно, но...

— Тогда пусть лучше будет академиком. Ладно? Трамвайщиков нет?

— Нет.

— Строительных рабочих нет?

— Нет.

— Профессоров нет?

— Профессора есть.

— Сколько?

— Два.

— Положительный и отрицательный?

— Верно! Откуда вы догадались?

— Милый! Не зря деньги получаю. Симпатичная старушка, домашняя работница, найдется?.. Нету? Очень

жаль. А соседка с флюсом?.. Тоже нет? Вы меня огорчаете. Что же у вас есть?

— Есть бывшая монашка. Делает стеганые одеяла.

— Пьет потихоньку водку?

— Откуда вы знаете?!

— Дорогой мой!! Ну-с, значит, так сказать, все. Будьте здоровы!

— Когда прикажете зайти? Недельки через две?

— Что вы! Приходите месяца через четыре.

— Через четыре месяца!!

— Ну да. Что вас удивляет?

— Через четыре месяца за ответом?

— Ох, дорогой мой, какой вы трудный человек! Не за ответом, а на общественный просмотр.

— А за ответом?

— Какой может быть ответ? Ответ обыкновенный: ваша пьеса принята, будет поставлена и пройдет двести сорок пять раз с аншлагами. Поздравляю вас!

— Вы же еще не читали!

— И читать не желаю.

— Откуда ж вы знаете, что она пройдет с успехом?

— А я вам не говорил, что пройдет с успехом.

— Позвольте! Двести сорок пять раз с аншлагом...

— Вот именно. Тридцать пять вечерних абонементов, двадцать два утренних, пятьдесят проданных спектаклей для Пролетстуда, двадцать — для трамвайщиков, семнадцать — для бетонщиков, тридцать четыре — для Медико-сантруда, пять — для Военной академии.

— Виноват, я вас перебыю. А если бетонщики не захотят?

— Не захотят? Дитя!.. Плакать будут, а захотят. Ну, простите, мне надо еще в Центральную театральную каску съездить, подписать договор на продажу двухсот спектаклей «Волки и пчелки».

— Разве у вас идут «Волки и пчелки»?

— Через два года поставим.

— А вдруг выйдет плохо?

— Ребенок! Там, где есть плановое распределение билетов, не бывает плохих спектаклей. Заметьте себе. Ну, пока!

Через два года молодой, но уже довольно известный драматург снял бобровую шубу и лихо вошел в кабинет директора театра.

— Получите новую пьесу. Ромуальд Федорович в во-

сторге. Пятнадцать женских, десять мужских, двенадцать положительных, тринадцать отрицательных, пять метро-строевцев, шесть трамвайщиков, семь бетонщиков, три профессора, масса забавных старушек, студенты, члены состоятельных профсоюзов, музыка, три действия... За триста спектаклей ручаюсь.

— Приходите через две недели.

— Неужели успеете?

— А почему ж нет? Пьеска небольшая. Пятьдесят страниц. В день по три странички...

— Я думал, вы уже хотите через две недели поставить.

— Что вы, милый! Прочитать сперва надо.

— Зачем же читать, когда и так все ясно? Ромуальду Федоровичу нравится...

— Ну, так пусть Ромуальд Федорович и ставит, если ему нравится. А мне надо, чтобы публике понравилось. А то мы прогорим!

— Зачем же публике чтобы нравилось? При чем здесь публика? И так пойдет. Профессоров пригонят, бетонщиков пригонят, Пролетстуд пригонят...

— Увы!

— Что увy?

— Увы!

— Вы меня пугаете. Что случилось?

— Только через кассу.

— Что через кассу?

— Билеты, дорогой мой, билеты.

— А если публика на мою пьесу не захочет покупать билетов?

— Вот в этом-то и штука.

— Как же быть?

— Писать пьесу, чтоб понравилась публике.

— Легко сказать!

— Вот именно — легко сказать.

— Гм... Вы меня просто убили. Так, значит, я зайду за ответом через две недели. А если пьеса будет... не совсем... так сказать, недостаточно... гм...

— Тогда не возьмем. Плохую пьесу не возьмем.

Драматург шел по улице и, криво улыбаясь, шептал:

— Подавай им хорошую пьесу! Ишь ты! «Плохую, говорят, не возьмем». Буквально какой-то парадокс! Кто бы поверил! И главное — когда? На восемнадцатом году революции! Чудовищно!

(Небольшая комната в бывшей так называемой барской квартире. Масса всякого старорежимного барахла эпохи процветания российского капитализма: немножко «модерн», немножко «рококо», немножко «рюс» с оттенком нижегородской ярмарки и ресторана «Яр». На всем отпечаток былого великолепия. Мадам Фисакова, женщина того возраста, о котором уже не спрашивают даже из деликатности, примеряет платье своей новой заказчице, жене молодого советского поэта. Жена поэта ужасно стесняется. Она первый раз в жизни шьет себе платье у такой известной портнихи. Мадам Фисакова во время примерки занимает заказчицу великосветскими разговорами.)

— Стало быть, ваш супруг — поэт? Очень приятно. Будьте такие добренькие, немножко повернитесь. Так. Здесь мы сделаем, если вы не возражаете, небольшой вырез. Теперь разрешите, я пока рукавчики приколю булавочками. Под мышками не жмет?.. Мерси. Пожалуйста, немножко пройдитесь — посмотрим линию. Что? Мало места, чтоб пройтись? Ничего, ничего! Пройдитесь от этой тумбочки до этого столика. Вполне достаточно. Ничего не подделаешь, приходится жить в тесноте, да не в обиде. Вы знаете, до революции я занимала всю эту квартиру. Сто двадцать рублей в месяц. Прелестная квартира была. Вы не слышали такое имя — Зенон Зенонович Котятя?.. Нет? Очень жалко. Это старинная русская фамилия. Видите ли, покойный Зенон Зенонович Котятя был моим, так сказать, неофициальным мужем. Впрочем, вы, молодежь, этого не испытывали. Вы живете в счастливое время. Теперь все мужья официальные. А при царизме на этот счет было ужасно строго. Приезжал два раза в неделю, а в остальное время — живи как знаешь. Совершеннейший либерал. Простите, к чему я это вам говорю?.. Ах да... По поводу литературы. Вот вы, кажется, сказали, что ваш супруг — поэт. Не знаю. Не спорю. Не читала.

Может быть, вы думаете, что я некультурная женщина, ничего не понимаю в литературе, ничего никогда не читала? В таком случае жестоко ошибаетесь. В свое время в моей квартире бывали сливки литературного общества. Молодые литераторы считали за честь получить ко мне приглашение на фэйф-о-клок. Какие у меня люди бывали! Боже ты мой, какие люди! Поэты, прозаики, новеллисты. Орлы! Теперь какие литераторы? Так себе. Ничего особенного. Ничего выдающегося. С теперешним писателем мож-

но полчаса в трамвае ехать, держась за одну ляжку, и в голову не придет, что это писатель. А в мое время, милочка, писатель — это был человек такой, что его за три квартала можно было отличить от простого смертного. После оперных теноров писатели были первые люди. А как писали! Боже ж ты мой, как писали! А как читали! Боже ж ты мой, как читали! Мороз по коже подирал. Вы понятия об этом не имеете. Акмеисты, символисты, неореалисты, эвдемонисты, имажинисты. И все считали за честь появиться у меня в салоне. Так-то. Позвольте, я еще тут, одну секундочку, булабочкой прихвачу. Не жмет? Превосходно. Вы, например, вероятно, не слышали про такого знаменитого поэта — Константина Бальмонта?.. Слышали? Странно... Но это не важно. Слышать о нем — этого мало. Надо было видеть. Он у меня однажды остался ночевать после ужина. Я его не рискнула отпустить домой. Среди ночи вдруг слышу в его комнате какие-то странные вопли. Я, конечно, бужу Георгия Николаевича... Кто это Георгий Николаевич? Ах, пардон, я вам, кажется, не сказала? Был такой корнет Сумского гусарского полка Георгий Николаевич Жура-Журавель. Мой амант... Что такое амант? Гм... Ну как вам объяснить? Прямо-таки затрудняюсь. Нечто вроде теперешнего хахалы. Одним словом, в отсутствие покойного Зенона Зеноновича Котята... Ну, вы меня, надеюсь, понимаете... В моем тяжелом положении неофициальной жены надо же было иметь кого-нибудь для души. Конечно, один корнет не мог заполнить пустоты моего сердца. Был еще один замечательный человек — Альфред Карлович Розенберг, немецкий архитектор. Без слез не могу вспомнить. Однажды он приходит ко мне и говорит: «Диана! Пятьсот рублей, или я погиб!» Вы сами понимаете мое положение. Я, конечно, заложила все, что могла, и спасла моего Альфреда. Проходит два месяца. И что же вы думаете? Приходит Альфред. Бледный как мел, глаза лихорадочно горят: «Диана! Я опять погиб». Вы сами понимаете мое положение: красавец, архитектор... Я заложила все, что могла, и спасла. Через два месяца опять: «Диана...» А сам дрожит, слова не может произнести. Что? Погиб! Ну, знаете, мне это надоело. «Альфред! — кричу я ему. — Скажите мне прямо: сколько раз вы будете погибать в течение года?» — «Шесть», — говорит Альфред. «И каждый раз по пятьсот?» — «Каждый раз по пятьсот». Что поделаешь? Пришлось заложить все, что могла, и обеспечить жизнь Альфреда на полтора года. Сейчас он в Германии. Говорят, у фашистов занимает какой-то видный пост. Чуть ли не ми-

вили мне только эту комнату. Вместо литературы приходится заниматься шитьем платьев. Но я не ропщу. Зарабатываю недурно. Вкус-то у меня остался? Вкус-то ведь у меня никакая власть отнять не может. Так что вы не беспокойтесь. Будет у вас платье замечательное. Здесь я вам сделаю воланчики. На правом бедре — вырез. На левом бедре — вырез. Спина голая... Что? Вам не нравится? Гм... Конечно... Я так и думала. От жены современного поэта чего и ждать! Впрочем, я вам не навязывалась. Не хотите одеваться со вкусом — не надо. Я вас не задерживаю. До свидания. Прямо и направо. Не наступите на Бобика. Скатертью дорожка... Что?.. У вас у самой вкуса нет. Не вам меня учить. Слава богу, кое-что в искусстве понимаю.

1935

КРИТИКА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

- Вы редактор?
- Я.
- Редактируете?
- Редактирую.

Посетитель присел к редакторскому столу, с благоговением положил локти на корректуру и долго смотрел на редактора детскими голубыми восторженными глазами.

Наконец он воскликнул:

- Прямо удивительно!!
- Что удивительно?
- Удивительно, до чего у вас это самое ловко получается. Другой редактирует, редактирует, а ни черта не выходит. А у вас — прямо-таки замечательный журнал.
- Ну уж, и замечательный, — застенчиво пробормотал редактор. — Журнал как журнал.

— Нет! Именно замечательный! — с жаром воскликнул посетитель. — Не отпирайтесь. Верите ли, это мое самое любимое чтение. У нас дома его все буквально запоем читают. И жена, и бабушка, и домашняя работница, и детишки.

— Ну что вы! Зачем же детишкам и бабушке читать запоем «Вестник кооперативной товаропроводящей сети»?

— А вот представьте себе! Культурная бабушка. Не по летам развитые малютки. Вы недооцениваете значения вашего прекрасного органа. Мы его четвертый год выпи-сываем.

— Помилуйте, да он существует всего три месяца!

— Тем более. При столь высоком качестве каждый месяц можно смело считать за год. Впрочем, не будем отклоняться. Мне нужно с вами поговорить. Я буду краток. Два слова.

Посетитель суетливо вскочил, глаза у него утомленно сверкнули, и он заговорил граммофонным голосом:

— Идя навстречу все более и более растущим потребностям, наша организация, не щадя затрат, решила организовать специальный институт для обработки общественного мнения и создания прочных литературных репутаций. Нет больше плохих журналов! Нет больше слабых писателей! Нет больше скучных романов! Если у вас наблюдается острый упадок таланта, хроническое идейное заикание, стилистическое бессилие, вялый язык и политическая близорукость, не впадайте в отчаяние. Вам стоит только позвонить по телефону пять — шестьдесят два — пятьдесят один (Москва, Пушечная улица, дом номер пять) в наш всемирно известный Критико-библиографический научно-исследовательский институт, и мы немедленно вышлем опытного агента для подписания договора на систематическое обслуживание вашего многоуважаемого журнала недорогой, снисходительной, изящной, авторитетной критикой, которая в течение нескольких месяцев восстановит в глазах советской общественности вашу пошатнувшуюся репутацию, создаст вам широкий круг поклонников и навсегда избавит от необходимости утомительной самокритики.

Институт может подвергнуть критическому анализу ваш журнал за все время его существования и даже за первый квартал текущего года.

Институт может на основе критического анализа дать сжатую статью и в течение тридцати дней опубликовать ее или по вашему указанию в руководящих органах печати, или в своем журнале «За большевистскую критику».

Институт гарантирует вам свое участие во всех общественных мероприятиях, связанных с оценкой журнала (докладчики, подбор рецензий и прочее).

Институт обязуется, если в печати появятся отзывы, не совпадающие с оценкой института, бесплатно подвергнуть материал вторичному анализу.

Цены умеренные.

Один авторский лист журнала	20 рублей.
Два » » »	40 рублей.
Три » » »	60 рублей.

Энциклопедиям, многоотомникам, крупным научным трудам и прочим оптовым покупателям скидка.

Институтом привлечен обширный штат опытных рецензентов как по общим, так и специальным вопросам литературы, науки, искусства и спорта.

Восторженные рецензии обеспечены. Масса благодарностей. Тайна гарантируется...

Посетитель вытер вспотевший лоб и положил на стол договор.

— Подписывайте — и репутация вашего журнала обеспечена. Ну?

— Знаете ли, — замялся редактор, — журнал у нас новый, денег мало... Мы не можем.

— Не можете? — зловеще спросил посетитель. — Хорошо-с. Увидим.

— Что же мы увидим? — ужаснулся редактор.

— Увидим, как ваш журнал погибнет в пучине общего молчания и равнодушия. Честь имею кланяться.

— Подождите! — крикнул надтреснутым голосом редактор. — Не уходите! Один вопрос. Вы, кажется, сказали, что вы можете за небольшое вознаграждение дать сжатую статейку в любой руководящий орган советской печати по нашему указанию?

— Можем. А что?

— В таком случае вот вам двадцать рублей, и будьте любезны, напечатайте в ближайшем номере газеты сжатую статейку о том, как работает ваш институт.

1935

ОДНОФАМИЛЕЦ

— Вы уволены.

— Почему?

— Как чуждый элемент. Вы родом из станицы Динской?

— Да.

— Ну, значит, вы дворянин Малышевский из станицы Динской, помещик.

— Я действительно Малышевский, действительно из Динской. Но тем не менее не помещик, а, наоборот, сын казака-хлебороба.

— Докажите.

— Хорошо.

И человек отправился из станицы Крымской в станицу Динскую за доказательством своего крестьянского происхождения. Сделать это было очень легко, так как в сельсовете имелись все необходимые документы о том, что сын казака-хлебороба, учитель Малышевский никакого отношения к помещикам той же станицы не имеет.

Учителю Малышевскому тотчас же были вручены все нужные документы.

И отправился человек обратно, довольный, что все так быстро разъяснилось, и, радостный, положил на стол начальства свои документы.

— Вот. Теперь вы видите, что я не помещик?

— Этого мало. Нужна официальная справка.

— Хорошо. Будет официальная справка.

И стал человек ждать официальной справки.

А тем временем с работы успели уволить двух его сыновей как классово чуждых и примазавшихся помещичьих сынков.

Тем не менее официальная справка все-таки пришла, и человек гордо явился к начальству:

— Теперь видите?

— Вижу-то я вижу, но, знаете ли, все-таки, согласитесь, как-то не того... и помещик — Малышевский, и вы — Малышевский... Получается некрасиво...

— Ну, хотите, — взмолился человек, — я вам представлю свидетельство красных партизан, знающих мое безупречное прошлое?

— Хочу.

— Хорошо.

И пошел человек к красным партизанам, которым помогал во время деникинщины, и принес от них бумагу, характеризующую его с лучшей стороны.

— А бумага заверенная?

— Заверенная.

— Ну что ж, ничего не поделаешь... Видно, придется вас обратно на работу принимать... Ладно, работайте.

Восстановили человека, восстановили сыновей его. Пошло все хорошо. Прошел год. И вдруг — бац!

— Вы уволены.

— Почему?

— Как бывший помещик.

— Я не помещик.

— Докажите.

— Я ж вам в прошлом году уже доказывал.

— Докажите в этом.

— Хорошо.

И пошел человек опять в станицу Динскую.

— Дайте справку, что я не помещик.

— Не дам.

— Почему?

— Потому, что вы — Малышевский.

— Ну так что ж из этого?

— Раз Малышевский, значит, помещик.

— Да нет же! Хлебороб. У вас в архиве есть мое метрическое свидетельство. Посмотрите.

— Не смотрел и смотреть не желаю.

И пошел человек обратно. И в слезах обратился к самому высшему своему начальству:

— Товарищи! Ведь вы же знаете по прошлому году, что я не помещик. А меня все-таки уволили. Помогите!

— Не помогу.

— Почему?

— Потому, что все ваши документы — фальшивки, а сам вы — обманщик.

— Я не обманщик.

— Нет, обманщик. Вы утверждаете, что вы не Малышевский, в то время как я отлично знаю, что вы Малышевский.

— Я не отрицаю, что я Малышевский.

— Ага! Ну, а раз Малышевский, значит, помещик.

И пошел человек, шатаясь, к себе домой.

Таковы обстоятельства, в которых в данную минуту находится Малышевский, старый учитель с тридцатилетним стажем, до последнего времени работавший на консервкомбинате имени Микояна в станице Крымской методом.

Как же могло на глазах у всех произойти это неслыханное безобразие?

Как могло случиться, что на глазах у всех два старых хороших педагога — товарищ Малышевский с женой (тоже старая учительница) — оказались на старости лет выброшенными за борт?

Вы не знаете, как это случилось, товарищ Кравцов, председатель Динского стансовета, дававший безответственные разноречивые справки?

А вы, директор комбината, подписавший приказ № 425 от 13 августа 1935 года, где документы товарища Малышевского названы ложными и честный человек представлен в виде грязного афериста, — вы (не имею чести знать вашего имени), вы не знаете, как это случилось?

А вы, представители заводской общественности?

На ваших глазах произошло самое страшное в нашей стране преступление: беспредельно унизили человеческое достоинство. Что же сделали вы для того, чтобы не допустить этого?

Мы не сомневаемся, что честное имя учителя Малышевского будет навсегда восстановлено и виновные будут сурово осуждены.

1935

ДОНЖУАН

Нельзя сказать, чтобы эта разновидность советского гражданина встречалась особенно часто. Но все же встречается.

На службе он ничем не отличается от товарищей. Он работяга, активист, крепкий общественник.

Он прекрасно усвоил все слова и выражения, необходимые для того, чтобы прослыть неподкупным борцом за советскую демократию.

Но присмотритесь к нему. Понаблюдайте за ним. Нырните в глубины его, если так можно выразиться, психики, его, так сказать, внутреннего мира. И вот станет ясно, что «родина», «демократия», «народ», «наша чудесная, изумительная жизнь», «внимание к человеку» и т. д. — все это не что иное, как великолепная маска Гражданина (с большой буквы), под которой скрывается плюгавенькая мордашка гражданина (с маленькой буквы, в милицейско-протокольном значении этого слова).

Если на работе он, предположим, заведующий подотделом ягодных сиропов и цитрусовых эссенций треста Бробредшипводторг тов. Редькин, то в частной жизни он демоническая натура, любитель всего прекрасного, покоритель сердец, неисправимый донжуан, сноб и эстет.

Женщина! Вот стержень, на котором вращается для Редькина вселенная.

Основа редькинских успехов — отдельная, изолированная комната.

«Было бы где, а кто и когда — это уже детали».

У Редькина есть еще небольшой набор инструментов: патефон с четырьмя пластинками (две с Лещенко, две с Вертинским), бутылка портвейна, хитроумно разбавленного водкой, два пирожных, какой-нибудь томик «Академии»

с античными гравюрками и технический справочник (для солидности).

Разумеется, телефон. Потому что без телефона Редькин как без рук.

Придя домой, Редькин, даже не вымыв рук, тотчас достает вместительную записную книжку и углубляется в дебри телефонных номеров. Он, не торопясь, перелистывает ее, как ресторанное меню. Его глаза, глаза знатока и гурмана, скользят по колонкам цифр и имен, изредка останавливаясь на каком-нибудь имени, снабженном одному Редькину ведомым значком. Редькин морщит лоб и бормочет:

— Лена? Не годится. Чересчур упрямая. Лена другая — в отпуску. Валя? В больнице. Аборт делает. Гм... Люся? Гм... Какая это Люся? Дай бог памяти! Ах да! В скобках кружок. Это та, которая в прошлый подвыходной дала по морде. Ну ее к черту! Не годится. Посмотрим дальше. Зоя номер три? Тэк-с. Это, кажется, подходит.

Алло? Это Зочка?.. Здравствуйте, Зочка. Ну что вы поделяете? Как поживаете?.. Кто говорит? А вы догадайтесь... Нет, не Коля... Нет, не Вася... Нет, не Боря... Ну? Неужели вы не узнаете по голосу? Ну, одним словом, это тот самый интеллигентный человек, который с вами познакомился позавчера в метро и записал ваш телефон... Теперь припоминаете?.. Ну вот и чудесно! Что вы сегодня вечером делаете?.. Ничего?.. Отлично. Я тоже ничего. Может быть, вы зайдете вечерком ко мне, вместе будем ничего не делать. Как говорится, на огонек. Чайку попьем... Что? Лучше в театр?.. Фи, какая пошлость! Лучше ко мне... Не ходите к холостым?.. Нет?.. Ну, нет так нет. До свидания.

— Подумаешь! — бормочет Редькин. — Ишь какая хитрая!

И вызывает следующий номер.

— Это вы, Олечка?.. Здравствуйте. Как поживаете? Что поделяете? Вечерком свободны?.. Заходите. Чайку попьем. Посидим. Поговорим. Вертинского заведем. Лещенко заведем... На каток?.. Фу, как глупо! Впрочем, если хотите, сначала попьем, а потом на каток... Что? Сначала на каток?.. Нет, сначала чайку... Словом, не хотите? Ну, не хотите — как хотите...

Редькин работает возле телефона в поте лица. И, разумеется, в конце концов находится какая-нибудь наивная «Манечка с Электрокомбината», которая соглашается зайти на полчаса послушать Лещенко.

Тут Редькин суетливо надевает грязноватую, по тем не

менее довольно полосатую пижаму, чистит уши одеколоном и начинает ждать.

Звонит телефон.

— Алло! У аппарата Редькин. Здравствуйте... А кто это, собственно, говорит?.. Тася? Здравствуйте. А, простите, какая, собственно, это Тася?.. Что? Нет, у меня их не много, но все-таки... Ах, это та, которая у меня была два месяца тому назад? Гм... Припоминаю. Ну, здравствуйте... Почему не звонил? Телефон потерял... Что? Надо со мной серьезно поговорить? Вы меня пугаете! А что такое?.. Чувствуете себя беременной? Ну а я при чем? А может быть, это не я?.. Я? Вы уверены? Ну, так тем лучше... Посоветоваться? Об чем же советоваться? Аборт. Одно-единственное, что я могу посоветовать... Нет, нет, ради бога, ко мне не приходите! Я сегодня уезжаю в длительную командировку. А до этого ко мне должен прийти один товарищ по серьезному делу... Что? А вы, гражданка, будьте любезны, не смейте ругаться по телефону, а то я позвоню сейчас же на станцию, и вам телефон снимут. Идите вы, знаете, к черту!

Редькин злобно вешает трубку и бормочет:

— Такая нахалка! Хамка!..

Вечером раздается робкий звонок, и входит «Манечка с Электрокомбината». У нее беретик сидит на боку, из-под беретика на половину лица падает русая гривка, щечки красные, глаза синие, рот как черешенка.

— Здравствуйте. Я к вам только на полчаса. Послушать Лещенко. Послушаю и пойду.

Редькин поспешно садится на стул и делает широкий жест:

— Садитесь, пожалуйста.

Манечка мнетя и садится на диван. Не вставая со стула, Редькин деловито заводит Лещенко. Потом подсаживается к Манечке на диван. Стоит ли передавать их разговор, вечный как мир?

— Что ж вы отодвигаетесь от меня? Вот чудачка. Я придвигаюсь, а она отодвигается... Жарко? Это значит: у нас хорошо топят. Дайте я вам погадаю по руке. Вы знаете, вы мне почему-то ужасно нравитесь. Никто, представьте себе, не нравится, а вы, как это ни странно, нравитесь. Честное слово. Я, знаете, ужасно одинок. Выпейте рюмку портвейна. Это совсем как вода. Все равно что ситро. Никакой разницы. Я вам отвечаю, что вы будете совершенно трезвая... Почему я наливаю в стакан? А это потому, что у меня нет рюмок. Холостяк. Вот, когда женюсь,

заведу себе все хозяйство... На ком женюсь? Ха-ха-ха! А это от вас зависит, Верочка... Манечка? Ну, тем лучше. И так, выпьем за любовь! За крепкую семью! Я ведь, как это ни странно, принципиально стою за крепкие половые отношения. Я этого не понимаю: сегодня с одной, завтра с другой... Мне это органически чуждо. Ну, будем здоровы! Пейте до дна, до дна. Раз за любовь, — значит, до дна! Вот так. Умница! А теперь еще одну рюмочку за взаимность... Что? Вы уже пьяная? Ни за что не поверю! Кушайте пирожное. Ну, не будьте такая... Что? Зачем закрываю свет? А чтобы он в глаза не бил... Ничего... Не поздно. Я вас подброшу домой на машине. У меня есть машина.

Ну вот видите, и ничего страшного не произошло. И не так поздно. Половина второго. Вы еще захватите последний трамвай. До свидания. Так я вам буду звонить завтра. Или послезавтра. До свидания. Бегите скорей, а то трамвая не застанете... Проводить вас? С удовольствием бы, но плохо себя чувствую. Мне врачи не велят выходить на улицу.

И катался, катался товарищ Редькин до сих пор как сыр в масле.

А теперь — такая неприятность.

Широкая советская демократия... Законы об абортах... Ответственность перед родиной...

Хоть караул кричи.

Ах, Редькин, Редькин! Неважная для тебя начинается полоса...

1936

МИМОХОДОМ

Вообще говоря, подслушивать очень нехорошо. Но слушать — благородно, жить, так сказать, с открытыми ушами — совершенно необходимо.

Иногда случайно услышанная фраза просто забавна сама по себе, иногда за ней угадывается какой-то характер или даже явление.

То, что приводится ниже, не фельетон, не рассказ, это, скорее всего, фонограмма, бытовая звукозапись. Вполне естественно, что эта фонограмма велась в совершенно определенном, крокодильском направлении.

Говорят дети.

1. Совсем маленькие, чуковского возраста.

Звонкий крик во дворе:

— Ребята, наша кошка отелилась!

Тихий домашний вопрос:

— Мамочка, что такое бытовое разложение?

2. Ребята постарше. Уже школьники.

Идет урок географии. Мальчик отвечает бойко и уверенно:

— В Турции произрастают фиги. Из этих фиг турки делают изюм...

3. Дети такие, что их уже даже неудобно называть детьми.

Солнечный весенний день в тихом арбатском переулке. Две очаровательные девушки в изящных светлых платьях замерли у подъезда. Третья девушка отошла на несколько шагов с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть эту прелестную группу, которая кажется воплощением расцветающей, еще немного застенчивой юности. Не поворачивая головы и не теряя мягкой улыбки, девушка у подъезда шепчет подруге:

— Дура, псих, не пялься на аппарат!

Парикмахер разговаривал афоризмами.

— С перхотью надо бороться, — говорил он. — Если вы с ней не боретесь, так она борется с вами...

На озере Селигер экскурсовод поучал туристов:

— Здесь жил и работал художник Шишкин, известный автор конфет «Мишка косолапый».

Разговор у букиниста:

— Что-нибудь новое из старого у вас есть?

Идет ночью по пустой улице пьяный дяденька и вполголоса бахвалится:

— Я в любой ресторан могу. Хочешь — в «Метрополь», хочешь — куда хочешь...

Докладчик начал так:

— Давайте на данный период снимем головные уборы и посидим тихо.

А кончил он так:

— Все достижения и все состояния очень нам видны.

И мы должны завтра же засучить рукава и драться. Однако много драться не приходится, надо только приложить то, что полагается...

Преждевременно уставший литератор любит манерно жаловаться на трудности ремесла.

— Ах, если бы вы знали, как мне противно писать! — сказал он однажды.

— А нам-то читать? — ответили ему.

Выдался холодный день. Резкий, пронизывающий ветер. Воротники подняты, шляпы надвинуты. На площади простуженно хрипит продавщица эскимо.

— Сливочное эскимо, пломбир, мороженое! — взывает она.

Все проходят мимо.

И вот неудачница перестраивается на ходу.

— Горячее мороженое! — кричит она задорно. — Совершенно горячее! А вот, а вот, кому горячего?

И что вы думаете, кто-то купил эскимо.

Как известно, в пьесе Пристли «Опасный поворот» первый эпизод целиком повторяется в конце, заключая вещь.

Разговор после спектакля:

— Ничего интересного. Только зачем начало снова показывают?

— А это, наверное, для тех, кто опоздал.

Подмосковная школа. Урок истории. Учительница говорит:

— Хозары перекачивали с места на место и вырезали всех мужчин, исключая женщин...

Она же заявила:

— ...Степан Разин в Астрахани вел себя либерально и относился ко всему с холодком.

1940

УМНАЯ МАМА

— Домик у нас, мамаша, ничего себе. Подходящий. Летом — прохладный. Зимой — теплый. Если, конечно, уголька достать...

— Вот именно — если достать.

- А что же. Достанем.
- Погляжу, как ты достанешь.
- Не будьте, мамаша, таким скептиком. Пойду в контору. Напишу заявление и достану.
- Гляди, Васенька, зима на носу. Как бы мы с твоими заявлениями не померзли.
- Будьте уверены.
- Посмотрим.
- Увидим.

Антошкин бодро надел драповое пальто, сунул ноги в глубокие галоши и, охваченный радужными надеждами, отправился в контору.

Небо хмурилось. Дул довольно холодный ветер. Мамаша зябко куталась в шерстяной платок и печально усмехалась.

Вернулся Антошкин вечером.

- Ну что? Достал уголь?
- Достал. То есть не достал, а почти достал. Велели прийти в среду.
- Васенька,— сказала мамаша,— водки у тебя случаем нет? Литра два? И папирос «Казбек»? Сотню...
- Для чего вам?
- Как это для чего? Для того, что холодно становится. Гляди, скоро снег пойдет. А у нас не топлено.
- Что же это вы, водкой будете согреваться?
- Буду водкой согреваться.
- Гм... А папиросы вам для чего?
- Согреваться.
- Папиросами?
- Папиросами.
- Мамаша, не раздражайте меня.
- Гляди, померзнем.
- Не померзнем. В среду пойду в контору, подам заявление, привезу тонну уголька...
- Дурак...
- От родной мамы такие слова! Мне это больно.
- А ты не будь дураком. Дай два литра и сотню «Казбека».
- Для чего?
- Уж говорила, для чего! Греться будем.
- Не померзнем.
- Увидим.
- Посмотрим.

В среду Антошкин потеплее оделся, сунул нос в кашне и отправился в контору. В воздухе кружились первые

снежинки. Вернулся Антошкин поздно вечером. Лицо его сияло. Из рта вылетали клубы пара.

— Достал?

— Достал. То есть не вполне достал, а сказали, чтобы приходил во вторник или, лучше всего, в пятницу. Тогда обещали дать.

— Замерзнем, Васенька. Я уж коченею.

— Не замерзнем.

— Увидим.

— Посмотрим.

Во вторник Антошкин пошел в контору ранним утром, когда косматое, морозное солнце только что появилось над обледенелой крышей. Вернулся поздно ночью не в духе. Молчал. Спал в шубе и валенках.

Ночью мамаша подошла к его постели:

— Васенька...

— А?

— Дай два литра и сотню «Казбека».

— Не дам.

— Почему?

— Принципиально.

— Померзнем.

— Не померзнем. В пятницу обещали непременно дать.

В пятницу Антошкин вернулся глубокой ночью. Под глазами были синяки. Глаза лихорадочно блестели. Мамаша в салопе и ковровом платке топала валенками. Красивый иней сверкал на стенах.

— Достал?

— Достал. Почти достал. Обещали в...

— Дай два литра и сотню «Казбека».

— Не дам.

— Но почему же, Васенька? Ведь вымерзнем.

— Принципиально. Я знаю, для чего вам водка и папирсы! — закричал Антошкин. — Вы хотите взятку дать!

— Замерзнем.

— Пусть замерзнем. Но взятки давать не будем.

— Как хочешь, Васенька.

На рассвете Антошкин вскочил. Руки у него были красные, как морковка. На волосах сверкал иней. Он бросился к постели мамашы, долго рылся в шубах, половиках, коврах, перинах и, наконец, откопал старушку...

— Мамаша... — хрипло сказал он. — Если бы я жил в другом доме... Но в нашей конторе засели жулики. Мамаша, не могу больше! Черт с ним! Берите два литра и сотню «Казбека».

— И умница, Васенька! Давно бы так!

Мамаша поспешно оделась. То есть, вернее, разделась: сняла с себя лишнюю шубу, положила в котомочку два литра доброй московской водки и сотню «Казбека», перекрестилась и деятельной старушечьей походкой засемила к дверям.

Через час во дворе раздался грохот сваливаемого угля, и бодрый молодой человек с черным носом ворвался в комнату:

— Вы Антошкин?

— Я Антошкин.

— Распишитесь.

— А что?

— Ничего. Распишитесь здесь и здесь. Уголек вам привезли. Счастливо оставаться! Грейтесь на здоровье. У нас это быстро.

От молодого человека приятно попахивало доброй московской, и во рту дымился «Казбек».

1944

ОПЕРАТИВНЫЙ ЗАГРЕБУХИН

— Ну, что скажете хорошенького, товарищ Загребухин? — спросил редактор, подымая доброе, утомленное лицо от гранок. — Чем порадуете читателя?

Писатель Загребухин скромно опустил на стул, повесил голову и пригорюнился.

— Пришла мне, знаете ли, Павел Антонович, одна мыслишка. Одна, так сказать, идейка. Верите — даже не идейка, а целая идея. И так она меня, знаете ли, увлекла, что я буквально сон потерял. Не сплю, не ем. Только об ней все время и думаю.

— Нуте-ка, нуте-ка, это интересно. Выкладывайте.

Писатель Загребухин пригорюнился еще больше, потупил глаза, и, нервно сжимая руки, сказал глухим голосом:

— Мало у нас в прессе уделяют внимания животноводству, Павел Антонович. И плодоводству. Душа, знаете ли, болит. Вот мне и пришла в голову мысль. Не знаю только, как вы посмотрите. Хотелось бы мне съездить в какой-нибудь хороший животноводческий совхоз, в какой-нибудь, знаете ли, этакий плодоовощной питомник, да и написать в газету подвал-другой. Как вы на это смотрите?

— Это именно то, что нам надо! — воскликнул редактор, и глаза его засияли. — Это именно то, чего мы жаждем! Поезжайте, голубчик. Как можно скорее. Мы вам будем очень-очень благодарны. Только не отвлечет ли это вас от больших творческих замыслов? От широких полотен, от эпопей, от трилогий?

— Эх, Павел Антонович, Павел Антонович! — с горечью сказал Загребухин. — Пускай эпопеи другие пишут. Не до эпопей мне, Павел Антонович. Не такое у нас время, чтобы над эпопеями да трилогиями потеть. Писатель должен быть на уровне эпохи. Надо писать быстро, остро, оперативно. Главное — оперативно. Злободневно, так сказать.

— Верно, товарищ Загребухин. Правильно. Золотой вы у меня человек! Езжайте. Посмотрите. Изучите. Напишите.

— Слушаюсь! — бодро воскликнул Загребухин. — Напишу. Изучу. Посмотрю. Съезжу.

Через неделю читатель прочел большую статью Загребухина:

«Подъезжаем к воротам животноводческого совхоза «Новый мир». Въезжаем. Навстречу нам выходит директор Синюхин. Это могучий, волевой человек в синей косоворотке. Он радушно показывает нам коров и свиней. Хорошие коровы. Превосходные свиньи. Садимся за стол. Дружеская беседа вертится вокруг коров. Вертится вокруг свиней. Особенно вокруг поросят. Недолгий летний день кончен. Пора уезжать. С большой неохотой мы расстаемся с товарищем Синюхиным. Бросаем последний, прощальный взгляд на превосходных коров и выдающихся свиней. Но увы! Надо ехать. Надо еще посетить плодово-овощной питомник «Красный мак». Выезжаем за ворота. Едем. Мчимся. Золотые лучи солнца весело освещают...»

И читатель думает:

«Ишь ведь какой человек этот Загребухин. Тонкий. Наблюдательный. Все-то он заметил. Все-то он описал. И как, дескать, подъезжаем. И как, дескать, уезжаем. И как, дескать, коровы и как, дескать, свинки! Ничего от него не укрылось. Одно слово — писатель! Гений!»

А Загребухин тем временем гуляет по своей дачке с гостями и показывает хозяйство:

— Вот это у меня поросята.

— Выдающиеся поросята.

— А вот это у меня молодые мичуринские яблоньки.

— Выдающиеся яблоньки!

— Да уж чего говорить, — скромно опускает глаза За-

гребухин, — поросятки что надо. И яблоньки что надо. Плохих не держим.

— И дорого изволили платить? Небось такой поросенок чек тысячи две тянет, если не больше?

— Ровно шесть, — говорит Загребухин.

— Тысяч?

— Нет, что вы! Рублей.

— Шесть рублей?

— Да. Шесть рублей. С копейками. По государственной цене.

И нежная улыбка блуждает на пухлых губах Загребухина. Нежная и загадочная.

Гости молитвенно складывают руки. И думают завистливо:

«Ну же и человек этот Загребухин! В полном смысле слова гений».

А Загребухин идет дальше по своим владениям и показывает:

— Вот это у меня погреб. А это коровник. Погреб непозжко завалился. Надо бы немного цемента.

— Цемент теперь кусается. Не достанешь. Да и с транспортом...

Загребухин загадочно щурится на солнце и тяжело вздыхает:

— Да. С цементом, конечно, туго. С транспортом тоже не того... Ну да ничего... Как-нибудь сдюжим.

А через две недели читатель читает новую большую статью Загребухина:

«Вряд ли кто-нибудь из моих читателей представляет себе, сколько громадного политического, социального и морально-логического смысла заложено в простом скучном слове «цемент». И, однако, цемент — это целая поэма. Начнем с его производства. Подъезжаем к воротам энского цементного завода. Въезжаем. Навстречу нам выходит директор Жмуркин. Это могучий, волевой человек в люстриновом пиджаке. Он радушно показывает нам свое производство. С восхищением смотрим на мешки с цементом. Садимся за стол. Дружеская беседа вертится вокруг цемента. Пора уезжать. С большой неохотой расстаемся с товарищем Жмуркиным. Бросаем последний взгляд на чудесный цементный завод. Но увы! Надо ехать. Впереди еще детская пошивочная мастерская, мясокомбинат, ликеро-водочный завод, дровяной склад, питомник черно-бурых лисиц...»

Не нарадуется редактор на своего выдающегося сотрудника Загребухина.

— Вот это человек! Вот это гражданин! Вот это писатель! Горячий, отзывчивый, оперативный. Другие писатели копаются в какой-то психологии, пишут романы, новеллы, эпопеи и прочее такое. А мой орел Загребухин не таков. Мой орел Загребухин знает, что жизнь не терпит, чтоб от нее отставали. Загребухин мчится впереди жизни. Молодец Загребухин. Настоящий гений!

И когда знакомые Загребухина открывают газету и читают очередной подвал Загребухина, который начинается словами: «Мало кто знает, сколько поэзии в производстве толя...», — то они уже догадываются, что на коровнике Загребухина прохудилась крыша.

1945

СОВЕТЫ МОЛОДОЙ КРАСАВИЦЕ...

ОТ РЕДАКЦИИ

Многие годовые подписчицы, а также розничные покупательницы нашего журнала присылают в редакцию нервные письма с просьбой ответить на жгучий вопрос: что делать молодой девушке, для того чтобы иметь успех в обществе и нравиться мужчинам?

Понимая всю важность скорейшего разрешения этого наиболее волнующего вопроса, постараемся дать на него по возможности исчерпывающий ответ.

ВСТУПЛЕНИЕ

Укоренилось мнение, что успех молодой особы зависит от ее умственного развития, образования, тонкой духовной организации и ровного, приятного характера.

Это, разумеется, вредная чепуха, с которой давно уже пора покончить.

Успех молодой особы зависит прежде всего от умения одеваться.

Поэтому прежде всего необходимо сказать несколько слов о том, как должна одеваться молодая девушка, если она хочет нравиться мужчинам и в спешном порядке выйти замуж.

Девушка должна быть одета по самой последней моде с головы до ног. Так как не имеет принципиального значения, с чего начинать, с головы или с ног, то начнем с ног.

НОГИ

Нижние конечности, или так называемые ноги, являются лучшим украшением молодой красавицы. Поэтому на их оформление следует обратить особенное внимание.

Существует устаревшее мнение, что время от времени ноги следует мыть. Мы этого мнения не разделяем. И в самом деле, зачем мыть ноги, когда все равно этого не видно?

Зато совершенно необходимо поверх тонких шелковых чулок-паутинок надеть не менее трех сортов различных шерстяных носков — коричневых, красных, зеленых, полосатых, в клеточку и в капочку.

Что касается обуви, то это должны быть, конечно, туфли, но не просто туфли, а такие кожаные или же дерматинные сооружения, которые бы меньше всего напоминали туфли, а больше всего были бы похожи на копыта жеребенка.

После того как ваши ноги будут оформлены таким образом, вы можете быть совершенно спокойны, что ваше появление в любом общественном месте вызовет общее восхищение с примесью легкой тревоги, что, несомненно, повысит ваши шансы.

Теперь перейдем к туловищу.

ТУЛОВИЩЕ

Ни одна часть человеческого тела не приспособлена так хорошо природой для ношения вечернего туалета или мехового пальто, как туловище. Этим, собственно говоря, все сказано. Был бы вечерний туалет или меховое пальто, а туловище найдется. Поэтому остановим внимание на вечернем туалете и шубке.

Строго говоря, вечерний туалет может быть как бог даст. Важно только, чтобы рукава были как абажуры, а юбка как можно короче. Что же касается пальто, то оно тоже может быть какое бог пошлет, но только непременно закиданное по всем направлениям хвостами. Разумеется, желательнее, чтобы хвосты были черно-бурой лисицы. Но можно для оформления пальто воспользоваться и другими хвостами, лишь бы их было не менее шести-семи.

Если лично у вас или у ваших соседей, родственников и хороших знакомых имеются какие-нибудь домашние жи-

вотные, — например, кошки, собачки, козы, овцы, молодые телята, — то можно смело рекомендовать их для оформления вашего верхнего платья.

Три хвоста можно пришить внизу, три хвоста — на груди, по одному хвосту — на карманах и два хвоста — на спине, между лопатками, и вы сразу же приобретете скромный, но очень элегантный вид настоящей парижанки.

Для домашних животных это будет всего лишь один короткий миг страдания, но зато вам будет, несомненно, обеспечен крупный успех в обществе, и вы достигнете своей цели.

Таким образом, покончив с туловищем, перейдем к рукам.

РУКИ

Верхние конечности, или так называемые руки, являются надежными органами держания сумки и ношения перчаток.

Руки, так же как и ноги, мыть не обязательно. Это отнимает много драгоценного времени. Хорошо выкрашенные ногти вполне заменяют хлопотливую мойку. Ногти можно красить в любой цвет и любой краской. Чем ярче они будут, тем больший успех в обществе обеспечен вам.

ГОЛОВА

С головой дело обстоит сложнее. Относительно прически беспокоиться не приходится. Парикмахер все сделает сам. Но, к сожалению, имеются шея и уши. Тут уж без мойки не обойдешься. Впрочем, в целях экономии драгоценного времени уши и шею можно вычистить бензином или хлебным мякишем, который отлично заменяет дефицитный ластик.

Что касается бровей, то их рекомендуется ликвидировать с корнем. Некоторые красавицы выщипывают их по волоску специальными щипчиками. Этот длительный и очень болезненный процесс имеет свое оправдание только тогда, если у вас нет под рукой керосина. Если есть керосин, то мы рекомендуем намазать брови керосином и поджечь. Также очень помогают пироксилин и охотничий порошок. Но это дорого.

На выжженном месте рекомендуется нарисовать новые брови. Очень хороший эффект дает применение гуталина. Гуталином же рекомендуется красить ресницы.

Таким образом вы подготовите базу для своего главного украшения — шляпы.

Если туфли — начало конца, то шляпа — конец начала.

Шляпу надо покупать на Тишинском рынке, причем рекомендуется выбирать сооружение, наиболее похожее на самоварную трубу. На шляпу надо также накидать несколько остатков хвостов домашних животных — и вы готовы для покорения общества и света.

В таком виде у вас есть большой шанс подцепить себе мужа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благо на свете еще много дураков!

1946

С НОВЫМ ГОДОМ..

...И тогда поднялся советский рубль, взял в руку стакан и, одернув новенький, хрустящий пиджак, желтый, в разноцветную сетку, сказал:

— Товарищи и граждане! Позвольте и мне произнести маленькую новогоднюю речь.

— Просим! Просим! — слышались голоса.

— Внимание!

— Тише!

— Слушайте, слушайте!

Советский рубль солидно откашлялся и начал:

— Хотя я и являюсь, так сказать, представителем младшего поколения советской валюты, но в эту торжественную новогоднюю ночь мне хочется поговорить о себе. Вот вы все смотрите на меня и, наверное, думаете: «Скажите пожалуйста, какой он у нас молодой, здоровый, крепкий. Даже завидно». Не отрицаю. Да. Я действительно молодой, действительно здоровый, действительно крепкий. Больше того — я очень устойчивый и очень твердый.

Но, товарищи и граждане, прежде чем я стал таким, каким вы меня видите сейчас, мне пришлось пережить немало критических минут и тяжелых переживаний. Не забудьте, что в разгроме немецкого фашизма наряду с пушками, пулеметами, «катюшами», самолетами, винтовками принимал самое деятельное участие и советский рубль. Советский народ бил гитлеровцев, как говорится, и дубьем и рублем. Так что я за время войны порядком-таки поистрепался. Сам по себе поистрепался, да и фашистские гады не дремали. Небось знаете сами, как они меня подделывали? Иной раз смотришь на себя в зеркало и не понимаешь: это ты или твоя фальшивка?

Опять же от различных спекулянтов и кубышечников сильно мне досталось. Я люблю простор, волю, свободное обращение, а меня запихнут куда-нибудь под матрас, пока я вырасту. А какой может быть рост среди клопов и тараканов, в грязной тряпке! Мне для правильного роста, если хотите знать, необходима хорошая, культурная сберегательная касса. Там я действительно чувствую себя человеком — расту и развиваюсь. А в кубышке, — помилуйте, разве это жизнь? В кубышке я бог знает во что превращаюсь, не валюта, а, извините за выражение, какая-то греческая драхма или фунт стерлингов! Тьфу! И до того это меня заездили всякие спекулянты и мешочники, что сказать не умею. Разве же это для уважающей себя валюты дело?

Но в самые черные дни я не терял надежды. Я знал, что советский народ меня в обиду не даст. Выручит. И действительно, я не ошибся.

Посмотрел на мое положение трудовой советский народ и сказал: «Глядите, братцы, что-то наш кровный рублик захирел, ослабел малость, шатается, того и гляди, упадет. Давайте-ка его, братцы, укреплять». А уж что советский трудящийся народ скажет, то верно.

Как прослышали спекулянты да кубышечники, что Советское правительство меня укреплять будет, — свету белого невзвидели. Как кинутся, пользуясь моей слабостью, в магазины — и ну покупать! Покупают, хватают, домой тащат, а чего — сами не разберут. Лишь бы чего-нибудь хапнуть.

Одна божья старушка, закоренелая спекулянтка, впопыхах в зоологический магазин заскочила и двух удавов, не торгуясь, купила и в кубышку вместо меня сунула. Дескать, пускай удавы лежат под матрасом и в цене растут.

А один старичок-мешочник два мотоцикла купил. На силу домой доволлок. А что с ними делать — и не знает, потому что он, кроме как на крыше поезда, ни на чем ездить не ученый. Стал их запускать — так па одном горячем разорился.

А вот, например, когда я сюда, на встречу Нового года, шел, на такую картину наскочил: сидит на сугробе гражданин и плачет.

— Что с вами? — спрашиваю. — Почему плачете?

А он отвечает сквозь глухие рыдания:

— Опоздал. Тринадцать часов.

— Как, — говорю, — тринадцать часов, когда еще только половина двенадцатого?

А он плачет, разливается:

— Может, у других людей двенадцать с половиной, а у меня ровным счетом тринадцать, и не знаю, что с ними делать.

— Чего тринадцать?

— Да часов же! Часов! Тринадцать штук. Восемь будильников, четверо столовых да одни заграничные штампованные. Уже золотые до меня все расхватали. Опоздал.

— Так тебе, дураку, и надо,— сказал я.— Теперь тебе не на что и Новый год встретить. Сиди и рыдай.

И поспешил сюда.

Итак, дорогие товарищи и граждане, я очень рад встретить наступающий Новый год среди вас, умных людей, которые знают, что чем крепче и тверже рубль, тем лучше жить, тем скорее придем мы к счастливому будущему. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым счастьем!

1947

ИОНЫЧ ИЗ ВАШИНГТОНА

Многострадальную Европу постигло новое бедствие.

В Европе появилась группа бодрых американских джентльменов. Они путешествуют.

Мы знаем, что американцы любят путешествовать. И мы всячески приветствуем эту их неукротимую любовь к туризму. В самом деле, почему бы богатому, хорошо обеспеченному и не слишком обремененному работой человеку немножко не поколесить по земному шару?

Так сказать, людей повидать и себя показать!

Но, к сожалению, в данном случае к туризму — в его чистом виде — примешиваются некие элементы чисто американского бизнеса.

Упомянутые американские джентльмены являются не просто туристами, а в некотором роде туристами политическими, так как они одновременно члены конгресса.

Как известно, им было поручено совершить поездку по Европе в целях детального изучения вопроса о потребностях Европы в соответствии с «планом Маршалла».

У почтенных туристов широкие задачи, к туризму имеющие крайне отдаленное отношение.

В странах, которые они посещают, их интересует внутренняя политика и программа, продовольствие и сельское хозяйство, уголь, рабочая сила, денежное обращение и до-

ходы и даже такой довольно страшный для путешественников вопрос, как, например: в какой степени синтетические жиры и масла заменяют натуральные продукты?

Их самым жгучим образом интересуют вопросы:

Какое экономическое значение имеют для Голландии политические «беспорядки» в Индонезии?

Какое значение имеет для Швеции импорт из СССР?

Явилось ли предоставление кредита СССР бременем для экономики Швеции?

Каковы шансы для создания таможенного союза в Западной Европе?

Носили ли забастовки и другие волнения в промышленности главным образом экономический или политический характер?

И многое, многое другое хочется знать дотошным путешественникам-конгрессменам.

Они мыкаются по Европе из страны в страну и всюду суют свой нос.

Кое-где они ведут себя с развязностью нувориша, попавшего в универсальный магазин.

Они думают, что в Европе все продается — правительства, парламенты, президенты, политические партии, банки, акционерные общества.

Они не стесняются распекать целые нации и делать строгие выговоры народам.

Они сварливо придираются ко всему.

Увидели, что парижане сидят в кафе, и тут же по-хозяйски распекли парижан:

— Не по кафе нужно сидеть, господа, а дело делать! Так-то!

Не понравились им англичане — и они тут же понизили их в ранге:

— Вот что, дорогие союзнички, вы уже больше у нас не великая держава. Хватит. Попили нашей кровушки. Теперь походите у нас в лимитрофах.

Они строги, но справедливы. Одних они казнят, других милуют.

Увидели Голландию — понравилась Голландия. Говорят голландцам:

— Ничего! Вы нам нравитесь — здорово угнетаете свои колонии, не стесняйтесь, лупите индонезийцев! Очень хорошо. Гуд бай! Вы у нас, у американцев, заслужили. Будет вам помощь. Не сомневайтесь!

Словом, хлопот полон рот. Где уж тут думать о туризме!

Есть у Чехова прелестный рассказ «Ионыч». В нем рассказывается жизнь некоего провинциального врача Старцева.

И заканчивается этот рассказ так:

«Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть именьице и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места: жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там...»

Мы, конечно, не склонны слишком обижать дореволюционного доктора Ионыча неприятными аналогиями, но все же надо сказать, что «дядя Сэм» чем-то напоминает чеховского Ионыча.

Это Ионыч — усиленный в сто тысяч раз, дошедший до грандиозных размеров, Ионыч в мировом масштабе.

Ионыч, сидящий за океаном на своих мешках с золотом, мечтающий купить весь земной шар и всюду посылающий своих заевшихся, наглых приказчиков.

И не могу я, чтобы немножко не поправить Антона Павловича, несколько его осовременить:

«Прошло еще несколько лет после Потсдамского соглашения. «Дядя Сэм» еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит от высокомерия и уже ходит, откинув голову назад. Когда он, пухлый, красный, едет на «кадиллаке» с раздрающе громким клаксоном и Маршалл, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, положив на баранку руля прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным народам: «Права держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а ме-

шок, набитый деньгами. У него в Западном полушарии громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение в Тихом океане и страны в Европе, Азии, и он облюбовывает себе еще новые, повыгоднее, и когда ему на Уолл-стрите говорят про какую-нибудь страну, пазначенную к торгам, то он без церемонии посылает туда своих конгрессменов, которые совершают путешествие по Европе, не обращая внимания на голодных, оборванных женщин, детей и стариков, смотрящих на него с ужасом, и тыча во все страны палкой, говорит:

— Это Греция? Это Турция? Прекрасно. Мы это берем. А тут что? Аэродром? О'кей! А это что? Франция? Заверните! А это что, нефть? Беру.

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот дома, но он не бросает ни одной страны, которая «плохо лежит»: жадность одолела, хочется поспеть и в Западном полушарии и в Восточном».

Не правда ли, получается мило?

Говорят, что туристы «дяди Сэма» собираются посетить Советский Союз.

Почтенным туристам, вероятно, очень хотелось бы бодрым шагом пройти по нашей необъятной стране с палкой, тыкая ее в разные места:

— А здесь что? Баку? Заверните. А это Урал? Заверните! Золото? Заверните. Нефть? Заверните.

Но увы!

Завернуть наши богатства — кутеж не по карману даже для такого Ионыча в мировом масштабе, как «дядя Сэм».

И его туристам не придется говорить нам: «Заверните!»

— Заверните! — скажет им советский народ. — Заверните оглобли!

1947

ГАМЛЕТ

В те далекие времена мой друг Вася только что был принят в труппу прославленного академического театра и уже успел выступить в пьесе о гражданской войне в массовой сцене митинга, где он стоял в толпе солдат, время от времени выкрикивая своим красивым, густым баритоном:

— Правильно! Даешь! Пррравильно!

Высокий красавец юноша, со стройной фигурой футболиста, он шел рядом со мной по улице, обнимая меня сзади за плечи и заглядывая мне в лицо своими прекрасными

глазами, в которых, как в зеркале, отражались неумная жажда славы и колоссальный аппетит, который ему никогда не удавалось полностью удовлетворить.

Он говорил:

— Знаешь, старик, о чем я мечтаю?

— Знаю. Ты мечтаешь съесть большую глубокую тарелку флотского борща с мясом и не менее двух порций свиных отбивных.

— Это само собой. Но главное заключается в том, что я страстно мечтаю сыграть Гамлета. И не как-нибудь, а сыграть грандиозно, совершенно по-новому; дать этот классический образ в соответствии, — как нас учит гениальный Станиславский, — с жизненной правдой, без малейшего актерского наигрыша, безо всяких этих гамлетовских штампов — раздумий, вздохов, многозначительных пауз, шатаний, душевных колебаний и прочего.

— Ну и что же это будет у тебя за Гамлет?

— Это будет, вообрази себе, вопреки общепринятому представлению о принце Датском, совсем еще молодой человек, юноша, почти мальчишка, высокий, сильный, здоровый, со спортивной фигурой, ослепительной улыбкой: бицепсы — во! Пищеварение — во! Все время чувствует дьявольский аппетит. Любит пожрать; не дурак выпить, обожает хорошеньких девчат. Чувствуешь мысль?

Он жарко, как собака, дышал мне в лицо и заглядывал в глаза.

— Одобряешь?

— Одобряю.

— Спасибо. Будь уверен — не подведу. Такого Гамлета выдам на-гора, что публика ахнет. Главное, чтобы мне дали эту роль, а остальное пустяки...

Шли годы, и я снова встретился с моим старым другом Васькой. Теперь он уже был заслуженный артист, отрастил порядочный живот, носил бобровую шапку с традиционным бархатным верхом, но в глазах его горел прежний, знакомый мне молодой огонь дерзаний.

— Знаешь, старик, о чем я мечтаю? — спросил он после первых поцелуев и восклицаний. — Мечтаю сыграть Гамлета.

— Как! Разве ты его еще не сыграл?

— Представь себе, нет. Еще не сыграл. Не дают, черти. Приходится играть современную лабуду. Впрочем, оно и к лучшему. У меня за эти годы созрела новая, совершенно гениальная концепция Гамлета. В общих чертах:

мой Гамлет — человек средних лет, плотный, но по-прежнему красивый, с легкой проседью на висках, с довольно заметным брюшком, не дурак выпить и закусить, женат, по, между нами, не прочь поволочиться за хорошенькой женщиной... Ну, как тебе нравится?

— Прелестно.

— Благословляешь?

— Благословляю. Валяй!

Через некоторое время мы снова встретились. Вася с одышкой, медленно шел по улице, распахнув шубу, но в глазах его я уловил следы бывшего энтузиазма.

Мы расцеловались.

— Как живешь, Вася? Что играешь?

— Живу недурно, а играю... — он тяжело вздохнул, — все ту же современную лабуду. Но знаешь, о чем я мечтаю?

— Знаю. Ты мечтаешь сыграть Гамлета.

— Да, но *какого* Гамлета!

— Догадываюсь. Гамлета — человека средних лет с солидным животиком...

— А вот и не угадал. Мой Гамлет будет совсем другой, необычный. Пожилой, умудренный житейским опытом, с одышкой...

— Не дурак выпить и закусить, — вставил я.

— Ни в коем случае, — сказал Вася. — Строжайшая диета. Алкогольного ни капли. Черный кофе отпадает совершенно. Курить — ни-ни-ни!

— Не прочь поволочиться за хорошенькой женщиной, — игриво заметил я.

— А вот и нет, — со вздохом ответил Вася. — Только в самом исключительном случае. Носит очки, принимает на ночь легкое успокоительное... Чуешь? Это будет грандиозный Гамлет. Публика ахнет!

— Здорово, Вася. А я было тебя и не узнал. Ну как живешь, что играешь, о чем мечтаешь?

— Играю лабуду, а мечтаю сыграть Гамлета. Совсем по-новому. У меня, брат, Гамлет задуман так: старик. Уже на пенсии. Жена — ведьма. Дети — хамы. Перенес два инфаркта. Ходит с палочкой...

— Не дурак выпить, — вставил я.

— Да, но исключительно валокордин, — со вздохом сказал Вася.

Писатель Игнатий Пуделякин поставил точку и, не теля золотого времени, позвонил в издательство.

Через пять минут курьерша уже мчалась вскачь на директорской «Волге» и вскоре привезла в издательство творение романиста. Директор прочитал заглавие «Овсы цветут», взвесил манускрипт на ладони и, убедившись, что он тянет не менее шести килограммов, кисло улыбнулся, однако спохватился и тотчас изобразил на лице величайшее почтение: автор принадлежал к числу тех, кому палец в рот не клади.

— Немедленно в производство, — сказал директор, вручая «Овсы цветут» секретарше.

И машина закрутилась.

Рецензенты, которые так же, как директор, хорошо знали, что Пуделякину палец в рот не клади, в экстренном порядке строчили хвалебные отзывы. Редакторы, не жалея сил, правили рукопись: сглаживали шероховатости и ухабы пуделякинского стиля, а также исправляли орфографические ошибки и уточняли знаки препинания, подготавливая пуделякинский шедевр к наибоыстрейшему появлению в свет. Линотиписты набирали текст, корректоры потели над гранками, метранпаж верстал страницы. Калькулятор калькулировал, бухгалтерия выписывала. Со складов в типографию волокли многотонные тюки бумаги — тираж романа был астрономический, так как все знали, что автору палец в рот не клади. Машины печатали, брошюровали, переплетали, укладывали в пачки; грузовики, поезда, самолеты и прочие виды современного транспорта развозили по городам и весям нашей необъятной страны шедевр Пуделякина «Овсы цветут». Полки в книжных магазинах ломались от упомянутого романа, взмыленные критики сочиняли восторженные рецензии, ибо так же, как и все другие, хорошо усвоили, что Пуделякину палец в рот не клади. И так далее, и так далее.

Одни только посетители книжных магазинов, по-видимому, не боялись за целостность своих пальцев и равнодушно проходили мимо великого творения Пуделякина, не выражая ни малейшего желаня приобрести классическое произведение.

Прошел год, и выяснилось, что многотысячный тираж «Овсов» не распродан. Что тут делать? Пришлось принимать меры. И вот машина снова завертелась.

Все виды транспорта со всех концов нашей необъятной страны повезли нераспакованные тюки популярного произведения на бумажную фабрику. Здесь быстро и ловко пустили его под нож, превратили в бумажную массу, а затем при помощи волшебной химии сделали из этой массы довольно большое количество хорошей, чистой белой печатной бумаги, которую тут же и доставили по разнарядке в типографию издательства.

А как раз к этому времени писатель Игнатий Пуделякин поставил точку и, не теряя золотого времени, позволил в издательство:

— Можете меня поздравить. Закончил.

Директор побледнел.

— Что закончили?

— Известно что. Новый роман. Называется «Дубы шумят». Как у вас насчет бумаги?

— Бумага есть,— пролепетал издатель, твердо усвоивший, что Пуделякину палец в рот не клади.— Только что привезли большую партию.

— Это хорошо, что большую партию,— сказал Пуделякин строго.— Так присылайте за рукописью.

— Слушаюсь...

Через три минуты курьерша уже мчалась на директорской «Волге» и вскоре привезла в издательство солидную рукопись романа «Дубы шумят» — пуда на полтора весом.

Директор вытер слезы и сказал секретарше, вручая ей роман маститого автора:

— Немедленно в производство.

И машина закрути...

1970

ОБЕЗЬЯНА

— ...Например, обезьяна. Вслушайтесь! Не правда ли, какое странное слово: о-безь-я-на? Оно как-то не свойственно русскому языку. Обезьяна. Не по-русски. И, главное, трудно понять, откуда оно взялось. Я, конечно, далеко не филолог, но странно. Довольно странно-с.

Юрий Олеша сидел за столиком в «Национале», окруженный своими поклонниками, и произносил очередной монолог. Маленький, с серыми пронзительными глазами, растрепанный, с прекрасным выдающимся подбородком и скульптурным лбом великого мыслителя.

— Вы улавливаете мою мысль? — спросил он.

— Улавливаем, но не вполне, — хором сказали поклонники.

— Отлично. Тогда сделаем филологический экскурс. Как будет обезьяна по-английски? Манки. По-французски — санж. По-немецки — аффе. Ничего общего с русским словом «обезьяна». Однако мне кажется, друзья мои, что я открыл происхождение этого слова. Я совершенно, подчеркиваю, **СОВЕРШЕННО**, уверен, что оно происходит или, вернее, когда-то произошло от французского слова «обеиссан», что значит по-русски «послушный».

Глаза Олеси вспыхнули.

— Маленький, похожий на человека, послушный зверек! — воскликнул он с пафосом. — Нет, нет, я говорю совершенно серьезно. Для того чтобы это понять, не надо быть, господа, филологом, а надо иметь хоть немного воображения. У вас есть воображение? — спросил он поклонников.

— Есть, — неуверенно ответили поклонники.

— Прекрасно. Тогда вообразите себе древнюю Москву, часть которой мы видим в окно кафе. Кремлевские башни, бойницы, золотые купола. Вообразите себе дворец царя Алексея Михайловича, и вот в парадные палаты, низко кланяясь, входят в шелковых, атласных или газетовых камзолах заморские гости с подарками. Кто-то из них ведет на серебряной цепочке забавного зверька — карикатуру на человечка, как бы одетого в шубку с енотовой пелеринкой. Зверек скалит зубы и раскланивается на все стороны, жеманно приседая. Русские придворные восхищены, добрый царь Алексей Михайлович благостно улыбается, поглаживая каштановую бороду, однако все как бы опасаются невиданного зверя, боятся к нему приблизиться: не кусается ли? «Господа, не бойтесь, — говорит по-французски поводырь диковинного зверька. — Он добрый. Он не кусается. Его можно погладить. Он послушный. Он **ОБЕИССАН**».

— Обеиссан! Обеиссан! — весело говорят друг другу придворные бояре и осторожно гладят зверька. Он на самом деле совсем «обеиссан». И вот французское слово «обеиссан» порхает по царским расписным хоромам, переходит из уст в уста, пока французское «обеиссан» не превращается в русское «обезьян». Он хороший. Он не кусается. Он послушный. Он обезьяна.

ПОЧТИ ДНЕВНИК

ЗАПИСКИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

I

Осаждаемый с трех сторон красными, город был обречен.

С четвертой стороны лежало море.

Серые утюги французских броненосцев обильно кадили над заливом черным угольным дымом. Синие молнии радио слетали с их прочных изящных рей.

Десантные войска четырех империалистических держав поддерживали добровольческий отряд генерала Гришина-Алмазова, отражавшего наступление красных в южном направлении и защищавшего город.

По улицам маршировали живописные патрули британской морской пехоты, возбуждая восторг мешчанок своими кирпичными лицами и синими беретками.

Матросы громко ржали, непринужденно переговаривались между собою в строю и кидали лошадиными голенастыми ногами футбольный мяч, эту национальную принадлежность каждой английской военной части.

Через чугунные мосты проходили экзотические обозы греков.

Ослы и мулы, навьюченные бурдюками, мешками, бочками, какими-то лоханками и оружием, забавно выставляли напоказ любопытным мальчишкам свои плюшевые мохнатые уши и цокали копытцами по асфальту моста.

Унылые греческие солдаты с оливковыми и кофейными лицами путались возле них в своих слишком длинных зеленых английских шинелях, с трудом перенося тяжесть старомодных французских винтовок системы «гра», висящих на широких ремнях на плече. Эти архаические ружья стреляли огромными пятилинейными пулями, очень толстыми, медными и дорогими. Каждая такая пуля весила не менее четверти фунта. Так, по крайней мере, казалось.

Легкомысленные двуколки зуавов, похожие на дачные мальпосты, решетчатые и качающиеся, удивляли зевак своими огромными колесами, вышиною в гигантский рост шагавших рядом чернолицых солдат. Здесь были сенегальские стрелки, вращавшие белками глаз, напоминавшими сваренные вкрутую и облупленные яйца. Здесь покачивались алые фесочки тюркосов, здесь страшно поблескивали рубчатые ножи, примкнутые к длинным стволам колониальных карабинов.

Козьи кофты французских капитанов и расшитые золотом каскеты английских морских лейтенантов торчали за столиками переполненных кафе и отражались в зеркалах казино и театральных вестибюлей.

Благодаря присутствию многих военных и штатских иностранцев, полковников и спекулянтов, международных авантюристов и дорогих кокоток, русских князей и графов, крупнейших фабрикантов и содержателей притонов город имел вид европейского.

Весна была холодной, но солнечной.

Мартовский случайный снег держался недолго. Налетал морской ветер, затем туман. Они пожирали снег, уносили его белыми тугими облаками в море, и на расчищенном, великолепно отполированном голубом небе опять блистало холодное, ледяное солнце.

Улицы были полны цветов.

На углу двух центральных проспектов, возле кафе с громкой швейцарской фамилией, стояли зеленые сундуки цветочниц, заваленные кудлатыми пачками хризантем, мотыльками парниковых, огуречных фиалок и идилическими звездами подснежников.

Рядом с этими цветочными сундуками помещались столы валютных торговцев с грудями разнообразных кредиток, купонов, чеков и аккредитивов, которые успешно конкурировали с прелестной, но, увы, бесполезной красотой холодных и нежных цветов.

Два потока праздных и хорошо одетых людей протекали мимо друг друга и мимо этих цветов и денег. Над толпой носились запахи трубочного табаку, английских духов, дорогой пудры и, конечно, сигар.

Скрипели башмаки и перчатки, постукивали трости, брэнчали шпоры русских поручиков, этих удалых молодых людей, нацепивших все свои заслуженные и незаслуженные знаки отличия. Офицеры подчеркнуто козыряли друг другу, уступали дорогу дамам, говорили «виноват», «простите», опять звенели шпорами и с громким бряцанием во-

лочки зеркальные кавалерийские сабли по граниту и бетону тротуаров.

Это был самый беззастенчивый, самый развратный, трусливый и ложновоинственный тыл.

II

На подступах к городу, на пяти позициях, самая дальняя из которых была не более чем за шестьдесят верст, а самая близкая — за двадцать, обманутые и одураченные легендарными обещаниями и цинично лживыми телеграммами, мерзли на батареях вольноопределяющиеся, юнкера и кадеты. Они верили в помощь англичан и французов. Им еще не надоело воевать. Они еще жаждали наград, крестов и славы. Они еще не сомневались, что большевики будут раздавлены.

Город был обречен.

Уже ничто не могло помочь.

Этого могли не замечать только слепые или пьяные.

Однако этого не замечал никто. Или, вернее, этому никто не верил.

А между тем на окраинах и в рабочих предместьях люди жили своей особой, трудовой и опасной жизнью революционного подполья.

Напрасно контрразведка развешивала агитаторов на фонарях и железнодорожных мостах.

Напрасно юнкера оцепляли целые кварталы и громили десятки нищих квартир, отыскивая крамольные типографии и большевистские явки.

Каждый завод, каждый цех, каждый дом и каждая квартира были штабами, типографиями и явками большевиков.

Каждую ночь по стенам и заборам неведомо кем расклеивались серые листки, грубо отпечатанные вручную. Наутро возле прокламаций собирались возбужденные толпы рабочих.

Что могли поделаться юнкерские патрули? Юнкеров были десятки и сотни, а рабочих тысячи.

Каждую ночь в пустынных улицах шли люди, перетаскивая с одного места на другое оружие и патроны. Не только револьверы и ружья — здесь были в громадном количестве пулеметы и даже морские скорострелки.

В ночной темноте раздавались тревожные одиночные выстрелы, иногда залпы, иногда короткие очереди «коль-

та». Шальные пули тонко пели на излете, и звенело разбитое стекло слепящего фонаря.

Французские артиллеристы, расквартированные на окраинах города, не могли не подвергнуться влиянию русских революционных рабочих. Незнание русского языка не могло быть препятствием. На стенах казарм, на полосатых будках часовых, наконец, на щитах скорострелок расклеивались прокламации, написанные по-французски.

Французским солдатам начинало надоедать пребывание в этой стране, где происходила война русских с русскими.

Они слишком много знали о социализме, чтобы верять басням своих офицеров о бандитском восстании «разбойников-большевиков».

Французские солдаты волновались и требовали скорейшей отправки на родину.

Им надоела военная жизнь, им хотелось вернуться к очагам и семьям. Они достаточно бились на Марне и под Верденом для того, чтобы позволить себе роскошь не дежурить у своих батарей и парков в этой варварской и загадочной стране, в соседстве с врагом, который был неуловим и вездесущ.

Дисциплина французских частей падала.

Солдаты не желали больше подчиняться офицерам. Они без разрешения уходили из частей и шлялись группами в предместьях, вступая в мимические объяснения с рабочими. Ночью они пели прованские песенки, потрясали серыми, пузатыми, похожими на рубчатые дыни фляжками и пили коньяк. Они вступали в драки с русскими офицерами и всячески демонстрировали свое презрение к стране, куда их насильно привезли.

III

Французское командование находилось в состоянии крайнего возбуждения и растерянности. Начальник штаба каждые два часа посылал адъютанта на радио.

Французский генерал Франше д'Эспере проносился по улицам в своем отличном автомобиле и появлялся в ложах. Этот моложавый седоватый воин, окруженный отборной свитой, думал, что он является единственным хозяином положения. Его переговоры по радио со своим правительством окружались строжайшей тайной, и никто, кроме него, не читал пакетов, которые время от времени при-

возили ему на линейном миноносце. Наружно он был вполне спокоен.

Русская и французская контрразведки вели параллельную работу, вследствие чего выходили постоянные конфликты и недоразумения. Французы часто считали действия русских ненужными и вредными, в то время как русские полагали французов неопытными сыщиками, которые своим вмешательством портят работу.

Работы у контрразведок было много. Работа была важная и ответственная. Она была направлена против мощной и неуловимой большевистской организации, отлично связанной с Москвой и успешно разлагавшей иностранные отряды.

Трения между двумя командованиями — добровольческим и французским — продолжались все время.

Между тем по городу распространялись самые невероятные слухи.

Говорили о какой-то измене, говорили о близком падении города, говорили об одной очень известной кинематографической артистке, имевшей близкое отношение к генералу Франше д'Эспере и игравшей выдающуюся роль в предполагавшейся сдаче города красным.

Незадолго до падения города эта кинематографическая артистка умерла от болезни, называвшейся «испанкой» и сильно распространенной в то время среди населения. Однако молва приписала ее смерть русской контрразведке. Говорили, что актриса была подкуплена большевиками и должна была заставить своего любовника, французского генерала, сдать город. На ее похороны собрались несметные толпы народа. Вход в собор, где в раскрытом гробу был выставлен ее труп, охранялся усиленным караулом. К гробу имели доступ избранные, среди которых видели и французского генерала. Он положил к ее ногам пышный букет с печальными лентами, на которых блистала французская цитата.

Нелепые слухи продолжались.

Однажды по городу прошел дивизион танков. Их видели на главной улице. Они были похожи на громадных гусениц. Они гремели суставчатыми цепями по мостовой. Витрины магазинов и фонари стрекотали, звенели и содрогались от их железной поступи. Их было восемь. Из каждого выглядывали короткий ствол митральезы и несколько пулеметов. Говорили, что их отправляют на фронт для отражения красных, силы которых с каждым днем увеличивались.

Это дало повод осваговским газетам поднять тон и удалым поручикам сделаться более воинственными.

Однако отдаленная канонада приближалась. Раньше она была слышна только в очень ясные и тихие ночи, теперь же, в самом разгаре дня, за шумом города, за звонками трамваев и ревом автомобильных сирен вдруг слышались явственные, словно подземные, очереди взрывов.

Тогда, казалось, на минуту стихал городской шум, прохожие останавливались, и лица делались бледнее, тверже и напряженнее.

Почти ежедневно на центральной площади, возле собора, генерал Гришин-Алмазов принимал парады уходящих на фронт частей. Он говорил:

— Господа офицеры и солдаты! Вам предстоит сражаться с бандами жестокого и коварного врага. С нами бог! Без страха и колебания, железной стеной встретите неприятельские пули. Бейтесь до победы. Отступления — нет. Помните, что нас поддерживают наши верные союзники — французы и англичане. Дни большевиков сочтены. Еще один молодецкий нажим — и победа за нами. Дадим же торжественную клятву победить или умереть. С богом. Пленных приказываю не брать.

Оркестр играл Преображенский марш. Сабли описывали зеркальные дуги салютов. Колеса батарей скрипели, дышла подымались и опускались, толпа дам, девиц и стариков махала платочками.

Колонна за колонной добровольческие части покидали город, уходя туда, откуда все настойчивее и тверже доносились пушечные удары.

Мне удалось побывать на подступах к городу.

IV

Я видел извилистую, еще недостаточно оттаявшую, черную, твердую дорогу, идущую вдоль морского берега. По ней, по этой дороге, тянулись в город с позиций телеги с ранеными. Раненых было немного. Гораздо больше было больных и мнимоконтуженных. Близость большого, веселого и пышного города, набитого спиртом, женщинами и другими удовольствиями, являлась непреодолимым соблазном для недостаточно мужественных. Ежедневно десятки влюбленных прапорщиков и пришедших в уныние от походных лишений вольноопределяющихся симулировали контузии и болезни для того, чтобы быть эвакуированными.

ми в соблазнительный тыл. Легкораненные считали, как и всегда, впрочем, свое ранение счастьем и предвкушали внимание дам, награды и безопасность.

В деревнях и на хуторах были размещены многочисленные штабы. Оседланные лошади били копытами мерзлую землю и грызли заборы.

Вестовые казаки, очень хорошо и воинственно одетые, с русыми чубами, взбитыми над смуглыми лбами, лихо раздували самовары и чистили на порогах хромовые генеральские сапоги.

Телефонисты с «удочками» и катушками проводили линии.

Ординарцы тряслись на мохнатых сибирских лошадаках, одной рукой придерживая кожаную сумку, а другой подстегивая лошадь нагайкой.

Вдоль дороги валялись консервные жестянки и бутылки из-под удельного вина.

Дорога становилась чем далее, тем пустыннее. Через тридцать верст я достиг передовых позиций. Здесь берег образовывал бухту, в которой стоял французский миноносец.

Песчаная пересыпь бухты запирала небольшой синий лиман, переходивший в отдалении в красные солончаки. Там начиналась область, занятая красными. Их не было видно с господствующего над местностью правого берега лимана. Мне сказали, что они занимают деревни и постоянной боевой линии у них нет. На низком левом берегу была расположена деревня. В ней жили приморские крестьяне и рыбаки. Теперь там разместились части добровольческого отряда, пушки которого с небольшим числом прислуги и пехотного прикрытия были установлены на командной высоте.

Я въехал в деревню.

Деревня ничем не отличалась от тысячи других деревень, которые мне приходилось проезжать в любую из кампаний.

На пустырях и дворах стояли кухни. По улицам ходили кадеты. Возле кухни ковали лошадь.

Размещенные по избам офицеры и солдаты сидели на лавках и играли в карты. Трехцветные шевроны на рукавах защитных гимнастеров передвигались при сдаче карт и при хлопанье картой по столу. Фуражки висели на гвоздях возле икон. Американские винчестеры были свалены кучей в сенях. О них никто не заботился. Они были заржавлены и забиты землей. Зато бесполезным шашкам

уделялось много внимания и забот. Престарелый капитан, крихтя и ругаясь, чистил клинок своей златоустовской шашки, с усилиями втыкая его в глиняный пол избы. Старик хозяин только качал на это головой.

Бравый вольноопределяющийся рассказал мне интересную историю о сегодняшнем ночном деле. Об этом деле говорил весь отряд.

В два часа ночи разезд добровольческой кавалерии, в котором почему-то был и артиллерийский разведчик — бравый вольноопределяющийся, заехал в деревню, которая до сего дня считалась лояльной. Едва только отряд въехал на главную улицу, по нему была открыта пальба. Оказалось, что за последние сутки деревня перешла на сторону красных и сейчас в ней был расположен эскадрон красных партизан. Несколько партизанских всадников выскочили из темноты и атаковали добровольцев. Произошла стычка, в результате которой один добровольческий улан был тяжело ранен в голову и привезен из экспедиции мертвым. Бравый вольноопределяющийся рассказывал, как он рубил, и как его клинок с размаху ударил во что-то мягкое, и как оно (это мягкое) тяжело рухнуло под копыта его лошади. Он говорил, что его тоже хорошо огрели по голове, к счастью, не осталось следов, но что голова ахово трещит и не худо было бы эвакуироваться для поправки здоровья.

Таким образом, я выяснил, что самое типичное во всей кампании — это полное отсутствие сведений о неприятеле, о его численности и местопребывании. Местные жители были настроены весьма большевистски, и то одна, то другая деревня переходила на сторону красных, служа их частям надежным прикрытием.

В этот день стрельбы не было. Красные не проявляли инициативы. Их совершенно не было заметно.

Французская миноноска сигнализировала, что в случае дела она может открыть огонь из шести скорострельных пушек, что должно увеличить силу отряда на полторы батареи.

Затем из города прилетел военный самолет. Он спустился на Пересыни. Два летчика в кожаных куртках, пулевидных шлемах и самых модных синих бриджах вылезли из аппарата и отправились в штаб отряда передать командиру бумаги. Они выпили чаю и, рассказав несколько городских анекдотов и передав слухи, улетели обратно с донесением о том, что в районе отряда все спокойно.

На следующий день совершенно неожиданно в двенадцать часов стало известно, что город в течение двух суток будет сдан красным.

Еще без четверти двенадцать беспечная толпа фланировала мимо цветочниц и валютных лотков, а в двенадцать по городу покатались мальчишки-газетчики, размахивая крыльями экстренных телеграмм. Все было очень точно и определено: город отдается без боя. Французское правительство отзывает свои войска во Францию. Без иностранной поддержки добровольцы не смогут удержать город.

В пять минут первого город изменился. Город был переломлен, как спичка. Совершенно обалделые генералы почти бежали в штабы, где уже заколачивали ящики.

Паника была неопишуемая.

Приказ французского командования до такой степени не соответствовал тону предыдущих приказов и газет, что взволнованное население готово было объяснить случившееся самыми невероятными способами. Об измене говорилось открыто.

Однако время было так ограничено, что никто не мог себе позволить размышлять о причинах внезапной эвакуации более пяти минут.

Иностранные миссии осаждались буржуазией, желавшей покинуть город. Заграничные паспорта выдавались почти всем желающим без особых формальностей. В порту начиналось столпотворение. Тоннаж имевшихся налицо судов был недостаточен для перевозки всех желающих. Многие, отчаявшись получить место на пароходе, отправлялись на извозчиках или пешком к румынской границе, отстоящей от города за сорок верст. В городе почти исчезли лошади. Они были реквизированы. Группы тыловых офицеров выпрягали лошадей из фургонов и пролеток и уводили их в казармы. Части, стоявшие на позициях, должны были пройти через город и, захватив обозы и штабы, отступить к румынской границе.

Однако согласие Румынии принять бегущих еще не было получено, и это чрезвычайно волновало тыловые части добровольцев.

К вечеру первого дня по всему фронту загремели пушки. Красные наступали, суживая кольцо своего обхвата, и, съезживаясь, это кольцо все больше и больше напоминало петлю. Город задыхался.

Я видел громадный двор артиллерийских казарм, где были сосредоточены многие штабы добровольческих частей и несколько французских легких дивизионов. Здесь жгли списки личного состава, здесь громили цейхгаузы, набитые снаряжением и амуницией. Офицеры и солдаты вытаскивали из сараев громадные кипы белья, сапоги, палатки, валенки. Они связывали награбленное в громадные тюки и волокли в город, решив остаться и дезертировать из добровольческой армии.

Посредине двора стоял погребальный катафалк, из которого были выпряжены лошади. Два еврейских мортуса в белых балахонах, с галунами и в черных цилиндрах плакали, расхаживая вокруг катафалка. Лошадей в черных шорах и траурных султанах наскоро запрягали в набитые битком повозки. Евреи хватались за рыжие свои бороды и умоляли какого-то полковника без погон и кокарды пощадить их лошадей. Но полковник истуупленно кричал:

— Просите ваших «товарищей»! Дотанцевались до того, что «пролетел» сел на голову? И радуйтесь.

Этот взволнованный воин несколько раз еще повторил загадочное слово «пролетел», разумея под ним слово «пролетарий». Ему казалось, что в виде «пролетел» оно имеет некий необычайно язвительный и горький смысл. Он был прав. Это слово, произнесенное растерянным полковником, расхаживающим без погон и кокарды вокруг распряженного еврейского катафалка посередине хаотического двора казармы, и точно представлялось язвительным и горьким.

В военных и гражданских учреждениях спешно готовились ведомости и выдавалось жалованье за шесть месяцев вперед.

Из государственного банка вывозились грузовики денег. Магазины были открыты. Получив неожиданно крупные суммы денег, люди осаждали лавки, запасаясь хлебом и продуктами на долгое время. Наиболее молодые покупали вино. Ночь, вспыхивавшая по краям от непрекращавшейся канонады, была полна пьяным ветром и пьяными песнями совершенно растерявшихся людей. Судороги города ознаменовались небывалым буйством, разгулом и пьянством.

Прожектора военных кораблей пыльными меловыми радиусами двигались по черному небу. Ревели парходные сирены. Мчались грузовики. Гремели батареи. В ночной темноте происходило нечто неизбежное и грозное.

Измена. Предательство. Глупость командования. Слабость тыла. Вот причины падения города.

Так представляли себе положение дел почти все находившиеся в состоянии эвакуационной горячки и паники. Но это было неверно.

В действительности же дело происходило так.

Красные войска, состоявшие преимущественно из партизан и повстанцев, теснили добровольческие регулярные отряды в течение многих месяцев вплоть до города.

На подступах к городу красные остановились. Не узнав сил противника, не выяснив своих собственных сил и не закрепившись на занятой территории, двигаться дальше становилось безрассудно опасным. Они остановились.

В это время в городе, в подполье, велась бешеная работа по разложению французов и по учету сил добровольцев. Работа оказалась успешной. Не прошло и нескольких месяцев, как взаимоотношение сил стало ясным. Защищавших город было во много раз больше наступавших на него. Но среди защищавших не было ни уверенности в себе, ни единого военного плана. Во французских частях под влиянием большевистской агитации дисциплина несколько упала, так что при первом же серьезном деле французские штыки и пушки легко могли обратиться против собственных штабов. Греческие части имели маловоинственный вид и вряд ли могли представить серьезную опасность. Англичан было незначительное количество, и они несли лишь береговую территориальную службу. Добровольцы были развращены близостью тыла.

VI

Положение наступающих красных партизан, опиравшихся на благожелательное настроение крестьянства, на боевую опытность, наконец, на исключительное личное мужество бойцов, сражавшихся по доброй воле за свое общее дело, было во много раз выигрышнее положения осажденных. Подобное положение решило судьбу города.

Красные только ждали некоторых подкреплений.

Наконец подкрепление настолько приблизилось, что красное командование предъявило французам ультиматум. Ультиматум французы не приняли, но отдали приказ об эвакуации.

Красные подождали два дня и в начале третьего, не дожидаясь окончания эвакуации, с трех сторон атаковали город. Добровольческие батареи в течение нескольких часов расстреляли все свои патроны и были вынуждены от-

ступить. Французское военное судно, обещавшее поддержку на левом фланге, без предупреждения ушло в море. Дивизион танков, выдвинутый в лоб красным, завяз в грязи, и все до одного танки были захвачены повстанцами в первые часы боя. Повстанческая конница показала чудеса быстроты и натиска. Кавалерия добровольцев, довольно хорошо работавшая в небольших ночных набегах, не смогла выдержать лавы противника и показала тыл. Греческий полк, вступивший в дело на правом фланге, в двадцати верстах от города, был потрясен обстрелом красных. Греки поспешно отступили, теряя мешки гороха, которым они кормили своих ослов, и бурдюки вина, предназначенного для солдат. Быстрому отступлению греков очень препятствовали слишком длинные английские шинели и тяжелые французские винтовки. Многие бросали их по дороге. Греческие солдаты, не привыкшие к боям, были совершенно измучены натиском красных партизан.

Отступая через город и проходя по улицам, эти оливковые добряки с рыжими унылыми усами застенчиво произносили слово, брошенное им в предместьях каким-то веселым рабочим. Он закричал им:

— Что, братцы, вата?

На жаргоне того времени слово «вата» обозначало конец, неудачу.

— Вата,— говорили греки непонятное им слово, отступая через город.

На окраинах начиналось восстание. Там бил пулемет.

На следующий день власть в городе перешла к большевикам.

Красная кавалерия, на спине отступающих добровольцев, ворвалась в предместья и браталась с вооруженными до зубов рабочими.

Революционный комитет, столь долгое время находившийся в подполье, занял лучшее в городе помещение и выпустил первый явный официальный и законный приказ.

Еще в открытом море дымили уходящие суда, еще кучки офицеров и штатских двигались по Аккерманскому тракту к румынской границе, еще оставшиеся спарывали с шинелей погоны и бросали в печки кокарды, а уже лихие всадники партизанского отряда, чубатые парни с красными бантами, на отличных лошадях разъезжали по улицам взятого города. Наст битого стекла хрустел под копытами лошадей. Закрученные, как лассо, петли сорванных трамвайных проводов лежали поперек мостовых.

Мальчишки бегали с красными флажками и пели «Ин-

тернационал». На аршинных столбах, поверх гигантских букв театров, кабаре и бегов, наклеивались суровые, спартаанские приказы новой власти.

Так город начал новую жизнь.

VII

Начался трудный организационный период.

Нужно было все устроить, пересмотреть, сделать заново, провести в жизнь.

Нужно было вырвать гнилые корни старого быта и утвердить новый быт, быт рабочий, простой, суровый и твердый.

Всем оставшимся новая для города власть большевиков предоставляла право собираться и обсуждать коллективное устройство своей жизни.

Рабочим нечего было обсуждать. Они очень хорошо знали, как надо строить свой быт. Интеллигенция, захваченная событиями врасплох, еще не успела об этом подумать. Нужно было в самое короткое время усвоить чуждую им советскую конституцию и организовать согласно с ее требованиями.

Происходила полная путаница в понятиях и терминах. Никто определенно не знал еще разницы между государственными, профессиональными и партийными учреждениями. Каждый человек с портфелем представлялся существом высшего порядка, всезнающим и всемогущим. Сокращенные названия учреждений приводили растерявшихся интеллигентов в ужас.

В помещении бывшего литературно-артистического кружка, сокращенно называвшегося «Литературкой», ежедневно происходили бурные собрания писателей, журналистов и актеров, столь же бестолковых, сколь и многочисленных.

Престарелые ученые, писатели с именами, не успевшие бежать издатели, актеры и местные молодые поэты заседали по многу часов кряду, пытаясь не столько договориться до дела, сколько хоть немного понять друг друга.

Свобода на этих собраниях была полная. Наиболее консервативная часть ставила вопрос о самом факте признания Советской власти. Для них вопрос «признавать или не признавать» был вопросом первостепенной важности. Они даже не подозревали, что власть совершенно не нуждается в их признании и разрешает им собираться исключи-

тельно для того, чтобы они могли лучше познакомиться с порядком вещей в Республике.

Наиболее левая часть собрания, молодые поэты и художники преимущественно, левые не только в области искусства, но и в области политики, требовали не только полного признания власти, но также и активного перехода на советскую платформу. Они призывали к сотрудничеству с рабочими и желали объединения на этой почве. Средняя, наиболее осторожная часть упорно стояла на почве чисто профессионального объединения, старательно избегая вопроса о самом признании или непризнании существующей власти.

Я видел одно из этих собраний.

В большом, очень изящно отделанном зале, где еще так недавно лакеи во фраках прислуживали эстетам в бархатных куртках и актрисам, разрисованным по самой последней моде, теперь стояли стулья и грубые скамьи. На скамьях и стульях сидели взволнованные, выбитые из колеи люди. В проходах толпились опоздавшие.

Я видел знаменитого академика по разряду изящной словесности, сидевшего в углу и опиравшегося подбородком о набалдашник толстой палки. Он был желт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезавшая из цветной манишки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные, глаза смотрели пронзительно и свирепо. Он весь подергивался на месте и вертел шеей, словно ее давил воротничок. Он был наиболее непримирим.

Я видел другого академика (ныне покойного), почтенного филолога, очень растерянно и по-стариковски согнувшись сидевшего во втором ряду рядом со своей женой, сухой и бойкой старушкой. Он никак не мог понять, зачем так много народа, что они хотят и почему кричат.

За столом президиума сидел рыжебородый издатель, ассириец с длинными глазами навывкате, и очень мохнатый, похожий на геральдического медведя, поэт-декадент с крупным всероссийским именем.

Говорил преимущественно поэт. Он был лидер золотой середины. Очень приятным, грубоватым и убедительным эстрадным голосом он призывал собрание под знамена профессионального союза, пропуская мимо ушей вопросы о признании и непризнании. Он говорил о том, что мастерство печатника, что закон типографской буквы и закон поэтического звука — есть один и тот же закон. При этом он очень удачно цитировал Анри де Ренье, и себя, и еще кого-то из новых.

Несколько раз академик по разряду изящной словесности вскакивал с места и сердито стучал палкой об пол. Неоднократно левые демонстративно удалялись из зала и были призываемы обратно во имя общего объединения.

Жена академика-филолога держала своего неуклюжего мужа за рукав и требовала, чтобы он что-то сказал собранию. Несколько раз старик подымался, вытаскивал из кармана мятый носовой платок, улыбался и садился на место, так как общий шум не давал ему говорить.

Так соглашение достигнуто и не было.

Поэт-декадент, столь подходивший для должности комиссара искусств, принужден был отказаться от общественной деятельности и заняться переводами поэм Анри де Ренье.

VIII

Между тем новая жизнь города складывалась по-своему, своим чередом. Новые государственные формы определяли формы нового быта.

Появились новые вывески с сокращенными названиями. Новые учреждения набирали штаты машинисток и секретарей. Взамен закрытых магазинов открылись продовольственные лавки и распределители. Была введена карточная система, и с утра обыватели стояли в хвостах за продуктами.

Город украшался.

На всех углах и перекрестках укреплялись громадные плакаты. Они были написаны левыми мастерами и изображали матросов, красноармейцев и рабочих. Это были первые, еще робкие, вылазки футуристов. Их плакатные матросы были великолепны. Они были написаны в грубоватой декоративной манере Матисса. Некоторая кривизна рисунка и яркость красок вполне отвечали духу времени, и примитивные детали вполне совпадали с упрощением деталей самого быта.

Поэты писали для этих плакатов четверостишия, которые читали все, начиная от попавшего в переделку фабриканта, кончая кухаркой, идущей записываться в профессиональный союз.

Повсюду открывались рабочие клубы и театры. Повсюду устраивались концерты-митинги. Известные артисты, демонстрируя свою солидарность с пролетариатом, ездили

на предприятия, где с большим успехом пели оперные арии и читали Шекспировы монологи.

Однако военная гроза далеко не прошла. Город был очищен от белых, но еще во многих других местах страны враг был силен и опасен. Прошедшие румынскую границу добровольческие части на пароходах и транспортах перевозились в Новороссийск, в этот главный порт генерала Деникина, далеко еще не отказавшегося от идеи раздавить коммунистов.

Дон и Кубань были местами, где Деникин накапливал силы, собираясь обрушиться на красных. На этот раз наступление должно было быть серьезным. Английское командование снабжало части генерала снаряжением и обмундированием.

Недостатка в продовольствии не было.

Французское золото позволяло исправно выплачивать жалованье наемникам. Громадное количество пушек и бронепоездов, самолетов и танков, патронов и медикаментов было сосредоточено в руках добровольческого командования.

В разгаре весны началось вторичное наступление белых.

Генерал наступал настойчиво и энергично.

Город встревожился. Стенные газеты, в изобилии расклеивающиеся на заборах, были полны сообщениями с театра военных действий. На этот раз линией фронта была территория области Войска Донского и Кубанская область. Оттуда, имея своим центром и базой город Ростов, наступали части добровольческой армии.

Вся площадь Донецкого бассейна оказалась плацдармом жесточайших боев между регулярными, хорошо снабженными и обученными, отрядами генерала Деникина и вольными, недисциплинированными группами красных партизан.

По сообщениям газет, партизанские группы состояли из матросов Балтийского и Черноморского флотов, из кавалеристов и казаков разных частей старой армии, из волонтеров, ставших добровольно под красные знамена, и многочисленных повстанцев. В числе красных, разумеется, было немало и регулярных частей, сведенных в дивизии и армии, но их количество было все-таки далеко не достаточно для того, чтобы вести настоящую и планомерную кампанию. У красных почти не было регулярной артиллерии, а те батареи, которые входили в состав дивизий, находились в плачевном состоянии из-за отсутствия самых

необходимых материалов: керосина для чистки пушек, пакли, тряпок, измерительных приборов, «цейсов» и бус-солей. Не было почти и командного состава. Старые офицеры избегали службы у красных, а унтер-офицеры хоть и были мужественными, преданными бойцами, однако не всегда могли должным образом управлять боевыми единицами.

IX

Итак, Деникин наступал. Красные партизаны, делая героические усилия и совершая чудеса храбрости, отбивались от наступающего врага, а в тылу лихорадочно комплектовались регулярные части Красной Армии.

С каждым днем город приобретал все более и более военный вид.

На каждой улице была расквартирована какая-нибудь часть. Ежедневно по городу проезжали батареи. На плацах и площадях производилось обучение призванных в армию. Во дворе воинского начальника стояли толпы поступавших на учет.

Повозки, нагруженные защитными рубахами, поясами и сапогами, выезжали из ворот цейхгаузов. Бывшие офицеры регистрировались у коменданта. Они заполняли карточки, расписывались и получали назначение в части. Штабы береговых батарей, размещенных в аристократических приморских кварталах, были переполнены призванными офицерами и фейерверкерами старой армии.

Многочисленные плакаты призывали к скорейшей организации регулярной Красной Армии. Самым распространенным среди них был плакат, изображавший красноармейца, уставившего на зрителя большой настойчивый указательный палец. Он говорил: «Ты еще не записался в Красную Армию?»

Служить пошли все.

Пошли служить в канцелярии полков престарелые чиновники, записались на батареи гимназисты и студенты, барышни заполняли многочисленные анкеты и садились за ремингтоны в бригадные канцелярии. Это были в большинстве случаев плохие служаки, рассчитывающие на обильный красноармейский паек и на бумажку, предохраняющую от реквизиций и уплотнений. Таких было много, но еще больше там было молодых рабочих, мастеровых и матросов бездействующего торгового флота. Это были на-

дежные, преданные граждане, желавшие как можно скорее покончить с генералом и начать новое строительство.

Время отправки на фронт первых эшелонов новых частей приближалось. Все чаще и чаще на улицах появлялись реквизированные экипажи, подъезжавшие к военному комиссариату. Из экипажей торопливо выскакивали командиры частей и их политические комиссары. Они возвращались, набитые бумагами, деньгами и инструкциями, садились в экипаж и торопились в свои части.

Части были расположены вдоль моря, на дачах. Там, среди кустов цветущего жасмина, в купах свежей акации, в жужжании пчел, в мелькании бабочек и в свисте птиц, на клумбах и лужайках стояли походные кухни, пушки, велосипеды и повозки. Там кашевары наполняли громадными черпаками котелки красноармейцев, стоящих в очереди за обедом. Там убивали быков и рубили топорами дымящиеся туши. Там пищали и кричали уточками желтые деревянные ящики полевых телефонов Эриксона.

Возле пушек спешно производилось учение.

Иногда в огородах собирались митинги красноармейцев, выносивших мужественные резолюции и желавших как можно скорее отправиться на фронт. Профессиональные организации вручали частям знамена с короткими железными лозунгами.

Еще не было единой воинской формы, еще только входил в обиход частей дисциплинарный и гарнизонный устав, еще многие командиры и красноармейцы не ночевали в частях и приходили на службу в вольном платье, подпоясанные пашками, с винтовками на плече.

Х

Наступление Деникина продолжалось.

Нужно было торопиться.

С фронта требовали подкреплений. Первыми были готовы легкий артиллерийский дивизион и два полка пехоты. Они были сведены в дивизию и подлежали отправке в первую очередь.

Я решил отправиться на фронт с первым эшелоном.

Еще за два дня до отправки в местах расположения уходящих на фронт частей было необычайное волнение. Красноармейцы, успевшие привыкнуть к тыловой гарнизонной службе, старательно готовились к походу. Они снаряжали свои походные сумки, чинили седла, проверяли те-

лефоны и чистили пушки. В коммунистических ячейках происходили длительные совещания, после которых присутствующие пели «Интернационал».

Студенты и гимназисты, попавшие в число отправляемых, не ожидавшие и не хотевшие попасть под пули, под всякими предложениями старались остаться в тылу. Многие из них сказались больными, многие дезертировали.

Красных офицеров в то время еще не было, и высшие командные должности занимали в большинстве случаев офицеры, преимущественно из числа дезертировавших из добровольческой армии. У них тоже не было ни малейшего желания идти в бой. Политическим комиссарам приходилось бдительно наблюдать за ними, и бывали случаи, когда командиров доставляли в части под конвоем. Для Красной Армии это было очень вредно, но другого положения вещей покуда не могло быть.

Партизанский отряд, взявший город, почивал на заслуженных лаврах. Он нес гарнизонную службу и отдыхал от боев, пользуясь всеми благами тыла. Начальником этого отряда был некто Григорьев, по словам одних — полковник царской армии, по словам других — авантюрист и плут, отличавшийся, впрочем, изрядной храбростью и пользовавшийся безграничным авторитетом у подчиненных ему партизан.

Отряд Григорьева являлся как бы некоторой автономной и привилегированной единицей среди прочих частей гарнизона. Партизаны Григорьева, находившиеся постоянно в победоносных боях, захватили большую военную добычу. Будучи отлично одеты, имея много денег, провианту и спирту, они возбуждали зависть прочих красноармейцев. Никакой дисциплины григорьевцы не признавали. Вернее сказать, они не признавали никакой дисциплины внешней, в то время как дисциплина внутренняя у них была. Эта внутренняя дисциплина, основанная на доверии к своему начальнику, на боевом прошлом части и национальном единстве бойцов, была очень высока. Все красноармейцы отряда Григорьева были украинцами. В свое время примкнув к Красной Армии и наступая на добровольцев, Григорьев, несомненно, преследовал некие свои сугубо личные цели. Он мстил генералу Деникину за то, что тот не признавал независимости Украины и бился под лозунгом: «Единая, неделимая Россия». Атаман Григорьев втайне был враждебен также и политике большевиков, которые призывали к единой, всемирной коммуне.

Будучи хитрым и дальнозорким человеком, Григорьев почувствовал, что своих целей ему гораздо легче добиться путем союза с Советами. Он несколько не считал себя связанным с ними и только временно подчинялся главному штабу Красной Армии. Все время он лелеял план захватить на Украине власть в свои руки и установить собственный порядок вещей. Большевики, обманутые ложными уверениями в преданности, слишком доверились атаману Григорьеву, что повело за собой целый ряд так называемых григорьевских восстаний.

День нашего выступления был назначен.

С утра артиллерия начала грузиться в эшелоны, поданные к рампе товарного вокзала. Лошади, грубо ступая подковами по сходням, со страхом шарахались в вагоны. Солдаты вкатывали на площадки пушки и зарядные ящики, кашевары подкладывали под колеса кухонь деревянные клинышки и размещали продукты на полках теплушки-кухни. Красноармейцы, отпущенные на несколько часов в город к семьям, собирались на рампу, суровые и молчаливые. Многие жены с детьми пришли попрощаться с ними на вокзал. Часовые расхаживали возле вагонов и ящиков с патронами. Телефонисты проводили провод вдоль всего эшелона. В командирский вагон вносили пишущую машинку, крышка которой гремела жестяным, театральным громом.

Наконец батареи были погружены. Теперь наступила очередь пехоты. Ее не было.

Вдруг с вокзальной площади послышались залпы и шум. Я побежал посмотреть, что случилось, и скоро очутился у главного подъезда, на ступеньках гранитной лестницы. Отсюда была видна вся вокзальная площадь. Посередине этой площади зеленел круглый европейский сквер, обнесенный чугунной узорной решеткой. Обычно в сквере гуляли толпы красноармейцев и девушек, соривших подсолнухами. Тут фокусники-китайцы показывали зевакам свое искусство, тут бабы торговали бубликами, тут мальчишки продавали десятками дешевые самодельные папиросы из сушеной травы.

Теперь здесь творилось нечто непонятное, но крайне тревожное. Возле большого серого красивого здания бывших судебных установлений, выходявшего левным фасадом к саду, стоял граненый броневик.

Два плоских и раскосых китайца лежали на стальной крыше машины, держа ружья на изготовку. Широкоплечий матрос Черноморского флота, выставивший из тель-

ника атлетическую, сплошь вытатуированную грудь, смотрел в толпу, расставив ноги колоколами и потрясая маузером. Две жилы в виде ижицы были натужены на его прямом, очень смуглом лбу. Толпа, косо подавшаяся подальше от броневика, угрюмо молчала. Вокзал был оцеплен матросами. Я пригляделся к толпе. Она почти сплошь состояла из солдат. Это были партизаны атамана Григорьева. Что произошло возле вокзала, нельзя было понять, но мне сказали, что два полка, назначенные к отправке, внезапно восстали, требуя, чтобы их оставили в тылу. Передавали, что эти полки, стоявшие рядом с отрядом Григорьева, распропагандированные украинскими «самостийными» шовинистами, примкнули к атаману и неожиданно как для самого Григорьева, так и для красного командования выступили против власти. Они преждевременно открыли карты Григорьева и, не получив от него поддержки, принуждены были сложить оружие. Говорили, что часть их отправилась к вокзалу, желая обратиться на свою сторону артиллеристов и воспрепятствовать батареям выехать на фронт. Возле вокзала произошло столкновение с броневиком, после чего последние вспышки мятежа были затушены.

Однако взбунтовавшиеся части необходимо было совершенно переформировать, и батареям пришлось выступить в поход вне своей пехоты. Этим же вечером наши эшелоны вышли в северо-восточном направлении по Новой Бахмачской дороге.

XI

Эшелон гнали всю ночь.

Фонари мелькавших полустанков стреляли в щели вагонов, пугая лошадей. Никто не имел права задерживать поезд на станции свыше пяти минут. Последние полученные в городе сведения с фронта были крайне тревожны. Необходимо было торопиться.

Наутро я увидел, что поезд идет уже очень далеко от города. Вокруг была зеленая, весенняя степь. Реки блестили в туманных впадинах местности. Скот, оставленный пасться на ночь в поле, бродил, опустив головы, в мокрой и темной траве. Ветер дул в широко раздвинутые двери товарного вагона, принося сложную и очаровательную смесь полевых запахов. Телеграфные столбы проплывали мимо нас с удивительной быстротой, и ряды проволоки

волнообразно подымались и опускались, подбрасываемые стуком колес по стыкам.

В десять часов утра мы достигли большой узловой станции; в котловине скрывался город, именем которого она называлась. Эшелон остановился. Здесь должна была произойти проверка личного состава. Красноармейцы выпрыгивали из вагонов и строились против состава, по линии противоположного полотна. Их лица носили на себе еще туманные следы утра, но глаза блестели на солнце, и новый путевой ветер возбуждал в них новые мысли, так не похожие на мысли, занимавшие их в тылу. Сила города, тяготевшая над ними, была разрушена.

Общая переключка обнаружила многих дезертиров. Их списки были немедленно сданы на телеграф и отправлены по адресу военного комиссариата и чрезвычайной комиссии. На путях станции стояли также и другие эшелоны, отправлявшиеся туда же, куда и мы. Солдаты умывались, сливая друг другу воду из котелков и кружек. Очень яркая и радужная вода брызгала вокруг разноцветными каплями и, падая в густую, уже теплую пыль, сворачивалась крупными ртутными шариками.

Совершив проверку и осмотр части, командир приказал продолжать дорогу. Эшелон тронулся, провожаемый многочисленным провинциальным населением, пришедшим из города посмотреть на войска, уходящие в бой.

За день мы проехали две или три губернии. На крупных станциях везде было одно и то же. Торговки предлагали булки и яйца, мальчишки бегали, протягивая махорку, похожую на конский навоз, и дешевые папиросы. Мужики в похожих на верблюжьих свитках, подпоясанные красными кушаками, опирались на высокие палки и цурились на солнце. Матросы с бронепоездов и кавалеристы многих эскадронов, ярко и живописно одетые, рассказывали нашим красноармейцам о своих военных подвигах и о положении дел в стране.

Положение в стране было самое запутанное. Разнообразное и многочисленное население желало самых разнообразных режимов, начиная от реставрации старого и кончая введением полного анархизма. Каждый уезд и, пожалуй, каждая волость желали по-своему устроить свою жизнь, совершенно не считаясь с желаниями других уездов и волостей. Значительная часть мечтала о директории, некоторая часть требовала гетмана, очень многие были сторонниками анархиста и демагога Махно, отряды которого были повсюду. Молодежь преимущественно сочув-

ствовала власти Советов, но недостаток агитаторов и литературы не позволял это сочувственное отношение превратить в реальную силу. Молодой Советской власти были свойственны все ошибки и недостатки молодой власти.

Дальнейшее продвижение было сопряжено с некоторой опасностью. Несмотря на то что, подобно атаману Григорьеву, Махно формально примыкал к красным и вместе с ними отражал наступление Деникина, банды махновцев на местах действовали враждебно Советской власти. Неоднократно они разбирали железнодорожные пути, нападали на поезда и отнимали у проезжавших оружие, вещи и деньги. Нередко банды махновцев достигали нескольких тысяч человек, и тогда их нападения представляли опасность даже для значительного воинского эшелона. Проезжая по наиболее опасным местам, мы становились под защиту двух бронепоездов, специально конвоирующих проходящие здесь поезда.

По дороге нам передавали о дерзких нападениях на станции, о крушении эшелонов и о многих других подвигах банд, но с нами в пути не случилось ничего худого, и на следующий день мы благополучно прибыли в город Александровск — крупнейший тыловой город фронта. Здесь наши батареи подлежали окончательному укомплектованию людьми, лошадьми и снаряжением.

Батареи пробыли в городе Александровске три дня.

Эти дни были днями напряженнейшей организационной работы.

Командиры и военные комиссары почти не ложились спать. Нужно было получать новые пушки, телефонное и обозное имущество, лошадей, обмундирование, людей и деньги.

Ежедневно на батареи приезжало высшее артиллерийское начальство. Инспектор артиллерии фронта, черноусый украинец из бывших подпрапорщиков, производил тщательное инспектирование батарей. Он экзаменовал командиров, заглядывал в каналы стволов трехдюймовок, заглядывал лошадям в зубы и предъявлял красноармейцам претензии. Это был опытный артиллерийский хозяин, не более, однако, чем в батарейном масштабе. Проявляя необыкновенное внимание к мелочам, он, однако, в силу неопытности, в крупной работе армейского масштаба упускал очень много весьма важных недостатков частей. У большинства батарейных, а зачастую и дивизионных командиров не было хороших биноклей и рогатых труб

«цейса». Отсутствовали дальномеры и буссоли, а также и топографические карты предполагавшейся местности боя.

С утра до вечера командиры частей разъезжали в привезенных с собой экипажах по знойному, пыльному речному городу — из штаба в казначейство, из казначейства на вокзал, с вокзала на заводы и склады за получением необходимых мелочей для полного оборудования батарей.

Город представлял собой мужественный лагерь, сосредоточивший все роды оружия, все типы бойцов, все цвета одежд. То и дело по улицам мчались на рысях эскадроны, перестраивались, блестя штыками, полки, развевались красные знамена.

По многим типичным признакам опытный человек сразу мог определить близость фронта. Но линия наступления белых и отступления красных так быстро, неожиданно менялась, что ввиду плохой связи даже штабы не были точно осведомлены о месте сражений.

Вокруг города появлялись банды.

Здесь их было еще больше, чем в местах, по которым мы проезжали.

Город находился на левом берегу Днепра, в нескольких верстах ниже знаменитых Днепровских порогов. На правом, возвышенном, берегу орудовала большая, хорошо известная командованию и населению, банда атамана Чайковского. Чайковский был явный враг Советской власти и сторонник директории. В его распоряжении находилось несколько пушек и значительное количество кавалерии.

Заняв командные высоты на правом берегу Днепра, атаман Чайковский постоянно угрожал городу обстрелом и сильно мешал судоходству по Днепру. Почти каждый пароход, выходящий из Александровска вниз, за десять верст от города подвергался обстрелу бандитских батарей. Борьба с Чайковским было так же трудно, как и с другими украинскими бандами, обыкновенно опиравшимися на благожелательное отношение населения. Кроме того, у красных каждая регулярная часть была необходима для усиления линии фронта против генерала Деникина, где положение с каждым днем становилось все более угрожающим.

Вскоре в город прибыл штаб революционного военного совета армии, действовавшей в этом районе. Эта армия была Четырнадцатой, впоследствии так прославившейся во многих делах.

Я видел Ворошилова, командира армии, который на вокзале провожал красноармейцев. Он показался мне худым и высоким. На нем были простая кожаная фуражка и ладная кожаная куртка.

Он говорил коротко и просто. Говорил скупой, но по существу. Его слова были направлены не в сторону отвлеченных рассуждений по поводу текущего момента, но в сторону реальных требований этого момента.

Тысячная толпа уходящих на линию огня, среди которой были и наши артиллеристы, с большим вниманием и серьезностью слушала речь военачальника.

После его выступления задавали такие же простые, как и его речь, прямые солдатские вопросы, и он не торопясь, деловито отвечал на них. Во время митинга лицо у него выражало крайне сосредоточенную озабоченность.

В полночь нашу батарею погрузили в эшелон. На этот раз батарея была придана южному полку, перебрасываемому из Крыма на восточный участок фронта.

Люди этого полка были закалены в недавних боях, хорошо обмундированы и спаяны той особенной спайкой, которой отличаются солдаты, привыкшие переносить друг с другом все тяжести и опасности войны.

Командир полка, бывший прапорщик, низенький коренастый татарин, похожий на студента, человек необыкновенной силы, носивший пенсне на черном шнурке, заложенном за ухо, всю ночь, не смыкая глаз, сидел со своим помощником, наклонясь над ломберным столом, где были разложены многочисленные топографические карты.

Тяжелые медные подсвечники прыгали по ним, как лягушки, и свет двух свечей танцевал на стенах и лицах.

На Крымском фронте полк потерпел ряд жестоких разгромов. Его состав менялся трижды. Полк занял несколько городов и был известен своей храбростью. Неоднократно раненный, но всегда остававшийся в строю, командир полка был любимцем красноармейцев. Дисциплина в его части была поразительна. Теперь, переброшенный на новый фронт и попавший в новую войсковую среду, командир полка был озабочен многими важными вопросами. Он спешно по карте изучал местность, где придется биться его солдатам. Он взвешивал тысячи неожиданностей, могущих произойти в условиях этой местности. Он рассчитывал количество фуража, провианта и патронов своей части. Теперь у него прибавилась еще одна

важная забота — забота о батарее, которую ему дали, и о чужом молодом полке, шедшем под его верховным командованием.

Эшелон шел с еще большей спешностью, чем при нашем выступлении. Дождь и ветер резали по крышам вагонов. Станции головокружительно валились в хвост поезда всеми своими огнями. То и дело во тьме и шуме движения громадного расшатанного состава звучали выстрелы часовых — это значило, что произошло какое-нибудь несчастье и надо остановить состав. Однако состав не останавливался. Перед рассветом с одной из площадок упала корова. Она была привязана за рога к кольцу платформы. Часовой выстрелил. Но командир не разрешил остановить поезд. Корову проволочило версту, после чего она была убита колесами.

Эшелон наш двигался на выручку группе Красной Армии, отбивающейся от добровольцев в юго-восточном направлении. О месте происходящих боев точных сведений не имелось. По словам одних, линия фронта была далеко на юго-востоке, в середине Донецкого бассейна; по предположениям других, фронт в настоящее время находился не далее шестидесяти верст восточнее станции Лозовой, к которой приближался наш состав. Некоторые утверждали, что победа перешла к красным и в настоящее время Деникин отходит к Ростову-на-Дону. Во всяком случае, к немедленным боевым действиям никто из начальников и солдат не был готов.

Часов в одиннадцать утра, в обед, эшелон пришел на станцию Лозовую.

Предполагали, что он остановится не более чем на пять минут и будет отправлен дальше. Однако нас задержали. Никто не знал причины задержки. Солдаты вышли из вагонов и разгуливали по путям. Здесь, как и на прочих станциях, бабы продавали пироги, мальчишки — махорку и девочки — великолепное топленое молоко, покрытое коричневой пленкой, в холодных до поту глиняных кувшинах.

Кроме наших солдат, на станции не было других военных. Командир ходил на телеграф, где долго оставался на прямом проводе, лично выстукивая вопросы и получая ответы, оттиснутые на выползавшей из медного аппарата длинной бумажной стружке. Долгий опыт гражданской войны научил этого человека телеграфному коду и умению обращаться с прямым проводом без помощи телеграфиста.

Выйдя из отделения телеграфа, командир не отдал никаких распоряжений, но, приземистый, злой, в громадной бурке, широкими шагами стал расхаживать по платформе, энергично ухватившись за топографическую клеенчатую, кожаную и целлулоидную клетчатую сумку.

По другую сторону вокзала, у рампы, уже стоял разноцветный новенький состав Реввоенсовета армии.

Несколько штабных в синих галифе вошли в сине-желтый вагон-микст, у дверей которого стояли часовые с ружьями-пулеметами Луиса. Два черноморских матроса с грохотом прокатили по рампе пулемет Максима. В одном месте у зеленого вагона стояли ребром два желтых ящика с пулеметными лентами. Под вагонами росла пыльная провинциальная трава. Легкий украинский зной стоял над станцией. Лениво кричал петух. Впереди, у водокачки, слабо попыхивал пар.

Там стоял бронепоезд: два угольных, наскоро заблиндированных вагона, посередине паровоз и впереди контрольная площадка, заваленная шпалами, рельсами и стыками.

В угольных вагонах были установлены трехдюймовки со снятыми чехлами.

Несколько черноморских матросов с серьгами в левом ухе сидели у пушек, свесив брюки клеш за борт вагона.

Затем реввоенсоветовский поезд ушел.

Стало пустее и тише. Пел петух.

Командир полка шагал по рампе, изредка заходя в прохладный громадный и совершенно пустой зал первого класса, где его шаги звучали плевками по плитам.

Затем произошло общее движение.

Я видел верхушку водокачки, откуда два черноморца смотрели в бинокль вдаль. Бронепоезд подвинули назад. Сзади подошел еще один эшелон.

— Передки на батарее! — закричал кто-то.

Но и батареи, и передки, и лошади были еще на площадках и в вагонах. Эта команда была бессмысленна. Составы подали еще вперед, и отцепленные паровозы, попыхивая паром, прошли мимо состава назад.

— Разгружайся!

Солдаты, уверенные, что далее придется идти пешком порядком еще верст восемьдесят, вышли из вагонов и откинули бока площадок, чтобы разгрузить артиллерию. Некоторые стали сбрасывать на землю тюки прессованного сена.

Командир полка пробежал к своему эшелону. Одной рукой он держался за карту, другой — за черный шнурок пенсне, заложенный за ухо.

Вслед за тем внезапно всякий шум совершенно смолк, и в наступившей тишине явственно послышались короткие и редкие железные попыхивания пара, бьющего в поршень. Однако в этих редких железных вспышках было нечто угрожающее. Они делались резче. Одна из них грохнула совсем громко — в лоб.

Тогда все пришло в движение.

Люди тащили сродни к вагонам, чтобы разгрузить лошадей. Лошади прыгали и ломали ноги. Стрелки, обдергивая летние новенькие защитные рубахи, растерянно строились в две шеренги, пересчитываясь и двигая виптовки. Телефонисты тащили куда-то вправо катушки и аппараты. Кто-то страшно ругался. Составы стали опять двигать — сначала назад, а затем вперед.

Впереди, в поле, лежала цепь. Откуда она взялась, было неизвестно. Отстреливаясь, она отступала по вспаханной земле. Несколько всадников с пиками маячили на флангах, прикрывая, видимо, отступление.

Спереди вырвались две гранаты и, низко просвистав над головой, легли где-то в отдалении, за станцией. Там лопнуло два выстрела.

Люди бросались под вагоны.

Черноморцы сбегали с водокачки вниз. Бронепоезд отходил назад. Следующие две гранаты упали ближе, по наступавших не было за суматохой видно.

Паровозы отчаянно засвистали.

Следующая граната проломилась крышу вокзала, и из крыши повалил дым и полетели щепки.

Кто-то скороговоркой сказал:

— Добровольческие броневики прорвались в тыл.

Ружейная трескотня приближалась. Шальная пуля щелкнула в рельс и пропела рикошетом.

Началась паника.

Через десять минут станция была почти очищена. Наполовину разгруженные составы уходили по трем направлениям: на Екатеринослав, на Полтаву и на Харьков.

Массы одиночек шли вразброд по вспаханному полю куда глаза глядят. Конные патрули тщетно останавливали бегущих. Эскадроны гнали табуны неоседланных лошадей. Военком какой-то совершенно незнакомой части ехал на бегунках, окруженный всадниками. Издали станция ка-

залась разбитым ульем. Из нее валил дым. Над ней рвались шрапнели. Составы катились, поблескивая стеклами на опустившемся солнце.

Невидимый неприятель, бывший из морских скорострелок по отступающим, приводил в состояние полного замешательства и расстройства.

Отступив верст за пятнадцать, эшелоны остановились.

Здесь было решено подтянуться и окопаться. Но распоряжений никаких еще никто из командиров не получил. Начальники производили учет сил. Путаница была невероятная. Часть артиллерии была увезена на Екатеринослав, часть — на Харьков. Трех четвертей людей не хватало. Вечер застиг эшелоны стоящими на полустанке в нерешительности.

Командир полка, проходя вдоль эшелона, сказал адъютанту:

— Это все партизанщина. Кустарная война. Мы должны бить гадов по всем правилам.

Две гранаты резнули воздух и разорвались. Одна попала под колеса паровоза, другая раскидала в клочья пресованное сено.

Обезумевшие люди бросились бежать.

По густой желтой полосе зари, как в агонии, скакали всадники, падали стрелки, мелькали руки и ноги. Вся эта бегущая в одном направлении неорганизованная, страшная черная масса, сливающаяся с наступающей ночью, была незабываема.

XIII

Долой партизанщину! Таков был лозунг, под которым летом 1919 года на Украине организовывали Красную Армию. Почти беспрерывно армия была в деле. Разнородные, подчас автономные, отряды самых разнообразных родов оружия бились с наступавшими белыми на юго-востоке Украины. Эти партизанские отряды, группы и почти корпуса, не имевшие между собой связи, не имевшие общего командования, подчинявшиеся своему командиру и не признававшие других распоряжений, действовали на свой риск и страх, отражая планомерное наступление Деникина, предпринятое по всем правилам французской и английской стратегии.

При таком положении дел боевых успехов быть не могло. И даже сила одной общей идеи, вдохновлявшей

все эти разнородные партизанские единицы, была бес- сильной остановить наступление белых.

То и дело в тылу вспыхивали восстания, беспорядки и неурядицы. В большинстве случаев они были основаны на пустячных недоразумениях и могли произойти только в условиях отсутствия связи, агитации и единства коман- дования.

Я видел на станции Синельниково партизанскую часть из нескольких эскадронов одного из царских кавалерий- ских полков. Всадники этого отряда полностью сохранили свою старую форму (погон и кокард, конечно, не было). Георгиевские кресты, медали и прочие знаки отличия но- сились солдатами с полным достоинством, и с таким же достоинством, по-видимому, сохранялись все прежние тра- диции полка. При всем этом полк был революционен и го- тов был драться за Советы со всей своей доблестью.

Отряд, задержанный по каким-то причинам на не- сколько дней, расквартировался на станции. Солдаты от- ряда держались особняком от солдат других проходящих, расквартированных здесь частей. Было такое впечатление, что солдаты этого партизанского отряда считают себя глав- ным оплотом Советов и другим воинским частям не дове- ряют.

В местном железнодорожном театре ежевечерне шли спектакли. Перед спектаклями устраивались митинги. Солдаты, наполнявшие театр, выходили на эстраду и го- ворили. Каждый говорил на своем языке и о своем. И сколько было частей, столько было мнений и интересов. Каждая часть оценивала события по-своему. Но никто не понимал друг друга.

Атмосфера была натянутая и взвинченная.

Кавалеристы партизанского отряда заполняли обычно более половины театра. Их ораторы наиболее часто гово- рили. Я слышал одного из них. Это был коренастый немо- лодой рыжий улан, по-видимому младший унтер-офицер. У него на груди висел какой-то очень странный медный священнический крест на владимирской черно-красной ленте. Выпятив грудь в коричневом мундире колесом и теребя ус, он стал говорить. Насколько можно было понять, он требовал немедленного наступления и уничто- жения внешнего и внутреннего врага. Под врагами внеш- ними он подразумевал белых офицеров, под врагами внутренними — «жидов, чеку и комиссаров». При этом он кричал: «Да здравствуют Советы!»

Керосиновые лампы с трудом пробивались сквозь тя-

желый махорочный воздух. Шелуха семечек на пол-аршина покрывала пол. Из дырок полопавшегося занавеса в зрительный зал смотрели блестящие глаза актеров. Из оркестра торчали грифы контрабасов и флейты.

Батарейцы имени Ленина, проездом через станцию зашедшие в театр, были взволнованы словами, произносившимися с эстрады. Один из батарейцев крикнул оратору:

— Эй, ты, чего кресты царские на груди развесил!

Военком схватился за наган.

Внезапно все вскочили с мест. Рыжий улан, побагровевший, потный и злой, подскочил к батарейцу и взял его за ворот. Солдаты заревели. Лампы мгновенно были разбиты.

— Махновцы! — закричал кто-то во тьме и давке.

— Буду стрелять!

И вдруг:

— Берегись, кидаю бомбу!

Озверевшие люди ринулись к дверям, опрокидывая скамьи и теряя фуражки. В ту пору каждый партизан носил за поясом ручные гранаты.

Я видел, как люди выскочили на темную, грязную улицу. В совершенно черном небе несколькими разноцветными звездами блистал вокзал. Туда бежали батарейцы, спасаясь от партизан. Они размахивали ручными бомбами. Хлопнул револьверный выстрел. И еще долго партизаны ходили с фонарями по всем эшелонам, отыскивая батарейцев. Они отдирали тяжелые двери теплушек и освещали спящих. К утру все успокоилось. Но военком артиллерийской части в волнении просидел на телеграфе до утра.

Таково было это время военной партизанщины на Украине.

1920

ПОЛИТОТДЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Семнадцатого июня выехали. 18-го приехали. Я был болен. Нас встретил Костин. Он отвез нас на машине, сделавшей на своем веку сто шестьдесят тысяч километров, — то есть четыре раза вокруг света по экватору! — в Зацепы, на МТС.

Был вечер.

Мы пошли в дом и поднялись по деревянной лестнице во второй этаж. Костин занимает две комнаты, не хуже приличных московских, из которых одну предложил нам — столовую. Есть электричество. МТС дает свет даже железно-дорожной станции.

Где-то все время постукивает двигатель.

В столовой, где нам постелили, — стол, над ним лампочка под маленьким цветным матерчатым абажуром, два окна, на них шторы; платяной шкаф, письменный столик, превращенный в туалетный, — с зеркальцем, флаконом, мылом, зубными щетками и книгами; несколько стульев; в уголке табуретка, превращенная в детский столик, — с тетрадками, книжками и т. д. У Костина гостит восьмилетняя дочь Леночка. Она спала здесь на диванчике. Теперь ее перевели к Зое Васильевне, жене начальника политотдела. Зоя Васильевна, молодая, милая, услужливая женщина, возится с Леночкой, заменяет ей маму.

Нас кормили, поили чаем, укладывали спать.

Сильный ветер, погода сомнительная, довольно холодно. Хорошо, что взял пальто. Температура около тридцати девяти, знобит. Звезды. Как старых знакомых узнаю Большую Медведицу, Кассиопею и множество других, коих не знаю имен, но хорошо помню форму. Очень белый и яркий Млечный Путь.

Всюду на столбах лампочки.

Свет в нескольких корпусах, но что там — неизвестно. И не хочется спрашивать, — скорей спать!

Близость станции. Сигналы. Семафоры. Звонки. В комнате несколько больших букетов полевых цветов.

Ложимся. Вокруг белые, чистые, чужие стены и чужие запахи нового места. Белая печь. За печью на вешалке пальто и две соломенные деревенские шляпы, которые называют «брили».

Елисеев тушит свет.

Я лежу. Меня мучат жар и бессонница. Вдруг слышу — во тьме Елисеев ест редиску. Ест, вкусно хрустя. Съел одну, начал другую. Потом еще. И еще. Что такое? Я не знал за ним такого аппетита.

— Елисеев!

— А?

— Что это вы грызете? Редиску, что ли?

— Нет. Наоборот, я думал, это вы.

— Нет, не я.

— Тогда, наверное, это мышь нашла что-нибудь на столе.

Он зажигает свет. Шарит по столу.

Он обходит всю комнату, ищет мышиную нору, ищет долго. Наконец находит возле печки спичечную коробочку и в ней большого жука. Все ясно. Это Леночка спрятала.

— Выбросить?

Жалко Леночку.

Однако жук мешает спать.

Елисеев осторожно выходит в коридор и там осторожно кладет коробочку на стол. Все стихает. Темнота. Меня продолжает мучить жар. Потом я начинаю потеть. Потеею так, что обе простыни хоть выжми. Никогда в жизни так не потел. А вокруг тридцать пять тысяч га колхозных полей, подготовка к уборочной, комбайны, тракторы, бригады, колхозы, полеводы, инструкции, противоречия; все это еще мне не совсем понятно, еще не разобрался, что к чему.

Так до утра.

Двадцать второго Костину нужно было съездить в колхоз «Красный партизан» — отвезти лозунги и материалы к предстоящей политбеседе. Пригласил нас. Часов в двенадцать мы отправились на бричке — Костин, Елисеев, Зоя Васильевна и я. Это километров десять — двенадцать.

По дороге смотрели хлеба. Очень хороши. Земля вокруг тщательно возделана.

Из «Красного партизана» поехали в поле, к бригаде стариков косарей. Их Зоя Васильевна как-то обещала снять и теперь решила исполнить обещание.

По дороге осматривали хлеба. Особенно меня поразил кусок возле церкви со снятыми крестами — громаднейшая, густейшая, ровнейшая и чистейшая пшеница. Чтобы войти в нее, падо сильно напрягать руки, разбирая ее свежую крепкую чащу. Куда хватает глаз — отличнейшие хлеба. Неожиданно для традиционного русского пейзажа — абсолютное отсутствие межей. Сплошные зеленя.

Дороги прокладывают с помощью трактора.

Мы нашли косарей на склоне балки. Три старика в шляпах и широких рубахах широко и легко косили луг. Густое белое молоко сока сворачивалось большими каплями на срезанных стеблях молочая.

Зоя Васильевна засуетилась, живописно расставила стариков, утвердила свой треножник и велела им косить. Они, очень довольные, пошли цепью вниз, размахивая косами. Трава ложилась легкими рядами.

Тут Зоя Васильевна спохватилась — она забыла в тарантасе кассету. Она с криком побежала за ней.

А старики продолжали мерно и неуклонно идти.

Когда Зоя Васильевна прибежала с кассетой к аппарату, старики уже прошли мимо. Она обежала их и стала снова наводить, но, покуда наводила, старики опять прошли мимо, лихо кидая косами. Они ничего не видели и не слышали. Она была в отчаянии. А они, три старика с громадными бородами, сбитыми ветром в одну сторону, шагали вниз по кособору, неуклонно, равнодушно, торжественно. За ними страшно чернела надвигающаяся туча, бежала рожь, сверкала молния, катился гром.

— Подождите! — кричала она, чуть не плача, эта милая неудачница-энтузиастка в своем сером прозхалатике, с большими растрепанными волосами, и бежала за ними, спотыкаясь, прижимая к груди обеими голыми руками треножник, аппарат, черный платок и кассеты, падающие в скошенную траву.

Старики не слышали. Они размеренно и неудержимо шагали вниз, упоенные славой и предвкушая увидеть свои фотографии в газете.

Между тем гроза приближалась. В черной туче висели светло-белые полосы. Оттуда дышало льдом. С тревогой говорили, что будет град.

Старые косари работали быстрее, чем молодой фотограф.

Гроза не состоялась, Елисей поймал в покосе ящерицу и спрятал себе в кепи. Ящерица всю дорогу бегала вокруг по голове.

В «Красном партизане» нам дали графин молока и кусок желтого кукурузного хлеба, более красивого, чем вкусного. Мы поели, заплатили за это колхозу три рубля и получили квитанцию.

Я всю дорогу сидел на козлах и радовался, как ребенок. Вспоминал детство — какое счастье сидеть на козлах и погонять!

Приехали около семи и весело пообедали.

Все еще болен. Утром встал рано. За двумя большими, очень широкими окнами туман. Плохой день. Здесь все время погода дождливая. Это удручает.

С жуком в коробке смешное положение.

Костин за чаем рассказывает:

— Ночью просыпаюсь от шума. Как будто бы в коридоре под моей дверью кто-то грызет кость... как вурдалак. Ну, невозможно заснуть. Я выхожу. Обшарил весь коридор. Вижу коробочку. Открываю — жук, будь трижды про-

клят. Взял эту коробочку, разозлился — и ко всем чертям в окошко!

Мы ахнули:

— Это же Леночкин жук!

Костин смеется:

— Ничего. Переживет.

К чаю является Леночка на своих длиннющих ногах. Она озабоченно идет к печке, пожимает худенькими плечами, ходит по комнате, заглядывает в углы.

Все смеются.

Одним словом, ходили во двор, искали под окном в бурьяне, пока не нашли знаменитую коробочку с жуком. Жук сейчас водворен в банку и закрыт крышечкой.

Немножко гулял возле дома. Ветер, пасмурно, холодно. Скучно. Внизу бухгалтерия и контора агронома. Щелкают счеты, сидят «клерки», согнувшись над бумагами.

Рядом с нами, во втором этаже, специальная комната для заседаний.

Политотдел при Зацепской МТС существует всего каких-нибудь четыре-пять месяцев. Срок, в общем, небольшой — от подготовки к весеннему севу до начала уборочной. Но как много сделано за этот небольшой срок!

Сейчас политотдел при Зацепской МТС является подлинным, крепким, авторитетным партийным центром двадцати двух колхозов и коммун, входящих в сферу деятельности МТС.

Политотдельцы оказались народом выдержанным, настойчивым, целеустремленным.

Они работают под лозунгом: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять!»

И они не на словах, а на деле берут эти крепости одну за другой.

Колхозница пришла в политотдел, чтобы ее научили устроить в своем колхозе ясли. Конную молотилку заменяют паровой, а паровую — комбайном.

Революцией насыщены наши дни.

Громаднейшие, неисчерпаемые запасы человеческой инициативы и энергии освобождаются всюду.

Нужно этой инициативе и энергии дать политически верное направление, нужно их наиболее рационально переработать.

И политотдел направляет, перерабатывает.

Ежедневно через зеленый двор проходят сотни самых разнообразных людей — от семнадцатилетних черноглазых хлопцев и до семидесятилетних дремучих дедов.

И каждый выходит не таким, каким он вошел. Выходит обогащенным, заряженным волей к труду и победе.

Глубоко неверно представлять себе машинно-тракторную станцию только как некое хозяйственное предприятие, предназначенное для того, чтобы за известное вознаграждение посылать свои машины па колхозные поля.

МТС представляет собой сложный политический и культурно-хозяйственный комбинат.

За последние восемь дней помимо своей очередной работы политотдел МТС проделал следующее.

Проведен слет колхозниц-ударниц. На этом слете подробнейшим образом прорабатывались практические вопросы прополки, предстоящей уборки и поставки хлеба государству.

Был слет косарей ближайших колхозов. Восемьдесят человек, главным образом старики, демонстрировали свою подготовку к покосу. На лугу собрались на митинг. Тут же провели конкурс на лучшего косаря. Артели выставили косцов. Косили на первенство артелей. Учитывали не только лучшую косьбу, но и лучшую подготовку инструмента — мантачки, бабки, молотка, ведра и др. Старики передавали молодым косарям свой производственный опыт.

В течение пяти дней происходил семинар секретарей комсомольских ячеек. Проводил занятия весь политотдел. Проработали партийные решения, вопросы уборочной кампании и поставки хлеба государству.

Сто пятьдесят человек переменников собрались, с тем чтобы организовать охрану урожая. Был подробнейшим образом разработан план охраны дорог, посевов, домов. Установили места, где будут построены сторожевые вышки. Сто пятьдесят человек переменников поклялись быть надежной охраной колхозного урожая от кулаков, воров и вредителей.

Пятьдесят селькоров разрабатывали план обслуживания бригад полевыми газетами. Делились опытом. Тут же, на месте, был написан, составлен и склеен пробный, опытный номер газеты «Пером селькора».

В течение полутора месяцев изо дня в день идут регулярные занятия комбайнеров и штурвальных. Их семьдесят человек — пятьдесят три комбайнера и семнадцать штурвальных. Их прислали сюда колхозы, самых талантливых, самых крепких.

Деятнадцать человек прошли курсы машинистов молотилок. Были пятидневные курсы весовщиков, учетчиков, полеводов, силосовальщиков, кладовщиков.

Целый день через зеленый двор проходят все новые и новые десятки и сотни людей. Все помещения МТС с утра до вечера заняты слетами, заседаниями, конференциями, семинарами, комиссиями.

В широкое окно виден зеленый луг двора. Розовые стены строящейся конторы. Свежие штабеля леса. Известка. Камень. Со свистом дышит пила. В ремонтной мастерской крутятся шкивы, летают трансмиссии. Бабы кончают обмазывать коровник. В столовую тянутся гуськом парни и девчата. Это какая-то очередная конференция. Столовая — главный конференц-зал.

Сегодня закончен ремонт.

Стоят машины, готовые к работе.

Зерно взошло далеко не обычной густоты и чистоты. Сквозь хлеба трудно продираться.

А во втором этаже, в небольшой комнате — кабинете начальника политотдела, заседание политотдела с участием агрономов и полеводов. Разрабатывается план уборочной и поставки хлеба государству.

Район принял на себя обязательство доставить хлеб на пункт за двадцать дней. Все дело теперь в том, когда можно будет начинать косовицу. В этом весь гвоздь.

Товарищ Розанов напряженно ждет, что скажет по этому поводу агроном.

— Что ж, Тарас Михайлович,— говорит агроном, дымя длинной трубкой,— что касается начала косовицы, то я думаю — между десятым и пятнадцатым.

Товарищ Розанов вертит шей. Ему мешает ворот ладно выглаженной длинной полотняной рубахи. Он весь розовеет. Сквозь коротко стриженные светлые волосы видно, как розовеет кожа его темени. Он нервно посмеивается, решительно встает и упирается кулаками в стол.

— Вот что, дорогой Евдоким Яковлевич... Это дело неподходящее. Десятое, пятнадцатое... ни то, ни другое.

Он делает короткую паузу — и вдруг как ножом:

— Пятое! Понятно? Пятое... Вот... пятое-е!

Агроном опускает глаза, и очень легкая улыбка скользит по его тонким, плотно сжатым губам. Он пожимает плечами:

— Ну, пусть пятое. Только я не рассчитываю на хлеб. К пятому хлеб безусловно не будет готов. Числа десятого, двенадцатого.

— Ага! Уже не пятнадцатого, а двенадцатого? А я вам говорю, что не двенадцатого, не десятого и даже не восьмого, а пятого. Понятно? Пятого!.. Понятно вам? Пятого! — Он наклоняет к столу круглую, розовую, упрямую голову и повторяет: — Пятого... Первый день косьбы — пятого!

— Тарас Михайлович... а если хлеб не поспеет? — жалобно говорит агроном.

— Поспеет! — кричит Розанов. — Должен поспеть!

Все смеются. Но Розанов еще ниже опускает голову, как будто собирается бодаться.

— Нужно вырвать у природы лишние дни, — быстро говорит он. — Не может быть такого случая, чтобы ни на одном участке из тридцати пяти тысяч га не поспел хлеб пятого. Обязательно где-нибудь поспеет. Ведь так?

— Это так. Где-нибудь да поспеет...

— Так вот я это самое и говорю! Значит, что нужно, чтобы не пропустить? Нужно немедленно выделить людей и организовать дозоры. Понятно? Пускай день и ночь ходят дозоры. Как только где заметят, что можно начинать косить, так и начнем, ни одной минуты не пропуская.

Заседание закрывается.

Розанов с непокрытой головой ходит по двору. Ему жарко. Он устал. Где-то вокруг зреют, наливаются хлеба. Он видит эшелон с хлебом, который идет в крупный рабочий центр. Длинный и быстрый эшелон с их хлебом.

Розанов смотрит на небо. Небо в тучах. Дует ветер. Бежит трава. Розанову страшно хочется солнца.

Он идет, опустив крепкую круглую голову. Он бормочет сквозь зубы:

— Нужно вырвать у природы лишние дни. В этом вся штука.

Разошлись по квартирам. Чувствую себя немного лучше.

Обедали.

На столе в стеклянном кувшине громадный букет белой акации. Какой милый, забытый, но с детства памятный одесский запах...

Гулял по двору, размышлял. Сейчас здесь все живет ощущением надвигающегося боя. Надвигающийся бой — это уборка, сдача и т. д.

Виды на урожай блестящие. Общее мнение. Но срок начала уборки зависит от погоды. Будет солнце — уборка

начнется пятого. Нет — тогда не раньше пятнадцатого. Десять дней — это чудовищный срок в данных условиях. Все дело решает колос. Мы окружены полями. Там происходит созревание.

Пятнадцать — двадцать дней ожидания. Но эти пятнадцать дней зато с напряжением употребляются на подготовку к самому действию.

На днях ездил в пятую бригаду колхоза «Первое мая», на поле. В семь часов утра.

Они должны были полоть.

Силосная башня. Потом дорога. Ястреб на проводах. Шиповник. Дикая маслина. Кустарник.

Собирался дождь. Было холодно и пасмурно. Возле омета старой соломы — три телеги. Казан, дрова, вода, крупа. Баба-кухарка. Широкоплечий бригадир. Он точил напильником сапы. И еще один мужчина, круглолицый, со щербатыми зубами, добродушный. И еще хлопец лет семнадцати в помощь кухарке — он колол дрова.

Остальные — женщины. Их двадцать пять. Они только пошли с сапами полоть кукурузу, как дождь. Они вернулись бегом к омету.

Разговорились. Жаловались, что им не записывают трудни.

Опять пошел дождь. День пропал. Они томились, кутались. Дымились сырые дрова под казаном. Все не могли разгореться. Старая кухарка жаловалась, что непременно помрет от такой погоды, чтоб она провалилась!

— Не умрешь, — сказала ей другая старуха. — Кухарка умрет — ее и поп не запечатает.

Все неохотно засмеялись. Раздражал дождь.

Перед вечером поехали с Костиным в артель за двенадцать километров. По дороге нас застигла гроза. Четыре километра ехали под проливным дождем.

В правлении артели, в маленькой глиняной комнате, застали главу артели Афанасьева. В прошлом это питерский рабочий. Тертый калач. Всюду побывал. Ему тридцать шесть лет. Он маленький, курносый, разбитной, бывалый, хромает.

В империалистическую был шофером в гаубичном дивизионе восьмидюймовых «виккерсов». С семнадцатого года в партии. Был в Кимрах на обувной фабрике. В гражданскую кружил по всем фронтам: Сибирь, Урал, Северный, Польский, наконец, Южный — почти полный круг.

Был где-то директором маленькой электростанции; был районным партработником по крестьянским земельным делам; был председателем суда.

Когда мы вошли, он писал длинное письмо товарищу Хатаевичу.

Артель получила от Хатаевича письмо, теперь он отвечал.

С видимым удовольствием и с наигранным равнодушием Афанасьев сказал:

— Он — нам письмо. Теперь я — ему. Так у нас и наладятся дружественные отношения, переписка.

Рассказывал, как он приехал в январе в артель. Был полный развал.

— Все правление сбежало. Сдрейфили. Председатель Чернов сбежал. Оставил печать маленькому сынишке и сказал: «Дня через два-три сдашь в правление».

Пацан приходит и сдает печать. Смех и грех. Два члена правления, ничего никому не сказав, следом за ним, прямо на станцию, конечно ночью, и тоже, стало быть, сбежали. Один Дейнега из всего правления остался за председателя. Он и голова, и завхоз, он и производственная часть, и секретарь, и все на свете. Сказал: «Не уйду с поста», — и не ушел.

Тут меня прислали. Меня здесь народ добре знает. Я сменил Дейнегу. Дейнега стал членом правления по производственной части. Мы с ним работаем. Голова сельрады, товарищ Устенко, тоже с нами добре работал. Он сюда еще раньше меня приехал. Он вам более подробно может рассказать, что тут творилось. Ой, что творилось! Полный развал, окончательный развал. Я вообще по-русски говорю и пишу. Но пришлось говорить и писать по-украински. Теперь у меня в голове фюрменная путаница, как говорится, «суржик». Пишу по-русски — украинские слова вставляю и наоборот. А недавно я писал своим братьям в Питер письмо, забылся, да и написал его сквозь по-украински. Они мне отвечают: «Что такое? Мало мы поняли!» А я только тогда сообразил.

Голова идет кругом.

Я писал дневник своей жизни. Еще с фронта. Снимал копии со всех писем, которые я писал и которые мне писали. Очень интересно. Это у меня на квартире в Питере осталось.

А вот и товарищ Устенко. Здорово, товарищ Устенко!

Вошел Устенко — большой, костлявый, в брезентовом плаще, с наружностью вольнолюбивого и несколько мрач-

ного солдата-фронтовика революционной, большевистской закваски.

Он пришел с кнутом в руках и сел в углу на табурет. Узнав, о чем идет разговор, он улыбнулся и заметил:

— Ох, тут дел было, я вам скажу! Я здесь уже давно, с ноября месяца. Я свидетель всех этих дел. Могу вам все рассказать, вы только записывайте. А не хотите сами записывать, — я вам могу все сам записать. Вы мне только бумаги достаньте, какой ни на есть бумаги. Я вам карандашом вот столько бумаги напишу, все факты со своей подписью, все как было. Вот столько бумаги могу исписать карандашом, — он показал толстую кипу большими руками. — Я могу и чернилом, только простым карандашом легче: карандаш — тот сам так по бумаге и бегаёт. Я вам могу целую кипу написать за своей подписью, а вы потом как хотите это используйте. Можно, конечно, и в роман вставить, можно и пьеску сделать. Для пьески очень хорошо, как все тутошнее правление разбежалось.

— Я уже рассказывал, — заметил Афанасьев.

— А я вам это все могу написать. Я сам роман из своей жпзни написал. Карандашом. Вот такую кипу. Всю мою жизнь описал.

— Где ж он сейчас, этот роман?

— Где? Пропал. Я его оставил на столе и ушел. А у меня, знаете, сынишка маленький. Ну, у него нет другого удовольствия, как что-нибудь шкодить. Особенно рвать бумагу любит. Как увидит — книжка или какая-нибудь тетрадка, он ее сейчас же берет и начинает отрывать листья. Оторвет один — подивится, подивится и бросит. Потом другой, потом третий и так далее, пока по всей хате листов не набросает. А сам смеется! А сам смеется!

Тут и сам Устенко улыбнулся пезной улыбкой отца, восхищенного шкодами своего малютки.

— А что ж, хороший, по крайней мере, был этот сбежавший председатель Чернов?

Афанасьев сморщил курносый нос и вытащил из кармана черный кожаный портсигар.

— Председатель из него — пустое место. Он всех боялся. С людьми не разговаривал. Только любил проводить свою линию и с правлением совершенно не считался. Едет в бричке по степу мимо бригады — никогда к людям не подойдет. Остановит бричку и кричит: «Бригадира!» И командует бригадиру: сделай так, сделай сяк, чтоб все было исполнено. И поедет дальше, даже не попрощается. Он к людям так, и люди к нему так. Потерял всякий авторитет.

Запрется в комнате в правлении. Вот в этой самой комнате. Всю комнату лозунгами залепил. Всюду лозунги, лозунги, лозунги. Народ к нему заходит, спрашивает какого-нибудь совета или же разъяснения, а он положит голову в бумаги, будто бы сильно занят, и молчит. А народ стоит. Его спрашивают, а он молчит, молчит, молчит, и ни слова от него не добьешься, ну буквально ни звука. Или наоборот: откинется на спинку стула, задерет голову вверх, нос до горы, закроет глаза и так заносчиво молчит, только ноздри, как две дырки, людям видны, и молчит, и молчит, и молчит с закрытыми глазами, как той проклятый.

Конечно, с ним окончательно перестали считаться.

Каждый делает, что ему захочется, без всякого руководства. И кулачью это было на руку. Они стали вертеть народом как угодно. И ни от кого никакого не имели сопротивления. Прямо развалил все дело. Шляпа.

— А где же они сейчас, ваш бывший голова Чернов и все сбежавшие правленцы? Так и пропали?

— Зачем? Они сейчас все тут. Повозвращались один за другим.

— И Чернов вернулся?

— А как же! Вернулся. Один раз ночью я сижу вот здесь, за этим самым столом, вдруг слышу — такой тихонький стук в дверь, такой остороженький стук. И такой тоненький голосок: «Можно до вас?» А я ему таким громким басом: «Войдите!» Входит. Остороженько подходит до меня. Таким мягоньким голоском этак ласково: «Здравствуйте, товарищ Афанасьев». А я ему басом: «Здравствуй, Чернов. Что скажешь, Чернов?» А он: «Вот я пришел». — «Вижу, что ты пришел, и ну?» — «Примите меня обратно в артель». — «А мы тебя, Чернов, и не исключали. Иди в бригаду, работай». Так он и пошел в бригаду рядовым колхозником. Ну, только рядовой колхозник из него оказался абсолютно никуда. Еще хуже, чем председатель. А кажется, был все-таки председателем, все дела артельные должен бы знать... А! — воскликнул вдруг Афанасьев. — Вот и многоуважаемый товарищ Дейнега! Здорово, Дейнега!

Вошел Дейнега.

В черном большом картузе на уши; рыже-черные, сильно опущенные усы; черные, густые, высокие брови на темном, худом крестьянском лице; босой; высоко закатанные штаны; худые, черные от загара и грязи ноги; черный пиджак.

В комнату протиснулся еще один человек, в грубом брезентовом плаще, большой, согнутый в плечах, с

длинным, большим носом, а на носу красная горбинка, — распространенный тип украинского крестьянина, из тех, которых называют «дубоносый» или же «дубастый». Он вошел с ясной, но несколько блудливой улыбкой.

— А! Вот вам, пожалуйста! Один из наших беглецов. Товарищ Чернов, бывший наш председатель. А пу-ка, расскажи людям, как ты бегал!

— Бегал — и все. Что ж там рассказывать! Просто бежал без всякой цели куда глаза глядят, лишь бы куда-нибудь подальше.

— Сдрейфил?

— А как же! Прямо скажу — перелякался. Ну его к черту! Ночевал по станциям с какими-то ворами. Горя нагрелся, ну его к бису! Потом вернул.

Он был немногословен и скоро замолчал.

Пошли разговоры об урожае и о погоде. Урожай должен быть исключительным, но гадят дожди. Каждый день обязательно дождь.

— Как нанятый, — сказал Афанасьев раздраженно. — Каждое утро я смотрю на ласточек. Раз низко летают, значит, обязательно будет дождь. А если не ласточки, тогда у нас главный барометр — пчелы Дейнеги.

— У меня две семьи пчел, — сказал Дейнега. — Как они сидят возле улья и не хотят лететь в степь, значит, обязательно дождь. Каждое утро я на них смотрю: если бурчат мои пчелы, значит, дождь.

Интересная поездка с Розановым в колхоз «Маяк». Правление недалеко, в Зацепах. Поехал в бричке. Часов десять утра.

Погода чудесная, небо в крупных летних облаках, солнце, синева, цветы и жаворонки.

Сначала заехали в правление.

Зашли сразу через контору в камору (склад). Там аккуратно завязанные полные узкие мешки и мешочки; отрубви кукурузные в ящике, лари пустые, часы на стене, на печке паяльная лампа и мотки синего и сурового шпагата, весы с гирями, как в лавке; на стенах хомуты, вожжи, сбруи. Все очень хозяйственно.

Розанов потребовал ведомость. Долго рассматривал записи. Продовольствия, как видно, маловато, это верно, но все же оно есть, оно на строгом учете, расходуется планомерно.

Интересовались свиньями. Оказывается, все свиньи уже поросые. Одна опоросилась. Десять поросят.

— Хорошие они?

Председатель лучисто улыбнулся заросшим ртом:

— Хорошие поросенки. Поросятки хорошие.

Затем мы перешли в контору. Там, в комнате председателя, член правления писал громадную, со многими графами и клетками, ведомость: «Оперативный план обмолота и сдачи зерна государству».

Розанов, сдвинув кепку совсем на затылок, поправлял, тыкая карандашом в цифры.

Цифры обмолота были расположены в убывающем порядке — от контрольной цифры к нулю, по дням.

Розанов требовал, чтобы цифры были расположены по линии, восходящей от нуля до контрольной цифры налога.

Слышалось кряхтенье члена правления, который вслед за розановским карандашом вел по клеткам ведомости свой заскорузлый палец.

Заставив все переделать и терпеливо убедив, что так будет правильно, взял с собою голову сельсовета, голову колхоза, полевода и помощника директора МТС по данному району и вышел к бричкам.

Поехали осматривать поля, их всего две тысячи пятьсот га.

Только что выехали из села, как Розанов выскочил из брички и побежал на пар. Все последовали за ним.

Он ругался за плохую обработку.

Потом спросил полевода Чередниченко, длинного, с впалой грудью и очень длинными руками:

— Тебе, Чередниченко, нравится этот пар?

Чередниченко помялся и сказал, стыдливо улыбаясь:

— Ни, не нравится.

— А тебе, голова, нравится?

— Не нравится, — сказал голова.

— Так вот, ты знаешь, что тебя, Чередниченко, за такой пар надо штрафовать на пятнадцать трудодней. Скажи мне, следует тебя оштрафовать, Чередниченко, на пятнадцать трудодней или не следует?

Чередниченко подумал и сказал:

— Пожалуй, что и следует.

— Так вот. Тебя, к сожалению, нельзя штрафовать, потому что ты тогда, выходит, мало заработал и нечего тебе будет есть, Чередниченко...

Розанов помолчал.

— Сколько ты лет хозяйствуешь, Чередниченко?

— Да сколько... С малых лет.

— Так. А был у тебя, Чередниченко, когда-нибудь такой поганый пар?

— Никогда не было такого поганого пара.

— А ты, голова, сколько лет хозяйствуешь?

— Я? Сколько себя помню — хозяйствую.

— А был ли у тебя, голова, такой паршивый пар?

— Не было.

— Так почему же вы так плохо следите за колхозным паром? Разве это пар? Тьфу! Чтоб сейчас же после обеда поставить сюда три бороны и перебороновать все! Понятно? А то позарастает — тогда придется все опять перебукаривать.

Поехали дальше, но сейчас же остановились и опять вылезли из бричек.

Рассматривали рожь.

Она уже налилась до молочной зрелости, даже гуще. Почти ломается на ногте. Растирали колосья на ладонях, дули, обвеивали.

Решили, что дня через четыре, то есть 7 июля, можно скосить этот участок.

Потом поехали и подожгли скирду старой соломы. Она никому не нужна и только мешает: отнимает место и представляет, когда хлеба созреют вокруг, пожарную опасность. Огонь от спички побежал по скирде, и по ней пошло, разрастаясь, черное пятно величиной в овчинку, окруженное клубничными языками пламени.

Язва на глазах разрасталась.

Повалил водянисто-молочный дым. Из соломы выбежали два красивых хорька и скрылись. Долго любовались мы огнем. Сверху и сбоку пекло — солнце и огонь.

Потом Розанов ворошил копицы сена. Оно «горело», то есть прело, нагревалось, пахло мышами.

Опять нагоняй.

Жарило солнце. Парило... Шли великолепные облака. Ждали грозы. Казалось, она сейчас начнется. Ветер даже принес от какой-то далекой тучи несколько больших, теплых, увесистых капель; даже гремело где-то очень недалеко. Но небо все время менялось, и грозы все не было. Стало расчищаться. Таких бы десять — пятнадцать дней — и дело в шляпе.

Все были довольны.

Осматривали постройку табора. Несколько женщин покрывали соломой крышу походной конюшни. Недалеко

стояла клеть шалаша, где будут спать люди. Обдумывали, где бы сделать походный красный уголок.

Розанов стал показывать, как надо делать маты. Взял несколько пучков камыша. Бригадир обидчиво сказал:

— Если вы, товарищ Розанов, военный и городской человек, показываете нам, то это нам просто совестно: неужели мы, сельские жители, этого не сможем сделать? Обязательно сделаем, за это не беспокойтесь, товарищ начальник.

Затем поехали и остановились возле бригады женщин, выбирающих желтые кусты перекати-поля и малиновый мышинный горошек из ржи.

Они подошли к нам.

— Кто у вас ланковой?

— А вот ланковой, цей хлопчик.

Хлопчику лет четырнадцать. Он босой, солидно надутый и вместе с тем застенчивый. Большой картуз. Грудь так выпячена и широка, что впереди рубаха короче, чем сзади. Он украшен цветами. На груди букет малинового мышиноного горошка и розового клевера; из-под фуражки на коричневое ухо падает веточка мышиноного горошка. Зовут Николка.

Пока по его адресу острили, он стоял спокойно, насупившись; он не сердился; он даже не проявлял любопытства; он спокойно стоял среди колхозниц, этот единственный мужчина и начальник, украшенный цветами, как невеста.

Женщины разговорились. Конечно, жаловались.

Розанов сказал:

— А ну-ка, чем зря языками трепать, скажите лучше, готовы ли у вас перевясла? ¹

— Ни. И на что они нам?

— Как это на что? А снопы вязать?

— Снопы мы зараз, тут на месте, будем вязать.

— А ну-ка, вот ты, бойкая девка,— ты, ты, не прячься, чего прячешься? — покажи, как ты будешь вязать, а я посмотрю. Ну-ка!

Бойкая девка споро вышла из рядов, остановилась, деловито и сильно нарвала большой пучок трав и колосьев, легко разделила его на две части и стала быстро скручивать в жгут.

— погоди! Пстой! Ну вот и неверно. Да ты не торопись. Ты сначала обей как следует, все честь честью.

¹ По-русски — свясла.

Бойкая девка бросила начатый жгут, снова нарвала большой пучок, тщательно оббила его от земли, нахмурилась, разделила пополам и стала скручивать колос к колосу.

— Ну вот и опять неверно. А ну-ка, вот ты покажи, как надо,— обратился Розанов к другой девушке.

Она вышла, нарвала, оббила и стала связывать.

— Стой. Неверно.

Женщины рассердились.

— Так ты сам покажи. Может, ты лучше знаешь. А у нас так вяжут.

— Погодите. А ну-ка, ты покажи,— сказал Розанов, подзывая третью девушку.

Третья девушка вышла и стала вязать.

— Неверно. Совершенно неверно. Постой. Смотри.

Розанов стал показывать.

— Вот ты первый раз завернула — и стоп. Теперь смотри. Теперь надо колоски всунуть внутрь, чтобы они не торчали. Вот так.— Розанов ловко заправил торчащие колоски внутрь и закрутил жгут.— Вот видите, у нас как делают. Теперь ничего не торчит, гладко, и не разорвешь. Понятно?

Голова колхоза сказал женщинам:

— Верно. Смотрите.

Он ловко повторил работу Розанова, заправив колосья внутрь.

— Вот вам и жгут. Я старик, а десять снопов сделаю, пока вы, молодые, сделаете пять. Учитесь.— И, обратившись к нам, сказал: — Конечно, они еще молодые, серые, им учиться треба.

— Эх ты,— сказал Розанов первой девушке,— такая красивая, толстая, а вязать не умеешь! Тебя никто замуж не возьмет.

— А и не надо,— сказала бойкая девушка.— Я думала, вы меня чем-нибудь другим напугаете. А замуж никто не возьмет — это мне все равно. И так мужчин мало. Я и без чоловика обойдусь. Я думала, может, вы мне кушать не дадите, тогда другое дело.

— Как же я тебе кушать не дам, чудачка, если ты трудодни имеешь?

Женщины стали смеяться.

Потом мы смотрели силосную яму. Большая и глубокая, прямоугольная, как могила, яма. Осыпалась. Заросла по краям бурьяном. Розанов устроил нагоняй за недостаток внимания к силосованию.

Возле складов станции запахло йодоформом. Это привезли и выгружают два вагона суперфосфата. Через переезд ехали один за другим два трактора «Интернационал» с плугами нашей МТС.

Мы стояли с Зоей Васильевной под жестяным навесом дверей, ведущих на нашу лестницу. Накрапывал маленький дождик. Слева светила луна в три четверти, справа небо было свинцово и блистали молнии. Горизонт был обложен дождевыми тучами и светился темно-красной угрюмой каемкой зари, прерываемой в некоторых местах полосами дожда.

Возле дома, в палисаднике, огороженном деревянным заборчиком, цвела клумба ночной фиалки — маттиолы. Дождь усиливал и без того сильный ее запах.

Зоя Васильевна — жена Розанова — рассказывала мне: — Я сюда приехала к мужу в апреле. Уже был вечер. Меня никто не встретил на вокзале. Женщина помогла мне донести вещи со станции сюда. Из окон выглядывали на меня любопытные.

Пошел снег.

Я спросила, здесь ли Розанов, — может быть, его вообще здесь нет и я не туда приехала. Сказали — здесь, помогли внести вещи и привели меня прямо к нему в кабинет.

Я попала как раз на бурное заседание. Он едва со мной поздоровался.

Тут я увидела всех.

Они ужасно спорили насчет какого-то теленка.

Тогда здесь, вы знаете, этого палисадника не было, этих деревьев не было, качелей тоже.

Это я потом, в день Первого мая, убедила сделать палисадник, организовала женщин, жен служащих. Мы ходили в сельсовет, доставали кусты и деревца. Вот там куст, — видите? — нам сказали, что это жасмин, оказалось, совсем не жасмин. Но это не важно. А теперь цветет ночная фиалка. Вы чувствуете запах?

Какие здесь были гнетущие дни, если б вы знали! Весна. Дожди. Выехать трактором на поле невозможно: здесь ужасно скользкая почва, колеса скользят, крутятся, на месте буксуют. А каждый день, каждая минута дороги.

Был в колхозных яслях. Это обыкновенная хата из хороших. В одной комнате дети в возрасте от двух с поло-

виной до пяти лет сидели за столиками и дожидались обеда, пели «На полянке сели...». В другой смешно и трогательно по стенам очень низко развешаны вешалки, и на них висит детская роба — кофты, курточки, зипунишки.

В третьей комнате — спальня. Там на таких же детских трогательных «козлах» спало несколько маленьких мальчиков и девочек. Воздух плох, не проветривают.

В четвертой комнате, где воздух тоже очень спертый, три коечки. Там больные дети. Таких на сорок человек трое. Остальные здоровые и веселые.

Один большеголовый малыш с лукавыми и страшно добрыми глазами.

— Как зовут?

— Мыкола.

За детьми смотрят девочка лет девяти, серьезная, аккуратная, и взрослая няня в чистом кубовом платье, в белом платке и клеенчатом переднике. Она чиста, но равнодушна. У нее на руках забавный полторагодовалый пузырь — девочка, очень большеголовая и большеглазая, как мопс, дочка колхозного головы.

В сенях, держась ручкой за столбик, стояла, поджав одну босую ногу, как цапля, и плакала, развозя грязь по лицу, четырехлетняя девочка в платочке. Она содрогалась от плача. Она сегодня первый раз в яслях, — наверное, думает, что мамка ее бросила.

Я к ней подошел с лаской, но она заревела во весь голос. Я спросил того ласкового и веселого малыша с большой плюшевой головой:

— А где мамка?

Он ответил:

— Работает...

— А батька?

— Работает-е-е... — И махнул ручкой в степь.

Село Зацепы. Во дворе школы-семилетки милый садик. А сама школа — обычный школьный каменный одноэтажный дом с колоколом у крыльца. В садике растут кусты желтой акации, вишни, и за ними небольшой огород чудесных высоких маков; они все одного роста, толстые стебли, веленые коробочки и крупные батистовые цветы — бледно-розовые, бледно-лиловые и белые.

Это же не цветы, это огородная «культура».

Учитель — молодой, деревенского вида человек, с коротко остриженной круглой головой, в серых брюках, деревенских башмаках, в косоворотке стального цвета и кожаном поясе.

По стенам учительской два стеклянных черных, очень плоских шкафчика — вверху стекло, внизу закрытые ящики. Похожи эти шкафчики-этажерки на божницы.

На подоконнике два дешевых голубых глобуса — один побольше, а другой поменьше.

В углу кучка глиняной лепки — дощечки с листьями, фруктами.

От скуки я прошелся по гулким классам. Там ремонт. Наляпано известью. Черные столы, скамьи и доски — все сдвинуто, перевернуто. Небольшое пианино палисандрового дерева. Очень старое. Я поднял крышку и стукнул пальцем по желтому костяному клавишу. Клавиш пикнул. Звук резкий, но без резонанса.

Зимой здесь будет порядок, много детей, шум и в воздухе сухая меловая пыль.

В сенях свалены деревянные капканы для сусликов.

К учителю зашла дочь директора нашей МТС. Ей около шестнадцати лет. Она только что окончила семилетку. Это девушка-подросток. Она красива, провинциальна и застенчива. У нее две небольшие толстые косы, жакет, детская юбка, голые ноги в носках, туфли на низком каблуке.

Зою Васильевну она называет «тетя Розанова», а меня «дядя» и, отвечая на вопрос взрослого, краснеет. Она поступает в Днепропетровске в какой-то техникум. Мне показалось, что она рассчитывала застать учителя одного; увидя нас, она поклонилась и немного покраснела.

На побывке в Москве. Хожу по жаре, среди шума, нарядных девушек. Чувствую себя отпусником с фронта, неловким солдатом.

Выехал из Москвы (второй раз) 15 июля, приехал в Синельниково 16-го вечером. До одиннадцати ждал бердянского поезда. Сел в вагон. В вагоне пусто.

Ночь.

Свет от станции через окна. Жду отправления. Входит какой-то парень. В вагоне плохо видно, но парень сразу обратил на себя чем-то внимание. Он какой-то несуразный, шаркает длинными ногами, валится вперед, идет не то как пьяный, не то как еще не проснувшийся, хлопая ладоня-

ми по стенам и скамьям, хватаясь длинными руками за полки.

Он вошел, бормоча что-то под нос, с обезьяньей ловкостью взобрался на вторую полку против меня, сразу упал на нее, свесив голову в проход и высунув чересчур длинные ноги в открытое окно.

Сопел. Плевал на пол. Ворочался. Мычал про себя.

Я курил.

Он сказал мне что-то, чего я не разобрал. Я не ответил. Он отвернулся, сплюнул.

Было похоже, что его мучит жажда. Быстро обернулся и еще раз что-то сказал мне косноязычно. Я опять не понял. Но показалось, что он просит закурить. Я сказал, что у меня последняя папироса. Он промычал, отвернулся, потом вскочил и мгновенно влез на третью полку; оттуда бесшумно перебрался на противоположную, надо мной, и там, в темноте, затих.

Поезд стоял.

Затем ввалились, косноязычно болтая, еще два парня. Они прошли по вагону, согнувшись и хлопая в темноте длинными руками по лавкам. Они, сопя, улеглись на лавки. Затихли.

Потом еще один такой же.

Мне почему-то стало не по себе.

Потом под окном по перрону, разговаривая, прошли какие-то двое... Я уловил одно лишь слово — «душевнобольные».

Поезд стоял.

Мне становилось страшно.

Потом в вагон вошел молодой человек с портфелем. В темноте я видел белый воротник его рубашки, выпущенной поверх пиджака. Он остановился в проходе, осмотрелся по сторонам и совершенно явственно сказал:

— Здесь душевнобольные?

Ему никто не ответил.

Он спокойно говорил:

— Где здесь душевнобольные?

Снова молчание.

Он повернулся и вышел. Это было как дурной сон. Через пять минут молодой человек с белыми отворотами вошел снова в сопровождении кого-то, очевидно железнодорожника.

— Они тут, — сказал железнодорожник, — четверо.

Молодой человек прошелся по вагону, заглядывая на

лавки и всматриваясь в темные углы. Он стал считать людей: «Раз, два, три, четыре», — и успокоился.

Он стоял в проходе. На него смотрели с полок парни.

— Что это происходит? — спросил я его.

— А вы кто такой?

Я назвал себя.

Он любезно протянул мне руку и отрекомендовался:

— Доктор Виленский.

Он сказал, что очень рад этой встрече, объяснил, что везет тридцать человек душевнобольных на станцию Ульяновскую. Там трудовая колония душевнобольных. Они работают совершенно на свободе, им отведено три тысячи гектаров, крупное зерновое хозяйство на правах колхоза. Это первый опыт в таком роде на всем земном шаре.

До сих пор, даже в Советском Союзе, душевнобольные содержались взаперти или под надзором и пользовались только одним правом — мелкой торговли, остальных прав были лишены. Сейчас, по согласованию с Украинской академией наук и Комакадемией, производится опыт свободного трудового поселения душевнобольных. Они блестяще выполняли посевную кампанию и теперь готовятся к уборочной.

Доктор Виленский и с ним еще два врача везут тридцать человек душевнобольных в виде подкрепления. Они набрали их в разных больницах и домах.

Виленский надеется, что урожай будет собран образцово.

Он волнуется.

Он пионер и инициатор этого дела. Они написали подробное письмо о своем деле, имеющем мировое значение, Максиму Горькому, но опасаются послать до окончания опыта: боятся оскандалиться.

Пока он говорил, душевнобольные окружили его, слушали со вниманием, молча и жадно кура и сплевывая.

— Это новые, — сказал доктор. — Их сегодня в последний раз называют душевнобольными. В колонии это слово вычеркнуто из словаря. Там они — колонисты, и никто не имеет права называть их больными. Все в районе это знают.

Доктор Виленский — молодой бледный человек с большими, черными, немигающими, очень ласковыми, внимательными глазами. У него уже десятилетний стаж. Как все психиатры, он спокоен, внимателен, серьезен и очень мягок.

В этом вагоне он разместил своих четырех человек.

Остальные были в других вагонах. Теперь он пришел перевести их, чтобы все больные, «будущие колонисты», находились вместе.

Так как нам было некоторое время по дороге, он предложил мне перейти к ним и два пролета поговорить.

Я охотно согласился. Он услужливо подхватил мою кошелку и велел душевнобольным идти за ним.

Мы устроились в другом вагоне, куда собрали всех больных. Они охотно уступили мне место возле выхода, так как мне нужно было сходить через одну остановку.

Поезд поехал.

Больные просили есть. Пришла немолодая интеллигентная женщина, держа порции хлеба. Она ласково и терпеливо стала оделять хлебом больных. Это была врач, сопровождающая больных.

Начался разговор.

Виленский рассказывал с энтузиазмом о трудовой колонии:

— Вы знаете, как они работают? Замечательно. Исполнительные, аккуратные, честные. К своему труду относятся исключительно. Например, ему поручено, скажем, охранять посевы. Если он поймает кого-нибудь с колосками, прямо ужас что будет. Приходится сдерживать. А одна женщина есть, колонистка, ей поручили смотреть за тремя лошадьми. Так вы посмотрите на ее лошадей! Красота! Толстые, сытые, здоровые, абсолютно чистые. Она их и поит, и моет, и чистит, и кормит. Как за детьми, за ними смотрит. А как же? «Если мне, говорит, поручили лошадей, то будьте уверены на все сто». Есть среди колонистов художник-писатель — прямо исключительный, очень красиво и талантливо пишет, вы обязательно познакомьтесь с его творчеством! Есть артисты, музыканты, скидальщики, мотористы, конюхи, косари. И все замечательно трудоспособные и талантливые. Есть врач, студент. До сих пор думали, что их надо изолировать. Оказалось, наоборот. Вы себе не можете представить, какой у них появляется энтузиазм, когда они попадают из душных комнат на волю! Они не знают, куда девать свою освобожденную энергию. И наша задача — пустить ее по правильному руслу. Это русло — работа. Настоящая, полноценная, полезная общественная работа. В данном случае — хлеборобство. Они включились в трудовую семью и сделали ее достойными членами. Это ли не поразительный факт, невозможный ни в одном капиталистическом государстве!

Пока Виленский рассказывал, нас окружили.

Против нас сидел молодой человек в кепке, с несколько полным и сонным лицом. Он положил локти на колени и чересчур близко и внимательно всматривался в мое лицо. Он долго-долго смотрел и наконец, как бы собирая всю волю и умственные способности, выговорил:

— У вас интересное для рисования лицо. Очень острые углы. Вас можно очень похоже нарисовать.

— Это художник,— сказал Виленский,— он очень похоже рисует портреты, замечательный талант.

— Я вас могу парисовать,— сказал, медленно собираясь с мыслями, художник.— У вас острое лицо. Я могу вас похоже нарисовать.

Я обещал приехать и позировать. Он сказал серьезно:

— Очень вам благодарен. Я вас могу похоже нарисовать. А вы кто будете?

Я сказал. Он серьезно помолчал и потом отдельно произнес, не торопясь:

— Я вас могу очень похоже нарисовать, товарищ корреспондент, приезжайте к нам.

— Непременно.

Художник долго собирался с мыслями, потом сказал Виленскому, сонно улыбаясь и с большим трудом подбирая и складывая слова:

— Шпрехен зи дейч, геноссе доктор? ¹

— Я, эйн бисхен ²,— серьезно ответил Виленский.

Художник задумался, сидел понуро, затем продолжал так же трудно:

— Вифиль габен зи фамилие? ³

Доктор внимательно вслушался, не понял и попросил повторить.

— Ви-филь габен зи фа-ми-лие? — повторил сонно и отдельно художник.

— Ах, понимаю,— сказал доктор.— Их габе дрей персон мит мир, айн фрау унд айн кинд ⁴.

Художник важно кивнул головой.

— Их ферштег,— сказал он,— жена и ребенок. Зергут ⁵.

Он опять уронил голову на руки и задумался. Со всех сторон на него смотрели с уважением больные. Художник обратился ко мне:

¹ Говорите вы по-немецки, товарищ доктор?

² Да, немного.

³ Сколько у вас членов семьи?

⁴ Со мной трое, жена и ребенок.

⁵ Я понимаю... Очень хорошо.

— Шпрехен зи дейч? ¹

— Бисхен ².

Он с удовлетворением кивнул головой и стал рыться по карманам. Он достал измятую пачку папирос «Бокс» и протянул мне:

— Волен зи айн сигаретт? ³

Я взял тоненькую, полувывыпавшуюся папироску.

— Данке зер ⁴.

Он ласково и серьезно подал мне огня:

— Раухен битте. Их габе нох ффиль сигареттен ⁵.

— Данке шен ⁶.

Художник с самодовольной скромностью огляделся вокруг.

— Откуда вы знаете немецкий язык? — спросил я.

Он, очевидно, ждал этого вопроса.

— Я учил его в школе. Теперь почти все забыл. Я был очень болен, я все забыл.

— У него сонная болезнь, — пояснил доктор.

Художник поправил:

— Энцефалит. У меня был энцефалит. Я почти все забыл. Теперь энцефалит прошел, но отразился на мозгу. Мне трудно вспомнить. Я все забываю. Раухен битте нох айн сигареттен ⁷.

Ему, видимо, доставляло громадное наслаждение вспоминать и складывать забытые, растерянные немецкие слова.

— Это неизлечимая болезнь, — со вздохом сказал он. — Последствия ее неизлечимы.

— Ну, ничего, подождите, — сказал я в утешение. — Может быть, ученые откроют возбудитель энцефалита, и тогда будет прививка, и вас вылечат.

— Все равно уж поздно. Болезнь прошла. Это последствия. Это уже не вылечат.

И он скорбно опустил голову.

Усаживая меня на лавку, доктор Виленский заботливо разостлал две газеты, чтоб было чисто. Он тоже усиленно приглашал меня приехать. Это от Зацеп совсем недалеко.

¹ Говорите ли вы по-немецки?

² Немного.

³ Хотите папиросу?

⁴ Большое спасибо.

⁵ Курите, пожалуйста. У меня еще много папирос.

⁶ Благодарю вас.

⁷ Выкурите, пожалуйста, еще одну папиросу.

— Вы мне дайте телеграмму, я вам вышлю на станцию Ульяновку лошадей, а там всего пятнадцать километров...

Я сердечно простился с доктором Виленским. Он услужливо донес до площадки мои вещи. Я сошел с поезда. Меня встретили Розанов, Костин и Зоя Васильевна. Розанов был в белой рубашке и соломенном бриле. Я заметил, что у него за эти дни сильно загорело лицо...

Я вернулся в политотдел, как в свою семью.

Вот я опять в Зацепках, в МТС, в «своей» комнате с букетом на столе. Я чувствую себя так, как себя всегда чувствует человек, уезжавший на некоторое время и опять возвратившийся. Люди вокруг продолжают жить интересами, смысл которых пока непонятен. Я еще не в курсе дела, передо мной вьются хвосты, кончики каких-то интересов.

Я понимаю из разговоров, что началась косовица, что во многих местах молотят, но не могу еще понять, почему у всех нервное состояние, почему кого-то надо взгреть, поощрить, почему все время взволнованно выезжают со двора. Что-то происходит вокруг, но что — мне пока неизвестно.

На дворе перемены.

Дом, который строили и рассчитывали вывести в два этажа, теперь решили строить в один этаж. Его уже подвели под крышу и делают стропила.

По двору прошел человек, которого я совсем забыл, но вдруг, увидев его в белой рубашке и восьмирублевой деревенской панаме, с пергаментным, малярным лицом, с длинной, прямой трубкой в оскаленных зубах, вспомнил. Он шел, выставляя вперед острые колени. Агроном!

Потом я видел, как он накачивает шину велосипеда, прислоненного к заборчику.

Машин за сараями не видно, они все отправлены в поле. Но двигатель стучит по-прежнему.

Трава во дворе разрослась, но уже нет того мягкого, красивого цвета. Она жестка, суха. Кусты бурьяна, будяков, полыни. Жарко. Дождей нет и следа.

Настоящие жаркие летние дни.

Мы отвезли Хоменко в Синельниково. Был второй час ночи. Поехали обратно. А шофер должен был вернуться опять в Синельниково и подать Хоменко машину в пять часов утра. Когда он спит?

Разговор с Розановым на обратном пути, когда шофер гнал тарыхтящую в темноте машину полным ходом, километров по восемьдесят в час, по незнакомой для меня и потому страшной дороге.

Я:

— А ты не чересчур, Тарас Михайлович?

Он:

— Что чересчур?

— Не чересчур резко? Тебе не кажется, что пужно пемножко погибче, потактичнее?

— Ты, Валентин Петрович, вот что... Если не понимаешь, то не спрашивай... Подумай сначала хорошенько. У нас не парламент. Чего я буду миндальничать? Коммунисты не должны между собою заниматься вежливостью. Нужно крепко ударить по «сырым» настроениям. Я человек военный.

Мы разговорились о перспективах дальнейшей реконструкции сельского хозяйства, об уничтожении противоречий между городом и деревней, о будущем Советского Союза, о мировой революции.

Он весьма начитан в области марксизма и неплохой диалектик, смелый. Он сказал:

— Знаешь, я только сейчас начинаю привыкать к своей новой работе. Я столько лет работал в Красной Армии! Я мечтал сделаться комиссаром, командиром полка. Я кончил Толмачевку и уже получил назначение, как вдруг — бац! — демобилизация. Поедешь начальником политотдела! Ты знаешь, Валентин Петрович, я человек на слезы крепкий. Но тут, как стал прощаться с ребятами... А сейчас уже привык к деревне. Если бы меня отсюда перебросили, тоже бы, наверное, пустил слезу. Очень втянулся. Захватывающая работа. В полку тоже захватывает. Но здесь шире. Перспективы какие! Жизнь ломается.

Однажды Розанов рассказал мне такой случай. Както в полку он пошел перед сном проверять караулы — дело было в лагере — и видит, что нигде нету воды, не привезли. А лагерь в лесу, и много деревянных построек.

— Я разнес кого следует и думаю: посылать за водой или не посылать? А уж был час ночи. Ну, думаю, до утра подождем, а утром привезут. Пошел спать. По дороге опять думаю: а может, послать? Мало ли что может случиться! Но все-таки решил не посылать. Пришел и лег спать. А у нас громадный деревянный клуб. Мы сделали. На него пошло три тысячи бревен. Здоровенных бревен! Можешь себе представить! Отличный клуб! Я лежу и ду-

маю: а может быть, послать все-таки за водой? А то вдруг что-нибудь случится... Я, конечно, видел, что воды нет, даже замечание сделал. Есть свидетели, но все же... А вдруг как загорится? Ну, все-таки решил, что можно подождать до утра. И вдруг мне ночью приснился сон — и, понимаешь ты, такой жизненный, со всеми подробностями, прямо как на самом деле, — что загорелся клуб. Я вскочил как ошалелый. Ну, ты понимаешь, это на меня до того подействовало, что сердце чуть не выпрыгивает из груди. Стучит с перебоями. И в глазах темно. У меня сердце паршивое. Я сильной жары не выдерживаю. Я думал тогда, что умираю. Весь трясусь, и сердце стучит, как будто в грудь кузнечным молотком. Я выпил две склянки валерьяновых капель. Насилу успокоился. Ты понимаешь — клуб в три тысячи бревен! И горит! Это тебе не шутки...

В этом — весь Розанов.

Он долго придумывал, как сушить зерно. Может быть, устроить специальные железные барабаны? Но ничего придумать не мог.

В шесть утра за нами на автомобиле заехал предрика Хоменко. Мы, уже сидя в машине, выпили по стакану молока, которое нам вынесла Семеновна.

В поле «Червонной долины» начало массовой косовицы. Мы туда приехали в семь, но народ еще только собирался. Это объяснили тем, что еще не налажено, еще только первый день.

Кухарка разводила под казаном огонь, рубила мясо.

Хоменко сунул руку в мешок и достал горсть кукурузной муки.

Пицца улучшилась — по двести граммов мяса на человека.

Тяжелая работа за конной лобогрейкой — бабы подбирали жито и вязали снопы.

На другом поле работали два трактора, за каждым по две лобогрейки. Скидальщики парились. На лобогрейки сели Сазанов и Хоменко за скидальщиков. Быстро вспотели. Трактор чересчур быстро косит. За ним трудно поспевать.

Стояла большая тракторная будка, похожая на те ящики, в которых раньше перевозили аэропланы. Она была с окнами и дверью.

Трактористы — все черные, в черной, замасленной

одежде и с белыми глазами. Молодые. Деревенские парни. Но уже ничего крестьянского в них нету. Машина придала им вид индустриальных рабочих, а работают они совсем недавно на машинах. Но уже совсем другой стиль, другие манеры.

Тут же производилась торговля. Кооператор в панаме привез на бричке ящик товаров — махорки, книжек, спичек.

У него охотно покупали. Но жаловались, что нема грошей.

— Скоро будут гроши. Соберете урожай, и заведутся гроши.

— Може, и будут, кто его знает.

Вперед загадывать опасаются и не любят. Эту черту — нелюбовь загадывать — я заметил еще в империалистическую, на фронте, когда жил на батарее с солдатами. Ужасно не любят. «Мне должны посылку прислать». — «Може, и пришлют. А може, и не пришлют. И где еще там посылка? Одни разговоры и больше ничего».

Приехал, мигая ослепительно спицами, велосипедист. Привез последние газеты: харьковский «Коммунист», днепропетровскую «Зарю», московские «Правду», «Известия». Их быстро разобрали подписчики. Подписчиков довольно много.

В другой бригаде люди обедали на току. Они обедали аккуратно и скромно, подвинув себе миски с супом, и вынимали из узелков, отворачиваясь друг от друга, еду, принесенную из дому.

Они рассыпались по всему току. Под телегами сидели, под бестарками, в тени молотилки, за бочкой на колесах.

Очевидно, общественное питание здесь еще середка наполовинку.

Одеты все празднично. Бабы в беленьких чистых платочках с кружевной оборочкой.

Говорят, что в старое время отцы возили своих дочерей на базар, разодетых и в беленьких таких же платочках в кружевной оборке, и на этих платочках красными нитками было вышито: «Сто рублей», «Сто пятьдесят рублей» — это приданое девушки.

Почти у всех на шее искусственный жемчуг.

Было число 17-е, а 20-го район собрался отправлять в Днепропетровск первый эшелон зерна в девятьсот тонн, то есть шестьдесят вагонов.

Несколькими днями позже мы были с Костиным вечером в таборе. Бригада Чубаря. Народ расходился по домам. С ним ничего нельзя было поделывать.

Мы поехали назад. У нас было свободное место в бричке. Пригласили одну из баб сесть. Подвезли до Зацеп.

Она радостно забралась на козлы и села рядом с кучером, Алешкиным баткой, к нам лицом.

— Почему не ночуешь в таборе?

У нее в потемках широкое, покорное и доброе лицо в сереньком платке.

— Как же я могу ночевать в таборе, когда у меня трое детей дома! Надо накормить и хлеб испечь. И огород пораскрадут.

И-да...

Это подкрепило мои прежние мысли: раз невыгодно, значит, тут какая-то неправильность в организации.

Я сказал об этом Розанову. Вот соображения Розанова на этот предмет:

— Конечно, невыгодно ночевать в таборе, так как дома теряют картошку и барахло — могут покрасть. Конечно. Но от несвоевременного выхода на работу теряются тысячи центнеров хлеба. И они этого не видят по своей консервативности и по привычке считать свою рубашку ближе к телу. Почему? Потому, что картошка — ее видно, ее можно сегодня, сейчас же, съесть, а хлеб, который пропадает, — хлеб отвлеченный, его не видно сейчас, то есть не видно потерь общих. Теперь понятно?

Я думаю, что Розанов тут немножко «загнул». Надо бы и «личную» картошку суметь сохранить, организовав общественную охрану, и «отвлеченный» хлеб собрать до последнего зернышка на личную и общественную потребу.

На сегодня, 26 июля, по сведениям Розанова, сдано около десяти тысяч пудов хлеба (около тысячи пятисот центнеров). Это мало. Косят с 16-го (по тысяче пудов в день с двадцати двух колхозов).

Костин только что вернулся из объезда. Везде лежит и сушится по сто пятьдесят — двести центнеров жита.

Костин сердито сказал:

— Удивляюсь, как его не раскрадывают! Это редкое благородство. Сюда таскают, туда таскают, все время открыто. Не захочешь — станешь красть!

Всего, значит, по всем колхозам сушится около двадцати тысяч пудов! Сколько это хлопот, рабочей силы, энергии: то его укрывают от дождя, то ссыпают, то опять рассыпают на ряднах.

У Костина в кабинете письменный стол, нестораемый шкаф, выкрашенный в некрасивую коричневую краску. В нижнем ящике нестораемого шкафа хранятся тарелки; стол другой — с газетами; там лежат очки, бумаги.

В специальной коробочке собрание резолюций партсъездов в красных переплетах. Лежит первый том «Капитала» со множеством закладок и пришпиленных заметок.

В артели немцев-колонистов «Ротер штерн» забавная женщина — секретарь ячейки.

Сейчас ее уже сняли. Эмоциональна, суетлива, бестолкова и болтлива.

Розанов ее здорово «мурыжил».

— В ячейке план хлебосдачи есть?

— План? Хлебосдачи?.. План хлебосдачи есть.

— Где он? Покажи.

— Он в правлении.

— Я тебя не спрашиваю, что у вас есть в правлении, а я тебя спрашиваю: есть ли план хлебосдачи в ячейке?

— В ячейке?

— В ячейке.

— В ячейке нету, а есть в правлении.

— Зачем же ты мне говоришь, что он есть в ячейке?

— Товарищ Розанов, план был в ячейке, но стали ремонтировать... сырые стены... невозможно приклеить. Пока он в правлении. Я сейчас принесу.

Она заметалась как угорелая и выбежала из комнаты. Мы долго ее ждали. Минут через пятнадцать она прибежала без плана.

— Где же план?

— Сейчас, сейчас... Его сейчас найдут и принесут. Вы не беспокойтесь. Садитесь, пожалуйста. План сейчас найдут и принесут.

Она села на скамью, положила локти на стол, положила острый подбородок на ладони, выставила стальные зубы и устала на Розанова отчаянными глазами, полными готовности и внимания.

— Как у вас дела с хлебосдачей?

— Дела? С хлебосдачей? Сейчас я скажу...

Она встрепелась.

— Дела с хлебосдачей обстоят так. Нужно укрепить массовую работу, нажать на бригады, добиться перелома в настроениях, сколотить крепкий актив, выявить лодырей, симулянтов и рвачей, ударить по классовому врагу, усилить партийную бдительность и обеспечить своевременный обмолот и сдачу хлеба государству.

Она высыпала это одним духом, с одушевлением стуча кулаком по столу.

— Стой, стой, стой! Помолчи. Что ты мне бубнишь — надо, надо, надо? Я тебя не спрашиваю, что тебе надо, а я спрашиваю, как у тебя обстоят дела с хлебосдачей. Конкретно: в чем выражается работа ячейки? И твоя в частности, как секретаря? Ну?

Она опять встрепелась:

— Сейчас я тебе скажу, в чем. Во-первых, мы должны добиться перелома, ударить по гнилым настроениям, сколотить актив...

Розанов смотрел на нее в упор с ледяной иронией. Она смешалась, замолкла.

— Ну, ну, продолжай... Я тебя слушаю. Чего же ты замолчала? Говори, говори... Болтай дальше.

— Товарищ Розанов! — умоляюще воскликнула она и взялась руками за волосы, судорожно их поправила. — Я не знаю, что вы от меня требуете?

— Я от тебя требую, чтобы ты мне коротко и ясно рассказала, что конкретно сделала ячейка для проведения уборочной кампании и сдачи хлеба государству.

— Конкретно?

— Да, конкретно.

— Конкретно мы сделали вот что...

Она положила голову на стол и стала тереться об него большим носом. Вдруг она сорвалась с места и бросилась к двери.

— Куда?

— Сейчас я принесу план.

Она опять пропала минут пятнадцать. Розанов шагнул по комнате, разглядывая маленькие печатные лозунги, аккуратно расклеенные по стенам.

Она вернулась с планом и положила его на стол. Розанов искоса на него взглянул и сказал:

— Это не план.

— Нет, план.

— Нет, не план.

— А что же это?

— Это контрольные цифры. Не больше. То, что мы вам дали, то вы сюда вписали и думаете, что это план.

— Я не понимаю, товарищ Розанов, что ты от меня хочешь?

В ее голосе звучали слезы.

— Я хочу, чтобы у вас был план. По бригадам. По дням. Конкретно: когда и что надо сделать, когда и сколько скосить, обмолотить и сдать. Понятно?

— Понятно,— быстро, с готовностью сказала она.— Когда и сколько скосить, обмолотить и сдать по бригадам... Да?

— Да.

— Так это пара пустяков. Это я тебе в полчаса сделаю.

— Во сколько?

— В полчаса.

— Делай,— сказал Розанов спокойно и выложил на стол плоские карманные часы Первого Московского часового завода.— Сейчас четверть четвертого!

Она с отчаянием посмотрела на часы, но потом гордо сжала губы, деловито засуетилась, побежала за бумагой и села писать, бормоча под нос, сосредоточенно разглядывая балки потолка, за которые были воткнуты пучки колосьев, и растирая переносицу тыльной стороной карандаша. Перечеркивая и путая, она написала полколонки. Сорвалась с места, выбежала из комнаты и прибежала со счетоводом — небольшим, вежливым, сухим немцем с папкой под мышкой.

Нмец раскланялся и сел помогать.

Розанов поглядывал то на часы, то в написанное.

— Одним словом, у вас ни черта не получается,— вдруг сказал он на пятнадцатой минуте.— Давайте сюда, давайте! Смотрите...

Он вырвал из-под ее карандаша бумагу. Карандаш провел твердую кривую линию.

— Вот смотрите сюда. Товарищ Катаев, дай-ка мне сюда твою самопишущую ручку.

Справляясь со своей записной книжкой, он четко написал план уборочной по бригадам.

— Вот получай. Для точнейшего руководства. Кто у тебя бригадир в первой бригаде?

— Бригадир? В первой бригаде у нас этот... такой высокий... я его знаю, только забыла фамилию...

— Забыла фамилию...— Розанов в сердцах плюнул.— Она забыла фамилию бригадира первой бригады! Сколько времени ты здесь секретарем? Пятый месяц? Хороший секретарь! Замечательный!

— Товарищ Розанов! — закричала она.— Честное слово, я не могу работать! Я писала в райком — они не хотят снимать. Ей-богу, я совершенно не в состоянии что-нибудь делать. Я здесь пропадаю. Я работница районного масштаба...

Розанов большими шагами пошел к автомобилю, где Хоменко жевал хлеб и шофер спал, примостившись на двух передних скамеечках.

Она бежала за нами.

— Поехали! — решительно сказал Розанов.

Громадные вязы шумели вдоль прямой улицы скучного немецкого села. Возле правления обедали несколько человек — ели кашу. Но стол был покрыт серой скатертью и серая соль насыпана в вазочки грубого, деревенского стекла.

Она говорила:

— Товарищ Розанов, вы не беспокойтесь, я это все сделаю. Можете не сомневаться. Все будет в точности сделано.

— Ну,— сказал Розанов и вдруг обаятельно улыбнулся,— у вас тут, кажется, где-то вишни растут? Не угостишь ли нас... фунтика два?

— Вишни?.. Да, да! Сейчас.

Она еще пуще засуетилась и послала мальчишку в сад нарвать нам вишен.

— Сейчас вишни будут... сейчас, сейчас...

— Только поскорее, а то нам некогда.

Шофер завел машину.

Возле автомобиля остановилась старуха с клюкой и красным, вытекшим глазом. Она стала что-то злобно кричать по-немецки. Язык немцев-колонистов трудно понять. Мы попросили секретаря перевести. Она нам перевела. Старуха жаловалась, что два старика, с которыми она живет, съедают ее обед, и требовала, чтобы этих стариков строго наказали. Ей было лет восемьдесят пять. Ее седые волосы развевались. Она стучала на нас палкой и грозила кому-то вдоль улицы, вероятно, тем вредным старикам.

— Сумасшедшая старуха,— сказала секретарь.

— Где же твои знаменитые вишни? — нетерпеливо сказал Розанов.

— Сейчас, сейчас будут!

— Нам некогда. Пошел!

Шофер двинул автомобиль. Мы поехали.

Она несколько шагов бежала за нами.

— Сейчас будут вишни! — кричала она.

— А ну тебя с твоими вишнями! — сказал Розанов, и мы выехали из села.

Присматриваюсь к Розанову. Иногда он сидит в белой косоворотке за столом, думает. У него сияют небольшие голубенькие глазки. Большой круглый череп. Ему тридцать два года, но он широко лысеет.

Тогда мне кажется, что вот-вот его рубаха пропотеет на спине, шея станет старчески грубой, черной и пористой, как пробка, череп — лысым, как у апостола, и весь он станет стариком плотником, таким самым, каким был его отец.

Чеховский мотив.

У Зои Васильевны нарыв на ноге. Пришел из зацепской больницы доктор. Он в холщовых брюках, аккуратно выглаженных. Животик. От ремешка брюк в карман тянется аккуратненький ремешочек часов. Люстриновый пиджак поверх сиреневой полосатой сорочки и легкий люстриновый картуз с дырочками для вентиляции. Из бокового кармана торчит футляр термометра.

Он немолод, говорит с украинским акцентом, — долголетняя практика на селе наложила на него отпечаток. Говорят, что он больше занимается хозяйством, чем больницей. Но в общем его хвалят.

Я пошел проводить его до больницы. Я спросил:

— Как вы думаете, доктор, почему в прошлом году были такие затруднения?

— Как вам сказать... По-моему, безобразно велось хозяйство. А сведения давали раздутые об урожае. Налога и не выдержали.

— Но почему же такое безобразное хозяйствование?

Он пожал плечами.

— Вам не кажется, — спросил я, — что таким хозяйствованием кулацкие элементы нарочно доводили до крайности? Пропадай, мол, все пропадом. Чем хуже, тем лучше!

— Похоже, что так.

— А как, на ваш взгляд, сейчас?

— О, никакого сравнения! Никакого! Сейчас есть хозяин.

Доктор задумался и, сосредоточенно зажмурившись, очень веско повторил:

— Хозяин... Настоящий хозяин... Вот видите траву? — Он показал на сухой, пестрый, пыльный луг, розово освещенный вечерним солнцем, луг, через который тянулась длинная и острая тень колокольни. — Коровы, овцы ничем, кроме этой травы, не питаются, но сейчас же перерабатывают ее в жиры, в молоко, в масло. А кормите травой человека — этого не будет. Значит, организм животных является вспомогательным для переработки зелени в жиры. Своеобразный агрегат. Сколько у нас этого сырья, из которого делают жиры! Но еще животных мало. А они необходимы. Это ближайшая проблема. У нас нарушен в хозяйстве жировой баланс. Надо восстановить, надо. Толстой это для других писал, насчет только хлеба... проповедовал... Поверьте мне, как врачу.

— Толстой не признавал докторов, — поддразнил я его.

— А доктора не признают Толстого, — сказал он. — Ну, будьте здоровы, приходите посмотреть прием больных. Это вам будет интересно. Я принимаю человек сорок — пятьдесят в день. А комбайны косят в балке. Это отсюда недалеко. Пройдите вдоль кладбища, а потом километра полтора.

Возвращался домой пешком, по высокому железнодорожному полотну, широко загибающемуся к станции.

Солнце село.

Темно-клубничный закат, на нем, как бы вырезанная из черной фотографической бумаги, наклеена двугорбая церковь. Сиреневый пар над паровозом. Огни семафоров, красные и зеленые. Блеск рельсов.

Если бы не комбайны и не грузовик, проехавший только что в облаке пыли к элеватору, — вполне чеховский пейзаж, особенно этот доктор. Надо пойти к нему в больницу на прием, чтобы окончательно отдать дань чеховской традиции.

Осмотрели табор «Парижской коммуны».

Это роскошный, образцовый, показательный табор.

Тут высокий, просторный курень с мужским и женским отделениями, со столом в проходе, со скамьями с хорошо убитым земляным полом, посыпанным, как на троицу, срезанной рогозой и польшью.

Всюду лозунги, графики, газеты.

Недалеко — кухня. Хорошенький временный домик под черепицей. Столы, скамьи, посуда, бочка, ведра, бак, кружка.

Стоят в ряд бестарки, хорошо выкрашенные в красный цвет, с желтыми лозунгами и надписями.

Ходит интеллигентная девушка-практикантка, студентка из Ленинграда.

Но Розанов как бы не замечает всего этого.

— Сколько зерна сдали?

Оказывается, мало.

— Вот так так! Вот прекрасно. Все есть: и табор, и бестарки, и кухня. Хоть на выставку. Все есть, кроме зерна. Красиво... Очень мне нужен ваш табор без зерна! Я предпочитаю зерно без табора! — кричит Розанов.

Но мне очень понравились и табор, и кухня, и бестарки, и весь стиль коммуны. Все чисто, аккуратно, с иголочки.

Машины расписаны цветами.

Производит впечатление, что крепкая, талантливая молодежь «играет» в труд.

Но разве это недостаток, если в результате этой игры — образцовое, большое, очень хорошее хозяйство? Наоборот, труд должен быть желанным и радостным. И зерно сдадут. Обычно «Парижская коммуна» на первом месте.

Это здесь знаменитый бригадир Ганна Рыбалка, о которой мне много говорили.

Но я ее еще не видел.

Розанов, особенно требовательный к интеллигентным работникам, стал «брат в работу» председателя коммуны Назаренко.

Назаренко, высокий, красивый парень в белой рубашке, спокойно сидел за своим письменным столом.

По очереди входили коммунары и коммунарки. Я ждал появления легендарной Ганны Рыбалки. Но ее все не было.

— А где же Ганна Рыбалка? — спросил я шепотом. — Почему ее нет?

— А вот же она, — сказал мне Хоменко, показывая глазами на женщину, давно уже сидевшую подле двери на скамье.

Вот уж никак не ожидал, что это именно и есть знаменитая Ганна Рыбалка. Я представлял ее высокой, стройной, смуглой девятнадцатилетней красавицей, в майке с засученными рукавами. Она оказалась низенькой, плотной

женщиной, в белом платочке с кружевной оборкой, в белой деревенской кофте, в сборчатой юбке, лет двадцати пяти. Курносая и очень бровастая, она никак не подходила ни к своей репутации, ни к своему поэтическому имени — Ганна.

Однако, присмотревшись, я нашел в ней очаровательную, немного ироническую усмешку, замечательной близны зубы и грубоватую женственность молодой крестьянки. Маленькая босая ножка. Она сидела скромно и молча. (Только один раз усмехнулась каким-то своим мыслям.) Она досидела до конца, не выступала и по окончании заседания встала и незаметно вышла.

С ней сейчас целая история в коммуне. Недавно она сошлась и стала жить с председателем коммуны Назаренко.

Бригадир живет с председателем! Родственные связи!

Пошло недовольство части правленцев. Под Ганну давно подкапывались соперники. Ее бригада всегда первая; ей не могли простить, что она первая во всем районе закончила сев и ездила с рапортом в Москву, к генеральному секретарю комсомола.

Теперь враги поставили вопрос: совместимо ли быть бригадиром и вместе с тем женой председателя?

Назаренко для Ганны бросил свою жену и троих детей. Старики этого тоже не одобрили.

Начались разговоры, что Ганна потеряла авторитет и ее надо сместить с бригадирства или чтоб Назаренко ушел из председателей.

Наши политотдельцы ездили решать это дело. Ответственная вещь — снимать зарекомендованного работника, образцового и незапятнанного бригадира в такое напряженное время.

Разобравшись, нашли, что Ганна работает по-прежнему отлично. (А говорили, что в связи с медовым месяцем она стала немного манкировать.)

Ганну оставили в бригадирах. Во время разбирательства дела она держалась скромно, не выступала и мнения своего не высказывала: терпеливо ждала, что решат. Назаренко — тоже.

Отец Назаренко, старик-коммунар, сказал свое мнение:

— Я считаю, что по сравнению с прежней женой моего сына Ганна ни черта не стоит. Во-первых, та баба добрая хозяйка, во-вторых, трое пацанов, в-третьих, Ганна уже со многими жила. Она жила с моим младшим сыном

Назаренком и со старшим сыном Назаренком, а теперь живет со средним. Понравились ей Назаренки! Но это долго не протянется. Они поживут-поживут, и он опять вернется до своей бабы. Это я вам говорю.

Старик Назаренко был в австрийском плену, знает немецкий язык и немного итальянский. Его уважают. Он в коммуне занимается какой-то полуадминистративной работой, — кажется, «обликовец», учетчик. Он аккуратно одет, бритый, в строченой панаме серого полотна, похож на фермера. У него три сына — и все коммунары.

Часа в два ночи испортился автомобиль. Как раз только что проехали мостик. Низина. Вокруг болотные большие сорняки. Целая заросль. Сильная ореховая вонь дурмана, рогазы, рокот лягушек и крики жаб — те знаменитые ночные звуки, когда как будто кто-то дует в бутылку.

Сырая темнота и масса звезд в черном небе.

Испортилось магнето. Мы зажигали спички одну за другой, и при их свете шофер чинил.

Адски хотелось спать.

Розанов спал.

Часа через полтора, изведя два коробка, починили и поехали...

Мчались, наверстывая время, как угорелые. Перед нами, ослепленные фарами, металась, взлетая с дороги, сова. Одну сову убило радиатором.

Неслись по обеим сторонам дороги сказочные растения. Перед фарами кружились добела раскаленные мотыльки.

Подул неожиданно горячий, сухой ветер.

Дьявольская, шекспировская ночь!

Розанов вошел в комнату с котенком.

Под лестницей родила кошка. Котята подросли.

Он вошел с котенком в одной руке и с блюдцем молока в другой. Он поставил блюдце на пол возле моей кровати. Тыкал пестренького котенка мордочкой в молоко.

Котенок пищал, как воробей чирикал.

Розанов сиял, ласково приговаривая:

— Так-так-так-так.

Розовенький язычок быстро замелькал в блюдце с голубой каемкой.

Нынче:

«Ведомость о ходе косовицы, молотьбы, хлебосдачи на 28 июля 1933 года.

1. Нужно скосить	25 127 га
2. Скошено	7538 »
3. Связано	6603 »
4. Сложено	6368 »
5. План хлебосдачи	91 329 центнеров
6. Сдано хлеба	1 834 центнера
7. Вылущено	32 га
8. Поднято под зябь	11 »

28 июля 1933 г.»

(И кудрявая подпись.)

Все это на клочке плохой бумаги, лиловыми чернилами.

Секретарь ячейки артели «Чубарь» товарищ Драчев. Я познакомился с ним утром.

Он не был в поле. Он занимался делами в селе. У него три дела, требующих немедленного вмешательства: 1) за-солили мясо для питания бригад, но оно портится, по-пахивают кости, надо пересолить; 2) в детских яслях произвести осмотр детей, вызвать доктора и устроить изолятор для больных; 3) горит в амбаре мокрое жито.

Драчев — человек новый. Он здесь всего два года. Обычная судьба деревенского коммуниста — перебрасывают.

Сначала был где-то беспартийным активистом, хорошим работником, предколхоза, предсельсовета, кандидатом партии, потом партийцем.

Тогда его стали перебрасывать с места на место секретарем.

Здесь он с тридцать первого года.

Ему лет тридцать. Он чистенько одет, довольно крупный, молодое лицо, полудеревенский, соломенная рваная шляпа, одинок, живет «на квартире», по профессии скидальщик.

Он пошел от правления артели через знойную улицу, вошел во двор — там погреб.

В холодной тьме погреба кладовщик рубил мясные туши и засыпал их солью.

Драчев залез в погреб, перенюхал каждый кусок, велел отделить мясо от костей и складывать отдельно.

Он доволен, что бригады обеспечены недели на две мясом. А потом еще есть запас постного масла.

С руками, до локтей запачканными соленой сукровицей, Драчев вылез на солнце и зажмурился.

Потом он вошел в амбар против церкви. Велел отпереть. Жито было навалено кучей. Он опустил в жито руку. В глубине оно было мокрое и горячее.

Никакой вентиляции.

Он велел открыть ставни и окна.

Возле амбара бабы сушили на мобилизованных рядах зерно. Он и его пощупал.

На чердак вела лестница. Одна деревянная ступень отсутствовала. Он приказал сделать немедленно.

Была бочка, но без воды. А вдруг пожар? Он велел немедленно налить водой.

Бабы подметали зерно вениками из полыни.

В яслях уже был доктор.

Из сорока двух ребят трое больных. Их отделили. Дети водили хоровод и пели песенку про бригадира первой бригады. Новую песенку на старый мотив. Кто сочинил ее — не мог добиться.

Драчев долго ходил по комнатам яслей, совещаясь с доктором. Сговорился с ним, что доктор завтра в обеденный перерыв придет в табор и проведет беседу на медицинскую тему.

Потом Драчев поехал в табор — за три километра от деревни.

По дороге он срывал кое-где колоски и растирал зерна на ладони, обдувал, веял, пробовал зерно на зуб и на ноготь — определял зрелость.

Приехал как раз в обеденный перерыв. Кончили молотить.

Сидели с чашками и мисками, обедая.

В красном уголке — в шалаше — парнишка и дивчина сочиняли полевою газету.

Суетился возле четырехлампового приемника рыжий Циба, комсомолец и продавец в лавке Днепромторга. Радио было налажено, но не могло работать, так как требовалась для аккумулятора кислота.

Драчев сказал, что в деревне, в парикмахерской, сидит молочарник соседней коммуны, который обещал дать литр кислоты, только чтобы с ним кто-нибудь поехал.

Циба вскочил на ноги:

— Я сам, бачите, як электротехник...

И тотчас, задыхаясь, убежал в деревню. Ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы вечером работало радио. Осмотрев табор и сделав ряд хозяйственных замеча-

пий, Драчев сел отдохнуть, но тут кончился обеденный перерыв, и он пошел на косилку скидать.

Скидальщик он лихой. Вырабатывает норму, то есть имеет ежедневно полтора трудодня.

Когда фотограф захотел его сфотографировать, он снял шляпу и обнажил выбритую, круглую, голубую голову.

— В шляпе будет интереснее,— сказал фотограф.

Но Драчев убежден, что шляпа ему не идет. Так и снялся без шляпы.

Он, как правило, ночует в таборе, в бестарке на сене.

Я представляю себе, как на рассвете открывается крышка бестарки, высовывается бритая голова Драчева и сощуренные молодые глаза оглядывают спящий табор, покрытый густой свежей росой...

Как-то поздно вечером, часов в девять с половиной, я шел мимо поля. Несмотря на то что было уже почти темно, бригада баб складывала копны. Высокий, в шляпе, Драчев стоял и показывал, как надо копнить.

Бабы со всех сторон сходились к нему и складывали крестом снопы у его босых ног.

Подпрыгивая, она бежит через двор, от тракторных сараев к жилому дому.

Я издали вижу ее желто-розовое, как пенки вишневого варенья, давно не стиранное ситцевое платье, ее грязные коричневые ноги в каких-то невероятных, стоптанных туфлях, пестрый женотдельский платочек на черных курчавых сухих волосах.

Она сильно размахивает большими голыми мужскими руками. Блестит ее пенсне.

Это сорокалетняя женщина, агротехпропагандистка, товарищ Бузулук.

Она так же нелепа и странна, как и ее фамилия.

Она пролетает мимо меня, замечает, хочет остановиться, запинаясь, потом в отчаянии машет рукой и пролетает дальше.

Она скрывается в дверях дома, но тотчас выскакивает оттуда и мигом мчится назад к тракторному сараю, большая, как лошадь, нелепая, неряшливая, взволнованная...

Она опять хочет остановиться возле меня, но опять-таки с отчаянием машет рукой и уносится к тракторному сараю.

Зачем, по какому делу она бежала туда и обратно — неизвестно.

Ее прислали для агротехпропаганды, но она сама признается, что к этому не лежит ее душа. По склонностям и темпераменту она массовик, культagitатор. Она в институте занималась главным образом кружками, стенгазетами и т. д.

Здесь она добровольно взяла на себя организацию так называемого культкомбайна.

Культкомбайн — это большой фургон, снабженный радио, листовками, стенгазетой, лозунгами, карикатурами, гармоникой, доской лодырей и ударников и т. д. Он должен выехать на поля и ездить по бригадам, обслуживать их во время обеденного перерыва и после работы, вечером.

Соня Бузулук всей душой отдалась этому делу. Она руководит художниками, сама красит колеса охрой, носит как угорелая. Она энтузиастка. К любому делу она относится с таким жаром, с таким порывом, что за нее становится страшно. Она никогда не говорит спокойно, а всегда со страстью, с муками, как будто рожает. За всякое дело она «болеет».

У нее детское платье без рукавов. Под мышками мускулистых, мужских рук растут сухие черные волосы.

Кем бы она могла быть? Помощником провизора? Акушеркой? Что-то в этом роде.

Но она крестьянка. Из земледельческой еврейской колонии под Херсоном.

С малых лет она работала на земле и хорошо помнит, как трудно было работать, как эксплуатировали управляющие, помещики... на своей спине испытала.

Подготовка агиткомбайна идет хорошо, быстро. Но ей все кажется, что медленно. Каждую минуту она думает, что все пропало, все погибло, ничего не выйдет, все пошло прахом.

Она, если так можно выразиться, энтузиастка-пессимистка. В ней ничего женского, кроме застенчивости и доброты.

Она застенчива феноменально. От застенчивости она может вдруг, ни с того ни с сего выбежать из комнаты, нелепо размахивая руками; от застенчивости она может накричать, набузить.

Она живет где-то в Зацепах. Чем она питается, укрывается ночью — неизвестно.

Иногда она прибегает попросить у Семеновны иголку

и нитку. Потом она сидит где-нибудь в уголке и неловко зашивает платье.

Над ней все подшучивают, но все признают в ней большую душу и чудесную доброту.

Ее очень любят.

Это чудесное, неслепое, милое существо, сорокалетний ребенок.

Сначала она набросилась на меня, заставила писать лозунги, придумывать рисунки. Но так как она все мои короткие лозунги превращала в длиннейшие афоризмы, полные придаточных предложений и тавтологий, я скоро охладел к агиткомбайну.

Она махнула на меня рукой. Она таинственно говорила про меня:

— Я уже на него не надеюсь.

Но просила мне этого не передавать. Мне все же сказали.

Я спросил ее:

— Бузулук, так, значит, ты уже на меня больше не надеешься?

Она страшно покраснела.

— Ничего подобного,— и таинственным шепотом: — А кто тебе сказал?

— Зоя Васильевна сказала.

— Ну, я ей ничего больше не буду доверять.

— Почему же ты на меня перестала «надеяться»?

— А ты почему не пишешь ничего?

— А откуда ты знаешь, что я не пишу? Может быть, я пишу роман.

— Рассказывай!.. Где ж он?

— Чудачка! Роман надо писать год-два. О Магнитогорске я писал полтора года. Подожди, напишу.

— И мы будем читать?

— Будете читать.

— Только ты смотри, про меня чего-нибудь такого не напиши.

— Обязательно напишу.

— Что ж ты напишешь?

— Что ты малохольная.

— Ну!..— воскликнула она, покраснев, и хлопнула меня осторожно по плечу своей мужской по величине, но вялой рукой.— Сам ты малохольный!

Если она что-нибудь хочет сказать, она никогда не говорит прямо, а всегда конфиденциально.

Таинственно тащит за руку, подталкивает костлявым потным плечом в соседнюю комнату, в коридор, в закулок, если на дворе, то за дом, за скирду; отводит от других, таинственно шепчет:

— Иди, я тебе что-то скажу... Тебе нравится агиткомбайн?

— Нравится.

Она тяжело вздыхает.

— Нет, это верно, что тебе нравится?

— Верно.

— А почему он тебе именно нравится?

— Потому что он хороший.

Она долго смотрит в глаза, потом застенчиво фыркает, стучает по плечу и говорит:

— А ну тебя совсем! От тебя никакого толку не добьешься. Я уж на тебя не надеюсь.

Все же агиткомбайн у нее вышел «на ять». Весь в картинках, в портретах, в флажках, он в срок выехал в поле.

Она отправилась на нем, сидя рядом с кучером, как хозяйка бродячего цирка.

Потом в Днепропетровске она выхлопотала какую-то капеллу из одиннадцати человек.

— Приедут артисты,— торжественно заявила она и прибавила: — Тут у нас и писатель, тут у нас и фотограф, тут у нас и артисты, тут у нас скоро будет и легковой автомобиль. «Дела идут, контора пишет...»

Только что влетел взволнованный Марковский, секретарь ячейки МТС.

В лияной розовой майке, он похож на уличного акробата. Черный, носатый, остряк, жлоб.

— Костина нет?

— Нет.

— Тьфу, черт! Костина нет! Розанова нет! Гавриленко нет! Вот в чем дело. Там комбайн косит, так в полове вылетает половина зерна. Прямо преступление! И вот такие куски оставляют нескошенными. Прямо уголовное преступление! Ну, я побегу!..

Еле переводя дух и вытирая коричневой рукой лоб, исчез.

Как в люк провалился.

В «Шевченко», между прочим, с двух га вчера намолотили пятьдесят центнеров ячменя. Сто пятьдесят пудов с га.

Вот это урожай!

С актерами невероятная возня.

Соня Бузулук совершенно обезумела.

Она их вызвала, они приехали; теперь их надо расселить, кормить, возить, нянчиться с ними.

Она совсем потеряла голову. Она, идеально бескорыстная, столкнулась со странствующей богемой.

Картинка!

Они ходят по МТС, разыскивают еду, просят хлеба, масла, требуют молока.

— Слушай, иди сюда...

Она заводит меня за угол дома и таинственно, отчаянно шепчет:

— Что мне с ними делать?

— С кем?

— С этими самыми... с этой канеллой, чтоб она провалилась!..

Но сама сияет.

— А что такое?

— Невыдержанная публика. Совершенно безыдейные настроения...

— А что такое?

— Все время кушать требуют.

— А ты как думала?

— Вот чудак! Я их вчера кормила, позавчера они тоже так здорово нажрались... А сегодня, представь, чуть утро — требуют кушать! Я так думаю: вчера подкормились, сегодня могут подождать. Окончательно разложившаяся публика. Но я их перестрою. Ты увидишь, я их перестрою.

На территории МТС появились артисты.

Шел руководитель, пожилой вкрадчивый «арап» в стального цвета толстовке и тубетейке.

Он шел, как кот, к кладовой с запиской в руке. Вероятно, что-нибудь получать.

Шел скрипач с футляром.

Парочками гуляли девушки, так резко бросающиеся в глаза на фоне местного народа. Явно — приезжие.

На другой день Соня Бузулук увезла их в поле.

Они были долго в отсутствии. Соня Бузулук держит их в таборе и, как слышно, перевоспитывает.

Как-то она появилась на час.

Отвела в сторону, загородила от остальных и жарко зашептала:

— Понемножечку перевоспитываю. Во-первых, отменила костюмы. Зачем им в этих пестрых костюмах высту-

пать? Пускай так, как есть, выступают. Во-вторых, переделала их репертуар. А то они вчера как начали спевать полтавскую старинную песню, так, представь себе, все бабы начали плакать. Те поют, а эти ревут. Те поют, а эти разливаются. Ну, я это прекратила. Мне надо что-нибудь бодрое, заряжающее — одним словом, на все сто. Правильно?

Я засмеялся.

— А ну тебя! — закричала она, махнула на меня рукой, как на окончательно погибшего, и исчезла.

Поездка с фотографом в бригады «Першого травня», «Маяка».

В третьей бригаде «Першого травня», в таборе, нашли Соню Бузулук с ее фургоном.

Я издали заметил в толпе ее платье и флажки фургона.

Когда мы подъехали, возле агиткомбайна на лужке сидели широким кругом колхозники, преимущественно женщины.

Артисты стояли, готовые к выступлению.

Бузулук села, подобрав ноги, посредине, в пыльную траву, и стала говорить. Она говорила очень спокойно, вразумительно, популярно и медленно. Я не ожидал. Ее очень внимательно, сочувственно выслушали. Она, очевидно, действительно неплохой массовой организатор.

Потом — капелла.

Сначала спели хором какую-то вещь Гречанинова, потом — из современных, потом две девушки плясали русскую под хор и скрипку.

Скрипка звучала под открытым небом совсем слабо.

Девушки сорвали с луга по цветку, и началась пластика.

Колхозники бесстрастно, но внимательно смотрели и слушали.

Потом руководитель и одна из девушек под аккомпанемент той же скрипки прочли в два голоса частушки о том, как надо вязать, как надо подбирать колоски, как надо не лениться. Очень бойкие частушки с упоминанием фамилий бригадиров.

Бузулук в это время подползла ко мне и впилась в мой локоть:

— Ну? Ты слышишь? Как тебе нравится? Это мы им сами составили частушки.

— Кто именно?

— А не все ли тебе равно, кто? Мы и мы. Нравятся?

— Нравятся.

— А ну тебя...

— Все-таки — кто сочинял?

— А ты сперва скажи: хорошо или плохо?

— Хорошо.

— Определенно?

— Определенно.

Она с удовольствием зажмурилась.

— Это местный хлопчик сочинил. Видишь, сидит, та-кой курносый, под агиткомбайном, в картузе? Иди сюда, я тебе имею что-то сказать.

Она согнала меня с места и отвела за будку.

— Как тебе нравится?

— Что?

— Как я их перестроила.

— Нравится.

— А ну тебя! — Она с отчаянием махнула рукой.

Танцевали под скрипку. Сначала стеснялись. Потом пошло несколько пар. Сам бригадир Циба (это не рыжий Циба, а другой Циба, фамилия распространенная), сам бригадир Циба танцевал казачка.

Сделали снимок.

В шалаше красного уголка, украшенного лозунгами и зеленью, сидела, перебирая струны балалайки, вишневецкая учительница Зина Антоненко.

Я заметил ее еще в прошлый приезд, когда мы с Елисеевым читали лекцию о технике стенных газет в столовой МТС.

Она тогда сидела с краю первой скамьи, боком, в черном, длинном, легком платье, высокая, стройная, смуглая, даже, я бы сказал, элегантная. На ее голове был повязан каким-то не то бантом, не то тюрбаном черно-желтый вуалевый шарф.

По окончании лекции она аккуратно собрала свои тетрадки и ушла по полотну железной дороги вместе с двумя какими-то молодыми, высокими, красивыми парнями. Они шли трое по полотну, братски положив друг другу руки на плечи, и толкались, играли, — видимо, дружили.

Теперь она сидела в шалаше, украшенном зеленью, и меланхолично перебирала струны балалайки.

На ней было розовое плотное платье.

Она некрасива. У нее почти негритянский нос с ши-

роко раздутыми ноздрями. Он именно и портит ее лицо. Остальное прелестно. Светлые глаза, темные украинские брови, небольшой розовый сухой рот.

Ей лет девятнадцать.

Мне рассказали про нее интересную вещь. Она с пятилетнего возраста воспитывалась в коммуне имени Ленина. Теперь комсомолка, и комсомол послал ее учительствовать в Вишневецкую.

Таким образом, она — продукт коммуны. Ее воспитала коммуна, где у нее мать печет хлебы, где у нее работают две сестры и брат.

Это интересно.

Я подсел к ней, но она отвечала на мои вопросы неохотно и как-то невразумительно, по-украински. А я плохо понимаю. Часто говорила слова «звичайно», «цикаво», которые казались мне насмешливыми.

Но я ошибался. «Звичайно» — это просто-напросто «конечно», а «цикаво» — «интересно».

Я пригласил ее как-нибудь вечером зайти поговорить. Она сказала: «Звичайно», — и стала крутить из газетной бумаги и махорки папиросу.

Она много курила.

Соня Бузулук лихо перевоспитала капеллу.

«Они» у нее уже работают между делом в поле, убирают колоски, вяжут, водят лошадей.

Одна артистка проявила замечательный талант в вязке снопов. Колхозницы очень хвалят ее работу — быстрая, чистая. Предлагали записать ее на красную доску.

Бузулук сияет.

Она скоро повезет их по другим колхозам.

За время пребывания в таборе она чудовищно запустила себя. У нее уже не простая грязь на лице, а какая-то особенная, черная, как вакса. Выпачала нос колесной мазью. На руках какие-то потеки.

Зина Антоненко пришла часов в семь вечера. Она пришла в другом платьице. Беленьком, ситцевом, с уральской небольшой брошкой на шее.

Я предложил ей табаку.

Она скрутила папиросу и с удовольствием затянулась. Осторожно выпустила из широких ноздрей дым.

Сначала мне было трудно ее понимать — она говорила на литературном украинском языке, — но потом привык. Да и она стала как-то говорить более «по-русски».

Очевидно, моторная память подавала ей ритм и обороты российской речи, хорошо известной ей с детства.

Всю свою сознательную жизнь Зина Антоненко провела в коммуне. В детском саду, в школе первой ступени, потом в девятилетке. Вступила в комсомол. Комсомол направил ее из родной коммуны учительницей в село Верхнетроицкое.

— Ну что ж робить? Звичайно, я поехала. Хозяйничать я совершенно не умею. Как там сварить что-нибудь, приготовить — этого я совершенно не понимала, не имела представления. Привыкла в коммуне к столовой. Поселилась я на квартире у одной женщины. Она мне готовила. Скучно ужасно. Мать приехала из коммуны меня навестить. Взяла отпуск. Но ей не понравилось. Звичайно! Вечером некуда пойти. Она там, в коммуне, привыкла каждый вечер то в клуб, то в театр, то в красный уголок, то куда... Жизнь кипит. А здесь тишина, да скука, да ничего вокруг нет. Словом, не понравилось маме.

Посидела дней пять и уехала обратно в коммуну.

Потом меня комсомол перебросил в Вишневецкую. Тут нас поселилось в одной хате три учительницы. Веселая такая коммунка, молодежная. Но все-таки за коммуной Ленина сильно скучно. Бачьте, как тут в колхозах люди тихо живут по сравнению с коммунарами. Тишина-а-а... А я, знаете, совершенно не привыкла быть одной. Просто-таки не могу. Приучилась к обществу. Прямо-таки и не представляю, как это другие люди любят одиночество! Когда я одна — с ума схожу. И потом грязь. Полы глиняные, мазанные. А я люблю, чтоб все было чисто. Я через день мазала пол. Ну, только у меня плохо выходило. Другие учительки с меня смеются. Я, звичайно, мазала добре, да только каемку не умела делать, у меня неверно выходило. Бани нету, плохо. Надо греть казан и мыться в хате. Как это люди живут в такой грязи — не понимаю. Просто дурни какие-то. Не могут организовать в коммуну!

В коммуну Ленина много народу просится. Их принимают, но с разбором. Каждого не примут. Принимают общим собранием. Обсуждают его все коммунары.

А какие в коммуне чудесные пацаны! Ой, смех!

Тут ее глаза засияли. Говорить о детях явно доставляло ей удовольствие. Она так приятно произнесла это «чудесные пацаны».

— Чудесные! — повторила она. — Идет какой-нибудь пацан лет четырех, опоздал в детмайdanчик, а другие пацаны встретят — и так серьезно до него: «Прогульщик!

В майданчик опоздал! Дивитесь на прогульщика!» А тот так серьезно им отвечает: «Я сегодня выходной!»

У меня там есть племянница Тamarочка, моей старшей сестры дочка. Четыре, пятый. Чудесная девочка. Прямо-таки чудесная. Такая умненькая, серьезная. Мама на работе, или уехала куда-нибудь, или еще что — так она сама проснется, оденется и сама идет в детский сад. А потом вернется вечером и сама ложится спать. Прямо как взрослая. И умненькая — вы себе не можете представить. Один раз спрашивает: «Тетя Зина, зачем люди умываются?» Я говорю: «Чтоб бактерий с себя помыть». — «А что такое бактерии?» — «А это такие козявочки, они болезни переносят». — «А где они, покажи». — «Их не видно, они маленькие, такие крошечные, что не видно». — «Покажи». Ну, пришлось повести ее в школу и там микроскоп показывать. Представьте, она все очень хорошо поняла. А потом опять спрашивает: «А зачем полмоют?» — «Чтоб бактерий не было». — «А разве как их моют, так они умирают?» — «Не умирают, но прилипают к полу и не могут летать в воздухе».

Так она, представьте, на другой день видит, как пылинки в солнечном лучике возятся, и говорит: «Бачь, тетя Зина, бактерии прыгают. Надо их помыть, чтобы они не прыгали». Чудесно!

А потом я как-то приехала и стала вытирать стол той тряпкой, которой обычно стулья вытирали. Тамара говорит: «Не вытирай этой тряпкой, там от стульев бактерий».

Она, представьте, ездила на автомобиле. А, представьте, на поезде никогда не ездила. У нас в коммуне грузовик. Я поехала в Синельниково и ее с собой взяла. На станции стоят разные поезда. Стоит товарный, стоит пассажирский. «Тетя Зина, а мы на каком поезде — на красном чи на зеленом?» — «На зеленом, деточка». Мы вошли в вагон, Тamarочка стала возле окна, а я сзади, поезд зашвистел и поехал. Она видит, что все мимо поехало, держится за окно и спрашивает: «Тетя Зина, а ты тоже едешь?» Чудесная девочка!

— Вы, как видно, очень любите детей, вам, наверное, нравится быть учительницей?

— Нет, не очень.

— Что, трудно, нервы треплют ребята?

— Нет, ничего. Я в младшей группе. У меня еще маленькие. Они как воск: что я хочу, то с ними и делаю. Не особенно трудно.

— Значит, вас учительство не вполне удовлетворяет?

— Эге.

— А кем бы вы хотели быть, какие у вас перспективы?

Она замялась.

— Не знаю... — неохотно сказала она, но я почувствовал, что она знает.

— Ну, все-таки кем?

— Мабудь, — сказала она тихо, — мабудь, музыке учиться. В Днепропетровске есть музична школа.

— А на чем вы хотите играть?

— На чем попадетсЯ. На пьянино, могу на гитаре, на мандолине. У нас все способные к музыке. И сестры и брат. А брат еще здорово рисует.

Мы поболтали еще. Уже стало темнеть. Она собралась уходить. Я пошел провожать.

У нее всюду масса знакомых.

Проходя через наш двор, она окликнула какую-то девушку-работницу:

— Ты что здесь робишь, Одарка?

— Працюю...

— Заходи до мене!

На переезде она заметила на площадке товарного поезда кого-то и закричала:

— Добрый вечер, Петрусь! — И пояснила мне: — Это один мой знакомый со своим пятилетним пацаном поехал. Железнодорожник. У него чудесный пацан, Миколка.

Она повела меня в Вишневецкую не по обычной дороге, а, сокращая расстояние, всякими прямыми тропинками, стежками — через высокую, блестящую, сумрачную кукурузу, через мостик, потом через огороды села Малые Зацепы, через заросли пахучего бурьяна, будяков, паслёна.

Дважды мы проходили по палкам, проложенным над тенистыми и таинственными ручейками.

Было уже совсем темно.

Но она быстро и легко шла в потемках, подавая мне в трудных местах руку, так что в конце концов не я ее провожал, а она меня.

По дороге она со смехом рассказала мне про своих подруг, веселых учительек. Одна из них, Татка, чаще всего фигурировала в ее рассказах.

Однажды она с Таткой поехала в Днепропетровск.

— Я добре знаю Днепропетровск. Мне довольно быть один раз, и я все запомню. А Татка никогда не была. Ой, смех! Вот я ей говорю: «Сейчас мы поедем на трамвае». А она спрашивает: «А он нас возьмет?» — «Возьмет!»

Ну, мы сели, я ей говорю, чтобы она вперед шла, а она стесняется, не хочет. Я прошла вперед, а у нее чемоданчик и деньги. Я ей кричу через весь вагон: «Татка, заплати за билет!» А она мне кричит через весь вагон обратно: «А я думала, они нас так подвезут, без денег». Ой, смех! Она первый раз в таком большом городе.

— А вы?

— Я — во второй раз.

— И больше нигде в «большом городе» не были?

— Нет.

— Однако как вы хорошо находите дорогу в темноте... все эти стежки, тропочки...

— Я в темноте вижу, как кошка.— Она тихонько засмеялась.— Как кошка... Смотрите, я вас заведу куда-нибудь и брошу.

— А я найду дорогу.

— А ну-ка, скажите, где сейчас Зацепы?

Я показал наугад рукой на черную кучу больших деревьев.

— А вот и не угадали! — воскликнула она.— Правее!

Она легонько положила руку на мое плечо и показала другой рукой направление.

— Придется вас провожать обратно.

Она увидела впереди какую-то фигуру.

— Эй, Степан Иванович, пойдем со мной гулять! — закричала она общительно.— Пойдем со мной гулять, проведем человека!

Степан Иванович, с бутылкой молока в руках, отказался.

— Ну, я тебе припомню! — закричала Зина задорно.— Не приходи ко мне до хаты, выгоню!

Это был приезжий учитель.

Она просила еще нескольких, но все хотели спать, все отказывались.

Наконец она сосватала мне уже возле самой своей хаты, в которой светился желтый огонь, какого-то дюжего парня. Он благополучно вывел меня к железной дороге.

В деревне возле хат мелькали фигуры, горели папиросы, слышались в степи песни, пахло дымом и печеным хлебом. Лаяли собаки. Стучал двигатель мельницы.

Была чудесная, звездная июльская деревенская ночь, полная таинственной тьмы и нежности.

Пахло ореховой горечью сорняков.

«Чудесный падан» — наше время, наша жизнь!

Ночи стали совсем летние, черные по-южному и звездные.

На Украине называют Большую Медведицу — Воз.

Узнавание звезд, разговоры о вселенной.

Много падающих звезд. По всем направлениям.

Очень сильно пахнет в палисаднике маттиола.

Сидим часов до двенадцати на скамеечке. Тепло, и комаров немного.

Только что приехал из «Парижской коммуны» Петрусенко, помощник начполитотдела по комсомольской работе.

Это молодой человек, низенький, плотный, в соломенной высокой шляпе с очень короткими полями.

Иногда он ездит на велосипеде.

У него жена известна своей ревностью и скверным характером. Он бы с ней давно разошелся, но боится. Есть ребенок.

Она устраивает ему скандалы, часто выбегает во двор — нарочно с заплаканными глазами: дескать, посмотрите, люди добрые, какой у меня муж мерзавец.

Иногда без всякого повода она пронесется через двор в черном свистящем шелковом платье, в новых туфлях на высоких каблуках. Она грозит, что, если он ее бросит, убьет его и ребенка.

Принципиально ни черта не делает: муж должен кормить.

Петрусенко, тихий и скромный человек, молча несет свой крест.

Он любит уезжать из дому в «Парижскую коммуну».

Там он отдыхает.

Я подозреваю, что он неравнодушен к Ганне Рыбалке. Он, по-моему, незаметно наружно, но очень глубоко переживает скандал с Ганной, который отнюдь не затих, а, наоборот, разгорается, вступает в новые фазы.

Нынче он привез новые подробности и рассказывает их своим низким, по-украински жужжащим голосом:

— Там новое дело. Новые сплетни. Какой-то человек, говорят, зашел в одиннадцать часов дня в клуню — в красный уголок, а там будто бы на кровати лежит в обнимку Ганна и Назаренко, и тут же за загородкой какой-то комсомолец все видел. Где он это мог заметить? Главное — там никакой кровати нету.

— Положим, кровать есть, — сказал кто-то. — Там, в кутке, я сам видел, для отдыха.

— Ну, допустим, что есть кровать, — ну что они, дур-

ные, что ли, чтоб этим заниматься? Днем? И главное — где? В червонном уголке. Что, у них хаты своей нема, что ли? Теперь пошли разговоры, сплетни. Это специально, чтоб Ганну и Назаренко дискредитировать. Это работа Крота. Ему хочется скинуть Назаренко и самому стать головой коммуны. Крот — известный склочник. Мелкий человек. И главное — старик Назаренко держит сторону Крота, он осуждает этот брак.

На Ганну это сильно влияет. Она даже подалась немного, похудела, молчит. Но не уступает. И Назаренко тоже. Оба не сдаются. Вопрос стоит очень остро.

Это ли не тема, если хорошенько вдуматься?

В связи с выдачами крупных авансов муки (в счет трудодней) забавное явление. Все девушки и вдовы с большим количеством трудодней стали выгодными невестами. У некоторых есть по двести пятьдесят — триста трудодней. Уже многие лодыри и симулянты без трудодней подъезжают, женихаются.

А мужчин мало. Соблазн велик. Раньше жених спрашивал: «А есть у тебя корова?» А теперь: «А сколько у тебя трудодней?»

Трудодни — выгодное приданое.

Девушка, у которой триста трудодней, и женихи-лодыри.

Это ли не тема для веселой деревенской оперетки?

Колхозник стоял на току, чесал затылок:

— У меня двести сорок трудодней. Ничего. Но баба моя — работница никуда: у нее всего тридцать пять. Вот у других баб по сто пятьдесят трудодней. Коли б у моей бабы трудодней полтора ста! Тогда вместе всех четыреста...

И он с завистью смотрел на приехавшую доярку, у которой было двести пятьдесят трудодней. Искренне жалел, что на ней нельзя жениться.

С ненавистью смотрел на свою неповоротливую и ленивую бабу и чесал пыльный затылок черным пальцем.

Зоя Васильевна букву «о» после «л» произносит очень мягко, с еле уловимым мягким знаком — после «л», так

что у нее получается вместо «о» «ё»: лёжка, лёшадь, мо-лёко.

Вероятно, это какой-то областной признак произношения, некий фонетический провинциализм.

Я часто встречал провинциалов с таким произношением.

Она так же мягка и провинциальна, как ее выговор.

Она и Розанов — полные противоположности. Как они соединились, непонятно.

Она, по ее собственным словам, «больна современной советской литературой». У нее книжки, портреты, биографии, сборники.

Она знает о современных писателях, не видя их, гораздо больше, чем, например, я, сталкивающийся с ними ежедневно.

У нее тяжелое положение. Она всюду следует за мужем, которым распоряжается партия.

Переезжая с места на место, с работы на работу, он не теряет колеи.

Ее же каждый переезд выбивает из колеи, она теряет работу.

Она окончила какие-то не то педагогические, не то библиотечные курсы, где-то заведовала библиотекой, устраивала выставки писателей, какие-то диаграммы, лозунги, картотеки.

Она любит свое дело, она очень современна.

Сейчас у нее очень острое положение.

Мужа послали начполитотдела в МТС в деревню. Он при деле. А она? Что должна делать она?

Ее хотели устроить при политотделе секретарем (техническим). Но Розанов против. Он очень щепетилен.

Она беспартийная. Я думаю, он ей не доверяет. Не доверяет именно потому, что она его жена. У нее же отнята возможность работы. Она не хочет опуститься, стать мужней женой, кухаркой. Для этого она слишком современна и эмансипирована. Однако самый ход жизни начинает ее втягивать в «болото», как она выражается.

Муж приезжает голодный, проделав на бричке сорок — пятьдесят километров. Надо его накормить, надо приготовить горячую воду, чтобы он помылся, побрился.

Это, конечно, почтенное дело, но все же — кухарка.

Она барахтается, не сдается, не хочет опуститься.

Она выписывает «Литературную газету», журналы.

Но «Литературная газета» часто пропадает на почте,

журналы опаздывают, неаккуратно выходят. Она отстает от жизни.

Хозяйство начинает съедать время.

Чтоб не опуститься, она часто, по нескольку раз в день, моется, переодевается, шьет новые платья. Вот она появляется в дверях столовой в полосатом синем с белым спортивным платье «Динамо», в тапочках, с громадной прописной буквой «Д» на груди. Вот она бежит через двор к леднику, с ключами в руке, в пестром ситцевом сарафане. Вот она появляется вечером к чаю в халатике.

Сперва у нее были обширные планы деревенской деятельности: фотографировать ударников, выпускать стенгазеты, работать среди женщин, устраивать ясли.

Но фотоаппарат у нее сломанный. Она типичная растяпа, неудачница. Когда она снимает, это мучение: падает штатив, валятся кассеты; вечно она снимает, забыв вложить пластинку, или второй раз снимает на той же пластинке; от аппарата отскакивают какие-то винтики; не открывается объектив. Вечно она то «недодержала», то «передержала», то объект съемки не попал в кадр.

Розанова это бесит.

А она убеждает себя, что все эти неудачи случайны.

За стенную газету она взялась горячо, но скоро надоело: никто не поддерживает, никто не дает заметок, нельзя же все самой.

Один раз ей удалось организовать энтээсовских женщин. Первого мая. Они засадили перед домом садик. Расчистили двор от грязи, навоза. Посыпали садик песочком. Теперь тут растут жасмин, маттиола, кустик сирени, топольки.

Сделали над деревянной аркой светящуюся красную звезду.

— И вдруг, когда делали звезду,— говорит Зоя Васильевна,— я поймала себя на мысли: вот Первое мая, праздник, я хлопочу, стараюсь — и ото всего этого мне нет никакой радости. Что мне до этого всего? Зачем я стараюсь?

Она сказала это с мягкой горечью и очень откровенно.

Откровенность, правдивость — ее черта.

Теперь у нее новая мечта: поступить зимой учительницей в зацепскую семилетку, читать курс русской литературы.

Недавно она ходила в школу и взяла у заведующего программу. Несколько дней она с ней носилась. Теперь остыла. Из этого тоже ничего, наверное, не выйдет.

Она возится с детьми. Сейчас возится с котенком. У нее всегда несколько нелепые идеи. Сейчас она, например, убеждена, что котенка надо как-то особенно «приучать» к людям.

Она может вдруг вечером сорваться с места и с разбегающимися подстриженными волосами помчаться к качелям:

— Товарищи, идемте качаться на качелях!

С ней никто не идет — все люди солидные.

Она, разбежавшись, одна вскакивает на доску и качается до головокружения, только в темноте мечется ее светлое платье.

То она может сесть на стул боком, уронить лицо и волосы на спинку. Так она и снята на одной карточке, которая стоит на письменном столе Розанова в овале: подбородок на спинке стула, обворожительная улыбка и волосы по плечам.

Это следы провинции. Но этого немного.

У них квартира из двух комнат с кухней.

Она сделала все, чтоб был уют. В спальне две опрятные кровати, на стене ружья, горка фибровых чемоданов, один на другом — от большого до самого малюсенького; на большом венецианском окне шторы.

В столовой два письменных столика — его и ее.

На его столике — статуэтка Ленина, но не обычная, а куб и на нем голова; марксистская литература, три тома «Капитала» в папке; Энгельс, полный Ленин в двух изданиях и т. д.

Пепельница в виде раковины со спичечницей.

Фотография Зои Васильевны в деревянной выжженной рамке.

На ее столике — Маяковский, Безыменский, антология поэзии и т. д.

Обеденный стол всегда с букетом полевых цветов; занавески на окнах, стул-качалка, курительный столик, фотографии и картинки на стенах.

Все это дешевое и рыночное, но весь вид комнаты тем не менее не мещанский.

И на видном месте, почти на середине, как треножник некоего семейного алтаря, фотографический аппарат на расставленном штативе.

Когда-то в Ульяновске — литературный кружок, местная богема, местные Северянины, Блоки, Бальмонты.

Сама писала стихи, печальные — про осень, про дождь.

Сейчас над этим посмеивается. Вкус вырос. О своем романе с Розановым рассказывает так.

Служила на пехотных курсах библиотечаршей. Розанова прислали с каких-то курсов на культработу. Ей было семнадцать лет.

Он вошел в библиотеку и сразу сказал: «Этот лозунг надо убрать». Был сердит и придиричив. Его не любили машинистки. Подойдет, скажет: «Ты мне перестукай сейчас же эту бумажку». — «Какое вы имеете право обращаться ко мне на «ты»? Я пойду жаловаться к комиссару». — «Ты мне, матушка, не нужна. Мне только пужно, чтобы ты мне переписала...»

— Я, — рассказывает Зоя Васильевна, — ему не подчинялась по положению, но он придирился. Но когда моя выставка работ Ленина вышла замечательно, он сказал: «Надо ее перенести в клуб. — А он заведовал клубом. — Очень хорошая выставка!»

Так и пошло.

Вот шестой год езжу за ним из города в город.

Заехали с фотографом в пятую бригаду, в ту самую, где видел женщин под дождем в первый приезд.

Они обедали в балочке возле колодца.

Только что кончили вязать за виндроуэром¹.

Я их тогда, в первый приезд, снял и обещал обязательно привезти снимок. Я его захватил с собой.

Они меня сразу узнали. Были очень тронуты, что я сдержал свое обещание. Обычно приезжают, обещают и забывают.

Окружили меня и рассматривали карточку. Тогда их было двадцать пять человек. Старуха с любопытством отыскивала в группе себя.

Теперь их было уже не двадцать пять, а сорок. Пятнадцать прибавилось — вернулись в бригаду, прослышав про хороший урожай.

Они были одеты чисто и даже нарядно.

Они были красные и загорелые.

Хорошо ели, были веселы и оживлены.

Кухарка, которая в прошлый раз ворчала больше всех, искала себя в группе и не находила. Она стояла с краю и не вышла.

¹ Виндроуэр — рядовая жатка для раздельной уборки сельскохозяйственных культур.

Была очень недовольна, даже рассержена.

Она кричала:

— Снимите кухарку, снимите меня, как я варю борщ!

Одна из новоприбывших в бригаду пыталась пожаловаться, что у нее мало трудодней, но другие на нее напали: надо было раньше начинать работать.

Некоторые уже поговаривали о том, что нечего надевать, мало ситцу. А это уже хороший признак.

Та старуха, которая обещала умереть, стояла против меня, открыв рот с редкими, сточенными, но все же целыми зубами, и говорила:

— Не хочу умирать, хочу жить и наробить богато трудодней.

Она это говорила, просительно улыбаясь, как будто бы я был всемогущий бог.

Кухарка наступала на меня и требовала, чтобы ей выдавали мыло и чистый фартук.

Я сказал:

— А я здесь при чем? Возьми мою майку.

Она басом захохотала:

— На что мне твоя майка!

Они решили требовать у колхоза мыло и фартук для кухарки.

Настроение было боевое и веселое.

Разительная перемена.

Здесь раньше было громаднейшее имение помещика Русова.

Он был чудовищно богат.

Приезжал сюда раз в пятнадцать лет, а так постоянно жил за границей.

Всеми делами заворачивал его управляющий Дымов — человек широкий и красивый. Он жил в Писаревке.

Наша Семеновна в семнадцать лет стала его любовницей, «экономкой». Обыкновенная украинская история.

Очевидно, в молодости она была дьявольски красива. Она еще и сейчас довольно красива, а сейчас ей под пятьдесят.

Она что называется баба-огонь. Черна, подвижна, с острым глазом, соболиной бровью. Наверное, такие были киевские ведьмы.

С Дымовым она прижила двух дочерей.

Сначала он дал ей пятьсот рублей на хату. Потом она потребовала еще тысячу рублей. Он не дал. Начался суд. Суд прекратила революция.

Дымова убили махновцы.

Семеновна еще раньше вышла замуж за хорошего человека, железнодорожника. С ним, впрочем, она не живет. Младшая дочь осталась при нем, в Днепропетровске. Иногда она приезжает к матери.

Несмотря на свой возраст, Семеновна не может угомониться.

Уже на службе у Костина, месяц-два назад, у нее был роман с эмтээсовским бухгалтером, плюгавым и незаметным человеком. Она крепко держалась за эту последнюю любовь. Она подкармливала бухгалтера, стирала ему, всячески ублажала.

Бухгалтер жил внизу.

Она ходила к нему ночевать. Это была почти официальная связь.

Вдруг бухгалтер стал крутить роман с некоей Надей, конторщицей из своей бухгалтерии.

Эта Надя считалась по всей МТС первой красавицей. Я ее видел. Ей лет двадцать — двадцать один. У нее небольшие черненькие глазки, провинциальный носик, гладко зачесанные, с узлом на затылке, волосы. Сложение довольно коровье.

Вследствие своей смазливости и аполитичности она была любимой мишенью для эмтээсовской стенной газеты.

Постоянно по ее адресу появлялись язвительные заметки с заголовками вроде: «О, эти черные глаза...» — и т. п.

Я сильно подозреваю, что их писали обманутые поклонники.

Одним словом, бухгалтер стал жить с Надей, о чем незамедлительно все узнали, а в том числе и Семеновна.

Тут проявился темперамент Семеновны во всей силе. Она закатила Наде посередине двора грандиозный скандал. Она поносила ее и бухгалтера с мастерством разъяренной Солохи.

Она называла ее мерзавкой, которая со всеми живет, и его мерзавцем, которому она носила хозяйские котлеты.

Она проявила столько же ревности, сколько и бесстыдства.

Подставив лестницу, она заглянула в комнату бухгалтера и видела все собственными глазами.

Носит на темной, некогда очень красивой, шее искусственный жемчуг.

Она отличная хозяйка и любит щегольнуть какой-нибудь фаршированной курицей, запеканкой, особенными

кабачками. Ограниченные запасы провизии не дают ей развернуться. Она отлично шьет и подрабатывает этим.

Однажды по случаю окончания ремонта сельскохозяйственных машин в столовой был устроен обед с пивом и танцами. Пришел гармонист и какой-то тип «свадебного пьяницы» с бубном.

Сначала никто не хотел танцевать — стеснялись.

А музыка так и подмывала.

Тогда из толпы, стоящей в дверях, вырвалась, очевидно неожиданно для себя, Семеновна, прошла круг и, смутившись, бросилась вон. Она, наверное, вспомнила свои годы.

Но по ее повадке, по тому, как она повела плечом, мигнула глазом, притопнула ногой, все почувствовали, какая это была баба!

К ней по очереди приезжали все ее дочери.

Сначала средняя — большая, толстая, но красивая, чертежница из Днепропетровска, честная жена своего мужа и мать восьмилетнего мальчика.

Затем старшая — сухая, худенькая блондинка с прелестным, кротким лицом и добродетельными глазами и все же чем-то похожая на мать, честная жена своего мужа, железнодорожного служащего, мать хорошенького мальчугана пяти лет.

И, наконец, приехала младшая из Днепропетровска — подросток пятнадцати — шестнадцати лет, угловатая, тонкая, неловкая, крикливая до чертиков Валька, ученица седьмой группы школы второй ступени.

Она похожа на ведьму-подростка.

Она поет песни, — например, «Я девочка гулящая...» — бесится, врывается в комнаты с полевыми букетами.

Вместе с тем она страшно конфузится и, чтобы это скрыть, грубит.

Она на каждый вопрос испускает какой-то досадливый, кошачий, сердитый и страшно громкий вопль, вроде «ай-яй-мяу».

Она громоподобно хлопает дверьми.

— Валька, что это у тебя с ногой?

— Нарыв на пальце.

— Это, наверное, от купания?

— Ай, что вы говорите! — И, сердито захлопнув дверь, уносится, гремя по лестнице.

У нее растут на руке бородавки. Она страдает. Я посоветовал ей поймать жабу, растолочь ее в порошок, выйти в новолуние в полночь во двор и посыпать бородавки.

Она очень серьезно слушала и готова была поверить, но вдруг, посмотрев мне в глаза и поняв, что я шучу, сама улыбнулась, потом вспыхнула, окрыслась, крикнула свое «ай-яй-мяу».

— А ну вас, дядька! Вы всегда говорите глупости! — И, хлопнув дверью, умчалась во двор.

Годика через два-три это будет чертенок почище машины.

Появлялся дед, Семеновны отец.

Он сидел в кухне и обедал.

Это мощный, красивый, худощавый старик с длинной черно-седой бородой. Ему семьдесят с лишним. Но он на ходу прыгает с поезда, работает; недавно гостил у родственников в совхозе и поправился там на пуд.

Вот это порода!

Я был в Писаревке и видел запущенный барский сад и фундамент дома, где жил Дымов.

Старые одичавшие груши, липы, кусты, душный шалап. Сад спускается к реке. Река вся в очерете.

Весной она разливается, и здесь были огороды болгар; сейчас тут совхозные огороды. Семеновна постоянно вспоминает Писаревку. Цветы в Писаревке лучше всех цветов. Малина в Писаревке лучше всех малин. Все в Писаревке самое лучшее в мире.

А сад в Писаревке — куда там! Такого сада и на свете нигде нет!

Если в столовой случайно упомянут Писаревку, Семеновна тут как тут, уже стоит в дверях, сложив по-бабьи руки, и слушает, блестя своими чертовски живыми и страстными глазами. Видно, в Писаревке видала она счастье в жизни!

В одном из таборов окружили бабы. Кое-кто жаловался на еду. Но еда отличная. Это обычная повадка: может быть, больше дадут.

Пока бабы шумели, стоя возле черной, замасленной подводы с горючим, инструментом и запасными частями, опершись на дышло, смотрела на нас в упор желтоглазая, курносая, очень некрасивая, веснушчатая девушка.

Она улыбалась — буквально рот до ушей.

У нее замечательные, ослепительные, «комсомольские» зубы.

Она вся черная, лоснящаяся от нефти, керосина, масла; в кепке.

Руки тоже совершенно черные, и только кругленькие беленькие ноготки, обведенные трауром.

Это Ленка, трактористка из коммуны имени Ленина, которая послала ее к шевченковцам.

Она недоумеваает, почему шумят женщины.

Ей абсолютно непонятен этот мир галдящих «индивидуальностей».

У нее на щеке ссадина.

— Что это тебя так поцеловал, Леночка?

— Какой там! Нет времени целоваться. День и ночь в поле.

— Только поэтому?

— Я еще годика два подожду.

— Парней нет подходящих?

— Найдутся!

Год тому назад она не знала ни одной буквы. Сейчас грамотна, общительна, весела и даже, я бы сказал, кокетлива. Она радостно и пытливо болтала с нами и просила передать привет «нашему заместителю по комсомольским делам».

— Передайте ему вот такой привет! — и показала двумя ладонями размер небольшой коробочки.

1934

В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ИХ БЫЛО ДВОЕ

Один шел в разорванном мундире, слегка пошатываясь. Его голубоватые глаза, мутные с перепоя, смотрели в землю. В голове тяжело гудело. Ослабевшие ноги нетвердо ступали по жнивью. Все, что произошло только что, представлялось ему дурным сном. Во рту пересохло. Очень хотелось пить и курить.

Другой шел позади, ладный, подтянутый, с винтовкой в руке.

Один был стрелок-радист Вилли Ренер. Его самолет только что прижали к земле советские «ястребки». Теперь стрелок-радист Вилли Ренер был военнопленным.

Другой был младший командир Красной Армии Вергелис. Он вел сбитого немецкого летчика Вилли Ренера в штаб, на допрос.

Вокруг лежала широкая русская земля. Полосы льна, снопы ржи, далекий синий лес на горизонте, легкие осенние облака в нежно-водянистой голубизне русского неба.

Идти было далеко.

Немец обернулся на ходу. С перепою ему хотелось болтать. Он посмотрел на Вергелиса. Треугольники на петличках Вергелиса привлекли внимание военнопленного.

— Это, наверное, младший командир,— пробормотал он, не ожидая ответа, так как свой полувопрос произнес по-немецки.

Но Вергелис немного знал язык своего врага.

— Да, я младший командир,— сказал он.

Немец слегка оживился:

— О, вы знаете немецкий язык?

— Да.

— Вы младший командир?

— Да.

Немец некоторое время смотрел на Вергелиса и потом сказал:

— Я тоже младший командир.

Вергелис промолчал.

— Наверное, мы однолетки.

— Возможно.

Вилли Ренер задумался.

— Мне двадцать три года,— наконец сказал он.

— И мне двадцать три года,— сказал Вергелис.

Он нахмурился. Ему показалось до последней степени диким то обстоятельство, что между ними, младшим командиром Красной Армии и этим фашистом, могло оказаться хоть что-нибудь общее. Это общее было — двадцать три года.

— Мне двадцать три года,— повторил фашистский летчик, стрелок-радист Вилли Ренер,— мне двадцать три года, и я уже облетел всю Европу.— Он подумал и уточнил: — Почти всю Европу.

Младший командир Вергелис усмехнулся. Он усмехнулся потому, что немецкий стрелок-радист сказал «почти», Европа без СССР не есть Европа. Вилли Ренеру не удалось закончить свое турне «по Европе». Его разбитый «юнкерс» валяется недалеко от советского города В. Турне не состоялось. Пришлось прибавить неприятное слово «почти».

— Я облетел почти всю Европу,— с угрюмым упорством пьяного повторил Вилли Ренер.— Я был в Бухаресте...

— Ну, и что же вы скажете о Бухаресте? — спросил младший командир Вергелис.

— В Бухаресте много публичных домов,— быстро сказал Вилли Ренер.— Я также был в Голландии.

— Что же вы видели в Голландии?

— В Роттердаме отличные, богатые магазины... Кроме того, я был в Польше.

— А что вы заметили в Польше?

— Польские девушки — змеи: они кусаются.

— А в Греции?

— В Греции душистый коньяк.

— А вы читали что-нибудь?

— О да. Я много читал.

— Что же именно вы читали?

— Я читал «Майн кампф» Гитлера, я читал роман доктора Геббельса.

— А Генриха Гейне вы читали?

— Нет, не читал. Генрих Гейне — еврей.

— А Льва Толстого вы читали?

— Нет, не читал. Лев Толстой — ублюдок.

— А Генриха Манна вы читали?

— Нет, не читал. Генрих Мани — антифашист.

— А Максима Горького вы читали?

— Нет, не читал. Максим Горький — коммунист.

Тошнота отвращения подкатила к горлу младшего командира Вергелиса.

— Да, я их не читал,— сказал Вилли Ренер.— Но я их сжигал. Я сжигал их книги на улицах города Эссена. Вы знаете город Эссен?

Нервно посматривая на штык младшего командира Вергелиса, стрелок-радист фашистской армии стал рассказывать свою биографию.

Он был болтлив с перепоя.

Его отец, солдат вильгельмовской армии, сложил свою голову на полях Украины.

Фашистский агитатор, завербовавший Вилли Ренера в гитлеровскую организацию молодежи, беседовал с ним однажды в одной из эссесовских пивнушек. Они оба были зверски пьяны, и фашистский агитатор говорил, пуская слюни в глиняную пивную кружку, похожую на шрапнельный стакан:

— Смотри на Восток, парень. Твой взгляд всегда должен быть обращен на Восток!..

И глаза фашистского молодчика с тупой жадностью смотрели на Восток, но руки его до поры до времени орудовали в Германии.

Он хорошо запомнил слова своего фюрера Гитлера

о том, что «нужно повесить на каждом столбе человека, чтобы навести порядок».

Однажды ему поручили перевести старого антифашиста из одного концлагеря в другой. Вилли Ренер мучил свою жертву. Старый антифашист сказал своему мучителю, что он старше его на тридцать пять лет. Ренер плюнул ему в лицо, потом застрелил.

Об этом, конечно, Вилли Ренер не рассказал младшему командиру Вергелису. Это выяснилось позже, на следствии. Об этом рассказал на допросе его «друг по разбою», штурман сбитого «юнкерса».

— Слушайте, Ренер, знаете ли вы, против кого вы воюете?

— Не знаю. Я просто стреляю людей. Зверей я оставляю на совести охотников.

Младший командир Красной Армии посмотрел на младшего офицера гитлеровской банды. У того было тупое, жадное лицо выродка. Оно нервно передергивалось. Типичное лицо алкоголика, садиста, психопата. «И это человек моего возраста?! — с яростью подумал Вергелис. — Нет, это не человек. Это грязное животное двадцати трех лет от роду, низкое, пьяное, жадное, глупое и мерзкое».

— Что я мог сказать Вилли Ренеру, человеку моего возраста? — говорит об этой встрече младший командир Красной Армии Вергелис. — Что я мог рассказать этому народоненавистнику?..

Я мог бы рассказать о себе, молодом советском еврейском поэте, написавшем книгу стихов о братстве народов и строительстве новой жизни, я мог бы рассказать этому разрушителю мирных городов и сел о себе, строившем шесть лет прекрасный город в дикой дальневосточной тайге.

Я мог еще рассказать ему о моем друге Коле Мартынове, прекрасном трактористе и мужественном воине. Этот простой, благородный советский парень за день до моего разговора с Ренером вынес белокурую польскую девочку из-под обстрела фашистского разбойника. Его сразила пуля. Падая, он успел бережно посадить на траву невредимую девочку.

Что я мог рассказать Вилли Ренеру, этой свинье, до головокружения вонявшей водкой?

Я отвернулся. Его увели.

Я ушел на свой боевой пост.

Эти снимки найдены у убитого немецкого офицера в районе Яропольца.

Я держу их в руках. Я осязаю их.

Товарищи, не торопитесь перевернуть газетный лист! Хорошенько всмотритесь в эти снимки. Вдумайтесь в то, что произошло.

Вот «суд». Их «судят», этих пятерых простых, хороших русских людей, граждан великого Советского Союза.

Где их «судят» и кто их «судит»?

Их «судят» на родной русской земле фашистские разбойники.

Вот «суд» окончен. Пять гитлеровских негодяев пробуют прочность веревок. Они бодро подтягиваются на мускулах. Они резвятся. Два эсэсовца деловито следят за приготовлением к казни.

Заметьте их и запомните.

Запомните навсегда их хамские, щегольские позы, их худосочные ножки дегенератов, их пистолеттики, их галифе.

Поклянемся никогда не забывать этого!

Перекладина, пять петель. И немецкий палач на помосте.

Всмотритесь в эту тупую, подлую фашистскую морду. Разве это человек?

Запомним же и поклянемся никогда этого не забывать!

Пять хороших, честных русских людей всходят на эшафот.

Вот они стоят с петлями на шее. Всмотритесь в них. Это — наши братья. Таких, как они, мы видим вокруг себя каждый день десятки тысяч. Великолепные советские люди — мужественные, трудолюбивые, честные... И гитлеровские палачи, ворвавшиеся на нашу землю, надели им на шею веревку.

Их сейчас повесят.

Но разве можно заметить хоть тень страха в этих мужественных родных лицах?

— Нет.

Они прямо смотрят смерти в глаза. Они знают, что умирают за родину. Они не боятся смерти потому, что они — плоть от плоти и кость от кости великого советского народа.

А советский народ бессмертен.

Поклянемся же никогда не забывать этого!

Секунда — и стол выбит из-под их ног. Это уже не люди. Это трупы. Трое повешены «как следует». Двое оборвались. Их будут снова казнить. Да! Их будут «перевешивать».

Всмотритесь в это, запомните!

Поклянемся никогда не забывать этого!

Вот они, пятеро повешенных. Пятеро сыновей нашей родины — молодых, талантливых, честных, хороших советских людей.

Забудем ли мы это когда-нибудь?

Никогда!

Мы будем помнить эти снимки до последней детали, от дигейкового воротника одного из повешенных до пошлой складки на галифе убийцы.

Запомните эту складку!

Запомните это слово «галифе»!

Запомните, что генерал Галифе убивал французских рабочих — лучших сыновей французского народа.

И поклянемся еще в одном. Поклянемся никогда не забывать, что все эти снимки совершенно хладнокровно сделал фашист.

Вдумайтесь в это! Человек совершенно просто и деловито снимает казнь.

Человек? О нет! Конечно, не человек.

Это холодный мерзавец, садист и сукин сын. Животное? Нет. Гораздо хуже. Это — выродок.

Фашисты насилуют, жгут, режут, грабят, взрывают, вешают.

Они воображают, что весь мир можно оглушить страхом, а потом изнасиловать.

Но эти мерзавцы глубоко заблуждаются.

Русского патриота, человека советской эпохи, запугать нельзя.

Не запугаете!

Поклянемся же никогда не забывать этого!

1942

«ТОРОПИТЬСЯ ПРИНОСИТЬ СКОРО»

«Приказ Коммандантий!

Каждый, который у себя есть одна корова, сдай в восемь часов один горшок с молоком.

Сдай в восемь часов один мешок овес.

Или вы дать, или вашей домий сгорать. Торопитесь приносить скоро».

Приказ фашистского коменданта, найденный нашими войсками в одном из освобожденных районов Ленинградской области.

Вот каким языком разговаривают гитлеровские бандиты и ворюги с русским народом в захваченных районах.

Язык, что и говорить, красноречивый.

Из него так и прет беспримерное, чисто фашистское, хамство, подлость, зверская жестокость.

Кто писал эти жалкие, страшные каракули, нахально претендующие называться русским языком?

Растрепанная душонка, потерявший остатки совести и чести, проклятый родной страной и забывший родной язык белогвардеец, продавшийся фашистам?

Или прибалтийский барон?

Или шпик, специально изучавший русский язык в какой-нибудь гестаповской «академии»?

Не все ли равно!

В этом коротком безграмотном, жутком приказе как в капле воды отразилась вся презренная идеология фашизма.

Это заповеди бандита. «Майн кампф» в сокращенном издании. Самая сущность фашизма.

«Господин немецкий Коммандантий», этот выродок и болван, не любит утруждать себя длинными рассуждениями. Он, черт возьми, прям и лаконичен. Кроме того, ему, как видно, ужасно хочется жрать. Он отощал. Он мечтает о еде.

«Каждый, который у себя есть одна корова, сдай в восемь часов один горшок с молоко».

Ему, видите ли, утром ровно в восемь часов хочется краденого молочка. Он без этого не может. Он так привык.

Он, кроме того, большой любитель награбленного овса: «Сдай в восемь часов один мешок овес».

С этим мерзавцем шутки плохи:

«Или вы дать, или ваший домий сгорать».

И пылают крестьянские дома, облитые керосином гитлеровским разбойником в комендантском мундире со свастикой на рукаве. Замерзают выброшенные в снег дети. Льется кровь...

А господин «Коммандантий» истошно кричит, топая ногами:

«Торопиться приносить скоро!»

Он торопится.

Он торопится грабить. Он чувствует, что скоро Крас-

ная Армия выпшвырнет всю фашистскую нечисть со священной советской земли.

И тогда господину «Коммандантию» придется предстать перед страшным и беспощадным судом великого советского народа.

И тогда за каждый «горшок с молоко», за каждый «мешок овес», за каждый сожженный дом, за каждую слезу советского человека он заплатит своей поганой, гнилой кровью.

1942

ГВАРДИИ КАПИТАН ТУГАНОВ

Мне нужно было повидаться с генералом, командиром одной из наших конногвардейских частей. Я приехал в деревню и вошел в избу, на крыльце которой стояли парные часовые. Генерала не было дома. Адъютант пригласил меня в горницу, оклеенную по-деревенски газетами и обоями, и предложил подождать. Когда мы вошли, адъютант представился:

— Гвардии капитан Туганов.

Это был красивый смуглый мужчина несколько восточного типа, плотный и очень хорошо сложенный. На вид ему было лет тридцать пять. На нем была легкая защитная рубашка, перехваченная узким кавказским ремешком с набором. Синие шаровары с алыми гвардейскими лампасами. Мягкие сапоги джигита. Шпоры. Пистолет. На груди два ордена: один гражданский — Трудового Красного Знамени, другой военный — Боевого Красного Знамени. Я это внутренне отметил. Мы поговорили о последних операциях части и о погоде. Операции были удачны. Погода никуда не годилась: пятый день шел дождь, сделавший дороги почти непроходимыми и сильно поднявший уровень рек.

Пока я разговаривал с капитаном, лицо его казалось мне все более и более знакомым. Как будто бы и фамилию его я тоже уже слышал раньше.

— Мне кажется, капитан, что я вас знаю.

— Это не исключено, — сказал он со сдержанной улыбкой.

— Но я не могу вспомнить, где я вас встречал!

— Это могло быть во многих точках Советского Союза. Вы могли меня видеть в Харькове, в Одессе, в Новосибирске, в Куйбышеве, в Саратове, в Ленинграде, в Ташкенте... в десятках городов... Наконец, в Москве.

— Вот именно, кажется, я вас видел в Москве. Но при каких обстоятельствах? В каком месте?

— Я думаю,— сказал капитан,— вероятнее всего, вы меня видели в цирке.

— В цирке?

— Ну да.

— Позвольте!..

И тут меня как молнией озарило. Ну да! Конечно! Я сразу увидел фасад Московского цирка и громадный цветной плакат, изображавший всадников в черных бурках и красных башлыках: «Грандиозный аттракцион. Донские казаки под руководством Михаила Туганова». Я был изумлен:

— Михаил Туганов... вы?

— Я.

— Тот самый, знаменитый?

— Да. Тот самый. Известный.

Я еще раз взглянул на него. Конечно. Это он. Последний раз я видел его на арене Московского цирка. В ослепительных разноцветных лучах прожектора на арену выезжают донские казаки. Их кони танцуют, носят боками. С удил падает пена. Развешаются башлыки и бурки. Впереди три аккордеониста на конях. Черные бурки, папахи и белоснежные аккордеоны. Это красиво. И потом — замечательный номер. Казаки пляшут, стреляют, рубят лозу, показывают высший класс джигитовки. И во главе этой замечательной группы Михаил Туганов. Он несется по арене в карьер. На голове у человека яблоко. Михаил Туганов на всем скаку разрубает яблоко пашкой. Михаил Туганов на всем скаку стреляет из револьвера в цель. Михаил Туганов проносится вокруг арены на своем взмыленном скакуне, повиснув вниз головой на стременах.

— И вот теперь вы...— говорю я.

— И вот теперь я гвардии капитан,— говорит Туганов.

— Как же это случилось?

— Это случилось очень просто.

И гвардии капитан Михаил Туганов рассказывает мне поистине простую и почти эпическую в своей простоте историю:

— Я сам по рождению кавказец, осетин. Прирожденный джигит и наездник. Мой отец — джигит. Мой дед — джигит. С детских лет я научился в совершенстве владеть конем, пашкой и винтовкой. Юношей, почти мальчиком, я поступил в цирк. Скоро я выдвинулся. Я стал довольно известным наездником. Я создал с тремя товарищами не-

большой полный номер «Четыре Туганова четыре». Это был вполне приличный номер. Он имел успех у публики. Но он не представлял собой ничего выдающегося. Номер как номер, на десять — двенадцать минут. Меня это не удовлетворяло. Я мечтал создать что-нибудь более само-бытное, более оригинальное и, если хотите, более народное. Однажды мы гастролировали в Ростове-на-Дону — в столице донских казаков. Здесь мне пришла в голову счастливая мысль — создать из настоящих донских казаков настоящий «гала-номер». Так родилась «труппа донских казаков под руководством Михаила Туганова». Наш номер был сделан, как говорится, на настоящем сливочном масле. Я набрал настоящих донских казаков — наездников и джигитов с головы до пят. Все, что мы показывали публике, было подлинно народное мастерство казачьей верховой езды, рубки, стрельбы, песен и плясок. Мы выступали в настоящих казачьих костюмах, на настоящих казачьих лошадях, с настоящим казачьим оружием — винтовкой, пашкой, пистолетом. Наш номер шел сорок пять минут, нам предоставляли целое отделение цирковой программы, обычно третье. Мы стали любимцами публики. Мы гастролировали по всему Советскому Союзу. Я не приписываю себе нашего успеха. Своим успехом мы обязаны великолепным традициям русского казачества. В день объявления войны, двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, мы как раз гастролировали в Московском государственном цирке. После представления вся наша труппа целиком подала заявление с просьбой отправить нас всех на фронт. Нашу просьбу командование Красной Армии удовлетворило. В течение нескольких дней к нам примкнули наши братья и знакомые — донские казаки, осетины, кубанцы. Получился целый хорошо вооруженный кавалерийский взвод казаков, на хороших лошадях и хорошо экипированный. Мы были готовы к бою. Я был назначен командиром этого взвода, а мой друг, директор нашей труппы Алавердов, — комиссаром. Десятого июля мы в конном строю выехали из ворот Московского цирка на фронт. Нас провожали представители художественной интеллигенции, артисты, циркачи, весь народ. С песнями, под звуки аккордеонов, мы проехали по Цветному бульвару, держа в руках букеты. Скоро мы прибыли на фронт, в распоряжение знаменитого, легендарного кавалерийского генерала Льва Доватора. С ним мы и проделали всю кампанию. Были в четырех рейдах в тылу у противника. Из нашей группы пало в боях с гитлеров-

цами девять человек, несколько ранено, почти все остальные награждены боевыми орденами и медалями. Я получил орден Боевого Красного Знамени. Я ношу его рядом с орденом Трудового Красного Знамени, полученным несколько лет тому назад за работу в цирке. Оказалось, что наше цирковое мастерство пригодилось. То, что в мирное время было развлечением, во время войны стало делом, настоящим, большим военным делом. Теперь я произведен в капитаны и состою адъютантом командира гвардейской кавалерийской части.

Я, затаив дыхание, слушал эту простую и поразительную историю.

На прощание я крепко пожал руку Михаилу Туганову — замечательному мастеру цирка, замечательному командиру Красной Армии, человеку большой души, патриоту, гвардии капитану и кавалеру двух орденов.

Я ехал домой по грязной лесной дороге. Лошадь с трудом вытаскивала из грязи копыта. Копыта хлопали, как пробки. Шел дождь. Бурка намокла. Вода текла по коленям. За мной ехал коневод. Но вот он поравнялся со мной и сказал:

— Вам не рассказывал капитан Туганов, как его спасла профессия циркача во время одной из наших операций?

— Нет, не рассказывал.

— Ну да, он очень скромный человек. Он никогда не говорит о своих боевых подвигах. Но вы должны знать, как писатель. Вы непременно должны знать. Я вам сейчас расскажу.

— Расскажите.

И он мне рассказал замечательный случай из боевой практики бывшего циркового артиста, ныне конногвардейца Михаила Туганова:

— Однажды во время операции на Западном фронте, во время сильных боев, когда дислокация наших и вражеских частей была неясна, капитан Туганов один, на коне, по ошибке заехал в село, занятое немецкими автоматчиками. Капитан Туганов доехал до середины села и только тогда заметил, что попал в расположение немцев. Он был в бурке, в красном башлыке. Немцы открыли по нему страшный огонь из автоматов. Туганов повернул коня и помчался карьером назад. Пули свистели вокруг, пробивая бурку. Тогда Туганов сделал вид, что его убили. Он свалился с седла и повис на стремянах под брюхом лошади. Это был его излюбленный номер джигитовки. Немцы, уверенные в том, что казак убит, прекратили стрельбу и по-

гнались за лошадью. Но лошадь была хорошо дрессирована. Она, не снижая аллюра, вынесла капитана Туганова из села. Тогда капитан вскочил на седло и умчался, как вихрь, в развевающейся бурке и в развеваемом алом башлыке. Немцы ахнули, но было уже поздно. Пули не долетали. Так мастерство циркача спасло ему жизнь.

Пятый день шел дождь. Небо было темного порохового цвета. На его фоне очень мокрая зелень лугов, полей и лесов казалась особенно яркой. Она почти резала глаза. Мимо нас проезжали всадники, закутанные в мокрые бурки или плащ-палатки. От мокрых лошадей шел пар. Все это, вместе со звуками гремящего вдалеке боя, вызывало необычайно сильное и острое впечатление весны и войны. Ядовито-желтые лютики пылали в мокрых лугах.

Я ехал и думал:

«Да, таков гвардии капитан Туганов!»

1942

КОНЦЕРТ ПЕРЕД БОЕМ

Она только что приехала с фронта. Через четыре дня она снова уезжает на фронт. Мы сидим в ее номере в гостинице «Москва». За окном громадные дома и асфальтовые перекрестки московского центра. Мчатся закамуфлированные машины, рассыпают искры трамваи и троллейбусы. Торопятся пешеходы. Серый весенний деловой московский денек.

Она еще полна фронтовых впечатлений.

Это известная исполнительница русских народных песен Лидия Русланова. На ней скромное коричневое платье. Волосы просто и гладко убраны. Лицо чисто русское, крестьянское. Она и есть крестьянка-мордовка.

Почти с первых же дней войны она разъезжает по частям героической Красной Армии, выступая перед бойцами. Она ездит с маленькой труппой, в которую входят фокусник, баянист, скрипач, конферансье.

Где только они не побывали! И на юге, и на юго-западе, и на севере! Они дали сотни концертов.

Красная Армия необыкновенно любит и ценит искусство. Вкус к искусству — в крови русского народа. Ничто так не поднимает его дух, как искусство. Музыка, пение, литература, поэзия — вечные друзья русского народа.

Множество актерских бригад, созданных Комитетом по делам искусства и концертно-эстрадным объединением, непрерывно посещает части действующей армии. Их ра-

бота огромна. Можно сказать, что за время войны такие бригады дали на передовых позициях десятки тысяч концертов. И это не будет преувеличением.

— Ну, как вам съездилось, Лидия Андреевна? — спрашиваю я.

— Замечательно! — с воодушевлением отвечает она.

И конечно, следующий же мой вопрос:

— Как дела на фронте?

— Бьем врага, — коротко говорит Лидия Русланова. — Упорно, ежедневно.

Ее глаза светятся уверенностью в победе.

Она охотно рассказывает о своей поездке. Особенное впечатление производит ее рассказ о концерте в трехстах метрах от линии огня, данном за тридцать минут до атаки на укрепленный пункт N. И перед моими глазами возникает незабываемая, волнующая картина.

Лес. В лесу еще сыро. Маленький, разбитый снарядами и полусожженный домик лесника. Совсем недалеко идет бой — артиллерийская подготовка. Осколки срезают сучья деревьев. Прямо на земле стоит Лидия Русланова. На пеньке сидит ее аккомпаниатор с гармоникой. На певнице мордовский яркий сарафан, лапти. На голове цветной платок — по алому полю зеленые розы. И что-то желтое, что-то ультрамариновое. На шее бусы. Она поет. Ее окружает сто или полтораста бойцов. Это пехотинцы. Они в маскировочных костюмах. Их лица черны, как у марокканцев. На шее автоматы. Они только что вышли из боя и через тридцать минут снова должны идти в атаку. Это концерт перед боем.

Горят яркие краски народного костюма Лидии Руслановой. Летит над лесом широкая русская песня. Звуки чистого и сильного голоса смешиваются с взрывами и свистом вражеских мин, летящих через голову.

Бойцы как зачарованные слушают любимую песню.

Рядом западная дорога, по которой идут транспорты, автомобили, сани, походная кухня, и вот, услышав голос певицы, один за другим люди и машины сворачивают к домику лесничего.

Лидия Русланова поет уже перед громадной толпой. Вот она кончила.

Молодой боец подходит к певице.

Он говорит:

— Видишь, какие мы чумазы после боя. Но песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло. Спой еще.

И она поет. Поет широкую, чудесную русскую песню:

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой.
И колокольчик, дар Валдая,
Звонит уныло под дугой...

Но подана команда. Бойцы уходят в лес. Через минуту лес содрогается от сплошного треска автоматов. Началась атака. Вдохновленные песней, бойцы стремительно атакуют противника. Несется отдаленное «ура».

А к певице уже подходит хирург. Он просит певицу спеть раненому лейтенанту, которого везут в санбат.

Певица идет к раненому. На носилках лежит тяжело раненный лейтенант. Голова забинтована. Виден только один голубой блестящий глаз. Рот запекся. Лейтенанту трудно говорить. Но поворот его забинтованной головы и голубой глаз выражают просьбу: «Спойте!»

Она ласково наклоняется над ним. Тихо говорит:

— Может быть, вам тяжело будет слушать? Может быть, это вредно?

Губы лейтенанта шевелятся. Он еле слышно говорит:

— Нет, пожалуйста. Спойте. Для меня это будет лучшее лекарство.

И она поет. Поет тихо, как мать над постелью больного сына. Она поет:

Ах ты, степь широкая, степь
раздольная
Ой да Волга-матушка, Волга
вольная...

И радостно блестит голубой глаз лейтенанта, и рука его благодарно жмет руку певицы.

Где только не выступают фронтовые артисты!

В хлебах, в банях, в избах, в лесах, в окопах, в блиндажах. Они живут трудной и славной фронтовой жизнью. Они делят с армией все. И армия их обожает — от рядового до генерала.

Пехотинцы несут им свои котелки с огненным борщом, танкисты предлагают им свой паек — сто граммов водки. Казаки заботливо кутают их в свои черные косматые бурки и яркие, алые и синие, башлыки.

С песней, с широкой русской песней идет армия в бой. И побеждает...

Он начальник партизанского отряда. Его называют «товарищ Н.». Это высокий, стройный, интеллигентный человек в опрятном, полувоенном костюме с небольшим пистолетом на поясе. Он чисто выбрит. В его волосах сбоку заметна небольшая седина. Глаза добрые, спокойные, но вместе с тем очень твердые. Под глазами несколько мелких морщин, свидетельствующих о бессонных ночах и постоянном душевном и физическом напряжении. Все его движения очень точны и целесообразны. В них нет ничего лишнего. Поэтому его движения, я бы даже сказал, изящны. Ноги небольшие, в хороших хромовых сапогах. Руки с длинными пальцами. Он по профессии инженер.

— Что же вас, собственно, интересует? — сказал он, краем глаза взглянув на большие часы-браслет с фосфорными стрелками. Я понял, что у него мало времени.

— Я хотел бы вам задать один вопрос.

— Пожалуйста.

— Часто приходится читать такую примерно фразу: «Партизаны пустили под откос немецкий поезд». Очень скупо. Что это значит в подробностях? Как это делается?

— Как это делается? В подробностях? — сказал товарищ Н. — Хорошо. Я вам постараюсь рассказать об этом в подробностях.

Он утомленно улыбнулся.

— Делается это так, — сказал он. — Вот, например, припоминаю один конкретный случай из практики нашего отряда. Это было зимой, в очень глубоком тылу немецкой армии. Наша разведка донесла, что по железной дороге в восемь часов вечера прошел неприятельский эшелон. Мне была хорошо известна немецкая пунктуальность. Имелись все основания предполагать, что и завтра тоже ровно в восемь часов вечера пройдет эшелон.

Мы установили наблюдение. Действительно, на завтра, ровно в восемь часов вечера, прошел эшелон. Несколько вечеров сряду мы наблюдали за дорогой. И каждый вечер ровно в восемь часов немецкий эшелон проходил мимо нас. Сомнения быть не могло.

Мы стали готовиться. Мы подвезли на подводах из лесу, из тайных складов нашего отряда, мины. Это были не электрические мины, взрывающиеся автоматически, от замыкания тока. Такие мины были нам непригодны. Если бы мы употребили электрические мины, то взорвался бы только один паровоз. А нам требовалось взорвать и пустить под

откос весь состав. Это можно было сделать, только употребив мины механические, то есть такие, которые можно взорвать все одновременно и именно в нужный момент.

Самое трудное было заложить мины под рельсы. Для этого, во-первых, требовалось время, во-вторых, необходимо было определить длину состава, для того чтобы взорвались все вагоны. Приблизительная длина эшелона была нами разведана — пятьдесят вагонов. Мы заложили две мины на расстоянии пятидесяти вагонов одну от другой; первая предназначалась для паровоза, вторая — для последнего вагона. В промежутке мы заложили равномерно еще десятка два мин.

Мы работали всю ночь. Работа была очень трудная. Несколько раз мимо нас проезжал немецкий разъезд. Но, к счастью, ночь была очень темная. Мы не курили, не разговаривали. Мы не могли произвести ни одного неосторожного звука. Это чертовски утомительно, особенно если принять во внимание, что почва промерзла на метр и тверда, как гранит.

Весь день мы прятались в лесу. В семь часов вечера мы были уже на месте.

Мы вырыли в кювете небольшую ямку. Мы провели к этой ямке от каждой мины длинный шнурок, который стоило только дернуть, чтобы ми́на взорвалась. Весь секрет успеха заключался в том, чтобы как раз в тот момент, когда паровоз будет над первой миной, а хвостовой вагон над последней, дернуть сразу за все шнурки.

Мы спрятались и стали ждать. Ночь была черна. Проехал немецкий разъезд. Он проехал очень близко. Мы слышали дыхание лошадей и немецкую речь. Мы замерли. Разъезд нас не заметил.

Без двадцати минут восемь рельсы вдруг загудели. Неужели поезд? Неужели аккуратные немцы вышли из графика? Я взялся за свои веревочки и прижался к земле, каждый миг готовый рвануть их. Я едва не произвел взрыва. Но в последнюю секунду опомнился. Это был не поезд. Мимо нас промчалась моторная дрезина с фонарями. Она осматривала путь.

Малейшая неаккуратность в нашей работе могла сорвать все наше предприятие. Но работа была сделана чисто. Все следы были аккуратно посыпаны снежком. Дрезина промчалась, не остановившись. Она обдала нас ветром.

Ух, гора с плеч! Теперь скоро должен был появиться поезд. Напряжение дошло до крайнего предела. Мы прислушивались к тишине ночи, мы всматривались в темноту

до боли глаз. В том, что поезд появится ровно в восемь часов, мы не сомневались. Нас волновал другой вопрос: какой это будет поезд?

А это было для нас далеко не все равно. От того, какой это будет поезд, зависела наша жизнь. Поезд мог быть с продовольствием или снаряжением. Тогда ничего. Поезд мог быть воинский, с солдатами. Тогда тоже ничего. Но поезд мог быть с боеприпасами, то есть нагруженный снарядами и взрывчатыми материалами. Тогда неизбежная смерть. Все будут убиты чудовищным взрывом. В этом не могло быть никакого сомнения.

И вот мы смотрели вдаль и прислушивались. Ровно в восемь часов послышался шум поезда. Поезд шел с потушенными огнями. Но кто его знает, какой это поезд — воинский, продовольственный или с боеприпасами? Что он нам нес — жизнь или смерть? Впрочем, в тот момент — могу поручиться — никто из нас не думал о смерти. Все думали только об одном: как бы поаккуратнее взорвать мины — не раньше и не позже, чем паровоз станет на головную мину.

Темная масса паровоза приблизилась. Вот он уже, постукивая на стыках, прошел по всем минам. Вот он уже над головной миной. Из поддувала сыпались угольки. Они освещали розовым светом снег.

Время. Пора. Я изо всех сил дергаю за систему своих веревочек. Я дернул с такой силой, что у меня заболело плечо. И в тот же миг раздался взрыв. Это был, доложу я вам, настоящий партизанский взрыв первого сорта. Тендер встал на дыбы и наскочил на паровоз. Тендер и паровоз поднялись в виде громадной буквы «А». Скрежет железа, лязг, треск дерева, звон стекол, огонь, дым, ад... Вагоны катились под откос боком, как консервные коробки. И затем — минутная тишина, минутное оцепенение. Сердце радостно билось в груди. Живы! Поезд взорван! Задание выполнено!

Через минуту молчания начались крики, стоны, истерический смех, беспорядочная стрельба из автоматов. Мы не совсем точно определили длину состава. Он оказался длиннее на два-три вагона. Из этих уцелевших вагонов выскакивали обезумевшие немцы и метались возле поезда, сверкая электрическими фонариками. Густой пар из взорванного паровоза покрыл все вокруг. На два километра вокруг пахло как в прачечной. Оставшиеся в живых фрицы бесновались. Но мы были уже далеко. Мы пробирались на наших добрых лошадках по лесу.

Через несколько минут мы услышали за собой еще один взрыв. Это подорвалась на электрической мине, предусмотрительно поставленной нашими людьми невдалеке от места крушения, дрезина, спешившая на помощь к взорванному эшелону. Через некоторое время после этого вы могли прочесть коротенькое сообщение, что партизаны там-то пустили под откос немецкий эшелон. Вот и все. Вот, собственно, «как это делается».

Так закончил товарищ Н. свой короткий рассказ. Он его закончил и почти без паузы сказал:

— Вы слышали вчера Барсову в «Севильском цирюльнике»? Говорят, она бесподобна.

— Да.

— Мне, знаете, не удалось достать билетов,— сказал он огорченно.

— Но она будет петь послезавтра.

— К сожалению, завтра я уезжаю.

— Куда?

Он улыбнулся и не ответил на мой бестактный вопрос.

1942

ЛЕЙТЕНАНТ

Готовность номер один заключается в том, что летчик сидит в кабине своего истребителя, никуда не отлучаясь, готовый по первому сигналу, в ту же минуту, подняться в воздух для выполнения боевого задания.

В этом положении готовности номер один находился лейтенант Борисов в то мартовское утро, сухое и неяркое, когда на аэродром прибыли члены бюро полковой организации для участия в открытом партийном собрании.

На повестке в числе других стоял вопрос о приеме в партию лейтенанта Борисова. Так как лейтенант Борисов не мог покинуть свой самолет, то собрание состоялось рядом с ним, тут же, на опушке еще обнаженного леса.

Расстелив плащ-палатку, члены бюро сели на сухую прошлогоднюю листву, из которой торчали подснежники. Секретарь открыл голубую папку и разложил дела. Скоро пространство между дежурными самолетами, закиданное валежником, наполнилось голубыми фуражками, кожаными пальто, брезентовыми куртками. Стояли. Сидели. Лежали.

Комиссар оглядел собравшихся и сказал:

— Лейтенант Борисов тут?

— Тут.

— Ну что ж, тогда «начнем, пожалуй».

Этой фразой начинались обычно все партийные собрания.

Километрах в двадцати, не утихая ни на минуту, гремели слитные раскаты боя.

— Первый вопрос на повестке — прием в партию лейтенанта Борисова, — сказал комиссар и обратился к секретарю: — Заявление лейтенанта Борисова имеется?

— Имеется.

— Зачитайте.

Секретарь взял листок бумаги и громко, так, чтобы все слышали, прочел:

— «Лейтенанта Анатолия Прохоровича Борисова в партийную организацию Сорок пятого полка истребительной авиации. Заявление. Прошу принять меня в члены партии. Клянусь отдать все свои силы, а если понадобится, то и жизнь, за дело полной победы над немецким фашизмом, за счастье всего прогрессивного, свободолюбивого человечества. Смерть гитлеровским мерзавцам! Анатолий Борисов». Все.

— Коротко, но ясно, — сказал кто-то в толпе после некоторого молчания.

И все засмеялись. Как видно, лейтенанта Борисова любили в полку.

— Ну что ж, — сказал комиссар, — может быть, у кого-нибудь есть вопросы к лейтенанту Борисову?

— Пусть расскажет свою биографию, — сказал один из членов бюро негромким густым басом.

— Товарищ Борисов, поступило предложение, чтобы вы рассказали свою биографию. Просим вас.

Лейтенант Борисов задвигался на своем глубоком сиденье и попытался встать, но зацепился кислородный баллон. Краска смущения выступила на лице лейтенанта. Он даже вспотел.

— Ничего. Не вставай. Говори сидя, — слышались голоса.

Но лейтенант Борисов все-таки встал. Ему было жарко. Он снял кожаный шлем и вытер рукавом комбинезона переносицу. Русые волосы рассыпались по его лбу. Он подобрал их и закинул вверх. На его молодом, курносом, широком розовом лице с медвежьими глазами блестели мелкие капельки пота.

— Моя автобиография, в общем, такая, — сказал он, старательно морща лоб. — Родился я, значит, в тысяча

девятьсот девятнадцатом году в Москве. Ну, конечно, с тысяча девятьсот двадцать восьмого года стал ходить в школу. Ну, кончил десятилетку. Был отличником. Кончил на «отлично». Вступил, понятное дело, в комсомол. Потом окончил школу военных летчиков... Ну вот, теперь, значит, воюю. Имею на счету четыре сбитых немецких самолета. Два в индивидуальном бою да два в групповом. Ну вот... Что же еще?.. Да вообще, товарищи, по правде сказать, у меня и автобиографии никакой сколько-нибудь порядочной нет,— закончил он застенчивым голосом с извиняющимися интонациями.

— Не больно густо! — произнес тот же веселый и доброжелательный голос, который раньше сказал: «Коротко, но ясно».

Некоторое время все молчали, слушая то нарастающий, то опадающий ритм далекого боя.

— Вопросы у кого-нибудь есть? — сказал комиссар.

— У меня есть,— сказал молоденький механик в новенькой голубой фуражечке и с медалью «За отвагу» на груди.— У меня есть такой вопрос к товарищу Борису...

— Пожалуйста.

— Пусть товарищ Борисов скажет нам, как он смотрит на обязанности члена партии.

Борисов сосредоточенно наморщил лоб, как видно желая дать наиболее подробный и наиболее исчерпывающий ответ. Но в это время телефонист, который лежал под крылом истребителя, положив под ухо трубку полевого телефона, поднял руку, призывая ко вниманию.

— Третья эскадрилья, в воздух,— сказал он негромко.— Курс восемь.

И в ту же секунду механики бросились снимать с моторов чехлы. Лейтенант Борисов быстро надел шлем, сел на свое низкое кресло, махнул рукой в боаьшой черной перчатке с раструбами и поспешно задвинул прозрачную крышку кабины. Заревели моторы.

Через минуту три истребителя один за другим поднялись в голубоватый, как бы перламутровый, воздух и тремя небольшими горизонтальными черточками скрылись за лесом курсом на запад.

— Ну что ж,— сказал комиссар, когда моторы самолета смолкли,— отложим вопрос до возвращения лейтенанта Борисова на аэродром. А пока перейдем к следующему. Какой следующий вопрос на повестке?

— Вопрос о текущем мелком ремонте пулеметного вооружения самолетов.

— Так. По этому поводу возьму слово. Наблюдается недостаточно четкая работа нашей технической службы...

И началось горячее обсуждение вопроса о текущем мелком ремонте пулеметного вооружения. Прения затянулись. Прошло сорок минут, а они еще только разгорелись. Вдруг кто-то сказал:

— Возвращаются.

Три самолета шли на посадку. Два самолета шли хорошо. Третий самолет слегка покачивался. Два самолета сели хорошо. Третий сделал «козла» и чуть не скапотировал, но выровнялся и подрулил к лесу. Но, не дойдя до леса, остановился. К самолету бежали встревоженные механики. Два летчика вылезли из двух первых самолетов. Из третьего самолета никто не выходил. Через минуту из третьего самолета вынули лейтенанта Борисова с простреленной грудью, простреленной печенью и простреленной рукой. Он был мертв. Его принесли на опушку и положили на плащ-палатку. Его лицо было еще совсем живым, но слишком белым. Глаза тускло блестели из-под неплотно закрывшихся век. Отпечаток спокойствия и важности лежал на его большом, могучем лбу. Губы были плотно, сердито сжаты.

Старший лейтенант Козырев, ведущий прилетевшего звена, подошел к командиру полка и доложил:

— Шли курсом восемь. На квадрате шестнадцать — девяносто два встретили шесть «юнкеров», шедших под охраной восьми «мессершмиттов». Навязали немцам бой. Один «юнкерс» и три «мессершмитта» уничтожены. Из этого числа лейтенантом Борисовым лично сбито два «мессера».

Некоторое время все молча смотрели на все более и более синее лицо лейтенанта Борисова, неподвижно обращенное к перламутровому, прохладному мартовскому небу. Ритм артиллерийских раскатов то нарастал, то падал.

— Ну что ж, — сказал комиссар, — предлагаю считать лейтенанта Борисова членом партии. Кто «за»?

Лес рук поднялся над толпой.

— Член партии лейтенант Борисов умер, как подобает настоящему большевику, — сказал комиссар.

Четыре товарища подняли на плащ-палатке тело лейтенанта Борисова и понесли.

Из сухой травы торчали большие белые подснежники.

По заводскому двору к столовой шли двое. Он и она. Она — молодая, очень хорошенькая девушка в легкой шубке и в цветном платочке. Он — молодой человек в матросском бушлате, смуглый, черноглазый, настоящий черноморский морячок.

Я заметил, что он как-то неестественно ставит правую ногу. Каблуки слишком сильно стучали по камням дороги, проложенной через двор. Эти двое молодых людей, он и она, шли рядом, держась за руки, как дети.

— Милая пара, — сказал я.

— Да, замечательная пара, — сказал инженер. — Они оба работают у нас в шлифовальном цехе. История их знакомства и их любви могла бы послужить темой для романа — настолько она необыкновенна и вместе с тем естественна.

— Расскажите.

Постараюсь передать как можно короче историю, которую рассказал инженер.

Назовем девушку Клавой. Месяцев десять тому назад она работала в госпитале, регистраторшей в канцелярии. Однажды она послала на фронт посылочку. Это был обычный пакетик с варежками, куском туалетного мыла, с пачкой папирос, с платочком и множеством других трогательных, но весьма полезных мелочишек. Обычно каждая девушка вкладывает в свой пакетик письмо неизвестному бойцу. Она сообщает свое имя и свой адрес. Но Клава не была мастерица писать письма. Она начинала писать несколько раз, но ни одно письмо не удовлетворило ее. То выходило слишком сухо, то слишком восторженно, то слишком сентиментально.

В конце концов она разорвала все варианты. Она взяла свою фотографическую карточку и на обороте ее написала всего два слова. Затем она вложила карточку в свой пакетик. Эти два слова, написанные на обороте карточки, были: «Самому храброму».

И больше ничего. Ни подписи, ни адреса.

Посылка была получена в одном из отрядов морской пехоты. Она досталась одному бойцу — назовем его Сережа, — парню хорошему, боевому. Он посмотрел на фотографию и ахнул. Он был поражен красотой девушки.

Впрочем, может быть, она была не так красива, как соответствовала его вкусу. В общем, все было прекрасно. Но, прочитав на обороте карточки надпись, парень отпра-

вился к своему командиру. Он заявил, что не считает себя вправе взять посылку.

— Почему? — спросил командир.

— Потому, что я не считаю себя самым храбрым.

— А девушка вам нравится?

Сереза не ответил ничего.

— Хорошо, — сказал командир. — У вас отличный вкус.

Командир показал карточку красивой девушки своим морячкам.

— Вот что, товарищи, — сказал он коротко, по-военному, — получена посылка. В письме карточка девушки. На карточке написано два слова: «Самому храброму». Больше ничего. Вопрос: кто должен получить посылку и карточку?

— Самый храбрый, — хором ответили морячки.

— Присоединяюсь, — сказал командир. — Посылку и карточку получит самый храбрый. Самый храбрый, два шага вперед!

Но никто из ребят не двинулся с места. Они все были храбрые, но никто не был хвастлив.

— Я так и думал, — сказал командир и спрятал карточку в боковой карман. — Сегодня мы идем в атаку. Самый храбрый получит карточку и посылочку.

Во время атаки Сереза пробрался за линию неприятельского расположения, подполз к румынской батарее и забросал ее гранатами. Орудийная прислуга растерялась. Батарея была атакована и взята. Сереза был представлен к боевому ордену и получил из рук командира посылку. С того дня Сереза не расставался с заветной карточкой.

Однажды, регистрируя личные вещи и документы только что принятых раненых, Клава увидела свою карточку. Фотография была пробита пулей и окровавлена. Девушка кинулась к начальнику госпиталя. Она умоляла разрешить ей оставить работу в канцелярии, перейти сиделкой в палату, где лежал ее герой, ее «самый храбрый». Начальник госпиталя разрешил. Сереза был в очень тяжелом состоянии. Две недели он находился между жизнью и смертью. Она ни на минуту не отходила от его койки. Она буквально вырвала его из рук смерти. Она выходила его с беззаветной преданностью матери, сестры, жены.

Пришлось все же отнять ему ногу. Потом он стал поправляться. Это было счастливейшее их время. Она дала ему слово никогда не расставаться с ним.

— Зачем же ты, Клавдюша, связываешь свою жизнь с калекой? — сказал он. — Не торопись, подумай!

— Молчи! — сказала она сердито. — Ты ничего не понимаешь.

Получив протез, он выписался из госпиталя. Он поехал работать на этот большой военный завод. Он не мыслил себе жизнь без дела, без труда, без борьбы с врагами родины. Раньше он боролся с ними оружием, теперь он будет с ними бороться мастерством шлифовальщика. Она последовала за ним. Она так же, как и он, стала шлифовальщицей. Их рабочие места рядом, за двумя соседними станками «цинциннати».

...Вот что рассказал мне инженер, пока мы обедали в заводской столовой.

Клава и Сережа сидели рядом за длинным столом и ели борщ, аккуратно подставляя ломти хлеба под жестяные штампованные ложки. Они с аппетитом ели и разговаривали, нежно глядя друг на друга молодыми, счастливыми и вместе с тем строгими глазами.

На его груди блестел новенький орден Красной Звезды. Мне захотелось подойти к ним, крепко пожать руку ему и крепко поцеловать ей.

Но я этого не сделал. Я не хотел смущать этих милых, замечательных людей, настоящих русских патриотов. Я боялся оскорбить их скромность, которая всегда сопутствует истинной доблести и душевной чистоте.

1942

ВО РЖИ

Сначала мы шли пригибаясь, потом стали на четвереньки и поползли, осторожно раздвигая очень густую и очень высокую рожь. Метров через пятьдесят мы увидели наше боевое охранение. Несколько бойцов лежали в маленьких уютных гнездах, устланных свежей соломой. Бронебойщик-казак, маленький, с блестящим глиняным лицом, выставил далеко вперед ствол своего противотанкового ружья — тонкий и неестественно длинный, с кубиком на конце. Все бойцы были замаскированы. Поверх шлемов на них были надеты широкие соломенные «абазуры», а на некоторых — сети с нашитой на них травой. Это делало их похожими на рыбаков со старинных рисунков.

Вчера здесь были немцы. Ночью их выбили. Позицию до прихода пехоты пока держал маленький отряд автоматчиков и бронебойщиков. К ним-то мы и попали.

Увидев ползущего генерала, бойцы сделали попытку встать. Но генерал сердито на них шикнул. Они снова, поджав ноги, улеглись, как дети в свои ясли. Стоя на коленях, генерал развел рукою рожь и начал медленно, тщательно осматривать в бинокль защитного цвета немецкие позиции. Отсюда до немцев было не более полукилометра «ничьей земли».

— А где же наша пехота? — спросил я.

— Она сейчас подойдет, — сказал генерал, не отрываясь от бинокля.

Гвардии генерал был в простом, защитном комбинезоне, из штанов выглядывали пыльные голенища грубых солдатских сапог. Генерал позвал к себе артиллерийского офицера, который сейчас же подполз на четвереньках. Генерал и артиллерийский офицер стали в два бинокля осматривать местность. Их внимание особенно привлекал небольшой лесок, синевший позади ситцевого гречишного поля, на самом отдаленном плане панорамы. По мнению генерала, там была батарея, по мнению артиллерийского офицера — две засеченные еще вчера пушки.

— Карту! — сказал генерал и, не оборачиваясь, протянул назад руку.

В ту же минуту подполз адъютант, и в руке генерала оказалась ужасно потертая, вся меченая-перемеченая карта, сложенная как салфетка. Он положил карту на пыльную землю, покрытую сбитыми колосьями, разгладил ее, насколько это было возможно, и погрузился в ее изучение.

— Прикажете кинуть туда штучки четыре осколочных, — сказал он. — Может быть, они ответят.

— Есть четыре осколочных!

Артиллерийский офицер пополз к своей рации. Это был ящичек с антенной в виде тонкого шеста, с тремя длинными треугольными зелеными листками, что делало ее похожей на искусственную пальмочку.

В это время в воздухе что-то близко, коротко, почти бесшумно порхнуло.

— Мина! — негромко крикнул кто-то.

И в тот же миг раздался злой, отрывистый, крикнувший взрыв. Воздух довольно ощутительно толкнул и нажал в уши. Свистя, пронеслась стая осколков, сбивая цветы и колосья. Маленький осколочек со звоном щелкнул вдалеке по чьей-то стальной каске. Душный коричневый дым пополз по земле, ветер протаскивал его, как волосы, сквозь частый гребень ржи. Тухло запахло порохом и го-

релым картоном, как бывает в летнем саду после фейерверка.

— Живы? — сказал генерал.

— Живы! — ответило несколько голосов.

— Плохо маскируетесь, — сказал сердито генерал. — Устроили тут базар. Ходите, бродите. Нужно ползать. Понятно? Ройте щель, только как следует, на полный профиль.

Несколько бойцов, лежа на боку, тотчас стали поспешно долбить землю коротенькими лопатками. Но в эту минуту пролетело еще две мины. Они разорвались немного подальше, повалив в разные стороны вокруг себя рожь, раскидав далеко васильки и ромашки, вырванные с корнем.

— Ищет, — сказал кто-то.

— Только не находит.

— Формалист, — сказал генерал, сдвигая на затылок свою легонькую, летнюю фуражечку и продолжая работать над картой. — Формально стали воевать фрицы. Дайте перископ.

И тотчас в его руке очутился небольшой перископ. Генерал пополз далеко вперед, — мне показалось, что он дополз до самого переднего края немцев, — лег там и высунул изо ржи вверх зеленую палочку перископа.

Прилетела еще мина. Потом еще две. Потом скоро еще одна. С этого времени вплоть до броска в атаку через правильные промежутки стали прилетать тяжелые мины. Они рвались и близко и далеко, и справа и слева. Но на них уже больше никто не обращал особенного внимания, так как все очень хорошо понимали, что немец бьет наугад, а все остальное уже дело случая.

Закончив работу с картой, генерал отдал несколько приказаний на тот случай, если с фланга появятся неприятельские танки, и сначала ползком, а потом только пригибаясь пошел на соседнее клеверное поле, где у него был приготовлен вспомогательный пункт управления. Это была обыкновенная щель, в которой уже сидел в земляной нише телефонист в каске и названивал в танковые батальоны, уже занимавшие где-то поблизости, в складках местности, исходные позиции перед атакой.

Генерал посмотрел на часы. До начала атаки оставалось еще пятнадцать минут. Все вокруг было тихо. Разумеется, «тихо» в том смысле, что огонь с нашей и немецкой стороны велся в спокойном, неторопливом, ничего не предвещавшем ритме. Стреляли все виды оружия. Далеко, в

тылах, этот огонь, вероятно, представлялся слитным, раскатистым гулом, подавляющим и грозно-тревожным. Но, находясь где-то в самом центре этой разнообразной канонады, люди привычным ухом и совершенно безошибочно определяли, какой звук для них опасен, может быть даже смертелен, а какой нет. Все «безопасные» звуки, как бы громки они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то как бы на втором плане. Все звуки «опасные», в свою очередь, делились на просто опасные и смертельно опасные и в соответствии с этим занимали в сознании более или менее важное место. Так, например, потрясающий грохот тяжелых авиабомб, которые время от времени немецкие «хейнкели» высыпали целыми сериями на наши соседние дороги с большой высоты и очень неточно, — он почти не привлекал внимания, так как непосредственно нам не угрожал, хотя вдалеке со всех сторон вокруг нас и поднимались гигантские, многоярусные, черные, зловещие тучи их взрывов. Свист ежеминутно перелетавших через голову туда и обратно немецких и наших снарядов тоже мало привлекал наше внимание, хотя был назойлив и громок. Зато порхающий звук прилетевшей мины чуткое ухо улавливало каким-то чудом еще за секунду до его возникновения, и люди успевали прижаться к земле или спрыгнуть в щель. Глаз мгновенно замечал молниеносную тень вдруг подкравшегося на бреющем полете «мессершмитта», — что-то черное, желтое, как оса, с крестами. Он проносился над нашим полем, паля изо всех своих пулеметов и подымая этой пальбой частые фонтанчики пыли. Иногда из какого-нибудь большого, подозрительного, дырявого облака вдруг вываливалась курсом прямо на нас тройка или шестерка бомбардировщиков, плохо видных против солнца. Тогда все напряженно задирали головы вверх, желая распознать, свои это или «его». И непременно какой-нибудь оптимист говорил:

— Наши.

И непременно какой-нибудь пессимист отвечал:

— Немецкие.

Осмотрев в последний раз в бинокль поле боя, на котором — он это знал лучше всех — через пять минут будет твориться нечто невероятное, генерал велел в последний раз обзвонить все танковые батальоны и дружески разговаривал с каждым командиром.

— Ну, как самочувствие?

Командиры двух батальонов подошли к телефону тот-

час же. Третий не подошел. Вместо него подошел его заместитель.

— Я просил не заместителя, а самого командира,— строго сказал генерал.

— Товарищ седьмой, двадцать пятый лично подойти не может.

— Почему?

— Он намыленный!

— Чем?

— Мылом. Бреется. Он приказал доложить вам, что все в порядке и все на месте. А что касается бритья, то оно будет закончено полностью через три минуты. Прикажете прекратить или разрешите добриться?

— Хорошо. Пусть добреется,— улыбаясь, сказал генерал.

После этого я увидел роту пехоты, которая шла прямо на нас, поднимаясь из лощины на гору. Гвардейцы шли во весь рост, широкой цепью по пестрому — малиновому, лиловому, зеленому — клеверному полю. В стальных касках с туго затянутыми ремешками, в зелено-желтых маскировочных плащах и сетках, размашисто шагая по великолепной орловской земле, они несли на плечах кто пулемет, кто трубу миномета, кто ящик с патронами или минами, кто просто автомат, положив палец на спусковой крючок и выставив вперед ствол.

— Ложитесь, черти! — крикнул молоденький смуглый офицер связи с пыльным лицом и детскими каплями пота на подбородке.

Они не слышали.

— Ложитесь! Ползите!

Несколько мин разорвалось между ними и нами. Они переглянулись. Но никто не лег. Они только прибавили шагу. Теперь они почти бежали. Они быстро приближались к нам, вырастая на склоне цветущего холма, на громадном фоне знойного, пыльно-голубого орловского неба, заваленного грудями движущихся перламутровых облаков.

— Орлы! Гвардейцы! — сказал генерал с восхищением.

Рота побежала мимо нас, вернее — через нас, в сторону неприятеля и шагах в сорока залегла.

— Отсюда они после артиллерийского налета пойдут в атаку и выбьют мерзавцев из их узла сопротивления. У нас сейчас такая тактика. Артиллерия, авиация и танки врываются в брешь и развивают успех... Чем, между прочим, и объясняется,— прибавил он не без ехидства,— что

вы приехали в танковое соединение, а попали в пехотную цепь, и мое место, собственно говоря, не здесь, а сзади.

Я ничего не успел ответить, так как стрелка больших генеральских часов, по-видимому, коснулась заветной цифры.

Описать следующие десять минут я не имею ни надлежащих красок, ни таланта. Это был великолепный, молниеносный артиллерийский шквал. Над нашими головами неслись на запад сотни мелких, средних и крупных снарядов. Я посмотрел в бинокль. Боевые порядки немцев заволочло дымом и пылью. Там что-то вспыхивало, рвалось, клубилось, взлетало вверх, падало черным дождем и вновь взлетало. И как завершение этой десятиминутной симфонии вспыхнул огонь гвардейских минометов. Это был мощный аккорд. Тогда поднялась пехотная цепь.

— За родину, за партию! — крикнул чей-то хриплый голос.

И мы услышали протяжное, раскатистое «ура».

Грянули пулеметы, автоматы...

— Пошли, орлы, — сказал генерал и вскочил на бруствер.

А через полчаса телефонист закричал снизу, из своего окопчика, осипшим счастливым голосом:

— Товарищ гвардии генерал-майор, командир второго батальона доносит, что неприятель выбит со своих позиций и бежит.

— Вижу, вижу, — сказал генерал, не отрываясь от бинокля. — Товарищ писатель, вам не приходилось видеть, как драпают фрицы? Могу вам доставить это удовольствие.

И он протянул мне свой бинокль. На среднем и дальнем плане катилась пыль. Это, очевидно, неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. В жизни я не видел более приятного зрелища!

— Первое отделение нашей программы закончено, — сказал генерал, вытирая со лба и с носа черный пот. — А теперь надо поскорее ехать на правый фланг, в район железной дороги. Адъютант, машину!

Мы покинули наше чудесное ржаное поле и стали спускаться в лощину. Теперь мы шли по вспаханному клину. На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную, рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнились «Война и мир» и Багратион, идущий по вспаханному полю, «как бы трудясь».

Полковник, громадный человек с могучей грудью, стремительно шагает, перепрыгивая через свежие воронки и пригибаясь. Бинобль болтается на его загорелой богатырской шее. Мы едва поспеваем. Но он не обращает на это внимания. Наоборот. Он прибавляет шаг. Изредка оглядываясь на нас, он бодро покрикивает:

— Больше жизни! Веселее! Медленно ходить будем дома, по бульвару. А здесь война. На войне надо ходить быстро. Наклоняйтесь. Не жалейте спины.

Ординарец с автоматом на груди шепчет мне, почтительно и преданно показывая глазами на своего полковника:

— У нас полковник — орел. Настоящий пехотинец. На коне — завсегда шагом, а пешком — завсегда рысью. Еле поспеваешь.

У ординарца забинтована голова. Щека чудовищно раздута. Но это не флюс. Сквозь марлю проступает большое пятно крови. Час тому назад его ранило осколком бризантной гранаты, которая разорвалась между ним и полковником. Но он не пошел в лазарет. Он остался в бою, рядом со своим командиром.

С запада заходит большая гроза.

Еще солнце горит бело и ярко, но уже к нему подбегается громадная, густо-черная туча. Туча уже закрыла полнеба. Иногда в ней судорожно передергивается бледная молния. Но грома не слышно. Все звуки вокруг поглощены раскатами артиллерийских выстрелов. Земля ощутительно содрогается от ударов. Ходуном ходит воздух. Удар следует за ударом так быстро, что иногда два или три удара наскандывают друг на друга, сливаются. Сзади со всех сторон беглым огнем бьют наши батареи. Фрицы огрызаются. Впереди, на западе, над верхушками леса, над кустарником то и дело поднимаются грохочущие, крутящиеся, скалистые облака взрывов. На грозовом фоне, черном, как антрацит, они кажутся пепельными.

Мелко, часто, с сухим, острым блеском дрожит на ветру скудная листва кустарника.

В этом исковерканном, обожженном, обломанном чернолесье, так ужасно загаженном войной, еще свежи следы недавнего боя. Здесь все говорит о разгроме немецкой дивизии.

На земле рубчатые следы танков. Они вломились в оборону противника и «проутюжили» ее. Лес вокруг поломан.

Воронка от разорвавшегося снаряда. На краю воронки лежит, раскинувшись, труп немецкого солдата. У него горит и дымится сапог. Присматриваюсь. Ага! Все ясно. Он собрался бросить из кустов в русский танк свою стеклянную ампулу с зажигательной жидкостью. Но был убит. Ампула треснула. Густая, тяжелая, прозрачная жидкость потекла на ногу мертвого немца и загорелась.

Красный телефонный шнур, вися на кустах, преграждает нам путь.

— Это немецкий провод, — говорит полковник, — но вы его все же не рвите. Сейчас он уже не немецкий, а советский. Мы им пользуемся для связи. Сколько мы захватили ихнего шнура?

— Сорок километров, — докладывает ординарец.

— В хозяйстве пригодится, — говорит весело полковник.

Он поднимает могучей рукой шнур, и мы, наклонив головы, быстро проходим под ним.

Немецкая траншея. Здесь по колено в тухлой, зеленой воде еще сегодня утром сидели фашисты. Сейчас они здесь лежат. Неподвижные. Грязные. Серые. Вокруг разбросаны солома, бутылки, консервные банки, письма, немецкие газеты, патроны, фляжки, окровавленные тряпки, треснувшие каски. А вот, немного подалее, немецкий офицерский блиндаж. Сейчас здесь оперативный пункт командира нашего наступающего полка.

На столе разложена карта, и командир артиллерийского полка, только что вернувшись с рекогносцировки, спешно наносит на карту обнаруженные немецкие огневые точки. Завтра на рассвете их будут добивать.

А вот две последние немецкие новинки летнего сезона — «скрипуха» и «кобылий череп».

«Скрипуха» — это большая реактивная мина весом в восемьдесят четыре килограмма. Здесь, на этом участке, их захватили несколько штук. Фрицы отступали так поспешно, что даже не успели выпустить по нас «скрипухи». Они так и остались на огневых позициях. Подходим к одной из этих мин. Мина заключена в решетчатый деревянный ящик, похожий на тару от авиабомбы. Ящик с миной стоит, косо прислоненный к стене специально отрытого окопчика. Никаких прицельных приспособлений нет. Мину наводят приблизительно, «на глазок». Перед выстрелом ее даже не вынимают из ящика. Включают ток, и она летит, как граната, на два с половиной километра. Шуму от нее много, а толку — не очень. Во время полета она издает

отвратительный звук, похожий на скрипение заржавленного флюгера. Наши бойцы и прозвали ее за это «скрипучей». Удирая, враги все же успели снять со своих «скрипуч» электрические запальники. Но наши бойцы быстро приспособились и тут же, не теряя золотого времени, стали палить по отступающим фашистам их же «скрипучами».

— Русский солдат,— с уважением говорит полковник.— Золотые руки. Он все может. Если понадобится, то и блоху подкует. Как левша у Лескова.

А вот и так называемый «кобылий череп». Это стальной колпак около двух метров в длину и высоту. В нем помещается скорострельный пулемет с боевым комплектом патронов. Этот колпак закапывается в землю, обкладывается дерном. Его очень трудно обнаружить. Он герметически закрывается. Для вентиляции имеется специальная машина, которая приводится в действие педалями, похожими на велосипедные. В «кобыльем черепе» сидят два солдата. Один качает воздух, другой стреляет из пулемета. Имеются два перископа, два откидных сиденья, полочки для продуктов и для боеприпасов. Все ручки, педали, кнопки этой машины никелированные. Внутри «кобылий череп» выкрашен добротной белой эмалевой краской, снаружи — темно-серой. На первый взгляд может показаться, что этот самый «кобылий череп» неприступная крепость,— и все же вот он, перед нами, выковырянный из земли, бессильный, с оторванной дверью и согнутым перископом.

— Сколько мы захватили за сегодняшнее утро этих самых хваленых «кобыльих черепов»?

— Одиннадцать штук, товарищ полковник,— докладывает ординарец.

А вот громадные черные дискообразные противотанковые мины, сложенные длинными штабелями. Немцы собирались заминировать дороги. Но не успели. Натиск наших доблестных пехотинцев был слишком стремителен. Немцы удрали, а мины остались.

— Ничего, пригодятся! — коротко говорит полковник, хозяйственно потирая руки.

Впереди раздается противный, тошнотворный скрип, и вслед за ним воздух потрясает крякающий взрыв.

— Вот она, «скрипуча», во всей своей красоте.

Беспрерывно впереди, в кустарнике, раздаются маленькие взрывчики, как будто кто-то бьет электрические лампочки. Это разрывные пули.

Туча закрыла небо. Все вдруг померкло. С шумом водопада обрушился на передний край ливень.

Автоматчики ведут пленных немцев. Их только что взяли. Мокрые, грязные, бредут они, низко опустив головы в серых пилотках. И дождь вокруг них блестит стальной решеткой.

— Стой! — говорит полковник. — Какого полка пленные?

— Триста тридцать второго.

— Вам ничего не говорит этот номер немецкого пехотного полка? — спрашивает меня полковник.

Я напрягаю память. 332? Действительно, что-то знакомое. И вдруг точно молния озаряет. Ведь этот гитлеровский полковник Рюдерер, командир 332-го пехотного полка, в декабре 1941 года приказал повесить Зою Космодемьянскую.

— Значит, против нас в данный момент воюет триста тридцать второй пехотный полк?

— Он самый. Вернее, его жалкие остатки.

— А наши бойцы это знают?

— Да, — говорит полковник, — они это знают, они мстят за свою Зою. Видите, как они дерутся? Как львы. И ничто не может остановить их наступательного порыва — ни «скрипухи», ни «кобыльи черепа», никакая фашистская чертовщина. В результате последних боев триста тридцать второй бандитский полк настолько потрепан, что его, очевидно, скоро отведут на переформирование. Мои бойцы поклялись добить этот полк!

Гремит гром, заглушаемый громом батарей. Блеск молний смешивается с блеском разрывов. Беглым шагом, с автоматами наперевес, проходит мимо нас на передовую рота автоматчиков. Запряжка из шести маленьких собачек провозит с передовой на тележке раненого.

Рядом с собачками идет девушка-санитарка. Синеглазая, розовая, молоденькая, озабоченная, в маленькой пилотке, из-под которой падают русые волосы, потемневшие от ливня.

1943

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ

Он пил чай вприкуску, поставив блюдечко на три пальца. Его седые волосы были заплетены по-домашнему жидкой косичкой.

— Скажите, батюшка, как же вы жили при фашистах?

— Я не жил, но *существовал*.

— А как отнеслись к фашистам ваши прихожане?

— Для русского человека не может быть иного отношения к врагам своего отечества, как ненависть.

— А как гитлеровцы отнеслись к гражданам вашего города?

— Отношение фашистов ко всем русским людям, в частности к моим прихожанам, общеизвестно. В первый же день своего пришествия они для устрашения прочих повесили восемь первых попавшихся граждан на площади перед храмом. В дальнейшем число невинно казненных увеличилось до пятидесяти двух. Фашисты сожгли одну треть домов. Остальные ограбили. Многие младенцы, выброшенные гитлеровскими солдатами и офицерами на мороз из теплых жилищ, погибли. Злодеяния и бесчинства иноземцев неописуемы.

Он выражался несколько книжно, старомодно, в духе семинарии, где он получил образование. Говоря, он пристально рассматривал кусочек сахара, который держал в темной руке.

— Действовала ли ваша церковь при фашистах?

— Да. Богослужение совершалось. Сначала я служил, желая дать возможность преследуемым и лишенным крова людям находить приют и хотя бы относительное спокойствие в храме божьем. Но вскоре гитлеровцы, как солдаты, так и офицеры, стали слишком бесцеремонны. Они входили в храм в головных уборах и в оружии, тем самым оскорбляя религиозное чувство верующих. Они трогали пальцами иконы. Они позволяли себе расхаживать по алтарю во время литургии. Они зажигали сигары и папиросы от лампад. Я уже не упоминаю о непристойных выходках по адресу женщин, певших на клиросе. Я просил их. Я взывал к их совести. Я умолял. Но все было тщетно. Мои увещевания, просьбы и даже мольбы не действовали на этих разбойников. В конце концов чаша моего терпения переполнилась. Однажды во время слишком оскорбительной выходки компании немецких унтер-офицеров, которые начали в храме пить коньяк и закусывать, я прекратил богослужение и покинул храм. Следом за мной молча удалились и все молящиеся. В тот же день я запер двери храма на замок и твердо решил более не служить до тех пор, пока фашисты не будут изгнаны.

Отец Василий посмотрел старческими, синеватыми глазами, которые вдруг стали твердыми и прозрачными, как лед.

— И больше вы не служили?

— Нет, через некоторое время я опять стал отправлять богослужение.

— Почему?

— Меня заставил немецкий комендант. Он велел привести меня в комендатуру. Стуча по столу рукояткой револьвера, он заявил, что либо я буду отправлять богослужение, либо он повесит на церковной ограде десять человек из моих прихожан. Мог ли я принять на себя такой грех? Я отступился от своего решения. Я заявил, что повинуюсь.

— Но зачем это понадобилось немецкому коменданту?

— Я полагаю, причин было две. Первая — желание во что бы то ни стало настоять на своем и унижить русского священнослужителя, осмелившегося в виде протеста запереть храм. Вторая — предположение, что регулярная церковная служба знаменует собой как бы полное восстановление порядка в оккупированном городе.

Отец Василий тонко и зло усмехнулся.

— Немецкий комендант предложил мне служить без малейших сокращений, «как при старом режиме». Он именно так, этими словами, и выразился. После этого я стал служить.

Он замолчал и подул на блюдечко. На поверхности чая образовалась ямка, похожая на ложечку. Он резко откусил кусочек сахара крепкими старческими зубами и запил его чаем.

— Да, я стал служить. Я служил без малейших сокращений. А по воскресным и праздничным дням, каждый раз точно и аккуратно, без изъятия, исполняя приказ немецкого коменданта, я неукоснительно произносил с амвона проповеди. Они были на чисто религиозные темы. Я говорил моим прихожанам о святом Александре Невском, победителе немецких псов-рыцарей на Чудском озере, я говорил им о Дмитрии Донском, победителе татар на поле Куликовом, я говорил о двенадцати языках, вторгшихся на нашу родину под знаменами Наполеона, день изгнания которых мы празднуем двадцать пятого декабря по старому стилю. И каждую службу я возносил молитвы о великом русском воинстве — о даровании ему победы и одоления над всеми его врагами и супостатами.

Теперь глаза отца Василия блестели. Он встал и ходил по номеру гостиницы твердой походкой почти молодого

человека. Он был небольшого роста, но в эту минуту он казался выше себя на целую голову.

— А и здорово же вы их чесали, сукиных детей, ба-тюшка! — вдруг сказал синый стариковский голос с покашливанием.

Оказывается, в номере, кроме нас, был еще один человек. Он сидел в темном углу в кресле. Я его сразу не заметил. Пожилой мужик с черепом лысым, как у апостола, в стеганой солдатской телогрейке и в рыжих сапогах, покуривал махорочку.

— Это наш пономарь Никита Степанович, — сказал отец Василий.

Никита Степанович подошел к столу и, глядя на меня простодушными синими и вместе с тем зоркими мужицкими глазами, сказал очень просто, даже деловито:

— Пока отец Василий служил, тем временем, знаете, у нас за церковью встречались партизаны, была явка. В подвалах же мы издавали небольшую газетку под названием «Смерть фашистским оккупантам!». Когда подошла Красная Армия, мы уничтожили гранатами всю гитлеровскую комендатуру, до единого человека. Ни один, так сказать, фриц не ушел.

— Да, — строго заметил отец Василий, — ибо сказано: поднявший меч от меча и погибнет.

1943

ТРУБА ЗОВЕТ

Ночь. Пустынные лестницы. Гулкие коридоры. Следы недавно законченного ремонта. Запах краски, извести. Скупой свет дежурных лампочек. Последняя ночь перед началом занятий. Завтра ровно в шесть часов тридцать минут прозвучит труба. Ее повелительный и раскатистый звук возвестит новый день — не только первый день упорной учебы и настойчивого труда, а день новой жизни. Новую жизнь начинают четыреста восемьдесят мальчиков, воспитанников Калининского суворовского военного училища. Синяя заря позднего зимнего утра будет для них зарей новой жизни. А пока они крепко и сладко спят.

Обходим спальни.

Здесь все новое. Новые кровати. Новые одеяла. Новые тумбочки, пахнущие свежей краской. Разметавшись во сне, спят стриженные под машинку чудесные мальчпшки исконных, коренных областей русских — Калининской,

Ярославской, Ивановской, Смоленской, Московской,— цвет будущего нашего кадрового офицерства.

На тумбочках и табуретках строго по инструкции сложены их новенькая форменная одежда, белье, обувь.

Печи жарко натоплены. Некоторые мальчишки скинули с себя одеяла. При слабом свете зашторенной лампочки шелковисто и смугло блестит чье-нибудь еще не вполне сформировавшееся, детское плечо. Здесь оно вырастет, разовьется, окрепнет, станет могучим плечом офицера.

Но вот раннее утро. Шесть тридцать. Резкие звуки трубы летят по лестницам, по коридорам, забираются в самые отдаленные уголки здания.

Мгновенно, с волшебной быстротой, ночная тишина превращается в бодрый гул утра. Слышатся смутные голоса, шум, звуки быстрой беготни по лестницам. Ровно через десять минут роты одна за другой, твердо отбивая шаг, выходят со своими офицерами во двор.

Во дворе еще темно. Еще совсем ночь. Смутно сияет снег. Деревья стоят как седые облака.

Звонкие голоса офицеров выкрикивают команду утренней зарядки. Воспитанники вышли во двор в одних гимнастерках, без поясов. Но им ничуть не холодно. Бодрой утренней свежестью веет от их смуглых и темных лиц. Они быстро приседают, выбрасывают руки, поднимаются на носки. Воспитанники четвертой роты делают зарядку четко и точно, с настоящим военным щегольством. Это «старики». Им уже по тринадцать лет. Возраст почтенный! Но зато ужасно суетятся и мельтешат воспитанники przygotowительного и младшего przygotowительного классов. Эти восьмилетние малыши в своих длинных черных брюках с узкими лампасами, гимнастерках, черных каракулевых ушанках и красных погонах необыкновенно оживляют картину утренней зарядки.

Через десять минут зарядка окончена. Труба. Роты беглым шагом возвращаются в свои помещения.

Начинается туалет. Голые по пояс, с полотенцами на шеях, толпятся воспитанники возле умывальников, моются, вытираются, чистят зубы. Потом быстро одеваются, заправляют друг другу сзади гимнастерки, чистят друг друга. Все стараются быть особенно аккуратными и подтянутыми.

Ритм суворовского училища — четкий, быстрый, военный ритм — уже всецело овладел ими и несет их по графику от трубы к трубе, от команды к команде.

— Направо равняйся!.. Смирно!.. Направо! — Голос

офицера-воспитателя звучит строго, отрывисто, резко.—
Шагом марш!

В строю, твердо печатая шаг, роты спускаются по лестнице в столовую, к первому завтраку. Чтобы рота не на скакивала на роту где-нибудь на повороте, воспитанники дают шаг на месте. Шарканье шага на месте наполняет этажи, коридоры и лестницы здания.

В столовой воспитанники едят, заложив за воротники белоснежные салфетки. Все очень чисто, прилично, пристойно. Никакой суеты, никаких лишних разговоров. Завтрак хорош: молоко, чай, хлеб, масло.

Снова труба. Начальник училища генерал-майор Визжилин входит в зал, где собрались воспитанники училища.

— Встать, смирно!

Четыреста восемьдесят мальчиков в черных форменных костюмах с золотыми пуговицами и красными погонами вскакивают с новеньких желтых клубных стульев. Дежурный по училищу рапортует:

— Товарищ генерал-майор, вверенное вам училище в составе четырех рот и двух приготовительных классов собрано на митинг по вашему приказанию. Капитан Пименов.

— Здравствуйте, товарищи воспитанники!

— Здравия желаем, товарищ генерал! — в четыре счета отрывисто и лихо чеканят воспитанники.

Я смотрю на них — на маленьких, больших, коренастых, тоненьких, озорных, спокойных, всяких, таких разных и таких одинаковых в своей новенькой форме, подхваченных одной волной воинской дисциплины, и думаю: вот оно, будущее нашей армии, а значит, и нашей родины.

Среди этих мальчиков, которые стоят с книжками и тетрадками в руках, я вижу двух внуков Чапаева, сына легендарного капитана Гастелло, племянника Орджоникидзе, сына Героя Советского Союза Кошубы. Среди этих мальчиков немало участников Великой Отечественной войны. Иные из них награждены медалями.

Одиннадцатилетний воспитанник Коля Мищенко два года воевал с немцами. Его отца и мать расстреляли фашисты в 1941 году. Коля ушел в отряд белорусских партизан. Потом он вместе с партизанами перебрался через линию фронта. Здесь он вызвался провести группу наших разведчиков во вражеский тыл. Это можно было сделать только в одном месте, где через болото шла тай-

ная тропа. Знакомым путем юный партизан благополучно провел в тыл врага своих старших боевых товарищей. Он был награжден медалью «За боевые заслуги». Узнав об этом подвиге, командир дивизии генерал-майор Мищенко усыновил Колю. Теперь юный герой попал в суворовское училище.

...Генерал-майор Визжилин объявляет о начале занятий и провозглашает суворовское «ура» в честь Советского правительства.

Бурная орация. Гремит оркестр. Под звуки марша роты расходятся по светлым, просторным классам. Здесь воспитанники будут заниматься математикой, географией, русским языком, иностранными языками, военной подготовкой.

Минутная тишина. И опять труба, возвещающая начало уроков. Новая жизнь началась.

1943

В МОЛДАВИИ

Путевые заметки

Летим на 2-й Украинский. Много рек уже перелетел наш самолет. Северный Донец. Днепр. Ингул...

Погода сомнительная. То ясно, то вдруг туман, дождь, снег...

После Умани неожиданно сильный снежный буран. Сквозь белые газовые вихри с большим трудом находим аэродром. Когда приземляемся, вокруг уже ничего не видно — метет, крутит, слепит, валит с ног...

Приходится ждать погоды.

Идем по Умани. Идти трудно. Мешает брошенная немецкая техника. Ею буквально забиты все улицы, площади, скверы, переулки. Трудно себе вообразить, сколько вокруг всех этих «тигров», «пантер», «фердинандов», тягачей, транспортеров, пушек, легковых и грузовых автомобилей. Это был настоящий погром.

Здесь фашистские дивизии, разбитые наголову войсками 2-го Украинского фронта, бросили все. Отсюда гитлеровцы бежали на запад, оставляя в грязи чемоданы, шинели, сапоги. Фрицы бежали босиком. Я думаю, ни одна армия в мире еще не драпала так позорно, как гитлеровская армия зимой и весной этого года.

Сразу видно, какая здесь была суета, паника.

Вот тяжелый немецкий танк, наскочивший на уличный трансформатор. Трансформатор рухнул и загорелся. Загорелся и «тигр». Так они и стоят, страшные, обгорелые, как немые свидетели фашистского драпа.

Но все это уже позади. Фашистские танки, нацистские штаны, немецкие сапоги и гитлеровская «слава» остались на беспредельных украинских полях.

И через советскую Умань все идут и идут на запад, подтягиваясь к передовой, тылы славного 2-го Украинского фронта маршала Конева.

И опять летим. И опять под нами широко расходятся туманно зеленеющие украинские поля, черные поля, усеянные брошенной немецкой техникой.

А вот и Днестр.

Стиснутый высокими, крутыми берегами, он быстро, извилисто течет, вздувшийся свинцовой весенней водой.

Здесь гораздо теплее, суше. Чувствуется юг.

Самолет идет на посадку, но вдруг, не коснувшись земли, опять круто взмывает вверх. Мы опять делаем круг над селом. Внизу поворачивается маленькая быстрая речка. По ее мутной поверхности бегут лиловые водоворотники. Поворачивается зеленый луг. Поворачивается высокий, палевый, прошлогодний камыш. Каруселью несется небо, полное круглых пасхальных облаков.

Мы низко пролетаем над белым кубом новой мельницы. Возле нее видны волю и подводы с мешками. Мелькают соломенные и цинковые крыши, плетеные заборы, клуны, виноградники, фруктовые сады, церковь, длинный железнодорожный мост, по которому ползут наши танки.

Большой термометр, прикрепленный к стойке крыльев, показывает десять градусов выше нуля. Тепло. Самолет опять идет на посадку.

Самолет окружают — чудные молдаванские парнишки в высоких бараньих шапках, коричневых домотканых свитках и штанах, босые, с карими веселыми глазами и зубками, белыми и крепкими, как молодая кукуруза. Эти мальчишки смотрят на наш самолет как на величайшее чудо. Радостно приветствуют прибывших. Так они встречали своих освободителей, воинов Красной Армии, в 1940 году.

С 1941 года захватчики держали трудолюбивый, умный и талантливый молдавский народ, вновь попавший в ка-

балу, на положении рабов. Цветущую страну они превратили в колонию. Румынские бароны молдаван и за людей, собственно, не считали. Румынская «метрополия» у молдавского народа умела только брать. А сама ничего не давала.

Трудно поверить, что в Европе, в середине XX века, в цветущем и богатом селе, вы не найдете пары сапог, носового платка, десяти метров ситца, — я уж не говорю о патефоне, велосипеде, швейной машине, радио, газете — то есть о всем том, что прочно вошло в быт народов Советского Союза.

Впрочем, и сами «господа» румынские бароны, эти маленькие хищники, в свою очередь, являлись аграрным придатком еще более сильного хищника — немецкого империализма. Так что молдавский народ изнемогал под двойным прессом. Из молдавского народа выдавливали все его жизненные соки с двух сторон. С одной стороны его жали румынские помещики, с другой стороны — немецкие фашисты.

Единственная мельница, которую мы заметили с воздуха, принадлежала немцу. Немец был монополист. Он держал в своих руках всю округу, этот кулак и живодер. Он опутал своими сетями всех. От него зависел каждый местный земледелец. Все были у него в долгу. Все снимали шапки и низко ему кланялись.

Теперь Красная Армия освободила село. Немец-мельник сбежал. Он даже не успел разрушить мельницу — так стремительно наступала Красная Армия! Немец бежал, теряя штаны и высунув язык. Он оставил свой дом, лучший дом в селе, выстроенный с покушением на «стиль» — с террасой, со столбиками и стенами, выкрашенными масляной краской под мрамор. Он оставил свою контору со столами и стульями «модерн», свой несгораемый шкаф, свои бухгалтерские книги, списки своих должников.

Теперь в его доме остановился командир подразделения штурмовиков гвардии подполковник Шундриков.

На полу разостлана громадная карта. Подполковник Шундриков входит в комнату с большой вешалкой. Он накладывает ее на карту. Она служит линейкой. Он проводит по линейке красным карандашом черту. Это новый курс на Кишинев, на Яссы.

— Не угонишься за пехотой. Скоро и карты не хватит, — говорит Шундриков, — надо новые листы подклеивать.

Сквозь открытое окно врывается шум моторов. Подполковник мельком смотрит на небо:

— Наша пара возвращается с разведки. Садятся.

Через пять минут в комнату входит пилот в шлеме, в комбинезоне, в унтах, с большим целлулоидным планшетом у колена.

— Товарищ гвардии подполковник, с разведки вернулся лейтенант такой-то. Разрешите доложить?

— Докладывайте. Где были? Что заметили?

— Пересек Прут, Жижию, дошел до Ясс, прошелся на запад вдоль железки.

— Ну, что там видать?

— На станции стоят пять составов.

— Вчера ж было семь?

— Два состава ушли.

— Зенитная артиллерия бьет?

— Бьет, но слабо.

— А что на дорогах?

— Маленькое движение.

— Туда или оттуда?

— Главным образом оттуда.

— Понятно. Балочки хорошо просмотрели?

— Балочки просмотрел хорошо. В квадрате девятнадцать — сорок восемь обнаружил обоз и обстрелял. Ну и паника там поднялась! Кто куда... Разбежались во все стороны.

— Правильно, — сказал Шундриков. — Это им не сорок первый год, когда у них было превосходство в воздухе.

Глаза подполковника Шундрикова весело сверкают.

Не завидую я фрицам, которые встретятся с Шундриковым на земле или в воздухе. Это прирожденный воздушный боец. Штурмовик до мозга костей. Человек железного мужества, стремительных решений, он беззаветно храбр, грозен в бою, беспощаден к врагам и доброжелателен, даже нежен, к своим товарищам.

Он выглядит очень молодо. В нем есть что-то мальчишеское, задорное, почти детское. Он худощав, строен, быстр в движениях. Его руки, привыкшие к штурвалу, постоянно работают. Если он рассказывает что-нибудь, особенно какой-нибудь боевой эпизод, его узкие, гибкие ладони ловко и быстро изображают все то, о чем он говорит.

Он командует подразделением штурмовиков. Шундриков идет на самые ответственные, самые опасные задания.

...Немцы сильно бомбили с воздуха одну из наших пере-

прав на Днестре. Над Днестром стоял туман. Но для Шундрикова не существует нелетной погоды. Он сел на свой ИЛ и с группой штурмовиков пошел громить гитлеровцев. Он обрушился на «юнкерсы», повисшие над переправой. Он разогнал их и барражировал до тех пор, пока наша пехота не переправилась на западный берег.

Тем временем гитлеровцы вызвали свою истребительную авиацию, и только на одного Шундрикова ринулось четыре «мессера». Шундриков и его группа в этом бою показали высокий класс летного искусства. Шундриков обманул «мессеров». Он ушел от них на бреющем полете, по балкам, по лощинам, делая зигзаги, петляя, и в конце концов замел свои следы и скрылся.

В тот день, когда я познакомился с подполковником Шундриковым, он сидел за столом на командном пункте и занимался подготовкой перевода своего подразделения на новую точку, на запад. Позвонил телефон. Шундриков взял трубку:

— Алло! «Незабудка» у телефона... Здравия желаю!.. Как?.. Газету? За девятое апреля?.. Нет, еще не читал! Никак нет. Все время в движении... Так точно... Сводку по радио? Никак нет. Не принимал.

Шундриков некоторое время внимательно слушал, прижав трубку к уху, и вдруг побледнел, встал, вытянулся.

— Служу Советскому Союзу,— сказал он, отчетливо произнося каждое слово, и глаза его странно блеснули.

Он снова стал слушать и через некоторое время снова повторил:

— Служу Советскому Союзу. Так точно. Понимаю.

Он еще немного послушал и потом аккуратно положил трубку на стол, на карту, рядом с кожаным ящиком аппарата. Он сел, вытер со лба пот и вдруг улыбнулся счастливой, озорной, мальчишеской улыбкой.

Все офицеры, которые были в это время в хате, впились глазами в бледное, счастливое лицо своего командира.

— Что? Что такое? Награжден орденом?

— Нет,— сказал Шундриков.

Офицеры вопросительно переглянулись.

— Приказ Верховного командования Маршалу Советского Союза Коневу,— сказал Шундриков,— и там написано: в боях за прорыв обороны противника и за форсиро-

вание реки Прут отличились войска таких-то и таких-то и в том числе летчики подполковника Шундрикова.

Шундриков встал.

— Поздравляю вас, боевые друзья! Поздравляю вас с наградой!

И все офицеры, летчики подполковника Шундрикова, вытянулись и четко произнесли:

— Служим Советскому Союзу!

Я остановился в чистой и прохладной молдаванской хате с глиняным мазаным полом, на котором были разостланы домотканые дорожки.

Перед вечером в хату вошел хозяин. Это был крупный старый человек с коротко остриженной круглой головой и плохо выбритым твердым подбородком. И голова и подбородок его полуседые, черно-серого цвета. Усы и густые брови черные. Большими, грубыми руками он постелил на стол чистое серое холщовое полотенце с зелеными каемками, поставил на него миску с оранжевой дымящейся мамалыгой, миску с брынзой, кувшин и две кружки.

— Не угодно ли будет попробовать нашей молдаванской мамалыги и выпить нашего бессарабского вина собственного виноградника? — сказал он, старательно подбирая русские слова.

Как видно, он когда-то хорошо говорил по-русски, но забыл этот язык и напрягает память, чтобы вспомнить его.

Я поблагодарил и пригласил хозяина поужинать вместе со мной. Он, видимо, только этого и ждал. Ему хотелось поговорить,

Мы взяли, как это полагается по молдаванскому обычаю, руками по куску мамалыги, обмакнули ее в соленую брынзу и съели, запив розовым, кисленьким, душистым винцом.

Потом я вынул коробочку и предложил своему хозяину табаку. Он скрутил сигарку и с наслаждением затянулся.

— Давно не курил такого табачку, — сказал он.

— Вот тебе раз. Да ведь у вас в Молдавии родится отличный табак.

— Где там табак! Боже сохрани сеять табак! Строго запрещено. За каждый корень табака румынские правители накладывали штраф и сажали в тюрьму. У них монополия. Табак можно только покупать в лавочке.

А самому сеять — боже сохрани! Но разве ж в лавочке купишь?

— А что?

— Денег нет. Налоги задавили. Ничего у нас нет. Соли нет. Спичек нет. Материала никакого нет. Что своими руками можем сделать, то и есть. Видите?

И он показал на себя своей большой, как лопата, черной рукой земляпашца.

И точно. Все на нем было самодельное: на ногах самодельные постолы из сыромятной кожи, сшитые кожаными нитками, домотканые шаровары, домотканая свитка.

— Как же вы живете?

— А так и живем.

С жадностью он стал расспрашивать о положении на фронтах, о жизни Советского Союза, о Красной Армии... Он прислушивался к каждому моему слову. Он прикладывал ладони ковшиком к уху, с величайшим вниманием морщил лоб, стараясь не пропустить ни одной мелочи.

Я рассказал ему о разгроме немцев под Корсунь-Шевченковским, о брошенной неприятельской технике, о делах под Львовом. Все это для него было новостью. Он ничего не знал.

Он все время качал своей крупной стриженной головой и цокал губами.

— Ц-ц-ц! Скажи на милость! А мы здесь ничего не знали, — сказал он, вдруг понизив голос и покосившись на дверь.

Очевидно, в нем был еще силен рефлекс осторожности, боязни, что его подслушивают, рефлекс, выработавшийся за время фашистского владычества.

Он сам поймал себя на этом и широко, доверчиво улыбнулся.

— Вот, знаете, я с вами разговариваю, а сам все время нет-нет да и задрожу. Мне все время кажется, что за мной кто-то шпионит, а потом придет полицейский и заберет в кутузку. Ох, как мы тут жили! Ну, теперь, слава богу, надеюсь, все пойдет по-другому. Свет увидим. Будем жить так же свободно, как тогда, когда родная Красная Армия пришла к нам в первый раз.

Он немного помялся, погладил свои темные усы.

— Извините, я что вас хотел спросить... одну минутку повремените...

Он проворно ушел в какую-то каморку, долго там возился и наконец вернулся, застенчиво держа в больших

пальцах маленькую серебряную медаль на старенькой, потертой георгиевской ленточке. Я сразу узнал ее.

— Я ее все эти черные годы берег как зеницу ока. Скажите, прошу я вас: могу я ее теперь носить, эту дорожку для меня память? Все-таки я на действительной в Варшавской крепости служил, в крепостной артиллерии. Потом, как началась война, меня с двумя орудиями отправили в Порт-Артур. В Порт-Артуре воевал. Генерала Кондратенко помню. Хороший был человек, царство ему небесное! Храбрый генерал.

Он перекрестился.

И я вдруг понял, почему мне с самого начала показались как-то странно знакомыми и эта круглая стриженная голова, и эти темные усы, и этот крепкий, выскобленный подбородок, и эти острые, умные глаза под густыми бровями. Старый русский солдат. Да, это был старый русский солдат, несмотря на многолетнюю насильственную румынизацию сохранивший свой особый, типический характер.

— Так что, видите, я старый русский солдат, — как бы отвечая на мои мысли, сказал он. — Я и на империалистической был. С немцами воевал.

Глаза старика гордо блеснули отражением старой русской славы. Его немного сутулые плечи выпрямились. Он широким жестом вытер усы и крикнул.

— Ну, если так, — сказал он, — то разрешите мне тогда налить еще по одной кружке нашего бессарабского и выпить за нашу советскую Красную Армию. И чтобы мы этих подлецов фашистов больше в глаза не видели!

Он сдул с розового вина красную пену, окунул в него свои солдатские усы и выпил не отрываясь всю кружку, до дна.

Днем было тепло. А сейчас прохладно, туманно. В Карпатах тает снег, и оттуда тянет весенним холодком. Зеленоватая, туманная луна стоит над селом. Звезда, чистая, прозрачная, как ледяная слеза, висит в серебристом небе над камышовой крышей. Над крышей силуэты двух аистов. Аисты неподвижно стоят над большим гнездом.

Тихо. Только слышно, как где-то далеко, на краю села, лает собака. Да изредка доносится с шоссе ровный шум идущих на запад танков. Они идут всю ночь.

Пробираюсь в узком коридоре улицы между двух высоких глухих стен, сложенных из больших кирпичей, сделанных из земли с соломой и сверху обмазанных глиной.

В одном месте за забором слышатся голоса, приглушенный смех. Осторожно заглядываю во двор. Белая стена хаты, фосфорически сияющая в лунном свете. Белые безрукавки и черные высокие шапки парней. Серые свитки и платки девушек. Ночное гулянье.

Но откуда взялись эти парни? Днем я ходил по селу и не видел ни одного человека призывного возраста. В чем дело? Впрочем, скоро все выяснилось: при первом удобном случае они, угоняемые фашистами в тыл, убегали.

И вот теперь они сидят на завалинках родного дома со своими девушками и вполголоса поют частушки, вывезенные с Украины.

Тихонько напевает приятный молодой голос украинские слова с сильным молдавanskим акцентом. И девушки подхватывают припев.

Луна плывет над селом. Черные, голые деревья, черные крыши.

В серебряном, лунном небе шумят самолеты. Это наши ночные бомбардировщики идут на работу. Идут на Яссы, идут на Констанцу.

Идут, чтобы как можно скорее с корнем выжечь гитлеровскую заразу, где бы она ни гнездилась.

Всю ночь шумят, шумят в серебристом, лунном небе ночные бомбардировщики, пролетая на запад.

Я опускаю над собой прозрачный колпак и крепко его привинчиваю. Я сижу глубоко и удобно на широком брезентовом ремне, подвешенном между двумя бортами штурмовика, против пулемета, обращенного назад. Я вижу хвост самолета, антенну и нежное голубоватое небо, покрытое весенними перламутровыми облаками.

Мощный мотор ревет, как водопад.

Наш ИЛ бежит, подпрыгивая, по лугу. Луг широко и плавно бежит назад. Бегут назад оставшиеся на земле маленькие истребители, бензиновые цистерны, большой китообразный транспортный «дуглас», из которого выкатывают бочки с горючим и выгружают ящики с боеприпасами. Бегут назад блиндажи, тонкие стволы зенитной батареи...

Толчки прекращаются. Мы летим. Грохот мощного мотора усиливается. Теперь это уже не водопад. Теперь это многоголосый, могущественный гул органа. Мир до краев наполнен им.

Глубоко внизу плывут назад и расходятся широким

веером коричневые, зеленые поля, виноградники, балки, речки.

Голубой хвост самолета с красной звездой и номером подымается еще выше. Во все стороны разбегаются белые линейки шоссе. Здесь уже почти совсем сухо. По шоссе вьется уже первая, легкая пыль. Это идет колонна наших танков. Мы проносимся над ней. Вот опять вьется пыль. Это колонна грузовиков со снарядами, с горючим, с продовольствием. Вот батальон пехоты. Солнце блестит звездочками на кончиках штыков. Славная пехота идет на запад. Она торопится. Пылят пушки, минометные подразделения, обозы, заправщики. И все это стремится на запад, по пятам отступающего врага.

Вот внизу мелькнули Бельцы. Черепичные и камышовые крыши. Вокзал. Составы. Садик, и в садике маленькая раковина открытой сцены. Сверкнула река.

Но дальше, дальше! На запад!

Еще пятнадцать — двадцать минут — и под нами проплывает, извилисто поворачиваясь, новая река. Она туманно блестит на солнце. Она зеленеет, желтеет в камышах. Это Прут. Он промелькнул, пропал.

Вот внизу между нами и землей появилось что-то, какая-то живая, переливающаяся цепочка. Присматриваюсь. Это дикие гуси. Они возвращаются из теплых краев на родину. Еще дальше — стая дроздов. Они летят, тяжело взмахивая крыльями. Они тоже возвращаются на родину. А вот и аисты на длинных крыльях. Они летят домой.

Все возвращаются на родину в эту весну.

Чудесная весна! Весна победы. Весна славы. Весна, которая возвратила родину украинцам, молдаванам...

Хвост ИЛа опадает. Машина взмывает вверх и разворачивается. Дымно-голубая цепь Карпат туманно виднеется на горизонте. Земля поднимается сбоку, стеной. И на краю этой стены видны густые клубы дыма.

1944

КУЗНЕЦ

Холодоватый апрельский ветер дул с Карпат.

Много дней и ночей, не зная отдыха, преследовали славные советские конники бегущих гитлеровцев. Ни грязь, ни распутица, ни сердито вздувшиеся весенние реки, ни бешеные контратаки врага — ничто не могло остановить их порыва.

Они летели как птицы.

Их черные бурки и алые башлыки развевались на степном молдавском ветру. Туманное солнце и нежная апрельская лазурь мигали в зеркальных клинках. Бледные искры и синяя грязь во все стороны летели с выбеленных подков. Кони со взмыленными мордами потемнели от пота.

Единственное чувство владело всеми: не дать врагу уйти.

Казалось, никакая сила в мире не может их остановить.

И все же они остановились. Им пришлось остановиться. Они остановились, потому что стерлись и сбились подковы. Нужно было перековать коней. А походные кузни с подковами и кузнецами остались далеко позади. Ожидать, пока они подтянутся, значило дать противнику уйти.

Это было за Сороками. Конники спешили, привязали своих коней к ограде и задумались. Трудно поставить советского кавалериста в тупик. И все же они оказались в тупике. И ехать дальше никак нельзя — лошадей покалечишь, и не ехать тоже никак нельзя — противника упустить.

Закусил командир ус, сорвал сухую лозину и ударил ею в сердцах по грязному сапогу.

— Как же быть, хлопцы?

Но хлопцы молчали.

Вот тут-то и выступил на сцену старик молдаванин в высокой бараньей шапке и коричневой домотканой свитке, до того неподвижно стоявший неподалеку от конников. Он был стар, высок, сух. Его громадные черные руки опирались на высокий пастуший посох. Казалось, что это мертвец, вставший из могилы для того, чтобы посмотреть на славных советских конников, принесших освобождение его родной Молдавии. Он не торопясь подошел к командиру, не торопясь снял шапку, поклонился с величавым достоинством и сказал:

— Подождите.

Потом он ушел и скоро вернулся с мешком древесного угля, небольшими ручными мехами, кузнечным молотом, наковальней и щипцами.

— Был когда-то я кузнецом, — сказал он с улыбкой, чуть мелькнувшей из-под его густых черных бровей. — Подковы у вас имеются?

— Подков нету.

— А железа у вас имеется?

— Железа нету.

— Тогда возьмем эту железу,— сказал старик, положив громадную руку на ограду.— Это старая железа, хорошая железа. Я ее знаю. Я ее ковал сорок лет тому назад. Моя работа.

Пока конники выламывали железные прутья, старик присел на корточки и выкопал в земле маленький первобытный горн. Он засыпал в него уголь, разжег и стал одной рукой раздувать маленькие первобытные мехи, положенные прямо на земле. Другой рукой он взял щипцы, захватил ими кусок выломанной ограды и сунул его в жар. Старая зеленая краска сразу пошла коричневыми волдырями. Скоро раздался тонкий, серебряный звон молота по наковальне. Первая малиновая подкова упала в песок, остывая, синяя, и покрылась сизой окалиной.

С чудесной, почти волшебной, легкостью и быстротой орудовал старик своими нехитрыми инструментами — щипцами, молотом, мехами. Это была вдохновенная работа истинного артиста, великого мастера своего дела. И порой казалось, что у него не две руки, а четыре,— так виртуозно он ими действовал, успевая в одно и то же время и раздувать мехи, и класть на наковальню куски раскаленного железа, и ударять по ним молотом.

Все новые и новые подковы и гвозди летели в песок, к ногам очарованных, повеселевших конников. Остывшие кони, почуяв запах каленого железа и кузнечного дыма, раздували ноздри и нетерпеливо перебирали ногами.

А тем временем подтянулись и тылы с походными кузнями, кузнецами и подковами.

Звеня новыми подковами, летели конники в молдавской степи. Черные бурки и алые башлыки развевались на степном ветру, и весеннее, искрометное солнце мигало в зеркальных клинках.

1944

СЕМЬЯ ИГНАТОВЫХ

Только что меня посетил Петр Карпович Игнатов, и я весь нахожусь под впечатлением этого необыкновенного человека. Он командир Краснодарского городского партизанского отряда минеров имени братьев Игнатовых.

Братья Игнатовы — это два его сына, Евгений и Геннадий. Они оба были в партизанском отряде отца и

оба погибли на его глазах при взрыве немецкого поезда. Они посмертно получили звание Героев Советского Союза.

Недавно Петр Карпович приехал в Москву из родного Краснодара и привез рукопись своей книги «Записки партизана», которая скоро выйдет в свет.

Он сидит передо мной, этот крепкий и очень подвижный, моложавый пожилой человек с быстрыми и точными движениями и глазами следопыта. Он очень похож на до-революционного питерского рабочего, каким и был в действительности. Это русский самоучка, механик, человек самобытного таланта.

Он одет в полувоенное. На груди орден Ленина и партизанская медаль.

Вот что он рассказывает:

— Мой отряд почти целиком состоял из представителей кубанской казачьей городской интеллигенции. В него входили директора высших учебных заведений и крупных промышленных предприятий Краснодара, научные работники, инженеры, экономисты, высококвалифицированные рабочие. Многие среди них были почетные кубанские казаки, черноморцы — потомки славных запорожцев-сечеви-ков. Отряд имел резко выраженный «производственный» профиль — мы были минерами-диверсантами. Взрывали мосты, электростанции, склады, пускали под откос немецкие поезда, жгли колонны грузовых машин вместе с охранявшими их броневиками и танками. Вот «текущий счет» отряда. Взорвано и разрушено: пятнадцать паровозов с поездами, триста девяносто два вагона с войсками и грузами, сорок один танк, сто тринадцать автомашин, свыше ста мотоциклов с прицепами, тридцать четыре моста и уничтожено свыше восьми тысяч оккупантов.

И все это в то время, когда гитлеровцы рвались к Баку и концентрировали у себя в тылу «армию вторжения» в Иран, в Индию. Вот по этому тылу и бил партизанский отряд Игнатова.

— Наш отряд, — продолжает Игнатов, — был своеобразным «партизанским комбинатом». Мы имели свои фабрики, свое большое хозяйство. Наши мастерские — минные, кузнечно-механические, столярные, сапожные, портновские — обслуживали не только наш отряд, но и наших соседей-партизан. В тылу у немцев, в горной глуши, мы открыли «минно-диверсионный университет», где проходили практику минно-диверсионной работы лучшие и храбрейшие партизаны соседних отрядов.

Я ясно представил себе эту почти майн-ридовскую обстановку: горные ущелья, неприступные скалы, фактория, сколоченная из бревен, деревянные форты, тайные звериные тропы и пятьдесят партизан — студентов и профессоров, изучающих здесь «на практике» минное дело.

— А теперь я расскажу вам, как погибли мои мальчишки,— говорит Игнатов после длинной паузы.— Нам предстояло взорвать поезд и одновременно минировать шоссе и дорогу, идущую параллельно полотну, чтобы хотя на время, но основательно и прочно закупорить фашистам путь к Новороссийску. Мы решили рвать поезд не так, как чаще всего рвали до сих пор партизаны Украины и Белоруссии, то есть дергая за веревочку. Нашу новую железнодорожную мину — сочетание тола и противотанковых гранат — должен был взорвать сам паровоз. И в то же время легкая автодрезина, обычно идущая в разведку перед поездом, должна пройти над миной благополучно. Весь секрет был в тяжести, передаваемой через рельсы в минный заряд. Это была наша новая, усовершенствованная мина. Надо подползти к железнодорожному полотну, отыскать вибрирующий конец рельса, финским ножом выкопать ямку и заложить в нее минный заряд. Потом надо тщательно замаскировать работу — самый внимательный обходчик не должен заметить даже отпечатка наших подошв на шпалах и полотне дороги — и отползти в сторону. И все это в темную кавказскую ночь, в те счастливые короткие минуты, которые предоставят нам зазевавшиеся фашистские часовые. Мина на полотне почти готова. Остается выдернуть последнюю шпильку у предохранителя. Но это всегда успеется. До прихода поезда еще много времени. Мы хорошо знаем немецкое расписание. Ночь тихая, теплая. Сияют звезды над головой. неподвижно стоят тополя у дороги. Сейчас начнем минировать шоссе — и домой, в горы...

И вдруг возникает еле слышный звук. Быть может, самолет летит на ночную бомбежку? С каждой секундой шум отчетливее, яснее. С ним переплетается второй звук. Они сливаются, нарастают... Они все ближе, ближе. Поезд! Вне расписания поезд, мы не учли его. Из-за поворота, набирая ход под углом, на всех парах идет тяжелый состав. А рядом с ним по шоссе мчится броневик прикрытия. Что делать? Уходить в горы! Но в «волчьем фугасе» на полотне еще не снята шпилька у предохранителя. Шоссе свободно. Враги ворвутся на него. Они зажмут нас в клещи.

Мимо меня стремительно пробегают мои сыновья. Евгению двадцать семь лет, он уже инженер, а Геннадий совсем мальчик, он только что окончил среднюю школу. Заряжая на ходу последние мины, они бегут к шоссе, быстро минируют обе колеи и выскакивают на полотно. Паровоз уже рядом. Пламя вырывается из поддувала. Гремят буфера. Ребята бросаются к поезду. Разве можно в этой крошечной тьме найти крошечную шпильку предохранителя? Нет, они задумали другое. Они хотят бросить под поезд около мины противотанковые гранаты, чтобы от детонации взорвался «волчий фугас». Я бегу за детьми. Поздно! Одна за другой рвутся две гранаты. И тотчас со страшным грохотом взрывается мина. Сразу становится жарко и душно, как в бане. Взрывная волна как ножом срезает крону могучего клена и отбрасывает меня назад. Я вижу, как лопнул котел паровоза. Падая под уклон, вагоны лезут друг на друга, погребая под своими щепками немцев. Новый взрыв. Это летит в воздух броневик на шоссе. За ним, ярко вспыхнув фарами, рвется второй. Взрывы следуют один за другим. Теперь мины коверкают машины на боковой дороге, разбрасывая искалеченные трупы гитлеровских автоматчиков. Пылает взорванный поезд, кричат звериными голосами раненые фашисты. Я бросаюсь к железной дороге. У полотна, освещенного заревом пожара, лежат разорванные на куски мои мальчики — Евгений и Геннадий. Я беру на руки их окровавленные тела. Теплая кровь заливает мне руки. Я целую то, что осталось от моих детей. Я несу их через минированную дорогу. Потом мы молча роем финскими ножами неглубокую яму, кладем трупы моих сыновей, забрасываем землей. А над головой, срывая листья, уже жужжат немецкие пули. Вытянувшись цепочкой, глухими тропами уходим в горы. А там, далеко в горах, на нашей «фабрике», ждет моя жена, мать моих ребятишек, Елена Ивановна, хирург нашего отряда. Что я скажу ей? Как все это будет?..

Петр Карпович замолкает. Его глаза полужакрыты. Страшная картина стоит перед нами. Картина гибели детей. Но он быстро приводит себя в порядок и продолжает свой рассказ...

«Какие люди! — думаю я. — Какие люди! Разве можно победить народ, воспитавший таких людей?»

I

Некогда весь юг Украины, то, что раньше называлось Новороссией, был дном моря.

Одесса построена из местного материала — ракушняка. Это легкий, поздраватый камень светло-желтого цвета, образовавшийся из морских отложений.

Вокруг Одессы и под самой Одессой этого камня неисчерпаемые залежи. Ракушняк необыкновенно легко поддается обработке. Его можно без труда резать простой пилой или даже ножом. Обычно его вырезают в виде довольно больших прямоугольных брусков, похожих на абрикосовую пастилу.

Из этой легкой и хрупкой пастилы в Одессе складывают дома, заборы, церкви. Из нее вырезают надгробные памятники. Ею обкладывают колодцы. Из ракушняка была построена древняя турецкая крепость Хаджибей, руины которой и до сих пор живописно стоят над морем на территории парка культуры и отдыха имени Шевченко. Из ракушняка построены все окрестные села и станции.

Уже около двухсот лет производится разработка этого строительного материала из множества шахт и каменоломен. Понятно, что эта разработка в большинстве случаев производилась анархически. Таким образом, под всем районом Одессы образовались пустоты, по своему объему равные городу с его окрестностями. Это и есть знаменитые одесские катакомбы, которые сыграли такую громадную роль в истории революционного движения. Они стали традиционным местопребыванием одесского подполья.

В 1905 году из катакомб вышли рабочие на вооруженное восстание. В годы столыпинской реакции в них скрывались остатки разгромленных боевых организаций одесского пролетариата. В 1918 году, во время первого немецкого нашествия, в темных, непроходимых лабиринтах одесских катакомб партия большевиков организовала отпор вильгельмовским захватчикам. И, по-видимому, отсюда же вышли на свою неслыханно дерзкую операцию оставшиеся неизвестными герои-большевики, взорвавшие колоссальные австро-германские склады боеприпасов летом того же 1918 года. Склады эти один за другим взлетали на воздух в течение нескольких суток, и немцам был нанесен такой ущерб, от которого они тогда уже не могли оправиться. Во время деникинцев и врангелевцев в катакомбах

находился Одесский подпольный ревком, руководивший разгромом белогвардейщины. Тогда здесь была оборудована прекрасная типография и в течение шести месяцев издавалась большая ежедневная газета «Известия».

После этого более двадцати лет катакомбы пустовали. О них стали понемножку забывать. Казалось, что их историческая роль навсегда кончена. Они становились туманной поэтической легендой чудесного приморского города, овеянного былой славой.

Но вот грянул роковой 1941 год, и одесским катакомбам было суждено еще раз сыграть выдающуюся роль в деле борьбы советских патриотов с иноземными захватчиками.

То, что я видел собственными глазами в катакомбах, и то, что я слышал от участников подполья и живых свидетелей великой борьбы, мне кажется достойным того, чтобы об этом узнал весь советский народ.

II

Катакомбы тянутся под землей на несколько сот километров. Они имеют тысячи разветвлений, петель, закоулков, тупиков. Множество выходов, шахт и колодцев соединяют лабиринты катакомб с поверхностью. В катакомбах во время оккупации находились вооруженные партизанские отряды, подпольные комитеты партии, диверсионные группы и просто одиночки. В подавляющем большинстве они были между собой разъединены и не знали о существовании друг друга. Таково было требование конспирации.

Поэтому я понял, что охватить все в целом пока невысказано. Тогда я решил, по крайней мере, познакомиться хотя бы с деятельностью какой-нибудь одной группы и осмотреть катакомбы в том районе, где эта группа действовала.

Мне посоветовали побывать в катакомбах Усатовых хуторов. Там скрывался подпольный партийный комитет Пригородного района и несколько партизанских отрядов, непосредственно связанных с этим подпольным райкомом.

Это мне пришлось особенно по душе, так как я хорошо знаю Усатовы хутора. В детстве я несколько раз летом гостил на Усатовых хуторах у одного своего товарища, и, помню, мальчиками мы даже иногда лазили в катакомбы. Понятно, нам удавалось проникнуть туда лишь на не-

сколько десятков шагов в глубину, так как дальше было тесно, темно и очень страшно.

Во всяком случае, я на всю жизнь запомнил за кладбищем, на выгоне, узкую щель в скале, высунувшейся из земли. На камне грелась бирюзовая ящерица. Осыпаемые мелкой известковой пылью, мы пролезли в щель. Я помню первую, довольно просторную, комнату, почти залу, в скале, где местные жители некогда выпиливали камень для своих домиков и заборов. Я помню черный крест, выкопченный страстной свечкой на низком слоистом потолке. Дальше мы не пошли.

Теперь я решил опять побывать в этих местах. Но дело осложнилось тем, что очень трудно было разыскать людей, которые работали в подполье Усатовых хуторов. Все они, конечно, в первый же день освобождения Одессы вышли наверх, и кто влился в ряды Красной Армии, кто был послан на советскую или партийную работу в область.

На мое счастье, в это время в Одессе началась областная партийная конференция, и несколько человек усатовских подпольщиков приехали на нее. В числе их был и товарищ Лазарев Семен Федорович, секретарь одесского Пригородного подпольного райкома партии, то есть тот самый человек, который в течение двух с половиной лет, находясь глубоко под землей, руководил движением Сопротивления одного из самых больших одесских районов. Это была героическая, абсолютно неравная и тем не менее победоносная война небольшой горсточкой одесских большевиков, нестигаемых советских патриотов, против двухтысячной регулярной румынской армии, специально расквартированной в районе Усатовых хуторов.

Нас познакомили. Я видел небольшого человека средних лет, с ординарным, немного болезненным лицом, по внешности типичного районного партийного работника, каковым он в действительности и был. Ничего исключительного, а тем более героического при всем желании нельзя было отыскать в его фигуре. Не было в нем также ни тени рисовки или какой-нибудь позы. Даже позы простоты и скромности. Это был настоящий человек массы, русский большевик, плоть от плоти и кость от кости своего народа, сильный своей внутренней правдой и несокрушимой крепостью своего духа.

Узнав, что я хочу спуститься вниз, в «его» катакомбы, Семен Федорович очень обрадовался. Он обрадовался потому, что, оказывается, с того дня, как вышел из катакомб навстречу Красной Армии в апреле 1944 года, до сих пор

еще ни разу не удосужился побывать на своем старом пелище. Несколько раз собирался, да все никак не удавалось. И можно себе представить, как взволновала его перспектива снова повидать те подземные лабиринты, в которых он провел два с половиной года, каждую секунду рискуя головой!

— Что ж, прекрасно! — сказал он, радостно потирая руки. — Даже очень прекрасно! Просто замечательно. Давненько, давненько я туда собираюсь. Ну, так что же? Это мы сейчас организуем.

И с той быстротой, точностью и конкретностью, которые отличают опытного подпольщика, он в течение двух часов организовал довольно трудную поездку в катакомбы.

Прежде всего он из-под земли достал двух своих соратников, членов его подпольной организации, за которыми я безуспешно «охотился» в течение нескольких дней. Один из них был Иван Гаврилович Илюхин, секретарь Овидиопольского подпольного райкома партии, который в силу целого ряда обстоятельств попал в катакомбы к Лазареву, другой — Леонид Филиппович Горбель, третий секретарь Пригородного подпольного райкома и командир партизанского отряда № 1 (Куяльницкого).

Оба они, Илюхин и Горбель, были люди той же партийной складки, что и Лазарев, — простые, внешне обычные, скромные, без рисовки, и полные несокрушимой духовной силы, которая светилась в их прямых, открытых глазах. Только они были несколько помоложе Лазарева. Илюхин — уроженец Орловской губернии, настоящий русак, с высоким лбом и крепкими скулами, большой, сильный, в черной коровьей куртке мехом наружу. Горбель — законченный тип веселого и живого черноморца, с крепкими руками, привыкшими к веслам, подвижным, лукавым лицом и статной фигурой, с особым военным щегольством стянутой офицерским поясом.

Они крепко и деловито посоветовались с Лазаревым и тотчас исчезли — добывать вещи, необходимые для нашей экспедиции: фонари «летучая мышь», особые, специально сконструированные для катакомб, большие зажигалки, рассчитанные на несколько часов горения, керосин для фонарей, бензин для автомобиля, старые спецовки, чтобы не запачкать под землей костюмов, короткие костыльки, на которые нужно опираться, пробираясь по тесным и низким подземным коридорам, чтобы не стукаться головой о потолок, и прочее.

Вскоре все это было добыто, и мы отправились.

Мы проехали через весь город, миновали Пересыпь, сожженную, взорванную, исковерканную немцами и румынами, и стали огибать ракушняковую гору, ведущую к Хаджибеевскому парку и далее, к Усатовым хуторам. По склонам этой горы, похожей на ковригу хлеба, раскинулось несколько сел — Нерубайское, Куяльник... Их ракушняковые домики под камышовыми или черепичными крышами были выкрашены в разные цвета — бледно-зеленый, темно-синий, абрикосовый, розовый. В некоторых местах в скалах виднелись трещины. Это были входы в катакомбы. Но в большинстве они были взорваны, развалены или даже забетонированы румынами или немцами.

— Да. Жестокая была борьба,— сказал Лазарев.

Отсюда начиналась территория, где действовал его подпольный райком. Здесь каждый забор, каждый погреб, каждый домик, каждое деревцо, каждая щель были знакомы партизанам, как своя ладонь.

— Вот видите дворик вокруг этого синенького домика под черепицей? — говорил Илюхин. — Здесь я держал бой с фашистами. Нас было семеро, а их больше взвода. И мы держались почти два часа, прикрывая вход в катакомбы, куда с минуты на минуту должна была возвратиться группа товарищей, посланная в город на связь с обкомом. И мы не потеряли ни одного человека.

— А вот здесь,— сказал Горбель,— мы подбили румынский грузовик с продовольствием.

Он стал внимательно всматриваться.

— Будь я проклят, если это не он! — воскликнул вдруг Горбель с веселым изумлением.

Действительно, в стороне от дороги, повалившись набок, лежали жалкие остатки румынского грузовика.

— Хорошая работа,— сказал Лазарев.

— Да. Чистая.

— Большого шума мы тогда наробыли! Что и говорить!

Мы объехали знаменитый Хаджибеевский парк. Некогда в нем росли двухсотлетние дубы, в прудах плавали черные лебеди. Сейчас деревья почти все вырублены. Пруды высохли. Всюду валяются обломки камня. Для чего понадобилось фашистам вырубать этот старинный парк? Для чего понадобилось сжигать курортные павильоны? Взрывать водолечебницу? Совершенно непонятно. Глупо. Под-

ло. И дико. Главное — дико. К виду этого вырубленного, загаженного парка трудно было привыкнуть.

Пока мы ехали мимо него, глаза партизан стали сумрачными, жесткими. Все молчали.

За парком начинались собственно Усатовы курганы. Дорога расходилась на три стороны. Водитель остановил машину:

— Куда дальше ехать?

— Погоди.

Партизаны стали совещаться. Мне показалось, что они говорят на каком-то совершенно непонятном, таинственном, условном языке:

— Берем направление на семечки.

— А я предлагаю рвать прямо на утку.

— Утка развалена.

— Разве?

— А ты забыл?

— Да. Верно. Тогда на кавуны.

— До кавунов трудно будет добраться машиной.

— На семечки! — решительно сказал Лазарев. — Водитель, давай прямо.

И, заметив мое недоумение, объяснил:

— Мы дали каждому входу в катакомбы свое особое имя: «Кавуны», «Семечки», «Утка», «Веревочка». Вы спросите, по какому принципу? А без всякого принципа. Чисто случайно. Вот, например, «Семечки» — это потому, что там был сторожевой пост и караульные лузгали семечки. А «Утка» потому, что там как раз сквозь ствол шахты проходил колодец и в этот колодец один раз случайно заскочила утка. А мы тогда как раз сидели уже второй день без продовольствия. Так что уточка нам очень пригодилась. Есть один вход, называется «Подснежники».

— А почему «Подснежники»?

— Сейчас я вам этого не скажу. Долго рассказывать, а мы уже приехали. Потом вы мне напомните.

— Ладно. Напомню.

Машина пересекла выгон, нырнула в скалистую балочку, вынырнула из нее и въехала во двор небольшой хибарки, крытой камышом. Пока шофер ставил машину за погреб, сложенный все из того же ракушняка, из хибарки вышла крестьянка, с головой, повязанной полинявшим платком. Увидев выходящих из машины гостей, она радостно, приветливо улыбнулась:

— Здравствуйте, товарищ Лазарев! Здравствуйте, товарищ Илюхин! Здравствуйте, товарищ Горбель!

— Здорово, хозяйюшка. Не забыла нас?

— Где там! Разве таких людей когда-нибудь забудешь? Вы наши избавители. Если б не вы, нас бы уже давно поубивали. Что ж вы-то нас совсем забыли? Не приезжаете.

— Дел много. Одесский район восстанавливаем. Времени не выберешь. Хозяин дома?

— Дома, дома. Милости просим. Заходите в хату.

А уже из хаты выходил хозяин. Он так торопился на встречу дорогим гостям, что даже забыл надеть свою баранью шапку. Его смуглое южнорусское лицо с характерным горбатым носом, огненно-черными глазами, сивыми усами и крепким, по-солдатски выбритым подбородком светилось той же радостной, приветливой улыбкой. Он крепко пожимал гостям руки. Несомненно, он бы их всех по очереди расцеловал, если бы это допускалось строгим крестьянским этикетом.

— Заходите, прошу вас. Заходите в хату, дорогие друзья. Заходите, заходите.

— Эти люди нам крепко помогли, когда мы сидели под землей,— сказал Лазарев.— Они нам носили пищу, передавали записки, предупреждали об опасности. Благодаря им нам было известно все, что делается наверху. И ведь все это с опасностью для жизни. Крепкий народ. Настоящие советские патриоты.

— Как же своим людям не помочь? — сказал хозяин, и вокруг его черных молодых глаз пошли веером суховатые морщинки.— Мы вас спасали. Вы нас спасали.

Узнав, что мы будем спускаться в катакомбы, хозяин принес несколько самодельных коптилок, сохранившихся у него еще со времен подполья. Нашелся также и бидон керосина. Керосин был тоже «подпольный». Так что, собственно говоря, мы зря хлопотали насчет «летучих мышей» и горючего.

— Я ж говорил,— с неудовольствием проворчал Горбель,— что у них все есть. Напрасно только время потратили на подготовку!

IV

Пока мы переодевались в старые макинтоши и спецовки, хозяин, показав рукой на скромную обстановку своей хаты, сказал мне:

— При фашистах ничего этого здесь не было. Были только одни голые стены.

— А где ж все это было?

— А в катакомбах же. В последние месяцы ихнего каторжного режима, ихней новой Европы,— чтоб она сгорела! — мы все хозяйство перевели под землю. И овец перевели. И корову. Так что здесь, на поверхности, было хоть шаром покати. Только тем и спаслись от смерти.

— Это верно. Почти все население Усатовых хуторов в последние месяцы пребывания гитлеровских разбойников спасалось у нас в катакомбах.

— Сколько же всего у вас было, так сказать, «посторонних»?

— Несколько тысяч. Я думаю, тысяч до семи. Они, правда, размещались недалеко от выходов, но все равно под нашей охраной они были для врага недоступны.

— Спасители наши,— сказала хозяйка.

И я вдруг понял всю силу этой небольшой горсточки большевиков-патриотов, которые в течение двух с половиной лет не только вели свою смертельно опасную работу, но также сумели спасти несколько тысяч местных жителей от гибели, разорения и неминуемого рабства.

— Ну, товарищи, двинулись,— сказал Лазарев, когда светильники были зажжены и фонари «летучая мышь» отрегулированы.

Мы прошли несколько сот шагов задами, спустились в балочку и подошли к щели в скале.

— Вот это и есть знаменитый выход «Семечки»,— сказал Горбель.— Теперь берегите голову. За мной!

Он просунул в щель фонарь, осмотрелся и медленно пролез в узкий проход, задевая могучими плечами стены, с которых посыпалась мелкая каменная пыль. Мы последовали за ним. Камни полетели из-под ног. Еле удерживаясь руками за ноздреватую скалу, я почти съехал вниз на несколько метров. Через минуту мы очутились в довольно большой кубической пещере каменоломни со стенами, вырезанными гармоникой, и ровным потолком, хотя и довольно низким, но достаточным, чтобы стоять во весь рост. И я увидел на потолке крест, некогда выкопченный страстной свечкой. Здесь мы выстроились гуськом в определенном порядке, принятом для движения под землей: впереди — человек с фонарем, за ним — один или два человека без огня, затем — человек с огнем, человек без огня и, наконец, замыкающий с фонарем. Впереди с фонарем пошел Горбель. Замыкающим был старик хозяин с коптилкой. Между ними разместились остальные — кто с огнем, кто без огня. Я шел предпоследним. Мы двинулись

один за другим, цепочкой, в глубину каменоломни. Потолок стал понижаться, стены суживаться. Мы втянулись в подземный ход, где уже нельзя было идти во весь рост. Нужно было сильно пригибаться. Идти в согнутом положении оказалось чрезвычайно трудно. Тут-то я и понял, зачем понадобились деревянные костыльки и шомпола, которые роздал нам Илюхин. Идти, опираясь на короткую палку, было гораздо легче. В катакомбах все партизаны ходили с такими палочками длиной в полметра. Чем ниже приходилось наклоняться, тем быстрее шли люди. Я тоже пошел быстрее. Я почти бежал. И я заметил, что чем скорее идешь в согнутом положении, тем легче идти.

V

Воздух вокруг становился все более и более неподвижным, затхлым, спертым. Фонари и коптилки чуть мерцали, с трудом освещая вплотную придвинувшиеся стены и совсем низко нависшие своды. Становилось душно, даже жарко, хотя наверху была зима, ветер и градусов десять мороза. Иногда почва под ногами поднималась, потолок опускался еще ниже. Оставалось небольшое отверстие, сквозь которое нужно было протискиваться ползком, подчас даже на животе. Песок и каменная пыль сыпались за воротник. С непривычки я задыхался, обливался горячим потом. А мы не прошли еще и километра. Тоннель то и дело поворачивал то вправо, то влево. Он то поднимался, то круто уходил вниз. Через каждые десять — пятнадцать шагов возникали разветвления. Иногда их было три или четыре. Новый человек запутался бы здесь в одну минуту. Но Горбель шел уверенно, как по своей квартире, ни на один миг не задумываясь, куда свернуть. Он только на перепутьях особенно внимательно осматривал стены и полы, освещая их своей «летучей мышью».

— Откуда вы знаете, куда надо идти? — спросил я во время небольшой передышки, когда мы присели на камни посреди тесного тоннеля.

И тогда Горбель открыл мне одну из многочисленных тайн катакомб. Он осветил стены, и я заметил, что они испещрены значками, выцарапанными на камне, нарисованными мелом или углем или просто начерченными пальцами на толстом слое пыли, покрывающем пол. Это были знаки подземной навигации, указатели подземного фарватера. Разумеется, никакой более или менее точной карты

катакомб не существует. Стоило бы колоссальных трудов составить схему этого невероятно запутанного лабиринта, имеющего в довершение всего несколько горизонтов залегания. Компас здесь бесполезен. Во-первых, на глубине он работает неточно, а во-вторых, без карты он все равно ни к чему. Звук голоса почти не распространяется. Остается только сигнализация значками, своеобразными иероглифами. Каждый член подпольной организации имел свои, так сказать, «позывные». Когда человек передвигался по лабиринту катакомб, он время от времени оставлял на стенах свои визитные карточки и шифрованные сообщения о своем направлении, для того чтобы в случае аварии со светом его могли бы отыскать товарищи. Я говорю «аварии со светом» потому, что авария фонаря или копилки равносильна гибели человека. Оставшись без света, человек здесь безусловно должен погибнуть. Двигаясь в темноте, он абсолютно не сможет ориентироваться, через тридцать шагов заблудится среди множества поворотов и будет заживо погребен. Такие случаи бывали.

Но вернемся к подземной навигации.

Горбель осветил фонарем стену, и я увидел на ней несколько значков, нарисованных углем. Один был похож на топографическую стрелку, но только с двумя вертикальными черточками на хвосте. Другой состоял из одной лишь буквы Я. Третий представлял из себя крестик со стрелкой. Были еще кружочки, стрелки, направленные в разные стороны. Были цифры.

Стрелка с двумя вертикалями была, например, визитной карточкой Илюхина. Буква Я — визитной карточкой товарища Васина Якова. Цифры были датами прохождения, стрелки — направлением. Нарисованная пятиконечная звезда была знаком всего подпольного райкома в целом. Таким образом, внимательно глядя на стены, человек посвященный всегда мог понять, кто где в данный момент находится, где кого нужно искать.

— Вот, посмотрите, — сказал Горбель, освещая фонарем развилку катакомбы, откуда расходилось в разные стороны несколько тоннелей. — Как вы думаете, в какую сторону нам нужно идти, чтобы прийти в подземный лагерь номер один?

Я пожал плечами. Тогда Горбель показал мне на земле прямую линию, проведенную пальцем в пыли, поперек одного из тоннелей. Это значило, что путь закрыт. Туда идти не следовало. То же самое было и возле другого тоннеля, и возле третьего. Оставался четвертый, поперек которого

никакого знака не было. Стало быть, туда и следовало идти. Каждый отдельный камешек, особым образом положенный на дороге, что-нибудь да обозначал на языке этого подземного телеграфа, которым каждый подпольщик владел в совершенстве.

— Видите, какая у нас была хлопотливая жизнь,— с улыбкой сказал Лазарев.— Прямо-таки «Восемьдесят тысяч лье под водой» или, вернее, под землей. Жюль Верн!

— А он у нас был капитан Немо Пригородного райкома партии,— с озорным блеском в глазах сказал веселый Горбель, поглядывая на Лазарева.— Ну, товарищи, потопаем дальше. До лагеря номер один еще довольно далеко. Не будем терять времени.

VI

И мы двинулись дальше, низко нагибаясь и опираясь на свои короткие палочки. Мы прошли еще километра два, и вдруг нам на пути стали попадаться разные вещи. Первой мы увидели лопату, воткнутую в кучу ракушнякового щебня. Через несколько шагов валялся лом. Рядом на камне стояла коптилка, сделанная из квадратной бутылочки из-под одеколona «ТЭЖЭ». Коптилка вся была покрыта пылью, но в ней еще сохранилось немного керосина. Когда Илюхин поднес к ней спичку, фитилек загорелся. Груда заржавленных патронов тускло блеснула за камнем. И конечно, стены вокруг, как и всюду, были исписаны белыми и черными иероглифами. Мы все окружили светильник и смотрели на дымный язычок пламени как очарованные. И правда, было что-то чудесное, почти волшебное, полное глубокого смысла, в том, что эта самодельная партизанская лампочка, к которой никто не прикасался больше восьми месяцев, вдруг сразу же безотказно загорелась, как будто бы была все время наготове.

— А вы знаете, товарищи,— сказал после некоторого молчания Лазарев,— даже как-то не верится, что все это было, в сущности, так давно. Кажется, что все это было вчера... только что... Смотрите, а вот и наша листовка.

За грудой патронов, покрытой пылью и плесенью, валялся небольшой розовый листок. Я поднял его. Это было воззвание подпольного комитета к железнодорожникам:

«Товарищи железнодорожники!

На наших глазах гитлеровские бандиты вывозят в Германию награбленное добро из нашей отчизны.

Кровоопийцы высасывают все соки из нашего народа.

...Священный долг патриота нашей родины требует от каждого вести беспощадную борьбу с ненавистными оккупантами...»

Не все можно было разобрать в этой листовке, истлевшей от времени. Бросались в глаза строчки:

«Не мазутом, а песком засыпайте буксы, поджигайте эшелоны, цистерны с бензином, создавайте пробки на станциях, всеми способами срывайте транспорт ненавистных оккупантов...»

Десятки тысяч таких листовок распространил подпольный райком Лазарева. И советские люди, беззаветные патриоты, засыпали буксы песком, поджигали цистерны с бензином, пускали фашистские эшелоны под откос.

Да, все это было. Теперь это уже история.

Мы снова двинулись дальше, освещая стены дрожащими огоньками своих коптилок. И вдруг, не сговариваясь, под наплывом воспоминаний, партизаны все сразу запели свою подпольную песню, свой партизанский гимн. Их голоса глухо и вместе с тем торжественно звучали под низкими сводами. Цепь огоньков мелькала во мраке. И во всем этом было что-то необыкновенно волнующее, я бы даже сказал — величественное. Они шли и пели ту самую песню, которую пели под землей в то время, когда по земле, в каких-нибудь десятках метров над ними, стучали кованые сапоги захватчиков. Это были страшные дни, месяцы и годы. Это было великое испытание железом и кровью. И большевики-патриоты выдержали его со славой. Не сдали. Я запомнил их песню от слова до слова. Ее сочинил сам Лазарев. Они пели ее на мотив «Оружьем на солнце сверкая». Вот эта песня:

Пошли мы тернистой дорогой,
Далек оказался наш путь.
Наполнилось сердце тревогой,
Нет сил, невозможно вздохнуть.

И припев:

Марш вперед, друзья, в поход,
На разгром фашизма!
Нас вперед всегда ведет
Знамя социализма!

Эти слова, написанные поэтом-самоучкой, может быть, не всюду ладно и гладко, тем не менее произвели на меня громадное впечатление. Каждое слово в них, каждая мысль

были глубоко прочувствованы, правдивы, честны и благородны. Это были не стихи. Это была сама жизнь.

В сырых катакомбах глубоких,
Где воздуха мало порой,
Где много обвалов широких,
Живем мы родною семьей.

Жизнь наша — борьба роковая:
В тылу у врага остались.
В борьбе, ни на что невзирая,
Мы тяжесть нести поклялись.

Куда ни ступи — всё преграды.
Царь-голод нам череп сверлит.
Фашистской не ждем мы пощады,
И смерть за плечами стоит.

В рядах наших нет тех, что ноют.
Не тот здесь собрался народ.
Энергию, силу удвоит.
Найдем все же... Будет исход!

Пусть бесятся звери-фашисты.
Блокада их — нам наплевать.
Ставить мины они специалисты.
Их же будем мы ими взрывать.

Нам вера надежду рождает,
Нам вера и бодрость дает,
Кто верит — всегда побеждает,
Позиций своих не сдает.

Что ж делать, когда нет исхода?
На милость врагу не пойдем.
Мы все, как один, за свободу,
За счастье народа умрем.

Когда наконец мы добрались до лагеря номер один, я совершенно выбился из сил. Я был весь мокрый, хоть выжмай. Остальные чувствовали себя прекрасно. Вот что значит привычка!

VII

Лагерь представлял из себя несколько комнат, вырезанных в скале. В одной комнате помещалось отделение партизанского отряда. Здесь были каменные нары, покрытые полусгнившей соломой. Как в настоящей казарме или блиндаже, у каждого бойца было свое постоянное место. Были здесь каменный стол и каменная скамья. В каменной нише в большом порядке находилось оружие. На стене висело расписание нарядов. Ведро, самодельная круж-

ка, веник. Все честь по чести. В другой комнате находился райком. Здесь на каменных койках спали все три секретаря. Здесь решались партийные дела. Давались боевые задания отряду. На пишущей машинке печатались листовки. Дальше, в коридоре, была сделана выгребная яма, куда бросали мусор. И это было очень важно, так как в условиях спертых воздуха, отсутствия света и плохого питания отряд все время находился под угрозой возникновения эпидемических заболеваний. Была уборная. Была кухня, где на примусах готовили еду. Был продовольственный склад — большая кадка для муки и большой ящик для других продуктов. Масса бутылок из-под горючего, которое здесь ценилось на вес золота: ведь нужно было круглые сутки освещаться. Было вырезанное в скале отделение, где держали кур и откармливали поросят. Было стойло для коровы. Было несколько семейных отделений, где жили мужья с женами. И всюду в стенах ниши — с лекарствами, с письменными принадлежностями, с иголками, нитками, сапожным инструментом и сапожным товаром.

Теперь мы были окружены предметами домашнего обихода, утварью, посудой, остатками одежды, бутылками, склянками, граммофонными иголками, самодельными плакатами, книгами, брошюрами, румынскими газетами, из которых партизаны черпали многие очень важные для себя сведения, железными ящиками с пулеметными лентами.

Все это сохранилось, хотя и было засыпано пылью.

Илюхин, например, на своей койке нашел свое зимнее пальто. Сукно, правда, почти развалилось от сырости, но каракулевый воротник был еще вполне годен, и Илюхин оторвал его и взял с собой. Окруженные горящими фонарями и светильниками, мы сидели на камнях. Я рассматривал вещи, раскиданные повсюду. О каждой из этих вещей можно было бы написать роман. Вот, например, обломки лампового радиоприемника. Казалось бы, что может быть проще — сидеть под землей и слушать радиопередачу. Однако это совсем не верно. Принимать радиопередачи было не только безумно трудно, это было иногда просто подвигом. Дело в том, что радиоволны под землей не распространяются. Стало быть, каждый раз нужно было выносить приемник наружу или ставить его возле самого выхода из катакомб. Но все выходы были блокированы врагами. Приходилось постоянно отыскивать новые выходы. Прежде чем вынести приемник наверх, производилась разведка. Очень часто это было связано с серьезной боевой операцией, с разминированием выходов, с перестрелкой, с

очень сложной и опасной разведкой. Но и это не все. Нужно было установить временную антенну. Это делалось по ночам, в часы наиболее важных московских передач, под непрерывной угрозой смерти. Кроме того, румыны ставили всюду в районе хуторов специальные установки, чтобы запеленговать и обнаружить партизанскую радиостанцию. Каждый раз приходилось, так сказать, «разминировать» местность от этих радиопеленгаторов. И с опасностью для жизни подпольщики это делали. В углу я увидел кучу снятых с поверхности румынских радиопеленгаторов. Это были трофеи подпольного райкома. А вот и самодельная установка для добывания тока для радиопередатчика. Они крутили ее вручную, как папанинцы на льдине.

Вообще партизанам приходилось все время, без передышки, выполнять тяжелую физическую работу, не говоря уже о постоянных вылазках, выходах в город, диверсиях, перестрелках. На каменном столе лежали в ящике винтовочные патроны и пулеметные ленты. Из-за сырости они все время ржавели, и все время их приходилось чистить, скрести ножами, шлифовать. Это была поистине каторжная работа. Подпольщики все для себя делали сами. Сами варили обед, сами пекли хлеб, сами починяли свою одежду и обувь, сами ремонтировали радио, оружие, делали взрыватели для мин, сами печатали на пишущей машинке листовки. Они были и поварами, и сапожниками, и портными, и слесарями, и пиротехниками, и поэтами, и камениотесами, и врачами. Кажется, нет такой профессии, которой бы они не занимались в своем подполье.

А какие критические дни приходилось им переживать!

Сначала фашисты думали, что партизаны не смогут долго продержаться под землей. Фашистам казалось, что это совершенно невозможно. В своей прессе они уделяли большое внимание катакомбщикам. Какой-то горе-профессор из Бухареста даже напечатал специальную большую успокоительную статью о том, что партизаны все равно обречены под землей на неминуемую гибель без воздуха, солнечного света, витаминов и тому подобное. Он весьма «научно» обосновал свою «теорию». Но злосчастный профессор не учел одной маленькой детали. Он не учел, что в катакомбах сидят большевики, нестигаемые советские патриоты, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не сдаются. На некоторое время румынские власти успокоились, ожидая естественной гибели подпольщиков. Но подпольщики что-то все не гибли и не гибли. Фашистские эшелоны продолжали валиться под откос, листовки про-

должали тысячами распространяться среди одесского населения, каждый день на окраинах находили трупы убитых фашистских солдат и офицеров, ни один неприятельский транспорт, ни один грузовик не мог появиться на дорогах в районе Усатовых хуторов без риска быть обстрелянным или взорванным; взлетали на воздух штабы и комендатуры. Положение фашистов стало невыносимым. Тогда румынские власти решили во что бы то ни стало ликвидировать группу Лазарева. Атаковать подпольщиков в лоб было невозможно. Фашисты, правда, делали попытки ворваться в катакомбы, но это всегда кончалось неудачей. В том-то и заключается неприступность катакомб, что их нельзя захватить силой. Дело простое: в подземный коридор нельзя войти без фонаря. А как только чужой человек с фонарем появится в подземном коридоре, снайперы, засевшие в темноте, бьют без промаха по фонарю. Один снайпер может положить сотню непрошенных гостей. О том же, чтобы войти без фонарей, не может быть и речи. Через тридцать шагов заблудишься. Стало быть, и с фонарем нельзя и без фонаря нельзя. Никак нельзя.

VIII

Видя это, фашисты стали выкуривать партизан из катакомб самыми различными способами. Сначала они прибегли к грубому террору. Они привели к одному из входов в катакомбы партию пленных в сорок человек и по очереди, попарно, расстреляли их всех. Они оставили трупы лежать в течение месяца. Фашисты знали, что партизаны через свои наблюдательные щели все это видели, и рассчитывали подействовать на них психически. У партизан сердце обливалось кровью при виде горы трупов несчастных, замученных советских людей. Но это не только не устрасило их, не только не заставило поколебаться. Наоборот, они с еще большей яростью стали бороться с ненавистными захватчиками. Тогда враги применили другую тактику. Они знали, что у подпольщиков на исходе продовольствие. Они знали, что подземные большевики голодают. И вот фашисты подвезли к входу в катакомбы походную кухню. Они согнали к этой кухне все население Усатовых хуторов и стали раздавать ему еду. Толстый повар в белом колпаке наливал в миски наваристый суп, бросал жирные куски говядины, раздавал буханки свежего, золотистого хлеба. Время от времени он, потрясая

половником, обращался к скале, в которой, он знал, находятся невидимые партизаны, и кричал им:

— Партизан, сдавайся! Хочешь кушать? На тебе кушать, выходи!

Партизаны голодали уже вторую неделю. Их суточный рацион равнялся семидесяти пяти граммам сырого пшена и чайной ложечке молотого кофе. Они еле держались на ногах. Но и это не поколебало их.

Враги озверели. Они вызвали артиллерию и стали злобно, беспорядочно, а главное — совершенно бессмысленно садить снаряд за снарядом по всем щелям в скалах, которые казались им подозрительными. После этого они послали подпольщикам ультиматум. Передали они его следующим образом. Они поймали местного мальчика и велели ему снести в катакомбы партизанам письмо. Мальчик отказался. Его стали мучить, истязать. Посадили на раскаленную плиту. В бессознательном состоянии бросили его ночью вместе с письмом возле одного из входов в катакомбы. Партизаны втащили мальчика под землю. Вот он, этот вражеский ультиматум:

«Товарищи партизаны!

(Они, подлецы, так и написали — *«товарищи»*.)

Красная Армия катится на восток. Возврата Советской власти и Красной Армии нет. Доблестные, победоносные немецкая и румынская армии молниеносно продвигаются на восток. Ваша борьба беспечна. Нам известно, что вы терпите лишения, болезни, голод. Вы должны понять, что вы не повернете колеса военной истории назад. Сдавайтесь. Мы вам гарантируем жизнь в концентрационных лагерях на правах военнопленных. Срок ультиматума 24 часа. В случае непринятия нашего ультиматума мы располагаем такими средствами, что вы будете уничтожены в одно мгновение. Наш офицер будет ходить у выхода первой шахты. Он будет в белых перчатках. Вы должны выходить к этому офицеру по одному, без оружия.

Румынское военное командование».

Прочитав это нахальное и высокомерное послание, партизаны вспомнили ответ запорожцев турецкому султану. Но они были так возмущены, они так глубоко презирали оккупантов, что посчитали для себя унижительным вступать с ними в какую бы то ни было полемику, хотя бы даже самую остроумную и ядовитую. Они обсудили вопросы на заседании партийного комитета и решили ответить врагам действием. В следующую же ночь они совершили блестящую вылазку, истребив несколько десятков оккупантов и взорвав комендатуру.

Тогда фашисты перешли к планомерной осаде Усатовских катакомб. С холодной яростью, со зверской методичностью они стали заваливать, взрывать и бетонировать абсолютно все выходы из катакомб, хотя этих выходов в разных местах было несколько десятков. Они решили не оставить партизанам ни одной щели, ни одной дырочки для воздуха. В некоторых местах через катакомбы проходили стволы колодцев. Фашисты отравили эти колодцы мышьяком. Они бросали туда отравляющие вещества, заливали их нефтью, пускали газы. Отряд Лазарева оказался герметически закупоренным под землей, почти без пищи, без воды, с ничтожным запасом горючего, без притока свежего воздуха, без малейшей связи с внешним миром. Смерть казалась неизбежной. Будет съедена последняя ложка пшена, выпит последний глоток воды, выгорит последняя капля керосина... Все погрузится в вечный мрак...

А наверху — страшный 1942 год, зима, гитлеровцы на Волге... Можете себе представить, что должна была испытывать в это время горсточка советских людей, замурованная врагами под землей, в глубоком тылу, за тысячи километров от фронта?

IX

И тем не менее эти удивительные люди не потеряли присутствия духа. Они поняли, что их может спасти только одно — новый выход из катакомб. И они начали подземные поиски этого нового выхода. Сперва была послана одна партия. Она взяла с собой почти весь запас горючего и продовольствия. Один за другим люди скрылись в лабиринте. Оставшиеся потушили свет и стали ждать. Они прождали более суток. Партия не возвращалась. Положение становилось катастрофическим. Тогда на розыски первой партии решено было послать вторую партию. Вторая партия состояла всего из двух человек. В лагере остался Лазарев с двумя рядовыми партизанами. Если и вторая партия пропадет — конец. Они прождали вторую партию двенадцать часов. Наконец она вернулась ни с чем. Ни нового выхода, ни первой партии. Воды уже не было. Дышать нечем. Горючего — капля. И вот, когда уже действительно наступал конец, самый настоящий, последний конец, в коридоре забрезжил свет. Это возвращалась первая партия. Она возвращалась с победой. Она нашла новый выход. И нашла она его следующим образом.

Часа через два или три после своего ухода первая пар-

тия заметила, что горючего осталось самая малость. Они потушили все фонари. Оставили только один. Но и он поглощал слишком много керосина. Пришлось обрезать фитиль с боков, чтобы фонарь горел как можно экономнее. Шли почти ощупью, с трудом различая на стенах иероглифы. Но куда идти? В какую сторону направиться? Где может быть новый, еще неизвестный выход? Эту задачу невозможно было решить. Они шли наобум из коридора в коридор, кружась в лабиринте, сужавшемся все больше и больше. Они поняли, что если в ближайшие же часы не найдут выход, то они погибли, так как горючего в фонаре на обратный путь уже не хватит. А в катакомбах отсутствие света означает смерть. Казалось бы, что могло их спасти? Ничто! Но и тут они не сдались, не пришли в уныние. Они решили бороться до последнего вздоха. Они сели и стали думать. И вдруг счастливая мысль осенила одного из них. Они ищут выход? Прекрасно! Но что такое выход? Отверстие, ведущее на воздух. Там, где есть отверстие, должно быть и движение воздуха, сквозняк. Пусть даже самый маленький сквознячок. Важно только его поймать. Тогда они сняли с фонаря стекло и стали, затаив дыхание, следить за слабым язычком пламени. И вдруг они заметили, что пламя гнется в одну сторону. Оно гнулось еле-еле. Но этого было достаточно. Они определили направление движения воздуха. И они медленно пошли на сквознячок, руководствуясь колебанием пламени. Они прошли очень далеко, километров двадцать. И все же они достигли небольшой трещины, возле которой огонь заколебался довольно сильно. Тогда они стали рыть. Лопаты и ломы они побросали по дороге, так как у них не было сил больше тащить их с собой. Они стали рыть руками. Они обдирали себе ногти, ломали пальцы... Кровь текла по их рукам, и все же они проделали достаточное отверстие для того, чтобы вырваться наружу. К счастью, была ночь, и поблизости никого не было. Они вышли из-под земли. Они были в степи, за пятнадцать километров от Усатовых хуторов. Это была великая победа над смертью, так как новый выход означал воздух, пищу, свет, связь с миром — словом, все то, без чего отряд Лазарева не мог бы прожить и одних суток.

Я слушал этот рассказ, затаив дыхание. И по странной ассоциации идей я вспомнил «Подснежники».

— Да, я совсем забыл. Вы мне обещали разъяснить, почему один из ваших выходов называется «Подснежники».

Тень далекого воспоминания мелькнула на болезненном лице Лазарева. Глаза его мягко и золотисто засветились при пламени светильников и фонарей.

— Да, да, совершенно верно,— быстро сказал он,— это тоже связано с поисками нового выхода. Вообще, надо вам сказать, наша борьба с оккупантами в значительной мере заключалась в постоянных поисках новых лазеек. Они забивали одни выходы, а мы находили другие. Так вот однажды мы всем отрядом принуждены были искать новый выход. Мы блуждали несколько суток. Воздуха почти не было, и он был отравлен углекислым газом, фонари все время гасли. Мы теряли сознание. Вдруг мы заметили в скале щель и стали ее расчищать. Мы работали из последних сил. Наконец камень подался, и, навалившись, мы пробили окно. Сразу же мы почти ослепли от солнца. Упоительный весенний воздух, насыщенный ароматом цветущей степи, теплый, волшебный черноморский воздух ударил нам в лицо, и мы увидели залитую солнцем степь, всю усыпанную крупными лиловыми цветами, которые почему-то приняли за подснежники. Тут уж, забыв всякую осторожность, мы выскочили на вольный воздух, под солнышко, и стали валяться среди «подснежников», упиваясь воздухом, опьяняющим и душистым, как молодое вино.

— Да, бывали в нашей жизни происшествия! — сказал веселый Горбель.

Х

Потом мы сходили посмотреть колодец, который подпольщики вырыли во время блокады. Он был очень глубокий. Камень, брошенный в него, не сразу плепнулся в воду. А ведь пробивали этот колодец в камне простыми лопатами и ломом. Потом мы осмотрели естественную сводчатую залу, где партизаны упражнялись в стрельбе. Это был настоящий, недурно оборудованный тир, причем мишени были вырезаны все из того же ракушняка. Их обломки лежали в пыли, со следами пуль. Стало быть, нормальная военная жизнь не прекращалась под землей ни на одну минуту. Дневальные заступали на дневальство, подметая помещение. Часовые уходили на свои посты. Караульный начальник вел постовую ведомость. Райком занимался своими партийными делами.

— Вы и в партию здесь принимали? — спросил я.

— А как же! Несколько человек приняли. Причем судили о человеке по его партизанской работе.

Лазарев улыбнулся:

— Только с анкетой у нас в первое время вышло маленькое недоразумение. Неувязочка, так сказать. Когда мы уходили в подполье, все с собой захватили, одно только позабыли — анкеты, которые необходимо заполнять при подаче заявления о приеме в партию. Двое суток мы припоминали, какие вопросы стоят в анкете. Все-таки наконец общими усилиями припомнили. Нельзя же без этого. Всюду нужен порядок. Во всяком деле. Особенно в партийном.

— А исключать из партии приходилось?

— Нет. Исключать не приходилось. Не было ни одного случая исключения, — сказал Лазарев.

С чувством безграничного изумления смотрел я на этого маленького скромного человека, секретаря районного партийного комитета, который в самых невероятных условиях, под носом у заклятых врагов, с такой аккуратностью и точностью вел свое небольшое партийное хозяйство.

Впоследствии я познакомился с его женой, простой русской женщиной, матерью двух взрослых сыновей, находящихся в рядах Красной Армии, на войне. Она стирала белье в большой дубовой лоханке. Вот что она сказала мне про своего мужа:

— Вы знаете, я просто удивляюсь на своего Семена Федоровича. Вы подумайте только, что он вынес. А ведь в нем еле-еле душа в теле. У него слабое сердце. Он постоянно у меня болеет. У него радикулит, ишиас. Как он там не умер, у себя в катакомбах, просто непонятно. Я уж не говорю о его боевых делах, это само собой понятно. Вы только посмотрите, в каких он там лохмотьях ходил...

Она сходила в другую комнату и принесла оттуда ужасную кепку, какие-то рыжие, сплошь латаные-перелатаные штаны и насквозь просалившуюся брезентовую куртку.

— Я это все выварила в соде. Хочу сохранить на память. Вот, даст бог, дети вернутся с фронта, я им покажу. Пусть знают, что их отец тоже воевал в тылу с захватчиками, и воевал не хуже их. Пусть гордятся своим отцом.

Потом она вздохнула и прибавила:

— А все-таки мне не верится, что он столько времени провел между жизнью и смертью в катакомбах — и не только ни разу не хворал, но даже стихи стал там сочинять. Как-то окреп. Чудеса. Вот что значит вера в свое дело. Вот что значит сила духа.

И она с выражением процитировала несколько строк из стихотворения своего мужа:

— «Нам вера надежду рождает, нам вера и бодрость дает. Кто верит — всегда побеждает, позиций своих не сдает...» Не правда ли, как это верно?

Перед тем как тронуться в обратный путь, мы еще раз обошли весь подземный лагерь № 1. Охваченные воспоминаниями своего героического прошлого, такого недавнего и вместе с тем уже такого далекого, окруженные немymi свидетелями их жизни в катакомбах — самодельными кружками, светильниками, оружием, патронами, книгами, остатками листовок, лохмотьями одежды, остатками обуви, — партизаны продолжали все рассказывать и рассказывать о своей борьбе. Они вспоминали своих боевых товарищей, сожалея, что их сейчас нету с нами. Я то и дело хватался за блокнот и за карандаш, пытаюсь как можно больше записать из того, что они рассказывали. Но потом я понял, что это безнадежное дело. Об этом надо написать роман. И я дал себе слово непременно его написать.

Впрочем, хочется еще передать несколько штрихов, упомянуть о некоторых товарищах, с которыми мне повезло познакомиться позже.

Во-первых, это Анна Филипповна Горбель, сестра Леонида Филипповича. До войны она была банковским работником. Сейчас она опять работает в банке. Во время же подполья она была членом райкома, инструктором связи и начальником штаба. Это она, большая, добродушная, очень простая и очень милая, скромная женщина, осуществляла связь Лазарева с внешним миром. Она надевала на себя крестьянское платье, брала в руки корзинку с курицей или уткой и отправлялась из катакомб в Одессу, обманывая своей внешностью румынских часовых. Десятки раз она подвергала свою жизнь смертельной опасности. Она ходила на явки, приносила инструкции. Она продавала на базаре вещи, для того чтобы закупить для отряда продукты. Она лечила больных. Она ходила на диверсии. Она разрабатывала планы операций. Нужно было обладать колоссальной силой воли и верой в свое дело, чтобы работать так честно и так преданно и вместе с тем с таким мастерством. У нее не было ни одного провала.

Выдающимся партизаном был Николай Андреевич Крилевский, второй секретарь у Лазарева. Он командовал партизанским отрядом № 2 (Усатовским) и много горя причинил оккупантам.

Я уже не говорю о Васине Якове Федоровиче, сподвиж-

нике знаменитого товарища Молодцова, погибшего в фашистском застенке и получившего посмертно высокое звание Героя Советского Союза. Пока Васин был в подполье, враги расстреляли его жену и угнали дочь. Такой удар не каждый бы снес. Но Васин еще крепче сжал зубы. Он лично взорвал два вражеских воинских эшелона. Он выводил свой отряд из катакомб среди бела дня и нападал на врагов. Он бил их всюду, где только представлялась возможность. Встретиться с Васиным означало для любого оккупанта верную смерть.

XI

— Ну, товарищи, пора. А то наверху, на Большой земле, уже, наверное, ночь, — сказал Илюхин, решительно вставая с камня. — Пошли!

Проходя мимо небольшой ниши в стене, я заметил несколько растрепанных, заплесневевших книг без переплетов. Я взял одну из них. Это была книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», покрытая ржавыми пятнами капель, падавших с низкого каменного свода. Я осторожно перелистал книгу и заметил, что многие места ее были отчеркнуты карандашом и на полях сделаны заметки. Очевидно, над книгой много работали, изучали ее, штудировали. Другая была — «Тарас Бульба» Гоголя.

И вдруг в моем сознании произошел какой-то мгновенный сдвиг. Я испытал то непередаваемое, томительное и прекрасное чувство, которое иногда испытывают люди. Мне показалось, что все то, что было вокруг меня, я уже когда-то, очень давно, видел. Но когда и где — ускользало из моей памяти. Я сделал усилие и вдруг понял. Это было таинственное соединение двух очень сильных впечатлений моей ранней юности, почти детства. Одно из них было воспоминание о первом посещении пещер Киево-Печерской лавры, другое — римские катакомбы, куда вместе с отцом мы спускались при свете зажженной соломы и смоляных факелов. Причем римское впечатление преобладало. И я почувствовал, что между всеми этими тремя явлениями — между древними киевскими пещерами, римскими катакомбами и одесскими подземельями, несмотря на всю их исторически несоизмеримую разницу, есть нечто общее. Это общее было то, что во всех этих подземельях жили люди, одержимые одной какой-то высокой идеей. Жили мученики и борцы за эту идею. Жили святые, пионеры новой

веры. И я вдруг понял, что все люди и вещи, которые меня окружают,— и Лазарев, и Горбель, и Илюхин, и старик — хозяин усатовской хижины, и эти заплесневевшие книги, и эти самодельные светильники, и эта утварь, и это оружие, и эти лопаты и ломы,— все это уже достояние истории, одной из самых ее блистательных и волнующих страниц, говорящих о торжестве, о беспримерной победе духа нового, советского человека над всеми темными и мрачными силами старого мира, соединившимися в фашизме.

И, мне кажется, Лазарев как-то сразу почувствовал, уловил сердцем эту мою невысказанную мысль. Он сказал:

— А вы знаете что? Иногда, когда нам было очень трудно и очень тяжело, знаете, о чем мы начинали говорить? Мы начинали говорить о том, что после войны в наших катакомбах не мешало бы устроить нечто вроде небольшого музея. Пусть наши дети, пусть советская молодежь посмотрит, как большевистская партия боролась с оккупантами в незабвенные дни Великой Отечественной войны. И мы абсолютно твердо были уверены, что так оно и будет.

— Так оно и будет,— с уверенностью сказал я.

— Стало быть, вы первый экскурсанта нашего будущего музея,— пошутил Горбель.

И мы двинулись в обратный путь, один за другим, опираясь на свои коротенькие посошки и освещая фонарями и светильниками иероглифы и условные знаки, нарисованные на ракушняковых стенах. Вскоре мы вышли на поверхность земли через выход «Утка». Была ночь. С моря дул ледяной ветер. Звезды пылали в черном небе. Во тьме лаяли собаки. И над хаткой, где нас ждал простой крестьянский ужин, вился освещенный искрами дымок, благоухающий крепким, родным, знакомым с детства запахом кизяка.

1945

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ

Однажды в тридцатых годах я был послан редакцией «Правды» взять интервью у С. М. Буденного. Прежде мне еще ни разу не приходилось встречаться с легендарным человеком, и я не без некоторой робости переступил порог его громадного, по-военному сияющего кабинета в здании Реввоенсовета СССР. Посередине кабинета стояли козлы,

на которых я увидел новенькое кавалерийское седло с вишними стремями. Вокруг седла стояло несколько командиров, по-видимому обсуждая седло со всех точек зрения — прочности, удобства, веса и прочих походных качеств.

Я подумал, что, вероятно, обсуждается и утверждается новая модель этой необходимой принадлежности конницы и мое присутствие здесь неуместно. Однако, заметив меня, С. М. Буденный отпустил командиров и сразу же приступил к делу — видимо, он был уже заранее предупрежден по телефону о цели моего посещения.

Я сразу его узнал по очень густым, пышным, черным как уголь усам... по казачьей прическе и по ряду орденов Боевого Красного Знамени на алых шелковых розетках, горевших на его широкой груди, облаченной в просторную габардиновую гимнастерку.

Он вызвал своего помощника (а может быть, адъютанта), который принес и разложил на обширном, как поле боя, письменном столе заранее приготовленные штабные карты, помеченные разноцветными, круто изгибающимися стрелами фланговых ударов и множеством топографических значков. Это были схемы наиболее удачных боевых операций, проведенных войсками Буденного.

Воспользовавшись паузой, я поинтересовался, что это за седло, на что Буденный ответил, что обсуждается новая модель седла, предназначенного для использования при действиях кавалерии в гористой местности.

Я хотел узнать подробности, но Буденный уже взял в руку масштабную линейку и стал рассказывать мне различные эпизоды боевых действий своих подразделений, казавшихся ему достойными попасть в печать.

Я стал объяснять Семену Михайловичу, что по заданию редакции мне не нужны эпизоды тактического или стратегического значения, а нужны живые впечатления, рисующие дух и нравы того героического времени.

Однако Семен Михайлович продолжал показывать мне на картах, которые одну за другой пододвигал ему адъютант, общие схемы больших и малых выигранных сражений.

Время шло, а я все еще не мог нащупать сюжет, годный для небольшого рассказа. Мне даже показалось, что Семен Михайлович слегка сердится на меня за то, что я не очень внимательно слушаю схематические описания боевых операций.

Тогда я попытался пустить в ход юмор и вызвать у Бу-

денного улыбку, что всегда облегчало мне общение с людьми и содействовало более быстрому взаимопониманию. Однако на сей раз мой юмор не помог, и я уже с огорчением подумал, что интервью не состоялось. Сделав несколько неторопливых заметок в своем блокноте, я откланялся.

И в тот самый миг, когда я уже держался за медную ручку монументальной двери, Семен Михайлович сказал мне вслед:

— А то был еще случай, когда мне одному со своим адъютантом пришлось охранять сон целой дивизии.

Я наострил уши.

И Буденный в нескольких словах поведал мне историю, которую я в тот же день, не заезжая в редакцию, переложил в маленький рассказ под названием «Сон», появившийся в «Правде» на полосе, посвященной, кажется, двадцатилетию прославленной Конармии.

Не могу не заметить, что, рассказав мне эту историю, Семен Михайлович неуверенно, как бы извиняясь передо мной, сказал:

— Хотя вряд ли вам это пригодится, эпизод совсем пустяковый, не имеющий никакого боевого значения, так что можете в своей статье его вовсе не упоминать.

Как истинный герой, он даже не придавал значения тому, насколько великолепен был его поступок!

Позже мне говорили, что, развернув «Правду» и прочитав мой рассказ «Сон», С. М. Буденный пожал плечами и заметил:

— Я ему рассказал пустячок, а он сделал из него целое художественное произведение, да еще напечатал в газете! И то сказать, чудачки эти братья писатели.

Впрочем, утверждают, что при этих словах С. М. Буденный добродушно усмехнулся в свои черно-вороненные усы, тогда еще не тронутые сединой...

Он был человек строгий, до кончиков ногтей военный, улыбался редко, но все же улыбался.

Переделкино
1981

РЕПОРТАЖИ ИЗ БУЖИВАЛЯ

В небольшом французском городке Буживале, в четырнадцати километрах от Парижа и в шести от Версаля, в районе Сен-Клу, в торжественной обстановке наконец на-

чались работы по реставрации дома, где долгое время жил и умер великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев.

Говорю «наконец», потому что едва ли не сто лет дом этот стоял пустой и медленно разрушался. Но о нем никогда не забывали. Он был местом паломничества многих поколений русских людей, путешествующих по дальним странам. Попадая во Францию, они считали своим святым долгом поклониться последнему прибежищу великого соотечественника. Приехав впервые в Париж более сорока лет тому назад, я тоже побывал в Буживале и посетил тургеневский домик. Я нашел его заросшим деревьями и кустами, дряхлым, мертвым, пустым, с забитыми наглухо дверями и оконными ставнями.

Но уже и тогда в воздухе носилась идея его воскрешения.

Как известно, свой домик, или, вернее, дачу, Тургенев построил рядом с домом знаменитой французской певицы Полины Виардо, с которой его связывали узы любви и дружбы, продолжавшейся до самой его смерти.

До настоящего времени во всех французских путеводителях и на туристических картах жилище Тургенева носит наименование «изба». Французские друзья объяснили мне, что это название «izba», совершенно не соответствующее самому строению, выбрано только потому, что во французском языке нет слова «дача».

Каждый раз, бывая во Франции, я обязательно посещал Буживаль, кланялся «избе» Тургенева, ходил по комнатам дома Полины Виардо, по ее гостиной, где некогда находился салон, в котором можно было встретить самых лучших и знаменитых представителей не только всего интеллектуального Парижа, но и многих славных людей из других стран Европы. Вместе с Полиной Виардо в этом салоне царил Тургенев — великий не только своим талантом, но так же великий ростом, осанкой, белоснежной бородой и зоркими глазами гениального художника под густыми седыми бровями.

Было до слез жалко видеть это историческое место в таком запустении.

Но вот в результате совместных усилий советского и французского правительств, руководства министерств культуры наших двух стран, энергичной деятельности парижской Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран, энтузиазма, проявленного дву-

мя мэрами этого района — мэром Сен-Клу и мэром Буживаля, дело двинулось вперед.

Двухэтажный флигель, расположенный в живописном парке на берегу Сены, объявлен в прошлом году историческим памятником. Французские власти приняли решение восстановить его в первоначальном виде, воссоздать обстановку, где жил и работал писатель, чьи произведения широко известны во Франции. После завершения реставрационных работ здесь откроется Музей И. С. Тургенева. Часть документов и экспонатов будет предоставлена ему Министерством культуры СССР и советскими музеями.

Великий советский пианист Святослав Рихтер дал в Париже блистательный концерт, весь сбор от которого пошел на святое дело памяти Тургенева. Из СССР во Францию пришел пароход, нагруженный замечательным сибирским лесом, так необходимым для реставрации тургеневского дома.

Работа закипела.

Кстати, необходимо объяснить, почему парижская Ассоциация друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран имеет именно такое название. Тургенев и Виардо — понятно. Но кто такая Мария Малибран, нашей широкой публике, может быть, и не вполне известно.

Мария Малибран — старшая сестра Полины Виардо — была тоже в свое время певицей, не просто знаменитой, но великой. Она рано умерла, но ее слава затмила славу Полины Виардо. Мария Малибран была лучшей в мире оперной певицей. Ее портрет работы знаменитого Брюллова находится в миланском оперном театре Ла Скала, где с триумфальным успехом выступала Малибран. Знаменитый русский живописец написал портрет знаменитой французской певицы. Это тоже символично.

8 и 9 мая 1981 года в Буживале состоялся международный конгресс «Иван Тургенев и Франция». В течение двух дней длились выступления критиков, писателей, деятелей культуры, съехавшихся в Буживаль со всего мира. И это было волнующее свидетельство всемирной славы русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, а стало быть, и мирового значения русской литературы.

Затем состоялось официальное начало реставрационных работ.

Дом Виардо находится на высоком берегу Сены. Дом Тургенева — еще выше. К нему надо подниматься по земляной лестничке, прделанной в крутом склоне холма. На

площадке возле дома Виардо состоялся митинг по поводу начала реставрационных работ.

Несмотря на легкий майский дождик, собралась громадная толпа. Перед микрофоном выступили: представитель министерства культуры и информации Франции, представители местных властей, они хотели подчеркнуть важность сохранения памяти писателя, чья жизнь и творчество оставили глубокий след в развитии культурных отношений между двумя странами.

Выступил наш посол во Франции Степан Васильевич Червоненко. Его речь была ярким отражением благородной идеи русско-французской дружбы и была выслушана с огромным вниманием.

Вспыхивали блицы целой армии фотографов и кинооператоров. Репортеры записывали выступления в свои блокноты. Детишки Буживаля и Сен-Клу одарили гостей прекрасными весенними цветами Франции — розами, пионами, сиренью.

А потом все поднялись по земляным ступеням к дому Тургенева, и советский посол положил первую балку русского леса на фундамент ремонтируемого дома.

По шаткой лесенке я поднялся на второй этаж и очутился в сырой, пустой, гулкой комнате, из которой на балкон выходило открытое французское окно-дверь, откуда веяло ароматом цветущих под дождем деревьев.

В этой комнате умер Тургенев.

Сейчас она пуста, не отремонтирована и кажется как бы впервые открывшей глаза после векового сна.

Здесь стояла кровать умирающего Тургенева с пологом в изголовье и с кушеткой в ногах. Умирающий Тургенев смотрел в открытую балконную дверь и видел внизу среди деревьев дом Полины Виардо, которую любил всю свою жизнь. Но думал он о родной ему России, где согласно его желанию и был похоронен — в Петербурге, на Волковом кладбище...

...Возле дома растет гигантский столетний каштан вышиною этажей в десять. Его необъятная крона как бы сплошь уставлена восковыми елочками нежных цветов. Великан цветет. Может быть, в своей молодости он видел другого великана — Ивана Тургенева, спускающегося по земляной лестничке вниз, к дому Полины Виардо, в ее салон, где, может быть, его ждали композиторы Гуно, Бизе и друзья — Гюстав Флобер, Эмиль Золя, Эдмон Гонкур, молодой Мопассан — его верный друг и ученик. А еще ниже, у лодочной станции, расставили свои мольберты Ренуар,

Моне и другие, ныне знаменитые на весь мир импрессионисты, набрасывающие на свои полотна и картоны удивительные цвета зеленых берегов и неуловимые переливы Сены, делающей здесь небольшую излучину, возле лодочной станции, прославленной Мопассаном...

Передо мной новая афиша Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран.

Как быстро летит время!

Совсем недавно, чуть больше года назад, такая же традиционная афиша извещала о торжественном начале работ по реставрации в Буживале тургеневского домика. Первую балку в фундамент вложил посол Советского Союза во Франции. Цвели каштаны. Шел теплый весенний дождик, принесенный ветром откуда-то с Ла-Манша.

3 сентября 1983 года исполняется 100 лет со дня смерти Тургенева. Он умер здесь, во Франции, вдалеке от родины, в Буживале, в своем домике, который выстроил на усадьбе своего друга Полины Виардо.

Домик Тургенева, называемый французами не иначе, как избой, стал его последним земным прибежищем.

Тело умершего писателя было отправлено из Буживале в свинцовом гробу на родину и похоронено в Петербурге при громадном стечении народа, пришедшего отдать последний долг великому писателю.

Домик в Буживале осиротел. В нем уже не слышались шаги Тургенева, не звучал его голос. С течением времени домик стал медленно разрушаться.

Полина Виардо, на много лет пережившая своего великого русского друга, окончила свои дни уже не в Буживале, а в Париже, где у нее была квартира на бульваре Сен-Жермен в многоэтажном доме недалеко от палаты депутатов, с видом на Сену, на знаменитый мост, ведущий на площадь Согласия.

После ее смерти из имения в Буживале как бы отлетела душа.

Каменная стена, некогда окружавшая поместье Виардо вместе с «избой» Тургенева, обрушилась; обвалились въездные ворота, от которых сохранилась до наших дней лишь доска с надписью, что здесь жил и умер Тургенев.

Доска теперь прибита к одному из деревьев того времени.

Усадьба Полины Виардо и домик Тургенева ныне стали местом паломничества, и в книге посетителей на круглом

столе в одном из салонов дома Виардо можно прочесть множество французских и русских фамилий, принадлежащих известным и неизвестным почитателям Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран.

Над миром проносились бури войн и революций. Часть Европы лежала в развалинах. Но судьба сохранила Буживаль. Два дома — один Полины Виардо и другой Ивана Тургенева — продолжали существовать, постепенно разрушаемые неумолимым временем.

Это медленное, почти незаметное для глаз разрушение продолжалось до тех пор, пока однажды не образовалась так называемая Ассоциация друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран. Эта общественная русско-французская организация, состоящая из энтузиастов, ученых и просто обыкновенных людей, влюбленных в искусство, постепенно взяла в свои руки дело сохранения и реставрации мировой культурной ценности: двух буживальских домов, выстроенных рядом и как бы символизирующих духовное общение русского и французского гениев искусства.

Уже в наше время в течение последних нескольких лет ведутся реставрационные работы при известной помощи двух мэров Буживаля и Сен-Клу, которые не могут не гордиться, что на территориях мэрий имеется столь великая ценность.

Вообще же вся деятельность Общества друзей Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран, а также все реставрационные работы ведутся под патронажем министерства культуры Франции, Академии Гонкуров, к которой принадлежит автор этих строк, и Обществом друзей Флорабера, Золя, Доде и Мопассана, связанных с Тургеньевыми узами дружбы, общности эстетических воззрений, а Мопассан даже провозгласил себя учеником Тургенева. Большую роль в благородном деле охраны буживальского имения играет Министерство культуры СССР, помогающее материальными средствами и экспонатами приведению в порядок дома Тургенева и превращению его в музей.

Время от времени — как я уже писал — в Буживале устраиваются экспозиции, литературные чтения, демонстрации художественных фильмов на сюжеты Тургенева, а также выставки, привлекающие в Буживаль с каждым годом все больше и больше любителей литературы и туристов.

Некогда глухая и забытая усадьба в Буживале стала одним из самых замечательных культурных центров Фран-

ции, так как с именами русского писателя и двух великих французских певиц связана целая плеяда знаменитых французских художников, композиторов, как, например, Гуно и Бизе, философов.

Все чаще на стенах и афишных тумбах Парижа появляются все новые и новые афиши, извещающие о мероприятиях по восстановлению и реставрации знаменитой усадьбы.

Совсем недавно появилась афиша, извещающая, что в Буживале состоится экспозиция, где среди других экспонатов можно будет увидеть материалы, относящиеся к пяти французским друзьям Тургенева — Флоберу, Э. Гонкуру, Золя, Доде, Мопассану.

Несмотря на скверную погоду с ветром, несущим со стороны Ла-Манша мелкий дождик и туман, публики собралось очень много. Люди приехали сюда на автобусах и собственных машинах из Парижа и других городов Франции.

Традиционная красная афиша с портретом Тургенева и видом тургеневской «избы» обещала участие большой группы известных французских писателей и одного русского, которые будут продавать свои книги с автографами. Вся выручка от этой продажи пойдет в фонд ассоциации.

В руках у писателей были автоматические ручки, фломастеры и простые карандаши, приготовленные для автографов. Много посетителей, уже успевших обойти залы с экспонатами, толпились перед столами, с любопытством разглядывая «живых писателей» и перелистывая книги.

Торговля шла бойко, и руки писателей устали от непрерывной работы по выведению на титульных листах купленных книг собственных фамилий.

А вокруг в стеклянных стеллажах и на стенах были размещены материалы о Тургеневе: журнальные статьи, письма, заметки, рисунки — подлинные или в фотокопиях. Среди них особое внимание привлекала небольшая, в старом потертом переплете книжка Эдмона Гонкура «La Filles Elisa» с дарственной надписью от Гонкура Тургеневу.

Это одна из реликвий, свидетельствующая о дружбе знаменитых писателей — русского и французского.

Но, несмотря на множество интересных экспонатов, центром всеобщего внимания стал большой портрет Тургенева, только что присланный из СССР на самолете Аэрофлота.

По условиям французской таможни портрет этот мог находиться в Буживале всего лишь одни сутки и должен

был быть обратным рейсом отправлен назад в Советский Союз.

Но даже однодневное пребывание портрета произвело сенсацию. Было нечто символическое в том, что образ великого русского писателя явился по воздуху, за несколько тысяч километров прилетел в Буживаль как бы для того, чтобы еще раз взглянуть на те прелестные места, где он столько лет прожил и где ему суждено было умереть рядом с женщиной, француженкой, которую он любил всю жизнь, взглянуть на столетний каштан с пожелтевшей листвой и на вековую плакучую иву, свесившую свои длинные, еще зеленые ветви в воду Сены, подернутую синеватой рябью ранней осени.

Это был знаменитый, считающийся лучшим прижизненным, портрет Тургенева работы славного художника Харламова из Русского музея в Ленинграде, написанный в 1873 году, за десять лет до смерти писателя.

Я думаю, что по свежести красок, по глубине содержания и по сходству с оригиналом это лучший портрет Тургенева.

Освещенное со всех сторон прожекторами телевизионщиков и блицами фоторепортеров, полотно открывало взорам могучую фигуру с копной седых волос и пророчески-задумчивым взглядом и являлось как бы душой всей выставки.

Все взоры были прикованы к волшебному произведению живописи, к задумчивому взгляду изображенного на нем человека.

Здесь мне хочется привести небольшой отрывок из книги Афанасия Фета «Мои воспоминания», проливающий новый свет на отношения Тургенева и Полины Виардо, где личность знаменитой французской певицы приобретает новые краски и делает более понятными ее отношения с Тургеньевым.

Вот что пишет Фет:

«Меломаном я никогда не был, но иногда самая простая и задушевная мелодия в состоянии подействовать на меня потрясающим образом. Доказательством того и другого мог бы послужить концерт мадам Виардо, прослушанный мною в Париже...

Прочитав объявление о концерте, в котором, кроме квартета, было несколько номеров пения мадам Виардо, мы с сестрою отправились в концерт...

Во все время пения Виардо Тургенев, сидевший на передней скамье, склонился лицом на ладони с переплетен-

ными пальцами. Виардо пела какие-то английские молитвы и вообще пьесы, мало на меня действующие как на немусыканта. Афиши у меня на руках не было, и я проскучал за непонятными квартетами и непонятным пением, которыми видимо упивался Тургенев.

Но вдруг совершенно для меня неожиданно мадам Виардо подошла к роялю и с безукоризненно чистым выговором запела «Соловей, мой соловей».

Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это неожиданное мастерское русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки.

Тургенев, в совершенстве владевший французским языком, и Виардо, в совершенстве владевшая русским, — не пример ли это русско-французской дружбы, которой в конечном итоге и посвящена вся благородная деятельность Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран, превращающая Буживаль в очаг русско-французской дружбы.

1981—1982

ПЕРЕДЕЛКИНО

Немецкий язык подарил миру прекрасное слово «ландшафт». Оно стоит где-то в одном ряду со словами «пейзаж», «вид», может быть, даже «панорама». Но оно гораздо шире, объемнее, так как оно как бы включает в себя, кроме мертвой природы, животный мир во главе с самим человеком, являющимся частью ландшафта, — вместе со своими домами, дорогами, мостами, садами и цветниками.

Трудно себе представить старинный ландшафт без мельницы и пруда, где плавают лебеди — белые и черные, а по дороге тянется телега, запряженная волами.

Я крепко сплю. Но едва я открою глаза, подойду к окну, отодвину штору и посмотрю в окно, как сразу делаюсь как бы неотъемлемой частью ландшафта, представшего перед моими глазами.

Я глубокий старик. За всю свою долгую жизнь я становился частью самых разнообразных ландшафтов. Особенно запал в мою душу ландшафт моего детства.

Берег Черного моря. По синим волнам бежит двухтрубный колесный пароход «Тургенев». Я стою на песчаной отмели. В длинных волнах прибоя — раздробленное отражение маяка. Волны несут к моим босым ногам ракушки, морских коньков, винные пробки и обесцвеченные кружочки лимона. А за спиной, в новороссийской степи, где некогда кочевали скифы, в сухие степные травы садится красное пыльное солнце.

И с визгом летают чайки, вылавливая из воды маленьких крабов и не имеющую имени рыбешку. А рядом развешаны рыбацьи сети.

Потом в моей жизни был еще ландшафт — военный.

Первая мировая война. Ее ландшафт тоже запомнился. Я его вижу. Я даже еще до сих пор в нем живу.

Литовское или Белорусское Полесье. Широкое шоссе, обсаженное столетними березами с почерневшими от времени стволами и сетью серых ветвей. Некогда по этому шоссе в легоньких саночках, в собольей шапке, окруженный конвоем своих лейб-гусаров, бежал из пылающей Москвы Наполеон, еще так недавно считавший себя владыкой полумира.

Теперь по этому шоссе тянулись военные обозы, санитарные повозки, походная кухня с дымящейся трубой. На горизонте — остатки разбитого снарядами костела, производившего впечатление рыбьей косточки. На рысях проезжали конные батареи, вокруг синели густые хвойные леса, а в небе плыл двурогий месяц — равнодушный ко всей этой земной красоте, так омерзительно загаженной сражающимися армиями.

И живу я до сих пор еще в одном военном ландшафте — второй мировой войны, Великой Отечественной.

Вижу ржаное поле в Орловской области, которое не успели сжать, и оно теперь все в черных пятнах военных ожогов.

Посередине обугленных колосьев и голубых цветов цинкория торчал подбитый танк, из люка которого высовывалась нога убитого танкиста в грубом полуобгоревшем башмаке.

Кое-где кудрявились поросли дубняка, которым не было никакого дела до войны, совершавшейся вокруг.

Ржаное поле и поросли дубняка в зареве заходящего солнца были так прекрасны, что на какой-то миг я перестал смотреть в безоблачное предвечернее небо, по которому с зловещим рокотом плыли десятки тяжелых бомбардировщиков, создавая впечатление, что движется все небо. Как противоестественна война!

О, как ужасны были ее ландшафты! Я никогда их не забуду, даже тогда, когда через десятки мирных лет, седой и старый, очнувшись после мучительных сновидений полубессонной ночи, в дряхлом халате, в поношенных теплых туфлях, еще не успев принять душ и побриться, подхожу к окну и отодвигаю занавеску.

Она отодвигается как театральный занавес, и передо мной открывается как хорошо знакомая декорация часть ландшафта, в котором мне по-видимому суждено прожить остаток жизни.

Квадратная часть ландшафта в раме окна представляет из себя нечто до такой степени сроднившееся со мной, что я даже не замечаю его подробностей.

Кстати, о подробностях.

Если бы я был живописцем, то вопрос подробностей не представлял бы для меня особого труда, так как в мою задачу входило бы всего лишь изобразить эти подробности во всей их неподвижности — и конец делу!

Художник-живописец превращает движущееся в неподвижное.

Живопись — сестра схоластики. Но я не живописец, не схоласт. Я нечто вроде поэта, то есть хотя и не вполне развитое, но все же родное дитя диалектики. Я воспринимаю окружающий меня мир в постоянном движении. Ландшафт для меня нечто вечно изменяющееся. Предметы, которые я вижу, несут на себе отпечаток Времени, а, как известно, Время есть субстанция движения. Или наоборот — движение есть субстанция Времени.

Но пусть этим занимаются философы.

Та часть ландшафта, в котором мне суждено оканчивать жизнь и который я наблюдаю утром, заключенная в раме окна, не является неподвижным изображением, написанным на хорошо загрунтованном холсте или доске каким-нибудь гениальным художником голландской школы, а скорее движущаяся цветная панорама, созданная вследствие соприкосновения окружающей среды с моим глазом.

Впрочем, это только моя догадка.

Я подозреваю, что Гете в своем учении о цвете не был прав, думая, что явление цвета заключено в глазу человека. Цвет — явление объективное.

Итак, я смотрю в окно и вижу длинные, высокие стволы старых сосен, лапы елей, дачный штaketник и за ними дорогу, по которой в данный момент движутся цветные фигуры лыжников. На кирпичных столбах противоположного забора — белые шапки снега. Значит, это зимний ландшафт. Но время течет, и вот зимний пейзаж превращается в весенний, а потом и в летний, когда на дороге вместо разноцветных лыжников я вижу прогуливающих дачников, бегающих детей и собак.

Но это всего лишь частности. А целое?

Целое может создать лишь моя фантазия, подкрепленная памятью и некоторым знанием истории, потому что та часть русской земли, где я сейчас живу, есть место не только живописное, но также и историческое.

Исторический ландшафт.

Если на миг отказаться от изображения движущейся панорамы и превратиться в художника-пейзажиста, выбравшего для своего пейзажа наиболее удобное место и время года, то я бы выбрал ту воображаемую точку, откуда наиболее отчетливо видны все типичные элементы «моего ландшафта»: Средней России в восемнадцати километрах к юго-западу от Москвы рядом с железнодорожным полотном, по которому проходят электрички и товарные поезда в сторону Киева и Одессы, а также к границам Румынии и Венгрии, что незримо связывает меня с Европой.

Железнодорожное полотно в одном месте прорезает небольшой холм, так что издали, когда проходит поезд, видны только крыши вагонов. Прогуливаясь, я часто здесь останавливаюсь и смотрю на далекую полосу хвойного леса, из которого выглядывают маленькие золотые купола древней церкви, являющейся центром ландшафта. Иногда мне кажется, что именно здесь началось то, что у нас принято называть Русью. Хотя это и неверно, потому что Русь пошла от Киева. Но «моя Русь», несомненно, началась здесь, в подмосковном лесу, в том месте, где некогда разыгрывались трагические события борьбы маленьких удельных князьков против центральной государственной власти великого князя, «царя всея Руси».

Сейчас это место называется Переделкино.

Несколько столетий назад здесь была вотчина князей Колычевых, и, вероятно, название Переделкино обозначало, что именно здесь проходил «передел» — граница между владениями Колычевых и землями русских князей, обладающих центральной властью. Но где кончались владения Колычевых и начинались владения московских великих князей, я не знаю.

Сейчас это единый русский ландшафт во всей своей неповторимой красоте и своеобразии.

О кровавой расправе между царской властью и оппозицией Колычевых напоминает только церковь, сохранившаяся со времен Иоанна Грозного, и возле нее древние могилы и небольшой обелиск с именами шестнадцати Колычевых, казненных Иваном Грозным, и среди них несколько бояр высокого звания, воевод, князей церкви и даже одного патриарха.

Теперь о том времени с казнями и пытками, с опричной, безжалостно истреблявшей боярскую оппозицию, напоминает лишь колокольный звон, ежедневно около пяти или шести часов вечера зовущий к вечерне.

Странно и горько слушать этот древний звон, заглушаемый рокотом самолетов Аэрофлота, возвращающихся на аэродром, как пчелы в свой улей, стараясь приземлиться еще засветло.

Теперь эта древняя церковь считается летней патриаршей резиденцией, но так ли это на самом деле — не знаю.

Во всяком случае, в пасхальную ночь вокруг церкви мерцает россыпь огоньков, и по направлению к церкви со всех сторон по дорожкам и тропинкам тянутся фигурки старушек, несущих в белых узелках святить свои скромные куличи, украшенные бумажной розой, и несколько крашеных яиц — лиловых, желтых, зеленых и золотисто-луковых.

Может быть, изобразить это шествие старух было бы по плечу Брейгелю; я за это не берусь.

Громадный современный корпус, освещенный вечерней зарей. Это дом-интернат для престарелых, доживающих свой век в удобных комнатах, под врачебным присмотром. Здесь же в дни избирательных кампаний в Верховный Совет устраивается избирательный участок с кабинками для тайного голосования. В этот день фасад дома престарелых украшается красными флагами и кумачовыми лентами с лозунгами.

Обитатели дома, празднично одетые старики и старухи в больничных туфлях, проголосовав сами, присутствуют при церемонии голосования, что приобщает их к политической жизни страны, и они не чувствуют себя лишними людьми.

Возле церкви сельское кладбище, знаменитое тем, что здесь похоронен Борис Пастернак. Кладбище расположено на склоне холма, спускающегося к небольшой речке под названием Сетунь. Собственно, это даже не речка, а скорее неглубокий ручей, поросший черемухой.

Пейзаж в духе Коро.

Но некогда Сетунь была большой полноводной рекой, по которой в старину плыли под парусами торговые суда, перевозившие лен, пеньку, пшеницу, деготь, мед и другие товары того времени.

Возле кладбища через Сетунь проложен мост, по которому теперь мчатся автобусы и автомобили.

По другую сторону простирается на косогоре колхозное поле, чаще всего засеваемое кукурузой, и осенью шоссе, прилегающее к полю, бывает покрыто кукурузной ботвой и остатками молочных початков, лакомством местных мальчишек.

На краю поля — несколько столетних берез неслыханной красоты. В одну из этих берез некогда ударила молния, и на фоне других деревьев зловеще торчит черный обломок некогда прекрасного растения.

До революции это все принадлежало помещику Самарину, известному славянофилу и другу современных ему литераторов. Теперь в помещицьем доме с традиционными белыми колоннами помещается детский санаторий, а лет сто или полтораста тому назад у Самарина гостили знаменитые люди того времени, в том числе Герцен и даже, как утверждают, Гоголь.

Самаринский дом построен на берегу пруда, до сих пор отражающего столетние плакучие ивы и белые среднерусские облака.

А вокруг хвойные и лиственные леса, придающие местности характер несколько дикий, дремучий, даже доисторический.

Сейчас здесь разросся писательский городок, носящий название Переделкино. Небольшие дачки, расположенные вдоль нескольких лесных просек, виднеются в зарослях лип, берез, сосен, елей, дикого орешника и канадских кленов, багрово-красных каждую осень, соперничая с красками бузины и рябины.

Дача, в которой жил Пастернак, смотрит своими террасами на колхозное поле, на Сетунь и на кладбище, которое поэт видел, когда писал свои последние стихи:

«и вы прошли сквозь мелкий, нищенский, нагой, трепещущий ольшаник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник...»

Мой ландшафт был бы не вполне готов, если бы еще не прибавил сюда морозную новогоднюю ночь и маленькую невероятно яркую луну, заливающую покрытые снегом леса, и холмы, и лиловое поле своим магическим светом.

Переделкино

1984

КОРОЛЕНКО

1

Я встретился с Короленко в июне 1919 года в Полтаве. Это было как раз в самый разгар гражданской войны. Деникинская армия только что перешла в серьезное наступление и на всем фронте теснила наши части от станции Лозовой по трем направлениям: на Харьков, на Екатеринослав и на Полтаву. В силу создавшейся военной обстановки, Полтаве суждено было стать важнейшей тыловой базой, сосредоточившей в себе все продовольственное, административное и военное управление Левобережной Украины. Несмотря на героическую и самоотверженную работу ответственных товарищей, наше положение было ужасным. Ежедневно в тылу вспыхивали кулацкие восстания. Дезертиры — сотнями и тысячами, обпяжая фронт, уходили в леса и глухие села. Рос бандитизм. Контрреволюционное подполье развило бешеную работу, и собрания деникинской контрразведки происходили чуть ли не в центре города (в монастыре). В эту жестокую, суровую и бурную пору судьба и забросила меня, больного и контуженого, в Полтаву.

2

Несмотря на множество событий громадной государственной важности, несмотря на голод, разруху и войну, несмотря на все тяжести жизни, имя Владимира Галактионовича Короленко было на устах у всех жителей Полтавы. О Короленко говорили всюду. На улицах и в садах, в театрах и кинематографах, на митингах и собраниях.

Короленко был полным выразителем идеологии той интеллигенции, которая хоть и отстала значительно от социа-

листической революции, но зато и не дошла до такого безнадёжного, реакционного упадка, выразителем которого являлся другой большой писатель — Иван Бунин, застрелявший в Одессе по дороге из Москвы в Париж.

3

Через несколько дней после приезда в Полтаву я пошел к Короленко. Он жил в собственном домике на тихой, тенистой, провинциальной улице, поросшей травой и кустиками. Три ступеньки. Звонок. Высокая дверь тихо отворяется. На пороге — седая, темная, прямая женщина. В руках у нее коробка табаку. Она крутит сухими, пергаментными пальцами папиросу. Жена Короленко.

— Владимира Галактионовича можно видеть?

— А вы по какому делу? Просить за кого-нибудь? Владимир Галактионович только что вернулся из трибунала. Простите. Он очень устал.

— Я не по делу. Проездом через Полтаву хотел бы познакомиться Владимира Галактионовича. Но если ему трудно...

Жена Короленко внимательно всматривается в меня.

— Простите, как ваша фамилия?

Я называю. Она говорит «пождидите» и уходит. Через минуту она возвращается.

— Пожалуйста, войдите, Владимир Галактионович просит вас.

Я вхожу в стеклянную, провинциальную галерею. Книжные полки. Много переплетенных книг. На корешках «В. К.». Журналы, газеты. На полу — детские игрушки: повозочка, лошадка и мяч; вероятно, внучат Владимира Галактионовича.

Сейчас должен выйти Владимир Галактионович. Я стараюсь себе представить, каким он должен быть. На фотографии у него черные пышные волосы, небольшие блестящие глаза, круглая борода и опрятный пиджак. Типичный русский интеллигент-писатель.

В глубине комнат слышатся частые, старческие шаги, и на пороге террасы появляется седоватый старичок, в вышитой рубахе, похожий на Толстого. Он протягивает мне руку и смотрит прямо в глаза своими живыми, блестящими, как черная смородина, глазами.

— Простите,— говорит он.— Я думал, что опять проситель. Очень вам благодарен, что зашли. Заходите, заходите.

Я приготовил целое приветственное слово, но, конечно, спутался и смутился. Владимир Галактионович заметил это и взял меня за руку, подталкивая в комнаты.

— Ну, что пишете? — спросил он, серьезно поглядывая на меня.

Этим вопросом я был совершенно озадачен. Я никак не полагал, чтобы Владимир Галактионович знал что-нибудь обо мне, а тем более читал что-нибудь из напечатанного мною. Свое изумление откровенно высказал Короленко. Тогда он, с непередаваемой нежностью и задушевностью, перечислил три-четыре моих рассказа, причем очень точно указал название изданий, где они были напечатаны, и даже год.

Через три минуты мы сидели с Владимиром Галактионовичем за чайным столом и оживленно беседовали обо всем, что в данный момент волновало его, и меня, и всю республику. Наша беседа продолжалась не более часа, но за этот небольшой промежуток времени я мог составить самое подробное представление о теперешней жизни и интересах Короленко.

Я узнал, что Владимиру Галактионовичу приходится почти каждый день выступать в Ревтрибунале, защищая самых разнообразных людей. Дело в том, что когда узнали, каким авторитетом пользуется имя Короленко в «административных сферах», его стали осаждать просьбами выступить в качестве защитника по тому или другому серьезному делу в трибунале. И Короленко не имел силы никому из просителей отказать.

— Ну, посудите сами, — говорил мне Владимир Галактионович, касаясь моего плеча морщинистой, слабой рукой. — Ну, посудите, могу ли я отказаться от защиты, если от этого, может быть, зависит жизнь человека? Не могу, не могу.

И тут я почувствовал, что независимо от политических воззрений человека, которого он спасал, независимо от того, хорош он или плох, Короленко был прежде и больше всего величайший гуманист, для которого каждая человеческая жизнь такая величайшая ценность, равной которой нет на земле. И в этом же явный перевес Короленко-беллетриста над Короленко-публицистом.

Я узнал, что Короленко помогает из своих последних средств больным и раненым красноармейцам. Во время нашего разговора два раза Владимира Галактионовича вызывала жена в соседнюю комнату, чтобы сказать, что пришел какой-то голодный, оборванный красноармеец. Короленко

сейчас же заволновался, стал рыться в кошельке и послал этому красноармейцу все деньги, бывшие при нем, и еще пару своего белья.

Словом, всегда и во всем Короленко был прежде всего мягким, добрым человеком и беллетристом, а потом уже политическим деятелем.

4

Потом мне пришлось быть у Короленко несколько раз. И особенно запомнилась мне наша последняя с ним встреча. Это было накануне моего отъезда из Полтавы в Одесу. Я зашел попрощаться и взять письма. В этот день Короленко был очень слаб и плохо себя чувствовал. В разговоре мы не касались современности, и Владимир Галактионович с особенным удовольствием и жаром говорил о прошлом. Разговор зашел о Чехове. Тут Короленко разволновался совсем. Он вставал из-за стола, ходил по комнате и все говорил о том, что никак не может понять и оправдать того, что Чехов работал у Суворина.

— Удивляюсь, как мог такой человек, как Чехов, писать у Суворина? Такой деликатный, мягкий, передовой человек? Для меня это тайна.

Короленко потом вспоминал, весело поблескивая глазами, как Чехов сманивал его уехать на Волгу и написать вместе четырехактную комедию; как в молодые, счастливые годы, с юношеским задором, Чехов восклицал, вертя в руках пепельницу: «Что, нету тем? А хотите, Короленко, я вам сейчас напишу рассказ про эту пепельницу!»

И мне было странно видеть этого большого писателя, который среди суровой, жестокой и великой действительности живет весь прошлыми интересами и волнениями.

В это время в Одессе печатался очередной, не помню который, том «Записок моего современника». Я поинтересовался, работает ли Владимир Галактионович сейчас над этим трудом.

— О да,— ответил Короленко,— ведь только сейчас я понял, что, в сущности, я совсем не беллетрист. Я публицист. Самый настоящий. А раньше я все никак этого не мог понять. Оттого,— прибавил Владимир Галактионович грустно,— у меня и беллетристика и публицистика выходили как-то неладно. Но теперь-то я уже знаю почему.

Прощаясь со мной, Короленко сказал:

— Знаете, в чем сила писателя? Вот видите ли, я как-то был в киргизских степях на каких-то землемерных работах. Ну, вот — юрты, навоз, снег тает, солнце, всюду грязь — ужасно противно. А посмотрите на это в зеркало камеры-обскуры: красота! Тот же навоз, та же грязь, но — красота. Так и писатель. Писатель прежде всего должен *отражать*. Но отражать так, чтобы выходило прекрасно.

Я улыбнулся.

— Вот вы улыбаетесь. А впрочем, может быть, я говорю и не то, что надо. Вы кого любите из современных писателей?

— Белого, Бунина.

— Бунина? — спросил задумчиво Владимир Галактионович. — Да, «Господин из Сан-Франциско» — прекрасный рассказ. Учитесь у Бунина, он хороший писатель.

Это была моя последняя встреча с Короленко.

1922

АЛЬБЕР МАРКЕ

Весь октябрь стояла ангельская погода: солнечная, сонная, мягкая. Лайковые перчатки листьев валялись под каштанами на бульварах. Мелкий дождик начался неожиданно в девятом часу утра. Он окутал Париж теплым, пепельным облаком. Париж стал еще прекрасней.

В одиннадцать часов мы отыскивали новую квартиру Марке. Знаменитый пейзажист остался верен себе. Как и следовало ожидать, это был район Нового моста.

Над Сеной, за грубыми баржами, в синеватом, как бы мыльном, воздухе, слабо виднелись два куба Нотр-Дам.

Он вышел к нам, маленький, очень аккуратный, в сером элегантном костюме, с серой жемчужиной в скромном галстуке, и сдержанным движением короткой ручки пригласил войти в комнаты.

С макинтошами и шляпами в руках мы последовали за Марке в гостиную.

— Вот все, что я могу предложить вашему вниманию, — сказал он, показывая на свои работы, расставленные всюду, где только можно было их поставить, — на подоконниках, стульях, диванах, сервантах.

Вся новая квартира представляла собой наскоро сымпровизированную выставку замечательных пейзажей. Количество их свидетельствовало о громадной работоспособности мастера; качество — о гениальности.

В московском музее новой западной живописи есть несколько отличных работ Марке. Я давно восхищался его тончайшим мастерством, в котором совершенное чувство природы непостижимым образом соединялось с грубоватым лаконизмом настоящего реалиста большого стиля.

Друг Матисса, современник Пикассо и Дерена, звезда первой величины в блестящей плеяде французских живописцев конца XIX и начала XX века, Альбер Марке сохранил, как никто, свою творческую индивидуальность. Время и мода не повлияли на развитие его громадного таланта. Между ним и миром не было других посредников, кроме его исключительного глаза и нежного сердца несколько старомодного лирического поэта. Но это было сердце настоящего поэта, который видит и любит мир по-своему.

Я рассматривал его работы, удивляясь и восхищаясь точности его кисти и скупости красок.

Ведь это он научил художников передавать воду белилами. Ведь это он с необычайной смелостью ввел употребление натурального черного цвета в то время, когда Париж, а за ним и весь мир сходил с ума от изощренной техники импрессионистов, разлагавших основной цвет на тысячи составных частей. Ведь это он наглядно показал, что цвет — это эпитет, который может с предельной, лапидарной, почти научной точностью определить качество предмета — будь то чугунная ограда Сены, буксирный пароход или куст боярышника на сельской меже.

Дождь начался в девятом часу утра, а уже в одиннадцать на бархатном стуле в гостиной Марке стоял почти законченный этюд маслом — вид из окна на Новый мост в дожде: жемчужный воздух Парижа, клеенчатый блеск зонтиков, макинтошей, лимузинов и столбы блестящих отражений в накатанном асфальте моста.

И на полу — скромная палитра.

У Марке нет мастерской. Он работает в гостиной. Кресло — его мольберт. Париж — его модель. Он работает не покладая рук.

Его папки, его путевые альбомы — это неиссякаемые сокровищницы экзотических новелл.

Марокко, Египет, Судан...

Он показал нам свою квартиру. Она еще не отделана. В ванной проводят водопровод. Стены ванной выложены

плитками замечательной керамики. Это копии почти всех путевых рисунков Марке в красках. Художник сам их сделал. Потом отдал плитки на завод обжечь. Теперь его ванная — это своеобразная картинная галерея.

Усатый водопроводчик в каскетке, копавшийся в углу пад обмазанными суриком трубами, поднял на нас улыбающееся лицо и сказал с оттенком гордости:

— Хе! Вы видите? — Он показал на стены. — Теперь я могу не ходить на колониальную выставку. Я уже все видел. Мосье Марке нарисовал все.

Марке очень интересовался советской живописью. Особенно работами наших театральных художников. Он расспрашивал о новых постановках: из какого материала делаются у нас декорации и т. п.

— А вы, господин Марке, — сказал я, — не пробовали свои силы в театре?

— Нет.

— Но почему же?

Он скромно вздохнул, несколько смущенно потирая свои маленькие ручки.

— Но ведь меня никогда не приглашал Дягилев.

Увы, в Париже только один человек мог дать работу Марке в театре... Дягилев!

Я улыбнулся.

(Мейерхольд! Станиславский! Таиров! Вахтанговцы!)

— Вам надо приехать к нам, в Москву, мосье Марке.

— Я приеду.

Я посчитал это обычной, ни к чему не обязывающей любезностью.

Мы простились.

Из своего окна вижу Москва-реку, нежные флаги яхт-клубов, Бабьегородскую плотину, гребцов, купальщиков, мост, жемчужно-синие контуры Парка культуры и отдыха с башней, парашютами и дирижаблем. Летит гидроплан. Белилами блестит вода. Бежит черный речной трамвай. И вдалеке туманная сетка шаболовской радиостанции, похожая на Эйфелеву башню...

Весь этот живописный мир я вижу глазами любимого пейзажиста. Он приехал, Альбер Марке.

Привет!

Писатели моего возраста — ровесники кино. Наше детство совпало с его детством. Мы ходили в кино часто, чуть ли не два раза в неделю. Я успел пересмотреть в юности почти всю «Золотую серию».

К романам и стихам, которые мы читали, к картинам и музыке прибавилось новое искусство, включился новый фактор, влиявший на формирование нашего мастерства.

Кино перевернуло привычные понятия о времени, привитые другими видами искусства. Мы узнали время кино, отличное от времени романов Тургенева, пьес Островского. Кино дало новое представление о ритме искусства, показало совершенно новую логику развития образного строя произведения.

Позже я познакомился с работами Гриффита, с изобретенными им кинематографическими приемами — крупным планом и так называемым американским монтажом.

Элементы кинематографического монтажа, самое понятие «монтаж» стало для многих писателей моего поколения вполне органическим понятием в нашей работе. Я до сих пор говорю — «монтировать рассказ».

Некоторые мои ранние произведения — «Остров Эрендорф» и ряд рассказов — написаны под явным влиянием кинематографа. Заметно влияние кино в повести «Расстратчики», где много чисто кинематографических реминисценций. Я широко применил там прием крупного плана, чисто кинематографическое обыгрывание вещей в их кинематографической сущности.

Кино научило меня как писателя более свободному обращению со временем. «Время, вперед!» — произведение, построенное буквально по принципу кино.

Как и всякое молодое искусство, кино развивается в чрезвычайно неожиданных направлениях. Внесение слова и звука в кинематограф изменило ритм и монтаж. Потеряв в своей стремительности, кино от внесения звука приобрело совершенно новое качество.

Некоторые из виденных звуковых фильмов «На Западном фронте без перемен» Мальстоуна и «Огни большого города» Чарли Чаплина — произвели на меня потрясающее впечатление новизной приемов и богатством новых, еще не использованных возможностей. Диалог, звучащий где-то за кадром в «На Западном фронте без перемен», произвел громадное впечатление, как намек на большую

область неиспользованных возможностей и не открытых еще приемов.

Кино дает писателю много. Теперь вопрос о том, что писатель дает кино.

Я считаю, что писатели дают кино еще немного. Об этом можно судить по целому ряду инсценировок литературных произведений на Западе и у нас. Уэллс в «Невидимке» очень много потерял в своем литературном качестве. Очень много потерял от своего обаяния и Ремарк в превосходно поставленном фильме «На Западном фронте без перемен».

По-настоящему писателя в кино еще не было. Все те художественные подробности, которые делают произведение искусства произведением искусства, в фильме зависят всецело от режиссера и оператора. Все, что написано писателем, можно снять под совершенно другим углом зрения. Не было случая, чтобы режиссер не обращался с писательским материалом с полной свободой. Писатель и режиссер говорят на разных языках.

На том уровне, на котором находится сейчас кино, писатель, очевидно, может давать для фильма сюжет и диалоги, которые отнюдь не должен писать ассистент режиссера.

Особо стоит сказать о художнике в кино.

Работа художника в наших фильмах далеко отстает от работы художника в театре. Художественное оформление наших фильмов порою вызывает просто досаду и недоумение. Кинематограф не имеет еще своего Рыпдина, своего Рабиновича, своего Тышлера. Вопрос этот очень серьезен.

1936

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ХМЕЛЕВ

Передают, что Станиславский на репетиции сказал одному актеру:

— Можете играть хорошо; можете играть плохо; это меня не касается. Мне важно, чтобы вы играли *верно*.

В этом простодушном замечании — бездна ума и опыта. В самом деле. Попробуйте-ка сыграть верно, не имея техники! Возможно, что актеру без техники удастся *верно почувствовать*. Но *верно сыграть* — вряд ли. Так как мало почувствовать правду, ее еще надо выразить с наиболь-

шей наглядностью и убедительностью, пользуясь всей актерской аппаратурой.

Без «верно» — нельзя создать типичного. «Верно» — это высшая похвала художнику.

К Хмелеву можно относиться как угодно. Это дело вкуса. Но то, что Хмелев всегда играет верно, не вызывает ни малейшего сомнения.

Хмелев принадлежит к числу мастеров острого рисунка. Его излюбленный прием — метонимия. Часть вместо целого.

Вспоминая образы, созданные Хмелевым, прежде всего видишь положение рук артиста. Полковник Алексей Турбин в пьесе «Дни Турбиных» Булгакова. Этот образ принес Хмелеву славу. Социальная обреченность. Трагедия одиночества. Опустошенность.

Я вижу твердые, несколько поднятые плечи с погонями, одна рука твердо заложена в карман тужурки — нащупывает револьвер!..

И рядом совсем другое.

Очаровательный, хитрый и вместе с тем норовистый купеческий дворник Силан из «Горячего сердца».

Обе руки упрямо засунуты под белый нагрудник фартука. Типичный, верный, непреложный жест. Уморительная сцена с городничим (Тархановым):

— Молчи!

— Молчу.

Курносый нос задран и неподвижен. Глаза по-старчески нахально прищурены. Но руки под фартуком упрямо шевелятся.

Публика с первого же явления начинает любить старого дворника.

Просто? Да, очень просто. Но — верно. И в этом все дело.

А дядюшка в «Дядюшкином сне»!

Сколько ему лет, этому дядюшке? Сто или двадцать два? Страшная маска искусственной молодости на развалине. Именно «развалине». Она сейчас рассыплется. Эта чудовищная, неправдоподобно раскрашенная заводная игрушка распадается на суставы.

Гальваническими движениями выбрасываются вперед ноги. Кажется, они трещат. Вот-вот выскочат коленные чашечки и покатятся, подпрыгивая, по полу сцены. Выпадут шарниры, заведутся стеклянные глаза куклы.

А руки между тем живут особой жизнью, совершенно несогласованной с жизнью остальных частей тела. Они

движутся, судорожно хватая не то, что приказывает мозг.

Но вот я вижу прокурора из горьковских «Врагов».

Руки грубо и прямо засунуты в карманы узких и длинных, черных «прокурорских» брюк. Плечи высоко подняты. Прокурор поигрывает в карманах пальцами и покачивается с носков на каблуки и обратно.

Четко, типично, верно, убедительно. Очень похоже на словесную живопись Горького — всегда острую, гравюрную, сильно запоминающуюся.

Наконец, царь Федор...

Сыграть эту роль после Орленева и Москвина...

Это более чем смело. Но Хмелев уверен в себе. Он лепит образ слабохарактерного царя по-своему, по-хмелевски.

И опять же — руки.

Теперь они длинные, вялые, с длинными пальцами, белыми до голубизны. Почти лазурные, прозрачные пальцы душевнобольного, и в них, в этих нервных пальцах, безжизненно повис легкий шелковый платок.

Хмелев играет платком. Вот он приложил его к темени с жидкими, приглаженными, плоскими волосами. Он струящимися движениями — сверху вниз — вытирает пот со вдавленных висков. Плечи согнуты. Тонкие пепельные губы радостно и обреченно улыбаются сквозь редкие, как у покойника, усы.

Это князь Мышкин в парчовом одеянии русского царя... Царь Федор падает на колени и ломает над головой руки. Синие тени лежат над прекрасными глазами суздальского письма.

Трагедия окончена. У зрителей на глазах слезы. Хмелева вызывают бесчисленное число раз. Он выходит и кланяется, приложив дощечкой узкую руку к плоской груди царя Федора.

Трудно носить бармы и шапку Мономаха в очередь с Москвиным!

Сейчас Хмелев «ищет» Каренина.

Что такое Каренин? Что в нем главное: религия, тщеславие, страдания уязвленного самолюбия или страдания разбитого сердца? Кто он? Эгоист и бюрократ или бессердечно обманутый муж?

Победоносцев или Сперанский?

Но уже сейчас, с увлечением говоря о Каренине, Хмелев похрустывает пальцами и щелкает их суставами...

И мне вспоминается забавный случай из жизни Хме-

лева. На заре своей артистической жизни Хмелев «делал» Снегирева из «Братьев Карамазовых». С ним работал Леонидов. Хмелев был захвачен работой: он не находил себе места и по нескольку раз в день приставал к Леонидову с вопросом:

— Леонид Миронович, скажите: у меня, по крайней мере, хоть получается тип?

— Сами вы, молодой человек,— тип! — наконец буркнул Леонидов, вперяя в молодого актера свой знаменитый пулевидный глаз.

Хмелев рассказывает об этом с удовольствием. Теперь у самого Хмелева много учеников, и когда они слишком усердно пристают к своему «мэтру» с трепетным вопросом:

— Николай Павлович, у меня получается тип? — Хмелев иногда отвечает, делая леонидовский глаз:

— Сами вы, молодой человек,— тип!..

1936

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

В конце романа «Как закалялась сталь» есть место, которое трудно читать без слез:

«В такие минуты вспоминался загородный парк, и у меня еще и еще раз вставал вопрос:

— Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?

И отвечал:

— Да, кажется, все!»

В этих немногих, скупых и сдержанных словах, лишенных малейшей тени позы или сантимента,— весь Николай Островский, писатель и гражданин, вся его мужественная простота, все его высокое человеческое достоинство, подлинно большевистская ясность, прямота, честность.

Значение Николая Островского для нашей литературы огромно. В сказочно короткий срок стал он любимейшим, популярнейшим автором миллионов советских читателей всех возрастов и вкусов.

Только могучая Коммунистическая партия могла вырастить в своих рядах человека такой несокрушимой воли,

такого чистого и сильного таланта, воистину народного, воистину массового, воистину революционного.

В этом человеке, физически уже обреченном, было столько презрения к смерти, столько любви к жизни, столько огненного творческого беспокойства, что поневоле, когда думаешь о нем, становится подчас стыдно за свои мелкие писательские сомнения, колебания, лень.

...Крутой, упрямый лоб. Высокая шевелюра. Молодые усы. Белая рука сжата. Рядом с ней на потертых походных штанах лежит кобура револьвера. И прямые глаза, слегка исподлбья, как бы сурово обращенные в самую душу:

— Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?

Ты не вырвался из железного кольца, дорогой товарищ Николай Островский! Ты ушел от нас, но твоя чудесная, пламенная жизнь продолжается, цветет, кипит в миллионах твоих читателей!

1936

ПАМЯТИ ДРУГА

1

Умер Ильф — один из двух, составлявших замечательное содружество: Ильф — Петров. Друг добрый и вместе с тем требовательный. Взыскательный художник, человек тонкого и оригинального критического ума, высокого литературного вкуса. Милый, дорогой спутник молодости!

Он вошел в литературу в самый разгар гражданской войны и сразу же занял одно из первых мест в ряду революционной политической молодежи, объединившейся вокруг «Окон сатиры» одесского РОСТА.

«Окна сатиры»... Путь многих славных: Маяковского, Багрицкого.

Потом — Москва. «Гудок».

В «Гудке» Ильф нашел тот особый, острый, неповторимый стиль обработки рабкоровских заметок, который создал славу знаменитой в свое время гудковской четвертой полосе. Три-четыре изумительно отточенных строчки и заголовок, бьющий наповал.

Это была проза, сделанная мастерской рукой поэта-публициста.

Встреча с гудковцем же Петровым. Сближение. Опыт совместной работы над сатирическим романом «Двенадцать стульев». Блестящий успех этого романа, создавшего авторам известность. «Золотой теленок»...

Работа в «Правде» дала Ильфу — Петрову миллионную аудиторию, а вместе с тем внутреннюю содержательность и глубину.

И наконец, роковая поездка в Америку. Роковая потому, что Ильф, уже будучи тяжело болен, совершил по Америке утомительнейшее путешествие на автомобиле. Свыше шестнадцати тысяч километров. В результате — новая книга: «Одноэтажная Америка».

Но какой ценой была куплена эта книга! В этом — весь Ильф, не пожелавший прервать путешествия, несмотря на обострение болезни. Он стремился наиболее полно и добросовестно изучить материал. В этом — настоящая писательская честность.

Теперь Ильфа нет.

На высокой подушке тяжело лежит белая голова с крупными, резко очерченными губами.

2

Год назад умер Илья Ильф.

Он умер в цветущем возрасте. Ему было сорок лет. Он принадлежал к поколению писателей, воспитанных Советской властью.

Ильф не был членом Коммунистической партии, но по своим политическим убеждениям, по идейной направленности своей работы, по моральному облику он представлял собою тот тип активного советского человека, которого мы с гордостью и уважением называем — непартийный большевик.

Жизненный путь Ильфа — мастера, человека — в равной мере и сложен и прост.

Ильф вышел из низовой интеллигентской среды. Его отец был бухгалтер. Ильф учился в Одесском техническом училище. Позже работал на авиационном заводе.

Его юность совпала с мировой империалистической войной; начало зрелости — с первыми годами Советской власти.

Ильф с детства тяготел к литературе: много читал, выработал превосходный вкус, писал стихи в своеобразной и острой манере.

Первые три года революции протекли на Юге необычайно бурно, за это время в Одессе совершилось четырнадцать «смен властей».

Какое богатство для острого, аналитического глаза сатирика!

Ильф был сатириком преимущественно.

В 1925 году И. Ильф переехал в Москву и начал работать в газете «Гудок». Первые же рабкоровские заметки, «обработанные» Ильфом, произвели в полном смысле слова переворот в этой области. В нескольких чеканных, отточенных, как кинжал, строчках Ильф давал убийственную прозаическую эпиграмму.

Это была тяжелая газетная работа. Но Ильф относился к ней, как к самому высокому литературному жанру. Он вкладывал в нее все свое мастерство, свой острый, парадоксальный ум, свою наблюдательность, всю свою ненависть к штампу.

Работа в «Гудке» дала Ильфу громадный опыт, без которого немислимо подлинное искусство.

Затем состоялась встреча с Евгением Петровым. Возник замечательный коллектив «Ильф — Петров», подаривший нашей литературе не одну прекрасную книгу, начиная от «Двенадцати стульев» и кончая «Одноэтажной Америкой», и не один десяток боевых фельетонов.

Ильф всегда был связан с газетой. Его связь с «Правдой» продолжалась до самой его смерти.

С каждой новой вещью мастерство Ильфа и Петрова совершенствовалось, становилось все более реалистичным.

А последняя книга — «Одноэтажная Америка» — достигла великолепной прозрачности, точности и ясности, свойственных только настоящим художникам слова.

Ильф был реалист. И стать реалистом помогла ему революция.

В писательской среде сейчас особенно много идет споров о социалистическом реализме, о простоте, ясности, четкости, о чистоте языка и народности искусства.

И как жаль, как бесконечно обидно и горько, что в это время с нами нет замечательного писателя и критика, тонкого человека, настоящего, неподкупного непартийного большевика — Ильи Ильфа.

Личность Ильфа неотделима от понятия «Ильф и Петров». И тем не менее как Ильф, так и Петров, конечно, существовали каждый в отдельности не только в жизни, но и в литературе.

Ильф возник раньше.

Мы помним появление молодого Ильфа. Эпоха военного коммунизма. Одесса. Так называемый «Коллектив поэтов» — пестрое и очень шумное содружество литературной молодежи. В большом запущенном зале покинутой барской квартиры происходит ожесточенное чтение стихов и прозы. Царит Эдуард Багрицкий.

Рыча и задыхаясь, молодой Багрицкий читает нам последнюю новинку революционной Москвы — поэму Маяковского «150 000 000».

В «Коллективе поэтов» мы собирались по вечерам, после работы в ЮгРОСТА, где делали то же самое дело, что в это время делал в Москве Маяковский: рисовали плакаты и писали стихи для «Окон сатиры».

Ильф не выступал со своими произведениями. Мы даже не знали, прозаик он или поэт. Но со времени его появления мы почувствовали, что среди нас находится какой-то в высшей степени загадочный, молчаливый слушатель. Он тревожил нас своим испытующе-внимательным взглядом судьи.

Коричневая ворсистая кепка спортивного покроя и толстые стекла пенсне без ободков интриговали нас не меньше, чем его таинственное молчание.

Иногда он делал короткие замечания, чаще всего иронические и убийственные своей меткостью. Это был ясный и сильный критический ум, трезвый голос большого литературного вкуса. Это был поистине судья, приговор которого был всегда справедлив, хотя и не всегда приятен.

Прежде чем стать тем Ильфом, который впоследствии прославился в громком имени «Ильф и Петров», он прошел большой путь рядового газетного работника. Но и в этом ежедневном труде редакционного правщика он щедро, полностью проявил свой огромный литературный талант. Он показал классические образцы редакционной правки. Он превращал длинные, трудно написанные и зачастую просто неграмотные письма читателя в сверкаю-

щие остроумием, точные, краткие заметки, из которых каждая была маленьким шедевром.

Его перо было действительно острейшим оружием, отданным на службу народу в борьбе с пошлостью, мещанством, прогулами, пьянством, взятками, бюрократизмом — всеми пережитками старого мира, которые мешали победоносному росту Советского государства. Это все было безупречно по форме, глубоко по содержанию, доступно пониманию широких народных масс. Это была настоящая, полноценная литература без всяких скидок на «жанр». В короткое время Ильф создал целую школу литературной правки газетного материала. Маяковский высоко ценил газетную работу Ильфа, всегда хвалил ее и о самом Ильфе неизменно говорил с нежностью и любовью.

В редакции «Гудка», во Дворце труда, на Солянке, встретились два литературных правщика. Один был Ильф, другой — Петров. Они подружились и задумали написать веселый роман. И написали его. И роман стал знаменитым. Кто не знает «Двенадцать стульев»!

Оказалось, что работа в «малой газетной форме» не только не помешала газетчикам Ильфу и Петрову прийти к большой форме романа, но, наоборот, помогла освежить эту большую форму, сделать ее более острой, доходчивой и близкой к жизни.

Ильф был очень человечен, деликатен, честен. Родина, дружба, любовь, верность, честь не были для него только словами. Он считал, что борьба за чистоту этих понятий, их утверждение в жизни есть священный долг советского писателя. Это и привело «Ильфа — Петрова» к работе в «Правде», где они во всеоружии своего уже вполне созревшего таланта выступили как писатели-патриоты с острыми, партийными фельетонами, высоко поднимавшими тему достоинства и моральной чистоты советского человека.

Ильф любил называть себя зевакой.

И действительно, он мог показаться зевакой.

Вот он идет не спеша по Сретенке, в хороших толстых башмаках, уважаемом пальто, шерстяном кашне, в перчатках, с лейкой на узеньком ремешке через плечо. Что ему нужно на Сретенке? Как он сюда попал? Неизвестно. Он просто гуляет по Москве. Все привлекает его внимание. Вот на водосточной трубе наклеены самодельные объявления. Он медленно подходит вплотную к тру-

бе, поправляет пенсне и, выпятив крупные губы, прочитывает все, что там написано. Вот он подходит к магазину точной механики. Что ему, в сущности говоря, до точной механики? Но все же он тщательно рассматривает разные приборы, как бы желая их запомнить навсегда. Вот он возле кинематографа «Уран» разговаривает с двумя маленькими мальчишками. Вот он спрашивает о чем-то старушку с сумкой. Вот он становится в очередь на трамвай, в котором он, может быть, и не поедет. Вот он любитесь скатом крыши над тесным московским двориком...

Да, он мог бы показаться зевакой. Но он не был зевакой. Он был тонким и пристальным наблюдателем жизни во всех ее проявлениях, даже самых ничтожных, мелких. Он был великим мастером собирания и обобщения знания мелочей, превращения деталей в факты философского значения.

О, как он хорошо знал жизнь, как любил ее, как становился гневен, когда видел ее уродство, и как умел восхищаться ее красотой!

1937—1938—1947

ЗАМЕТКИ О ВСЕВОЛОДЕ ИВАНОВЕ

1

После неудачи «Факира» почему-то укоренилось мнение, что Всеволод Иванов находится в тупике.

У нас в литературе ужасно любят числить хорошего писателя «в тупике».

Всеволод Иванов не торопился оправдаться. За последнее время его имя редко появлялось под новыми произведениями.

Но в прошлом году он порадовал нас двумя превосходными прозаическими вещами «М. Горький в Италии» и «Красная площадь».

Первая из них — шесть журнальных страничек воспоминаний о Горьком; вторая — объемистый оригинальный исторический очерк о Красной площади, от седой древности до наших дней.

Хотя обе вещи написаны в равной манере и содержат в себе разный материал, но читаются одинаково хорошо,

говорят о большом, свежем таланте писателя и показывают, что Всеволод Иванов не только не пребывает «в тупике», но, наоборот, полон творческих сил, находится в блестящей форме и продолжает литературные поиски, чем занимается с самого начала своей писательской деятельности с достойным удивления и похвалы упорством подлинного мастера.

Нет ничего печальнее, чем когда молодой писатель после первой удачи бросает паруса и отдается на волю благоприятного ветра!

Настоящее искусство рождается в поисках нового курса и в борьбе.

Всеволод Иванов всегда находится в состоянии творческой тревоги и напряжения. Его никогда не удовлетворяет достигнутое. Поэтому всегда особенно интересно читать каждую страницу, подписанную его именем.

Две новых вещи Всеволода Иванова — это две новых комбинации красок на его палитре.

«Горький в Италии» — прелестный, очень ясный и немного грустный диалог, в котором Всеволод Иванов, разговаривая с мастерски изображенным Максимом Горьким, как бы разговаривает с самим собой.

Тема этого диалога — сомнения художника.

«— А вы много песен знаете? — спросил он вдруг у меня.

— Не пою и не знаю.

Он даже отшатнулся:

— Это у вас убеждение или случайно?

— Думаю, что случайно. Семья наша была непевучая, приятели тоже мало пели, разве что по пьяному делу...

Он перебил меня:

— Да, конечно, это случайно! Писатель не может не петь, не знать песен. Писать — это значит петь. А стихи вы писали?

Я сказал, что писал, — и очень отвратительные стихи.

Он улыбнулся и не то шутя, не то серьезно сказал:

— А я каждый день стихи пишу».

Или:

«— Художник этот работоспособности и чувствительности удивительной, сударь мой. На него, знаете, старые итальянские мастера крыло положили, и по нему можно судить, какое у предков наших было трудолюбие...

— И талант.

Он косо взглянул на меня, ухмыльнулся:

— Талант, знаете, очень нежная штука, его можно и

пропустить или смять грубостью. За талантом надо долго и пристально смотреть...

И тут же он стал рассказывать о людях, которые исковеркали, сломали и испортили свою жизнь только потому, что никто не заметил их таланта...»

Или:

«— Вы о чем собираетесь писать-то?»

Я сказал, что мне трудно писать, когда слышу вокруг разговоры на чужом языке, когда вокруг чужой город и слишком яркое солнце.

— А вы попробуйте пьесу написать. Может быть, этот речевой разноречивой вам поможет...»

После чтения Горьким «Достигаева»:

«— Ну, давайте браниться.

Ему не понравилось почтительное наше восхищение. Я объяснил, что очень трудно разобраться в пьесе при таком отличном чтении. Он дмыхнул носом и сказал:

— Все придумываете. Что, бесформенности много?

На мои слова, что слишком ясная форма заставляет иногда писателя объяснять положения в романе или драме, только в крайнем случае углубляя их показом, а не объяснением, и что проселочные дороги бывают часто самые живописные и мягкие, он сказал:

— Мягкие потому, что грязи много.

И через несколько дней:

— Все эти споры о форме кажутся мне вздорными. Какая форма, если нет таланта?..»

Форма отрывка «М. Горький в Италии» оригинальна, ясна и местами безупречна. Много чудных находок.

«Эти усы и этот неиссякаемый дым очень уснащали его лицо, делая его как бы парусным, ходким, романтичным».

«Помолчал, а затем особым, очень объемным и мечтательным голосом сказал...»

«Какая-то тощая американка в больших ботинках...»

А про Горького:

«...черноплечий, в голубой рубашке».

«...умелыми и хитрыми шагами подходит к столу...»

Хорошие эпитеты: точные и резкие, как вырубленные из твердой породы.

Исторический очерк «Красная площадь» говорит о том, что полемика Всеволода Иванова с самим собой привела к усовершенствованию формы.

С проселка «Факира» мастер подходит к благоустроенному шоссе исторического романа.

«По земляным валам крепости ходила стража, одетая в шкуры, с длинными мечами, как у норманнов, с длинными деревянными щитами; на этой площади, которая позже получила название «Красной», что значит красивая, собиралось вече, чтобы выбрать своих правителей.

Великий торг продавал самострелы и мед, подошвы и иконы, фонари и овощи, кафтаны и короба-корзины, шелка, железо, жемчуга и седла, масло и деревянные избы, мечи и детские игрушки. Отсюда шла дорога на Орду. Дымилась костры, и возле шалашей распевали скоморохи, в деревянных церквушках стонали колокола, возле ларей с рубцами и другой дешевой пищей беседовали воины и миряне, пьянствовали, распутничали, дрались, а на холме, там, где ныне Спасские ворота, продавали рабов, воняли квасные кади, «стригуны» лязгали ножницами, приглашали желающих постричься, в канавах плакали подкидыши, а на папертях нищие пели длинные песни о покосах, о странствиях, об удалых людях. Так появилась Москва».

Начало, достойное Вальтера Скотта, — как сказал Пушкин о «Тарасе Бульбе»...

2

Всеволод Вячеславович Иванов — подлинный самородок. Его открыл Горький. Еще в 1917 году Алексей Максимович напечатал рассказы начинающего автора во втором «Сборнике пролетарских писателей». Но по-настоящему в литературу Всеволод Иванов вошел в самом начале 20-х годов, когда в первом советском толстом журнале «Красная новь» — появились его повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14-69». «Бронепоезд» стал нашей классикой.

Будучи участником гражданской войны в Сибири, писатель своим свежим и оригинальным пером создал ряд незабываемых народных характеров и образов партизан, вступивших в борьбу с Колчаком и американскими захватчиками. Впоследствии инсценировка «Бронепоезда» с громадным успехом прошла во МХАТе и явилась новой вехой в развитии советской театральной культуры.

Всеволод Иванов известен читателю как автор множества превосходных рассказов, очерков и патриотических статей, из которых следует отметить «Мое отечество» и

«На Бородинском поле», написанные в дни Великой Отечественной войны.

Большой исторический роман «Пархоменко» занимает особое место в творчестве писателя и является наиболее зрелым, реалистическим его произведением.

Тонкое чувство языка, острая метафоричность, сильное зрение и безупречный слух — все то, что Горький называл «живописью словом», в высшей степени свойственно литературному стилю Всеволода Иванова. Именно эти качества и сделали его одним из самых оригинальных и выдающихся мастеров советской прозы.

1938—1955

СЛОВО НАДО ЛЮБИТЬ

Писатель не зря зовется художником слова.

Тем же, чем цвет (краска) для живописца, звук для композитора, тем же, чем объем и пространство являются для скульптора и архитектора, — тем же самым является для писателя слово.

Но слово богаче.

Слово содержит в себе не только элементы цвета, ритма, звука, пространства и времени, слово не только является образом (ибо бывает слово — образ), но слово прежде всего есть мысль. И это — главное.

Вот почему любовь к слову — необходимое качество, без которого писатель становится ремесленником.

Слово стоит в своем смысловом ряду. Вынутое из этого смыслового ряда и механически пересаженное в другой смысловой ряд, оно тускнеет, засыхает, превращается в мертвый штамп, в равнодушную отписку. Бриллиант превращается в булыжник. Зеленый росток засыхает.

Например, для того чтобы изобразить широту, простор и могущество нашей родины, Пушкин писал:

Иль мало нас? или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

Это было прекрасно, ново и точно. Здесь каждое слово, каждый эпитет несли громадную смысловую

нагрузку. Здесь противопоставление хладных финских скал и пламенной Колхиды и потрясенного Кремля и стен недвижимого Китая вызывало не только восхищение стихотворной формой, было не только игрой гениального пера, но ставило также наглядную географическую перспективу, вызывало исторические, политические ассоциации, будило мысль.

К тому же приему географического противопоставления часто прибегают современные поэты, желающие наглядно показать широту нашей родины. Любят писать: «от полюса до тропиков, от Ленинграда до Владивостока, от Белого моря до Черного» и т. д. Получается сухо, формально, неинтересно, а главное — пусто. Система образов, пересаженных механически на другую почву, становится отпиской, ремесленной копией. Это происходит потому, что литературная форма заимствована. Литературную форму нельзя заимствовать. Ее надо рождать.

Много ремесленного, штампованного проникает в нашу литературу, потому что не всегда писатель любит слово и работает над формой.

Каждое слово у писателя несет громадную смысловую нагрузку. Слово не может быть поставлено так себе, для заполнения ритмической пустоты, для «количества». Слово не может вколачиваться в художественную ткань «на затычку». Как будто бы это общеизвестно и не требует обсуждения. Однако на днях я прочел высказывание Г. Шенгели в «Послесловии переводчика» к первому тому поэм Байрона (Гослитиздат, Москва, 1940).

«Как поэт, я хорошо знаю, что в любом отрывке есть *иерархия* (курсив наш.— Г. Ш.) образов, что одни — абсолютно необходимы, другие — существенны, третьи — довольно случайны, четвертые — поставлены «на затычку»...»

Оказывается, среди наших писателей еще широко распространено пренебрежительное отношение к вопросам стиля, оказывается, пропагандируются всяческие смехотворные «теории затычки» и — что еще более вредно — теории иерархии образов. И это нетерпимо. Нельзя нищей, анемичной, эпигонской кистью изображать людей и характеры нашей эпохи.

Слово надо любить. Над стилем надо работать.

Сойфертис принадлежит ко второму поколению советских графиков. К первому поколению принадлежат такие выдающиеся мастера в этой области, как Михаил Черемных, Ив. Малютин, Д. Моор, Л. Бродаты, Ю. Ганф, Б. Ефимов, К. Елисеев и многие, многие другие. Наряду с Кукрыниксами, В. Горяевым, Б. Пророковым, А. Каневским — Л. Сойфертис занимает одно из первых мест в ряду младшего поколения советских графиков.

Может быть, во мне говорит советский патриотизм, но я уверен, что советская графика — лучшая графика в мире.

Нигде не встречается столько остроты, изобретательности, тонкости, как в нашей, советской графике.

Народ знает и любит Сойфертиса. Прежде всего, он очень оригинален. Его индивидуальность неповторима. Сойфертиса всегда можно узнать среди десятков других мастеров. Тонкая, гармоничная линия. Скупость, лаконичность и много воздуха. Простая, как бы эскизная и вместе с тем очень законченная композиция. Острый карандаш. Перо. Легкая акварель. Излюбленная форма художника — жанровые зарисовки.

Сойфертис никогда не расстается с блокнотом. Он рисует всегда и везде. Так было и в мирное время. Так было и во время войны. С первых же дней войны Сойфертис на фронте.

Сначала осажденная Одесса. Линия фронта на Дальнике. Сойфертис ездил на фронт на трамвае.

Он рисовал для морской пехоты. Его военные работы появлялись в газете «Красный черноморец». Он рисовал героев-краснофлотцев, героических одесских женщин, молодежь. Он создавал графический, многогранный портрет города-героя. Он не искал прямых батальных сюжетов. Он работал так называемым «боковым зрением».

Например, в то время воду в осажденной Одессе выдавали по талонам. По городу разъезжали бочки. Давали два литра на человека. К бочке тянется длинная очередь людей с ведрами, кастрюлями, бутылками, котелками. Вдруг — воздушная тревога. Очередь бросается в ближайшее укрытие. Остается лошадка с бочкой, и к бочке тянется длинная змейка брошенной посуды. Это и набрасывает в свой походный альбом Сойфертис.

А вот жанровая сценка в осажденном Севастополе на передовой позиции.

На фронт приехал фотограф снимать вступающих в партию воинов — для партийных документов. На ровном месте фотографировать опасно. Фотограф втащил моряка в воронку от тысячекилограммовой авиабомбы, расставил свою треногу и спокойно снимает присевшего морячка.

Сколько в этом жизни, остроумия, юмора!

Вообще все работы Сойфертиса проникнуты юмором, бодростью, настоящим, жизнеутверждающим весельем.

От первого до последнего дня войны Сойфертис пробыл на фронте. День Победы он встретил в Берлине.

Результат военных лет Сойфертиса: серия рисунков «Оборона Севастополя», приобретенная Третьяковской галереей; серия «Оборона Кавказа», множество чудесных рисунков в красноармейской печати и в тыловых журналах.

Сейчас Сойфертис работает над рисунками о Германии: жанры, зарисовки, эскизы.

Хочется пожелать всяческих успехов этому замечательному советскому графику, подлинному снайперу пера и карандаша.

1946

НОВОГОДНИЙ ТОСТ

— Итак, продолжаю:

...Посредственность, серость, вялость и скука в книге очень часто происходят от бессилия писателя творчески переработать, строго отобрать и обобщить все то богатство красок, характеров, ситуаций, конфликтов, которое дает жизнь. Но увидеть, почувствовать и отобрать все эти краски — еще далеко не все. Палитра — еще не картина. Если смешать все цвета спектра, получится чистый белый цвет, то есть ничто.

Гете говорил однажды о том, что самое для него трудное — это тысячеглазая гидра эмпиризма, возникающая перед ним всякий раз, когда он садится за письменный стол. Описать очень похожего мопса, говорил Гете, не означает ничего, кроме того, что к тысячам уже существующих мопсов прибавится еще один.

Изображение предмета должно быть окрашено индивидуальностью художника, как бы освещено изнутри единой, всепроникающей мыслью. Явление должно быть раскрыто во всем богатстве своих противоречий. Раскрытие

противоречий, их художественный анализ есть необходимое условие творчества.

Часто не хватает смелости и мастерства для того, чтобы справиться с «тысячеглазой гидрой эмпиризма», и тогда эта гидра беспощадно пожирает художника.

К искусству нельзя применять метод арифметический. «Дважды два четыре» — открытие только для дошкольника. А мы обязаны быть даже не десятиклассниками или студентами, а профессорами, учеными, мыслящими самостоятельно и ново. Между тем «арифметический метод» в литературе приводит к тому, что многие наши даже очень известные, талантливые писатели и поэты, стремясь «объять необъятное», впадают в многословие. Романы пишутся в 40, 60, 80, 100 и более листов. Поэмы измеряются километрами. Стихи выдаются оптом — циклами. Иные писатели начинают свою литературную деятельность прямо с эпопей и на меньшее не согласны.

Эта гигантомания — явление весьма распространенное. Происходит оно потому, что мы разучились обобщать, строго отбирать. Мы часто утрачиваем чувство архитектоники и относимся к слову слишком легко. Между тем слово, — то есть материал, из которого мы строим свои произведения, — вещь необыкновенно могучая, радиоактивная. Словами надо пользоваться крайне осмотрительно, скупно, а не наваливать их неорганизованными горами.

Это именно и есть редкий случай, когда количество не переходит в качество, а, наоборот, ведет к падению всякого качества.

Бытие определяет сознание. Это общеизвестно. Но сознание художника не должно быть зеркальным: что отразилось, то и отразилось. Сознание художника должно не только отражать, но и творчески преобразовать мир. Писатель, лишенный воображения и фантазии, перестает быть подлинным художником. Он превращается в обстоятельного протоколиста. Обстоятельность — смерть искусства. Сказать про поэта, что он написал обстоятельную поэму, все равно что сказать: он не поэт.

Дотошно обстоятельный роман — это совсем не то же самое, что роман глубокий, широкий, идейно насыщенный. Слишком много у нас развелось таких обстоятельных, «добротных» литературных произведений!

И еще одно: не следует забывать о богатейших *музыкальных* возможностях русского языка. Слово — это мысль. Верно. Но слово — также и звук. Мы пишем не для глухо-

немых. Каждая синтаксическая форма есть вместе с тем и музыкальная фраза.

Мы в одно и то же время пишем, мыслим и слышим.

Литературное произведение создается на музыкальной канве. Интонация — это мелодия. Мелодия не есть привилегия только поэзии. Мелодия — основа прозы. Недаром Толстой назвал Чехова Пушкиным в прозе.

Каждому прозаику должна быть свойственна своя, особая, неповторимая музыкальная интонация. Если писатель не слышит того, что он пишет, то его не услышит и читатель. Читатель услышит лишь монотонный, беглый стук пишущей машинки.

Мопассан считал, что для писателя в первую очередь необходимо зрение. Я считаю, что для писателя в первую очередь необходим слух. Подчеркиваю — в первую очередь. Это не значит, что зрения не надо. Зрение — тело. Но слух — душа. Отсутствие музыкального чутья превращает даже самое «добротное» литературное произведение в более или менее талантливый протокол. Отсюда проистекают и скука, и серость, и посредственность.

Подымаю свой новогодний стакан за искусство.

Больше творческой фантазии, товарищи, больше смелых обобщений, больше острых характеров и столкновений, больше подлинной жизни, больше *музыки*.

1953

ЗАМЕТКИ О МАЯКОВСКОМ

1) Маяковский в «Огоньке»

Маяковский любил печататься в массовых многотиражных изданиях. В одном только «Огоньке» при жизни Маяковского было помещено больше двадцати стихотворений. Два стихотворения появились вскоре после его смерти: «Нота Китаю» и «Стихи о советском паспорте».

Я хорошо помню тот день — тридцать лет назад, — когда в редакции «Огонька» впервые появился Маяковский. Это было весной 1923 года, незадолго до выхода в свет первого номера журнала. Страна переживала тягостные, тревожные дни болезни Ильича. Положение Ленина было настолько серьезно, что правительство выпустило специальный бюллетень о состоянии его здоровья. Возле белых листков, расклеенных на стенах домов, толпились

ных взлетов...», «Марш ударных бригад» и многие другие. Поэт помещал в «Огоньке» и свои знаменитые стихотворные рекламы. Своей работе в этой области Маяковский придавал большое принципиальное значение и очень сердился, когда с ним не соглашались. Была у Маяковского, между прочим, реклама, посвященная «Огоньку».

Беги со всех ног
покупать
«Огонек»,—

призывали светящиеся буквы.

В 1923 году Маяковский принес шуточное стихотворение «Схема смеха», с собственными иллюстрациями: шесть картинок, сделанных пером, тушью, в острой манере «Окон сатиры» РОСТА. Комизм стихотворения заключался в неожиданных рифмах и в еще более неожиданных логических выводах. Речь шла о том, как по железнодорожному полотну шла баба с молоком и чуть не попала под курьерский поезд.

Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревя,—
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вбремя.

И вдруг совершенно неожиданный и смешной именно этой своей неожиданностью вывод:

Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной средняк!

Эта стихотворная шутка была напечатана в пятом номере новорожденного журнала.

В конце жизни Маяковский обратился к драматургии. Он написал «Клопа», потом «Баню». Постановка этих пьес была связана со множеством затруднений, которые очень раздражали поэта. Приходилось бороться с косностью, непониманием, прямыми «зажимами». Многие театральные деятели не хотели признавать Маяковского как драматурга, не видели в его пьесах искусства. Маяковский неустанно, где только мог, разъяснял смысл «Клопа» и «Бани», ездил на заводы и читал свои пьесы рабочим.

В это время Маяковский опубликовал в «Огоньке» две заметки об этих пьесах. Заметки содержат очень важные мысли Маяковского о драматургии, в частности, о комедии.

Вот что, между прочим, написал Маяковский в № 2 «Огонька» за 1929 год о своей пьесе «Клоп»:

«Мне самому трудно одного себя считать автором комедии. Обработанный и вошедший в комедию материал — это громада обывательских фактов, шедших в мои руки и голову со всех сторон во все время газетной и публицистической работы, особенно по «Комсомольской правде».

Газетная работа отстоялась в то, что моя комедия — публицистическая, проблемная, тенденциозная.

Проблема — разоблачение сегодняшнего мещанства.

Я старался всячески отличить комедию от обычного типа отображающих задним числом писанных вещей.

Пьеса — это оружие нашей борьбы. Его нужно часто навастривать и прочищать большими коллективами».

А вот что писал Маяковский в заметке «Что такое «Баня»? Кого она моет?»

«Баня» моет (просто стирает) бюрократов... Сделать агитацию, пропаганду, тенденцию — живой, — в этом трудность и смысл сегодняшнего театра».

Очень важные мысли великого поэта о театре!

Знаменитейшее стихотворение Маяковского «Стихи о советском паспорте» было впервые напечатано тоже в «Огоньке» уже после смерти поэта. Но я хорошо помню, как он, живой Маяковский, их читал; помню, с какой особенной силой и гордостью он произносил «серпастый» и «молоткастый», как он затем вытянулся во весь рост, поднял высоко над головой записную книжку и рявкнул:

Читайте,
завидуйте,
я — гражданин
Советского Союза.

Таким он мне и запомнился на всю жизнь.

1953

2) Воображаемый разговор с Маяковским

Вы любили, Владимир Владимирович, путешествовать. «Мне необходимо ездить, — писали Вы в своей книге «Мое открытие Америки». — Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг». Немало Вы ездили по земному шару. Но больше всего Вы путешествовали по родной стра-

не. Вы страстно любили свою социалистическую родину. Вы восхищались сказочно быстрым ростом ее городов, зорко всматривались в черты нового. Вашей поэзии было в высшей степени присуще чувство нового. Вы, как никто другой, понимали всю неповторимую красоту нашей жизни.

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
и одежды!

Из длительных путешествий по «своей земле» Вы возвращались в «свою Москву» полный новых мыслей, чувств, впечатлений. Вы приезжали веселый, помолодевший. В Вас чувствовался могучий прилив творческих сил, как в Антее, прикоснувшемся к матери-земле.

Посреди Вашей комнаты на полу лежал открытый чемодан с дорожными вещами и множеством записок, полученных Вами от слушателей во время выступлений. Таковыми же записками были набиты карманы. Вы извлекали их из жилета, из брюк, из пиджака. Вы разглаживали их своей большой широкой ладонью и сортировали по городам, числам и содержанию, раскладывая пачками на письменном столе. Вы очень любили собирать эти записки. Вы гордились ими. За всю Вашу жизнь их накопилось у Вас тысячи. Это было вещественное выражение общения с читателями. Каждая записка напоминала Вам какой-нибудь советский город. Вы редко делились своими впечатлениями. Но каждый раз Ваши друзья знали, что скоро Вы расскажете в стихах о том, что видели во время путешествия.

Вот что Вы, например, написали о Свердловске:

У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли
Урала,
труда
и энергии!

Вы написали это, Владимир Владимирович, четверть века назад — в 1928 году. Тогда бывший захолустный Ека-

По-новому
улицы Новочеркасска
черны сегодня —
от вузовцев.

Ныне вузовцев в Новочеркасске несравненно больше. В городе пять институтов и девять техникумов. Можно считать, что каждый прохожий, которого Вы встретили бы на улице, — студент.

Представляя себе будущий Волго-Дон, Вы писали:

Одип на Кубани сияет лампас —
лампас голубой
Волго-Дона.

Вы видели этот голубой лампас в отдаленном будущем. Для Вас это еще была лишь поэтическая метафора. Для нас же, Ваших современников, она стала уже реальной действительностью.

Вы любили, Владимир Владимирович, Крым:

И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скучно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не с чем
нашему
Крыму
сравниваться!

Помните, Вы восхищались Ливадийским дворцом, в котором отдыхают крестьяне. Теперь таких дворцов, построенных Советской властью, десятки.

Вы писали о будущем Днепрогэса:

Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.

И Вы оказались правы: Днепр заставили течь на турбины! Но Вы не знаете, что была кровавейшая война с фашизмом. Вы не знаете, что Днепрогэс был захвачен врагами, взорван, снова возвращен родине и вторично отстроен!

О, если бы Вы видели величественный подвиг советского народа, отстоявшего дело коммунизма от всех темных сил капиталистического мира! Если бы Вы были тогда с нами! Какими изумительными стихами воспели бы Вы, Владимир Владимирович, нашу победу!

В стихах «Владикавказ — Тифлис» Вы обмолвились следующими словами:

Я жду,
 чтоб гудки
 взревели зурной,
где шли
 лишь кинто
 да ослик.

И снова Вы предвосхитили будущее. Давно уже прошло время, когда Грузия воспринималась лишь как идиллическая страна виноградников и горных пейзажей. Давно прошло время, когда можно было писать:

Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

Грузия стала индустриальной страной. Грузия льет сталь. Здесь вырос большой промышленный город Рустави. Ему недавно лишь минуло пять лет, а как он чудесно выглядит! Там, где была древняя Руставская крепость, теперь задымили заводские трубы, глухая степь озарена электрическими огнями. Бывшие крестьяне стали металлургами.

В своих путевых стихах Вы роняли меткие характеристики, маленькие жемчужины истинно светлой, веселой поэзии.

О Евпатории Вы писали:

Очень жаль мне
 тсх,
 которые
не бывали
 в Евпатории.

О Киеве:

Вот стою
 на горке
 на Владимирской,
Ширь всю —
 не вымчат и перу!

Посмотрите же, Владимир Владимирович, как сейчас выглядят воспетые Вами места родной земли. Евпатория в летние месяцы отдается в полное владение детям.

таких гиганта, как Лев Толстой, Чехов и Горький. Однако русский читатель не только заметил Куприна, но и крепко его полюбил. Природа одарила Куприна всеми качествами художника-реалиста: беспокойным умом, острым глазом, способностью в частном открывать общее, наконец, умением создавать человеческие характеры. В большинстве случаев Куприн брал острые темы, ставил большие проблемы, хотя справедливость требует отметить, что не всегда ему удавалось эти проблемы верно решить: художник всегда перевешивал в Куприне мыслителя. Начиная со знаменитого «Поединка», так высоко оцененного Горьким, и кончая спорной во всех отношениях «Ямой», каждое новое произведение Куприна непременно являлось большим литературным событием и возбуждало в русском обществе жаркие споры. Незадолго до первой мировой войны в большом тираже вышло Полное собрание сочинений Куприна, и он на короткое время стал, что называется, «властителем дум». Куприным зачитывались. В особенности молодежь.

Не говоря уже о «Поединке», я помню, какое громадное впечатление произвел его «Молох» — небольшая по размеру повесть, где писатель с потрясающей силой нарисовал звериный лик капитализма, обобщив все его черты в образе дельца Квашнина. Это поистине страшная и омерзительная фигура хищника, «пожирающего» людей и превращающего пот и кровь рабочих в золото. Действие повести происходит на гигантском металлургическом заводе, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что впервые в нашей литературе появилось такое яркое и новое для России того времени изображение индустриального пейзажа, написанного могучей и мрачной кистью художника-разоблачителя.

К сожалению, в ряде позднейших своих произведений, Куприн не удержался на такой идейной высоте, хотя большинство из них демократичны и прогрессивны.

Будучи настоящим, большим художником, Куприн, конечно, стоял в оппозиции к царскому правительству. Он разоблачал либеральную буржуазию. Он боролся со взяточниками, казнокрадами, доносчиками; боролся с пережитками крепостничества, с бюрократизмом. В некоторых рассказах, как, например, «Попрыгунья-стрекоза» и «Черная молния», он беспощадно разоблачал мелкобуржуазную сущность либеральной интеллигенции и предсказывал грядущую революцию. В этом смысле он был писателем во всех отношениях передовым. Однако он не был ре-

волюционером. Вся позитивная часть его произведений нигде не поднимается выше общепринятой в то время христианской морали. Куприн хотя и продолжает до известной степени линию Толстого и Чехова, но не доходит до уровня Горького, который строил свои произведения на совершенно другой идейной основе. Одним словом, Куприн более принадлежал прошлому, чем будущему. И все же благодаря своему громадному таланту Куприн создал целый ряд поистине классических произведений. Такие вещи, как, например, «Листригоны», «Гамбринус», «Ночная смена», «Гранатовый браслет», «Олеся», были и навсегда останутся подлинными жемчужинами русской художественной литературы.

Куприн не понял Октябрьской революции и провел в эмиграции около двадцати лет. Если не считать прелестных отрывков из романа «Юнкера», годы эмиграции прошли для его творчества бесплодно, как, впрочем, и для всех русских писателей, оторвавшихся от родины. И в этом величайшая трагедия Куприна. Сколько бы он мог написать замечательных произведений, если бы остался на родине!

Куприн был слишком русским и слишком патриотом для того, чтобы примириться с положением эмигранта. В 1937 году он, уже старый и больной, все-таки нашел мужество сознаться в своей роковой ошибке и вернулся в Советский Союз.

Раньше я не был знаком с Куприным. Я пришел к нему в гостиницу «Метрополь» вскоре после его возвращения на родину и принес ему букетик мокрых левкоев. Я увидел маленького старичка в очках с увеличительными стеклами, в котором не без труда узнал Куприна, известного по фотографиям и портретам. Он уже плохо видел и с трудом нашел своей рукой мою руку. Трудно забыть выражение его лица, немного смущенного, озаренного слабой, трогательной улыбкой. Из-за толстых стекол очков смотрели очень внимательные глаза больного человека, сидящего проникнуть в суть окружающего. Это же выражение напряженного, доброжелательного удивления не покидало лицо Куприна все время, пока мы сидели на открытой веранде «Метрополя», а потом гуляли по центральным улицам Москвы, — советской Москвы! — такой нарядной, веселой и деловитой в этот яркий осенний день, полной солнца и цветов.

С жадным любопытством всматривался Куприн в черты нового мира, окружавшего его. Медленно переступая

ногами и держась за мой рукав, Александр Иванович то и дело останавливался, осматривался и шел дальше с мягкой, я бы даже сказал, «потусторонней» улыбкой на лице, как бы одновременно и встречаясь и навеки прощаясь со своей утраченной и вновь обретенной родиной.

Через год он умер...

На моем столе всегда лежат три томика сочинений Куприна, говорящих о том, что старый писатель окончательно и навсегда вернулся на родину, к своему народу, который он так любил и который отвечал ему полной взаимностью.

1954

О ГОРЬКОМ

Максим Горький был человек необыкновенно многогранный, интересный. Как у каждого большого человека, настоящего самородка, гениального художника, у Горького был очень сложный, даже подчас противоречивый характер. В нем удивительно сочетались самые разнообразные элементы: ясное, почти детское простодушие и упрямая несговорчивость, безграничная доброта и непримиримость, пронизательность и доверчивость, веселье и грусть. Он умел быть то по-стариковски вдумчивым и мудрым, то совсем по-юношески порывистым и дерзновенным.

Однажды мы провели с Горьким в Сорренто великолепнейший вечер, даже ночь, которая пролетела, как сон. Мы разговаривали до зари, смотрели на звезды, пели хором, гуляли, плясали. И Горький плясал больше всех. Прощаясь на рассвете, я спросил у него:

— Алексей Максимович, сколько же вам лет?

— Семнадцать! — ответил Горький, озорно сверкнув глазами, хотя ему в ту пору было едва ли не все шестьдесят. Он как раз в это время писал свою самую мудрую и самую зрелую вещь — «Жизнь Клима Самгина».

Вот какой человек был Алексей Максимович.

Но при всем том в характере Максима Горького была одна наиболее ощутимая черта, которая явно выделялась среди всех других и благодаря которой Алексей Максимович Пешков и стал великим Максимом Горьким. Эта черта была партийность. Горький до мозга костей был человек партийный, хотя формально к партии и не принадлежал. Для художника — партийность есть не только формаль-

ная принадлежность к партии. Чувство партийности нужно неуклонно и постоянно воспитывать. Воспитывая нас, своих младших братьев, советских писателей, Горький всегда старался привить нам любовь и преданность к Коммунистической партии. Горький знал, что партийность не есть какое-нибудь прирожденное качество человека. Не приходится сомневаться, что Горького-партийца, Горького-большевика воспитал Ленин. Это исторический факт громадного общественно-политического значения. Все мы знаем и никогда не должны забывать о той дружбе, которая в течение многих лет связывала Ленина с Горьким. Дружеские чувства не мешали Ленину со всей прямоотой и чисто ленинской, беспощадной принципиальностью руководить Горьким, подчас указывать Горькому на его ошибки и дружеской, но твердой рукой направлять творчество великого писателя. Переписка Ленина и Горького является для нас убедительным примером высокой, требовательной, принципиальной дружбы партии с литературой.

В период столыпинской реакции, ведя самоотверженную и поистине титаническую работу по выковыванию пролетарской партии нового типа, среди множества забот, в самый разгар борьбы за очищение рядов российской социал-демократии от всяческой меньшевистской скверны, от ликвидаторов и отзовистов, от махистов и богостроителей, Ленин ни на минуту не забывал о Горьком и постоянно держал его в курсе всего хода борьбы. Он всегда спешил обрадовать Алексея Максимовича каждой новой победой и не уставал разъяснять Горькому смысл развивающихся событий. Со своей стороны, Горький делился с Лениным многими своими самыми сокровенными мыслями, связанными с той великой исторической битвой, которая с особенной силой разгорелась перед первой мировой войной. Именно в это время выковывалось мировоззрение Горького.

В первые годы Советской власти Горький с головой окунулся в дело организации нового, социалистического общества. Вот как об этом времени вспоминает сам Горький в письме Павловичу:

«Я слишком часто обременял его (Ленина.— В. К.) в те трудные годы различными «делами» — Гидроторф, дефективные дети, аппарат для регулирования стрельбы по аэропланам и т. д.— великолепнейший Ильич неукоснительно называл все мои проекты «беллетристикой и романтикой». Прищурит милый, острый и хитренький глаз

и посмеивается, спрашивает: «Гм-гм, опять беллетристика?»

Но иногда, высмеивая, он уже знал, что это не «беллетристика». Изумительна была его способность конкретизировать, способность его «духовного зрения» видеть идеи воплощенными в жизнь.

И дальше, со свойственной ему откровенностью, Горький пишет:

«Я написал о Владимире Ильиче плохо. Был слишком подавлен его смертью и слишком поторопился выкричать мою личную боль об утрате человека, которого я любил очень. Да».

Вот каково было отношение Горького к Ленину.

Свою любовь к Ленину, к Коммунистической партии Горький всегда старался привить и нам, молодым писателям. Он приложил много усилий, чтобы сделать советскую литературу партийной. В этом его колоссальная заслуга не только перед советским народом, но и перед народами всего мира, потому что наша советская литература должна служить всему трудящемуся человечеству.

Своей внутренней, если можно так выразиться, духовной партийностью я во многом обязан общению с Горьким. Но не только с Горьким. Долгие годы дружбы с Маяковским и Демьяном Бедным укрепили во мне глубочайшее убеждение, что, для того чтобы написать что-либо порядочное, полезное для народа, нужно твердо стоять на позициях коммунизма.

Теперь же, дожив до седых волос, я могу сказать с полным сознанием, что только подлинная, глубокая, продуманная и прочувствованная партийность может сделать наш художественный труд нужным людям и помочь создать действительные ценности. В этом все дело.

Это так просто и ясно!

Об этом свидетельствует пример дружбы между Лениным и Горьким. Теперь уже нет с нами Ленина и нет с нами Горького, но есть ленинская партия, и есть Союз советских писателей. И большая, серьезная, творческая дружба между ними продолжается.

Будем же любить нашу партию так, как любил Горький Ленина! Пусть эта любовь с каждым годом растет и крепнет, и тогда нам не страшны никакие трудности художественные и политические!

Подводя некоторые итоги, я вспоминаю случаи, сыгравшие довольно большую роль в моей судьбе, в понимании роли писателя.

Я столкнулся с жизнью народа и по-настоящему понял, какую силу содержит печатное слово, попав на фронт первой империалистической войны. Я мысленно зачеркнул тогда почти все написанное мной раньше и решил, что отныне буду писать только то, что может принести пользу рабочим, крестьянам, солдатам, всем трудящимся людям.

В 1919 году, будучи в рядах Красной Армии, идя бок о бок с революционерами-красноармейцами против денкинских банд, я дал себе слово посвятить свое перо делу революции.

Я считаю возможным говорить об этом потому, что многие наши писатели участвовали в гражданской и Отечественной войнах, словом и делом воодушевляя бойцов. Военным корреспондентом был Александр Серафимович. С дальневосточными партизанами делил хлеб и воду Александр Фадеев. Дмитрий Фурманов был комиссаром Чапаевской дивизии. Николай Островский сражался с интервентами на Украине. Михаил Шолохов воевал с белыми бандами. Эдуард Багрицкий отправился на фронт с агитпоездом. На полях Великой Отечественной войны пали смертью храбрых свыше 200 советских писателей, чьи имена вырезаны на мраморной доске в Доме литераторов.

Мое детство совпало с революцией 1905 года. Мне было восемь лет. Но я хорошо помню, как встретили восставший броненосец «Потемкин», как он прошел под красным флагом мимо берегов Одессы. Я был свидетелем баррикадных боев, видел опрокинутые конки, упавшие провода, браунинги, ружья, человеческие трупы.

Через много лет после этого я написал «Белеет парус одинокий». Это произведение было навеяно свежим дыханием жизни, рожденной первой революцией.

«Я — сын трудового народа...» — это воспоминания о фронте первой мировой войны, где мне пришлось воевать.

Когда началось строительство Днепростроя, я поехал туда вместе с Демьяном Бедным. Оттуда мы отправились в донские и волжские колхозы, потом — на Урал.

Помню, остановился наш поезд у горы Магнитной. Меня так поразило все вокруг, что я решил немедленно сойти с поезда и остаться в Магнитогорске.

— До свидания, Ефим Алексеевич! — сказал я Демьяну Бедному, спрыгнув с вагонной подножки.

— Будьте здоровы, желаю вам успеха! — ответил он. — Очень жаль, что я не так молод, как вы, и придется вернуться в Москву. А то бы я с удовольствием остался здесь.

Я был восхищен грандиозностью всего увиденного на Магнитке, величайшим энтузиазмом народа, который строил для себя. Это тоже была революция. Тогда появилась моя книга «Время, вперед!».

Потом война. Я был корреспондентом на фронте и многое увидел. Но почему-то больше всего запомнил мальчиков — обездоленных, нищих, угрюмо шагавших по дорогам войны. Я увидел русских солдат. Измученные, грязные, голодные, они подбирали несчастных детей. В этом была великая гуманность советского человека. Они дрались с фашизмом, и, значит, они тоже были светочами революции. Вот почему я написал «Сын полка».

Я считаю, что прожил интереснейшую жизнь. Я вижу наконец то, к чему стремились в 1917 году, вижу, для чего мы совершили технический переворот, строили Магнитку, ради чего умирали мои друзья на фронте...

Меня всегда волновал вопрос: «Что значит быть советским писателем?» Ответ на него я получил так...

Это было давно. Придя однажды домой, я нашел в почтовом ящике длинный конверт с иностранными марками. Вскрыв его, я прочитал приглашение от известного буржуазного литературного объединения Пеп-клуб участвовать в очередной конференции этого клуба в Вене. Я был тогда молодым писателем, приглашение это мне очень польстило, и я стал рассказывать всем встречным и поперечным, какой мне оказан пслыханный почет. В одной из редакций я встретил Маяковского и, конечно, показал ему это заграничное письмо. Владимир Владимирович, в свою очередь, спокойно достал из кармана пиджака точно такой же элегантный конверт.

— Вот. И меня тоже пригласили, — сказал он. — Но я не хвастаю. Потому что пригласили меня, конечно, не как Маяковского, а как представителя советской литературы! И вас — тоже. Понятно? Подумайте, Катаич (так он называл меня в добрые минуты), что значит быть писателем Советской страны!

Слова Маяковского запомнились мне на всю жизнь. Я понял, что своими творческими удачами обязан воспитавшему меня советскому народу. Я понял, что быть советским писателем — это значит идти в ногу с народом, рав-

пясь на партию, быть всегда на гребне революционной волны.

Есть у меня рассказ «Флаг», написанный, как говорится, на фактическом материале. Содержание его таково. Фашисты окружили наших воинов и предложили им сдаться. Но вместо белого флага наши вывесили алый стяг, сшитый из кусков красной материи разных оттенков.

Наша советская литература тоже составлена из многих произведений разных оттенков, которые в целом горят, как огненно-красное знамя революции.

Однажды, гуляя по Шанхаю, я случайно зашел на рынок, где находится так называемый «Храм мэра города». Там продают для верующих свечи. За столиком стоит старая китайка, она достает из двух ваз странные палочки. Вы платите десять юаней, женщина разрешает вытащить одну палочку с иероглифами. Потом справляется в книге, спрашивая, какая у вас на палочке помечена страница. И вот эту страницу она вырывает и отдает вам. На моем листике было написано: «Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках».

Императрицы у нас нет. Эта часть предсказания отпадает. Весьма сомнительно, что мое имя останется в веках. Тоже отпадает.

Остается только одно — «Феникс поет перед солнцем». С этим я согласен. Солнце — это моя родина...

1957

ЧЕХОВ

Двадцать пять лет тому назад, в Таганроге, в чеховские дни Мария Павловна, сестра Чехова, рассказывала мне о том, как работал Антон Павлович.

Этот рассказ навсегда врезался мне в память.

— Антоша!

Не слышит.

— Антошенька! Посмотри на часы. Уже полчаса восьмого.

— Погоди, Маша.

— Опоздаем в театр.

Молчит.

А сам все пишет. Быстро-быстро. И не смотрит на бумагу. Шея вытянута. Глаза неподвижно устремлены куда-то вдаль, широко открыты и светятся, как плоски.

Мария Павловна именно так и сказала: как плоски.

Удивительно живо представилась вся картина: пишущий Чехов с глазами как плоски. В это время он ничего не видел и не слышал вокруг себя. Все происходило в нем. Это была таинственная, сокровенная минута перевоплощения — самое драгоценное свойство подлинного художника.

Без этого дара перевоплощения, когда художник является в одно и то же время и творцом, и собственным творением, — писатель, как бы талантлив он ни был, никогда не станет великим.

Антон Чехов был писатель великий. У него был врожденный дар перевоплощения.

Он вышел из низов. Из самой гущи народной. Его дед был крепостной.

«Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости, — писал Чехов Суворину, обобщая судьбу целого поколения русской разночинной интеллигенции, вышедшей из народа. — Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чиновничестве, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Вот чего страстно желал, вот что неутомимо проповедовал Чехов, во имя чего жил: чтобы в жилах людей текла не рабская кровь, а настоящая человеческая!

Это была основная тема его творчества.

Подобно другому русскому человеку из гущи народной — Ломоносову, Чехов не только «выбился в люди», как принято было раньше высокомерно говорить о таких талантах из низов, но стал гордостью русского народа, пашей лучшей славой, наряду с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским.

На любви к Чехову сходятся люди самых различных, а подчас даже и прямо противоположных вкусов. Он при-

знан всеми. Мне еще никогда не встречался человек, который сказал бы, что ему не нравится Чехов.

При мне спросили Маяковского, кого он любит больше всего из русских писателей, и он, не задумываясь, сказал: «Чехова!»

В этой связи я вспомнил другое высказывание Маяковского о Чехове, еще до революции, когда совсем юный Маяковский считал себя футуристом и по молодости лет ниспровергал «с парохода современности» Толстого, Достоевского, Пушкина и других классиков.

Вот что, между прочим, говорилось в статье Маяковского «Два Чехова», где он достойно приветствовал Чехова как одного из династии «Королей Слова»:

«Понятие о красоте остановилось в росте, оторвалось от жизни и объявило себя вечным и бессмертным...

...А за оградой маленькая лавочка выросла в пестрый и крикливый базар. В спокойную жизнь усадеб ворвалась разноголосая чеховская толпа адвокатов, акцизных, приказчиков, дам с собачками...

...Под стук топоров по вишневым садам распродали с аукциона вместе с гобеленами, с красной мебелью в стиле полуторы дюжины людовиков и гардероб изношенных слов».

Здесь Маяковский явно имел в виду знаменитый «многоуважаемый шкаф».

«Из-за привычной обывателю фигуры ничем не довольного нытика, — пишет далее Маяковский, — ходатая перед обществом за «смешных» людей, Чехова — «певца сумерек», выступают линии другого Чехова — сильного, веселого художника слова».

Как видите, молодой Маяковский со свойственным ему своеобразием выступил на защиту памяти Чехова от тех критиков, которые всю жизнь мучили Чехова, называя его «нытиком», «певцом сумерек», «хмурым человеком» и прочими вздорными определениями.

Самое замечательное заключается в том, что мнение Маяковского о Чехове оказалось весьма близким по духу к пониманию Чеховым самого себя.

«Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником...» — говорит Чехов в письме к поэту Плещееву.

Чехов в этом еще сомневался!

Он был не просто большим художником. Он был художником громадным. Гением. И если разобраться, он

действительно всегда твердо держался своей благородной программы, которая жива в мире и поныне.

Интересно мнение о Чехове и Анри Барбюса. Однажды он спросил меня, кого из французских писателей я ставлю выше всего. Я назвал несколько прославленных имен, в том числе Мопассана.

— Мопассан! — воскликнул Барбюс в сильнейшем волнении. — Нет, вы шутите! Как! Вы, русский, можете назвать великим писателем Мопассана, в то время как у вас есть такой действительно великий, действительно гениальный, ни с чем не сравнимый писатель, как Антон Чехов!

А ведь еще на моей памяти считалось большим комплиментом Чехову, когда говорили, что он русский Мопассан.

Русский читатель признал и полюбил Чехова прежде, чем современная критика поняла его истинные масштабы. Даже после смерти писателя в энциклопедии «Просвещение», в статье Скабичевского, который прославился своим полным непониманием значения Чехова, Антон Павлович квалифицирован всего лишь, как «известный беллетрист».

Невероятно, но это так!

Будучи писателем всемирным, Чехов прежде всего — писатель русский. В нем соединились все лучшие качества русского национального характера: ум — широкий, свободный, независимый, гордый; правдолюбие, неутомимое стремление к истине, горячая любовь к своей родине и к своему народу, бескорыстное, подвижническое служение этому народу.

И конечно, — поразительный талант.

Все эти качества позволили Чехову не только очень глубоко, до самого дна проникать в самую суть всех явлений жизни, но и осветить их беспощадно ярким светом своего разума, без чего художник не в состоянии создать сколько-нибудь достоверные характеры, а тем более картину общества.

Говоря о писательском таланте, как теперь принято говорить — мастерстве, Чехова, я имею в виду ту высшую простоту, скромность художественных средств, которые в руках подлинного художника стоят гораздо дороже самых изысканных словесных построений и метафор, многозначительных архаизмов и кустарных подделок под якобы народную речь в духе чеховского Елиходова, — словом, без всего того ложнохудожественного, что многие критики и до сих пор еще продолжают самоуверенно называть «соч-

нов», «красочно» и чего, по свидетельству Ивана Бунина, Чехов терпеть не мог.

«Красочно» — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!» — говорил Чехов.

В смысле простоты изобразительных средств, и в первую очередь языка со всей его возможной точностью, краткостью и ясностью,— Чехов является продолжателем лучших образцов классической русской прозы, которые нам подарили Пушкин и в особенности Лермонтов в «Герое нашего времени».

Недаром же Чехов так восхищался «Таманью», считая ее лучшим русским рассказом.

Кроме Льва Толстого, никто из современных Чехову писателей не мог сравниться с ним по силе языка и вместе с тем по его удивительной прозрачности, почти неощутимости, в чем, как мне кажется, Чехов зачастую превосходил даже самого Толстого.

Чехов был новатором в области литературной формы. Подобно тому как Пушкин преобразовал русский стих, приблизив его к живой разговорной речи, так же и Чехов преобразовал русскую прозу, сделав ее язык более сжатым, емким, почти стереоскопически объемным и также еще более разговорным, демократическим, народным.

Его новаторство, между прочим, заключалось также и в том, что он не усложнял тех элементов русской прозы, которые были выработаны до него целыми поколениями писателей, и не привносил в художественную ткань различные изобразительные красоты и излишества, а, напротив, строжайше очищал язык от всего лишнего, в течение многих лет выросшего на нем, как ракушки на киле корабля. Как бы это лишнее ни казалось красивым, заманчиво художественным, Чехов его беспощадно устранял, оставляя только то, что было абсолютно необходимым.

Этим и объясняется та волшебная легкость, с которой каждая созданная Чеховым фраза, каждая мысль доходят до сознания и мгновенно усваиваются, не требуя от читателя никакого дополнительного умственного напряжения. В его рассказах нет ничего лишнего. Оттого-то Чехов, как принято говорить, так «легко читается». Чем проще, тем легче.

Эта высшая простота — плод неутомимого писательского труда, громадного творческого усилия. Она дается лишь истинному таланту.

Известно, как нежно любил Чехова Лев Толстой. По его мнению, никто не двинул русскую прозу так далеко

вперед, как Чехов. Толстой назвал Чехова Пушкиным русской прозы. До настоящего времени еще никому из русских писателей не удалось в области формы пойти дальше Чехова.

Он достиг величайшего совершенства в умении слить два элемента художественной прозы — изобразительный и повествовательный — в единое целое. До Чехова повествование и изображение, обычно даже у самых тонких мастеров, например Тургенева, за исключением разве Толстого и Достоевского, почти всегда чередовались, не сливаясь друг с другом. Описание шло своим чередом, повествование — своим: одно после другого.

У чеховского Тригорина, наблюдательного беллетриста, облако похоже на рояль. Недурно. Пахнет гелиотропом: приторный запах, вдовий цвет. Вдовий цвет — совсем хорошо. Даже отлично. Наконец, известное тригоринское описание лунной ночи: на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот вам и лунная ночь. Ничего не скажешь. Похоже. Ну и что же? Перефразируя знаменитое изречение Гете по поводу похожего нарисованного мопса, можно сказать: одной лунной ночью больше, только и всего.

Но Чехов не Тригорин. Хотя, по сути дела, Тригорин цитирует рассказ самого Чехова «Волк». У Чехова изображение лунной ночи настолько тесно слито с повествованием о движении человеческой души, с течением жизни, что уже представляет собой не просто неподвижную картину, пейзаж, а нечто неизмеримо большее и качественно совсем другое.

Например, чеховская лунная ночь из повести «Три года».

Здесь нет ни щегольской подробности разбитой бутылки, отражающей луну, ни приторного запаха гелиотропа.

Просто: «Ночь была тихая, лунная, душная; белые стены замоскворецких домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили, в общем, впечатление какой-то крепости, и недоставало только часового с ружьем. Цвела черемуха... Каждый уголок в саду и во дворе напоминал ему далекое прошлое. И в детстве так же, как теперь, сквозь редкие деревья виден был весь двор, залитый лунным светом, так же были таинственны и строги тени, так же среди двора лежала черная собака и открыты были окна у приказчиков».

Все удивительно скромно, буднично. Но дело в том, что все это пропущено через душу героя повести Лаптева, сли-

лось с его мыслями, чувствами, со всей его личностью, даже черная собака посреди залитого лунным светом двора, которая, как сказано у Чехова, «валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, радостна. И ему (Лаптеву.— В. К.), и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию...».

В этом поразительном слиянии изобразительного с повествовательным — одно из открытий Чехова.

У Чехова почти никогда не бывает безлюдных пейзажей. У него пейзаж слит с человеком. Пейзаж и человек дополняют друг друга. Вот в чем принципиальная разница между пейзажем Чехова и пейзажем Левитана, хотя почему-то принято их считать очень родственными. А по моему, ничего похожего.

Чехов достиг величайшего совершенства в умении коротко, сжато, как бы вскользь, между прочим и почти незаметно для читателя, дать законченный портрет человека. Причем это вовсе не эскиз, не беглая подмалевка. Нет. Это нечто вполне законченное, даже документальное.

Дар перевоплощения помогает Чехову найти для каждого персонажа свой стиль, неповторимую интонацию. Чехов поразительно музыкален.

Свои повести и рассказы он строит, как стихотворения, подчиняя их строгой, сжатой ритмической форме. Это позволяет ему в маленькую повесть вместить такое количество материала, которого для другого писателя с излишком хватило бы на целый роман. Такая маленькая повесть-роман тоже одно из открытий Чехова. До него так емко не писали, да и после него, откровенно говоря, так писать еще не научились.

Развитие этого чеховского открытия — впереди.

Это одно делает Чехова совершенно новым, оригинальным явлением не только русской, но и мировой литературы.

Я не говорю уже о поразительном многообразии Чехова-писателя: и миниатюры, и повести, и драмы, и водевили, и записные книжки, которые, кстати сказать, после Чехова стали особым литературным жанром.

Чехов создал громадную галерею типов и характеров всех классов современного ему общества.

С поразительной достоверностью он изображал мужиков и помещиков, министров и белошвеек, офицеров, жандармов, купцов, рабочих, капиталистов, священников, лакеев, хористок, кондукторов, матросов и великое множество прочих жителей Российской империи.

При этом каждый человек, как бы мало ему ни было отведено автором места,— не условная фигурка, не иероглиф, а подлинный, живой, многогранный человеческий характер с неповторимыми чертами, целое общественное явление со всеми своими большими или малыми противоречиями.

Понятно, что этого достигнуть простым «изучением действительности» нельзя. Нужно горячо любить свою родину, свой народ. Будучи человеком из народа, Чехов всегда жил народными интересами, жил для народа.

«Но ведь я не пейзажист только,— говорит чеховский Тригорин,— я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о пароде, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека...»

Можно не сомневаться, что это были и мысли самого Чехова, написавшего в записной книжке:

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья...»

Чехов умел и любил изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых женщинах, о детях, о животных, о птицах. И все, к чему ни прикасалась его добрая большая рука, начинало светиться радостной, теплой улыбкой. Но в основном он, конечно, был художник-разоблачитель. На первый взгляд он кажется мягким, даже лиричным. Но вчитайтесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почувствуете беспощадного сатирика, силой своей, на мой взгляд, ничуть не уступающего Щедрина или Гоголю, а кое-где и превосходящего их жизненным правдоподобием, художественной достоверностью.

Его сатира зачастую облечена в скромные бытовые одежды. Но тем неожиданнее и сильнее она действует.

При внешне спокойной, даже как бы холодноватой манере, Чехов с такой глубиной и внутренней страстностью вскрывает пороки отдельных людей и всего общества, что иначе как великим сатириком его не назовешь.

Он рубит под самый корень ненавистный ему мир русского мещанства и обывательщины, с неслыханной силой он бичует, беспощадно высмеивает человеческую жадность, жестокость, самодовольство, глупость, чванство, бездарность, стяжательство. Он, например, за уши вытаскивает на свет божий и показывает всему миру опасного тупицу, дьявольски живучую разновидность «научнообразных» в лице профессора Серебрякова, который, как об

этом в отчаянии восклицает несчастный дядя Ваня, «ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Двадцать пять лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре; двадцать пять лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно: значит, двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее». Чехов показывает также страшную и на вид такую безобидную миленькую мешаночку Наташу из «Трех сестер», а на самом деле беспощадную хищницу, исчадие ада, воплощенное мещанство — злобное, воинствующее и омерзительное. Чехов выставляет на всеобщее обозрение мракобеса, человеконенавистника, настоящего современного расиста Рашевича из рассказа «В усадьбе» с его: «В харю! В харю! В харю!» — и холодного эгоиста, петербургского чиновника, консерватора Георгия Орлова из «Рассказа неизвестного человека».

Чехов, конечно, не был революционером. Но дело, которое он делал, — беспощадная критика современного общества и государственного строя, — сыграло, мало сказать, прогрессивную роль, оно оказало определенно революционизирующее влияние на сознание сотен тысяч и даже, быть может, миллионов его прижизненных читателей.

Молодой Ленин, прочитав в журнале рассказ «Палата № 6», так выразил свое впечатление:

«Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

Это, быть может, самое драгоценное для нас свидетельство силы чеховского гения.

Художественное сознание Чехова не отставало от жизни, что постоянно случается с писателями среднего таланта. Наоборот. Сознание Чехова почти всегда опережало время. А быть впереди своего времени — это и есть главный признак подлинного художника.

Опережая свое время, Чехов был предвестником новой, светлой жизни, которую угадывал в будущем.

Он говорил о гармоническом человеке, в котором «должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Но в том страшном мире капитализма, в котором жил Чехов, это было неосуществимо.

Нужна была революция.

«...здоровая, сильная буря, которая идет, уже близ-

ка», — говоря словами чеховского Тузенбаха из «Трех сестер».

Эта буря, эта громада была Великая Октябрьская социалистическая революция, с ее бессмертными коммунистическими идеями. Только она одна могла превратить раба в свободного, гордого, гармонического человека, о котором всю жизнь так страстно мечтал Чехов.

Страстная, беспокойная, горячая любовь Чехова к своей родине и к своему народу была не пассивна и не сентиментальна. Это была любовь деятельная, требующая вмешательства художника в жизнь, освещающая все пороки общества для того, чтобы народ мог их познать, а познавши — уничтожить.

Чехов не был созерцателем. Он был борцом.

Он говорил: «Все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Популярность Чехова не только в нашей стране, но и во всем мире — огромна.

За сто лет со дня его рождения в истории человечества произошли такие грандиозные события, как Великая Октябрьская социалистическая революция, две мировые войны, появление могущественного социалистического лагеря, начало распада колониальной системы, расщепление атома, завоевание космоса и множество другого, что можно назвать началом эры коммунизма на земном шаре.

Однако Чехов выдержал испытание временем. Он не только пережил это потрясающее столетие, но слава его небывало выросла и, что самое замечательное, продолжает расти.

Чехов из писателя национального стал писателем всемирным.

Нечего и говорить, как много мы все, вся советская литература, обязаны своим развитием гению Чехова.

Влияние чеховской школы явственно ощущается во всем мире. Нет возможности перечислить всех крупных писателей пяти континентов нашей планеты, в той или другой степени испытавших на себе влияние Чехова. Достаточно назвать таких поистине громадных художников нашего времени, как Томас Манн, Голсуорси, Мартен дю Гар, Лу Синь и многие, многие другие.

Чехов по-прежнему продолжает учить свой народ и все другие народы мира ненавидеть мещанство. Он и сегодня бичует стяжательство, грубость, лицемерие, ложь, расизм, человеконенавистничество, преклонение перед золотом — все пороки, доставшиеся в наследие от старого

мира, время которого не всюду на земном шаре еще истекло.

Богатейшая галерея носителей этих пороков — человеческих типов, созданная Чеховым в его книгах и в его неповторимом новаторском театре, о котором следует говорить отдельно, ежедневно помогает нам распознавать как бы с помощью беспощадного чеховского рентгена ткани мирового общества, местами пораженные, как раком.

Весь мир празднует сейчас радостный день рождения Антона Чехова, великого русского и всемирного писателя-новатора, гуманиста, учителя.

Есть нечто глубоко знаменательное в том, что столетие со дня рождения Чехова отмечают во всем мире сотни миллионов людей, которые хотят, чтобы наша земля была не атомным полигоном, а прекрасным садом и небо было в алмазах, как об этом часто мечтали и чеховские герои, и он сам.

1960

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПИКАССО

В области живописи я человек несведущий. Я ее просто люблю. Иногда мне кажется, что живопись — моя вторая душа. Этого, конечно, слишком мало для того, чтобы давать глубокие оценки творчества любого художника, в особенности такого противоречивого, как Пикассо, но вполне достаточно, чтобы выразить свои эмоции, тем более что, по-моему, живопись — родная сестра литературы.

Я хочу засвидетельствовать свое почтение и выразить изумление громадным талантом знаменитого французского художника по случаю его 80-летия.

Позволю себе сказать всего лишь несколько слов.

Пабло Пикассо принадлежит к числу тех живописцев, вокруг которых всегда идет горячий спор. Я даже не побоюсь слова «скаandal». Так было раньше, когда молодой Пикассо выставил первые свои полотна, так обстоит дело и по сей день.

Совсем недавно очередной скандал разгорелся на французской выставке перед одной из последних картин Пикассо.

Существует мнение, что на Западе давно примирились с Пикассо, безоговорочно его признали и лишь в таком

«отсталом» городе, как Москва, возможны дебаты по поводу Пикассо.

Но это совсем неверно. Недавно в Париже, в туалетной комнате выставки молодых художников, я видел на стене размашистую, запальчивую надпись карандашом: «Вив Матисс! А ба Пикассо!»

Стало быть, в «передовом» Париже до сих пор ниспровергают Пикассо.

Впрочем, Франция — страна весьма традиционная, а Париж — город, где слава держится очень прочно, в течение десятилетий, если не столетий. Тридцать лет назад, я помню, о Пикассо в Париже говорили то же самое, что и сегодня, и он был в такой же моде.

Еще до первой мировой войны Пикассо был признан гением, и — я уверен — эта репутация будет держаться прочно.

Пикассо уже не личность, а явление. Он стал неким коэффициентом, который, говоря о любых проблемах живописи, ставят перед квадратными скобками. Если говорят, например, об Эль Греко, то непременно заметят: Эль Греко — это тогдашний Пикассо. Если где-нибудь в пещере находят рисунок, сделанный рукой первобытного человека, то восклицают:

— Посмотрите, как чудесно нарисован мамонт, прямо-таки Пикассо.

Мне кажется, что гений Пикассо в том, что у него мировая душа. Мировая как в пространстве, так и во времени.

Многие из современных взрослых, образованных, искушенных в жизни людей не понимают Пикассо. Однако я заметил, что дети его отлично чувствуют. У меня есть внучка Тинка, ей нет еще и трех лет. Мы рассматривали с ней репродукции современной живописи. Я показал ей «Ню дан зюн ороре» Пикассо, работы 1908 года, и спросил: «Кто это?» — «Тетя», — сразу ответила Тинка. Затем я показал ей «Портрет d'Ambroise Vollard», работу 1910 года — нечто невероятно кубистское, и моя Тинка на вопрос: «Кто это?» — в одну секунду разгадала ребус и безошибочно сказала: «Дядя». Действительно, это был дядя, хотя и составленный из кубиков и треугольников.

У Пикассо детская душа, чистая, первобытная, ясная. Его искусство отнюдь не «инфантильно», как, например, живопись Анри Руссо, а именно говорит о душевной ясности и чистоте, без малейшего жеманства.

Пикассо пришел в живопись, как аналитик. Перед ним стоял прекрасный гармонический мир: люди, деревья, облака, дома, солнце. Но он не захотел копировать этот мир, как делали до него. Он захотел его сначала исследовать, разъять, разложить на части, разрезать на кубики, посмотреть, что в середине, внутри этой «божественной гармонической красоты». Он стал кубистом. И запутался среди своих кубиков. Разложить-то он мир разложил, но собрать не сумел. Или, вернее, сумел, но не сразу. Много лет потребовалось Пикассо, чтобы путем невероятных усилий создать из своих кубиков новый мир. Этот новый мир еще и сейчас не вполне совершенен, так как некоторые кубики попали не на свое место или стали вверх ногами. Одним словом, Пикассо захотел, как пушкинский Сальери, проверить гармонию алгеброй. Но тем не менее Пикассо не Сальери. Если бы он был просто Сальери, ему не суждено было бы стать Пикассо. Он Сальери с душой Моцарта или Моцарт с душой Сальери — как вам будет угодно. Ибо только Моцарт мог бы создать свой голубой и розовый период, только Моцарт мог нарисовать голубя мира, или сделать легкие, строгие, классически прекрасные иллюстрации к Бальзаку, или, наконец, создать чудесный воздушно-легкий рисунок — портрет Юрия Гагарина, получеловека, полуптицу в крылатом шлеме, с детской улыбкой и голубем мира в руке,— портрет, репродукцию которого можно было видеть во всех эстампных магазинах Парижа гагаринской весной этого года.

Соединение Моцарта и Сальери, органическое слияние старческой мудрости с детской непосредственностью, наконец, традиционного с новаторским и есть то явление, которое мы называем Пабло Пикассо.

Смысл этого явления в том, что мир слишком велик, вселенная слишком разнообразна и человек слишком сложен для того, чтобы можно было изображать его внутренний мир, его сущность, применяя один какой-нибудь способ. Таких способов должно быть, по крайней мере, два. И Пикассо это доказал: способ анализа и способ синтеза. А настоящий гений, быть может, и должен иметь два лица и две души: душу Сальери и душу Моцарта. Таков Пабло Пикассо.

Как создается книга? Я считаю, что раньше всего появляется тема. Появляется и начинает мучить писателя. По мере того как она укрепляется в сознании, возникают и созревают образы людей, вещей, элементы будущего пейзажа. Сначала все это отрывочно, не связано, потом становится компактней, складывается в сумму впечатлений, которые давят на художника, требуют воплощения. И он уже не может ни о чем другом думать, ничем другим заниматься. Такое творческое самочувствие — самое главное для художника.

Что такое замысел? Как он возникает у писателя? Этого никто не знает. Все совершается почти неощутимо. Масса жизненных фактов проходит мимо вас. Вы что-то прочли, увидели, услышали — все скользит мимо. Но вдруг что-то останавливает ваше внимание, происходит нечто вроде электрической вспышки. Какое-то «внутреннее зажигание» от внезапного соприкосновения вашего сознания с внешним явлением, в котором есть для вас что-то важное. Вы чувствуете — вот то, что мне надо! И «оно» входит в ваше сознание, словно патрон в обойму, и должно выстрелить. Проходит некоторое время, «оно» созревает и выстреливает — появляется книга. Но может и не выстрелить, может «залежаться» в обойме — тогда никакой книги не будет. Во мне вечно, и раньше и сейчас, бродит масса сюжетов, которые еще не отстоялись; может быть, они не отстоятся никогда. Я охотно отдаю их другим, как в свое время отдал Ильфу и Петрову сюжет «Двенадцати стульев». Я вижу — тема хорошая, но не моя. А я беру тему только тогда, когда чувствую, что могу писать, движимый чем-то изнутри, без малейшего напряжения.

Был ли у меня с самого начала замысел *всего* цикла «Волны Черного моря»? Нет, конечно. Прежде всего, я не предполагал, что будет четыре книги, — ведь когда писалась первая книга, не было еще Великой Отечественной войны и я не знал, что она будет и что будут катакомбы, куда попадут мои герои. Был ли у меня замысел хотя бы первой книги — «Белеет парус одинокий»? Тоже нет. Первоначально был задуман *один* роман — «Хуторок в степи». Но когда я приступил к работе над ним, я стал думать: что предшествовало в общественной жизни событиям, которые должны были совершиться в книге? Начал копаться в биографиях своих героев, докопался до их детства и написал «Белеет парус одинокий». Могу ли я по-

этому сказать — когда, в какой момент, от какой электрической вспышки возник замысел этой книги? Со мной случилось примерно то же — извините меня за нескромную аналогию, — что случилось с Толстым. Он начал писать роман о декабристах, сделал экспозицию, а когда стал думать о своих героях — кем они были до декабрьского восстания, то дошел до 1812 года и начал писать «Войну и мир». Конечно же, это в известной мере роман и о декабристах, потому что Пьер Безухов, несомненно, был декабристом, Андрей Болконский стал бы им, если бы не был убит, и Николенька, сын Андрея, тоже был бы декабристом, если бы успел к тому времени стать взрослым.

«Белеет парус одинокий» я написал быстро, месяца в четыре, без малейшего напряжения, с тем ощущением внутренней свободы, которое сопутствует работе над *своей* темой. Может быть, отсюда и возникла уверенность, что книга написана правильно, уверенность, которая была настолько сильна, что я ни разу не возвращался к работе над повестью. Только теперь, после многочисленных русских изданий и семидесяти зарубежных, я впервые как следует, внимательно, от начала до конца перечитал роман и кое-что чуть-чуть в нем подправил.

Книга была закончена. Но судьбы героев и их место в событиях внешнего мира не были еще окончательно определены. Хотелось писать дальше. Это желание подогревалось читательскими письмами, которые шли ко мне в громадном количестве. Читатели требовали рассказа о том, что было дальше, что стало с Петей и Гавриком. И я решил писать «Хуторок в степи», то есть вернуться к теме первой задуманной мною книги.

Но в это время произошли мировые события, помешавшие моим планам. Началось обострение советско-германских отношений, и хотя еще не было известно, как и чем оно кончится, но в воздухе уже ясно ощущалось дыхание надвигающейся войны.

В те дни я много думал о том, что необходимо написать произведение, которое подняло и разожгло бы в сердцах и умах советских людей патриотические чувства, готовность идти на подвиг в защиту отечества. Но я думал об этом отвлеченно, не имея какого-либо определенного сюжета, еще не видя перед собой своих персонажей. Я искал. И вот однажды в «Правде» мне дали пачку хранившихся в сейфе материалов об интервенции на Украине и попросили срочно, отложив всякую другую работу, написать об этом. То были приказы генерала Гофмана,

командовавшего в 1918 году оккупационной германской армией на юге России, донесения партизанских отрядов того времени, выписки из немецкой прессы. Познакомившись с этими материалами, я вдруг ощутил в себе «магическую вспышку», и так же стремительно, как «Парус», написал «Я, сын трудового народа...».

Через полтора года началась война. На первых порах я ничего не мог писать, кроме военных корреспонденций. Позднее написал повести «Жена», «Сын полка». Таким образом, мои прежние планы были отодвинуты временно в сторону, уступив место вещам более созвучным событиям, духу времени, интересам народа.

В конце войны я попал в Одессу и узнал о героической борьбе моих земляков — партизан, укрывавшихся в катакомбах. Полный впечатлений от услышанного, от того, что я увидел в городе и в самих катакомбах, я вдруг понял, что в подвигах одесских партизан должны были участвовать, конечно, и мои старые герои. По горячим следам этих впечатлений я написал роман «За власть Советов!». С моей стороны, разумеется, было рискованно после первой повести сразу написать заключительную, не имея даже черновых набросков середины. Но что поделаешь! Сама жизнь вмешивалась все время в мой замысел, над выполнением которого я, в общей сложности, проработал двадцать пять лет.

Только после войны мне удалось вернуться к намеченному, но все еще не осуществленному плану — написать «Хуторок в степи», а вслед за ним «Зимний ветер», — соединившие начала и концы судеб Пети и Гаврика, разорванные событиями эпохи.

Интересно, что у меня всегда, еще с юношеских лет, было ощущение, что я живу в историческое время. Меня не покидало чувство, что в мире происходят большие события, то и дело нарушающие «нормальное» течение жизни. Я остро ощущал историзм эпохи, в которую живу, хотя вначале это чувство было приглушенным, неосознанным. Оно обострилось, когда мне стало семнадцать лет. Я даже писал тогда какой-то «эпохальный» роман с многозначительным и безвкусным названием «Звенья».

Полагаю, что не я один так воспринимал тогда окружающее. Мои сверстники тоже ощущали повседневные события как историю, свои записки и юношеские дневники — как летопись, а друзей и товарищей — не иначе как «современников». На меньшее мы не шли. И действительность в самом деле заслуживала того. Я помню, хоть и

смутно, русско-японскую войну, революцию 1905 года. Помню солдат, возвращавшихся с фронтов первой империалистической войны, участником которой я был. Ясно помню Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию, которую видел глазами уже двадцатилетнего юноши, с первых же дней всем сердцем принявшего ее идеи.

То, что происходило вокруг меня в детские и юношеские годы, мне казалось важным, я старался как можно больше вобрать в себя, запомнить, будто знал, что придет время, когда все это станет мне нужно как писателю.

Значит ли это, что цикл «Волны Черного моря» или отдельные входящие в него произведения — автобиографичны? Честно говоря, лишь в очень небольшой степени. Был, например, мальчик Гаврик, был его дедушка, была шаланда, в которой они выходили в море. Гаврика я хорошо знал, дружил с ним, его звали Миша Галий, у меня даже есть его фотография. Мы вместе играли. Все это автобиографично. Но так, пожалуй, можно утверждать, что и Роже Мартен дю Гар в «Семье Тибо» писал о самом себе. В какой-то мере, конечно, и о себе. Но это отнюдь не биография. Даже Бунин очень определенно заявлял, что «Жизнь Арсеньева» и в особенности «Лица» не автобиографичны, хотя эти события повести необыкновенно похожи на жизнь самого писателя. И позволю себе сказать, что чем больше они похожи на правду, тем больше они выдуманы. Недавно, будучи во Франции, я посетил могилу Романа Роллана, был в его доме в Бургундии, был в Кламси, где жила его бабушка, к которой он ходил мальчиком в гости. Это факты его биографии, и они рассказаны в «Жане-Кристофе». Но сколько же к этим фактам добавлено! Так что же, Ромен Роллан — это Жан-Кристоф? Конечно, в нем есть душа Жана, как есть в нем и душа Оливье. В каждом персонаже есть часть души художника, создавшего его. Героя нельзя просто выдумать, писатель должен «войти в него», ему он обязан отдать часть своей души и сердца: тогда писать легко. Автор никогда не должен говорить себе: «Я буду писать про Саньку или Митю». Нет, он должен *стать* Санькой или Митей, войти в их биографию, как в свою, перевоплотиться в воображаемый образ. Это очень трудно. Тут литератор приближается к искусству актера, только актеру много легче — у него есть кем-то написанная роль, и у каждого актера — своя роль. А писатель, создавая образы своих персонажей, сам поочередно перевоплощается в каждого из них.

Художнику с хорошо развитой фантазией, с подлин-

мым знанием жизни и людей это дается легче. Но как бы ни была чувствительна его творческая организация, ему все равно приходится непрерывно «упражняться» — ежедневно, ежесекундно наблюдать, присматриваться к окружающему. Горький рассказывал, что его любимым занятием было определять, глядя на людей, их профессию, угадывать, что они делали раньше, что будут делать в дальнейшем... Без знания, без постоянного внимательного наблюдения и изучения действительности невозможно создать в литературе подлинное разнообразие образов и характеров.

Чем глубже писатель сумеет войти в жизнь своего героя, перевоплотиться в него, тем правдивей и жизненней будет созданный им образ. Писатель на время должен как бы сделаться героем своего произведения. Если же я просто умозрительно представляю себе человека и заставляю его делать то, что я бы хотел, чтоб он делал, человек этот получится не объемной фигурой, а плоскостной. Я должен проникнуть в его психологию, как бы зажечь его жизнью. Для этого мне нужно поверить в него, поверить в его необходимость, в необходимость его поступков в предлагаемых обстоятельствах. Всецело поняв своего героя, как бы став им, я не смогу ошибиться, сделать его фальшивым. А уж тогда и читатель должен поверить в него.

Я чувствовал себя и Гавриком, мне приходилось на время воображать себя и мадам Стороженко и торговать раками.

Работая над романом «Хуторок в степи», я вдруг зашел в тупик. Влюбляются мальчик и девочка. И у них дело доходит до объяснения в любви, даже до ревности. Создаются такие обстоятельства, в которых они должны как-то выяснить свои отношения. А я не знаю, как же они будут вести себя дальше?! У взрослых все понятно, а мои герои еще дети, подростки. И вдруг я понял, что они подерутся. Для этого мне пришлось долго, мучительно перевоплощаться в этих ребят.

Что же это означает — перевоплощаться в героя, ощущать себя им? Конечно, для этого прежде всего нужно превосходно знать жизнь, любить ее, отчетливо представлять себе те обстоятельства, в которых действуют герои вашей книги. Для того чтобы создать убедительный, живой образ, образ, в который верит прежде всего сам писатель, надо знать и понимать общественную и бытовую основу этого образа. Надо отчетливо видеть человека во всем многообразии и сложности его жизненных связей, надо

глубоко и всесторонне знать то общество, эпоху, которые собираешься изобразить, с их главным содержанием, движением времени и идей.

Без досконального, конкретного знания жизни невозможно и воплощение ее в правдивых образах литературы.

Никакая «магия» перевоплощения не поможет писателю, который не любит жизнь, не понимает ее закономерностей, логики истории.

Как собирается образ? Путем наблюдений. Входит в комнату человек. Вы его увидели и запомнили. Он ушел и оставил какой-то след в памяти. Потом вы забыли о нем. Проходят месяцы, а иногда и годы, вы встречаете человека уже другого, и вдруг ощущаете словно легкий внутренний толчок, — вы уже когда-то видели человека, похожего чем-то на этого. И тогда возникает первое впечатление типичности. Второй, третий, четвертый — и создается обобщение, тип. Тогда вы начинаете верить в его типичность.

Вы увидели, скажем, вздорную бабу. Ага, я уже ее помню! Я много раз видел таких. Я знаю, как и чем живут подобные люди. И когда вы начинаете ее писать, вы стараетесь проникнуть в ее жизнь и зажить этой жизнью. Здесь главное — всегда думать: «Как бы я поступил, если бы это случилось со мной?»

Павка Корчагин — это во многом сам Н. Островский. Алексей Толстой в «Хождении по мукам» ощущал себя и Дашей и Телегиным. Флобер писал: «Мадам Бовари — это я!.. И сердце, которое я изучал, было мое собственное сердце».

Мне рассказывала сестра Чехова, как работал Антон Павлович. Вот он стал уже известным писателем. Он любил ходить в Малый театр. Он говорил: «Маша, мы идем сегодня в театр, у нас такие-то места в партере или в бельэтаже». «И пока я, — рассказывала Мария Павловна, — причесывалась и одевалась, Антон садился писать. Я уже готова, время идет, а я вижу, что он уже вне времени, — это уже не он, — внутри него что-то происходит. Он в это время — Дымов, или Попрыгунья, или Раневская».

Происходит постоянная огромная растрата душ писателей и, конечно, обогащение их.

Как рождается деталь?

Деталь — самое первоначальное впечатление. Это — первое живое наблюдение. Вот вы входите в комнату. Самое первое, свежее и непосредственное впечатление от этой комнаты и будет деталью, характеризующей ее. Опять вспоминается Чехов, сказавший, что его поразило в одном

ученическом сочинении определение моря: «Море было большое». И правда, вот вы увидели море: первое, что вам приходит в голову, — это то, что оно большое, огромное. Нужно все время воспитывать в себе свежее восприятие жизни. Смотреть на вещи, как будто вы увидели их в первый раз. При этом важно не только зрительное ощущение, но и внутреннее. Важно обязательно докопаться и до главного. Вот меня раздражает человек — это первое ощущение, но пока я не открою *чем* — я не успокоюсь.

Деталь собирается так же, как тип, как образ человека. Холодный осенний вечер. Ноябрь. Арбузная корка на дорожке. Она покрыта росой. Я увидел ее первый раз. А потом еще и еще. Приметы осени. Поздней. Роса, — значит, холодно. И так от одной подробности — к обобщению. Необходима непрерывная тренировка, надо все время воспитывать в себе наблюдательность, свежее, непосредственное восприятие увиденного.

Как герой воспитывает читателя? Я должен верить в героя. Я должен проникнуть в его психологию, должен поверить в него, как в реально существующего человека. Я не смогу зажить его жизнью, если я в него не верю. Так же и читатель. Тот герой воспитывает, которому веришь.

Вот написан так называемый «положительный» герой, в нем все правильно, а читатель ему не верит. Он не будет следовать его примеру, его жизни, если в нем есть фальшь.

Читатель говорит: «Я бы так не сделал, не подумал на его месте. Это — неправда». И мы говорим: герой — схема.

В Павку Корчагина поверил Островский, он знал его внутренний мир, жил его жизнью. И Павке Корчагину веришь. Этим и объясняется желание людей следовать примеру Павки. И в этом воспитательная сила лучших, правдивых образов нашей литературы.

Понятно, я не могу дать, да и никто никогда не давал «рецептов» создания литературных образов и художественных деталей. У каждого писателя есть своя, индивидуальная творческая манера, свое восприятие и видение действительности.

Я хотел просто поделиться своими соображениями, возникшими у меня в процессе моей писательской работы.

Когда я писал «Белеет парус одинокий», я видел перед собой живого Гаврика. Но *что* он делал и *как* он жил в часы, когда мы не были вместе, я не знал: я фантазировал. Никаких патронов подпольщикам мы, например, не

носили. Их носили другие мальчики — наши товарищи. Значит, это могли бы быть и мы. Поэтому я мог это придумать, как придумывал многое. Я фантазировал, и все, что я вспоминал, трансформировалось моим сознанием. Сохранялись лишь какие-то основные факты: место жительства, ближайшие родственные связи, дед Гаврика, его мечта купить парус, моя семья, профессия отца. Почти все остальное рождалось заново, и рождалось не из фактов, а из впечатлений детства. Я не тащил из действительности в книгу мелкие жизненные эпизоды, я брал краски с палитры живых детских воспоминаний, ощущений тех лет и ими расцвечивал все, что есть хорошего в моей повести, да и во всей моей жизни.

Так что «Белеет парус одинокий» не столь уж биографичен, как кажется. Много в нем выдуманно. Я не могу не выдумывать не только когда пишу, — это естественно для писателя, — но, даже рассказывая дома о каком-нибудь только что происшедшем со мной случае, тут же невольно что-то «добавляю». Есть поговорка: «Врет, как очевидец». Эту поговорку произносят обычно иронически, но в ней, собственно говоря, заключен зародыш «писательства».

Художник не может не выдумывать, не фантазировать — это его профессиональная особенность. Он комбинирует сотни фактов в один сюжетный эпизод, тысячи впечатлений облакает в один художественный образ. Вероятно, поэтому читатели часто узнают себя в персонажах, для которых автор на самом-то деле пользовался совсем другой «натурой». Известно, что трогательная, многолетняя дружба Чехова и Левитана едва не прервалась из-за одного недоразумения. Дело чуть не дошло до дуэли. Когда Чехов написал «Попрыгунью», Левитан посчитал, что это пасквиль на его знакомую даму и на него, резко упрекал в этом своего друга, а тот уверял, что у него и в мыслях не было ничего подобного и что образ Ольги Ивановны сложился из множества наблюдений за разными людьми, из сочетания впечатлений от различных встреч.

Недавно я получил письмо от неких «сестер А.», возмущенных тем, что я-де опозорил их семью, которую, по их мнению, описал в «Зимнем ветре». А я единственно, что взял от их семьи, — это имена четырех сестер, сохранившиеся в моих юношеских воспоминаниях. Все остальное, вплоть до фамилии, изменено. Ошибка «сестер А.» заключается в том, что они, узнав в моих девушках какие-

то свои черты, потребовали от меня полной исторической достоверности. Но «Зимний ветер», как и весь цикл «Волны Черного моря», — не исторический роман, а чисто лирический, на девять десятых «выдуманный». Я бы хотел, чтоб именно так его воспринимали читатели.

Историческую окраску придают роману документы, которые в силу ряда обстоятельств мне приходилось вводить в повествование. Это было требование времени и, не скрою, некоторых редакторов, более настойчивых, чем автор. Мне говорили: «Вы показали одесских партизан в подполье. А как они вели себя «наверху»? И я вписал большую часть — порт — который, как я сейчас понял, вписывать не следовало. У меня, как о свершившемся факте, было сказано, что Одесса взята немцами. Меня спрашивали: «А как это произошло? При каких обстоятельствах?» И я добавлял массу лишних подробностей. Роман «За власть Советов!» был особенно перегружен ненужными деталями, необязательными персонажами. Все это я теперь выбросил. Сокращения составили шестнадцать печатных листов. Было трудно. Сокращать всегда трудно. Но я понимал, что это на пользу роману: отпадет кое-что лишнее, четче обнаружатся и «заиграют» основные линии, многие сюжетные мотивировки станут более естественными, хотя бы уже потому, что шире могут быть использованы давние связи между героями, о которых шла речь в предшествующих книгах. Роман будет легче читаться, станет компактнее, лаконичнее, эlegantнее, зазвучит в едином лирическом ключе. Если «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи» представлялись мне чем-то «лермонтовоподобным», то «За власть Советов!» был скорее «гюгоподобен». Мне захотелось свести этот неуклюжий, тяжеловесный роман к более изящной маленькой вещи, приблизить его по тональности к трем предыдущим. Необходимо было избавиться от разностильности, возникшей как следствие того, что заключительный том писался, когда двух предшествующих еще не было и в помине. Важно было проследить, чтобы во всем цикле сохранилась та стилевая манера, в которой написан «Белеет парус одинокий».

Трудно судить объективно о том, *как* ты пишешь, но я придаю большое значение этому роману: он стал для меня как бы актом очищения языка. Начиная с «Паруса» я пересмотрел прежнюю свою манеру письма, решительно отбросил всякий декаданс, стал писать яснее, проще. Здесь, в этом романе, мне нужна была определенность,

ясность интонаций, прозрачность, внутренняя музыка фразы, которые завещали нам Лермонтов, Чехов, Бунин.

Я часто думал: как добиться этого? И мне казалось, что фраза возникает, как стихотворение, из общей интонации произведения. Музыка, которая ее наполняет, звучит не только в тексте, но и в подтексте. Она пронизывает все произведение. Я стал стремиться к этому, ибо чувствовал, что усложненность образов мешает донести до читателя идею и «воздух», которым мне хотелось наполнить роман. Надо писать просто, без всяких литературных излишеств: в излишних описаниях всегда есть какое-то жеманство. Молодые авторы этого часто не понимают, они любят говорить вместо «стало темно» — «темнота навалилась», и им кажется, что если выбросить из произведения все эти усложненные описания, метафоры, сравнения, то в рукописи ничего не останется. Это не верно: если ничего не останется, значит, ничего и не было.

Я думаю, что в душе автор всегда отлично знает сам, как он написал, сам знает, что у него хорошо, что у него плохо... Напишешь пьесу, она идет в театре... Как только внутренне почувствуешь, что на сцене что-то *не то*, становится «неловко», и под разными предлогами уходишь в фойе, а потом по времени видишь, что дошло до хорошей сцены, и торопишься вернуться в ложу. Так же и в книге: всегда прекрасно знаешь, какие страницы в ней хороши.

У молодых писателей есть ошибки, часто происходящие от дурного вкуса, но дурной вкус — это вещь переходящая. Когда вкус разовьется, станут нестерпимыми литературные штампы.

Во время нашей молодости были штампы, над которыми мы смеялись. Нельзя было писать, например, «дождь барабанил по стеклу» или «косые лучи заходящего солнца». А сколько, к сожалению, штампов появилось сейчас?! Они — самое ужасное!

Для того чтобы пришла настоящая *внутренняя* сложность, надо стараться писать очень просто. Именно простота позволяет выразить свою мысль наиболее точно, коротко и сильно. Это и есть *литература*.

Не помышляя ни о каких сравнениях в масштабе дарования, я позволю себе напомнить, что примерно такой же процесс пережил Маяковский. От сложных словарных и синтаксических форм он в более позднем своем творчестве пришел к простоте и в рифме и в лексике. «Язык мой гол...» — говорил он. Он даже стал писать почти пушкин-

ским яббом: «Как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима».

Видимо, и для меня настало время, когда я понял, что перегруженность сложными приемами, художественными образами, метафорами — вредна. Вспомните экономность стиля Чехова. А ведь он был мастер создавать удивительные метафорические описания! Уже зрелым литератором он описал в одном своем рассказе, как на транспорте, идущем с Дальнего Востока, умирает солдат Гусев: его тело зашивают в парусину и бросают в море. И там есть такой пейзаж:

«А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, сгущаются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое — на льва, третье — на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим — золотой, потом — розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно».

Как великолепно это написано! Но если бы Чехов все время писал таким насыщенным образностью стилем, это был бы уже не Чехов. Слово нужно ценить на вес золота. В ранние годы Горький тоже увлекался метафорой, но потом стал значительно «скромнее», сдержаннее.

Только в самые высокие моменты повествования уместны метафорические описания. Так созданы, например, строки, в которых Толстой описывает бред раненого Андрея Болконского. Так в романе «Война и мир» появляется великолепная, развернутая метафора дуба — там, где писателю надо было передать самые значительные переживания своего героя. В таких описаниях нужно быть необыкновенно точным. Они должны «попадать в точку». Чуть-чуть в сторону — и «выстрел» уже пропал.

Язык, ритм, сюжетные и композиционные приемы — это форма мышления писателя. Художники, у которых мы учимся, для каждого произведения искали особые словарные, ритмические, композиционные формы. Это особенно наглядно у Толстого, — он разный во всех своих произведениях. «Анна Каренина» написана совсем не так, как «Война и мир», а «Детство» и «Отрочество» вовсе не похожи на «Хозяина и работника».

Когда я решил, работая над новым изданием цикла

своих романов, свести четыре вполне самостоятельных произведения как бы в один большой роман «Волны Черного моря», я должен был подумать не только о едином стиле, но и о движении сюжетных линий, о последовательности поступков и поведения основных персонажей. Надо было кое-что доработать и в этом направлении. В частности, пришлось провести от конца к началу линию образа Колесничука и его жены Раечки. Колесничук появился только в последнем романе. Теперь он проходит через все четыре книги. Я вписал небольшой кусочек в «Парус», где Колесничук появляется еще маленьким школьником. Собственно говоря, он был там и раньше, только не был назван. Помните, там есть сцена: Петя нашел на пустыре пятак, который мальчишки считали волшебным. Они стали его «торговать», и один мальчик предложил Пете даже перочинный ножик, но Петя не взял его, и они поссорились. Этот мальчик и стал теперь Жоркой Колесничуком. В небольших эпизодах он появляется и в романе «Хуторок в степи», развит в «Зимнем ветре», где показано, как складывается его характер, как он, обыкновенный советский человек, становится героем. Его судьба, как и судьба его жены Раечки, вполне органично вошли в ткань произведений, где их раньше не было, потому что оба они существовали в моей душе, и хотя в романе «За власть Советов!» я писал о них — взрослых людях, я знал о них почти все, и их детство, и юность.

Теперь все основные персонажи проходят через весь цикл. Я привел романы к формальному единству: каждый из них сохранил свое название, за исключением романа «За власть Советов!», который снова называется теперь «Катакомбы». Внутри романов главы идут под номерами и, кроме того, под новыми заголовками. Весь цикл займет два тома, общий объем которых составляет примерно листов шестьдесят. Мне кажется, я полностью исчерпал в них материал и тему, и считаю цикл законченным.

В заключение — еще несколько общих замечаний. Обычно книга бывает разделена на главы. Вероятно, это делается не зря. В каждой главе есть какое-то зерно. Иначе не было бы глав. Вот с точки зрения этого «зерна» — *центра тяжести в главе* — и нужно подходить ко всей главе в целом.

Есть непревзойденная по мастерству глава в «Воине и мире» — та, где Андрей видит встречу австрийского командующего Мака с Кутузовым. Кутузов узнает о том, что Мак разбит. Толстой показывает отношение Кутузова

к этому событию с точки зрения военного, союзника и человека. Для этого кусочка и написана вся глава. И посмотрите, как он к этому кусочку ведет читателя!

В каждой главе должен быть такой главный центр, — *один главный центр* обязательно! Все, что не работает на него, надо выбросить.

Сейчас я ушел в другую работу, совсем непохожую на ту, что до сих пор делал. Я пытаюсь написать о Ленине. Это не повесть. Это воспоминания современников Ленина, рассуждения, домыслы и цитаты, описания Парижа вчерашнего, сегодняшнего, всегда разного, Парижа, впечатления о котором откладывались в моей памяти в течение тридцати лет. Это также мысли от постоянного чтения Ленина — моего любимого чтения, от изучения его биографии. Я прочел, должно быть, все, что написано о нем в воспоминаниях современников, часами беседовал с людьми, которые его знали. Мне хочется постичь — каким же он был, этот великий человек?

У меня много воспоминаний о Ленине, в них масса интересных подробностей, но они тонут в толстых кипах бумаги, а я хочу вытащить из них самые яркие, самые теплые, живые штрихи. Мне хотелось бы выбрать лучшее, процитировать и прокомментировать все это своими рассуждениями. Я затрудняюсь определить жанр своей будущей книги. Французы, пожалуй, назвали бы ее «эссе». Но это и не «эссе». Что же? Не знаю.

Я хочу восстановить период жизни Ленина в 1910—1911 годах во Франции. Представить себе и описать его внешность, его жизнь в Париже и самый Париж тех лет. Город тоже нельзя описывать вообще, его нужно описывать с какой-то определенной точки зрения. Я хочу дать Париж, в котором жил Ленин. Париж — тогда самый революционный город мира, — город I Интернационала, город Великой французской революции и революции 1848 года, Парижской коммуны, город Лафарга и Жореса и, наконец, город Барбюса, Кашена, «Юманите». В нем сохранились митральезы Коммуны и камни, по которым ходил Ленин. В 1931 году, когда я впервые попал в Париж, я видел холмы, откуда стреляли коммунары, видел мельницы, ходил в Консьержери. Тогда же я познакомился с Шарлем Раппопортом, Вайяном-Кутюрье, Марселем Кашеном, Анри Барбюсом. Почти все они знали Ленина. Они мне говорили: «Вот кафе, где он бывал; вот

кабаре «Бобино», в котором он смотрел представление, слушал шансонье».

Три года назад известный французский поэт Пьер Эммануэль спросил меня:

— Каким Вы видите Париж? Я бы дорого дал, чтобы понять, почему он Вам так нравится.

Я не смог тогда ответить ему, но сам задал себе вопрос: что же в самом деле так меня здесь пленяет? Хорошая кухня? Веселые театры? Музеи? Импрессионисты? Витрины «Труа картье»? Изящные парижанки? Моды? Оживленная толпа? Да, все это очень хорошо. Но что главное? И я понял: город, первый совершивший революцию. Город французского пролетариата. Он сегодня как вулкан под пеплом.

В этом году я был дважды во Франции: эти поездки воскресили мои давние чувства и воспоминания. Вернули меня к теме: Ленин и Париж, которая жила во мне всегда. И мне кажется, она созрела, чтобы стать книгой. Я даже уже кое-что сделал, набросал несколько глав. Это будет небольшая вещь. Я не знаю, получится ли она или нет. Знаю только, что я ничего подобного еще не писал.

Задачи современного писателя-прозаика значительно усложнились. Писать по-старому уже нельзя. Мы слишком еще рабски следуем классическим образцам, слишком часто повторяем уже достигнутое нами.

А ведь сегодняшний день «делается» по-новому. Его делают политики и ученые, он вытачивается на сложнейших заводских станках... Появляется и уже появилось множество новых предметов и понятий в производстве, в общественной жизни, в быту и в личных отношениях. А мы, писатели, подчас даже не умеем их назвать!

Ты, скажем, садишься за стол, берешь в руки перо и пишешь о рабочем. Но ты не знаешь, какая разница между шпунтом и шплинтом и что это вообще такое... Тогда ты, разумеется, мнящий себя классиком или почти классиком, говоришь себе: об этом писать не обязательно. И на бумаге появляется: «Дубовая дверь со скрипом отворилась». Вот теперь художественно! Так мы и жуем то, что для нас приготовили сто лет назад...

Мне, наверное, уже поздно искать новые пути, хотя я еще и не отказываюсь от такого поиска. Но вот всячески *поддерживать творческие искания молодых, поощрять их* — это определено в наших силах.

Писателю старшего поколения нельзя быть ретрогра-

дом в искусстве, нельзя становиться на пути свежего, нового, молодого только потому, что оно не похоже на то, что делаешь ты сам.

Я верю: рано или поздно придет в нашу прозу Маяковский!

1961

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Мы собрались здесь для того, чтобы отметить сто пятьдесят лет со дня рождения великого английского писателя Чарльза Диккенса, одного из самых популярных, самых любимых романистов земного шара.

Будучи художником национальным, с резко выраженными английскими чертами, Диккенс создал целый мир типов и характеров общечеловеческих, сделавшихся достоянием всех наций.

У него была мировая душа, а это и есть главный признак гениальности художника.

Быть в одно и то же время и узко национальным и широко всемирным — удел немногих избранных, и вполне закономерно, что Диккенс похоронен в Вестминстерском аббатстве, в нескольких шагах от надгробного памятника другого великого англичанина с мировой душой — Вильяма Шекспира.

Влияние Диккенса на развитие мирового реалистического романа огромно. В частности — советского. Нельзя не вспомнить «12 стульев» и «Золотого тельца», на лучших страницах которых явственно ощущается любовь к Диккенсу. Но я не имею возможности в своем кратком слове коснуться этой темы хотя бы вскользь.

Мне бы хотелось сказать о тех коренных особенностях Чарльза Диккенса — художника, которые делают его творчество особенно близким нам, советским писателям, или, во всяком случае, лично мне.

Вот эти особенности: реализм и юмор, высокий гуманизм и удивительная пластика — красота формы, к которой я отношу не только мастерство изобразительное, но так же и повествовательное: развертывание фабулы, динамический диалог, мастерское торможение сюжета и т. д.

Но прежде всего, конечно, юмор. Не будь юмора, не было бы и Диккенса, во всяком случае, того Чарльза Диккенса, которого мы все так горячо любим, которым зачитываемся.

Юмор в большой литературе — это вовсе не что-нибудь специфически комическое, свойственное бульварному анекдоту или плоскому салонному каламбуру.

Настоящий высокий юмор, юмор с большой буквы, это редчайшее, драгоценнейшее душевное свойство писателя, которое придает его творениям неповторимую прелесть, делает их особенно прекрасными.

Однажды мой друг Алексей Толстой сказал мне:

«Послушай, ты знаешь, мне кажется, что юмор — это и есть то, что отличает хорошего писателя от плохого. Чудесный, божественный юмор — неперемнное качество всех больших русских писателей прошлого и лучших из наших современных».

Алексей Толстой был прав.

В самом деле: Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Чехов, Лесков, Гончаров, — даже Достоевский! — разве каждый из них не блистал особым, неповторимым, божественным юмором?

Вообще надо сказать, что русская литература всегда отличалась юмором. Русский народ очень ценит и любит юмор. Может быть, поэтому ему так пришелся по душе Диккенс, его особый англосакский юмор, его заразительный смех.

«Диккенс, — говорит Ипполит Тэн, — или насмеяется, или плачет; он обладает лихорадочною чувствительностью женщины, которая раздражается хохотом или заливаясь слезами при непредвиденном столкновении даже с самым незначительным происшествием; этот страстный стиль имеет в высшей степени могущественную силу, и ему обязан Диккенс большею долей своей славы».

Думаю, что прославленный Тэн совсем не прав, когда он говорит применительно к автору «Пиквикского клуба» о «лихорадочной чувствительности женщины». Это, конечно, вздор! Но Тэн прав, назвав стиль Диккенса страстным. «Страстный стиль!» — это очень хорошо сказано, точно и верно.

Реализм — одна из самых сильных сторон гения Диккенса, что еще больше приближает его к русскому читателю, воспитанному на целой плеяде великих русских реалистов.

Основным содержанием, самым зерном творчества Диккенса является глубокий гуманизм, защита всех «униженных и оскорбленных», вера в достоинство и моральные силы обыкновенного, среднего человека.

Но Диккенс не был реалистом холодным, бесстрастным отражателем жизни своего общества. Он был реалистом с налетом высокого романтизма. Он неутомимо боролся со злом.

«Как истинный художник,— сказал о нем Белинский,— Диккенс верно изображает злодеев и извергов жертвами дурного общественного устройства, но, как истинный англичанин, он никогда об этом не сознается даже самому себе».

В этом-то, по-моему, и заключается главная причина некоторой двойственности Диккенса, его внутреннее противоречие, которое мешало писателю подняться над своим обществом, над своим классом. Но это было бы слишком высокое требование даже для такого громадного таланта, как Диккенс, который при всей своей гениальности все же оставался лишь сыном своего века, хотя и столь просвещенного.

Довольно и того, что Диккенс так правдиво изобразил страшный мир буржуазных дельцов самых разнообразных характеров и типов — приобретателей, ростовщиков, готовых в борьбе за деньги задавить, растоптать, стереть в порошок всех и каждого.

Чарльз Диккенс никогда не отступал от правды, и когда он побывал в Североамериканских Соединенных Штатах, то плодом его путешествия явилась книга «Американские заметки», в которой он бесстрашно обрисовал все теневые стороны американской жизни: рабство негров, безжалостное заключение арестантов в одиночных тюрьмах, ханжество и лицемерие американцев, их преклонение перед всемогущим долларом и другие черты американского быта.

Поэтому книга его, имевшая успех в Англии, встретила недружелюбный прием в Америке.

Диккенс создал свой особый, диккенсовский колорит, которым и окрасил свою родную Англию, не побоявшись и о ней сказать горькую правду.

...У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда: контора Домби в старом Сити и Темзы желтая вода. Дожди и слезы. Белокурый и нежный мальчик Домбисын; веселых клерков каламбуры не понимает он один. В конторе сломанные стулья; на шиллинги и пенсы счет; как пчелы, вылетев из улья, роятся цифры круглый год. А грязных адвокатов жало работает в табачной мгле — и

вот, — как старая мочала, банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы: ему ничем нельзя помочь! И клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь.

Так отразил Диккенса в забытом стихотворении «Домби и сын» поэт Осип Манделштам. По-моему, удивительно верно!

Поистине поразительна пластика Диккенса, сила его изображения, пронизанная все тем же божественным юмором.

Вот — наудачу, «а ливр увэр», два кусочка из «Давида Копперфильда».

«Доктор Стронг сидел в своей библиотеке совершенно ученым образом... Его черные штiblеты были незастегнуты, и можно было подумать, что башмаки доктора Стронга стоят подле него на ковре и ужасно зевают от усталости и скуки».

А вот описание упряжки, принадлежащей некоей «Докторской общине»:

«Лошади изгибали шеи и поднимали свои ноги с таким удивительным эффектом, как будто им было известно, что они принадлежат к «Докторской общине».

Вся проза Диккенса пересыпана такими драгоценными бриллиантиками. Вот почему она так сверкает.

Можно написать целое исследование о композиции диккенсовских романов, громоздких и в то же время таких изящных своей законченностью, округленностью. Можно не устывая говорить о неповторимом диккенсовском диалоге, где каждый персонаж говорит своим, ему одному свойственным языком, вызывающим у читателя полнейшее представление о человеке, о его внешности, движениях, повадках — истинное чудо художественного слова, способного по воле волшебника Диккенса создавать в одно и то же время и живописное, и графическое, и скульптурное, объемное, впечатление — что может считаться истинным признаком словесной пластики.

Хотя английские современные снобы и «не признают» Диккенса — Англия может гордиться им, как величайшим сыном своей древней и славной нации, истинным англичанином; а все прогрессивное человечество преклоняется перед Чарльзом Диккенсом, как перед непревзойденным художником, мастером слова, писателем-гуманистом, великим англичанином с мировой душой.

Он был высокий, элегантный, снисходительно согнувшийся над собеседником, в галстук бабочкой — ни дать ни взять президент. Даже, может быть, Соединенных Штатов. Не хватало за его спиной полосатого звездного флага. Вместо него был знаменитый серо-зеленый занавес с декадентской чайкой, которая вдруг раздвигалась, когда занавес раздвигался.

У него были добрые чеховские глаза, белые волосы, черные брови, бритое интеллигентное лицо и, разумеется, пенсне, но не традиционно чеховское, а более современное, в толстой черной оправе на черной ленте, к которому в экстренных случаях он еще прикладывал маленький театральный бинокль, чтобы лучше видеть мимику актера.

Ну, о нем много было написано, много пишется сейчас и, надеюсь, впоследствии будет написано еще больше и интереснее. Ввиду того что очевидцы, как известно, отчаянно врут, а историки тоже врут, но более правдоподобно, предупреждаю, что, будучи очевидцем, не смогу не врать.

Все дело в том, как соврать!

Станиславский один из первых советских крупных театральных деятелей круто повернул свой театр к современной, советской драматургии. Теперь это кажется естественным, а тогда воспринималось как большая дерзость. Как же, пустить на подмостки Художественного театра каких-то никому не известных молодых людей с сомнительной репутацией! Справедливость требует отметить, что в этом повороте театра к советским авторам громадную роль сыграл Павел Марков — друг всего нового. Он тогда заведовал в театре литературной частью, и заведовал блестяще.

На подмостках МХАТа появлялись подряд пьесы советских писателей. Сначала Булгаков, а потом Иванов, а потом Леонов, а потом Олеша и так далее. Взял Станиславский также и две мои пьесы: инсценировку «Растратчиков» и «Квадратуру круга», сценическая судьба которых тесно с ним связана. Одну пьесу — «Растратчики» — с божьей помощью и при содействии Станиславского провалили, а «Квадратура круга» с той же божьей по-

мощью и при том же содействии Станиславского превратилась в подлинный сценический шедевр.

Так или иначе начало моей литературной деятельности — угодно это или не угодно — связано со Станиславским. Почти полтора года общались мы с ним на репетициях в театре, у него дома и даже в Кисловодске, куда я специально приезжал к нему поговорить.

Спорщик Станиславский был ужасающий, но и я в этом отношении ему не уступал.

Кричали мы со Станиславским иногда до утра, в полном смысле слова. Помню, однажды начали спор у него в директорском кабинете во время какого-то вечернего спектакля, а кончили в половине четвертого утра на лестнице, куда меня проводил Станиславский, причем оба после такой бурной ночи были свежие как огурчики, только немного охрипли.

— Вы не правы, — мягко улыбаясь, говорил на прощанье Станиславский, глядя на меня сверху вниз чеховскими глазами в нечеховском пенсне.

— Нет, вы не правы, — петушился я.

— Почему же? — спрашивал он и так нежно произнесил это «почему же», что оно у него получалось довольно язвительное: «Почему же?»

— Потому, что если бы вы все так хорошо понимали в театре, как хотите мне показать, то во МХАТе никогда не было бы провалов, — резал я правду-матку, — сознайтесь, были во МХАТе провалы или их не было?

— Были! — восторженно говорил Станиславский. — Еще какие! Вообще, должен вам заметить, что у нас семьдесят пять процентов спектаклей обычно проваливалось.

— Так чего же вы торжествуете?

— Вы ничего не понимаете. Спектакли непременно должны проваливаться. У Ленского тоже всегда проваливались спектакли. А знаете почему? Потому что никто, ни один самый гениальный режиссер не может предсказать, провалится пьеса или нет, до тех пор, пока в зрительный зал не посадят публику и не дадут занавес. Вот тогда все становится ясно, и то лишь на другой день.

— Из этого мне ясно, что сами вы ничего не понимаете в театре, а полагаетесь на случай.

— На интуицию! — шепелявил Станиславский.

— Ну и провалимся с вашей интуицией, попомните мое слово.

— Может быть, и даже навверное. Но во всяком случае, я не позволю превращать наш театр в «так назы-

ваемый МХАТ», или, еще того хуже, в театр Мейерхольда. Они там пускай как угодно ломаются, а я не позволю стилизовать Яншина. Вы представляете себе, что получится, если вдруг наш Миша Яншин начнет двигаться по сцене вот этак...— И Станиславский вдруг преобразился и пошел походкой фараона, как бы только что сошедшего с древнеегипетского барельефа,— боком, в профиль, странно вывернув руки. Мы расхохотались, помирились и разошлись до следующей встречи.

Спор наш заключался в том, что я требовал ультралевой, сверхмейерхольдовской постановки, будучи глубоко убежден, что по старинке ставить современные пьесы пельзя даже такому мировому театру, как МХАТ, а Станиславский, понимая, что я прав, из чувства своего чудовищного упрямства хотел доказать обратное: то есть что любую, самую современную и самую странную пьесу можно поставить в самых скромных, камерных формах: все дело во внутреннем самочувствии актеров, в сверхзадаче и в глубине содержания.

Наверное, он был прав, но, к сожалению, ни внутреннего глубокого самочувствия, ни сверхзадачи, ни содержания не было налицо. Да и зерна тоже не было. Ничего не было. Был лишь молодой неопытный автор, вытщенный из самой гущи жизни, и был великий режиссер, который совершенно не понимал этой гущи жизни и не знал, как взяться за ее изображение. До чего Станиславский был далек от действительности, свидетельствует такой, например, случай, который я хорошо помню.

Репетиция «Растратчиков». Репетирует жена Станиславского Лилина, которую он упрямо называет «Перевощикова». Сцена изображает комнату бухгалтера Прохорова. За сценой раздаются звонки: три длинных и два коротких, как и полагается в коммунальных квартирах. Лилина, кутаясь в серую шаль, идет отворять своему загулявшему мужу. Станиславский останавливает репетицию.

— Подождите, Перевощикова, на место. Что это за звонки?

Режиссер объясняет ему, что так бывает в жизни.

— Не понимаю! — отрывисто произносит Станиславский.

— Видишь ли, Костя,— говорит Лилина проникновенно,— сейчас жилищный кризис. Люди живут в коммунальных квартирах. В каждой квартире несколько семейств. А звонок один общий. Вот они и сговорились,

что одним нужно звать один раз, другим — два раза, третьим — один длинный и два коротких...

— Два коротких? — подозрительно спрашивает Станиславский. — Не верю. Наигрыш.

— Костя, но уверяю тебя!

— Не знаю, — говорит он упыло. — Перевощикова, вы фантазируете.

— Честное слово.

— Гм... Гм... В таком случае надо напечатать на афише, что это пьеса из жизни людей, не имеющих отдельной квартиры.

Станиславский очень доброжелательно относился к нам, новым драматургам Художественного театра, но имел о нас странное представление.

По случайности Булгаков, Олеша и я работали тогда в железнодорожной газете «Гудок», и Станиславский почему-то вообразил, что все мы рабочие-железнодорожники, и при случае любил этим козырнуть. Я сам слышал, как он кому-то говорил:

— Утверждают, что Художественный театр не признает пролетарского искусства, а вот видите, мы уже ставим вторую пьесу рабочего-железнодорожника, некоего Катаева, может быть, слышали?

Однажды Станиславский строго спросил меня:

— Вы любите оперетку?

Мне было стыдно признаться, что я люблю, но все же я заставил себя сказать правду.

— Очень.

— Да? — оживленно воскликнул Станиславский. — Серьезно? Это очень хорошо. Я сам обожаю хорошую оперетку. Только, знаете, не эту... венскую... московскую... А подлинную. Лекока. Вы любите Лекока? Вот это — настоящая оперетка. И конечно, ничего похожего на наших опереточных примадонн с их перьями, кружевами, непристойными движениями — словом, со всем тем, что называется «каскад».

Он оживился, сбросил чеховским жестом нечеховское пенсне и с увлечением стал посвящать меня во все тайны подлинного опереточного жанра.

— Вы знаете, что такое настоящая опереточная примадонна? О, вы не знаете, что такое настоящая опереточная дива! Мадам Жюдик. Вы слышали когда-нибудь о мадам Жюдик?

— Конечно,— сказал я.

— А откуда вы могли слышать? — с сомнением спросил он, падев пенсне и взглядом экзаменатора уставившись в мое лицо.

— Из Некрасова,— ответил я.— «Мадонны лик...»

— Да-да. Совершенно верно. «Мадонны лик. Взор херувима. Мадам Жюдик непостижима...» Именно так. Некрасов описал ее совершенно точно, как большой художник,— без малейшего наигрыша. Жюдик! Это феноменально. И в чем был ее секрет? Сейчас вам объясню. Вообразите себе — дореволюционная, даже купеческая Москва, сад «Эрмитаж», гастролы оперетки с участием Жюдик. Народу — полно, и все богачи, миллионщики, целыми семьями, с женами, дочерьми, женихами. Сейчас уже этой Москвы Островского и в помине нет. Может быть, осталось один-два человека — и обчелся. И вот перед ними появляется Жюдик. Ничего опереточного: маленькая, скромненькая, гладко причесанная, в фартуке, паколочке, с ангельскими голубыми глазами, молитвенно поднятыми вверх; ручки сложены, как у причастницы. Она становится у рампы, посредине сцены возле суфлерской будки, взмахивает ресницами и вдруг начинает божественным голоском петь такую похабщину, что даже привыкшие к разным видам фарсовые и шантаные завсегдатаи лезут от стыда под кресла. Вот это настоящая опереточная примадонна. А вы говорите — Татьяна Бах.

Не помню, писал ли в своих книгах Станиславский об оперетке, но о водевиле писал много и чрезвычайно интересно. Он оказался большим любителем водевиля, и это нас отчасти сближало, потому что мне до сих пор чрезвычайно нравится водевильная форма. Отсылаю читателей к книге Н. Горчакова¹ (забыл название). Что же касается оперетки, то помню еще вот что. Как-то на репетиции «Растратчиков» в перерыве Станиславский снова заговорил со мной об оперетке.

— Оперетку должны играть непременно большие, замечательные артисты, иначе ничего не получится. Жанр оперетки по плечу только настоящему актеру — мастеру своего дела.

— Почему так?

¹ Автор имеет в виду статью Н. Горчакова «Работа К. С. Станиславского, заслуженного деятеля искусств РСФСР, над советской пьесой» в книге «Вопросы режиссуры (Сборник статей режиссеров советских театров)». М., «Искусство». 1954, с. 98—111,

- Потому что иначе не поверят.
- Кто?
- Зрители.
- А зачем нужно, чтобы зрители непременно верили чепухе, которую показывают в оперетке?
- Гм... Гм... — сказал Станиславский. — Если не поверят — не будут ходить в театр, и антреприза прогорит.
- Ну разве что так.
- Вы знаете, кто мог бы великолепно играть оперетку? — спросил он лукаво.
- Кто?
- Наши, Качалов, например. Вы представляете себе, какой бы это был замечательный опереточный простак? А Книппер! Сногшибательная гранд-дама. А Леонидов? Представляете себе, с его данными, какой бы это был злодей! А Москвин? Милостью божьей буфф. Лучшего состава не сыщешь.
- Ну так за чем же дело? У вас в театре даже специальный зал есть, так и называется К. О. — комической оперы. Вот бы вы взяли бы да и поставили какую-нибудь оперетку с Качаловым, Книппер, Леонидовым, Вишневским.
- Какую же оперетку? — озабоченно спросил Станиславский.
- Ну, «Веселую вдову».
- Станиславский задумался:
- Гм... гм... не получится.
- Почему же, Константин Сергеевич?
- Они петь не умеют.
- Святой человек. Гений.
- Думаете — вру? Святой истинный крест!

1962

ПРОЩАНИЕ С МИРОМ

Книга «Ни дня без строчки» — большое литературное событие. Что же она из себя представляет? Лучше всего об этом говорит сам автор, Юрий Олеша:

«Пусть не думает читатель, что эта книга, поскольку зрительно она состоит из отдельных кусков на разные темы, то она только лишь протяженна; нет, она закруглена; если хотите, это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и дожил до старости. Вот этот

сюжет. Сюжет интересный, даже фантастический. В самом деле, в том, чтобы дожить до старости, есть фантастика. Я вовсе не остро. Ведь я мог и не дожить, не правда ли? Но я дожил, и фантастика в том, что мне как будто меня показывают».

Отдельные мысли о жизни, об искусстве, оценки людей, исторических явлений, сюжеты неосуществленных произведений, портреты знаменитых и незнаменитых современников, театральные рецензии, литературные заметки, отдельные метафоры, сравнения, эпитеты... Все это, взятое вместе, — целый мир, увиденный глазами оригинального художника. Может быть, мастера? Да, конечно, и мастера. Олеша был выдающимся мастером слова. Но прежде всего он был художник. А мастер и художник не всегда одно и то же. Олеша был художник в самом широком понимании этого слова. Артистизм был в самом существе его личности.

Разумеется, эта книга никак не может заменить биографию Олеша, так как в ней пропущено много очень важных общественно-исторических, да и просто биографических данных, без которых представление об Олеше — художнике, гражданине и человеке было бы ущербно.

Биография Олеша еще впереди.

Читая книгу «Ни дня без строчки», испытываешь чувство восхищения и гордости советским народом, который уже родил и продолжает рождать так много хороших и разных художников. Олеша был в высшей степени «хороший и разный», и он был сыном своего народа, сыном Революции.

Если бы не было Революции, заставившей художников переосмысливать мир, не было бы и Олеша-писателя, вся сила которого как художника именно и заключается в постоянном переосмысливании мира.

Сказать, что искусство Олеша реалистично — недостаточно. Оно материалистично. Мир, созданный Олешей, материален. У него материален даже солнечный свет, увиденный им в костеле среди статуй.

«Мощно лежит среди них солнечный свет, падающий сверху. Он не лежит, он стоит среди них, как корабль в полной оснастке».

Обычно процесс возникновения и построения художественного образа происходит в тайне, в самых глубинах сознания. Читатель получает лишь результат этой сложнейшей, мучительнейшей работы памяти и воображения.

Олеша вынес этот процесс из таинственных недр своего сознания, сделал его — на глазах у всех — предметом искусства, самым его содержанием. Кажется, до Олеша этого еще не делал никто. Это его открытие. Олеша как бы воспроизводит словесно самый ход своего художественного мышления. Читатель видит чудо рождения литературного шедевра.

В досадном несоответствии с блистательным текстом всей книги находится вялое вступление В. Шкловского, изобилующее литературными штампами и высокопарными трюизмами, вроде «высокие надежды человечества», «результат большого труда и большая удача», «писатель любил Москву» и тому подобное, и не сумевшее раскрыть всю прелесть неповторимой прозы Олеша, его места в современной литературе — не только советской, но и — смею утверждать — мировой. Не названы даже современники Олеша, люди одного с ним ряда, оставившие нам непревзойденные образцы действительно — с моей точки зрения — новаторской прозы, которой советская литература может гордиться перед всем миром, поэты Мандельштам, Пастернак, Хлебников, Цветаева и, конечно же, в первую очередь Маяковский, не только стихами которого, но так же и прозой всегда так горячо восхищался Олеша.

Книга Олеша читается с наслаждением. Но читается не легко. Над каждой строчкой задумываешься, перечитываешь. Это совсем не то, что облегченная рысь обкатанных беллетристов, еще и по сей день процветающих в толстых журналах со всеми своими: «Том второй, часть шестая, глава сорок пятая. Когда Маргарита Антоновна, выйдя на перрон Ковотопского вокзала, увидела бегущего Дормидонта, который...» — и прочей бодрягой.

Мы должны принести глубокую благодарность составителям книги «Ни дня без строчки», а так же издательству «Советская Россия», подарившим нам этот удивительный томик — настоящую энциклопедию стиля и хорошего вкуса, — который безусловно станет настольной книгой для каждого взыскательного литератора.

Название «Ни дня без строчки» хорошо, но, по-моему, мельче замысла книги. В нем есть нечто дидактическое. У Олеша, если поискать, найдутся названия более интересные. Например, «Театр метафор» или, как он мне сам говорил много раз, — «Лавка метафор», даже «Депо метафор». Но лучше всего название, упомянутое на послед-

ней странице его книги, быть может, последней странице, написанной его милой рукой: «Надо написать книгу о прощании с миром».

«Прощание с миром»!

По-моему, это было бы прекрасно.

1965

УЭЛЛС

Механизм человеческой памяти еще недостаточно хорошо изучен для того, чтобы мы могли по собственному желанию распоряжаться им.

Иные имена, быть может даже великие, так и остаются в недрах нашей памяти мертвым грузом, никогда не поднимаясь на поверхность сознания.

Уэллс не принадлежит к числу этого, быть может, и драгоценного, но мертвого груза человеческой памяти.

Для людей моего поколения, чье мировоззрение формировалось на грани двух веков — XIX и XX, — влияние романов Уэллса было огромно и сохранилось до сих пор.

Например, образ уэллсовского марсианина из «Борьбы миров» — таинственная стальная башня — перешел в нашу современную литературу, и часто мы читаем о столбах высоковольтной передачи, шагающих по просторам нашей социалистической родины, как марсиане.

Будучи писателем типично английским, Уэллс быстро сделался писателем мировым, войдя в сознание читателей всего земного шара как один из самых сильных элементов современного мировоззрения со всеми его социальными противоречиями, с борьбой труда и капитала, с техническим новаторством, великими научными открытиями и смутным предчувствием грядущей мировой революции или, во всяком случае, какой-то радикальной социальной перемены.

Кто из нас не зачитывался и не зачитывается Уэллсом сейчас?

Юрий Олеша, художник тонкий и умный, писатель почти непогрешимого вкуса, включил Уэллса в список великих или, во всяком случае, первоклассных мастеров литературы и искусства, таких, как Пушкин, Маяковский, Данте, Л. Толстой, Чаплин, Марк Твен, Хемингуэй, Стендаль, Станиславский.

В «Зависти», в «Лиомпе», в «Вишневой косточке» и во

многих других вещах Олеси ощущается магическое влияние Уэллса.

«Умение изображать фантастические события так, что они кажутся происходящими на самом деле, и составляет главную особенность таланта Уэллса,— пишет Юрий Олеша,— он превращает фантастику в эпос... Я не знаю, как другие читатели, но, когда я читаю «Невидимку», мне бывает очень трудно отделаться от мысли, что я читаю рассказ об истинных происшествиях... Какими же средствами,— спрашивает Олеша,— добывается Уэллс этой достоверности? — и отвечает так: — Уэллс понимает, что если условна фабула, то лица, разыгрывающие ее, должны быть как можно более реальны. Этим и достигается достоверность того, что на самом деле выдуманно».

Это верно, хотя я думаю, что Уэллс не был первооткрывателем этого приема. У него много предшественников в мировой классике, и среди них, быть может, самый могучий — Эдгар По. Однако Уэллс развил, разработал открытия великого Эдгара и поднял их на новую высоту.

Многие наши писатели — не только так называемые «фантасты» — испытали на себе и постоянно испытывают влияние Уэллса. Алексей Толстой не мог бы написать «Аэлиту», если бы не прочитал Уэллса, а если бы и написал, то она, «Аэлита», была бы более «жюльверноподобна», то есть лишена той грустной поэзии, которой пронизано все творчество Уэллса.

У Маяковского большинство поэм в основе своей фантастичны, что безусловно является следствием влияния романов Уэллса, хотя так же безусловно и то, что Маяковский во много раз превосходит Уэллса по силе своей социальной направленности, новизны формы и великолепной, прямой революционности.

При всей традиционности формы, проза Герберта Уэллса тем не менее воспринимается как новаторская.

Перечтите «Хрустальное яйцо», задумайтесь над ним, и, может быть, вам станет более ясной суть новаторства Уэллса.

В своем дневнике Эдмон Гонкур записал чрезвычайно интересную вещь:

«В наше время создать в литературе героев, которых публика не узнаёт, как старых знакомых, открыть оригинальную форму стиля — еще не все; нужно изобрести бинокль, при помощи которого ваши читатели могут увидеть существа и вещи через такие стекла, какими еще никто не пользовался; посредством этого бинокля вы пока-

ываєте картины под неведомым до сих пор углом зрения, вы создаете новую оптику».

Истинно новаторская литература смотрит на вещи и события через такие стекла, какими еще никто не пользовался.

По-моему, изобретателем такого бинокля этой новой оптики, в частности, был автор «Хрустального яйца».

1966

КАК Я ПИСАЛ КНИГУ «МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ»

Тема Ленина давно привлекала меня. Может быть, с того самого дня, когда однажды, в конце 1917 года, отец сказал:

— Какое счастье, что во главе России стал Ленин-Ульянов. Это великий человек. Он выше Петра.

Мой отец — учитель — был типичным представителем той части русской интеллигенции, для которой Петр Великий являлся вершиной нашей государственности.

— Петр был преобразователь, — продолжал отец, — а Ленин, кроме того что преобразователь, еще и создатель совершенно нового в истории человечества Советского государства.

Всю свою сознательную жизнь я любил Ленина и всегда мечтал написать о нем книгу. Но Ленин — неисчерпаемая тема, которую один человек осилить не может. Поэтому я решил взять какой-нибудь небольшой период жизни Ленина и попытаться на этом материале построить образ Владимира Ильича, заранее отказавшись создать что-нибудь монументальное, так как это было мне явно не по силам.

Но что это будет — роман, повесть, очерк, я еще тогда не знал.

Я стал изучать сочинения Ленина, его биографию, а главное, читать воспоминания о нем современников.

Громадную роль в этом деле сыграло мое знакомство с Надеждой Константиновной Крупской, под руководством которой я некоторое время работал в самом начале 20-х годов в Главполитпросвете.

В то время я считался главным образом поэтом и писал по заказу Главполитпросвета агитационные стихи, так называемые агитки. Они попадали на стол к Надежде Кон-

стаптиновне, которая их визировала. Иногда она вызывала меня к себе в кабинет, для того чтобы сделать какое-нибудь замечание по поводу моего материала, чаще всего указывая на мелкие неточности или излишества стиля, требуя, чтобы язык агиток был совершенно ясен, прост и доступен пониманию самого массового читателя. Тут же она предлагала новые темы для частушек, стихотворных лозунгов, монологов, басен, народных сценок, настаивая, чтобы они были «ультразлободневны», как она выражалась, и попадали не в бровь, а в глаз. Одним словом, здесь не могло быть и речи об искусстве для искусства или о чем-нибудь подобном. Все должно подчиняться задачам партийной пропаганды сегодняшнего дня и политического просвещения масс. С понятным волнением смотрел я на эту пожилую женщину с наружностью народной учительницы, в старых башмаках, в суконном платье вроде сарафана, с серебристо-стальными волосами, заплетенными на макушке толстым узлом, в больших круглых очках с увеличительными стеклами, которые она надевала перед тем, как прочитать мою рукопись, с одутловатыми щеками и заметно выпуклыми глазами — следами базедовой болезни, жену и самого близкого друга Ленина, этого величайшего человека нашего времени, перед которым я преклонялся. Казалось невероятным, что после работы прямо отсюда, из этого кабинета, Крупская поедет домой, где ее ждет муж — Ленин, и они будут вместе пить чай и обмениваться впечатлениями прошедшего дня, и, очень возможно, Ленин поинтересуется, как идут дела агитации и пропаганды в Главполитпросвете, и Крупская расскажет ему о сегодняшнем рабочем дне и даже, может быть, упомянет о некоем молодом стихотворце, с которым вела назидательную беседу о роли искусства в воспитании народных масс.

Я был недалек от истины. По-видимому, Крупская и в самом деле советовалась с Лениным о работе Главполитпросвета, потому что однажды, когда я накануне пятилетия Октябрьской революции принес ей большую праздничную агитку, сочиненную в духе «Мистерии-Буфф» Маяковского, Надежда Константиновна сказала:

— Вот вы все пишете агитки на общереволюционные темы, а вчера Владимир Ильич, например, сказал мне, что сейчас одна из наиболее важных задач нашей пропаганды — это рассказать народу в популярной форме о новой жилищной политике Советской власти. «Скажи своим поэтам, — заметил Ленин, — чтобы они поменьше писали агиток, поменьше занимались непужной трескотней, а луч-

ше пусть кто-нибудь из них перечитает все наши декреты по этому вопросу, засядет и напишет хорошую популярную брошюру о новой жилищной политике Советской власти. Вот за это мы скажем ему большое спасибо». Что вы об этом думаете? — спросила Крупская. — У вас довольно хороший стиль, бойкий язык, так не засядете ли вы за такую брошюру?

Я воспринял это предложение как прямой приказ Ленина и, отложив в сторону агитки, в течение нескольких дней написал брошюру под названием «Новая жилищная политика», которая тут же и вышла в издательстве Главполитпросвета.

Это время я никогда не забуду; я жил и работал где-то в ощутительной близости от Ленина, и часто Крупская рассказывала мне о нем, о его жизни в эмиграции, в Женеве, в Париже, о партийной школе, организованной Лениным в Лонжюмо, об Инессе Арманд и о многом другом.

Все это меня чрезвычайно увлекало и еще более укрепляло в намерении написать о Ленине если не роман и не повесть, то, во всяком случае, его литературный портрет. Как-то я осмелел и попросил Надежду Константиновну познакомить меня с Лениным. Крупская отнеслась к моей просьбе просто и весьма доброжелательно, она поняла страстное желание молодого поэта увидеться с Владимиром Ильичем, поговорить с ним, лично ощутить все его громадное человеческое обаяние. Она сказала мне:

— Я с удовольствием как-нибудь повезу вас к нам вечерком выпить чаю, и тогда вы познакомитесь с товарищем Лениным. Вам будет это очень полезно. Да и Володе не мешает побеседовать с молодым советским поэтом, нашим хотя и слабеньким, но все же пропагандистом. — Крупская добродушно улыбнулась. — И вы расскажете Владимиру Ильичу о современной молодой художественной интеллигенции. Но к сожалению, в данное время он хворает и живет вне Москвы, к нему врачи никого не пускают, да и далековато ехать, так что вам придется маленько подождать. А когда он, даст бог, выздоровеет и передаст обратно в Кремль, то я вас обязательно свезу к нему. Даю слово.

Но Ленин не поправился, и мне уже не было суждено увидеть его живым.

В дни его смерти, которую переживал мучительно тяжело, я написал стихотворение — первое мое произведение о Ленине. Стихи эти были напечатаны в журнале «Красная новь» — те самые стихи, отрывок из которых

много лет спустя я повторил в конце своей книги «Маленькая железная дверь в стене».

Жестокою стужу костры сторожили.
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стекланной руки Реомюра...

И т. д.

Как я понимаю теперь, в этих моих стихах было тайное сходство со стихами Бориса Пастернака о Петре Великом:

«Был тучами царь, как делами, завален» и пр.

Так в моем искусстве появилась тема Ленина.

В начале 30-х годов я попал в Париж и сразу без памяти влюбился в этот город Великой французской революции, Парижской коммуны, город Маркса и Энгельса, Робеспьера и Марата, Вольтера, Жан-Жака Руссо, энциклопедистов. Я познакомился в Париже с французскими коммунистами Марселем Кашеном, Вайяном-Кутюрье, с замечательным человеком, Шарлем Раппопортом, даже с несколькими стариками — участниками Парижской коммуны. От них я услышал много интересного и важного о жизни Ленина в парижской эмиграции периода 1908—1912 годов. Именно тогда у меня окончательно сложилось намерение написать книгу о Ленине в Париже. Но прошло больше тридцати лет, прежде чем мне удалось осуществить свое желание.

До этого я писал о Ленине в своем романе «Зимний ветер», где изобразил Владимира Ильича в дни Октябрьской революции в Смольном. В этом же романе одна из моих героинь — Марина — вспоминает, как она ездила с Лениным — «дядей Володей» — на велосипеде смотреть на полеты первых аэропланов под Парижем, что уже явно перекликается с «Маленькой железной дверью в стене». В повести «Хуторок в степи» Петя по заданию Гаврика везет зашитое в шапке письмо по знаменитому адресу: «Париж, улица Мари-Роз, 4».

Для создания книги «Маленькая железная дверь в стене» мне пришлось несколько раз перечитать все без исключения сочинения Ленина, пройти курс в вечернем Университете марксизма-ленинизма, наконец, проштудировать громадное количество воспоминаний современников о Владимире Ильиче Ленине, выбирая из них «самое драгоценное», не говоря уже о том, что я изучал «Капитал» Маркса и гениальные работы Энгельса — «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг», открывшие мне глаза на окру-

жающий нас физический и социальный мир. Я несколько раз ездил в Париж, побывал в Италии на Капри, где посетил почти все ленинские места. К этому прибавились мои путевые впечатления, воспоминания детства, лирические размышления о судьбах революции — и в конце концов получилось произведение «Маленькая железная дверь в стене», которое недавно вышло отдельной книжкой. Я не считаю эту свою работу законченной. Вероятно, придется еще несколько раз побывать в Париже, Лондоне, Брюсселе, в маленьком городке Порник на берегу Бискайского залива, где жил Ленин, а также в деревушке Бонбон под Парижем, где он отдыхал вместе с Надеждой Константиновной перед поездкой к Горькому на Капри, и, может быть, лишь тогда я буду считать свою работу законченной.

В заключение должен сказать, что ни над одной из своих книг я не работал с таким увлечением. И еще считаю долгом выразить глубокую благодарность своим многочисленным читателям, которые помогали мне все время добрыми пожеланиями, полезными советами и замечаниями по поводу вкравшихся в журнальный текст неточностей, неизбежных в такой литературной работе, где творческая фантазия автора тесно переплетается с историческими событиями и фактами биографии великого человека.

1966

МОЙ БОДЛЕР

Пушкин, который являлся не только гениальным поэтом, но также и великим русским просветителем, неустанно знакомившим русское общество с лучшими образцами западной литературы, был убит на дуэли, когда Бодлеру исполнилось всего шестнадцать лет. Живи Пушкин дольше, можно не сомневаться, что он первый открыл бы для своей страны Бодлера. К несчастью, этого не случилось.

Одним из первых переводчиков Бодлера на русский язык был — как это ни парадоксально! — поэт-революционер Якубович, принадлежащий к крайнему, террористическому крылу партии народников, убивших императора Александра II.

«В 1879 году «Цветы зла» случайно попали мне в руки, — писал Якубович, — и сразу же захватили меня своим странным и могучим настроением».

Русский революционер нашел в стихах французского декадента нечто созвучное своей мятежной душе.

Впрочем, в России тогда не было даже известно слово «декадент», да и был ли вообще Бодлер декадентом? Во всяком случае, Теофиль Готье отрицает это. Я тоже думаю, что определение «декадент» слишком узко и примитивно для объяснения такого громадного, многогранного поэта, как Бодлер.

Однако знаменательно, что стихи, осужденные за безнравственность во Франции, впервые переводились на русский язык политическим узником Якубовичем в казематах Петропавловской крепости — этой Бастилии русского царизма, — затем на каторге в горах Акатуя на обрывках грубой махорочной бумаги.

Одно время Бодлер считался в России «французским Некрасовым», что, конечно, было крайним преувеличением революционного содержания поэзии Бодлера, но все же содержало какое-то зерно истины: все-таки Бодлер был сыном своей мятежной страны, ее революционного прошлого и настоящего. Напомню, что в сорок восьмом году Бодлера видели на одной из парижских баррикад с охотничьим ружьем в руках и что в эти же дни он собирался издавать журнал под названием «Общественное благо», явно напоминавшим Великую французскую революцию, Конвент и его комитеты.

Итак, некоторое время поэзия Бодлера находилась на вооружении у нашего революционного народничества.

Антитезой к этому парадоксальному положению было второе рождение в нашей стране поэзии Бодлера, когда после поражения революции 1905 года она оказалась в лагере символистов и поэты этого направления, во главе с Брюсовым, заново перевели всего Бодлера. На этот раз Бодлер занял ведущее место в ряду Верлена, Верхарна, Малларме, Артюра Рембо и многих других западных поэтов, вдруг ставших в нашей стране невероятно знаменитыми и объявленными величайшими глашатаями нового искусства. Это, конечно, тоже была крайность, но тем не менее влияние главы новой европейской школы Бодлера неоспоримо. В той или иной степени воздействие искусства Бодлера испытали многие русские поэты.

По необходимости быть кратким, ограничусь упоминанием лишь некоторых имен: Блок, Брюсов, Игорь Северянин, Федор Сологуб, Иннокентий Анненский и многие, многие другие.

Впоследствии влиянию Бодлера подвергся молодой Маяковский, вслед за ним Марина Цветаева, Борис Пастернак, Осип Мандельштам.

Бодлер влиял на них не только как философ, но в гораздо большей степени как блестящий мастер поэтической формы, неповторимый метафорист, создатель поразительного по красоте поэтического языка, оставаясь в то же время в рамках старой классической традиции.

Не могу не удержаться, чтобы не рассказать здесь о моем большом друге, ныне покойном Эдуарде Багрицком — выдающемся советском поэте. В ранней юности он открыл мне Бодлера. Помню, он — совсем юный и взволнованный — пришел однажды ко мне и прочел несколько сонетов из «Цветов зла», только что появившихся в маленьком дешевом издании «Всеобщей библиотеки». Я был буквально потрясен силой бодлеровской независимости и «безудержной, сокрушительной откровенности, не останавливающейся ни перед какими признаниями, хотя бы и такими, которые рисуют самого поэта в дурном виде», — как позже сказал мой другой старый друг — поэт Павел Антокольский.

Эдуард же Багрицкий был так захвачен всей личностью Бодлера, что даже его лицо и вся поза вдруг стали напоминать Бодлера: мрачные глаза, горестно и презрительно сжатый рот, скрещенные руки — точная копия гравированного портрета Бодлера, приложенного к книге. Самое удивительное, что «бодлеровское выражение лица» больше уже не покидало Багрицкого до самой смерти.

Вы меня должны простить за это несколько юмористическое, но очень характерное отступление.

Продолжаю.

В ряде случаев влияние Бодлера на русских поэтов перешагнуло все исторические рубежи и дошло до наших дней. Приведу всего один пример: в одной из своих поэм в прозе — «Желание художника» — Бодлер написал: «Я сравнил бы ее с черным солнцем». Так в мировой литературе родилась соблазнительная метафора черного солнца, до сих пор кочующая по творениям многих наших писателей, по-видимому даже не подозревающих, что она — эта метафора — заимствована у прославленного французского модерниста.

Я считаю это вполне закономерным. Величайшее значение истинной поэзии заключается в том, что она как бы «взаимопроникающа».

Обращаясь к *Виргилию*, Иван Бунин сказал: «Счастлив я, что моя душа, *Виргилий*, не моя и не твоя».

Это верно. Душа поэта принадлежит всем. Всему человечеству. Она общая.

Сейчас в нашей стране происходит чудо третьего рождения *Бодлера*. Недавно в серии «Сокровища лирической поэзии» вышла книга стихотворений *Шарля Бодлера* с прекрасным предисловием нашего маститого поэта *Павла Антокольского*. Наряду со старыми — «народническими» и «символистскими» — переводами дано большое количество совершенно новых, принадлежащих перу первоклассных переводчиков во главе с *Левиком*, известным поэтом, знатоком французской поэзии. Сборник этот, напечатанный тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров, был раскуплен буквально в несколько часов, и теперь его невозможно достать ни за какие деньги, так что ожидается второе издание этого удивительного французского поэта, умершего сто лет тому назад.

Каждый великий поэт постоянно умирает и постоянно рождается в поколениях для новой, еще более прекрасной жизни, так не похожей и в то же время так похожей на прежнюю, как звук не похож и вместе с тем до ужаса похож не только на душу музыканта, но также и на всю материальную структуру музыкального инструмента, рождающего эти звуки, будь то дыхательным аппаратом — горлом певца или группой духовых, ударных или смычковых инструментов.

В прелюдиях *Скрябина* я всегда, кроме души композитора-поэта, явственно ощущаю громоздкое тело инструмента, все материалы, из которых он построен. Фортепьянный концерт как бы модулирует в пространстве и во времени вещественное содержание инструмента, не только его форму, но его вес, его струны, его архитектуру, сорта дерева, бронзовый резонатор, даже стеклянные розетки, на которых покоятся медные колесики его могучих лакированных ног.

Удар по струнам, аккорд, является в одно и то же время и смертью звука, и рождением его для новой уже не материальной, но духовной жизни — быть может, даже вечной, так как она уже навсегда остается в сознании человечества и начинает свою вечную жизнь во времени.

Смерть *Бодлера* сто лет тому назад превратилась в вечную жизнь его поэзии, в вечную славу его имени, и я счастлив засвидетельствовать здесь то уважение и восхищение, которое питает литература моей страны к твор-

честву бессмертного французского — и всемирного! — поэта Шарля Бодлера, который при жизни считался «проклятым», а после смерти стал «трижды благословенным».

1967

ГОЛСУОРСИ

Деление времени на столетия в значительной мере условно: оно облегчает труд историка, дает ему удобную структурную сетку, где в известном, но, в сущности, произвольном порядке формируются кристаллы событий. Но на самом деле время течет по своим, еще не вполне изученным нами законам, и если в его плавном и однообразном течении возникают скачки, то они — эти скачки — почти никогда не совпадают с условными делениями календаря.

Поэтому не стоит рассматривать мировой литературный процесс по столетиям.

В энциклопедическом словаре написано, что Голсуорси является писателем двадцатого века. Половину жизни он прожил в девятнадцатом веке и половину в двадцатом, причем лучшие его вещи написаны в двадцатом. Это справедливо только с точки зрения грубо-хронологической. Помоему, Голсуорси весь целиком еще принадлежит девятнадцатому веку, его могучей литературе, великой плеяде писателей, которых нет нужды здесь перечислять, так как они всем известны, и которые в конечном итоге родили последних могокан девятнадцатого века, таких, как Дюгар, Томас Манн, Пруст, Максим Горький с его «Климом Самгиным», может быть, Франсуа Мориак, запоздалых представителей всей предыдущей литературы, перешагнувших условный рубеж столетия, принесшего в наш двадцатый век весь блеск и весь гений века девятнадцатого, из блистательного плена которого так трудно вырваться писателю, если он не гений.

Лев Толстой и Антон Чехов — учителя Голсуорси — были гениями. Взявши все самое лучшее от искусства девятнадцатого века — а Толстой даже от семнадцатого и восемнадцатого, — они вырвались из плена времени, в котором родились, и сумели стать законодателями литературы двадцатого века, опередив свое поколение почти на сто лет.

Они произвели революцию в литературе, реформировав традиционный роман и создав новые формы прозы. Они

были подлинными новаторами, оказавшими решающее влияние на дальнейшее развитие всей мировой художественной литературы.

Голсуорси не был новатором, но он был гениальным учеником, воспринявшим все самое лучшее, что могли дать ему ранний Толстой и поздний Чехов, не говоря уже о том фундаментальном влиянии, которое, естественно, оказали на него «Человеческая комедия» Бальзака, «Рюгон-Маккары» Золя, романы Диккенса и Теккерея, что навсегда оставило на нем неизгладимый отпечаток викторианства.

Голсуорси не воспринял уроков позднего Толстого с его гениальной «Смертью Ивана Ильича», Гоголя с его «Записками сумасшедшего», многих чеховских рассказов; Чехов не научил его быть кратким. Голсуорси не захотел или не сумел разрушить форму классического романа, эпопеи, со всей его обстоятельностью, что, кстати сказать, совсем необязательно для художественной прозы. Но зато Голсуорси, пользуясь старыми, найденными не им, литературными формами, создал поразительные по силе картины современного ему английского общества. Это и было великим писательским подвигом Голсуорси. Произошло чудо. Литературное явление прошлого перешагнуло условные рубежи времени и, оставаясь самим собой, продолжает жить и действовать на умы и чувства людей уже совсем другой исторической генерации.

А может быть, в этом и заключается подлинная гениальность писателя?

1967

ПОЕЗДКА В ВИЗЛЕЙ

У меня на письменном столе стоит грубовато, но все же довольно искусно сделанная из белоснежного французского фарфора модель небольшой книги — томика, на корешке которого золотом написано: Ромен Роллан, *Кола Брюньон*, и маленькая изящная золотая виньетка в виде виноградной кисти с листьями и завитыми усиками, а еще ниже также золотой вензель фабричной марки и название города: «*Кламси*». На обратной стороне переплета между двух прелестных гирлянд из садовых и полевых цветов воспроизведен автограф Романа Роллана — фраг-

мент из «Кола Брюньона», который я приведу в вольном переводе Михаила Лозинского:

«Во-первых, я имею себя,— это лучшее из всего,— у меня есмь я, Кола Брюньон, старый воробей бургундских кровей, обширный духом и брюхом, уже не первой молодости,— полвека стукнуло,— но крепкий, зубы здоровые, глаз свежий, как шпинат, и волос сидит плотно, хоть и седоват. Не скажу, чтобы я не предпочел его русым, или если бы мне предложили вернуться этак лет на двадцать или на тридцать назад, чтобы я стал ломаться. Но в конце концов пять десятков — отличная штука! Май 1914 года. *Ромен Роллан*».

На лицевой же стороне переплета во весь рост нарисован яркой акварелью герой этой замечательной книги, сам, собственной своей персоной Кола Брюньон, знаменитый мастер из Кламси, «обширный брюхом и духом», в зеленом фартуке столяра, в белых чулках, широкой рубахе с открытым воротом, действительно несколько седоватый, с крупным галльским носом и в красной шапочке на голове. Он стоит, подбоченившись, перед своим верстаком, на котором с одной стороны изображен добрый глиняный кувшин, а с другой — рубанок; в руке же у мастера из Кламси увесистый бокал, на три четверти полный красного, светящегося вина, которое так весело оживляет всю эту милую миниатюру, с такой любовью сделанную веселым провинциальным художником-дилетантом.

Эту фарфоровую нарядную безделушку, в которой я храню свои карандаши и автоматические ручки и которая так украшает мой бедный письменный стол, несколько лет тому назад подарила мне супруга Ромена Роллана, милая Марья Павловна, в память нашей поездки в Бургундию, в городок Визлей, где свои последние годы провел Ромен Роллан и где он умер в доме, из окон которого открывается чудесный вид на холмы, виноградники и остатки древнеримской крепостной стены — классический бургундский пейзаж с туманными долинами и огромными столетними буками и ореховыми деревьями.

С Роменом Ролланом я познакомился у Максима Горького на даче под Москвой. Было множество народа, шумно, все толпились вокруг Ромена Роллана, желая пожать его тонкую руку с длинными, музыкальными пальцами. Ромен Роллан был явно смущен: он неподвижно сидел в кресле в своем седом пастушеском плаще, накинутом на плечи поверх черного сюртука, что делало его похожим на худощавого, старого швейцарского пастора, в круглом,

туго накрахмаленном воротничке, с такими же твердыми манжетами и в двубортном жилете. Я видел его узкое лицо с белокуро-поседевшими густыми бровями, высоким холодным лбом и светлыми глазами, сразу же напомнившее мне чье-то другое, хорошо знакомое всем лицо. Чье же? Ах да. Лицо Фритьофа Нансена.

Через несколько дней мы провожали Ромена Роллана на Белорусском вокзале. Он разговаривал с Горьким уже из окна вагона. Они оба — Горький на перроне и Ромен Роллан — грустно и нежно смотрели друг на друга, как бы чувствуя, что расстаются навсегда. Это было в июле 1935 года. За год до смерти Горького.

Из всех произведений Ромена Роллана, писателя-гуманиста, вечного и последовательного борца за мир между народами, тонкого знатока музыки и непревзойденного истолкователя революций, великого гражданина мира, — из всех его произведений больше всего я люблю «Кола Брюньона» — самое народное, самое свежее из всего, что когда-либо выходило из-под его волшебного пера. Вот почему поездка в Бургундию, на родину Ромена Роллана и его знаменитого Кола Брюньона, доставила мне такое громадное наслаждение. Душа Ромена Роллана, разлитая вокруг, как бы прикоснулась к моей душе и наполнила ее тонким ароматом поздней бургундской весны, когда вишни уже спели, а виноград лишь недавно отцвел, оставив после своего цветения неуловимый аромат, как бы желтое облако, прозрачно покрывшее холмы виноградников.

Помню широкую деревянную кровать, на которой умер Ромен Роллан, ее боковые доски, сплошь вымазанные лиловыми чернилами: умирающий писатель до последнего вздоха продолжал творить. Уже не в силах сидеть за письменным столом, он писал лежа, вытирая перья о края кровати, скоро сделавшейся его смертным ложем, хранящим до сих пор следы его чернил.

Мы посетили могилу Ромена Роллана, возле стены его приходской церкви, под старым кипарисом, и положили на грифельно-темную могильную плиту, вровень с землей окруженную другими могилами, свои скромные цветы. Все было скромно на этом маленьком сельском кладбище с церковью, сложенной из местного дикого камня, и лишь колодец с кованым железным перекрытием, переплетенным выющимися розами, — нарядный колодец-беседка, как бы сошедший сюда со страниц сказок Перро, — придавал окружающему какое-то грустное и вместе с тем нежное очарование, тихое умиротворение смерти.

Затем мы посетили деревню и дом, где, как говорят, некогда жил со своей семьей бургундский крестьянин, с которого Ромен Роллан написал своего Кола Брюньона — «славного малого, кругленького пузана не первой молодости, пятидесяти лет, но коренастого, со здоровыми зубами, ясным, как у плотвы, взглядом и густыми волосами на коже, как у осла, хотя и поседевшими». Теперь здесь продолжает жить разросшаяся семья потомков знаменитого мастера из Кламси — семья, являющаяся величайшей достопримечательностью этих мест, овеянная легендой, свято чтящая память великого писателя, своего земляка, прославившего их дом, их маленькую усадьбу, их виноградник на весь мир. Нас встретил пожилой крепкий бургундский крестьянин — почти точная копия Кола Брюньона, — по всей вероятности, его внук или правнук. Он с величайшей почтительностью снял свою широкополую шляпу и низко, но с большим достоинством поклонился жене и другу Романа Роллана — Марье Павловне, которая, в свою очередь, представила нас, своих гостей. И мы, пройдя через двор, где в закутках, как где-нибудь у нас в деревне на Украине, хрюкали свиньи, а на черной грязи вокруг каменной колоды водооя виднелось множество отпечатков утиных, куриных, гусиных и индюшечьих лап, были введены в закопченную кухню каменного, нештукатуренного деревянного дома: там нас среди очага и медных кастрюль встретила вся большая семья потомков Кола Брюньона и несколько батраков в таких же шляпах, как и у их патрона. Все мужчины были без пиджаков, в жилетах и белых рубашках, а женщины в шерстяных платках, накинутых на плечи. Среди них я заметил Ласочку — ее прелестное личико и большие глаза, — она спустилась в погреб, принесла оттуда две узкие бутылки домашнего вина и поставила их на старый-престарый, длинный дубовый стол с начисто выскобленной доской. Хозяева, гости и батраки — все рядом уселись на скамейке за стол, и хозяин налил всем по стакану своего бургундского. Он поднял стакан и сказал:

— За великого мэтра Романа Роллана, нашего земляка и соседа, который в жизни своей нередко посещал этот скромный дом, сидел за этим столом, пил это вино, и за нашего предка славного малого Кола Брюньона, прославившего Кламси на весь мир.

Какой бы писатель не позавидовал в эту минуту своему собрату, так горячо и крепко, на вечные времена признанному своим народом?

Уметь воплотить в своем герое народный характер — вот высшая степень писательского мастерства. И вечером, в столовой дома Ромена Роллана, где, казалось, все еще продолжала жить его всемирная душа, перед камином, где, треща и стреляя, пылали два громадных скрещенных бревна, я продолжал думать о счастье писателя быть воистину народным.

20 декабря 1969 г.

ЭДУАРД ТИССЕ

Каждый раз, когда я думаю об Эдуарде Тиссе, мне приходит в голову одна удивительная подробность из творческой биографии знаменитого французского живописца Эжена Делакруа.

Вот выдержка из книги А. Гастева «Делакруа»:

«Кто бы мог ожидать, что на Эжена Делакруа потрясающее впечатление произведет фотография, что изображение Дагерра приведет его в полный восторг, что он постоянно будет твердить о неслыханных выгодах, которые сулит фотография художнику; мало того: что он будет демонстрировать преимущества фотографии перед произведениями искусства, да еще перед такими шедеврами, как гравюры Маркантонио с Микеланджело и Рафаэля?..»

«После просмотра фотографий, сделанных с обнаженных людей, я положил перед ним гравюры Маркантонио. Мы все испытали неприятное чувство, близкое к отвращению, при виде его небрежности, манерности, несмотря на достоинства стиля — единственное, чем можно было восхищаться, но что не восхитило нас в ту минуту. И действительно, если гениальный человек воспользуется фотографией так, как следует ею пользоваться, он подыметя до недоступной нам высоты».

И еще:

«Если бы это открытие было сделано тридцать лет тому назад, моя карьера художника была бы, может быть, более завершена».

Возможность проверить себя при помощи дагерротипа — это является для человека, пишущего по памяти, ни с чем не сравнимым преимуществом...»

Появление кинематографа, то есть — как его называли в первые дни после рождения — «живой фотографии», примерно совпало с рождением Эдуарда Тиссе. Однако за

это волшебное изобретение братьев Люмьер сразу же ухватились ремесленники, создавшие на потребу мирового обывателя великое множество театров — иллюзион, где демонстрировалась лубочная продукция первых «кинематографистов». Роль операторов в этих балаганных представлениях сводилась к механической съемке незамысловатых представлений, копирующих театральные водевили или даже «драмы». Роль тогдашнего оператора была чисто механической — не выше роли киномеханика, который крутил ремесленные картины в маленьких тогдашних кинозалах, нередко переделанных из обыкновенных квартир или магазинов.

В то время наиболее интересной в области кинематографа была хроника, но и она в большинстве случаев делалась очень ремесленно, без малейшей примеси выдумки и вдохновения, напоминая плохо написанный газетный репортаж, состряпанный малограмотным ремесленником «репортером».

Тиссе прошел школу хроники знаменитой на весь мир фирмы «Патэ» и, еще будучи зеленым юношей, вдруг понял, творчески осознал все возможности, которые таятся в работе кинооператора.

Тиссе открыл секрет кинокамеры. Бездушную машинку, послушно регистрирующую любой движущийся объект, он превратил в орудие высокого изобразительного искусства. Гениальный живописец Эжен Делакура воспользовался фотографией для проверки художественной достоверности рисунка, сделанного рукой человека, а гениальный оператор Тиссе научился проверять достоверность самой жизни, применяя к ее изображению камеру своей «живой фотографии». Жизнь и художественный вымысел слились в волшебных кадрах, снятых Эдуардом Тиссе. У Тиссе был глаз истинного художника, и он, снимая самую, казалось бы, обыденную вещь, умел вдохнуть в нее живую душу, простой зрительный факт превратить в произведение искусства.

В первый период после Октябрьской революции судьбе угодно было свести двух великих художников кинематографа — Эдуарда Тиссе и Сергея Эйзенштейна. Эйзенштейн нашел в Тиссе непревзойденного мастера живой фотографии, сумевшего превратить это ремесло в настоящее искусство, где каждый кадр представлял из себя маленький графический шедевр — вполне законченную картину с великолепной композицией и безупречным распределением светотени. Тиссе нашел в Эйзенштейне изобре-

тательного режиссера, постановщика, человека с большим вкусом и незаурядным талантом рисовальщика, что давало ему возможность решать каждый свой киноспектакль не только глубоко, но также и по-новаторски в полном соответствии со своей оригинальной индивидуальностью. Союз Тиссе — Эйзенштейн начался триумфально: в течение короткого времени был создан «Броненосец «Потемкин», который до сих пор считается лучшей лентой мирового кино, и «Октябрь» — фильм, поражающий воображение своей скульптурностью, энергией, исторической достоверностью и ритмом. Ритм картин Тиссе — Эйзенштейна определялся особенностью небывалого до сих пор монтажа. Считается, что знаменитый монтаж «Броненосца «Потемкина» — это новация Эйзенштейна. Но я думаю, что это только отчасти изобретение Эйзенштейна. Монтаж «Потемкина» — рваный, прыгающий, ежесекундно поражающий воображение зрителя — есть результат необходимости построить картину из кадров Тиссе. Каждый его кадр настолько резок, оригинален по ракурсу, пластичен до стереоскопичности, что монтировать такие кадры можно только одним способом, именно тем, который стал известен как монтаж Эйзенштейна. На самом же деле это монтаж Тиссе — Эйзенштейна, потому что никакой другой монтаж к кадрам работы Эдуарда Тиссе неприменим. При кажущейся своей внутренней законченности и неподвижности, кадр Тиссе заключает в себе бешеное, скрытое движение, вполне подтверждая ту неоспоримую истину диалектического материализма, что неподвижность — это не более чем форма движения. В результате применения к кино этой истины Тиссе — Эйзенштейн добились такого ритма, сила воздействия которого на зрителя до сих пор еще никем не превзойдена в области кинематографии.

В этом-то и заключается сущность Тиссе — художника-оператора-фотографа, человека, преданного своему изумительному искусству.

Я не говорю уже о том, что Тиссе никогда не занимался в кинематографе легкой чепухой. Он брался лишь за большие социальные полотна, и его искусство всегда было партийным в самом высоком смысле этого слова.

Эдуард был интересным собеседником, и я готов был слушать часами его рассказы об Америке, о Мексике, об Италии, Испании и о многих других странах, где он побывал со своей волшебной кинокамерой. Его друзьями были Чарли Чаплин, Мери Пикфорд, Дуглас Фербенкс — десятки и даже сотни выдающихся звезд мирового кино.

Но интереснее всего Тиссе рассказывал о своей работе в кинохронике первых лет революции и гражданской войны, где он участвовал в качестве бойца-кинематографиста. Тиссе снимал конные атаки, героические подвиги Красной Армии. Снимал он также и Ленина. Он рассказывал мне, как однажды, после утомительной съемки, Владимир Ильич пригласил его к себе домой попить чайку и отдохнуть, и Эдуард провел несколько часов с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в Кремле, за чайным столом, в скромной квартирке Ленина.

И мне хочется закончить эти беглые заметки картиной, которая всегда стоит перед моими глазами, когда я думаю о рано ушедшем от нас моем друге Эдуарде Тиссе.

За маленьким чайным столом сидят перед стаканами Владимир Ильич, Надежда Константиновна и молодой человек в спортивном пиджаке и гетрах, смуглый, худощавый, с живыми острыми глазами и с дымящимся блюдечком на трех пальцах, в которое он осторожно дует: это гость Ленина — молодой оператор, энтузиаст и новатор своего дела, страстный поклонник Ленина, коммунист Эдуард Тиссе.

Декабрь 1969 г.

ОБ ИОНЕ ДРУЦЭ

У Друцэ есть рассказ об одном старике, чем-то напоминающем Кола Брюньона. Жизнелюбивый, умный, талантливый, на все руки мастер, кроме того, большой шутник. Житель некоего молдавского села, о котором Друцэ с чисто гоголевской интонацией пишет, что это село — «раза в три больше самого большого села, какое доводилось вам когда-либо видеть; потому что в этом селе с утра до вечера умещается целых три дня, а между одной свадьбой и другой еще две-три свадьбы бывают».

Ловлю себя на том, что мне доставляет большое удовольствие сам процесс переписывания цитат из Друцэ. Мне нравится его чудесный народный юмор — лукавая, почти незаметная усмешка, его точный, но отнюдь не сухой язык, вся его естественная интонационная структура, которой может позавидовать лучший мастер художественного слова. Но если я начну цитировать Друцэ, то никогда не кончу. Поэтому буду краток.

В рассказе о жизнелюбивом старике, который даже

умирает с шутливой лукавой улыбкой на губах, особенно ясно выразились все грани таланта Иона Друзэ: юмор, простота, народность, высокий гуманизм, а главное — та национальная неповторимость художественного мышления, в которой во всей своей простодушной прелести отразилась как бы сама душа Молдавии.

Может быть, я пристрастен, потому что, кажется, и в моих жилах течет молдавская кровь.

При чтении Друзэ передо мной с поразительной ясностью возникает целая галерея национальных характеров. Тут и два старых приятеля, не желающих уступить друг другу дорогу. Их взаимное упрямство едва не доводит их до драки, до смертоубийства, чуть не превращается в родовую месть вроде той, что была между Монтекки и Капулетти. Однако все это кончается чисто по-молдавски — дружеской борьбой на поясах, так называемой «трынтой».

— Честно или с подножкой? — спрашивает один.

— Без подножки, честно, — отвечает другой.

Никто никого не одолел.

«Курыт молча, поглядывая на коней, которые давно стоят, положивши головы друг дружке на спины».

Кончается дело тем, что Монтекки и Капулетти идут распить кувшин розового вина и женят своих детей, ставясь кумовьями.

Невозможно перечислить всех героев Друзэ. К чему бы ни прикоснулось его волшебное перо — сразу возникает объемное, в полном смысле слова стереоскопическое изображение предмета, пейзажа, человека.

Друзэ не узко национальный писатель. Как настоящий большой художник, он не ставит себе никаких ограничений. Сегодня его герой — молдавский старик «батя Чиреш», завтра — Лев Толстой.

Уходу Льва Толстого из Ясной Поляны посвящена повесть Друзэ «Возвращение на круги своя». Ничего нового к фактической стороне этого события Друзэ не прибавляет. Однако силой своего таланта на основе общеизвестных исторических материалов он создает поразительную по силе картину последних дней жизни Толстого, окрасив эту картину светом своей художественной индивидуальности, своего мироощущения. Это как бы тайная исповедь самого Друзэ, выражение сокровенных его мыслей о назначении художника, о его душевных противоречиях, о его постоянном и неустранимом конфликте с окружающей средой.

Говоря точнее, повесть Друцэ «Возвращение на круги своя» — книга о писательской судьбе. По своему стилю книга эта как бы совсем не похожа на другие произведения Друцэ. Но это лишь на первый взгляд. Вчитаешься — и видишь все ту же душевную ясность, поэтичность, а главное, бесстрашие в обрисовке человеческих характеров. Дан целый ряд замечательных портретов. Атмосфера Ясной Поляны отражает всю атмосферу предреволюционной России, да не только России, но и всего тогдашнего мира.

Особенно удался центральный образ повести — сам Лев Толстой. Он многопланов и многогранен. В нем видится то Толстой-офицер, то Толстой-мужик, то аристократ, то мистик, то материалист, точнее, революционер. Местами кажется, что читаешь не прозу Друцэ, а самого Толстого, до того это прекрасно и строго написано. Вне всякой видимой связи с тем, что я сейчас говорю, в моем сознании стоит два маленьких ранних рассказа Друцэ: один о десятилетней деревенской девчонке, которая не пожелала отставать от взрослых и вместе с ними неутомимо полола виноградник, полная счастья и восторга от того, что приобщилась к великому делу общего, колхозного труда. Другой рассказ о крошечной мурашке, которой необходимо переползти совсем небольшое по человеческой мерке поле — необъятное для нее. И она совершает этот подвиг, несмотря на искушения, которые подстерегают ее на пути. Здесь Друцэ как бы перевоплощается в крошечную мурашку и видит мир ее глазами и действует уже не по человеческим, а по мурашиным законам.

Оба эти совсем небольшие рассказа свидетельствуют об изобразительной силе Друцэ и о громадном диапазоне его таланта, способного рассказать с одинаковым увлечением и одинаковой достоверностью и о крошечной букашке, и великом человеке, причем все это пронизано тем особым национальным духом, который так свойствен всей молдавской литературе и одному из лучших ее представителей — Иону Друцэ.

1975

ЭРВЕ БАЗЕН

Роман современного французского писателя Эрве Базена «Анатомия одного развода», названный так в русском варианте с согласия автора, а в подлиннике именуемый «Мадам Экс», — явление во многих отношениях незауряд-

ное, хотя бы уже по одному тому, что оно совершенно определенно утверждает в современной западной литературе, склонной к декадансу, путь реалистического романа.

Считается, что основная, если не единственная тема Базена — это извечная проблема семейных отношений.

Вот что говорит об этом сам Базен в одном из своих интервью: «Многие считают меня специалистом по «семейным трудностям». Можно спорить, так ли это, поскольку, к примеру, мой роман «Головой об стену, или Встань и иди» не имеет никакого отношения к «семейным трудностям». Но такое толкование вполне понятно, если учесть, что, начиная с «Гадюки в кулаке» и кончая «Супружеской жизнью», я действительно много занимаюсь проблемами семьи».

Теперь к романам на семейную тему прибавился роман «Анатомия одного развода», до сих пор еще неизвестный советским читателям.

«Анатомия одного развода», несомненно, делает Базена одним из самых сильных исследователей семейной проблемы современного буржуазного общества.

В девятнадцатом веке было в обычае пользоваться в художественной литературе термином «физиология»: физиология определенного класса, определенной семьи, города, страны и т. д. Базен продолжил этот обычай, идущий со времен Золя, а быть может, из еще более далекого времени. Но Базену показалось слово «физиология» недостаточным. Он пошел дальше своих предшественников и назвал свое художественное вторжение в семейную проблему более резко — «анатомия», этим как бы признавая право романиста в особо тяжелых случаях социального заболевания вместо традиционного пера или же шариковой ручки применять скальпель хирурга.

И он прав.

Подчас хирургическое вмешательство — единственный способ спасти больного, в особенности когда речь идет не о жизни какого-нибудь одного человека, а целого человеческого клана, или, если хотите, класса. В данном случае класса «мелкой буржуазии», как неоднократно определял сам Базен ту социальную среду, в которой он оперирует скальпелем своего не знающего пощады пера художника-реалиста.

Впрочем, я бы скорее назвал Базена не реалистом, а натуралистом, вернее, «натуралистом социальным» или даже просто материалистом, что еще точнее. Впрочем, так оно и есть на самом деле: оперируя в сфере, ограниченной

рамками одной супружеской пары, вступившей на путь расторжения своего брака, Базен, в сущности, обнажает социальную структуру всего общества, к которому принадлежит сам.

Сюжет романа прост: разводятся супруги, долго прожившие вместе, имеющие уже четверых детей и вступившие некогда в брак по взаимной любви. И вдруг — развод! Повод — измена мужа. Банальный адюльтер, впрочем, не вполне банальный, так как неверный муж настолько увлечен, что решил жениться на своей любовнице, забыть все прошлое и начать новую жизнь, что в обычных адюльтерах случается не столь часто.

Он разлюбил мать своих четырех детей и готов на все для того, чтобы иметь возможность создать новую семью с новой, желанной, любимой и молодой женщиной.

Ну, что же. Начинается ничем не замечательный, весьма обычный, даже несколько скучноватый в силу своей банальности бракоразводный процесс из числа тех французских бракоразводных процессов, которые в большинстве случаев кончаются тем, что государственная власть в лице своего судебного аппарата разводит мужа и жену, которой возвращает ее девичью фамилию, но, конечно, не может вернуть девичьей юности и невинности. Казалось бы, о чем тут писать, а тем более объемистый роман.

Однако это не так.

Судебное решение о разводе, имеющее силу закона, отнюдь не исчерпывает сюжета. Роман не кончается, а, напротив, только еще начинается: возникает длинный ряд острых послесудебных ситуаций, вытекающих одна из другой в ходе исполнения судебного решения. В силу бюрократической инерции и несовершенства закона судебное решение дает повод к возникновению мучительно длинной цепи дополнительных и зачастую почти непреодолимых трудностей, сложностей, тупиков, связанных с разделом имущества, продажей дома, проблемой детей, — как с ними поступить? — алиментами, различными судебными кассациями и новыми процессами, ведущими не только к трепке нервов, но и к крупным, подчас даже непосильным материальным затратам на адвокатов и так далее, и так далее, не говоря уже о том, что вся эта запутанная юридическая волокита в духе Диккенса болезненно ранит души тяжущихся сторон, а также тягостно отражается на брошенных отцом детях, которых суд, разумеется, присудил матери, однако при этом постановил два дня в месяц в обязательном порядке проводить с отцом.

Можно себе представить всю трудность этого обязательного положения, регламентированного математически точными календарными сроками: второе и четвертое воскресенье каждого месяца и две недели летних каникул. Вот уж, что называется, настоящий идиотизм, так как нарушение этого судебного решения одной из сторон дает другой право возбудить новый процесс, связанный с увеличением или уменьшением алиментов.

А то, что дети — живые существа, во внимание не принимается... ими швыряются, как шарами. Короче говоря, все вертится вокруг денег. Во всем решающую роль играют деньги. Деньги, деньги, только деньги.

Кошмар!

Разворачивая с неуклонной логической и хронологической последовательностью свой сюжет, Базен по ходу действия — неизменно отмечая его повороты календарными отметками (такого-то числа, такого-то месяца и года), что придает роману особую документальную достоверность, — как бы за ниточку вытаскивает на свет божий целую галерею возникающих один за другим персонажей, имеющих непосредственное отношение к содержанию романа, не говоря уже о портретах главных действующих лиц — «ее», «его» и «разлучницы», написанных с блеском, которому могут позавидовать самые лучшие из современных беллетристов: в романе появляются и все люди, сопутствующие аналитическому исследованию, предпринятому писателем. Тут и разного типа адвокаты, судьи, судебные клерки, чиновники, родственник «ее», родственники «его» и «разлучницы», агенты по продаже имущества, рассыльные, полицейские, торговцы, соседи-сплетники, знакомые соседей, вовсе незнакомые любители вмешиваться в чужие дела и т. д. и т. п., причем главное внимание писателя сосредоточено — хотя и очень незаметно — на четверке брошенных отцом детей, из которых у каждого свой особый, индивидуальный характер и которые все вместе вовлечены в тягостные перипетии развода своих родителей.

Стиль Базена — четкий, точный, строгий, лишенный сентиментальности, скорее стиль судебного документа, чем романа, однако зачастую украшенный чисто разговорными, даже уличными оборотами речи, что делает его особенно живым и естественным: ни одного портрета, ни одной сцены, ни одного слова, не имеющего отношения к операции, которой занят писатель. Каждое слово двигает действие, как в хорошей пьесе. Однако попутно со строгой объективностью повествования вдруг, как бы незна-

чай, возникают подробности, мелкие, но точные наблюдения, счастливо найденные эпитеты.

Мы убеждаемся, что Базен обладает редким качеством — умеет гармонически сочетать в художественной ткани своего произведения элементы «повествовательного» с «изобразительным». Он повествует изображая, и изображает повествуя, что является самым драгоценным свойством литературного мастерства. Обе эти стороны — изобразительное и повествовательное — строго уравновешены.

Завидное золотое равновесие!

Благодаря этому свойству таланта Базена, дочитав роман до конца, вы вдруг замечаете, что перед вами только что было развернуто широкое живописное полотно, где каким-то магическим образом жанровые сцены сочетаются с пейзажем, портреты с натюрмортами, интерьеры квартир и судебных помещений с дождевыми каплями, повисшими на спицах раскрытых зонтиков, а все это вместе является зримой, почти стереоскопической, осязаемой, густо населенной картиной современного французского города, его мелкобуржуазного общества.

Да вы и сами убедитесь в этом, прочитав роман. Я, например, начал его читать без особой охоты, но вдруг на третьей же странице увлекся и проглотил его буквально залпом, хотя сам принадлежу к совсем другой литературной школе, чем Базен, стараюсь в своих вещах избегать хронологичности и предпочитаю связи формально-логической связь ассоциативную, люблю развернутые метафоры, фигуры умолчания и поступки своих персонажей пытаюсь, что называется, «взять изнутри», пропустив через себя.

Узкая специализация писателя в какой-нибудь одной области (например, военной, медицинской, педагогической, детской) кажется мне весьма опасной для искусства. Писатель должен быть по возможности более широк и вовлекать в сферу своего внимания человеческую жизнь во всех ее личных и социальных аспектах. Тем не менее проза Базена, зачастую имеющая узкое направление, мне очень нравится, быть может, потому, что это проза человека одержимого.

«Одержимая проза».

Подобно Вольтеру, одержимому неистребимой ненавистью к католической церкви и к феодальному строю, его отдаленный литературный потомок Эрве Базен одержим ненавистью к несовершенству современных буржуазных государственных институтов и угнетающей косности мел-

кобуржуазного общества, разделенного на глухо враждующие между собою семейные кланы, превращающие прекрасное чувство любви мужчины и женщины в унылую супружескую повинность — постоянный источник адюльтера — и в повод для порабощения одной человеческой личности другой.

Базен в корне своем глубоко пессимистичен. Его героиня совершает убийство. Он бескомпромиссен в непризнании социальной структуры своего общества. В этом непризнании есть даже что-то толстовское. Временами сквозь флюберовский объективизм, сквозь социальную направленность Золя, сквозь ярость великого Бальзака, сквозь магическую стереоскопичность гонкуровского реализма я замечаю ядовитую, убивающую улыбку Вольтера. Несомненно, Базен в чем-то вольтерьянец.

В романах Базена нечего искать счастливого конца или, в крайнем случае, выхода из создавшегося положения. Его герои почти всегда оказываются в тупике. Перед ними — непреодолимая стена. Быть может, это происходит потому, что в общественной среде, которую изображает или, вернее, оперирует Базен, существует застарелый предрассудок, заключающийся в том, что люди придают слишком большое значение акту физической близости между мужчиной и женщиной, считая это и только это высшим блаженством человека. Ведь такого рода любовь есть вечный двигатель жизни. В чем-то это, конечно, справедливо. Но не следует при этом забывать, что существует в мире другая, высшая форма любви — любовь духовная; дружба между супругами, симпатия, взаимопонимание, уважение, терпимость друг к другу — именно та любовь, о которой неустанно повторял Лев Толстой, противопоставляя ее любви половой и считая ее выходом из любого, самого трудного жизненного положения. В особенности это ощущается в повести «Семейное счастье», впрочем, не лучшего произведения Толстого.

У Базена такого рода духовная любовь совсем не принимается в расчет, в чем он является последователем мировоззрения Мопассана.

Базен пишет в своем романе «Супружеская жизнь»:

«Пороки супругов могут послужить основанием, чтобы с общего согласия признать брак недействительным. И все же самый главный порок брачной жизни — само время, убивающее основы супружества...»

Это справедливо лишь в том случае, если придается слишком большое значение такому, в сущности, пустяку,

как время, а также при отсутствии понятия о высшей форме любви: духовной, над которой время не властно.

Как стилист Базен широко пользуется, как я уже здесь заметил, хронологией. Хронология у него — равноправный элемент языка. У него каждый эпизод романа имеет свою календарную дату, что делает писателя на сегодняшний день вполне современным, даже злободневным, но в будущем неизбежно превратит его роман в несколько старомодный.

Впрочем, ведь и Диккенса мы воспринимаем сегодня несколько старомодным, что не мешает ему быть великим и вечным. Однако Базен умеет кое-где применять и более современные приемы, свойственные «мовизму»: строфичность прозы, когда писатель оставляет между отдельными особо эмоциональными абзацами пробелы, некие пустоты, что так заметно в печатном тексте. Эти типографские пробелы как бы приближают прозу к стихам, что очень украшает жесткий, сугубо прозаический язык Базена, делая его мягче, пластичнее и даже, я бы рискнул сказать, современнее: так, например, в одной лишь страничке романа «Супружеская жизнь» я насчитал четыре таких типографских пробела, придающих грубоватой прозе прелесть верлибра.

Порой Базен прибегает к формам почти фельетонно-газетным. Иногда это закономерно, но иногда разбивает впечатление стилевого единства, так, например, в «Анатомии одного развода» слишком фельетонно дано описание клуба брошенных жен «Агарь». Читателя эти страницы, конечно, позабавят, но я бы лично свел их к минимуму, ограничился бы только намеком. Ведь надо же дать пищу и читательскому воображению. В романе нельзя все без исключения разжевывать, нельзя писать без особой необходимости слишком густо. Нужен воздух.

Впрочем, довольно. Пусть остальное домыслит за меня читатель.

В заключение надо заметить, что крупнейший современный прозаик-реалист Эрве Базен пользуется громадной популярностью не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. У нас тоже. Базен по справедливости является президентом знаменитой Гонкуровской академии в Париже, быть может, самой мощной, непоколебимой цитадели хорошего литературного вкуса, а также великого французского реализма, уходящего корнями в глубины истории французской национальной культуры.

Михаил Булгаков представляется мне одним из самых выдающихся советских писателей. Прошло уже около сорока лет после его смерти, а слава его продолжает расти.

Творческий путь Булгакова чрезвычайно сложен. Талант его ярок, многообразен и самобытен. Как известно, свою литературную деятельность он начал фельетонистом газеты «Гудок» в двадцатых годах. Он выступал под различными псевдонимами, и его маленькие фельетоны на бытовые темы были всегда остроумны, безукоризненны по форме, глубоки по содержанию и горячо принимались многомиллионными читателями «Гудка» — рабочими и служащими железных дорог Советского Союза.

Именно в это время с особенной яркостью проявились основные черты его таланта: юмор и сатира. В этом отношении он принадлежал к так называемой гоголевской школе. С Гоголем Булгакова сближало также и происхождение: порождению своему он был украинец, киевлянин. Однако подобно Гоголю писал на русском языке и был во всех отношениях чисто русским писателем.

Юмор и сатира были его стихией. Как сатирик, он, несомненно, продолжал в русской литературе линию Салтыкова-Щедрина. Так же как и Салтыков-Щедрин, он боролся с бюрократизмом и мещанством. В этом отношении он стоял в одном ряду со своими товарищами и сверстниками — Михаилом Зощенко, а также с Ильфом и Петровым, авторами классических произведений «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Кстати сказать, вместе с ними он работал во многих юмористических изданиях двадцатых годов.

Широкую известность принесли Булгакову пьесы, в особенности «Дни Турбиных», поставленные в «Художественном театре» и до сих пор не сошедшие со сцены. Пьеса шла с триумфальным успехом. Кроме «Дней Турбиных», переделанных Булгаковым из своего романа «Белая гвардия», появилось еще несколько его пьес — «Зойкина квартира», с громадным успехом шедшая в Вахтанговском театре, пьеса «Мольер», гротесковая комедия «Багровый остров» и многие другие, из которых пьеса «Бег» до сих пор не сходит с репертуара многих театров и переделана для кино.

Но драматургия не была основным и единственным призванием Булгакова. В основе своей Булгаков был романист. Наряду с газетной и журнальной поденщиной, на-

ряду с хлопотливой жизнью драматурга Булгаков всегда занимался прозой. Я думаю, что Булгаков был рожден для того, чтобы в конце концов стать автором великозаслуженной книги «Мастер и Маргарита», к которой готовился всю жизнь. В этом романе соединились все качества Булгакова-художника: сатира, юмор, фантастика, удивительная живопись, философия.

Мне довелось быть довольно близким другом Булгакова, и я имел возможность наблюдать в течение десятилетий, как созревала эта удивительная книга, ставшая ныне всемирно знаменитой. Часто он читал мне из нее страницы, всегда поражавшие меня яркостью красок и удивительной портретной живописью.

Дружба с Булгаковым — самое радостное и яркое впечатление моей литературной молодости.

Теперь, когда я бываю за границей и мне приходится выступать перед студентами английских, французских или итальянских университетов, первый вопрос, задаваемый мне, всегда о Булгакове.

Михаил Булгаков стал всемирно известным писателем, звездой первой величины, и я испытываю гордость за свою Советскую родину, которая дала миру столько замечательных писателей, среди которых горит имя Михаила Булгакова.

*7 декабря 1977 г.
Перedelкино*

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

Иракий Андроников явление уникальное. Никогда еще русская культура, русское искусство не создавали ничего подобного.

Андроников литературовед, знаток русской классики, исследователь жизни и творчества Лермонтова, Пушкина. В этой области он сделал несколько замечательных открытий. Он тонкий знаток музыки, живописи, дирижерского мастерства. Да вообще нет такой области в сфере русского и мирового искусства, где бы Андроников не блеснул своим замечательным вкусом, своей удивительной эрудицией.

Все это так. Но главное не это. Главное то, что Андроников создал еще небывалый доселе жанр устного рассказа, в котором разговаривают и действуют персонажи не

выдуманные, не обобщенные, а подлинные, живые, взятые из той среды, в которой вращался Андроников: писатели, дирижеры, артисты, художники, причем все они не укрыты под псевдонимами, выступают открыто, как таковые, под своими фамилиями.

Алексей Толстой есть Алексей Толстой, Качалов есть Качалов, Горький есть Горький.

Андроников их не изображает, а как бы становится ими самими. Небывалый феномен перевоплощения. Точность речи вплоть до мельчайшей интонационной детали. Если закрыть глаза, то невозможно отличить, кто говорит — Андроников или, например, Остужев.

Однако это отнюдь не фонографическая запись, не фотография голоса, записанного на пленку. Это творческий акт художника, так как Андроников не просто воспроизводит, а как бы заново создает не только голос, но так же и всю речевую, синтаксическую особенность оригинала.

Это не просто эстрадный номер, каких немало, а рассказ или даже целая повесть со своим сюжетом, со своим зерном. Каждому изображению сопутствует глубоко подмеченный характер.

Например, знаменитый диалог Алексея Толстого с Качаловым — это конфликт двух честолюбцев, двух эгоцентриков, не желающих слушать друг друга и говорящих только о себе.

Текст, конечно, препарирован Андрониковым, но с таким искусством и такой внешней и внутренней точностью, что просто диву даешься.

Настоящее чудо. Эффект присутствия.

Я давным-давно знаю Андроникова. Однажды он еще совсем молодым человеком приехал из Ленинграда в Москву и впервые попал ко мне. На мне он, кажется впервые, испробовал свое искусство.

Он был еще никому не известен.

Я был поражен. Это показалось мне просто невероятно.

В передней раздался голос Алексея Толстого, но в комнату вошел косолапой походкой Толстого улыбающийся молодой человек с лукавыми глазами, по-грузински носатый и по-питерски вежливый — Ираклий Андроников, с трудно произносимым отчеством — Луарсабович.

Желая проверить его импровизационные способности, я стал задавать ему вопросы, как будто бы Алеше Толстому, и Андроников, не задумываясь, отвечал мне не только голосом Толстого, но и его синтаксисом, его манерой мыслить,

Сначала можно было подумать, что искусство Андроникова вещь чисто салонная, для немногих. Но когда появился телевизор и Андроников стал выступать в его программах, то стало совершенно очевидно, что его искусство массовое, народное.

Миллионы телезрителей обожают Андроникова. Он неслыханно популярен.

Я обязан Андроникову тем, что своим искусством перевоплощения он натолкнул меня на то, что теперь называется «новая проза Катаева».

Дорогой Иракий Луарсабович, старый мой друг, низко вам кланяюсь.

*5 июня 1978 г.
Переделкино*

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

Однажды, в самом начале двадцатых годов, мой друг Юрий Олеша поехал из Москвы в Петроград по каким-то газетным делам. Вернувшись, он привез вести о петроградских писателях, так называемых «Серапионовых братьях», о которых мы слышали, но мало их знали. Олеша побывал на их литературном вечере. Особого впечатления они на него не произвели, кроме одного — Зощенко — автора совсем небольших рассказов, настолько оригинально и мастерски написанных особым, хорошо выделанным мещанским «сказом», что даже в свободном пересказе Олеша они не потеряли своей совершенно особой прелести и вызывали неудержимый смех.

Вскоре слава Михаила Зощенко как пожар охватила всю нашу молодую республику.

Он был не только юморист, но и острейший сатирик, боровшийся со всеми видами обывательской пошлости и еще недобитого революцией мещанства.

Со своей стороны воинствующая обывательщина объявила Зощенко войну не на жизнь, а на смерть. Его замалчивали, неуважительно критиковали. Объявили явлением внелитературным.

Степень его славы была такова, что однажды, когда он приехал в Харьков на свой литературный вечер, к вагону подкатали ковровую дорожку и поклонники повели его к выходу, поддерживая под руки, как королевскую особу.

Распространился слух, что местные жители предлагали ему принять украинское гражданство, поселиться в столице Украины и обещали ему райскую жизнь. Переманивала его также и Москва. Но он навсегда остался верен своему Петербургу — Петрограду — Ленинграду.

Мы с ним подружились.

Он оказался вовсе не таким замкнутым, каким его изображали многочисленные мемуаристы, подчеркивая, что он, великий юморист, сам никогда не улыбался, был сух и мрачноват.

Все это неправда. Он был человек веселый. Он был, как электричеством, заряжен юмором. Только этот юмор он выказывал лишь в своем кругу, среди друзей, которых он любил. Он много и часто смеялся, но его смех скорее можно было назвать ядовитым смешком, я бы даже сказал, ироническим хехеканьем, в котором добродушие смешивалось с сарказмом, и во всем этом принимала какое-то таинственное участие черная бородавочка под его тонко извивающимися губами.

Его глаза были похожи на миндаль, еще не очищенный от коричневой шкурки.

Выяснилось, что во время первой мировой войны мы воевали вместе с Зоценко на одном фронте и оба были отравлены газами. Но тогда мы еще не были знакомы.

Выяснилось также, что наши предки были жителями Полтавщины. Такие географические названия, как Миргород, Диканька, Сорочинцы, звучали для нас совсем не экзотично, а вполне по-бытовому. Фамилию Гоголь-Яновский мы произносили с той простотой, с которою произносили бы фамилию близкого соседа.

Он меня всегда называл нежно Валюшенька, я его Мишенька.

Зоценко писал не только маленькие смешные рассказы. У него есть вещи крупные, философские, но всегда оригинальные. Он был писателем широкого диапазона. Дать полный литературный портрет Зоценко — дело критики.

Несмотря на свою, смею сказать, всемирную известность, Зоценко всегда продолжал оставаться весьма скромным человеком. Приезжая изредка в Москву из Ленинграда, он останавливался не в лучших гостиницах, а где-нибудь недалеко от вокзала, и некоторое время не давал о себе знать, а сидел в маленьком номере и своим четким, так называемым елизаветинским почерком, без помарок писал один за другим несколько маленьких расска-

зиков, придуманных в поезде, а потом отвозил их на трам-
вае в редакцию «Крскодила», после чего о его появлении
в Москве уже узнавали все.

Я мог бы бескопечно много рассказать о моем дорогом
друге Мише Зоценко, но в заключение скажу только одно:
на нашем литературном небе вспыхнула звезда первой ве-
личины. Эта звезда сияет и поныне. И еще долго будет ра-
довать нас всех своими яркими лучами.

Имя этой звезды — Михаил Зоценко.

*2 августа 1978 г.
Псределкино*

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Он был виртуозом, мастером высочайшего класса скри-
пичной игры. И все же этих качеств недостаточно, чтобы
объяснить обаяние личности Леонида Когана, его миро-
вую славу. А слава у него была действительно всемирной.

Им восхищались во всех странах и на континентах
земного шара.

Имя Леонида Когана стало символом музыкальной
гениальности.

Он не только выдающийся интерпретатор чужой му-
зыки, но также выразитель своей индивидуальности, сво-
его душевного настроя.

Он одновременно и музыкант, и поэт.

Для меня лично в его музыке более всего присутство-
вало нечто неуловимо лермонтовское.

В отличие от многих других виртуозов, поражающих
своим мастерством, Леонид Коган — мастер, доведший
свое мастерство до той высшей степени, когда оно пере-
стает быть заметным. Высшая простота исполнения, кото-
рое уже не ощущается как труд, а становится чистой поэ-
зией.

Мне приходилось встречаться с Коганом неоднократно
в разных местах и при разных обстоятельствах, и всегда
встреча с ним ощущалась мною, как праздник, как прикос-
новение к чему-то высшему, романтическому.

Жизнь великого музыканта почти всегда связана с ча-
стой переменой мест, с разъездами по городам мира. Се-
годня он гастролирует в Америке, завтра — в Австралии,
послезавтра — на Дальнем Востоке, в Сибири или в Япо-
нии. Вся Европа для него родной дом, не говоря уже о

Москве, Ленинграде, Киеве, где он дышит родным воздухом.

Наши пути часто пересекались.

Особенно мне запомнилась встреча с ним в Париже.

Сначала это был концертный зал, где Леонид Коган во фраке с белым пластроном стоял посреди эстрады, оглушенный бурей аплодисментов и криками восторга. Потом, тем же вечером, я встретился с ним за ужином в богатом французском доме, где хозяйева как бы «угощали» им своих светских друзей из числа парижского бомонда.

Коган был уже не во фраке, а в скромном пиджаке, и если бы не всемирная слава, которая как бы освещала его грубоватое худощавое лицо, его крупный скульптурно вылепленный лоб, то он мог бы показаться совсем незаметным, скромным и молчаливым посреди этого богатого собрания.

Но он был в центре внимания. Он здесь царил.

Вот что значит слава!

Вообще-то Коган был человеком очень скромным, молчаливым, серьезным, углубленным в себя. Лишь очень легкая улыбка временами освещала его худое лицо, говоря, что он не чужд скрытого юмора.

Общее восхищение и все комплименты его гениальной игре он принимал сдержанно, как бы не придавая им никакого значения.

Утром я встретился с ним на парижском аэродроме Бурже у трапа самолета, готовящегося к отлету в Москву.

Здесь Леонид Коган предстал передо мной в новом виде.

Была серая, ненастная погода, и на Когане было осеннее пальтецо с поднятым воротником. Под мышкой он держал какой-то продолговатый сверток, нечто закутанное в детское одеяльце.

— Что это у вас такое? — спросил я.

Он искоса взглянул на меня, пожал одним плечом, потом другим. Еле заметная ироническая, чисто «одесская» улыбка тронула его крупные губы.

— Ну что может держать под мышкой пожилой скрипач? — ответил мне вопросом на вопрос Коган и добавил: — Конечно, это скрипочка.

Все с той же черноморской интонацией он сказал не «скрипка», а «скрипочка».

Я заметил, что у него в руках не было обычного скрипичного футляра. Он держал под мышкой свою «скрипочку», бережно завернутую в одеяльце. Было трогательно

видеть, как он обращается со своим инструментом, спасая его от холода и сырости: боялся его простудить.

Это было, кажется, один раз за все наше знакомство, когда он пошутил в южнорусском стиле...

...что-то родственное, черноморское, сразу же сблизившее нас...

Потом мы сидели в туристском салоне самолета, а скрипочка была бережно уложена на верхней полке.

Кстати, о туристском салоне.

По своему рангу великого мирового музыканта Коган, конечно, должен был лететь в салоне первого класса, но почему-то в тот раз он летел в туристском. Возможно, произошла какая-то неувязка с администрацией, по поводу которой он не выразил по своей врожденной скромности никакого неудовольствия; он даже ее и вовсе не заметил. Он летел среди туристов, ничем не выделяясь из их однообразной пестрой толпы. И никому не пришло в голову, что вместе с ними летит великий скрипач.

Мы разговорились. Я коснулся вопроса о скрипке, завернутой в одеяльце. Коган поддержал мой вопрос о скрипочке. Он говорил о ней с нежностью, даже как бы с благодарностью, словно бы именно она, эта «скрипочка», была главной причиной его славы.

Тут, на высоте восьми тысяч метров над землей, под шум авиационных моторов мы болтали о всякой всячине, и, в частности, я вспомнил о забавном эпизоде из жизни молодого Гоголя, воспитанника Нежинской гимназии. Гоголь в юности был большой любитель музыки и сам весьма недурно играл на скрипке, что видно из его письма родителям, в котором будущий великий писатель просил прислать ему денег на приобретение смычка. Оказывается, скрипка у него была, но смычка почему-то не было (может быть, сломался?).

А какая же скрипка без смычка!

Этот эпизод из жизни Гоголя обратил на себя особое внимание Когана, даже, я бы сказал, немного взволновал его. Оказывается, он вез смычок в чемодане, отдельно от скрипки.

Коган задумался и сказал:

— Мне кажется, что, если бы Гоголь не бросил играть на скрипке, он мог стать великим скрипачом, о чем свидетельствует необыкновенная музыкальность его прозы. Да и вообще глубокое понимание музыки и любовь к ней.

Это замечание Когана о музыкальности гоголевской прозы поразило меня своей проникновенностью. Тут, кста-

ти, Коган заговорил и о любви Гоголя к народным украинским песням.

Я понял, что Коган всюду улавливал присутствие музыкальности. Музыка была стихией, в которой постоянно жила душа Когана. Он ощущал музыку во всех видах искусств: в поэзии, в драме, в живописи, в скульптуре, в архитектуре.

Запомнилась встреча с Коганом на одной из московских художественных выставок, где, кроме живописи, выставлялись работы скрипичных мастеров-любителей. Впережку с картинами на стенах висели скрипки.

Коган, осматривая выставку, остановился у одного пейзажа и долго в него вглядывался, как бы желая постичь живописную музыку этого понравившегося ему пейзажа.

В это время к нему подошел один из скрипичных дел мастеров и попросил великого музыканта оценить выставленную скрипку его работы. Он снял ее со стены и протянул Когану, желая узнать его суждение. Коган взял в опытные руки скрипку и внимательно ее осмотрел со всех сторон. Затем приложил ее привычным профессиональным движением к подбородку, который сразу же стал твердым, и тогда впервые я постиг в полной мере Коган-мастера.

Скрипка как будто ожила и засветилась в его руках. В правой его руке как по волшебству оказался длинный смычок, а кистью левой руки он крепко зажал деку инструмента в верхней ее части.

Я стоял рядом с Коганом, впервые наблюдая вблизи технику скрипичной игры, так сказать, механизм извлечения из инструмента звукового ряда.

В этом механизме участвовали не только две руки скрипача, но также его бритый подбородок, упершийся в нижнюю часть инструмента, и как бы все тело, все мышцы скрипача.

Коган взмахнул смычком и вдруг преобразился: его лицо стало напряженным, каким-то жестким, неумолимым, крупный скульптурный лоб навис над инструментом, подбородок стал еще более напряженным, еще более квадратным. Но что меня больше всего поразило, так это сжатая в кулак кисть, поднятая к плечу, и движение пальцев, пробежавших вдоль струн, в то время как кисть другой руки, воздушно изогнутой, почти неосяземо повела смычком, и все эти разнообразные и так не похожие друг на друга движения и тем не менее удивительно сопряженные друг с другом вызвали несколько волшебных звуков.

Было такое впечатление, что звуки возникли сами по себе, не имея отношения ни к струнам, ни к смычку, ни к движению рук скрипача, ни ко всей его напряженной фигуре, ни к его жестким, нависшим бровям.

Музыка (вернее всего, два или три такта) рождалась не из полированного дерева новой скрипки, а из человеческой воли — незримой и неосязаемой.

В особенности, повторяю, поразили меня руки скрипача,двигающиеся не в лад, а вместе с тем вызывающие слаженную мелодию.

Вся фигура Когана казалась как бы изваянной неким волшебным скульптором.

Все продолжалось не более одной минуты. Звуки скрипки затихли, и Коган с милой, снисходительной улыбкой вернул инструмент мастеру.

— Прекрасный инструмент, — сказал Коган и уже больше не обращался к вопросу о качестве инструмента. Его приговор был окончательный, и услышать его из уст такого скрипача, как Коган, было для скрипичного мастера равносильно награде высшим орденом.

Коган же снова обратил все свое внимание на живопись, на окружающие его пейзажи, портреты и жанровые сцены.

На миг проснулся в нем бог искусства, после чего из великого музыканта он превратился в любителя и знатока живописи, в которой, несомненно, ощущал присутствие музыки.

...Так навсегда в мою память врезались две руки Когана — правая, воздушно водящая смычком, и левая со сжатыми, бегающими пальцами, а также его резко очерченный подбородок и крупный лоб с колючими нависшими бровями...

Коган выслушал новую скрипку с видом врача, выслушивающего ребенка и ставящего диагноз: «Хороший ребенок».

Я слушал игру Когана в Концертном зале знаменитой Московской консерватории, где из глубины двухсветного зала с овальными портретами великих мировых музыкантов небольшая фигура Когана казалась черной статуэткой с воздушно поднятым смычком — на фоне органа — или (крупным планом) когда Коган собирал поданные ему букеты и сдержанно кланялся публике.

Часто дивная скрипка Когана звучала у нас вечером в комнате по телевизору. Иногда по радио. Искусство Когана сопровождало нас постоянно, и постоянно мы нахо-

дились в магнитном поле его обаяния. Музыка Когана сделалась частью нашей жизни.

Для меня она звучит как лермонтовский стих, полный страсти и горечи.

Однажды по телевизору мы смотрели (а главное — слушали) советско-болгарский фильм «Никколо Паганини», где Леонид Коган исполнял всю музыку Паганини. И было такое ощущение, что это играет сам Паганини.

В тот раз музыка Паганини в исполнении Когана прозвучала как реквием скрипача самому себе: через два месяца после этого смерть унесла от нас гениального музыканта Леонида Когана.

Какое счастье, что сохранились записи его концертов, так что душа Леонида Когана навсегда остается с нами.

*Октябрь 1983 г.
Переделкино*

О ГОГОЛЕ

Гоголь — одно из самых дивных явлений русского художественного гения. Только великий народ мог дать миру такого великого писателя.

Гоголь — художник совершенно самобытный, небывало оригинальный.

Пушкин как-то записал в своем дневнике: «Вчера Гоголь читал мне сказку, как Иван Иванович поссорился с Иваном Тимофеевичем — очень оригинально и очень смешно».

Как видите, у Пушкина здесь описка: Иван Никифорович назван Иваном Тимофеевичем. Но есть еще и другая обмолвка: повесть Гоголя названа сказкой.

Лично я уверен, что это не обмолвка и не описка. Думаю, что Пушкин вполне сознательно назвал повесть Гоголя о двух миргородских обывателях — сказкой.

При всей ее бытовой достоверности, жанровости, она по духу своему, по кисти, в значительно большей степени — сказка, чем повесть. В ней житейская пошлость и сами характеры героев доведены до чисто сказочных фантастических масштабов.

Гоголь-художник, в значительной мере, вышел из стихии народной сказки и народной песни.

И Пушкин это безошибочно почувствовал. Он гениально проник в самое существо Гоголя и с волшебной точ-

ностью определил его излюбленную литературную форму: не повесть, а именно сказка. Почти все написанное Гоголем более всего похоже на сказку, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Миргорода» и кончая «Мертвыми душами». Они все населены характерами поистине сказочными.

Не будем говорить о Вие, Панночке, Красной Свитке, Басаврюке, черте, укравшем месяц, ведьме с отрубленной рукой, мертвецах, грызущих друг друга на дне пропасти... Они являются, в прямом смысле, персонажами сказочными, заимствованными из чистейших родников народного творчества.

Но возьмем даже персонажи «Мертвых душ» или «Ревизора». Ведь это тоже характеры сказочные, хотя и взятые не из народной старины, а из окружающей Гоголя действительности, что не помешало их фантастичности.

Реализм несколько не противоречит фантастике. Больше того. Мне думается, что народная сказка — в самой своей основе — реалистична, верна жизни.

«Народ не выдумывал; он рассказывал только о том, чему верил...» — пишет Афанасьев в предисловии к собранию русских народных сказок. Конечно, верования народа были фантастичны. Но народ «не отважился дать своей фантазии произвол, легко переходящий должные границы и увлекающий в область странных, чудовищных представлений».

В этом — различие между фантастикой истинно народной и фантастикой кабинетной, «высосанной из пальца», декадентской, действительно дошедшей до «странных, чудовищных представлений».

Фантастика Гоголя реальна, хотя характеры, созданные им, сказочны, точнее, сказочно преувеличены.

Уж если Хлестаков врет, так врет сказочно! Коли Ноздрев наглец, то сказочный наглец! Если Плюшкин скуп, то он скуп, как царь Кощей, который «над златом чахнет»... У Гоголя все реально и вместе с тем — все — сказка! Если арбуз, то семьсот рублей арбуз! Если курьеры, то 35 000 курьеров! Если взятка, то взятка сказочная: не чем-нибудь, а борзыми щенками. Если лошадь, то розовой или голубой шерсти.

Господи боже мой! А дура Коробочка? А Яичница? А Держиморда? А дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях? Даже на секунду появившийся в первой главе «Мертвых душ» молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с

покушениями на моду, из-под которого видна была ма-нишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым писто-летом! А сбитенщик с лицом, как самовар из красной меди, но с черною, как смола, бороною!

Но и героические фигуры Гоголя также сказочны, ле-гендарны, былины. Чего стоит один Тарас Бульба — ве-личайшее создание гоголевского гения, равного которому еще не видел мир.

Все это так. Но это не самое главное. Самое важное заключается в том, что в народных сказках всегда при-сутствует высокое нравственное начало. Понятие о добре и зле. О правде и кривде. Именно это высокое нравствен-ное чувство, которым как бы пропитаны все творения Го-голя, и ставит его на огромную высоту, как художника во-истину народного и национального — великого писателя России.

Гоголь обладал совершенной «писательской аппарату-рой». У него было острейшее зрение, тончайший слух, изумительное осязание — словом, все пять внешних чувств, обостренных и доведенных до совершенства. Но кроме этого, он еще обладал, быть может, самым драго-ценным для всякого подлинного художника слова — ше-стым чувством: чувством внутренней музыкальности, ритма.

Гоголь был музыкален до кончиков ногтей. И этим он, несомненно, был обязан стихии дивной народной украин-ской песни, под звуки которой засыпал, еще лежа в своей младенческой колыбели, и которая потом всю жизнь зву-чала в его удивительно израненной душе.

Приемом народной сказки, положенной на музыку на-родной песни, Гоголь изображал окружающий его мир, со-временное ему общество.

Язык Гоголя по-народному груб и местами сыроват. Но художник творил из него истинные чудеса. Нет рав-ного Гоголю в мировой литературе по умению изобразить предмет, построить метафору.

Изобразительная сила Гоголя равнялась силе его обли-чительного таланта. Поэтому его художественные произ-ведения так беспощадно разили пороки современной ему николаевской России — страшный мир Хлестаковых, Го-родничих, Ляпкиных-Тяпкиных, Чичиковых, Ноздревых, Собакевичей и великого множества им подобных монст-ров: взяточников, ябедников, доносчиков, плутов, тунеяд-цев, крепостников, «небокоптителей», имеющих лишь весьма условное человеческое подобие.

«...Давно уже не было в мире писателя,— писал Чернышевский,— который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».

Я любил Гоголя еще в детстве. В нашем доме был культ классиков, и мы, конечно, читали и перечитывали Гоголя. Имело значение и то, что мои мама, бабушка и дедушка Бачей — малороссияне и Гоголя они чтили еще и как соотечественника. Очень запомнилось, как однажды я заболел корью, и все, что со мной происходило во время болезни, все кошмары связались с «Вием» и «Страшной мести», которых мне читали вслух. Когда я выздоровел, то стал бояться входить в пустую комнату: казалось, Вий оставит на меня оттуда свой железный палец и закричит: «Вот он!» У меня об этом даже написаны стихи, они заканчиваются сердитыми вопросами: «Зачем давали Гоголя? Зачем читали «Вий?»» Таким было первое сильное душевное влияние на меня Гоголя.

Недавно я перечитал его Собрание сочинений — том за томом. Впечатления самые разные. Чтобы все рассказать о Гоголе, также нужен не один том!

Когда я перечитал «Рим», меня удивило, что раньше он мне не нравился, я как-то даже пробежал его, не вчитываясь, а теперь просто был поражен.

А кто же станет отрицать совершенство «Шинели», «Носа», «Портрета», «Тараса Бульбы», «Невского проспекта», «Женитьбы»?.. Все это шедевры. «Мертвые души», конечно, гениальное произведение, но в нем есть излишества, бросающиеся в глаза нарушения норм литературного языка (языка, привычного для того времени), причем Гоголь зачем-то упорно подчеркивает, что пишет о русской жизни. В начале «Мертвых душ», когда бричка Чичикова въезжает в губернский город, «два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания». Почему Гоголь выделяет, что мужики именно русские? А какие могли быть мужики? «Русские мужики» встречаются там и дальше, не только в «Мертвых душах», но и в «Невском проспекте», в «Портрете». Даже в одном из писем С. Аксакову он пишет: «В начале осени я прижму вас к моей русской груди». Это, может быть, незначительная деталь, но она говорит, что Гоголь одно время смотрел на жизнь со стороны, не

изнутри, отсюда и излишества — длинноты, правоучительность... Но «Мертвые души», повторяю, гениальное произведение благодаря многим другим своим достоинствам, в первую очередь благодаря сатире, и о нем не скажешь лучше, чем сказал Пушкин: как грустна наша Россия.

Но лучше всего сказал о себе он сам в письмах. В них его жизнь и его книги как на ладони. Особенно письма к Жуковскому, они самые яркие, с удовольствием хочется их цитировать.

Жуковский по существу открыл Гоголя. 10 января 1848 года Гоголь прямо напоминает ему об этом: «Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступивший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе... Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику!» Он всегда пользовался советами Жуковского, не говоря уж о чисто житейской поддержке.

Гоголь, я считаю, творчески очень многим обязан Жуковскому. Он весь пошел от его баллад, которым привил украинский стиль. В «Громобое» Жуковского разве не слышится стиль «Вечеров на хуторе близ Диканьки» или «Миргорода»?

Над пенистым Днепром-рекой,
Над страшною стремниной,
В глухую полночь Громобой
Сидел один с кручиной;
Окрест него дремучий бор...
И т. д.

А эти строки мы буквально встречаем в «Вие»:

Чудовищ адских грозный сонм;
Бегут, гремят цепями,
И стали грешника кругом
С разверстыми когтями.

Жуковский Гоголю был ближе, чем Пушкин, хотя он и безмерно преклонялся перед ним, называя «ангелом святым». Тут, конечно, имело значение сильное влияние на Жуковского западного романтизма, который был близок и Гоголю. В баллады Жуковского он ввел украинские бытовые подробности. На этом строится ранняя гоголевская проза. Он привил украинскую жизнь к стволу и ветвям своего творчества. О чем он настойчиво просит мать в своих ранних письмах? Просит прислать ему украинские пес-

ни, поверья и тому подобное. Просит все это записывать, собирать старинные книги, даже просит присылать ему национальную одежду, но это уже для театра, который он так любил... Но не только ранняя проза Гоголя подверглась воздействию балладности, следы ее встречаются всюду. «Старосветские помещики» — тоже баллада. Серая одичавшая кошечка пришла из леса, и Пульхерия Ивановна задумалась: «Это смерть моя приходила за мною!» Это же типично балладный прием! Смерть Пульхерии Ивановны, ее похороны, а потом и смерть Афанасия Ивановича, услышавшего перед этим из кустов зов его покойной жены, — все это балладное. «Невский проспект» — тоже отчасти баллада: сны Пискарева, его самоубийство окрашены романтическими красками. «Портрет» тяготеет к балладе. К ней можно отнести и «Шинель», ведь появление мертвого чиновника в конце — балладный прием.

Фантастическое — очень сильная сторона Гоголя, его открытие в прозе, еще до конца не оцененное. Фантастика его идет от Жуковского, Гофмана, от украинского фольклора, в котором масса поверий, связанных с действием таинственных сил, со всякой «чертовщиной». Так что фантастическое у Гоголя, как и его юмор, — это отчасти национальная черта. Фантастика пронизывает всего Гоголя, прежде всего балладного. Помните полет Хомя Брута с ведьмой в «Вие»? Такое даже не во всякой сказке или балладе встретишь. Вот что видит Хома: «Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами... В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от деревьев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину...» И так далее.

(Не этот ли сказочный полет помог Булгакову создать полеты в «Мастере и Маргарите»?..)

Но фантастика пронизывает и реалистические вещи Гоголя, их язык, метафоры, организует фабулу. «Поющие двери» в «Старосветских помещиках» — разве это не фантастика? «...каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь, ведущая в столовую, хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: батюшки, я зябну!»

Это же поразительно — Гоголь не только видел каждую вещь, но и слышал ее каким-то особенным художественным слухом. Помните еще? «Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа...» Так фантастически выглядят часы у Коробочки, когда к ней нечаянно попал Чичиков... Стилль «Мертвых душ» пропитан фантастикой. Описание очей альбанки Аннунциаты в «Риме» — не просто гипербола, а настоящая фантастическая метафора.

Важно и то, что в Гоголе от живописца и знатока искусства, — изобразительность. Он был живописец, может быть, и не профессиональный, но в мыслях блестящий. Как он описывает полотна других художников, как он любит их живописью! Как вообще он умеет любоваться всем, умеет смотреть на мир широким, гомеровским взглядом! Когда в финале «Рима» князь смотрит на вечерний Рим и, «объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свете», — это же сам Гоголь стоит один на один с Римом, так им любимым, и не только перед Римом — он здесь один перед лицом всего мироздания...

Гоголь великолепно изображает все — людей, их мысли, явные или тайные, природу, быт, города, страны, общество. У него нет никакой приблизительности, он удивительно точно знает то, о чем пишет. Точность — его пафос. В письмах он все время просит друзей сообщать ему подробности русской жизни: «...Все, что только зацепило хоть сколько русского человека и его жизнь, мне теперь очень нужно». Он занимается, очень глубоко причем, этнографией и историей. А других наставляет, как писать: просит подробнее описывать провинциальную жизнь, ее типы и делать это все время — «просто две-три строчки, перед тем как идти умываться»; просит стараться «схватывать верно и выставлять сильно и выпукло черты и свойства народа, а всякую *местность* со всеми ее красками... выставить так живо, чтобы она навсегда осталась в глазах». Желание «схватывать верно», «выставлять сильно и выпукло» определило великолепную изобразительную фактуру Гоголя. Благодаря ей даже его длинноты не всегда заметны, хотя

есть и бросающиеся в глаза. Какую-нибудь мысль, которую можно выразить тремя словами, он тянет и тянет, но все же она выглядит лаконичной.

У Гоголя есть разные длинноты. То, что у него естественно, что связано с изобразительностью, что подчинено ему одному присущему ритму, то не кажется многословным. Не забывайте, что появление Гоголя в русской литературе было похоже на восхождение нового яркого светила, подобного которому у нас еще не было. Гоголя отличал от других русских писателей его язык, удивительно пластичный и подробный, язык, в котором чувствовалась какая-то новая, малоизвестная петербургским и московским литераторам жизнь — мелкопоместная малороссийская действительность. Полтавщина вошла в русскую литературу, вызвав удивление у одних, восхищение у других. Эти необычные синтаксические ходы, это якобы многословие оказались очень неожиданным явлением, которое понравилось читателям и вошло в литературу.

Труднее принять длинноты другого рода, как, скажем, лирические отступления в «Мертвых душах», даже не сами по себе отступления, которые у Гоголя всегда хороши, а их место в этом остросюжетном произведении. Гоголь прочитал «Евгения Онегина» и, преклоняясь перед Пушкиным, взял форму отступлений для «Мертвых душ» и назвал их даже «поэмой», отталкиваясь, по-моему, от «Онегина», хотя Пушкин назвал его «романом в стихах». Отступлений этих могло бы и не быть...

Иное дело отступления в «Тарасе Бульбе». Здесь они необходимы, потому что «Тарас Бульба» — историческая повесть и отступления создают исторический фон, с большим знанием дела и очень тщательно разработанный. Могло бы показаться, что отступления и здесь лишние, но это не так — они относятся к самой сути этой вещи.

Гоголевскую метафору условно можно считать приемом. Но природа ее иная. С гоголевским юмором органично связанная метафора выражает художественное мышление писателя, я бы сказал, «тайное мышление», раскрывающееся в его книгах. Метафоры Гоголя уникальны. Общеизвестное: «дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка», — разве это только привычная метафора? За этим целая картина, осколок действительности...

Однажды мы с Есениным взялись составить что-то вроде каталога гоголевских метафор. Туда попали и дороги, расплзающиеся, «как пойманные раки», и девчонка «с большими ногами, которые издали можно было принять за сапоги — так они были облеплены свежешоу грязью», и графинчик Плюшкина, «который был весь в пыли, как в фэфайке», многое другое. Есенин был в восхищении, считал, что из этих метафор родился имажинизм; как видите, метафора может оказать влияние на целое поэтическое направление.

Метафора у Гоголя часто превращается в гротеск. И еще какой! Экипаж Коробочки выглядит импозантно: «Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо... Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх».

Шедевр социальной метафоры — чиновники-мухи на губернаторской вечеринке в тех же «Мертвых душах»: «Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами...» Эскадры чиновников-мух... Но нужно заметить, что эта развернутая метафора начинается еще с описания того, как этот сахар рубят. Метафора — целый рассказ. Такого еще не было.

Гоголь добивается предельной точности изображения с помощью метафоры, но и не только с ее помощью, а благодаря зорко подсмотренной детали, часто необычной. Чичикову встретился «молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во ффраке с по-

кушнями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом». Меткая зарисовка провинциального хлыща. Сколько таких образов рассыпано по гоголевским страницам! Портной в «Шинели» сидит, подвернув «под себя ноги свои, как турецкий паша». Акакию Акакиевичу видится взамен старой шинели новая «с какими-то западнями для воров», а при переписке бумаг «некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Гоголевские словечки остались в нашем языке, в нашей памяти, как остались грибоедовские крылатые выражения. Многие даже забывают, что цитируют его, а, например, «Ревизор» весь «разошелся на цитаты», как заметил Пушкин.

Унтер-офицерша, которая сама себя высекла.

Заламливать «такие аллегории и еквивоки».

«Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою».

«Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!»

«С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал»...

Не перестаю поражаться волшебству Гоголя-художника. При таком разнообразии сюжетов и жанров это волшебство ему никогда не изменяет. В самых разных вещах пластическая манера достигает необычайного совершенства — и как она многообразна! «Ревизор» весь соткан из остроумия, но и в нем есть удивительные детали. Хлестаков, например, уезжает из города в телеге и на... персидском ковре, подаренном городничим! Какая роскошная деталь!.. «Вий» — очень мрачная вещь, а как в ней все пластически значительно. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — несмотря на грусть («Скучно на этом свете, господа!»), в этой вещи масса смешного. Это сочетание смешного и печального, эта двойная внутренняя задача, ее блестящее решение и есть, по-видимому, источник гоголевского волшебства.

У Гоголя множество блестящих, волшебных пейзажей. Отклонения в них встречаются из-за живописных пристрастий Гоголя, не зря в его словаре так часто попадаются «кисти», «краски», «полотна», не имеющие прямого отношения к живописи как к искусству. Природу он видит глазами художника-пейзажиста, поэтому его картины природы романтичны и похожи на итальянскую живопись того времени. В начале второй части «Мертвых душ» он ухитрился даже разглядеть в русском пейзаже «горные возвышения» — это Гоголь романтическим взглядом окинул всю Русь... Образец гоголевских пейзажей — сад Плюшкина: «Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходявший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными, трепетolistными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна... Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу». Длинное и поразительно яркое описание сада, даже несмотря на неточность: старая береза не бывает белой, ее кора в старости чернеет и трескается. «Мраморную сверкающую колонну» Гоголь взял из итальянизированного пейзажа. В этом описании упоминается и капитель — типичный архитектурный элемент романтического пейзажа.

Самый замечательный кусок, приближающий его портретные зарисовки к итальянскому портрету, содержится в эпизоде столкновения экипажа Чичикова с коляской, в которой сидела губернаторская дочка. Вот как Гоголь изобразил ее личико: «Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какую-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца». Какая смелая метафора! Куриное яйцо здесь так хорошо смотрится — действительно, как лицо с портрета Перуджино.

Говорят, что Гоголь повлиял на живопись Александра Иванова. Вряд ли. Это были общие советы, ценные тем, что продиктованы личным творческим опытом. Особенно важна мысль Гоголя, в одном из писем Иванову, о необходимости чувствовать «целое» — «которое тогда только, когда живо носится беспрестанно пред глазами и говорит о возможности скорого выполнения, тогда только двигает работу. Ибо вдвигает в душу порыв и вдохновение...» Вечная мысль!..

Гоголь повлиял на другого художника — нашего современника Марка Шагала. Он весь вышел из Гоголя. Я ему как-то сказал, что несколько страничек из «Тараса Бульбы» очень напомнили мне его работы, особенно тот эпизод, когда Тарас пробирается в Варшаву и попадает в еврейское местечко. Шагал, маленький голубоглазый человек, невероятно живой и остроумный, обрадовался: «Не только «Тарас Бульба»... Гоголь с каждой страницы вошел в меня!» Живопись Шагала — преувеличенно гоголевское направление в искусстве, но все же чисто гоголевское. Особенно много взял он из «Невского проспекта». «Тротуар неся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз...» Узнаете Шагала?.. Все эти его летающие над землей люди — из Гоголя. Когда в «Шинели» лошадь кладет голову Акакию Акакиевичу на плечо, сразу вспоминается Шагал.

С Гоголем так или иначе связан почти любой большой писатель. Теснее всего, может быть, Андрей Белый, Сологуб, Ремизов. У Лескова было много от Гоголя, и через него гоголевское влияние пришло к Андрею Белому и к Ремизову. Возьмите «Петербург» Белого, пролог к нему — это в сжатом виде описание Невского проспекта. У раннего Алексея Толстого есть «гоголевские» вещи — «Хромой барин», скажем. Но потом, после тех, кого я назвал, гоголевской школы не осталось, она почти выродилась. Следы ее встречаются у Булгакова, у которого метафора частенько проскакивает в гоголевском виде — Брокгауз и Ефрон у него стоят на полке как конногвардейцы... Сильное влияние Гоголя испытал Маяковский, особенно ранний. Но и поздний Маяковский не прошел мимо Гоголя. «От слов та-

ких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек» — это тоже из «Вия»... Олеша конструировал сверх-метафоры, но у него направление толстовское.

Помню, Бунину понравилось: «Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи», — но все-таки для него это резкая метафора. У Бунина пафос краткости. Он тоже писатель толстовского направления, но Гоголя он, конечно, любил, как каждый, кто чувствует свое происхождение из недр русской классики.

Развернутых метафор, как у Гоголя, я не встречал ни у кого; может быть, что-то похожее иногда попадает у Бабеля.

Мои метафоры скорее западного происхождения — влиял Метерлинк, его проза, ею я увлекался. Влияние на меня Гоголя, мне кажется, прежде всего интонационное... (Может быть, что-то отчасти гоголевское есть в «Растратчиках».) Но писателю говорить о чем-то на него влиянии — задача бесплодная.

Основная черта Гоголя-писателя — требовательность художника. Требовательность к себе и к другим. Шевыреву он писал: «...Никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения». Жуковскому 28 июня 1836 года писал: «Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету моим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии была на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности...» А какие письма он писал художнику Иванову, как звал его смотреть на мир — не «остроумными глазами», а «глазами мудреца».

Откройте письмо к Жуковскому от 10 января 1848 года, там все есть о Гоголе — его характер, болезни, творчество, эстетические и политические взгляды, общественная позиция...

И много раньше он уже писал о том же Жуковскому: «Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видны нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность... Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего». Здесь Гоголь самокритичен, может быть, даже излишне.

Действительно, самые первые его вещи слабые, они почти не предвещают его будущих блестящих книг, но и в них много порывов — как черт крадет месяц или полет Вакулы с чертом. «Пропавшая грамота» построена на малоинтересных анекдотах, и в «Майской ночи» они есть, как и длинноты, но описания природы здесь встречаются великолепные: «Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени». Уже чувствует-ся будущий Гоголь, с его размахом в описаниях природы, с его зорким взглядом. Другие ранние геци, особенно во второй части «Вечеров», просто хороши.

Гоголя погубило фанатичное желание непременно приносить пользу. Это же его любимые слова: «польза», «полезность», «бесполезность». Он без конца их повторяет. «Польза» и еще «служба». Он и в жизни, и в искусстве искал прежде всего практического служения. Придется остановиться на большом отрывке из письма П. Косяровскому. В нем раскрывается, так сказать, генетическая черта восемнадцатилетнего Гоголя: «Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугаσιμοю ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом,— быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага».

В этих словах — прекрасный юношеский порыв, но и категоричность, которой искусство не выносит. А в цитированном письме к Жуковскому от 10 января 1848 года он

анализирует само понятие искусства. Делает он это прекрасно, особенно когда говорит о призвании искусства и художника,— тут он выходит за рамки «пользы», но все же выдвигает утилитарно-утопическую идею о том, что искусство должно изменить общество, внести в него «порядок и стройность»...

Почему Гоголь стал писать вторую часть «Мертвых душ»? Ради пользы. И ничего особенно хорошего, как видим, из этого не вышло. Удачно законченную вещь вообще не надо продолжать. Мне об этом как-то говорил Твардовский, хотя он сам не удержался и написал продолжение «Теркина» («Теркин на том свете»), которое слабее «Книги про бойца». Впрочем, это мое личное мнение...

«Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголь тоже хотел принести пользу и потом уже убедился, что «перешел в излишество», хотя там есть очень хорошие куски.

Ко времени, когда была написана «Шинель», Гоголь уже нашел свое твердое направление, обратившись к тому, что есть святая святых в искусстве,— к человеческой душе, к «наблюдению внутреннему над человеком», как он пишет. «О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начинаешь дело с собственной своей души!» Познав себя, писатель оказывается способным понять душу другого. «Как изображать людей,— пишет он,— если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет все невпопад». «Шинель» и есть образец познания души человеческой, давший в этом направлении толчок многим писателям, Достоевскому в первую очередь. Гоголь, к сожалению, сам часто боялся попасть невпопад и в припадках мнительности считал неудачными и «Мертвые души», и даже «Ревизора», хотя провал первой постановки всецело лежал на режиссере и актерах.

Одна и та же вещь «Ревизор» — бесподобно остроумная, весьма блестящая комедия, но в ней не все равноценно. Хлестаков определенно написан не в плане остальных персонажей. Они все — ярко реалистические типы, и вдруг среди них возникает фантастическая фигура, которую

трудно привести к общему художественному знаменателю. Я никогда не мог поверить вранью Хлестакова, даже если считать его пьяной чушью. Есть в нем что-то неприятно-ноздревское. Я думаю, что чиновники, с которыми он столкнулся, никоим образом не поверили бы ему. Они все же трезво «мыслящие» существа, несмотря на их тупость, не могут они так доверчиво смотреть все время в рот неудержимому вралю. От этой неубедительности происходит и трудность изображения его на сцене. Гоголь сам над этим мучился, считая неудачу Хлестакова неумением хорошо сыграть его...

Я видел разных актеров в роли Хлестакова, видел великого Михаила Чехова — и все равно некоторую неловкость Гоголя не переставал чувствовать. В «Женитьбе» всему веришь, а здесь нет... Кстати, «Женитьба» тоже несет в себе черты балладности... баллада о сбежавшем в окно женихе...

У Мейерхольда несоответствие Хлестакова — его играл Эраст Гарин — с прочими персонажами сглаживалось общим, довольно острым стилем постановки. В ней кое-что мне нравилось, но слишком много было изощренного, а в сценическом плане даже шикарного, я бы сказал: избыток аксессуаров, будуар Анны Андреевны из карельской березы; какой-то офицер, выскакивающий из шкафа... Немного внешний спектакль, которого не одобрил бы Гоголь, хотя на Мейерхольда в целом Гоголь оказал сильное влияние.

Немая сцена идет полторы минуты, но решена была совсем по-другому, чем хотел Гоголь. У него остолбеневшие городничий с женой и дочерью, окруженные чиновниками, каждый со своим характерным выражением лица, причем два персонажа, чтобы зрителям не стало скучно, могли, как рекомендовал Гоголь, делать какие-то движения... У Мейерхольда же были куклы вместо живых актеров — нужного эффекта не получилось.

Гоголь обнаружил связь драмы с историей. Он ее тонко почувствовал. Его знание законов драмы было доскональным, ведь он воспитывался на драматургии Шекспира, Мольера, Пушкина. Одно время он разрывался между драматургией и историей. Вот что, например, он пишет историку Погодину: «...За комедию не могу приняться. Примусь за историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка,

из кресел и оскалывают зубы, и — история к черту». Разрывался, но в этом метании я вижу одну важную черту: историю он интуитивно понимал как *живую драму*. Прочитирую еще одно письмо: «...Когда я разворачиваю историю нашу, мне в ней видится такая живая драма на каждой странице, так просторно открывается весь кругозор тогдашних действий и видятся все люди, и на первом и на втором плане, и действующие и молчащие. Когда же я читаю извлеченную из нее нашу так называемую историческую драму, кругозор передо мною тесен, я вижу только те лица, которые выбрал сочинитель для доказанья любимой своей мысли. Полнота жизни от меня уходит; запаха свежести, первой весенней свежести, я не слышу». В драме же, он считал, должна быть отражена народная жизнь, или, как он говорил, «постигнуто *высшее свойство* нашего народа». Это понимание законов драмы, конечно, идет у Гоголя в первую очередь от Пушкина, от «Бориса Годунова», о котором он написал восторженную юношескую статью. Сам Гоголь не написал такой драмы, но назначение ее понял верно.

У Гоголя был широкий подход к жизни и к искусству. У него было то, что мы сейчас называем «историческим подходом» ко многим явлениям. В этом смысле он был универсалом, как Пушкин.

По статьям и письмам Гоголя можно проследить историю мирового театра, многое узнать о живописи и скульптуре, особенно Италии. История русской поэзии великолепно им изложена в письме, а точнее, в очерке «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», включенном в «Выбранные места из переписки с друзьями». Но страстью его была именно история. Он работал над историей России и собирался писать «Всеобщую историю», а история родной его Украины волновала его с ранних лет. Интерес к Украине, ко всему украинскому тогда был очень распространен, и Гоголь много делал в этом направлении. Ведь на территории Украины происходили большие события, поэтому Гоголя интересовало все до времен Петра Первого (как и эпоха Екатерины Второй): Украина как театр военных действий, где велись настоящие религиозные войны, и украинское рыцарство (об этом можно прочитать в «Тарасе Бульбе») и многое другое. Все это не прошло мимо него. Но самое главное, что он в своих книгах, говоря его же словами, «выставил *жизнь* (историю. — В. К.) лицом» — в живых, правдивых лицах. Как он описал Потемкина и Екатерину в «Ночи перед

Рождеством!»! Сколько живых исторических образов находим во многих его книгах! Я уже упоминал «Тараса Бульбу», говорил об отступлениях в историю в этой повести, но и сам Тарас Бульба, как и его окружение, как и все участники Запорожской Сечи, все они превосходно описаны. В историческом плане «Тарас Бульба» — одна из самых больших удач Гоголя. Не говорю уж о том, что психологические перипетии Тараса в его отношениях с сыновьями, его жертвенная любовь к Остапу переданы с потрясающей силой. Сцена пыток и казни Остапа на глазах у отца, пожалуй, не имеет себе равных в мировой литературе.

Не только к истории, но и к «злобе дня» Гоголь был чуток и наблюдателен. Все его творчество — свидетельство этому. Сатирическое изображение николаевской России — пафос Гоголя. А «Выбранные места...» — чем они вызваны? Именно озабоченностью состоянием русской жизни, «злойбой дня»... Укажу лишь на один пример тончайшего воспроизведения Гоголем этой «злойбы дня» — описание парижской жизни в «Риме», в частности политической жизни буржуазной Франции: «В движении вечного его (Парижа.— *В. К.*) кипенья и деятельности виделась теперь ему (главному герою.— *В. К.*) странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякий француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски движущейся политики и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников...» И буржуазный образ жизни в том же отрывке «Рим» Гоголь вскрыл с поразительной точностью: «В движенье торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новостям. Один силился пред другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овла-

деть читателем. Все, казалось, нагло навязывалось и на-прашивалось само, без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице; все, одно перед дру-гим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая тол-па надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях... заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя; везде блестящие эпизоды, и нет торжест-венного, величавого течения всего целого. Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия; наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения».

Наблюдения Гоголя поразительно точны, настолько верны, что, кажется, написаны современным публицистом. Кстати, это описание Парижа задело Белинского, любив-шего Францию, но в данном случае прав, однако же, Го-голь с его меткой наблюдательностью.

Гоголь — личность грандиозная, многоплановая, цель-ная. Он давно интересовал психологов, философов, писате-лей. И в отношении к нему, прежде всего в дореволюцион-ное время, создалось много предвзятого. Его подавали иногда как фальшивого, лживого, непорядочного человека, но это мещанское суждение, по-видимому, не очень поряд-очных исследователей. Фигурировал «испепеленный Го-голь», то есть полусумасшедший или уж совсем безумец. Но все это ложь! Изучив за свою жизнь очень многое о Го-голе, я пришел к выводу, что это был искреннейший и от-крытый человек, которого не изменили ни страдания, ни одиночество, когда после «Выбранных мест...» от него все отвернулись... Колоссальный талант и энциклопедическая культура ставят его вровень с выдающимися современни-ками, я думаю, выше многих. Гоголь сам это знал, и неда-ром так ценил его Пушкин, писавший жене, когда она временно занялась без него «Современником», чтобы «Го-голя печатать...». Гоголь — писатель, который взял себе в учителя Гомера. Это о многом говорит. Гомер, мечтал Го-голь, должен напомнить русским писателям, «в какой бес-хитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснить всякую мысль до ясности почти осязательной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша». Это он относил и к себе, этого хотел.

Тайна Гоголя есть, но это оттого, что он сам не мог разгадать ее. Ему казалось, что главного он не сказал. Возможно, это было заблуждением, в таком случае тайной остается все то непостижимое, или, вернее, не сразу постигаемое, что есть у каждого большого художника в глубине его книг.

Гоголь необъятен. Некоторые его наблюдения поразительно метки, но мимо них проходят, не замечая. Хотя бы мимо такого: «Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность». Эту мысль Гоголь выстрадал, и к ней нужно прислушаться. Как она актуальна, как направлена против всего случайного, выдаваемого за «истинное», против претенциозности, оригинальничанья!

«Обыкновенное», о котором Гоголь говорит, это — сокровенное, человеческое. Оно требует от писателя вдумчивого, бережного отношения, иначе, кроме «кудахтанья», ничего не получится. Литературное кудахтанье — удел посредственности, цепляющейся за случайное, далекое от жизни, от подлинного искусства. Иногда лучше помолчать, чем опрометчиво сказать необдуманное слово. «Слово гнило да не исходит из уст ваших!» — завета Гоголь. Еще раз процитирую: «Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздастся гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель».

В этих словах урок для всех, кто дорожит словом, кто не хочет заостенеть в себе.

1959, 1984
Переделкино

О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

СИЛА ПРАВДЫ

Герой всего творчества Льва Толстого — *правда*, та высшая человеческая правда, которая не может примириться с существованием в мире зла.

В исторически неизбежном столкновении труда с капиталом Лев Толстой всегда твердо и последовательно стоял на стороне труда. Но он не сделал революционных выводов. Эти выводы сделали другие. Но всю свою жизнь Толстой боролся со всеми государственными и общественными институтами, созданными угнетателями для подавления рабочего класса и крестьянства. Суд, полиция, жандармерия, официальная церковь, буржуазная пресса, искусство, брак, международные монополии, банки, картели, тресты, чудовищная гонка вооружений, колониальная политика — все это вызывало в Толстом чувство глубочайшего протеста, омерзения и гнева.

Ни один художник в мире не сумел с такой силой, сарказмом и логикой разоблачить паразитические классы общества. Нет нужды перечислять произведения Толстого, в которых он срывает все и всяческие маски с носителей общественного зла, порожденного законами «священной частной собственности», ненавидимой им всей душой.

Царское правительство — одно из самых аморальных правительств старого мира — боялось Толстого. Князя официальной церкви отлучили его и предали анафеме.

Я помню день смерти Льва Николаевича Толстого. Мне было тринадцать лет, и я только что впервые прочел «Войну и мир», потрясшую меня своей волшебной силой.

Мне хотелось бежать из дома, пробраться в Ясную Поляну, увидеть Толстого, поцеловать его старую, сморщенную руку. Душа моя была в смятении от только что открывшегося для меня нового мира толстовской поэзии.

И вот человек, создавший этот мир, — вдруг умер.

Я торопился в гимназию. Лил дождь. Утро еле брезжило. Чернели зонтики чиновников. И по мокрой, оловянно блестящей улице бежали газетчики, крича:

— Смерть Льва Толстого! Смерть Льва Толстого!

Люди стояли в подворотнях, разворачивая мокрые газетные листы в черных рамках. Ужас охватил мою душу. Мне показалось, что в мире произошла какая-то непоправимая катастрофа.

Никогда не забуду этот темный изнурительный день, зияющий траурной пустотой: не забуду отца в сюртуке,

без пенсне, сидящего в качалке, опустив голову, с красными от слез глазами; не забуду лихорадочного движения города, усиленные наряды городских на перекрестках, высыпавших на улицы студентов, курсисток в черных шляпках, мастеровых, которые собирались толпами, порывались куда-то идти и пели «Вечная память», и уже где-то над толпой из-за угла мелькнул красный лоскут, и уже послышалось «Вы жертвою пали...», и кто-то крикнул крамольное слово «товарищи», и сотни голосов затянули: «Вихри враждебные веют над нами...», и послышалось на мокрой мостовой скользящее, срывающееся по булыжнику цоканье казачьих разъездов...

Во всем этом было нечто от Пятого года, от революции, которую я также навсегда запомнил. Стало поразительно ясно: Лев Толстой есть одно из явлений Революции.

Я читаю Толстого постоянно. Его книги всегда у меня на столе или на полке над головой. Каждый раз для меня Толстой звучит по-новому. Я всегда нахожу в нем какие-то черты, ускользавшие от меня до сих пор. Думаю, что я буду его читать до самой своей смерти, иногда с ним споря и не соглашаясь, но всегда восхищаясь несравненной мощью его искусства, его мысли.

Неизмеримо громадно эстетическое наслаждение, испытываемое от чтения Толстого.

Хотя изобразительные средства Толстого всегда якобы удивительно просты, впечатление у читателя получается неизгладимое. Это происходит потому, что у Толстого каждое слово несет предельную смысловую нагрузку. У него нет слов-красавцев, слов-пустоцветов, слов-украшений. У него все поставлено на службу мысли: ритм, расположение слов во фразе, пунктуация, звукопись.

В творчестве Толстого все подчинено единственному закону — закону правды жизни. И часто Толстой подчинялся этому закону — осмеливаюсь сказать — бессознательно. Высшая правда, которая руководила всем гигантским творческим аппаратом Толстого, зачастую и даже почти всегда выше Толстого-философа и часто выше его даже как художника. Вот почему Толстого, который, как известно, был и безусловным противником революции, и создателем «толстовства», то есть одного из самых реакционных учений, Ленин назвал зеркалом русской революции. Толстой-художник вступил в противоречие с Толстым-человеком, победил его — и это сделало Льва Толстого одним из самых деятельных борцов против мирового капитализма, против государства, обреченного при коммунизме на отмирание.

Преклоняясь перед Толстым-художником, мы все должны учиться у него со всей силой отпущенного нам судьбой таланта писать правду, одну только правду, потому что правда — это и есть главная сила всякого истинного писателя.

ОБОЮДНЫЙ СТАРИЧОК

Я постоянно перечитываю Толстого. Никак не могу с ним расстаться. Конечно, речь идет не только о его великих творениях, называть которые нет необходимости. Сегодня — да и всегда — они у всех на устах. О них, кажется, все уже сказано. Мне хочется говорить о Толстом малоизвестном, или, точнее, менее известном широкому читателю. В самом деле: мне приходилось слышать от людей весьма образованных, что они никогда не читали или уже не помнят, например, рассказы Толстого «Записки сумасшедшего» или «Божеское и человеческое», в которых Толстой достигает, по-моему, своей вершины.

Читаешь и поражаешься, насколько он был остросовременен и вместе с тем насколько был впереди своего времени, хотя и призывал человечество как бы вернуться вспять к первобытной жизни. Поражает его гениальная противоречивость. Он весь был словно заряжен отрицательным электричеством. Его сила была в постоянном отрицании. И это постоянное отрицание всего чаще приводило его к диалектической форме отрицания отрицания, вследствие чего он приходил в противоречие с самим собой и делался как бы антитолстовцем. Эта двойственность отражалась даже в его внешности. Достаточно посмотреть на его старческие портреты. Кто это? Добрый старик, тульский мужик в посконной рубахе с белой бородой или воплощенный образ грозы, очищающей воздух? Говорят, что однажды, в веселую минуту, он лукаво сказал о себе самом: «Я старичок обоюдный».

И в самом деле.

Если бы ему, например, сказали, что он политический революционер, можно себе представить, как бы он возмутился. Во всех своих высказываниях он начисто отрицал революцию. Он взывал к рабочим, чтобы они отказались от революции. Он считал революцию делом безнравственным. Однако ни один из русских, да и иностранных писателей не разрушал своими произведениями с такой поразительной силой все институты ненавистного ему русского царизма, заодно и западного империализма, как Лев Толстой, не устававший твердивший на весь мир о том, что евро-

пейские и американские капиталисты, вооруженные новейшими средствами истребления и уничтожения, беззащитно грабят слабые народы Африки и Азии, устанавливая там колониальный деспотизм. С такой силой бороться с империализмом мог только страстный пропагандист передовых общественных идей.

Если бы Толстому сказали, что он революционер в искусстве, то он вряд ли бы согласился. Ведь он открыто, страстно выступал против многих новаторских веяний современной ему мировой литературы и в особенности против французских декадентов Бодлера, Верлена и других. Он приводит стихотворение Верлена по-французски и комментирует: «Как это в медном небе живет и умирает луна и как это снег блестит как песок? Все это уже не только непонятно, но, под предлогом передачи настроения, набор неверных сравнений и слов», — пишет Толстой, но в то же время у него у самого в «Анне Карениной» Левин видит на рассвете ущербную луну, похожую на кусок ртути. Берусь подобрать у Толстого десятки таких импрессионистских, чтобы не сказать модернистских, подробностей. Совершенно ясно, что Толстой-художник жил по совсем другим законам, чем Толстой-эстетик. Теперь нам уже совершенно ясно, что ни один из русских, а может быть, и мировых писателей, не совершил такой революции в области языка, в области формы, как Толстой. Каждая его большая и малая вещь всегда новаторская, небывалая по силе изображения.

Вспомним хотя бы описание смертной казни в упомянутом мною рассказе «Божеское и человеческое». Вот из него отрывки:

«Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице, и его свели с нее, и он увидел столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце... Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал... Лицо палача было самое обыкно-

венное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

— Еще сюда вот подвинься... или подвиньтесь... — проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице... Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал: «Зачем, зачем они делают это?» И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

— И не жалко тебе меня? — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача.

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

— Ну вас! Разговаривать, — пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и ловким движением обеих рук сзади обняв Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди... Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего...»

Здесь новаторство Толстого заключается в том, что за каждым обыкновенным словом повествования кроется еще таинственный подтекст. Ассоциативно связаны между собой ряд картин, представлений и самых сокровенных мыслей, вызванных из глубин сознания читателя. Это новаторство, если можно так выразиться, традиционное. А вот новаторство другого рода, уже опережающее те литературные традиции, в которых до сих пор все еще находился Толстой. Это «Записки сумасшедшего». Не буду передавать содержание этого совершенно гениального незаконченного рассказа. Его нужно прочесть весь от начала до конца. Но вот как видит сходящий с ума герой Толстого окружающие его предметы.

«Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной».

Дело происходит в арзамасской гостинице, проездом. «...Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было... Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного

меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть...»

«Что-то раздирало мою душу на части и не могло разорвать. ...еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный».

Толстой пластически изображает ужас перед неизбежностью смерти, квадратностью белой комнатки, красной гардинкой, пропорциями свечи и подсвечника — свеча намного меньше подсвечника — и зрительным восприятием красного огня свечи. Красная гардинка, красный огонь свечи. Этот, как Толстой определяет, «арзамасский ужас» через некоторое время сменяется еще более глубоким ужасом в московском подворье. «Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрах. Дворник внес чемодан. Девушка-коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь погас, как всегда бывает... Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне».

Красный, белый, квадратный ужас — боже мой! Кто это написал? Какой-нибудь декадент? Постимпрессионист? А определение душевного состояния геометричностью пропорций, жестами, красками, синими с желтыми полосками обоями, узким размером всего номера! Уж не абстракционизм ли это?

Я, конечно, не специалист, но с моей, любительской, точки зрения Толстой, отрицавший всяческий модерн, в своих произведениях даже опередил в чем-то и Бодлера, и Верлена, и французскую живопись конца XIX и начала XX века, и дошедшего до кубизма Пикассо (квадратная комната, соотношение свечи и подсвечника, квадратный ужас).

Я уже не говорю о «Севастопольских рассказах» — быть может, самом новаторском произведении мировой прозы.

Противоречивость Толстого, его, так сказать, «обоюдность» весьма отчетливо выразилась в его отношении, в частности, к писательскому труду. Лев Николаевич в последние десятилетия своей жизни совершенно отрицал профессионализм в искусстве, считая его делом аморальным. Он с презрением говорил о литераторах, сделавших из своего искусства средство зарабатывать деньги для своего существования. Он был против авторских прав и сам от них решительно отказался. Он считал, что всякое искусство должно быть как бы естественным выражением народной

потребности в прекрасном, тем, что сейчас называется самодеятельным. В чем-то здесь он был, конечно, недалек от истины. Но лично мне, писателю профессиональному, живущему на деньги, заработанные своей беллетристикой, очень больно сознавать осуждение этого, то есть всей моей жизни великим Львом Толстым. Однако сам он неоднократно высказывал поразительно верные мысли о писательском мастерстве, не о самодеятельном, а именно о профессиональном, сам-то он, что бы там ни говорили, и был настоящий профессионал, непревзойденный мастер своего дела и в глубине души от этого не мог отказаться, даже в самый последний период своей жизни. Он всегда думал об искусстве, о словесном мастерстве. Даже в статье против алкоголизма «Для чего люди одурманиваются» он не удержался, чтобы не сказать несколько слов о художественном мастерстве.

«Брюллов поправил ученику этюд,— пишет в той статье Толстой.— Ученик, взглянув на изменившийся этюд, сказал: «Вот чуть-чуть тронули этюд, а совсем стал другой». Брюллов ответил: «Искусство только там и начинается, где начинается *чуть-чуть*». Изречение это поразительно верно»,— подводит итог Толстой.

А вот еще хотя бы возьмем его письмо от декабря 1886 года, адресованное его последователю Тенеромо¹. В нем содержались такие строки: «...кончайте скорее начатый вами рассказ и присылайте сюда. Но не увлекайтесь тем, чтобы сказать в одном рассказе все. Это всегдашний камень преткновения не имеющих привычки писать»,— совет профессионала начинающему, не правда ли? Дальше Толстой пишет: «Не ломайте, не гните по-своему события рассказа, а сами идите за ним, куда он ни поведет вас. Куда бы ни повела жизнь, она везде, во всем может быть освещена одним светом». И дальше уже совсем гениальная мысль: «Несимметричность, случайность (кажущаяся) событий жизни — есть главный виновник ее». Мне кажется, именно исходя из этого толстовского положения и работает вся современная, так называемая раскованная, эмоционально-ассоциативная проза.

«Не отвлекайтесь далеко от сюжета главного,— учит Толстой молодого писателя,— и кончайте, и — присылайте»,— заканчивает свою консультацию уже совсем профессионально: «Сытин платит всем по 30 и 50 рублей за лист». Вот он какой был «обоюдный старичок»! Кстати,

¹ Псевдоним И. Б. Файнермана.

этому же самому Тенеро, который, видимо, втерся в доверие к Толстому, в 1897 году Толстой пишет: «Я получил ваше письмо и рукопись, дорогой Исаак Борисович, и очень сожалею, что не могу ничего приятного сказать вашему знакомому. И по содержанию и по форме этот рассказ не имеет никакого достоинства. Таких пишутся и печатаются тысячи ежемесячно, совершенно непонятно для чего. И я не могу сочувствовать этому роду писаний». Уничтожающая рецензия профессионала. Лев показал свои когти. Будучи подлинно профессиональным писателем, величайшим мастером своего дела, Толстой очень часто высказывал разные мысли о своем ремесле. Анализируя с точки зрения стиля библейскую легенду, Толстой поучает всех нас, грешных (в известном смысле даже Томаса Манна): «В повествовании об Иосифе не нужно было описывать подробно, как это делается теперь, окровавленную одежду Иосифа, и жилище и одежду Иакова, и позу и наряд Пентеффриевой жены, как она, поправляя браслет на левой руке, сказала: «Войди ко мне», и т. п. Потому что содержание чувства в этом рассказе так сильно, что все подробности, исключая самые необходимые, как, например, то, что Иосиф вышел в другую комнату, чтобы заплакать,— что все эти подробности излишни и только помешали бы передать чувства, а потому рассказ этот доступен всем людям, и т. д. «Но отнимите у лучших романов нашего времени подробности, и что же останется?» Вы чувствуете, с каким удовольствием Толстой, отрицая подробности, сам создал их в библейском отрывке: Пентеффриева жена, поправляющая браслет на левой руке? Гениальная подробность. А сколько таких подробностей в художественных произведениях самого Толстого — не счесть! Что же, их вычеркивать, что ли? Я думаю, что тут Толстой слукавил. Нет, он был новатор и зря напустился на лучшие романы «нашего времени», хотя бы потому, что его собственные романы были лучшими из лучших «нашего времени». Толстой вечно искал новые формы. Вот некоторые удивительные заметки в его дневнике: «Память уничтожает время...», «Если будет время и силы по вечерам, то воспоминания без порядка, а как придется... Очень стал живо вспоминать...», «Искусство, говорят, не терпит посредственности, оно еще не терпит сознательности».

От этих высказываний величайшего художника нельзя просто отмахнуться, о них стоит подумать хорошенько, а подумав, следовать им в своем творчестве.

1953, 1984. Переделкино

МОЙ ДРУГ НОДАР

При его внешней респектабельности, серьезности, при заметной седине в его густых волосах, при строгости его взгляда, при всем том, что делало его образцом писателя-классика, в нем временами проскальзывало что-то озорное, я бы даже сказал — мальчишеское, делая его еще более обаятельным.

Несмотря на нашу душевную и творческую близость, судьбе было угодно свести нас с Нодаром Думбадзе всего лишь только один раз во время нашей совместной поездки в Соединенные Штаты в составе делегации советских писателей.

Мы совершили поездку по многим штатам и городам необыкновенно сложного и пестрого государства, именуемого в сокращенном виде Америкой.

Во время упомянутой поездки мы с Нодаром очень подружились и были почти все время неразлучны.

Нодар поражал меня своей острой, тонкой наблюдательностью истинного художника. Ни одна мелочь не проходила мимо его пронизательных глаз. Каждое его наблюдение сопровождалось коротким замечанием, метким и выразительным.

В пушкинское время подобные замечания назывались эпиграммами; Нодар был великим мастером подобных эпиграмм, подчас не лишенных философской глубины.

Мы все время обменивались своими впечатлениями.

Но это не была простая светская болтовня двух друзей-туристов, попавших в новую страну.

Замечания Нодара всегда были выражением его отношения к социальной или политической структуре Штатов. Он замечал то, что не всегда было замечено другими.

Нередко беглые и всегда краткие замечания Нодара заменялись каким-нибудь простым восклицанием, в котором было больше смысла, чем в иных длинных рассуждениях.

Мне очень запомнилось одно из подобных эмоциональных восклицаний Нодара. Хочется об этом рассказать по возможности подробно.

Дело было в Калифорнии, в знаменитом городе Лос-Анджелесе, одном из самых богатых городов Нового Света.

Кроме своих великолепных банков, промышленных предприятий, заводов, шикарных ресторанов и баров, особняков миллионеров и пр., Лос-Анджелес славится еще соседством с центром американской кинематографии — прославленным Голливудом, с многочисленными виллами мировых кинематографических звезд, а также «Диснейлендом» — увеселительным парком со всеми атрибутами диснеевских мультипликаций в натуральную величину.

Нашу делегацию поселили в недавно построенном отеле «Бонавентуро», поражавшем воображение своей супермодернистской архитектурой, ни на что не похожей. Представьте себе странное, колоссальное сооружение, издали похожее то ли на некий громадный завод, то ли даже на фантастические формы космодрома будущего.

Приблизившись к этому сооружению, мы обнаружили, что оно состоит как бы из нескольких громадных труб вышиною с Эйфелеву башню, а может быть, даже еще выше. Трубы эти расположены вокруг некоего земельного пространства размером в футбольное поле. Это пространство оказалось не более не менее как холлом отеля: тут были расположены прилавки портье, развешаны доски с ключами гостиничных номеров, телефоны, почтовые ящики и вообще все, чему полагается быть в холле любого отеля.

Тут же размещались различного рода кафе, небольшие и большие рестораны, закусочные, магазинчики самообслуживания, табачные и газетные киоски и тому подобное. Все они находились на разных уровнях от земли и соединялись переходами, лестничками, мостиками. Остальное пространство земли или, вернее, ее синтетическое подобие представляло собой живописный ландшафт с настоящими живыми деревьями, цветочными клумбами, ручейками, бассейнами в виде небольших озер, покрытых тростником. Тут же виднелись кусты цветущего кустарника и даже небольшие водопады.

В воде плавали утки, а в воздухе порхали птички.

Среди всего этого толклось множество туристов со своими рюкзаками и сумками, а их чемоданы куда-то возили в каталках служащие отеля.

Что же касается упомянутых уже мною колоссальных труб, которые уходили куда-то высоко в небо, то в этих трубах вверх и вниз со скоростью артиллерийских снаря-

дов летали суперскоростные лифты, поднимающие постояльцев отеля в их номера, расположенные где-то рядом с облаками на обморочной высоте.

Сами же по себе номера ничего особенного не представляли: коридорчик, туалет, ванна, душ, телефон, автоматическая электрическая печь и тому подобное.

Необыкновенным в этих номерах была наружная стена, сплошь стеклянная, так что с высоты, скажем, сорокового этажа постояльцу открывался вид калифорнийских холмов, зеленых лугов, сеть автомобильных дорог, по которым среди дорожных сигналов, знаков и реклам по разным направлениям неслись автомобили, казавшиеся не более каких-то проворных разноцветных букашек. А легкие калифорнийские облачка, казалось, можно потрогать руками.

Увидев и осознав всю эту фантастическую картину (быть может, несколько мною преувеличенную, однако не слишком), Нодар Думбадзе на некоторое время как бы окаменел не то от изумления, не то даже от ужаса. Наконец после недолгого молчания он вдруг вскинул слегка уже поседевшую голову, великодушным жестом поднял руку и громким голосом с баритональным, чисто грузинским тембром воскликнул:

— Америка, остановись!

Таким он мне и запомнился: маленький — на фоне громадного и нелепого сооружения отеля «Бонавентуро», похожий то ли на разгневанного пророка, то ли на поседевшего мальчика с грозно сверкающими глазами...

Он был в то время прекрасен!

К несчастью, судьба не захотела, чтобы наша дружба продолжалась: смерть унесла дорогого моего друга Нодара Думбадзе.

Я никогда его не забуду.

1985
Переделкино

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЮЛЬ

Над морем облака встают, как глыбы мела,
А гребни волн — в мигающем огне.
Люблю скользить стремительно и смело
Наперерез сверкающей волне.

Прохладная струя охватывает тело,
Щекочет грудь и хлещет по спине,
И солнце шею жжет, но любо мне,
Что кожа на плечах, как бронза, загорела.

А дома — крепкий чай, раскрытая тетрадь,
Где вяло начата небрежная страница.
Когда же первая в окне мелькнет зарница,

А в небе месяца сургучная печать,
Я вновь пойду к обрывам помечтать
И посмотреть, как море фосфорится.

1914

ВЕСЕННИЙ ТУМАН

Опять густой туман нагнало
На город с моря — и глядишь:
Сырым и рыхлым покрывалом
Дома окутаны до крыш.

Расплывчаты, неясны мысли,
Но спать нет силы до зари.
И смотришь, как во мгле повисли
Жемчужной нитью фонари.

1914

СТРАХ

Глухая степь. Далекий лай собак.
Весь небосклон пропитан лунным светом.
И в серебре небес заброшенный ветряк
Стоит зловещим силуэтом.

Бесшумно тень моя по лопухам скользит
И неотступно гонится за мною.
Вокруг сверчков хрустальный хор звенит,
Сияет жнивье под росой.

В душе растет немая скорбь и жуть.
В лучах луны вся степь белее снега.
До боли страшно мне. О, если б как-нибудь
Скорей добраться до ночлега!

1914

ЗВЕЗДЫ

В хрустальных нитях гололедицы
Садов мерцающий наряд.
Семь ярких звезд Большой Медведицы
На черном бархате горят.

Тиха, безлунна ночь морозная,
Но так торжественно ясна,
Как будто эта бездна звездная
Лучами звезд напоена.

На крышах снег, как фосфор, светится,
А на деревьях хрустали
Зажгла полночная Медведица,
И свет струится от земли.

Лицо, как жар, горит от холода,
Просторно, радостно в груди,
Что все вокруг светло и молодо,
Что столько счастья впереди!

В хрустальных нитях гололедицы
Средь оснеженных ив и верб,
Семь ярких звезд Большой Медведицы —
На черном бархате, как герб.

1915

КРЕЙСЕР

Цвела над морем даль сиреневая,
А за морем таился мрак,
Стальным винтом пучину вспенивая,
Он тяжело обогнул маяк.

Чернея контурами башенными,
Проплыл, как призрак, над водой,
С бортами, на серо закрашенными.
Стальной. Спокойный. Боевой.

И были сумерки мистическими,
Когда прожектор в темноте
Кругами шарил электрическими
По черно-стеклянной воде.

И длилась ночь, пальбой встревоженная,
Завороженная тоской,
Холодным ветром замороженная
Над гулкой тишью городской.

Цвела наутро даль сиреневая,
Когда вошел в наш сонный порт
Подбитый крейсер, волны вспенивая,
Слегка склонясь на левый борт.

1915

МОЛОДОСТЬ

Чуть скользит по черной глади лодка.
От упругой гребли глубже дышит грудь.
Ночь плывет, и надо мною четко
Разметался длинный Млечный Путь.

Небо кажется отсюда бездной серой,
Млечный Путь белеет, как роса.

Господи, с какою чистой верой
Я смотрю в ночные небеса!

Путь не долог. Серебристо светит
Под водой у берега песок.
Крикну я — и мне с горы ответит
Молодой звенящий голосок.

Я люблю тебя. Люблю свежо и чисто.
Я люблю в тебе, не сознавая сам,
Эту ночь, что движется лучисто,
Этот свет, что льется с неба к нам.

1915

СУХОВЕЙ

Июль. Жара. Горячий суховей
Взметает пыль коричневым циклоном,
Несет ее далеко в ширь степей,
И гнет кусты под серым небосклоном.

Подсолнечник сломало за окном.
Дымится пылью серая дорога,
И целый день кружится над гумном
Клочок соломы, вырванной из стога.

А дни текут унылой чередой,
И каждый день вокруг одно и то же:
Баштаны, степь, к полудню — пыль и зной.
Пошли нам дождь, пешли нам тучи, боже!

Но вот под утро сделалось темно.
Протяжно крикнула в болоте цапля.
И радостно упала на окно
Прохладная, увесистая капля.

Еще, еще немного подождем.
Уже от туч желанной бурей веет.
И скоро пыль запляшет под дождем,
Земля вздохнет и степь зазеленеет.

1915

Степной душистый день прозрачен, тих и сух.
Лазурь полна веселым птичьим свистом.
Но солнце шею жжет. И мальчуган-пастух
Прилег в траву под деревом тенистым.

Босой, с кнутом, в отцовском картузе,
Весь бронзовый от пыли и загара,
Глядит, как над землей по тусклой бирюзе
Струится марево полуденного жара.

Вот снял картуз, сорвал с сирени лист,
Засунул в рот — и вместе с ветром чистым
Вдаль полился задорный, резкий свист,
Сливаясь в воздухе с певучим птичьим свистом.

С купанья в полдень весело идти
К тенистой даче солнечным проселком:
В траве рассыпаны ромашки на пути
И отливает рожь зеленоватым шелком.

1915

ВЕЧЕР

В монастыре звонят к вечерне,
Поют работницы в саду.
И дед с ведром, идя к цистерне,
Перекрестился на ходу.

Вот загремел железной цепью,
Вот капли брызнули в бурьян.
А где-то над закатной степью
Жужжит, как шмель, аэроплан.

1915

ЗНОЙ

В степном саду, слегка от зноя пьян,
Я шел тропинкою, поросшей повиликой.
Отец полол под вишнями бурьян
И с корнем вырывал пучки ромашки дикой.

Миндально пахла жаркая сирень,
На солнце лóснилась трава перед покосом,
Свистел скворец, и от деревьев тень
Ложилась пятнами на кадку с купоросом.

Блестящий шмель в траве круги чертил,
И воздух пел нестянутой струною,
И светлый зной прозрачный пар струил
Над раскаленную землю.

1915

* * *

Средина августа. Темно и знойно в доме.
На винограднике сторожевой курень.
Там хорошо. На высохшей соломе
Я в нем готов валяться целый день.

Сплю и не сплю... Шум моря ясно слышен.
Как из норы, мечтательно гляжу
На хуторок в тени сквозистых вишен,
На жнивье, на далекую межу.

Склоняю голову. Вокруг лепечут листья.
Сердито щелкает вдали пастуший кнут.
И золотисто-розовые кисти
Дрожат от тяжести и жадно солнце пьют.

1915

ВЕЧЕР

Синеет небо ласково в зените,
Но солнце низкое сквозь пыльную листву
Уже струит лучей вечерних нити
И теплым золотом ложится на траву.

На винограднике, в сухом вечернем зное,
Кусты политые горят, как янтари.
И как земля тиха в ее степном покое,
И как в степи поют печально косари!

Дышать легко. И сердце жизни радо.
И все равно куда и как идти.
Мне в этот вечер ничего не надо.
Мне в этот вечер все равны пути.

1915

ТИШИНА

Зацепивши листьев ворох
Легкой тростью на ходу,
Стал. И слышу нежный шорох
В умирающем саду.

Сквозь иголки темных сосен,
Сквозь багровый виноград
Золотит на солнце осень
Опустевший, тихий сад.

Воздух чист перед закатом.
Почернела клумба роз.
И в тумане синеватом
Первый слышится мороз.

А на вымокшей дорожке,
Где ледок светлей слюды,
Чьи-то маленькие ножки
Отпечатали следы.

1915

В АПРЕЛЕ

В апреле сумерки тревожны и чутки
Над бледными, цветущими садами,
Летят с ветвей на плечи лепестки,
Шуршит трава чуть слышно под ногами.

С вокзала ль долетит рассеянный свисток,
Пройдет ли человек, собака ли залает,
Малейший шум, малейший ветерок
Меня томит, волнует и пугает.

И к морю я иду. Но моря нет. Залив,
Безветрием зеркальным обесцвечен,
Застыл, под берегом купальни отразив,
И звезды ночь зажгла на синеве, как свечи.

А дома — чай и добровольный плен.
Сонет, написанный в тетрадке накануне.
Певучий Блок. Непонятый Верлен.
Влюбленный Фет. И одинокий Бунин.

1916

ПИСЬМО

Зимой по утренней заре
Я шел с твоим письмом в кармане.
По грудь в морозном серебре
Еловый лес стоял в тумане.

Всходило солнце. За бугром
Порозовело небо, стало
Глубоким, чистым, а кругом
Все очарованно молчало.

Я вынимал письмо. С тоской
Смотрел на милый, ломкий почерк
И видел лоб холодный твой
И детских губ упрямый очерк.

Твой голос весело звенел
Из каждой строчки светлым звоном,
А край небес, как жар, горел
За лесом, вьюгой заметенным.

Я шел в каком-то полусне,
В густых сугробах вязли ноги,
И было странно видеть мне
Обозы, кухни на дороге,

Патрули, пушки, лошадей,
Пни, телефонный шнур на елях,
Землянки, возле них людей
В папахах серых и шинелях.

Мне было странно, что война,
Что каждый миг — возможность смерти,
Когда на свете — ты одна
И милый почерк на конверте.

В лесу, среди простых крестов,
Пехота мерно шла рядами,
На острых кончиках штыков
Мигало солнце огоньками.

Над лесом плыл кадилый дым.
В лесу стоял смолистый запах,
И снег был хрупко-голубым
У старых елей в синих лапах.

1916
Действующая армия

* * *

Туман весенний стелется. Над лесом
Поплыл, курясь, прозрачный сизый дым.
И небо стало пепельно-белесым.
Каким-то близким, теплым и родным.

Тоска и грусть. С утра на воздух тянет.
И я иду куда глаза глядят:
В леса, где даль стволы дерев туманит,
На речку снежную, где проруби блестят.

Мечтаю. Думаю. Брожу среди развалин
Разбитого снарядами села.
Повторены зеркалами проталин
Остатки хижин, выжженных дотла.

Стволы берез с оббитыми ветвями.
Меж них — прямые остовы печей.
Зола и мусор серыми буграми
Да груды обгорелых кирпичей.

Орешник, елки, тонкие осины —
Сплошь в воробьях. Все утро в голове
Стоит веселый щебет воробьиный
И тонет взор в неяркой синеве.

От ветра жмуришься, слегка сдвигаешь брови.
Снег сходит медленно, и, на земле сырой
Оттаяв, проступают лужи крови,—
Следы боев, гремевших здесь зимой.

1916

Действующая армия

У ОРУДИЯ

Взлетит зеленой звездочкой ракета
И ярким, лунным светом обольет
Блиндаж, землянку, контуры лафета,
Колеса, щит и, тая,— упадет.

Безлюдье. Тишь. Лишь сонные патрули
Разбудят ночь внезапную стрельбой,
Да им в ответ две-три пальные пули
Со свистом пролетят над головой.

Стою и думаю о ласковом, о милом,
Покинутом на теплых берегах.
Такая тишь, что кровь, струясь по жилам,
Звенит, поет, как музыка в ушах.

Звенит, поет. И чудится так живо:
Звонят сверчки. Ночь. Звезды. Я один.
Росою налита, благоухает нива.
Прозрачный пар встает со дна лощин.

Я счастлив оттого, что путь идет полями,
И я любим, и в небе Млечный Путь,
И нежно пахнут вашими духами
Моя рука, и волосы, и грудь.

1916

Действующая армия

НОЧНОЙ БОЙ

В цепи кричат «ура!». Далеко вправо — бой.
Еловый лес пылает, как солома.
Ночная тишь разбужена пальбой,
Раскатистой, как дальний рокот грома.

Ночной пожар зловеющий отблеск льет.
И в шуме боя, четкий и печальный,
Стучит, как швейная машинка, пулемет
И строчит саван погребальный.

1916

Действующая армия

* * *

Небо мое звездное,
От тебя уйду ль? —
Черное, морозное,
С дырами от пуль.

1916

РАНЕНИЕ

От взрыва пахнет жженым гребнем.
Лицо в земле. К траве приник.
И жду. Вдали за острым гребнем
Несется стоголосый крик.

В глазах круги и пляшут черти.
В душе, как зверь, дрожит испуг.
И надо мной со свистом чертят
Снаряды сотни четких дуг.

От взрывов быстрых и упорных
Звенит в ушах. Как смерть близки,
Встают столбы фонтанов черных
И вьются белые дымки.

Скорее, смерть! Приди, не мучай!
Но бой уходит. Тишина.
Заря горит за синей тучей
Недостижима и ясна.

Померкло. Отошло. Не стало.
Болит бедро. И черный йод
На яркое пятно коралла —
На рану — кто-то тихо льет.

Носилки. Санитары. Тряский
По горным кручам труден путь.
Ах, если бы до перевязки
Скорей добраться как-нибудь!

Несут... И вдалеке от боя
Уж я предчувствую вдали
И вас, и небо голубое,
И в синем море корабли.

1917

* * *

Зеленым сумраком повеяло в лицо.
Закат сквозит в листве, густой и клейкой.
У тихого обрыва, над скамейкой,
Из тучки месяц светит, как кольцо.

Зеленым сумраком повеяло в лицо.

От моря тянет ласковый и свежий
Вечерний бриз. Я не был здесь давно
У этих сумеречных, тихих побережий.
У мшистых скал сквозь воду светит дно.

И все как прежде. Скалы, мели те же,
И та же грусть, и на душе темно.
От моря тянет ласковый и свежий
Вечерний бриз... Я не был здесь давно.

1917.

КАПЛИ

В каждой капле, что сверкает в распутившихся кустах,
Блещет солнце, светит море, небо в белых облаках.

В каждой капле, что сбегает, по сырой листве шурша,
Синей тучи, майских молний отражается душа.

Если будет вечер светел, если будет ночь ясна,
В темных каплях отразится одинокая луна.

Если ты плечом небрежным куст заденешь, проходя,
Капли брызнут ароматным, крупным жемчугом дождя,

И повиснут на ресницах, и тяжелый шелк волос
Окропят весенней влагой, влагой первых, чистых слез.

В каждой капле — сад и море, искры солнечной игры...
Хорошо быть чистой каплей и таить в себе миры!

1917

КАССИОПЕЯ

Коснуться рук твоих не смею,
А ты любима и близка.
В воде, как золотые змеи,
Скользят огни Кассиопеи,
Ночные тают облака.

Коснуться берега не смеет,
Журча, послушная волна.
Как море, сердце пламенеет,
И в сердце ты отражена.

1918

* * *

Томится ночь предчувствием грозы,
И небо жгут беззвучные зарницы.
Довольно бы всего одной слезы,
Чтоб напоить иссохшие ресницы.

Но воздух сух. Подушка горяча.
Под стук часов томится кровь тобою.
И томен жар раскрытого плеча
Под воспаленною щекою.

1918

В ТРАМВАЕ

Блестит шоссе весенним сором,
Из стекол солнце бьет в глаза.
И по широким косогорам
Визжат и ноют тормоза.

Люблю звенящий лет вагона,
Бурьян глухого пустыря
И тяжесть солнечного звона
У белых стен монастыря.

1918

НА ЯХТЕ

Благословенная минута
Для истинного моряка:
Свежеет бриз и яхта круто
Обходит конус маяка.

Захватывает дух от крена,
Шумит от ветра в голове,
И жемчугами льется пена
По маслянистой синеве.

1918

ЖУРАВЛИ

Мы долго слушали с тобою
В сыром молчании земли,
Как высоко над головою
Скрипели в небе журавли.

Меж облаков луна катилась,
И море млело под луной:
То загоралось, то дымилось,
То покрывалось темной мглой.

Тянуло ветром от залива,
Мелькали звезды в облаках,
И пробегали торопливо
То свет, то тень в твоих глазах.

1918

ЗВЕЗДЫ

Глубокой ночью я проснулся,
И встал, и посмотрел в окно.
Над крышей Млечный Путь тянулся,
И небо было звезд полно.

Сквозь сон, еще с ресниц не павший,
Сквозь слезы, будто в первый раз,
Я видел небосклон, блиставший.
Звездами в этот поздний час.

Увидел и заснул. Но тайной,—
Среди ночей и звезд иных,—
Во мне живет необычайный,
Живой, хрустальный холод их.

1919

ПУШКИНУ

Зорю бьют. Из рук моих
Ветхий Данте выпадает.

А. Пушкин

Легко склоняются ресницы,
В сознание тонет каждый звук,
Мелькают милые страницы,—
И Пушкин падает из рук.

Быть может, и твоя обитель
Тиха была, и дождь стучал,
Когда из рук твоих, учитель,
Бессильно Данте выпадал.

И так же на крылах пролады
К тебе слетал счастливый сон,
И красным золотом лампы
Был майский сумрак озарен.

1919

ВАЗА

Мудрый ученый, старик, вазу от пыли очистив,
Солнцем, блеснувшим в глаза, был, как огнем, ослеплен.
Трижды обвитый вокруг лентой классических листьев,
Чистой лазурью небес ярко блестел электрон¹.

В мире не вечно ничто: ни мудрость, ни счастье, ни слава,
Только одна Красота, не умирая, живет.
Восемь минувших веков не тронули вечного сплава,
Вечных небес синева в золоте вечном цветет.

1919

ВЕСНОЙ

Я не думал, чтоб смогла так сильно
Овладеть моей душою ты!
Солнце светит яростно и пыльно,
И от пчел весь день звенят кусты.

Море блещет серебром горячим.
Пахнут листья молодой ольхи.
Хорошо весь день бродить по дачам
И бессвязно бормотать стихи,

Выйти в поле, потерять дорогу,
Ввериться таинственной судьбе,
И молиться ласковому богу
О своей любви и о тебе.

1920

* * *

Словно льды в полярном море,
Облака вокруг луны.
На широком косогоре
Пушки темные видны.

¹ Электрон — так в древности назывался сплав золота и серебра. (Примеч. автора.)

У повозок дремлют кони.
Звонкий холод. Тишина.
В сон глубокий властно клонит
Полуночная луна.

И лежу под небом льдистым,
Озаренный до утра
Золотистым, водянистым,
Жарким пламенем костра.

1920

АРБУЗ

Набравши в трюм в Очакове арбузов,
Дубок «Мечта» в Одессу держит путь.
Отяжелев, его широкий кузов
Густые волны пенит как-нибудь.

Но ветер стих. К полудню все слабее
Две борозды за поднятой кормой.
Зеркальна зыбь. Висят бессильно реи.
И бросил руль беспечный рулевой.

Коричневый от солнца, славный малый,
В Очакове невесту кинул он.
Девичья грудь и в косах бантик алый
Ему весь день мерещатся, сквозь сон.

Он изнемог от золотого груза
Своей любви. От счастья сам не свой,
На черном глянце спелого арбуза
Выскабливает сердце со стрелой.

1920

ПРИБОЙ

Крутой обрыв. Вверху — простор и поле,
Внизу — лиман. Вокруг его стекла
Трава красна, пески белы от соли
И грязь черна, как вязкая смола.

В рапной воде, нагретые полуднем,
Над ржавчиной зеленого песка
Медузы шар висит лиловым студнем,
И круглые сияют облака.

Здесь жар, и штиль, и едкий запах йода.
Но в двух шагах, за белою косой,—
Уже не то: там ветер и свобода,
Там море ходит яркой синевою.

Там, у сетей, развешанных для сушки,
В молочно-хрупкой пене, по пескам,
Морских ковычков и редкие ракушки
Прибой несет к моим босым ногам.

1920

СЛЕПЫЕ РЫБЫ

Всю неделю румянцем багряным
Пламенели холодные зори,
И дышало студеным туманом
Непривычно-стеклянное море.

Каждый день по знакомой дороге
Мы бежали к воде, замирая,
И ломила разутые ноги
До коленей вода ледяная.

По песчаной морщинистой мели
Мы ходили, качаясь от зыби,
И в прозрачную воду смотрели,
Где блуждали незрячие рыбы.

Из далекой реки, из Дуная,
Шторм загнал их в соленое море,
И ослепли они и, блуждая,
Погибали в незримом просторе.

Били их рыбаки острогою,
Их мальчишки хватали руками,
И на глянцевых складках прибой
Рыбья кровь распускалась цветамп.

1920

ВОСПОМИНАНИЕ

Садовник поливает сад.
Напор струи свистит, треща,
И брызги радугой летят
С ветвей на камушки хряща.

Сквозь семицветный влажный дым
Непостижимо и светло
Синеет море, и над ним
Белеет паруса крыло.

И золотист вечерний свет,
И влажен жгут тяжелых кос
Той, чьих сандалий детский след
Так свеж на клумбе мокрых роз.

1920

ОДУВАНЧИК

Сквозь решетку втянул ветерок
Одуванчика легкий пушок —
Невесомый, воздушный намек.

Удивился пушок. И сквозной
Над столом закачался звездой.
И повеял свободой степной.

Но в окно потянул ветерок
За собою табачный дымок.
А с дымком улетел и пушок.

1920

ПРЯХА

Поет красавица за прялкой
У неумытого окна,
И день сбегает нитью гладкой
Из рук в моток веретена.

Покорен-сладкому безделью,
Под мягкий стук и скрип колес,
Слежу, как тает над куделью
Девичьих пальцев нежный воск.

Завороженный и усталый,
Сижу, к овчине прислонясь.
Последний луч струною алой
Трепещет, в сумраке дымясь.

И вижу вдруг — под шум напевный,
Не в силах дрему превозмочь —
Простоволосою царевой
Уже сидит за пряжей ночь.

И голова седой колдуньи —
Кудель на палке — так бледна.
А тонкий ноготь новолуны
Грозит из синего окна.

1920

МУЗА

Пшеничным калачом заплетена коса
Вкруг милой головы моей уездной музы;
В ней сочетается неяркая краса
Крестьянской девушки с холодностью медузы.

И зимним вечером вдвоем не скучно нам.
Кудахчет колесо взволнованной наседкой,
И тени быстрых спиц летают по углам,
Крылами хлопая под шум и ропот редкий.

О чем нам говорить? Я думаю, куря.
Она молчит, глядит, как в окна лепит вьюга.
Все тяжелей дышать. И поздняя заря
Находит нас опять в объятиях друг друга.

1920

ПОЦЕЛУЙ

Когда в моей руке, прелестна и легка,
Твоя рука лежит, как гриф поющей скрипки,
Есть в сомкнутых губах настойчивость смычка,
Гудящего пчелой над розою улыбки.

О да, блажен поэт! Но мудрый. Но не тот,
Который высчитал сердечные биенья
И написал в стихах, что поцелуй поет,—
А тот, кто не нашел для страсти выраженья.

1920

УЛИЧНЫЙ БОЙ

Как от мяча, попавшего в стекло,
День начался от выстрела тугого.
Взволнованный, не говоря ни слова,
Я вниз сбежал, куда рассвело.

У лавочки, столпившись тяжело,
Стояли люди, слушая сурово
Холодный свист снаряда судового,
Что с пристани через дома несло.

Бежал матрос. Пропел осколок-овод.
На мостовой лежал трамвайный провод,
Закрученный петлею, как лассо.

Да — жалкая, ненужная игрушка —
У штаба мокла брошенная пушка,
Припав на сломанное колесо.

1920

ЭВАКУАЦИЯ

В порту дымят военные суда.
На пристани, где бестолочь и стоны,
Скрипят, трясясь, товарные вагоны.
Кипит на рейде мутная вода.

Как в страшный день последнего суда,
Смешалось все: товар непогруженный,
Французский плащ, полковничьи погоны,
Британский френч — все бросились сюда.

А между тем уж пулемет устало
Из чердака рабочего квартала
Стучит, стучит, неотвратим и груб.

Трехцветный флаг толпою сбит с вокзала
И брошен в снег, где костенеет труп
Расстрелянного ночью генерала.

1920

СЫПНОЙ ТИФ

О, этот день, и с моря холод вещей!
Пустое небо, стынь и леденей!
Чем пальцам ног от холода больней,
Тем свет дневной мне кажется все резче.

Деревьев черных сомкнутые клещи
Стоят, обледеневши у корней.
И неподвижны в комнате моей
Как бы из камня сделанные вещи.

За голубыми стеклами балкона
Прносятся пурпурные знамена,
Там рев толпы и баррикады там.

И снится мне, что я лежу безногий
На каменных ступенях Нотр-Дам,
Смотря в толпу с бессмысленной тревогой.

1920

ПЛАКАТ

Привет тебе, бесстрашный красный воин.
Запомни двадцать пятое число,
Что в октябре, как роза, расцвело
В дыму войны из крови страшных боен.

Будь сердцем тверд. Победы будь достоин.
Куя булат, дробь и бей стекло.
Рукою сильной с корнем вырви зло,
Вращенное на нивах прежних войн.

Твой славный путь к Коммуне мировой.
Иди вперед. Стреляй. Рази. Преследуй.
Пусть блещет штык неотразимый твой.

И возвратись с решительной победой
В свой новый дом, где наступает срок
Холодный штык сменить на молоток.

1920

* * *

Легко взлетают крылья ветряка,
Расчесывая темные бока
Весенних туч, ползущих по откосу.
И, распустив стремительную косу,
В рубашке из сурового холста,
Бежит Весна в степях необозримых,
И ядовитой зеленью озимых
За ней горит степная чернота.

1921

* * *

Может быть, я больше не приеду
В этот город деревянных крыш.
Может быть, я больше не увижу
Ни волов с блестящими рогами,
Ни возов, ни глиняной посуды,
Ни пожарной красной каланчи.
Мне не жалко с ними расставаться,
И о них забуду скоро я.

Но одной я ночи не забуду,
Той, когда зеркальным отраженьем
Плыл по звездам полуночный звон,
И когда, счастливый и влюбленный,

Я от гонких строчек отрывался,
Выходил на темный двор под звезды
И, дрожа, произносил: Эсфирь!

1921

БАЛТА

Тесовые крыши и злые собаки.
Весеннее солнце и лень золотая.
У домиков белых — кусты и деревья,
И каждое дерево как семисвечник.

И каждая ветка — весенняя свечка,
И каждая почка — зеленое пламя,
И синяя речка, блестя чешуею,
Ползет за домами по яркому лугу.

А в низеньких окнах — жестянка с геранью,
А в низеньких окнах — с наливкой бутылки.
И всё в ожиданье цветущего мая —
От уличной пыли до ясного солнца.

О, светлая зелень далеких прогулок
И горькая сладость уездного счастья,
В какой переулок меня ты заманишь
Для страсти минутной и нежных свиданий?

1921

ПОДСОЛНУХ

В ежовых сотах, семечками полных,
Щитами листьев жесткий стан прикрыв,
Над тыквами цветет король-подсолнух,
Зубцы короны к солнцу обратив.

Там желтою, мохнатою лампадкой
Цветок светился пламенем шмеля,
Ронял пыльцу. И в полдень вонью сладкой
Благоухала черная земля.

Звенел июль ордою золотою,
Раскосая шумела татарва,
И ник, пронзенный вражеской стрелою,
Король-подсолнух, брошенный у рва.

А в августе пылали мальвы-свечи,
И целый день, под звон колоколов,
Вокруг него блистало поле сечи
Татарской медью выбритых голов.

1921

* * *

Разгорался, как серная спичка,
Синий месяц синей и синей,
И скрипела внизу перекличка
Голосов, бубенцов и саней.

Но и в смехе, и вальсе, и в пенье
Я услышал за синим окном,
Как гремят ледяные ступени
Под граненым твоим каблучком.

1921

ПРАЧКА

В досках забора — синие щелки.
В пене и пенье мокрая площадь.
Прачка, сверкая в синьке и щелоке,
Пенье, и пену, и птиц полощет.

С мыла по жилам лезут пузырьки,
Тюль закипает, и клочья летают.
В небе, как в тюле, круглые дырки
И синева, слезой налитая.

Курка клюет под забором крупку
И черепки пасхальных скорлупок,
Турок на вывеске курит трубку,
Строится мыло кубик на кубик.

Даже веселый, сусальный, гибкий —
Тонкой веревкой голос петуший —
Перед забором, взяв на защипки,
Треплет рубахи и тучи сушит.

Турку — табак. Ребятишкам — игры.
Ветру — веселье. А прачке — мыло.
Этой весной, заголившей икры,
Каждому дело задано было!

1922

МЫЛЬНИКОВ ПЕРЕУЛОК

Неповоротливая, как медведь,
Зима обсасывает лапу тут,
Где примусов пожарных блещет медь
И розы синие, гудя, цветут.

Спиртовый запах — острые шипы,
А над шипами — радуга стрекоз,
И сонный сахар брагою шипит
В кадлушке, под подушками, взасос.

Здесь среди сада цинковых реторт
Под смуглым окороком-потолком
Не Мефистофель, а московский черт
Над хмелем вертит шерстяным хвостом.

Царевна Софья, самогон готов,
Тащи бидоны, ведра волоки!
Под свист и грохот пьяных соловьев
Осоловели весело зрочки.

И розы вянут. Только за окном
Над черными прудами ночь синей.
Морозным пламенем охвачен дом
И соловьи стеклянные саней.

Куда бежать от этого огня?
Как в этих розах синих не сгореть?
Метель спиртовая, носи меня,
Я все равно не перестану петь.

1922

БРИЗ

Мелким морем моросил
Бриз и брызгал в шляпки,
Вправо флаги относил,
Паруса и юбки.

И, ползя на рейд черпать,
Пузоватый кузов
Гнал, качая, черепа
Черепях-арбузов.

1922

* * *

Весны внезапной мир рябой
Раздался и потек.
Гвоздями пляшет под трубой
Морозный кипяток.

По лунным кратерам, по льду,
В игрушечных горах,
Как великан, скользя, иду
В размокших сапогах.

Бежит чешуйчатый ручей
По вымокшим ногам.
И скачет зимний воробей
По топким берегам.

И среди пляшущих гвоздей
Смотрю я сверху вниз...
А Ты, ходивший по воде,
По облакам пройдишь!

1922

СОВРЕМЕННОК

Апрель дождем описался в дым,
И в лоск влюблен любой.
— Полжизни за стакан воды!
— Полцарства за любовь!

Что сад — то всадник. Взмылен конь,
Но беглым блеском батарей
Грохочет: «Первое, огонь!» —
Из туч и из очей.

Там юность кинулась в окоп,
Плечом под щит, по колесу,
Пока шрапнель гремела в лоб
И сучья резала в лесу.

И если письмами окрест
Заваливало фронт зимой:
— Полжизни за солдатский крест!
— Полцарства за письмо!

Во вшах, в осколках, в нищете,
С простреленным бедром,
Не со щитом, не на щите, —
Я трижды возвращался в дом.

И, трижды бредом лазарет
Пугая, с койки рвался в бой:
— Полжизни за вишневый цвет!
— Полцарства за покой!

И снова падали тела,
И жизнь теряла вкус и слух,
Опустошенная дотла
Бризантным громом в пух.

И в гром погромов, в перья, в темь,
В дуэли бронепоездов:
— Полжизни за Московский кремль!
— Полцарства за Ростов!

И — ничего. И — никому.
Пустыня. Холод. Вьюга. Тьма.
Я знаю, сердца не уйму,
Как с рельс, сойду с ума.

Полжизни — раз, четыре, шесть...
Полцарства — шесть — давал обет, —
Ни царств, ни жизней — нет, не счесть,
Ни царств, ни жизней нет...

И только вьюги белый дым,
И только льды в очах любой:
— Полцарства за стакан воды!
— Полжизни за любовь!

1922

РУМФРОНТ

Мы выпили четыре карты.
Велась нечистая игра.
Ночь передергивала карты
У судорожного костра.

Ночь кукурузу крыла крапом,
И крыли бубны батарей
Колоду беглых молний. С храпом
Грыз удила обоз. Бодрей,
По барабану в перебранку
Перебегая на брезент
Палатки, дождь завел шарманку
Назло и в пику всей грозе,
Грозя блистательным потоком
Неподготовленным окопам.

Ночь передергивала слухи
И, перепутав провода,
Лгала вовсю. Мы были глухи
К ударам грома. И вода
Разбитым зеркалом лежала
Вокруг и бегло отражала
Мошенническую игру.
Гром ударял консервной банкой
По банку... Не везло. И грусть
Следила вскользь за перебранкой
Двух уличенных королей,
Двух шулеров в палатке тесной,
Двух жульнических батарей:
Одной — земной, другой — небесной.

1922

СУХАЯ МАЛИНА

Малина — потогонное.
Иконы и лампада.
Пылает Патагония
Стаканом, полным яда.

— Зачем так много писанок,
Зачем гранят огни?
Приходит папа: — Спи, сынок.
Христос тебя храни.

— Я не усну. Не уходи.
(В жару ресницы клеются.)
Зачем узоры на груди
У красного индейца?

Час от часу страшнее слов
У доктора очки.
И час не час, а часослов
Над гробом белой панночки.

Бегут часы, шаги стучат, —
По тропикам торопятся.
— Зачем подушка горяча
И печка кровью топится?

Зовет меня по имени.
(А может быть, в бреду?)
— Отец, отец, спаси меня!
Ты не отец — колдун!

— Христос храни. — До бога ли,
Когда рука в крови?
— Зачем давали Гоголя?
Зачем читали «Вий»?

1922

ПОЛЕТ

Во сне летал, а наяву
Играл с детьми в серсо:
На ядовитую траву
Садилось колесо.

Оса летала за осой,
Слыла за розу ось,
И падал навзничь сад косою
Под солнцем вкривь и вкось.

И вкривь и вкось Сантос Дюмон
Над тыщей человек —
Почти что падал, как домой,
На полосатый трек.

Во сне летал, а наяву
(Не как в серсо — всерьез!)
Уже садился на траву
Близ Дувра Блерьб.

Ла-Манш знобило от эскадр,
Смещался в фильме план,
И было трудно отыскать
Мелькнувший моноплан.

Там шлем пилота пулей стал,
Там пулей стал полет —
И в честь бумажного хвоста
Включил мотор пилот.

Во сне летал, а наяву,
У эллинга, смеясь,
Пилот бидон кидал в траву
И трос крепил и тряс.

И рота стриженных солдат
Не отпускала хвост,
Пока пилот смотрел назад
Во весь пилотский рост.

Касторкой в крылья фыркал гном,
Касторку крыла пыль,
И сотрясал аэродром
Окружность в десять миль.

Во сне летал... И наяву —
Летал. Парил Икар,
Роня крылья на траву
Трефовой тенью карт.

Топографический чертеж
Коробился сквозь пар,
И был на кукольный похож
Артиллерийский парк.

Но карты боя точный ромб
Подсчитывал масштаб,
Пуская вкось пилюли бомб
На черепичный штаб.

Во сне летал, а наяву
Со старта рвал любой
Рекорд, исколесив траву,
Торпедо-китобой,

Оса летала за осой,
Слыла за розу ось,
И падал навзничь сад косою
Под солнцем вкривь и вкось.

Летело солнце — детский мяч,
Звенел мотор струной,—
И время брил безумный матч
Над взмыленной страной.

1923

ОПЕРА

Голова к голове и к плечу плечо.
(Неужели карточный дом?)
От волос и глаз вокруг горячо,
Но ладони ласкают льдом.

У картонного замка, конечно, корь:
Бредят окна, коробит пульс.
И над пультами красных кулисных зорь
Заблудился в смычках Рауль.

Заблудилась в небрежной прическе бровь,
И запутался такт в виске.
Королева, перчатка, Рауль, любовь —
Все повисло на волоске.

А над темным партером висит балкон,
И барьер, навалясь, повис,—

Но не треснут, не рухнут столбы колонн
На игрушечный замок вниз.

И висят... И не рушатся... Бредит пульс...
Скрипка скрипке приносит весть:
— Мне одной будет скучно без вас... Рауль.
— До свиданья. Я буду в шесть.

1923

КАТОК

Готов!

Навылет!

Сорок жара!

Волненье, глупые вопросы.
Я так и знал, она отыщется,
Заявится на рождестве.
Из собственного портсигара
Ворую ночью папиросы.
Боюсь окна и спички-сыщицы,
Боюсь пойматься в воровстве.

Я так и знал, что жизнь нарежется
Когда-нибудь и на кого-нибудь.

Я так и знал,

что косы косами,

А камень ляжет в должный срок.
За мной!

В атаку, конькобежцы!

Раскраивайте звезды по небу,
Пускай «норвежками» раскосыми
Исполосован в свист каток!

Несется каруселью обморок,

И центр меняется в лице.

Над Чистыми и Патриаршими

Фаланги шарфов взяты в плен.

— Позвольте, я возьму вас об руку.

Ура! Мы в огненном кольце!

Громите фланг.

Воруйте маршами

Без исключенья всех Елен!

1923

РАЗРЫВ

Затвор-заслонка, пальцы пачкай!
Пожар и сажа, вечно снись им.
Мы заряжали печку пачкой
Прочитанных, ненужных писем.

Огонь. Прицел и трубка — 40,
Труба коленом — батарея.
В разрывах пороха и сора
Мы ссорились, но не старели.

Мы ссорились, пока по трупам
Конвертов фейерверкер бегал,
Крича по книжке грубым трубам:
— Картечью, два патрона беглых!

Пустые гильзы рвали горло,
Пустел, как жизнь, зарядный ящик,
И крыли пламенные жерла
Картечью карточек горящих.

1923

КИЕВ

Перестань притворяться, не мучай, не путай, не ври,
Подымаются шторы пудовыми веками Вя.
Я взорвать обещался тебя и твои словари,
И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев.

Я взорвать обещался. Зарвался, заврался, не смог,
Заблудился в снегах, не осилил проклятую тяжесть,
Но, девчонка, смотри: твой печерский языческий бог
Из пещер на тебя подымается, страшен и кряжист.

Он скрипит сапогами, ореховой палкой грозит,
Шелушится по стенам экземою, струпьями фресок,
Он дойдет до тебя по ручьям, по весенней грязи,
Он коснется костями кисейных твоих занавесок.

Он изложет тебя, как затворник свою просфору,
Он задушит тебя византийским жгутом винограда,

И раскатится бой
и беда,
и пальба —
по Днепру, —
И на приступ пойдет по мостам ледяная бригада.

Что ты будешь тогда? Разве выдержишь столько потерь,
Разве богу не крикнешь: «Уйди, ты мне милого застишь»?
Ты прорвешься ко мне. Но увидишь закрытую дверь,
Но увидишь окошко — в хромую черемуху настезь.

1923

ПАТЕРИК

У Днепра на лесных горбах
Златоглавый церковный град,
Упокой своего раба
У червленых у царских врат.

Я в дыму и во тьме пещер
В сердце недр засвечу свечу,
Чтоб сусальный и дымный червь
Посветил моему мечу.

Ах, за нитку стеклянных бус,
За резной кипарисный крест
Ты меня променял, Иисус,
Так прими ж за измену месть.

Не архангельский звон мечей
Надо мною поет светло,
В парчевом костяке мощей
Наливается звуком плоть.

Поднимается злой клубук,
Подымается нос хрящом
И янтарные кости рук,
Осеняющие крестом.

И сусальная меркнет ярь,
И луча выгорает знак.
Легионы бесовских харь
Из угодничьих лезут рак.

А в ушах нестерпимый визг
Неумытых свиных рыл.
И лечу я не вверх, а вниз,
В черный пепел сгоревших крыл.

И теперь ничем не помочь.
Оскудели свечей мечи...
Только крик мой последний ночь
До лесного скита домчит.

1923

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Все спокойно на Шипке.
Все забыты ошибки.
Не щетиной в штыки,
Не на Плевну щетинистым штурмом,
Не по стынущим стыкам реки,
Не в арктических льдах обезумевший штурман —

Ветеран роковой,
Опаленную пулею грудь я
Подпираю пустым рукавом,
Как костыль колеса подпирает хромое орудье.

Щиплет корпий зима,
Марлей туго бульвар забинтован.
Помнишь, вьюга лепила, и ты мне сказала сама,
Что под пули идти за случайное счастье готов он.

Не щетиной в штыки,
Не на Плевну щетинистым штурмом,
Не по стынущим стыкам реки,
Не в арктических льдах обезумевший штурман —
Ветеран роковой,
Самозванец — солдат, изваянье...

И «Георгий» болтается нищей Полярной звездой
На пустом рукаве переулка того же названья.

1923

В КИНО

В крещенский снег из скрещенных ресниц
Они возникли в этот вечер обе.
Я думал так: ну, обними, рискни,
Возьми за руку, поцелуй, попробуй.

В фойе ресниц дул голубой сквозняк:
Сквозь лёлины развеерены Мери.
Но первый кто из чьих ресниц возник —
Покрыто мраком двух последних серий.

Я никогда не видел ледника.
Весь в трещинах. Ползет. Но я уверен:
Таким же ледником моя рука
Сползала по руке стеклянной Мери.

Плыл пароход. Ворочал ящик кран.
Качалось море. Мери мчалась в скором.
На волоске любви висел экран,
И с фильма сыпались реснички сором.

1923

РАССКАЗ

— Беги со мной! — Пусти меня! — Открой!
— Тогда прощай! — До пасхи? —
По контракту! —

И двадцать раз кидалась ротой кровь
На подступ щек в слепую контратаку.
— Тогда прощай! — Пурга пушила ворс
Ее пальто. Вагон качал, как стансы.
И до весны за восемь сотен верст
Дуэль трясла сердца радиостанций.

1923

ИЗВЕСТЬ

1

Бывает такой непомерный убыток,
Что слово становится слепо,
И стужею слово, как птица, убито
И падает с лету, как слепок.

История делает славу на ощупь,
Столетиями пробуя сплавы,
Покуда не выведет толпы на площадь
К отлитому цоколю славы.

Как техник, сосуды машины постукав,
Пускает в артерии камер
Энергию мыслей, вещей и поступков
И слов, превращаемых в мрамор.

2

Жестокою стужу костры сторожили,
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра,

Бульвар, пораженный до центра морозом,
Деревьев артерьями синий
Уже не бисквитом хрустел, а склерозом,
На известь меняющим иней.

И, землю морозом сковав и опутав,
Хирурги хрустальной посуды
Выкачивать начали кровь из сосудов,
Чтоб стужей наполнить сосуды.

И вынули сердце, как слизистый слепок,
И пулю, засевшую слепо,
И мозг, где орехом извилины слиты,—
Поступков и совести слепок.

3

Я видел Ходынкой черневшую площадь
И угол портала уступом,
И ночь с перекошенным глазом, как лошадь
В толпу напиравшую крупом.

Кобыла под мерзлым седлом оседаю,
Храпела и двигала холкой.

И нежно топорщилась морда седая
Ресницами извести колкой.

И вспышками магия края с балконов
Смертельною известью лица,
В агонии красных огней и вагонов
В лице изменялась столица.

За окнами люстры коробило тифом,
И бредили окна вокзалом,
И траур не крепом лежал, а кардифом
У топок Колонного зала.

4

Дубовые дровни гремели сугробом,
И люди во тьму уходили,
Они по опилкам прошли перед гробом,
Они об одном говорили.

Один: — Я запомнил знамена у ложа
И черную флейту над пультом,
Я видел, как с глиною борется лежа
У гроба измученный скульптор.

Другой: — Как столетье стояла минута
Проверенной совести проба;
Он был неподвижен, во френче, как будто
Диктующий лозунг из гроба.

И третий: — С мешками у глаз, среди зала,—
Седая и руки сухие,—
Жена неподвижно, дежуря, стояла
У тела в ногах, как Россия.

5

Но я не пришел посмотреть и проститься.
(Минута, навеки и мимо!..)
Бывает, что стужею сердце, как птица,
Убито у двери любимой.

И падает сердце, легко умирая,
Стремительно, с лету, навывлет,
В сугроб у десятого дерева с краю
Морозом игольчатой пыли.

Бывает, что слово становится слепо
И сил не хватает годами
Отцовского лба, как высокого sklepa,
Прощаясь, коснуться губами.

Но совесть поступков не забывает
И в каменной памяти пыток,
Поступок становится слепком.

Бывает —
Такой непомерный убыток!

1924

БАЛЛАДА

Шел веку пятый. Мне — восьмой.
Но век перерастал.
И вот моей восьмой весной
Он шире жизни стал.

Он перерос вокзал, да так,
Что даже тот предел,
Где раньше жались шум и шлак,
Однажды поредел.

И за катушками колес,
Поверх вагонных крыш в депо,
Трубу вводивший паровоз
Был назван: «Декапот».

Так машинист его не зря
Назвал, отчаянно вися
С жестяным чайником в руке.
В нем было: копоть, капли, пот,
Шатун в кузнечном кипятке,
В пару вареная заря,
В заре — природа вся.

Но это было только фон,
А в центре фона — он.
Незабываемый вагон
Фуражек и погон.

Вагон хабаровских папах,
Видавших Ляоян,
Где пыльным порохом пропах
Маньчжурский гаолян.

Там ног обрубленных кочан,
Как саранча костляв,
Солдат мучительно качал
На желтых костылях.

Там, изувечен и горбат,
От Чемульпо до наших мест,
Герой раскачивал в набат
Георгиевский крест.

И там, где стыл на полотне
Усопший нос худым хрящом, —
Шинель прикинулась плотней
К убитому плащом.

— Так вот она, война! — И там
Прибавился в ответ
К семи известным мне цветам
Восьмой — *защитный* цвет.

Он был, как сопки, желт и дик,
Дождем и ветром стерт,
Вдоль стен вагонов стертый крик
Косынками сестер.

Но им окрашенный состав
Так трудно продвигался в тыл,
Что даже тормоза сустав,
Как вывихнутый, ныл,

Что даже черный кочегар
Не смел от боли уголь жечь
И корчился, как кочерга,
Засунутая в печь.

А сколько было их, как он,
У топок и кувалд,
Кто лез с масленкой под вагон,
Кто тормоза ковал!

— Так вот она, война! — Не брань,
Не славы детский лавр,
Она — котлы клепавший Брянск
И Сормов, ливший сплав.

Она — наган в упор ко рту,
Срываемый погон,
Предсмертный выстрел — Порт-Артур! —
И стонущий вагон...

Но все ж весна была весной,
И я не все узнал...
Шел веку пятый. Мне — восьмой,
И век перерастал.

1925

ПЯТЫЙ

Нас в детстве качала одна колыбель,
Одна нас лелеяла песня,
Но я никогда не любил голубей,
Мой хитрый и слабый ровесник.

Мечтой не удил из приборя сирен,
А больше бычков на креветку,
И крал не для милой сырую сирень,
Ломая рогатую ветку.

Сирень хороша для рогатки была,
Чтоб, вытянув в струнку резинку,
Нацелившись, выбить звезду из стекла
И с лёту по голубю дзынкнуть.

Что голуби? Аспидных досок глупей.
Ну — пышный трубач или турман!..
С собою в набег не возьмешь голубей
На скалы прибрежные штурмом.

И там, где японский игрушечный флаг
Трепало под взрывы прибоя,
Мальчишки учились атакам во фланг
И тактике пешего боя.

А дома, склонясь над шершавым листом,
Чертили не конус, а крейсер.
Борты «Ретвизана», открытый кингстон
И крен знаменитый «Корейца».

Язык горловой, голубиной поры,
Был в пятом немногим понятен,
Весна в этот год соблазняла дворы
Не сизым пушком голубятен,—

Она, как в малинник, манила меня
К витринам аптекарских лавок,
Кидая пакеты сухого огня
На лаковый, скользкий прилавок.

Она, пиротехники первую треть
Пройдя по рецептам, сначала
Просеивать серу, селитру тереть
И уголь толочь обучала.

И, высыпав темную смесь на ладонь,
Подарок глазам протянула.
Сказала: — Вот это бенгальский огонь! —
И в ярком дыму потонула.

К плите. С порошком. Торопясь. Не дыша.
— Смотрите, смотрите, как ухнет! —
И вверх из кастрюль полетела лапша
В дыму погибающей кухни.

Но веку шел пятый, и он перерос
Террор, угрожающий плитам:
Не в кухню щепотку — он в город понес
Компактный пакет с динамитом.

Я помню: подводы везли на вокзал
Какую-то кладь мимо школы,
И пятый метнулся... (О, эти глаза,
Студенческий этот околыш!)

Спешил террорист, прижимая к бедру
Гранату в газете. Вдруг — пристав...
И ящиков триста посыпалось вдруг
На пристава и на террориста.

А пятый уже грохотал за углом
В рабочем квартале, и эхо
Хлестало ракетами, как помелом,
Из рельсопрокатного цеха.

А пятый, спасаясь от вражьих погонь,
Уже, непомерно огромный,
Вставал, как багровый бенгальский огонь
Из устья разгневанной домны.

И, на ухо сдвинув рабочий картуз,
Пройдя сквозь казачьи разъезды,
Рубил эстакады в оглохшем порту
И жег, задыхаясь, уезды...

1925

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЭТЮДЫ

1

...То за холмом по пояс,
То сев на провода,
Преследовала поезд
Отставшая звезда.

Я изнемог от зноя,
Я подносил к губам
Вино недорогое
С водою пополам.

Земля была незрима,
Окутанная мглой,
И веяло из Рима
Полуночной жарой...

...Ты всем другим местам Неаполь предпочла,
 На столике букет качался опахалом.
 За поездом звезда стремилась, как пчела,
 И на букете отдыхала...

...За Римом на заре, темны и хороши,
 Крутились пихты — сонные разини —
 И циркулировали, как карандаши
 В писчебумажном магазине...

...Двугорбая гора лила стеклянный зной,
 Она над поездом сернистый дым простерла.
 Залива синий нож сверкает кривизной
 И подбирается под горло...

1927

ЭПИГОНУ

Я вышел к воде, отпустив экипаж.
 Вода у сапог в эпигонстве позорном,
 Покорно копируя лунный пейзаж,
 Подробности звезд подбирала по зернам.

А помню, она разорялась на мглу,
 На волны, на пену, на жилы под кожей:
 «Я тоже стихия, я тоже могу
 При случае быть ни на что не похожей!»

Напрасно дожди ломали копыа
 И буря к воде облака пригинала.
 Прошло — и вода лишь плохая копия
 С непревзойденного оригинала.

1929

МАЯКОВСКИЙ

Синей топора, чугуна угрюмой,
Зарубив «ни-ко-гда» на носу и на лбу,
Средних лет человек, в дорогом заграничном костюме,
Вверх лицом утопал, в неестественно мелком гробу.

А до этого за день пришел, вероятно, проститься,
А быть может, и так, посидеть с человеком,
Он пришел в инфлюэнце, забыв почему-то
Палку в угол поставил и шляпу повесил на гвоздь.

Где он был после этого? Кто его знает! Иные
Говорят — отправлял телеграмму, побрился и ногти
Но меня на прощанье облапил, целуя впервые,
Уколол бородой и сказал: «До свиданья, старик».

А теперь, энергично побритый, как будто не в омут,
Он тонул и шептал: «Ты придешь, Ты придешь, Ты
И в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди,
Что — казалось — на дюйм выступали из толстых подошв.

Он точил их — но тщетно! — наждачными верстами
Ниццы,

Он сбивал их булыжной Москвою — но зря!
И, не выдержав пытки, заплакал в районе Мясницкой,
Прислонясь к фонарю, на котором горела заря.

1931

ЦВЕТОК МАГНОЛИИ

Босую ногу он занес
На ветку. — Не сорвись! —
Листва магнолии — поднос,
Цветы на нем — сервиз.

И сверху вниз, смугла, как вор,
Проворная рука
Несет небьющийся фарфор
Громадного цветка.

Его к груди не приколоть.
И мглистых листьев лоск
Мясистую лелеют плоть
И нежат ярый воск.

Зовет на рейд сирены вой.
На темный зов в ответ
Прильнула детской головой
К плечу больная ветвь.

Она дрожит. Она цветет.
Она теряет пульс.
Как в бубен, в сердце дизель бьет
Струей гремучих пуль.

Маяк заводит красный глаз.
Гремит, гремит мотор.
Вдоль моря долго спит Кавказ,
Завернут в бурку гор.

Чужое море бьет волной.
В каюте смертный сон.
Как он душист, цветок больной,
И как печален он!

Тяжелый, смертный вкус во рту,
Каюта — душный гроб.
И смерть последнюю черту
Кладет на синий лоб.

1931

ДЕВУШКА

Степная девушка в берете
Стояла с дынею в руке,
В зеленом плюшевом жакете
И ярко-розовом платке.

Ее глаза блестели косо,
Арбузных семечек черней,
И фиолетовые косы
Свободно падали с плечей.

Пройдя нарочно очень близко,
Я увидал, замедлив шаг,
Лицо, скуластое, как миска,
И бирюзу в больших ушах.

С усмешкой жадной и неверной
Она смотрела на людей,
А тень бензиновой цистерны,
Как время, двигалась по ней.

1942

СОН

Полдневный зной мне сжег лицо.
Куда идти теперь?
Стена. Резная дверь. Кольцо.
Стучи в резную дверь!

За ней узбекский садик. Там
В тени ковер лежит.
Хозяин сам — Гафур Гулям —
С цветком за ухом спит.

Есть у Гафур Гуляма дочь.
По очерку лица
Халида смуглая точь-в-точь
Похожа на отца.

Но только меньше ровный нос,
Нежнее кожи цвет.
И говорят пятнадцать кос,
Что ей пятнадцать лет.

Она в саду цветет, как мак,
И пахнет, как чабрец.
Стучи в резную дверь... но так,
Чтоб не слышал отец.

1942

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ

Пустыня. В штабелях дощатые щиты.
Дымок над глиняной хибаркой.
И вдруг среди этой черствой нищеты
Проплыл залив, как синька, яркий.

Проплыл. Пропал. И снова степь вокруг.
Но сердце этой встрече радо.
Ты понимаешь, милый друг,
Как мало радости нам надо?

1942

СЫРДАРЬЯ

Еще над степью не иссяк
Закат. Все тише ветра взмахи.
Под казанком трещит кизяк.
Вокруг огня сидят казахи.

Угрюмо тлеет свет зари.
Века проходят за веками.
И блещут воды Сырдарья,
Как меч, засыпанный песками.

1942

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

СТАРЫЙ ГОРОД

Над глиняной стеной синеет небо дико.
Густой осенний зной печален, ярок, мглист.
И пыльная вода зеленого арыка,
Как память о тебе, уносит желтый лист.

ГЛИНА

Их будто сделали из глины дети:
Дворцы, дувалы, домики, мечети.
Трудней, чем в тайны помыслов твоих,
Проникнуть в закоулки эти.

ДЫНЯ

Ты не сердись, что не всегда я
С тобою нежен, дорогая:
У дыни сторона одна
Всегда нежнее, чем другая.

СЕРДЦЕ

Раз любишь, так скорей люби.
Раз губишь, так скорей губи.
Но не давай, Халида, сердцу
Бесплодно стариться в груди.

СОЛЬ

Горит солончаками поле,
И в сердце, высохшем от боли,
Как на измученной земле,
Налет сухой и жгучей соли.

1942

МОГИЛА ТАМЕРЛАНА

Картина Верещагина

Бессмертию вождя не верь:
Есть только бронзовая дверь,
Во тьму открытая немного,
И два гвардейца у порога.

ВЕРБЛЮД

Пустыни Азии зияют,
Стоит верблюд змеиномордый.
Его двугорбым называют,
Но я сказал бы: он двугордый.

ЛУНА

Я ночью в переулке узком
Стою, задумавшись над спуском,
И мусульманская луна
Блестит, как ночь на небе русском.

1942

Ташкент

* * *

До свиданья, воздух синий
И пустыни поздний зной.
Лег на шпалы нежный иней,
Лед дробится под ногой.

Кровь с похмелья остывает.
Радость выпита до дна.
И мороз меня встречает,
Как сердитая жена.

1942

ГОРОД БЕЛЫЙ

Здесь русский город был. Среди развалин,
В провалах окон и в пролетах крыш,
Осенний день так ярок, так зеркален,
А над землей стоит такая тишь!

Здесь думал я: ведь это вся Европа
Сюда стащила свой железный лом,
Лишь для того чтоб в зарослях укропа
Он потонул, как в море золотом.

Кто приподнимет тайную завесу?
Кто прочитает правду на камнях?
...И две старушки маленьких из лесу
Несут малину в детских коробках.

1943

Калининский фронт

* * *

Весну печатью ледяной
Скрепили поздние морозы,
Но веет воздух молодой
Лимонным запахом мимозы.

И я по-зимнему бегу,
Дыша на руки без перчаток,
Туда — где блещет на снегу
Весны стеклянный отпечаток.

1943

Сначала сушь и дичь запущенного парка.
Потом дорога вниз и каменная арка.
Совсем Италия. Кривой масляны ствол,
Висящий в пустоте сияющей и яркой,
И море — ровное, как стол.

Я знал, я чувствовал, что поздно или рано
Вернусь на родину и сяду у платана,
На каменной скамье,— непризнанный поэт,—
Вдыхая аромат цветущего бурьяна,
До слез знакомый с детских лет.

Ну, вот и жизнь прошла. Невесело, конечно.
Но в вечность я смотрю спокойно и беспечно.
Замкнулся синий круг. Все повторилось вновь.
Все это было встарь. Все это будет вечно.
Мое бессмертие — любовь.

1944

ДОН-ЖУАН

Пока еще в душе не высох
Родник, питающий любовь,
Он продолжает длинный список
И любит, любит, вновь и вновь.

Их очень много. Их избыток.
Их больше, чем душевных сил,—
Прелестных и полузабытых,
Кого он думал, что любил.

Они его почти не помнят.
И он почти не помнит их.
Но — боже! — сколько темных комнат
И поцелуев неживых!

Какая мука дни и годы
Носить постылый жар в крови
И быть невольником свободы,
Не став невольником любви.

1944

ШТОРМ

Издали наше море казалось таким спокойным,
Нежным, серо-зеленым, ласковым и туманным.

Иней лежал на асфальте широкой приморской аллеи,
На куполе обсерватории и на длинных стручках
катальпы.

И опять знакомой дорогой мы отправились в гости
к морю.
Но оказалось море вовсе не так спокойно.

Шум далекого шторма встретил нас у знакомой арки.
Огромный и музыкальный, он стоял до самого неба.

А небо висело мрачно, почерневшее от норд-оста,
И в лицо нам несло крупую из Дофиновки еле видной.

И в лицо нам дышала буря незабываемым с детства
Йодистым запахом тины, серы и синих мидий.

И море, покрытое пеной, все в угловатых волнах,
Лежало, как взорванный город, покрытый обломками
зданий.

Чудовищные волны, как мины, взрывались на скалах,
И сотни кочующих чаек качались в зеленых провалах.

А издали наше море казалось таким спокойным,
Нежным, серо-зеленым, как твои глаза, дорогая.

Как твои глаза за оградой, за живою оградой парка,
За сухими ресницами черных, плакучих стручков
катальпы.

Ух, как трудно мне дышать, как сухо!
Как болит бессонно голова!

И опять весь день жара и скука.
Иглы с сосен сыплются, звеня.
Разве мог я думать, что разлука
Так иссушит, так сожжет меня?

1944

ОСЕНЬ

Говорят, что лес печальный.
Говорят, что лес прозрачный.
Это верно. Он печальный.
Он прозрачный. Он больной.

Говорят, что сон хрустальный
Осенил поселок дачный.
Это правда. Сон печальный
Осенил поселок дачный
Неземной голубизной.

Говорят, что стало пусто.
Говорят, что стало тихо.
Это верно. Стало пусто.
Стало тихо по ночам.

Ночью белые туманы
Стелют иней на поляны.
Ночью страшно возвращаться
Мимо кладбища домой.

Это правда. Это верно.
Это очень справедливо.
Лучше, кажется, не скажешь
И не выразишь никак.

Потому-то мне и скверно,
И печально, и тоскливо
В теплой даче без хозяйки,
Без друзей и без собак.

1944

ЛИСИЦА

Прошли декабрьские метели.
Белó и весело в лесу.
Вчера смотрел в окно на ели
И увидал в лесу лису.

Она трусила вдоль опушки:
Был вид ее, как в книжке, прост:
Стояли ушки на макушке,
А сзади стлался пышный хвост.

Блеснули маленькие глазки,
Я хорошо заметил их.
Лиса мелькнула, точно в сказке,
И скрылась в тот же самый миг.

Я выскочил во двор раздетым.
Лисицы нет. Туда-сюда...
Сыщи ее. Попробуй. Где там!

...Так и с любовью иногда.

1944

ПОЕЗД

Каждый день, вырываясь из леса,
Как любовник в назначенный час,
Поезд с белой табличкой «Одесса»
Пробегает, шумя, мимо нас.

Пыль за ним подымается душно.
Стонут рельсы, от счастья звеня.
И глядят ему вслед равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

1944

БЕЛЫЕ КОЗЫ

Мне снилось, что белые козы
Ко мне на участок пришли.
Они обглодали березы,
Все съели и молча ушли.
Проснулся — и тихие слезы,
И тихие слезы текли.

В окно посмотрел — удивился:
Как за ночь мой лес поредел,
Пока я так глупо ленился,
Пока над стихами сидел.

Идут из-за леса морозы.
Готовы ли к холоду мы?
Идут, приближаются козы,
Голодные козы зимы.

Ох, чую — придут и обгложут
Все то, что я вырастил тут.
И спать под сугробом уложат,
И тихо на север уйдут.

Я вру! Я не спал. Я трудился,
Всю ночь над стихами сидел.
А лист в это время валился,
А лес в это время седел.

1944

СУГРОБЫ

Ах, какие сугробы
За окном намело!
Стало в комнатах тихо,
И темно, и тепло.

Я люблю этот снежный,
Этот вечный покой,
Темноватый и нежный,
Голубой-голубой.

И стоит над сугробом
Под окном тишина...
Если так же за гробом —
Мне и смерть не страшна.

1944

* * *

Когда я буду умирать,
О жизни сожалеть не буду.
Я просто лягу на кровать
И всем прощу. И все забуду.

1944

ДЯТЛЫ

За стволы трухлявых сосен
Зацепившись вверх ногами,
Разговаривали дятлы
По лесному телеграфу.

— Тук-тук-тук, — один промолвил.
— Тук-тук-тук, — другой ответил.
— Как живете? Как здоровье?
— Ничего себе. Спасибо.

— Что хорошенького слышно
У писателя на даче?
— Сам писатель кончил повесть.
— Вам понравилась? — Не очень.

— Почему же? — Слишком мало
В ней о дятлах говорится.
— Да, ужасно нынче пишут
Пожилые беллетристы.

— А писательские дети?
— Все по-прежнему, конечно:
Павлик мучает котенка
И рисует генералов.

— А Евгения? — Представьте,
С ней несчастье приключилось:
Нахватала в школе двоек
И от горя захворала.

Но теперь уже здорова,
Так что даже очень скоро
Вместе с мамою на дачу
На каникулы приедет.

— Ходят слухи, что на дачу
К ним повадилась лисица.
Интересно, что ей нужно?
— Совершенно непонятно.

— Впрочем, летом на террасе
Жили белые цыплята.
Очень может быть, лисица
И приходит по привычке.

Все ей кажется, что можно
Спасть курочку на ужин.
И вокруг пустой террасы
Ходит жадная лисица.

Красть цыплят она привыкла,
А теперь голодной ходит.
— Да, вы правы. Значит, надо
Избегать дурных привычек.

Как сказал в одной из басен
Знаменитый баснописец:
«Ты все пела, это дело,
Так поди-ка, попляши».

Так под Новый год на даче
На стволах столетних сосен
Разговаривали дятлы
По лесному телеграфу.

— Тук-тук-тук,— один промолвил.
— Тук-тук-тук,— другой ответил.
— Ну, я с вами заболтался,
С Новым годом. До свиданья.

В половине шестого утра
Разбудили меня соловьи:
— Полно спать! Подымайся! Пора!
Ты забыл, что рожден для любви.

Ты забыл, что над зыбкой твоей
Мир казался прекрасным, как рай.
А тебе говорили: «Убей!
Не люби! Ненавидь! Презирай!»

И покуда я спал, не дыша,
Без желаний, без чувств и без слов,
Как слепая блуждала душа
По обугленным улицам снов,

Как слепая шаталась она,
Оступаясь на каждом шагу.
«Я была для любви рождена,
Не хочу убивать, не могу!»

В половине шестого утра
Разбудили меня соловьи:
— Полно спать! Подымайся! Пора!
Ты забыл, что рожден для любви.

Я проснулся и тихо лежал,
На ладони щеку положив.
О, как долго, как страшно я спал
И как странно, что я еще жив.

И как странно, что я не сражен,
Что над миром царят соловьи
И что я не для смерти рожден,
А для счастья, добра и любви.

Я лежал в забытии, в полусне,
А по соснам текли янтари,
И тянулись из леса ко мне
Розоватые пальцы зари.

1945

БЕСПРИДАННИЦА

Когда, печальна и бела,
Она плыла перед кулисой,
Не знаю, кем она была —
Сама собой или Ларисой.

Над старой русской рекой
Она у рампы умирала
И ослабевшею рукой
Нам поцелуи посылала.

Пока разбитая душа
Еще с беспамятством боролась:
«Я всех люблю вас», — чуть дыша,
Нам повторял хрустальный голос.

Как одержимые, в райке
Стонали нищие студенты,
И в остывающей руке
Дрожали палевые ленты.

Не знаю, силою какой
Она таинственной владела.
Она была моей душой,
Впервые покидавшей тело.

Она была моей сестрой,
Она ко мне тянула руки,
Она была Судьбой и Той,
С которой я всю жизнь в разлуке.

1954

РАННИЙ СНЕГ

В снегу блестящем даль бела, —
Нарядная, блестящая, —
Но эта красота была
Совсем не настоящая.

Ты только раз моей была,
Не лгала, не лукавила,
И, словно ранний снег, прошла,
Один туман оставила.

1954

* * *

У нас дороги разные.
Расстаться нам не жаль.
Ты — капелька алмазная,
Я — черная эмаль.

Хорошенькая, складная,
Сердитая со сна,
Прощай, моя прохладная,
Прощай, моя весна.

1954

СПЯЩИЙ

Ему снилась яхта. Она стояла с убранными парусами, потемневшими от предрассветной росы, возле причала яхт-клуба. Ее стройная мачта покачивалась, как метроном.

Спящий видел всю нашу компанию, которая гуськом, один за другим, балансируя пробиралась по ненадежной дощечке на сырую палубу.

В предрассветной темноте кое-где еще горели портовые фонари и виднелись топовые огни на мачтах пароходов.

Все это виделось так отчетливо, материально, что сон был мучителен. Спящий понимал, что он спит, но у него не хватало сил прервать сон и заставить себя проснуться — выплыть из неизмеримой глубины сновидения. Он сделал отчаянное усилие, чтобы разорвать сон, и ему даже показалось, что он проснулся. Но это был всего лишь сон во сне. Он видел себя на обочине знакомого ему тротуара возле привокзальной площади, заполненной австрийскими солдатами, только что высадившимися из воинского эшелона.

Город был сдан без боя, по какому-то мирному договору или перемирию.

Жители города с любопытством смотрели на своих завоевателей в серо-зеленых мундирах и стальных касках. Тут же на привокзальной площади дымили походные кухни. Возле них повара в белых колпаках не спеша орудовали черпаками.

Больше всего горожан увлекало зрелище приготовления иностранными солдатами похлебки из фасоли с маргарином и тушеной свининой. Завоеватели совершенно не

обращали внимания на горожан, разглядывавших иностранных солдат с любопытством, как редких животных.

Картина, в общем, была вполне мирная.

Скоро завоеватели пообедали, построились в колонны и были куда-то уведены с площади, а горожане рассеялись, и площадь опустела.

Так началась новая, странная жизнь в городе.

Опустевшая привокзальная площадь каким-то образом превратилась в игорный дом, куда вдруг ворвался налетчик с наганом в руке. Это был Ленька Грек. В его полудетском лице с короткими черными бровями, в его средиземноморской улыбке было, несомненно, нечто греческое. В порту его называли «грек Пиндос на паре колес».

Короткие кривоватые ноги в задрипанных брюках, кепка блином, неопределенного цвета куртка, застиранная тельняшка.

Его театральное появление в дверях с красными плюшевыми портьерами, обшитыми золотым позументом с кистями, придававшими залу оттенок если не кабаре, то, во всяком случае, публичного дома средней руки, вызвало оцепенение. Ленька Грек почему-то считал, что большинство игроков иностранцы, главным образом французы. Поэтому он заранее приготовил французскую фразу, которой его научил на яхте некто Манфред, образованный молодой человек. Фраза эта должна была представлять нечто вроде русского «соблюдайте спокойствие». Эта фраза, произнесенная Ленькой Греком якобы по-французски, но с ужасающим черноморским акцентом, ошеломила не только всех присутствующих, но даже и самого налетчика, пораженного собственной наглостью, когда он с усилием выдал из себя хриплым голосом: «Суаэ транкиль!» Сначала все окаменели. Но потом что-то произошло непредвиденное. Один из игроков рассмеялся, и налет не получился.

Не успел Ленька Грек подойти к зеленому столу и хапнуть кучку золотых десятков царской чеканки, как кто-то неожиданно вырвал у него из рук наган и дал ему крепко по шее.

Это было естественно: все поняли, что налетчик одиночка, работает без товарищей и справиться с ним нетрудно.

— Что же вы деретесь! — плаксиво, с обидой в голосе проныл Ленька Грек и, вырвавшись из чьих-то рук в твердых крахмальных манжетах с золотыми запонками, кинулся вперед, опрокинул стол и, отбиваясь руками и ногами, бросился вон из зала. И как раз вовремя: уже слышались свистки Державной Варты.

Сильно потрепанный, он выскочил на улицу, юркнул в переулок, добрался через несколько проходных дворов до городского сквера, пустынного в этот ночной час, и, как ящерица, скрылся в щели между стеной оперного театра и кафе-кондитерской, известной своими меренгами со взбитыми сливками и пуншем глясе с настоящим ямайским ромом «Голова негра».

Тем временем в помещении игорного дома два лакея в ливреях, взятых напрокат в костюмерной театра оперетты, ползали по ковру, подбирая золотые десятки и заграничную валюту, а также бумажные карбованцы с красивым парубком, подстриженным под горшок.

И вдруг все это пришло в порядок и накрылось длинной морской волной с косо летящим надутым парусом яхты, на палубе которой разместилась вся молодая компания, в том числе, как это ни странно, Ленька Грек: его частенько прихватывали в качестве матроса.

Яхта круто огибала маяк, имевший форму удлиненного колокола, где на кронштейне висел уже настоящий небольшой сигнальный колокол. Сверху вниз по белому туловищу маяка тянулся ряд иллюминаторов, так что маяк снился в виде господина в однобортном пальто, застегнутом на все пуговицы. Чайки летали вокруг его хрустальной шляпы.

Чем дальше от берега, тем море становилось малахитовее, более, так сказать, «айвазовское».

Боже мой, какое это было блаженство!

«Нелюдимо наше море,— звучал сильный голос Манфреда, перекрывая посвистывающий в вантах ветерок, особенно заметный в минуты крена, когда мачта склонялась и длинный бушприт с треугольником вздувшегося кливера возносился над гребнями волн, с которых ветер срывал пену, бросая брызги в лицо певца, продолжающего свой поединок с бризом,— день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено!»

Спящий знал, что в роковом просторе погребено не только много бед, но также и тайн. Кроме того, море не

было нелюдимо. В открытом море виднелись два удаляющихся пассажирских парохода: один, дымивший на горизонте, а другой только что вышедший за пенную полосу брекватера.

Пароходы увозили кого-то подобру-поздорову из обреченного города.

Значит, море было уж не столь нелюдимым, если считать, что, кроме яхты, еще дальше, за горизонтом, угадывалась тень французского броненосца «Эрнест Ренан», а может быть, и английского дредноута «Каррадог».

Кроме того, море не шумело день и ночь. Иногда оно отдыхало. Тогда его простор не казался роковым. Но все равно спящего тревожило, что где-то в глубине «много бед погребено». Много бед и много тайн.

Солнечные лучи уходили в пучину, озаряя постепенно убывающим светом бутылочно-зеленую воду и киль яхты, от которого шарахались стайки рыбешек.

Подводное течение медленно несло оторванный куст водорослей, еще более темно-зеленых, чем вода. Шарообразный куст водорослей.

Беды и тайны угадывались в темной глубине моря, куда почти не проникал солнечный свет. Там во мраке мерцала гранитная мостовая привокзальной площади, давно уже опустевшей, после того как по ней прошагали сапоги победителей, прокатились колеса походных кухонь и рассеялся табачный дым фарфоровых курительных трубок с черешневыми чубуками и кисточками.

Мы никогда не узнаем, кто был тот молодой человек с темным лицом, который снился спящему под именем Манфреда. Может, он был демобилизованный мичман гвардейского экипажа, бежавший от матросов из Кронштадта в штатском платье и каким-то образом оказавшийся на юге, в городе трех маяков, в компании на яхте.

Он всегда появлялся неожиданно и так же неожиданно исчезал. Где он жил — неизвестно. Вероятно, в каком-нибудь общежитии бывших офицеров.

Он не носил галстука. В повороте его головы, в белой аристократической шее девушки находили нечто байроническое.

Девушек было несколько, все в цветных шелковых платочках, завязанных на голове. Среди них снились две сестры и одна их подруга, случайно попавшая в компанию.

Впрочем, в компанию все попали случайно. Она все время сидела в маленькой каюте на узком кожаном диванчике и делала себе маникюр: натирала ногти розовым камнем, а потом до зеркального блеска шлифовала замшевой подушечкой. При этом она говорила, что если яхта потерпит аварию и все они утонут, то по ее ногтям люди узнают, что перед ними труп элегантной утопленницы из хорошего общества.

Добрый малый Вася, сидевший за рулем, повернул яхту еще круче в открытое море, и на дальнем берегу открылся второй маяк, старый, уже не работающий,— остатки каменной башни. А через некоторое время показался третий маяк, новый, белоснежный, металлический, как бы в рыцарском шлеме с опущенным забралом, состоящим из хрустальных рубчатых линз, откуда по ночам в былые времена вырывались два резких луча электрического гелиотропового света — один строго-строго горизонтальный, а другой строго вертикальный, упирающийся в звездное небо мирного времени.

Гик грота перешел справа налево под ветер, и парус надулся еще круче. Маленький ялик, так называемый тузик, привязанный за кормой, запрыгал по волнам, как ореховая скорлупа.

Вася был сыном миллионера — бывшего, а Впрочем, кто его знает, может быть, и будущего. Незадолго до войны он выписал из Англии, из Гринвича, небольшую яхту и подарил ее сыну. Теперь эта яхта, в сущности, была единственное, что осталось от прежних миллионов. Так что Васина невеста Нелли, старшая из двух сестер, дочерей бывшего прокурора палаты по гражданским делам, осталась ни при чем, хотя и продолжала надеяться на лучшие времена и возвращение Васиных миллионов.

Что касается самого прокурора, то он почти что остался не у дел. Все жители города трех маяков остались не у дел.

В городе царило божественное безделье, как говорилось по-итальянски, «дольче фар ниенте».

А как жили?

Жили прекрасно, продавая фамильные драгоценности и домашние вещи, которые охотно обменивались пригород-

ными крестьянами на муку, масло и свиное сало. Каждое утро пригородные крестьяне приезжали на привоз, а иногда попросту заворачивали со своими подводами и бричками во дворы, где шла меновая торговля. Драгоценности же — изделия Фаберже, бриллианты, сапфиры, высокопробное золото — по дешевке скупались таинственными ювелирами. Несметные богатства время от времени переправлялись за границу.

О том, что случится завтра, никто не думал. Мечтали, что так будет продолжаться вечно. Конечно, это было приятное заблуждение. Приятному заблуждению поддался даже сам прокурор, которому, в сущности, нечего было делать: некого судить. И он по целым дням шлепал в своем домашнем плафроке и в разношенных туфлях по квартире из комнаты в комнату.

...Густые поседевшие усы, столь же традиционно густые прокурорские брови, истощенное бездельем лицо оливкового цвета и на носу пенсне, верой и правдой служившее ему при рассмотрении судебных дел. Теперь оно служило ему при рассматривании через биоскоп двойных картинок швейцарских видов с Шильонским замком и двойными парусами над Женевским озером. Через это же пенсне прокурор любил рассматривать журнал «Нива» за 1897 год с портретами адмиралов, генералов, сенаторов и архиереев...

Что же касается прокурорши, то она была милая, совсем седая, серебряная, маленькая, худенькая старушка, соблюдавшая в доме дореволюционный порядок: завтрак, обед, пятнадцаточасовой чай, фэйф-о-клок, и вечером горячий ужин с рублеными котлетами.

Кухарка и горничная давно уже сгинули, увлеченные матросами с посыльного судна «Алмаз», так что прокурорше приходилось все делать самой, в том числе ходить на базар менять вещи на продукты питания. Вещей для обмена оставалось все меньше, хотя еще вполне достаточно. С этим дело обстояло благополучно, если не считать огорчений, причиняемых ей непониманием приезжими крестьянами истинной ценности обмениваемых предметов.

Крестьяне, а особенно крестьянки, сидя на возу и прикрывая юбками привезенные продукты, рассматривали какую-нибудь воздушную батистовую шемизетку времен конца девятнадцатого века и совершенно не обращали внимание ни на фасон, ни на отделку, а только придиричи-

во рассматривали ткань на свет, считая, что чем плотнее материал, тем лучше, причем с пренебрежением говорили: «Це редёнко!»

Но что было с них взять! Простота! Народ!

Лучше всего шли простыни, а их накопилось за всю жизнь — уйма, так что на ужин всегда подавались котлеты.

Спящий особенно отчетливо видел проплывающее блюдо горячих котлет, посыпанных укропом — таким кружевным, таким зеленым, какой может присниться только в цветном сне.

Вечерние котлеты особенно привлекали молодую компанию после длительной морской прогулки на яхте. Впрочем, не только котлеты и крепко заваренный, почти красный чай с сахаром. Красавица Нелли и ее младшая сестра Маша могли поспорить с котлетами.

Нелли пела романсы, а Маша аккомпанировала ей. Царили Рахманинов, Гречанинов и этот, как его? — снова забываю его фамилию. Да. Черепнин.

«Я б тебя поцеловала, да, боюсь, увидит месяц... В небе звездочка скатилась...»

Или нечто подобное.

Оно и сейчас звучало во сне.

У Нелли было сильное, хотя еще неотработанное, домашнее, меццо-сопрано. Ее прелестный голос как бы ударялся в поднятую черную лакированную крышку еще не проданного рояля, наполняя комнату чудными звуками, которые улетали через открытые окна сначала в небольшой внутренний дворик, потом на улицу, на перекресток, на бульвар и затихали где-то на загородном шоссе, там, где стояла давно уже неподвижная зеленая паровая трамбовка с трубой, как у паровоза, и асфальтово-серым передним трамбовочным колесом.

А голос все звучал, звучал: «...в саду малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы...»

Спящий плакал во сне от счастья и видел загородное шоссе с зеленой трамбовкой, кучками щебенки и двух девушек — красавицу Нелли и ее сестру Машу, которые

шли на теннисную площадку, держа в руках ракетки. Они были одинаково одеты в летние спортивные костюмы — эпонжевые жакетки и английские юбки, тоже эпонжевые, шершаво-белые. Старшая — красавица с блестящими черными волосами, гладко причесанными на прямой ряд, с испанским черепаховым гребешком на затылке, придававшим ей нечто царственное, с удлинненным лицом, как говорится, цвета слоновой кости и с бровями, не вызывавшими сомнения, что она родная дочь прокурора. А младшая, считавшаяся дурнушкой, небольшая, еще не вполне выросшая, почти девочка, вся выдалась в прокуроршу: те же ласковые телячьи глаза, легкие белокурые волосы, доброта, разлившаяся по всему ее нежному лицу, с родинкой на шее пониже уха, вся светящаяся молочной белизной, с ресницами, бросавшими тень на крылья некрасивого, но ужасно симпатичного носика, и незаконченность во всех движениях.

Старшая шла уверенно, слегка поигрывая ракеткой с маркой «Дэвис», стеклянно блестящей на солнце, а на полшага сзади нее шел ее жених, владелец яхты Вася, коренастый, только что успевший окончить гимназию, еще в гимназической куртке, хотя и без пояса, и было что-то исконно русское, даже, может быть, крестьянское, если не купеческое, в его походке, в его русых волосах, аккуратно постриженных. Из таких пареньков некогда рождались русские миллионеры. Он боготворил свою невесту и назвал ее именем яхту: «Нелли».

Как счастливый невольник, он нес за своей госпожой сеточку с шершавыми теннисными мячами.

И в это же время откуда ни возьмись появился еще один юноша, с загорелым цыганским лицом и жесткими темными волосами, — Васин товарищ по гимназии. Это был я.

Мимо меня как-то незаметно прошла красота старшей, но с первого взгляда до самого сердца дошла прелесть младшей. Я еще не понял, что уже влюблен, но мне уже хотелось идти рядом с младшей, болтать всякий вздор и читать стихи Фета.

Спящий видел на шоссе две парочки, идущие к теннисным кортам.

Но когда все это было? Весной? Летом? Осенью? Во всяком случае, не зимой.

Во сне все времена года происходили одновременно.

Чудо совместимости.

Кажется, было грифельно-темное, почти черное небо, обещавшее майскую грозу, томительно назревавшую, как первая любовь. На фоне грозового неба отчетливо рисовались крупные почки конских каштанов, как бы вымазанные столярным клеем, готовые вот-вот лопнуть,— ...вот они уже лопнули — и выпустили на волю еще бессильно повисшие, как тряпки, новорожденные пятипалые волосатые листья с крошечными восковыми елочками еще не родившихся соцветий.

Каштаны уже распустились и даже бросали тень.

В то же время светилось акварельное осеннее небо с треугольником журавлей над кострами листопада, а ночью серебрилось звездное небо, отраженное в заливе, и, как это ни странно, степная вечерняя заря угасала над белокаменной стеной монастыря и над полуразрушенной башней старого маяка, а в монастыре звонили к вечерне — ...вечерний звон, вечерний звон...— и над обрывом в монастырском саду буйно цвела майская сирень, которую мы ломали, а потом с громадными темно-лилово-сине-голубыми букетами возвращались на трамвае в город, с тем чтобы, едва дождавшись рассвета, отправиться по улицам еще по-ночному безлюдного города в порт, где возле причала покачивалась яхта. А вечером опять в столовую вошла из кухни прокурорша с блюдом, и вся компания навалилась на котлеты.

Компания представлялась спящему чем-то единым, плохо разборчивым, кроме нескольких знакомых лиц. Остальные были просто каким-то сборищем случайно сблизившихся молодых людей, которые даже не вполне хорошо знали друг друга.

Иные из них возникали неожиданно и были безличны. Иные вовсе не появлялись, а потом опять вдруг начинали один за другим появляться, и все это было в духе того странного времени беспечности и свободы.

После котлет красавица Нелли снова пела. У нее были холодные глаза. А Вася стоял рядом с раскрытым роялем и с обожанием смотрел на свою нареченную.

Потом младшая сестра вышла из душевой комнаты на балкон и положила на железные перила руки, уставшие от клавишей. За нею как намагниченный вышел на балкон и я. Маша и я стояли рядом как бы висящие над колодцем

двора, положив руки на перила, и молча смотрели на зеленое вечернее небо, уже почти ночное, с первыми звездами над черепичными крышами.

Преодолевая несвойственную робость, я очень медленно, почти незаметно придвинул по железным перилам свою руку к Машинной руке. Я думал, что она отодвинет свою руку, но она не отодвинула. Ее мизинчик вздрогнул, но не отодвинулся. Может быть, даже еще ближе придвинулся. Тогда я как бы случайно, бессознательно положил свою ладонь на Машину руку, прижатую к перилам. Маша стояла неподвижно, как будто бы ничего не произошло особенного, но я чувствовал, что сердце ее бьется, а рука, покрытая моей ладонью, притаилась и замерла, как небольшая птица, например голубь, и так продолжалось довольно долго в полуобморочном безмолвии сновидения. Это могло бы продолжаться вечно, если бы не настала пора расстаться: не стоять же всю ночь на балконе в чужом доме.

На другой день, все еще не говоря друг другу ни слова о любви, мы вдвоем сидели в ее комнатке, где на письменном столике были аккуратно разложены прошлогодние гимназические учебники и откуда-то вдруг появились два небольших зеркала, поставленные друг против друга, а между ними горела стеариновая свеча.

Что это было? Физический опыт или сон во сне?

Меж двух зеркал острей кинжала язык свечи. Сбегают струйками в зеркала ее лучи. Глаза зеркал глядят друг в друга, как два лица. Одна свеча над бездной млечной белым-бела. И, озаренной, бесконечной, ей нет числа.

Очарованные, мы заглядывали в этот зеркальный, бесконечно уходящий в вечность зеркальный коридор взаимных отражений.

Спящий пребывал в перспективе этого бесконечного зеркального коридора, и сон его стал еще более глубок, чем прежде, но ненадолго.

В природе что-то изменилось. Может быть, прошла ночная гроза, которую он не услышал.

Малахитовые волны почернели. Пена на них стала еще

белее. Тень Манфреда упала на далекое побережье, где назревал шквал.

Яхта уже ушла далеко в открытое море, и Вася переложил руль вправо, желая поскорее, пока не поздно, изменить галс. Это был поворот оверштаг. Грот и кливер на некоторое время перестали ловить ветер, затрепетали и безжизненно повисли, но почти в тот же миг гик грота медленно и тяжело перешел справа налево, едва не ударив по голове Леньку Грека, крепившего шкот вырывавшегося из рук кливера. Паруса уже ловили ветер, как бы подувший с другой стороны.

Яхта уходила от шквала, который уже покрывал море черной дробью своих порывов. Черная дробь шквала догоняла яхту, ставшую глубоко нырять в рассерженных волнах. Ореховая скорлупка маленького тузика как бешеная запрыгала за кормой, стараясь сорваться с привязи.

«Облака бегут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней», — пел Манфред своим сильным голосом, стараясь перекрычать шум шквала.

Конечно, он не был Манфредом. Это было всего лишь его прозвище. Как было его настоящее имя, никто не знал. И это беспокоило спящего.

Манфред стоял во весь рост, расставив ноги на качающейся палубе, и не спускал слишком светлых влюбленных глаз с Нелли. Она сидела на палубе возле спуска в каюту, обхватив колени руками и положив на них подбородок.

Между Нелли и Манфредом что-то происходило. Какой-то молчаливый спор, в котором Нелли уже готова была сдаться.

Шквалистый ветер порывами клал яхту на бок. Если бы не ее киль со свинцовой сигарой на конце, служившей противовесом всему волшебному инструменту яхты, то яхта, конечно, легла бы плашмя всеми своими парусами на волны — как бабочка, неосторожно попавшая в бассейн.

Яхта звенела под ветром, как мандолина.

Небо стало совсем черное. Всех охватил страх. Девушки вскрикивали, как чайки. Чайки носились над яхтой — белые на черном фоне. Кто-то кинулся в каюту. Кто-то лег

плашмя на палубу, схватившись руками за медные утки с намотанными концами шкотов. Кто-то прижался к мачте.

Я обнял Машу за плечи, и ее яркий шелковый платок вдруг развязался и улетел в море, обнажив растрепавшиеся льняные легкие волосы. На ее щеках блестели, как слезы, капли морской воды, даже на вид горько-соленые.

Яркий платок еще некоторое время летал над волнами, как бы желая унести за черный горизонт, пока не скрылся из глаз, поглощенный грозовой тучей.

Только Манфред и Нелли оставались спокойными, неподвижными, и в их неподвижности было нечто зловещее. Они были как Демон и Тамара. Если бы кто-нибудь обратил на них внимание, то понял бы, что в этот миг решается их судьба.

Добрый милый Вася всем своим крепким телом налег на румпель, изо всех сил заставляя яхту повернуть к берегу, до которого было не так-то близко.

Дельфины, спутники шторма, сопровождали яхту. Их черные горбатые спины то и дело показывались из волн и снова погружались в недра разгневанного моря. Спинные треугольные плавники выскакивали из пены и снова исчезали, не успев поймать отражения далеких молний.

Казалось, неминуемая гибель грозит яхте.

Но Вася, одной рукой навалившись на румпель, а другой изо всех сил сдерживая вырывающийся шкот грота, с лицом, покрытым потом и морскими брызгами, все-таки сумел довести яхту до берега и поставить ее в дрейф в маленькой бухточке, где царило затишье.

Ленька Грек швырнул якорь в воду. Яхта остановилась, кружа возле якорной цепи, вертикально ушедшей в глубину.

Вася вместе с Ленькой Греком, оба мокрые с головы до ног, убрали грот и кливер, после чего стали перевозить на тузике, на веслах, всю компанию — по двое, по трое зараз — к прибрежным скалам, обросшим тиной и мидиями.

За грядой скал открылась прелестная картина: берег и камышовый рыбачий курень, утонувший в зарослях диких трав, пряный запах которых доносился до белой полосы прибоя... и сети, развешанные для сушки на скрещенных веслах, врытых в глину.

Рыбацкая шаланда, вытащенная на берег, лежала вверх плоским просмоленным днищем, на котором сидели рыбаки, наблюдая за тузиком, перевозившим нашу компанию с яхты на берег.

Под высоким рыжим глинистым обрывом со светлыми дождевыми потеками царила божественная тишина.

Пахло дикими травами.

Босоногие рыбаки с засученными штанами оказались людьми гостеприимными, и вскоре затрещал костер, сложенный из щепок и камыша, выброшенных прибоем и высушенных на солнце.

В чайнике закипела вода, в которую тут же была брошена заварка: горсть трав и диких цветов, собранных еще в мае. Запах мяты и еще чего-то ромашкового распространился в воздухе, смешиваясь с йодистым запахом водорослей.

Прекрасная заварка, ничем не хуже, а может быть, даже лучше, во всяком случае полезнее китайского чая фирмы «Высоцкий и К°».

Сушившаяся возле костра компания с наслаждением пила лекарственный напиток, обжигая губы и пальцы о жестяные кружки, сделанные из консервных банок. Сахара, конечно, не было. Но это и не требовалось. Чай, настоящий на диких травах, обладал свойством возбуждать воображение: небольшой кусочек прибрежной земли, с одной стороны отгороженный от остального мира высоким обрывом, а с другой — утихающим шквалом, представлялся чем-то подобным блаженной стране, где «не темнеют небосводы, не проходит тишина».

Камышовый курень, костер, запах душистого чая, дымок махорки, которую покуривали рыбаки, добрые друзья — чего еще надо человеку для счастья?

Райское местечко, что-то вроде модели того странного мира, в котором мы жили, отгороженные от всего остального, бушующего где-то вокруг мирового пожара. Чудо тайфуна или циклона, в центре которого образуется труба неподвижного воздуха, ласкового солнца, ясного неба, любви, дружбы, безделья, полной свободы. А рядом взволнованное море, из которого выскакивают дельфины с человеческими глазами, а над ними носятся буревестники и чайки, и в темных глубинах моря извиваются осьминоги тоже

с человеческими глазами, проплывают тени субмарин, и у скал, как гейзеры, взрываются сорванные с якорей мины — остатки минувшей войны.

Но все это как бы не имело отношения к тишайшему миру, в котором не жили, а всего лишь временно существовали жители нашего города трех маяков, его окрестные деревни и хутора.

Вскоре мы простились с гостеприимными рыбаками, и наша яхта отправилась в обратный путь. Волны улеглись, пошла гладкая мертвая зыбь. Вечерний бриз мягко надувал грот и кливер. Все опасности остались позади. Дельфины уже не сопровождали нас. Можно было подумать, что больше ничего опасного не происходит.

Но спящий испытывал тревогу, как будто бы в глубине сна проник в какую-то чужую опасную тайну, грозящую неизбежной бедой.

Так оно и было.

Он бессознательно проник в тайну Манфреда и Нелли, в их душевную связь, в их молчаливый диалог, который начался уже давно.

Невозможно было предсказать, когда уйдет циклон. И нужно ли было, чтобы он ушел?

Трудно было себе представить иную жизнь. Впрочем, никто не думал о будущем. Один лишь Манфред со своими плотно сжатыми губами страстно мечтал о чем-то другом, о какой-то воистину блаженной стране, куда «выносят волны только сильного душой». Он считал себя сильным душой. Он давно уже тайно звал Нелли в ту страну, куда он ее повезет и где они оба будут богаты и счастливы. Он был уверен, что за морем есть «та, другая», блаженная страна, куда время от времени уходят из города трех маяков пароходы, увозя богачей, спасающихся от надвигающейся с севера бури. Они увозят туда свои сокровища, свои жизни, свои мечты.

Манфред был сам из семейства богачей — наследником громадного имения в Смоленской губернии, столбовой дворянин, офицер флота, а может быть, и всего лишь гардема-

рин гвардейского экипажа. Но все это осталось позади, в невозвратимом прошлом. Все надо было начинать сначала.

Он стоял, скрестивши на груди руки, прислонясь к мачте, верхушка которой скользила по розовым вечерним облакам, как бы написанным итальянским пейзажистом. Можно было представить себе Манфреда не в потертом штатском костюме, а в морской форме, с кортиком, выглядывающим из-под мундира с золотыми погонами.

Таким его представляла себе Нелли.

Манфред влюбился в нее с первого взгляда, но был осторожен. Она поняла это сразу и вдруг посмотрела на своего жениха Васю совсем другими глазами. Когда она успела договориться с Манфредом? Никто этого не знал, даже не подозревал. Женщины это хорошо умеют делать.

Он обещал ей райскую жизнь в Италии. Уроки пения. Ей поставят голос. Дебют в театре Ла Скала. Мировая слава. Любовь до гроба. Богатство. Счастье. Но для начала всего этого нужны были большие деньги. Он поклялся их достать любой ценой. Он говорил, что это не так уж и трудно в городе, где промышляют скупщики бриллиантов. Нужно только договориться кое с кем и сделать кое-что.

Яхта приближалась к портовому маяку. Солнце зашло, кануло в розовую пыль новороссийской степи, скрылось за скифскими курганами. Закатный свет мерк. Звездная ночь поднималась с востока. Красный глаз маяка вращался впереди. Он то гас, то вспыхивал через ровные промежутки времени. Когда он вспыхивал, у подножия его в гладких складках мертвой зыби извивалась светящаяся красная змея — отражение рубинового глаза господина Маяка.

Яхта вошла в порт. Путешествие закончилось. Паруса были убраны. Голая мачта покачивалась у причала, едва ли не задевая верхушкой дубль-вэ Кассиопеи.

Однако на этот раз Ленька Грек и Манфред не присоединились к компании, весело идущей есть котлеты и пить крепкий чай с сахаром. Не выходя из порта, их тени растворились в вечерней темноте, в неверном свете портовых фонарей. А потом к ним присоединился еще кто-то, третья тень. И они исчезли. Но на это никто не обратил

внимания. Каждый поступал по своему желанию, не давал отчета в своих поступках: полная свобода!

Впрочем, может быть, эта мнимая свобода была только плодом воображения, неспособного видеть истину.

Воображение казалось могущественнее действительности. А может быть, действительность подчинялась воображению спящего, который в эти глубокие ночные часы был в одно и то же время самим собой, и всеми нами, и яхтой, и мигающим маяком, и созвездием Кассиопей, и мною.

Я лежал в полосатых купальных штанишках на горячей гальке так называемого австрийского пляжа. Рядом со мной лежала Маша. Между нами все было сказано. Слова уже не имели значения.

Девушка-подросток в мокром купальнике, высыхающем на жгучем полуденном солнце, лежала на махровой простыне лицом вверх, с полузакрытыми глазами, с полуулыбкой на мягких губах, отдаваясь лучам солнца. На ее голых ногах с короткими пальчиками высыхал крупный морской песок, похожий на перловую крупу. Мы лежали несколько поодаль друг от друга, на расстоянии наших протянутых рук, едва касавшихся друг друга. Эти легкие, неощутимые касания как бы вливали в нас тепло молодой крови. Это уже была телесная близость, заставлявшая нас замирать от смущения.

Я искоса смотрел на ее почти прозрачные, просвеченные солнцем малиновые уши под белокурыми прядями волос, выбивавшихся из-под купального чепчика. На ее сливочно-белой, не поддающейся загару руке блестел небольшой золотой браслетик в виде цепочки — последняя оставшаяся у нее драгоценность. Она сняла его с запястья и положила в мою протянутую руку, как бы отдавая мне всю себя.

Я подбросил золотой комочек на ладони и вернул его в ее протянутую руку, как бы в свою очередь отдавая ей всего себя.

Она опять бросила мне браслетик, и я снова подбросил его на ладони и снова вернул ей.

Это было похоже на какую-то детскую игру.

Золотой комочек передавал от нее ко мне и от меня к ней жар молчаливой, целомудренной, но жгучей любви.

Мы улыбались друг другу.

А вокруг кипела пляжная жизнь. Неторопливо колысались мутноватые прибрежные волны, лениво ложась на кромку пляжа, где высыхала на солнце каемка тины, выброшенной прибоем. Море было чем дальше к горизонту, тем синее, но возле берега вода была мутной от взбаламученной глины, похожей на суп, заправленный сметаной. На волнах покачивались плоскодонные шаланды, выкрашенные в разные цвета. Они проезжали туда и обратно вдоль берега, где пестрели купальные чепчики, полотенца, бутылки с водой, зарытые в песок. Голые мальчишки из предместий, с животами, крепко перевязанными тряпками, с разбегу бросались в воду. Женщины, надув рубахи пузырярем, плавали по-собачьи, болтая руками и ногами. Раздавался булькающий смех и восклицания, звучащие в нагретом воздухе особенно резко, почти как хищные крики чаек.

Кто-то пришел купаться, неся с собой два надутых бычьих пузыря, скрепленных веревочкой.

Мутные, полупрозрачные пузыри замечали дорогостоящие пробковые спасательные пояса. На таких пузырях обычно плавали старухи и маленькие дети, выплевывая изо рта соленую воду.

Кто-то ухватился загоревшими руками за корму проплывавшей шаланды, где стоя греб веслами голый по пояс весельчак с волосатой грудью. Его голова была обвязана цветной тряпкой, как у пирата.

Голые маленькие дети ползали по мокрому песку вдоль кромки прибоя, строя города и проводя каналы, где суетились в воде крошечные морские блошки.

Несколько австрийских солдат пришли на пляж купаться. Они сбросили на гальку свои серо-зеленые мундиры, пропотевшие под мышками, и добротные короткие сапоги с двумя толстыми швами на голенищах. Они аккуратно уложили сверх своей снятой одежды брезентовые пояса с цинковыми пряжками.

Они держали себя скромно и довольно вежливо для победителей, не затрагивали купальщиц и, осторожно вступив по пояс в воду, мылили подмышки казенным мылом. Они тоже находились в состоянии блаженства, не предчувствуя, что через некоторое время их райская жизнь победителей кончится и они принуждены будут сломя го-

лову вместе с немецкими солдатами бежать из завоеванной стороны, где им так прекрасно жилось под властью какого-то странного украинского гетмана, посаженного на престол немецким генеральным штабом, разогнанным революцией.

Спящий видел их бегство по степи под холодным осенним дождем. Они бежали, бросая по дороге зарядные ящики, пушки и походные кухни, и штурмовали на станциях поезда, уходившие на запад, «нах фатерланд».

Тень чайки пронеслась по пляжу.

— Что же все-таки в конце концов с нами будет? — сказала она, не размыкая век, опущенных светлыми ресницами, за которыми угадывалась млечная телячья голубизна.

— А ничего не будет,— с бесшабашной улыбкой сказал я.

— Почему?

— Потому что мы нищие духом. Мы блаженные.

— Да, мы блаженные,— сказала она, вздохнув.

— Мы только кому-то снимся,— сказал я.

— Да, мы только снимся,— сказала она.

— На самом деле нас нет,— сказал я.

— На самом деле...— сказала она.

Мы лежали под жгучими лучами солнца, слушая крики купальщиков, и визги купальщиц, и шлепанье по воде весел, и басовые гудки пароходов, увозящих кого-то куда-то вместе с их сокровищами, тех, для кого не существовало ни родины, ни прошлого, ни будущего, а только настоящее, длительное, как бесконечное сновидение.

А в то самое время, когда по пляжу пролетали тени чаек и австрийцы мылили себе головы казенным мылом, напуская вокруг себя в воду серую пену, в то самое время, а может быть, позже или раньше в центре знакомого и незнакомого города происходило нечто ужасное, отчего спящий тяжело стонал, обливаясь потом, и сердце его сжималось и трепетало.

...Три человека стояли на площадке маленькой мраморной лестницы, ведущей с тротуара к дверям углового входа в магазин резиновой мануфактуры, над которым висела

большая рекламная калоша с красным фирменным клеймом. Все трое были прижаты толпой к тяжелой входной двери магазина, но не могли в нее бежать, так как она была крепко заперта изнутри на замок. Им не повезло. Случайно запертая дверь их погубила. Если бы дверь не была заперта, они еще могли бы спастись: пройти через магазин и через заднюю дверь выбежать во двор, а оттуда как-нибудь скрыться от толпы через вторые ворота, выходящие в переулок. Но дверь, к которой они были прижаты, была намертво заперта. Может быть, это был обеденный перерыв.

Им некуда было деваться.

Все трое были окружены густой черной толпой, которая с каждой минутой все увеличивалась и уже вселяла ужас.

— Что такое? Что случилось? — спрашивали прохожие, присоединяясь к толпе возле углового дома резиновой мануфактуры на перекрестке двух знакомых и незнакомых улиц.

— Поймали налетчиков, ворвавшихся в квартиру хозяина ювелирного магазина. Они унесли в несгораемой шкатулке на миллион бриллиантов.

Несгораемая шкатулка из числа тех, что сверху выкрашены коричневой краской под дуб, а внутри красной краской, стояла в ногах у налетчиков, как бы излучая из себя снопы бриллиантовых лучей.

С двух сторон уже бежали, расталкивая толпу, чины гетманской Державной Варты и агенты уголовного розыска.

Налетчики возвышались над ревущей толпой, размахивая оружием.

Спящему были знакомы два налетчика. Третий не был знаком. Он впервые появился в сновидении.

Ленька Грек держал в руках направленную в толпу трехлинейную винтовку казенного образца с отпиленным до половины стволом, так называемый обрез. Манфред, высокий, с непокрытой головой и разлетающимися волосами, стройный, как гранитная статуя, держал в поднятой руке тяжелый американский полуавтоматический писто-

лет из числа тех, которые в конце войны поступили из-за океана на вооружение офицеров армии и флота, — десятизарядный кольт, в рукоятку которого была вставлена обойма с толстенькими патронами. Третий налетчик, совсем незнакомый, в застиранной летней солдатской гимнастерке, без пояса и погон, — дезертир из бывшего запасного батальона — размахивал ручной гранатой лимонкой, и это удерживало толпу на некотором расстоянии.

Противостояние трех против разъяренной толпы продолжалось невероятно долго: может быть, час, может быть, два или три, если не все сутки, и это неестественно неподвижное противостояние смерти против смерти, свойственное бесконечно длительному сновидению, изнуряло спящего невозможностью проснуться.

...Солдат-дезертир размахнулся и швырнул лимонку в толпу. Лимонка не разорвалась. В ту же минуту чины Державной Варты и агенты уголовного розыска с разных сторон открыли огонь по налетчикам и убили всех троих наповал. При налетчиках никаких документов не оказалось, и их, неопознанных, отвезли на грузовике в морг. Они были покрыты брезентом и подпрыгивали на поворотах. Из-под брезента высунулась голова Манфреда: растрепавшиеся волосы и открытые остекленевшие глаза, полные ненависти и страсти.

Перекресток странного города опустел, и цветочницы опять расставили на перекрестке двух самых нарядных улиц свои зеленые табуретки с ведрами и синими эмалированными мисками, где плавали розы, мучившие спящего своей невероятной красотой и яркостью, способной убить его во сне, если бы длинная морская волна, гладкая и прохладная, не успокоила спящего.

...Он снова увидел яхту, обходящую известково-белую башню портового маяка.

Яхта вышла в открытое море. Погода была чудесная. То, что на очередную морскую прогулку не явились Ленка Грек и Манфред, никого не удивило. Все привыкли к неограниченной свободе поступков: не захотели и не пришли. Одна только Нелли была неприятно удивлена отсутствием Манфреда. Впрочем, она ничего другого от него и не ожидала: обыкновенный фат, фразер и хвастун, не при-

выкший держать слово. Относительно Италии и Ла Скала, богатства и всемирной славы — были пустые слова. Он просто ее обманул и скрылся. Тем лучше. Ее Вася был куда более надежен. Она его почти любила.

Она сидела рядом с ним на корме. Одной рукой он бережно обнимал ее за плечи, а другой рукой держал румпель, все дальше и дальше уводя яхту в открытое море, где на горизонте дымили уходящие пароходы.

Остальная компания вела себя обычно, наслаждаясь дыханием легкого бриза и божественной свободой. У всех на лицах, как всегда, блестели капли морской воды, и это было приятно. Особенно мне и Маше.

И, как всегда, одна из девушек, имя которой спящий не знал, сидела в каюте на узком кожаном диванчике и полировала ногти.

*21 августа 1984 г.
Переделкино*

ПОМЕЩЕННЫХ В 1—10 ТОМАХ

	<i>Том</i>	<i>стр.</i>
А + В в квадрате	1	87
«Авангард»	9	139
Автор	10	197
Актер	1	325
Алмазный мой венец	7	7
Альбер Марке	10	465
Аральское море	10	661
Арбуз	10	629
Ау, папаша!	10	136
Баллада	10	652
Балта	10	636
Барабан	1	67
Бездельник Эдуард	1	157
Белеет парус одинокий (Волны Черного моря. Часть первая)	4	7
Белые козы	10	669
Беременный мужчина	10	129
Бесприданница	10	673
Бородатый малютка	10	81
Бриз	10	639
В апреле	10	619
В воскресенье	1	79
В дни Отечественной войны	10	368
В Западную Европу	10	150
В кино	10	649
В Молдавии	10	406
В наступлении	10	397
В осажденном городе	1	127
В трамвае	10	626
Ваза	10	628

	<i>Том</i>	<i>стр.</i>
Верблюды	10	662
Весенний звон	1	27
Весенний туман	10	613
Весной	10	628
«Весну печатью ледяной...»	10	663
«Весны внезапной мир рябой...»	10	639
Вечер («В монастыре звонят к вечерне...»)	10	617
Вечер («Синеет небо ласково в зените...»)	10	618
Вечная слава	1	476
Вещи	1	334
Виадук	1	445
Внутренняя секреция	10	175
Во ржи	10	391
Волны Черного моря. Тетралогия	4—5	
Волшебная скрипка	10	575
Восемьдесят пять	1	247
Воспоминание	10	631
Время, вперед!	2	243
Всесоюзная редкость	10	38
Встреча	1	389
Выдержал	10	87
Гамлет	10	267
Гвардии капитан Туганов	10	375
Глина	10	661
Голсуорси	10	553
Голубок	1	593
Гора	1	317
Город белый	10	663
Горох в стенку. Юмористические рассказы, фельетоны	10	5
Гранит науки	10	134
Два гусара	10	228
Девушка	10	659
9 мая 1945 года	10	672
Демьян рассказывает	1	531
День отдыха	9	319
ДО и ПО	10	107
«До свиданья, воздух синий...»	10	663
Донжуан	10	248
Дон-Жуан («Пока еще в душе не высох...»)	10	664
Домик	9	373
Дорога цветов	9	247
Дорогой, милый дедушка	1	514

	<i>Том</i>	<i>стр.</i>
Дочь Миронова	10	131
Дудочка и кувшинчик	1	581
Дыня	10	662
Дятлы	10	670
Емельян Черноземный	10	169
Железное кольцо	1	139
Жемчужина	1	595
Жена	3	111
Жертва спорта	10	185
Журавли	10	626
Загадочный Саша	10	89
Заметки о Всеволоде Иванове	10	478
Заметки о Маяковском	10	487
Записки о гражданской войне	10	275
Записки толстяка	10	231
Звезды («В хрустальных нитях гололедицы...»)	10	614
Звезды («Глубокой ночью я проснулся...»)	10	627
«Зеленым сумраком повеяло в лицо...»	10	624
Земляки	1	48
Зимний ветер (Волны Черного моря. Часть третья)	5	7
Зимой	1	254
Зной	10	617
Золотое детство	10	177
Золотое перо	1	132
Иван Степанч	10	29
Игнатий Пуделякин	10	165
Известь	10	649
Ионыч из Вашингтона	10	264
Иракий Андроников	10	571
Искусство опровержений	10	110
История одного интервью	10	444
История шедевра	10	270
Итальянские этюды	10	656
Их было двое	10	368
Июль	10	613
Как я писал книгу «Маленькая железная дверь в стене»	10	545
Капли	10	624
Касснопея	10	625
Катакомбы (Волны Черного моря. Часть четвертая).	5	269

	<i>Том</i>	<i>стр.</i>
Каток	10	645
Квадратура круга	9	83
Кедровые иголки	10	35
Киев	10	646
Кладбище в Скулянах	8	511
«Когда я буду умирать...»	10	670
Конотопская нарпытка	10	127
Концерт перед боем	10	379
Короленко	10	461
Красивые штаны	10	23
Крейсер	10	615
Критика за наличный расчет	10	243
Кубик	6	447
Кузнец	10	415
Купальщица	10	666
Куприн	10	496
«Легко взлетают крылья ветряка...»	10	635
Лейтенант	10	385
Леонид Сойфертис	10	484
Лисица	10	668
Луна	10	662
Лунная соната	10	90
Маленькая железная дверь в стене	6	7
Маяковский	10	658
Миллион терзаний	9	191
Мимоходом	10	251
Михаил Булгаков	10	570
Михаил Зощенко	10	573
Могилы Тамерлана	10	662
«Может быть, я больше не приеду...»	10	635
Мой Бодлер	10	549
Мой друг Ниагаров	10	42
Мой друг Нодар	10	608
Молодость	10	615
Монолог мадам Фисаковой	10	240
Море	1	328
Мрачный случай	10	104
Муза	10	632
Музыка	1	104
«Мы вышли в сад...»	10	208
Мыльников переулок	10	638
Мысли о творчестве	10	517

	<i>Тол.</i>	<i>стр.</i>
«На голом месте...»	10	211
На даче	1	421
На полях романа	1	357
На яхте	10	626
«Наши за границей»	10	191
«Небо мое звездное...»	10	623
Неотразимая телеграфистка, или Преступление мистера Климова	10	147
Несколько слов о Пикассо	10	514
Николай Островский	10	472
Николай Павлович Хмелев	10	469
Новогодний рассказ	1	458
Новогодний тост	10	485
Ножи	1	300
Ночной бой	10	622
Ночью	1	52
О Гоголе	10	530
О Горьком	10	499
О долгом ящике	10	122
О Льве Толстом	10	600
О себе	10	502
Об Ионе Друцэ	10	561
Обезьяна	10	271
Огонь	1	232
Одесские катакомбы	10	421
Однофамилец	10	245
Одуванчик	10	631
Опера	10	644
Оперативный Загребухин	10	256
Опыт Кранца	1	110
Осень	10	667
Остров Эрендорф	2	129
Отец	1	189
Отец Василий	10	400
Отче наш	1	435
Памяти друга	10	473
Парадокс	10	236
Париж — Вена — Берлин	10	214
Партизан	10	382
Пасхальный рассказ	10	79
Патерик	10	647
Пень	1	605

	<i>Том</i>	<i>стр.</i>
Первомайская пасха	10	116
Переделкино	10	454
Письмо	10	620
Плакат	10	634
Под Сморгонью	1	412
Подсолнух	10	636
Поединок	10	93
Поезд	10	668
Поездка в Визлей	10	554
Поездка на юг	3	363
Поклянемся никогда не забывать этого!	10	372
Полет	10	642
Политотдельский дневник	10	305
Полярная звезда	10	648
Пора любви	9	533
Порт	1	484
Похвала глупости	10	182
Поцелуй	10	633
Почти дневник	10	273
Прапорщик	1	182
Прачка	10	637
Прибой	10	629
Проклятый ветер	1	470
Прощание с миром	10	540
Пряха	10	631
Пушкину	10	627
Пятый	10	654
Раб	1	310
Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона	8	7
«Разгорался, как серная спичка...»	10	637
Разлука	10	666
Разрыв	10	646
Ранение	10	623
Ранний снег	10	673
Рассказ	10	649
Растратчики. Повесть	2	7
Растратчики. Пьеса	9	5
Ребенок	1	341
Репортажи из Буживаля	10	446
Ровесники кино	10	468
Родион Жуков	1	274
Ружье	1	41
Румфронт	10	641
Рыжие крестики	1	228

	<i>Том</i>	<i>стр.</i>
С Новым годом!..	10	262
Самоубийца поневоле	10	119
Святой колодец	6	143
Семья Игнатовых	10	417
Сердце	10	662
«Средина августа. Темно и знойно в доме...»	10	618
Синий платочек	9	423
Сказочка про административную репку	10	125
Слепые рыбы	10	630
«Словно льды в полярном море...»	10	628
Слово надо любить	10	482
Случай с Бабушкиной	10	98
Случай с гением («Понедельник»)	9	481
Смерть Антанты	10	41
«Сначала сушь и дичь запущенного парка...»	10	664
Собачья жизнь	10	188
Советы молодой красавице...	10	259
Современник	10	639
Соль	10	662
Сон	1	374
Сон («Полдневный зной мне сжег лицо...»)	10	660
Сорвалось!	10	84
Сорренто	1	525
Сплошное хулиганство	10	95
Спутники молодости	10	143
Спящий	10	677
Станиславский	10	535
Старый город	10	661
«Степной душистый день прозрачен, тих, и сух...»	10	617
Страх	10	614
Страшный перелет	10	7
Сугробы	10	669
Сухая малина	10	642
Суховой	10	616
Сын полка	3	209
Сыпной тиф	10	634
Сырдаря	10	661
Сэр Генри и черт (Сыпной тиф)	1	147
Сюрприз	1	380
Театр	1	383
Тишина	10	619
Товарищ Пробкин	10	76
Толстовец	10	180

	<i>Том</i>	<i>стр.</i>
«Торопиться приносить скоро»	10	373
«Томится ночь предчувствием грозы...»	10	625
Трава забвенья	6	245
Третий танк	1	424
Труба зовет	10	403
«Туман весенний стелется. Над лесом...»	10	621
Тусклая личность	10	139
«У нас дороги разные...»	10	674
У орудия	10	622
Упрямый американец	10	39
Уличный бой	10	633
Умная мама	10	254
Уэллс	10	543
Фантомы	10	63
Фиалка	1	546
Флаг	1	429
Фотографическая карточка	10	389
Хуторок в степи (Волны Черного моря. Часть вторая)	4	255
Цветик-семицветик	1	586
Цветок магнолии	10	658
Цветы	1	406
Чарльз Диккенс	10	531
Человек с узлом	1	99
Черный хлеб	1	398
Чехов	10	504
Эвакуация	10	633
Эдуард Тиссе	10	558
Экземпляр	10	112
Электрическая машина	2	539
Эпигону	10	657
Эрве Базен	10	563
Шахматная малярня	10	101
Шторм	10	665
Юношеский роман	7	229
Я, сын трудового народа...	3	5

ГОРОХ В СТЕНКУ

Юмористические рассказы,
фельетоны

Страшный перелет	7
Красивые штапы	23
Иван Степанч	29
Кедровые иголки	35
Всесоюзная редкость	38
Упрямый американец	39
Смерть Антанты	41
Мой друг Ниагаров	42
Фантомы	63
Товарищ Пробкин	76
Пасхальный рассказ	79
Бородатый малютка	81
Сорвалось!	84
Выдержал	87
Загадочный Саша	89
Луцная сопата	90
Поединок	93
Сплошное хулиганство	95
Случай с Бабушкиной	98
Шахматная малярня	101
Мрачный случай	104
ДО и ПО	107
Искусство опровержений	110
Экземпляр	112
Первомайская пасха	116
Самоубийца поневоле	119
О долгом ящике	122
Сказочка про административную репку	125
Копотопская нарпытка	127
Беременный мужчипа	129
Дочь Миропова	132
Гранит науки	134

Ау, папаша!	136
Тусклая личность	139
Спутники молодости	143
Неотразимая телеграфистка, или Преступление мистера Климова	147
В Западную Европу	150
Игнатий Пуделякин	165
Емельян Черноземный	169
Внутренняя секреция	175
Золотое детство	177
Толстовец	180
Похвала глупости	182
Жертва спорта	185
Собачья жизнь	188
«Наши за границей»	191
Автор	197
«Мы вышли в сад...»	208
«На голом месте...»	211
Париж — Вена — Берлин	214
Два гусара	228
Записки толстяка	231
Парадокс	236
Монолог мадам Фисаковой	240
Критика за наличный расчет	243
Однофамилец	245
Донжуан	248
Мимоходом	251
Умная мама	254
Оперативный Загребухин	256
Советы молодой красавице...	259
С Новым годом!..	262
Ионыч из Вашингтона	264
Гамлет	267
История шедевра	270
Обезьяна	271

ПОЧТИ ДНЕВНИК

Записки о гражданской войне	275
Политотдельский дневник	305
В дни Отечественной войны	
Их было двое	368
Поклянемся никогда не забывать этого!	372
«Торопиться приносить скоро»	373
Гвардии капитан Туганов	375

Концерт перед боем	379
Партизан	382
Лейтенант	385
Фотографическая карточка	389
Во ржи	391
В пастушении	397
Отец Василий	400
Труба зовет	403
В Молдавии	406
Кузнец	415
Семья Игнатовых	417
Одесские катакомбы	421
История одного интервью	444
Репортажи из Буживаля	446
Переделкино	454
Короленко	461
Альбер Марке	465
Ровесники кино	468
Николай Павлович Хмелев	469
Николай Островский	472
Памяти друга	473
Заметки о Всеволоде Иванове	478
Слово надо любить	482
Леонид Сойфертис	484
Новогодний тост	485
Заметки о Маяковском	487
Куприн	496
О Горьком	499
О себе	502
Чехов	504
Несколько слов о Пикассо	514
Мысли о творчестве	517
Чарльз Диккенс	531
Станиславский	535
Прощание с миром	540
Уэллс	543
Как я писал книгу «Маленькая железная дверь в стене»	545
Мой Бодлер	549
Голсуорси	553
Поездка в Визлей	554
Эдуард Тиссе	558
Об Ионе Друцэ	561
Эрве Базен	563
Михаил Булгаков	570

Ираклий Андроников	571
Михаил Зощенко	573
Волшебная скрипка	575
О Гоголе	580
О Льве Толстом	600
Мой друг Нодар	608

СТИХОТВОРЕНИЯ

Июль	613
Весенний туман	613
Страх	614
Звезды («В хрустальных нитях гололедицы...») . . .	614
Крейсер	615
Молодость	615
Суховей	616
«Степной душистый день прозрачен, тих и сух...»	617
Вечер («В монастыре звонят к вечерне...») . . .	617
Зной	617
«Средина августа. Темно и знойно в доме...» . . .	618
Вечер («Синеет небо ласково в зепите...») . . .	618
Типина	619
В апреле	619
Письмо	620
«Туман весенний стелется. Над лесом...» . . .	621
У орудия	622
Ночной бой	622
«Небо мое звездное...»	623
Ранение	623
«Зеленым сумраком повеяло в лицо...»	624
Капли	624
Кассиопея	625
«Томится ночь предчувствием грозы...»	625
В трамвае	626
На яхте	626
Журавли	626
Звезды («Глубокой ночью я проснулся...») . . .	627
Пушкину	627
Ваза	628
Весной	628
«Словно льды в полярном море...»	628
Арбуз	629
Прибой	629
Слепые рыбы	630
Воспоминание	631

Одуванчик	631
Пряха ,	631
Муза , ,	632
Поцелуй	633
Уличный бой	633
Эвакуация	633
Сыпной тиф	634
Плакат	634
«Легко взлетают крылья ветряка...»	635
«Может быть, я больше не приеду...»	635
Балта	636
Подсолнух	636
«Разгорался, как серная спичка...»	637
Прачка	637
Мыльников переулоч	638
Брыз	639
«Весны внезапной мир рябой...»	639
Современник	639
Румфронт	641
Сухая малина ,	642
Полет	642
Опера	644
Каток	645
Разрыв	646
Киев	646
Патерик	647
Полярная звезда	648
В кино	649
Рассказ	649
Известь	649
Баллада	652
Пятый	654
Итальянские этюды	656
Эпигону	657
Маяковский	658
Цветок магнолии	658
Девушка	659
Сон	660
Аральское море	661
Сырдарья	661
Четверостишия	
Старый город	661
Глина ,	661
Дыня	662
Сердце	662

Соль	662
Могилы Тамерлана	662
Верблюды	662
Луна	662
«До свиданья, воздух синий...»	663
Город белый	663
«Весну печатью ледяной...»	663
«Сначала сушь и дичь запущенного парка...»	664
Дон-Жуан	664
Шторм	665
Купальщица	666
Разлука	666
Осень	667
Лисица	668
Поезд	668
Белые козы	669
Сугробы	669
«Когда я буду умирать...»	670
Дятлы	670
9 мая 1945 года	672
Бесприданница	673
Ранний снег	673
«У нас дороги разные...»	674

СПЯЩИЙ

Спящий. <i>Повесть</i>	677
Алфавитный указатель произведений, помещенных в 1—10 томах	698

Катаев В. П.

К 29 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 10. Горох в стенку: Юмористические рассказы, фельетоны; Почти дневник; Стихотворения; Спящий.— М.: Худож. лит., 1986.—711 с.

В книгу включены юмористические рассказы, фельетоны «Горох в стенку» (1920—1970); публицистические статьи, очерки, литературные портреты, воспоминания «Почти дневник» (1920—1985); стихотворения (1914—1984) и повесть «Спящий» (1984).

К $\frac{4702010200-103}{028 (01)-86}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ

Собрание сочинений

в десяти томах

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

Редактор *О. Новикова*. Художественный редактор *Е. Ененко*. Технический редактор *Е. Полонская*. Корректоры *Г. Киселева* и *О. Наренкова*

ИБ № 4196

Сдано в набор 30.05.85. Подписано к печати А-10501 от 03.01.86. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 37,38. Усл. кр.-отт. 37,38. Уч.-изд. л. 38,52. Заказ № 5-814.

Изд. № III-2065. Тираж 150 000 экз.

Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Новобасманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

Отпечатано в Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР,

Киев, ул. Воровского, 24.

